

Анатоль Франс



*Государственное
издательство
художественной
литературы*

Анатолий Франс

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах



Под общей редакцией
*Е. А. ГУНСТА, В. А. ДЫННИК,
Б. Г. РЕИЗОВА*

Государственное *издательство*
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Анатоль Франс

ТОМ ПЯТЫЙ



ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
КРЕНКЕБИЛЬ, ПЮТУА, РИКЕ И МНОГО
ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ РАССКАЗОВ
ПЬЕСЫ
НА БЕЛОМ КАМНЕ

Переводы с французского

Государственное *издательство*
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва *1958*

ANATOLE FRANCE
ŒUVRES

HISTOIRE COMIQUE
CRAINQUEBILLE, PUTOIS, RIQUET
ET PLUSIEURS AUTRES RÉCITS PROFITABLES
THÉÂTRE
SUR LA PIERRE BLANCHE

Фронтиспис работы
художника В. А. Дехтерева

***ТЕАТРАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ***

Перевод *И. С. Татариновой*
под редакцией *Н. Г. Касаткиной*

I

Освещенная яркой электрической лампочкой Фелиси Нантейль, актриса «Одеона» *, в напудренном парике сидела у себя в уборной, протянув ногу костюмерше г-же Мишон, которая обувала ее в черные туфельки на красных каблучках. На веки была наведена синева, щеки и уши тронуты румянами, шея и плечи набелены. Лысый, как колено, доктор Трюбле, театральный врач и приятель актрис, откинулся на спинку дивана, скрестив короткие ножки и сложив на животе руки. Он продолжал расспросы:

— Ну, а еще что, деточка?

— Да всего не перескажешь!.. Трудно дышать... голова кружится. Ни с того, ни с сего сердце сожмется — кажется, вот-вот умру. Это, пожалуй, самое неприятное.

— А не бывает, что на вас вдруг нападёт приступ смеха или слез без всякой причины, без всякого повода?

— Право, не знаю, что ответить, ведь в жизни столько поводов для смеха и слез!..

— А головокружений у вас не бывает?

— Нет... Но знаете, доктор, по ночам мне чудится, будто из-под стола или стула на меня глядит кошка и глаза у нее горят, как уголья.

— Постарайтесь не видеть во сне кошек, — вмешалась г-жа Мишон. — Это не к добру... Кошка означает измену друзей и коварство женщин.

— Да я кошек не во сне вижу! А когда не сплю. Трюбле, по службе обязанный бывать в «Одеоне» раз в месяц, по-добрососедски каждый вечер заходил в театр. Он любил актрис, охотно болтал с ними, давал советы и не злоупотреблял их откровенными признаниями. Он обещал Фелиси тут же выписать ей рецепт.

— Мы, деточка, полечим желудок, и больше вам не будут мерещиться под стульями кошки.

Госпожа Мишон надевала актрисе корсет. И доктор, вдруг помрачнев, смотрел, как она стягивает шнуровку.

— Не хмурьте брови, доктор, — сказала Фелиси. — Я никогда не затягиваюсь. При моей талии это было бы просто глупо.

Она прибавила, подумав о своей лучшей подруге по театру:

— Вот если бы я была, как Фажет, тогда другое дело. У нее ни плеч, ни бедер... Плоская, как доска... Мишон, можно еще чуточку потуже... Знаю, знаю, доктор, что вы противник корсетов. Но ведь не могу же я завертываться, как эстетки, в кусок материи... Вот подсуньте руку и увидите, что я не затягиваюсь.

Доктор запротестовал: вовсе он не противник корсетов вообще. Он только восстает, когда слишком затягиваются. Он посетовал на то, что женщины ничего не смыслят в гармонии линий и считают тонкую талию признаком изящества и красоты, не понимая, что красота именно в мягком переходе постепенно сужающегося торса от роскошной пышности бюста к спокойному великолепию округлого живота.

— Талия, — сказал он, — раз уж приходится употреблять это ужасное слово, должна быть плавным переходом, незаметным и мягким, от груди к животу — должна соединять эти два гимна во славу женщины. А вы, по глупости, стягиваете талию, сдавливаете грудную клетку, от чего портится грудь, вы сжимаете ребра, проводите уродливую борозду над

пупком. Негритянки, подтачивающие кончики зубов и продырявливающие губу, чтобы вставить в нее деревяшку, уродуют себя не так варварски. В конце концов можно допустить, что у человеческого существа, продевшего кольцо в нос и растянувшего губу деревянным кружком величиной вот с такую баночку помады, сохранилось что-то от женской прелести. Но когда женщина свирепствует, можно сказать, в священном средоточии своего владычества, она губит себя безвозвратно.

Сев на своего конька, доктор уже не мог остановиться, он перечислил все виды деформации скелета и тела, причиняемые корсетом, он описал их детально и образно в мрачных или комических тонах. Нантейль смеялась, слушая его. Она смеялась, потому что была женщиной и охотно потешалась над физическими недостатками и убожеством; потому что мысленно прикладывала все к своему актерскому миру и при каждом уродстве, которое описывал доктор, вспоминала какую-нибудь из своих подруг по театру и представляла их себе в карикатурном виде; потому что знала, что сама хорошо сложена, и, слушая перечень недостатков, радовалась на свое молодое тело. Звонко смеясь, она ходила по уборной и, как на вожжах, таскала за собой г-жу Мишон, которая не выпускала из рук шнуровки корсета и напоминала ведьму, мчащуюся на шабаш.

— Да постоит вы хоть минутку! — взмолилась та.

И заметила, что у деревенских женщин, хотя они и не носят корсета, фигура еще хуже, чем у городских.

А доктор горько упрекал западные цивилизации за их презрение к живой красоте, за непонимание ее.

Трюбле вырос под сенью башен св. Сульпиция *, затем молодым врачом отправился в Каир. Оттуда он вывез немного денег, болезнь печени и знакомство с различными обычаями и нравами. В зрелом возрасте, вернувшись на родину, он не расставался со своей старой Сенской улицей и наслаждался жизнью, огорчаясь только, что его современники никак не могут покончить с печальным недоразумением, которое вот

уже восемнадцать столетий как поссорило человечество с природой.

В дверь постучали; в коридоре послышался женский голос:

— Это я!

Фелиси, надевшая розовую юбку, попросила доктора открыть дверь. Вошла г-жа Дульс, массивная, отяжелевшая, расплывшаяся, хотя на сцене, в течение многих лет играя благородных матерей, она умела держаться и с достоинством носила свое грузное тело.

— Здравствуй, милочка. Здравствуйте, доктор... Ты ведь знаешь, Фелиси, я не люблю говорить комплименты. Ну, так вот, третьего дня я смотрела тебя в «Матери-наперснице» * и должна сказать, что во втором действии ты прекрасно справляешься с трудными местами.

Фелиси Нантейль улыбнулась глазами и, как это всегда бывает, получив один комплимент, приготовилась услышать еще один.

Госпожа Дульс, в ответ на выжидательное молчание Нантейль, опять похвалила ее:

— Прекрасно справляешься и совершенно по своему.

— Вы находите, госпожа Дульс? Очень приятно! Тем более что я этой роли как-то не чувствую. А потом эта лошадь Перен совершенно выбивает меня из колеи. Нет, правда! Когда я сажусь к ней на колени, мне кажется, будто... Вы и представить себе не можете, какие гадости она мне шепчет во время наших с ней общих сцен. Просто одержимая какая-то... Я могу все понять, но есть вещи просто омерзительные... Мишон, поглядите-ка: с правой стороны на спине лиф не морщит?

— Деточка, да ведь это же золотые слова, — в восторге воскликнул Трюбле.

— Это какие же слова золотые? — наивно спросила Нантейль.

— Вы сказали: «Я могу все понять, но есть вещи просто омерзительные». Вы все понимаете: поступки и мысли людей представляются вам единичными явлениями общей мировой механики, они не вызывают

в вас ни гнева, ни ненависти. Но есть вещи просто омерзительные; у вас тонкий вкус, а мораль — дело вкуса. Деточка, я был бы очень рад, если бы в Академии нравственных и политических наук рассуждали так же здраво, как вы. Да, вы правы. Упрекать вашу товарку за те инстинкты, которые вы ей приписываете, так же глупо, как упрекать молочную кислоту за то, что она обладает сложной функцией.

— Что такое вы говорите?

— Я говорю, что мы не можем ни хвалить, ни порицать людей за их поступки и мысли, если нам докажут неизбежность этих поступков или мыслей.

— Так, значит, вы одобряете эту лошадь Перен, вы, такой уважаемый человек! Нечего сказать, хорошо!

Доктор приподнялся и сказал:

— Деточка, будьте добры, уделите мне минутку внимания. Я расскажу вам поучительную историю.

В былые времена природа человека была не та, что сейчас. Тогда существовали не только мужчины и женщины, но еще и андрогины, то есть существа, в которых соединились два пола. У этих трех видов людей было четыре руки, четыре ноги и два лица. Они были очень сильными и, как колеса, быстро вращались вокруг своей оси. Их сила внушила им дерзостную мысль: по примеру гигантов восстать на богов. Юпитер не снес такой наглости...

— Мишон, юбка с левого боку не волочится? — спросила Нантейль.

— ...и решил, — продолжал свой рассказ доктор, — сделать их менее сильными и менее смелыми. Он разделил человека на две части, так чтобы у каждой осталось только по две руки, по две ноги и по одной голове, и люди стали с тех пор такими, как сейчас. Итак, каждый из нас только половинка человека, разделенного на две части так же, как делят на две части рыбу. Каждая половина ищет свою половину. Любовь, которую мы чувствуем друг к другу, — только сила, побуждающая нас слиться со своей половиной и таким образом восстановить былое единство. Мужчины, которые произошли от деления андрогинов, любят женщин; женщины такого же происхождения любят

мужчин. Но женщины, которые произошли от разделения первоначальных женщин, не дарят своим вниманием мужчин и чувствуют влечение к женщинам. Поэтому не удивляйтесь, когда...

— Доктор, эту сказку вы сами выдумали? — спросила Нантейль, прикалывая розу к корсажу.

Трюбле энергично запротестовал: он ничего не выдумал, наоборот, он даже не все рассказал.

— Тем лучше! — воскликнула Нантейль. — Потому что, должна сказать, тот, кто это придумал, не больно умен.

— Он уже умер, — сказал Трюбле.

Нантейль повторила, что ее партнерша вызывает в ней отвращение; но г-жа Дульс, женщина предусмотрительная, завтракавшая иногда у Жанны Перен, перевела разговор.

— Словом, милочка, с ролью Анжелики * ты справилась. Только помни, что я тебе говорила: не надо лишних жестов, поменьше развязности в движениях. В этом секрет инженю. Позабудь свою очаровательную природную гибкость. Молоденькие девушки в таких вещах должны быть чуточку кукольными. Это их стиль. И костюм того же требует. Видишь ли, Фелиси, играя в «Матери-наперснице», в такой прекрасной пьесе, прежде всего надо...

Фелиси перебила ее:

— Вы же знаете, мне бы только роль хорошая была, а на пьесу наплевать. А потом я не очень люблю Мариво... Что вы смеетесь, доктор? Разве я что-нибудь сморозила? «Мать-наперсница» не Мариво?

— Мариво, Мариво!

— Ну, так в чем же дело!.. Вы вечно стараетесь сбить меня с толку... Так вот, Анжелика мне не по душе. Мне хотелось бы что-нибудь более сочное, более выигрышное... Сегодня эта роль меня как-то особенно раздражает.

— Значит, ты ее сегодня отлично сыграешь, милочка, — сказала г-жа Дульс.

И она продолжала наставительным тоном:

— Лучше всего входишь в роль, когда входишь в нее насильно, преодолевая внутреннее сопротивление-

ние. Я могла бы привести много примеров. Я сама в «Аустерлицкой маркитантке» увлекла весь зал своей веселостью, а мне как раз перед этим сообщили, что моего бедного Дульса, такого прекрасного музыканта и такого примерного мужа, разбил паралич, когда он сидел в оркестре Оперного театра и только успел приложить к губам свой корнет-а-пистон.

— Почему мне всегда дают роли инженерю? — спросила Нантейль, которая хотела играть и героинь, и гранд-кокетт, и все роли вообще.

— Да это и понятно, — упорно продолжала свое г-жа Дульс. — Театральное искусство — искусство подражательное. Ну, а лучше всего подражаешь тому, чего сам не чувствуешь.

— Не надо обольщаться, деточка, — обратился доктор к Фелиси. — Раз ты инженерю, ты так всю жизнь инженерю и будешь. Анжеликой или Дориной, Селименной или госпожой Пернель рождаются*. На сцене одним всегда двадцать лет, другим всегда тридцать, третьим всегда шестьдесят... Вам, мадемуазель Нантейль, всегда будет восемнадцать лет, и вы навсегда останетесь инженерю.

— Мне мое амплуа очень нравится, — ответила Нантейль, — но не можете же вы требовать, чтобы я с одинаковым удовольствием играла всех инженерю. Есть одна роль, которую мне очень хотелось бы сыграть! Это роль Агнесы в «Школе жен»*.

При одном упоминании об Агнесе доктор пришел в восторг и продекламировал себе под нос:

Откуда же взялась в глазах моих зараза?¹

— Агнеса, вот это роль! — воскликнула Нантейль. — Я просила Праделя дать ее мне.

Директор театра Прадель, бывший актер, рассудительный и добродушный, не обольщался иллюзиями и не питал несбыточных надежд. Он любил покой, книги и женщин. Нантейль не могла пожаловаться на Праделя и говорила о нем без злобы, с честной прямоотой.

— Со стороны Праделя это нехорошо, гадко,

¹ Все стихи Мольера даются в переводе В. Гиппиуса.

подло, — сказала она. — Он дал роль Агнесы не мне, а Фалампэн. Правда, я не попросила его как следует. Ну, а Фалампэн на этот счет дока! Уж это будьте покойны. Но все равно: если Прадель не даст мне сыграть Агнесу, я пошлю к черту и его и его жалкий балаган!

Госпожа Дульс продолжала свои наставления, хотя никто ее не слушал. В свое время она была хорошей актрисой, но затем постарела, устала, осталась без ангажемента и теперь давала советы начинающим, писала им письма и таким путем почти ежедневно зарабатывала себе обед, приходившийся то на утро, то на вечер.

Фелиси, которой г-жа Мишон завязывала на шею черную бархотку, спросила Трюбле:

— Доктор, вы сказали, что головокружение у меня от желудка, вы в этом уверены?

Но раньше, чем Трюбле успел ответить, г-жа Дульс заявила, что головокружение всегда бывает от желудка и что у нее, как поест, через два-три часа всегда пучит живот и боли бывают. Потом она попросила у доктора какого-нибудь лекарства.

А Фелиси меж тем задумалась, ибо она была способна думать. И вдруг сказала:

— Доктор, я хочу задать вам один вопрос, возможно, вы сочтете его глупым... Но мне хотелось бы знать... вот вы изучили все, что у нас внутри, видели, что там в середине делается, а не бывает так, чтобы это вам мешало иногда... с женщинами. Мне кажется, когда все такое себе представляешь, так должно быть очень противно.

Трюбле, удобно расположившийся на диване, послал Фелиси воздушный поцелуй.

— Деточка, нет на свете ткани тоньше, богаче, прекрасней, чем кожа красивой женщины. Я как раз думал об этом, глядя на вашу шею, и вы легко поймете, что под этим впечатлением...

Она скорчила ему презрительную озорную гримасу.

— Вы считаете, что умно отвечать на серьезный вопрос глупостями?

— Хорошо, мадемуазель, раз вы этого хотите, я расскажу вам вместо ответа поучительную историю. Двадцать лет тому назад в больнице святого Иосифа был у нас при анатомическом театре старый пьяница-служитель, дядюшка Руссо; ежедневно в одиннадцать утра он завтракал на краю того самого стола, на котором лежал труп. Он завтракал, потому что был голоден. Голодному ничего не помешает утолить голод, когда есть чем. Правда, дядюшка Руссо говаривал: «Уж не знаю, воздух, что ли, в анатомичке такой, только здесь несвежее и невкусное в горло не лезет».

— Понимаю, — сказала Фелиси. — Вас тянет к молоденьким цветочницам... Знаете, это ведь запрещено... Ну, что это вы сидите как султан, а рецепт?

Она вопросительно посмотрела на него:

— А где, собственно, у нас желудок?

Оставшуюся незапертой дверь открыл очень красивый, очень элегантно одетый молодой человек и, уже шагнув в уборную, спросил, можно ли войти.

— Вы? — сказала Нантейль.

И протянула ему руку. Он с удовольствием поцеловал ее, корректно, но фатовато.

С г-жой Дульс он поздоровался весьма фамильярно, а доктора спросил:

— Как поживаете, доктор Сократ?

Трюбле так прозвали за его вздернутый нос и острую речь.

Трюбле сказал, сделав жест в сторону Нантейль:

— Господин де Линьи, вот молодая особа, которой в точности не известно, есть ли у нее желудок. Вопрос это серьезный. Мы посоветуем ей обратиться за ответом к той девочке, которая ела слишком много варенья. Мама ей сказала: «Смотри, испортишь себе желудок». А она ответила: «Желудок бывает у взрослых дам, у девочек его нет».

— Господи, как вы глупы, доктор! — воскликнула Нантейль.

— Ах, если бы вы были правы, мадемуазель! Глупость предрасполагает к счастью. Это высшее самодовольствие. Это первейшее благо в цивилизованном обществе.

— Вы любите парадоксы, дорогой доктор, — заметил г-н де Линьи. — Но я согласен, что лучше быть глупым, как все, чем умным, как никто.

— А ведь то, что говорит Робер, правда! — воскликнула Нантейль, искренне пораженная.

И задумчиво прибавила:

— Во всяком случае, одно верно, доктор: глупость часто мешает делать глупости. Я это не раз замечала. Глупее всего поступают далеко не самые глупые люди, все равно будь то мужчины или женщины. Взять хотя бы умных женщин, они часто ведут себя глупо с мужчинами.

— Вы имеете в виду тех, что не могут жить без мужчин?

— От тебя ничего не утаишь, Сократик, миленький мой.

— Ах, какое это ужасное рабство! — вздохнула Дульс. — Женщина, которая не умеет владеть своими инстинктами, потеряна для искусства.

Нантейль пожала своими красивыми плечами, еще по-детски худенькими.

— Ой, ой, ой, бабушка, не надо запугивать приго-товешек. Что за глупости! А в ваше время актрисы владели своими... как это вы называете? Расскажите кому другому. Совсем они ими не владели.

Заметив, что Нантейль рассердилась, г-жа Дульс сочла за благо с достоинством удалиться. И, уже выйдя в коридор, она еще раз посоветовала:

— Помни, милочка, Анжелика — это нерасцветший бутон, так ее и играть надо. Роль того требует.

Но раздосадованная Фелиси ее не слушала.

— Должна признаться, старуха Дульс раздражает меня своими нотациями! — сказала она, садясь за туалетный столик. — Думает, что ее похождения позабыты? Как бы не так! Госпожа Раво рассказывает их всем, кому не лень слушать. Она довела своего мужа, оркестранта, до такого истощения, что в один прекрасный вечер он ткнулся носом в свой корнет-а-пистон, все это знают. А ее любовников — все мужчины, как на подбор, хоть у Мишон спросите, — через два года нельзя было узнать: бледные, как тень, обессиленные.

Вот как она владела своими... А попробовал бы кто ей тогда сказать, что она потеряна для искусства!..

Доктор Трюбле протянул к Фелиси Нантейль обе руки, словно желая остановить ее:

— Не возмущайтесь, деточка, госпожа Дульс вполне искренна. В свое время она любила мужчин, теперь она любит господ бога. Всякий любит то, что может, как может и чем может. Когда пришло время, она стала целомудренной и богобоязненной. Она набожна: по воскресеньям и по праздничным дням ходит в церковь, она...

— Ну, что ж, и правильно делает, что в церковь ходит, — заявила Нантейль. — Мишон, зажги свечу, чтобы погреть губную помаду. Надо рот подрисовать... Конечно, правильно делает, что в церковь ходит. Но религия не запрещает иметь любовника.

— Вы уверены? — спросил доктор.

— Ну уж, будьте покойны, в религии я больше вас смыслю!

Мрачно прозвонил колокол, и в коридоре послышался жалобный голос помощника режиссера:

— Одноактная пьеса окончилась!

Нантейль встала, повязала на руку бархотку со стальным медальоном.

Госпожа Мишон, стоя на коленях, укладывала на розовом платье три складки а ля Ватто*; с полным ртом булавок она изрекла, не разжимая зубов, следующую сентенцию:

— В старости хорошо то, что уже не страдаешь от мужчин.

Робер де Линьи достал из портсигара папироску.

— Вы позволите?

И он подошел к зажженной свече, стоявшей на туалетном столике.

Нантейль, не спускавшая с него глаз, увидела, как под золотистыми и легкими, как пламя, усами его освещенные и потому казавшиеся еще краснее губы втянули, а потом выдохнули дым. Она почувствовала, что у нее зарделись уши. Делая вид, что ищет какие-то украшения, она чуть коснулась губами его шеи и прошептала:

— После спектакля жди меня в экипаже на углу улицы Турнон.

В эту минуту в коридоре послышались шаги и шум голосов. Актеры, занятые в одноактной пьесе, возвращались к себе в уборные.

— Доктор, дайте мне вашу газету.

— В ней нет ничего интересного, мадемуазель.

— Все равно дайте.

Она взяла газету и приложила ее козырьком ко лбу.

— Мне больно глядеть на свет.

От слишком яркого света у нее действительно часто бывала мигрень. Но на сей раз дело было в том, что она увидела себя в зеркале. И нашла, что похожа на загримированного покойника с остекленевшими глазами: веки синие, на ресницах наклеена черная паста, щеки подрумянены, губы покрашены сердечком. Ей не хотелось, чтобы Линьи видел ее такой.

Теперь же лицо ее было в тени. В это время в уборную размашистой походкой вошел высокий худой юноша. У него были темные глубоко запавшие глаза, орлиный нос; губы застыли в усмешке. На длинной шее резко выделялся большой кадык, тень от которого падала на брыжи. Он был в костюме привратника классической комедии.

— А, это вы, Шевалье? Здравствуйте, дорогой, — весело сказал доктор Трюбле, который любил актеров вообще, предпочитал плохих хорошим и чувствовал особую симпатию к Шевалье.

— Так, теперь все собрались! — воскликнула Нантейль. — Не уборная, а какой-то постоянный двор.

— Тем не менее позвольте мне приветствовать его хозяйку, — сказал Шевалье. — Можете себе представить, в зрительном зале сидят какие-то идиоты. Вы не поверите, — меня освистали.

— Это еще не повод, чтобы входить ко мне не постучавшись, — сердито сказала Нантейль.

Доктор заметил, что г-н де Линьи оставил дверь открытой. Тогда Нантейль обратилась к Линьи и ласково попеняла ему:

— Неужели это верно? Но ведь, когда сам вошел, закрываешь дверь для прочих: это же ясно, как день.

Она закуталась в белую фланелевую накидку.

Помощник режиссера позвал актеров на сцену.

Нантейль взяла под руку Линьи, и нащупав пальцами кисть, нажала ногтем то место, где кожа около жилок особенно нежная. Затем она исчезла в темном коридоре.

II

Шевалье, переодевшийся в обычное платье, сидел в ложе бенуара около г-жи Дульс. Он смотрел на Фелиси, со сцены казавшейся такой маленькой и далекой. И, вспоминая, как он держал ее в объятиях у себя в мансарде на улице Мучеников, он плакал от боли и ярости.

Они встретились год назад на празднике, устроенном под покровительством депутата Лекорейля в пользу неимущих артистов девятого округа. Шевалье молча кружил около Фелиси, жадно щелкая зубами, не спускал с нее горящего голодного взгляда. И в течение двух недель неотступно ее преследовал. Она держалась холодно и спокойно и как будто не замечала его; затем вдруг сдалась и так неожиданно, что он, когда уходил в тот день от нее, сияя и все еще не веря в свое счастье, сказал ей глупость. Он сказал: «А я-то думал, что ты фарфоровая!..» В течение целых трех месяцев он наслаждался счастьем жгучим, как боль. Затем Фелиси вдруг отдалилась, стала неуловимой, чужой. Теперь она уже не любила его. Он искал и не мог найти причину такой перемены. Он страдал оттого, что она его разлюбила; он страдал еще больше оттого, что ревновал ее. И в первые, прекрасные дни их любви он, конечно, знал, что у Фелиси есть любовник, Жирмандель, судебный пристав с улицы Прованса; и вначале это его мучило. Но он ни разу с ним не сталкивался и потому, что так смутно и неопределенно представлял себе этого человека, ревность его не находила реальной пищи. Фелиси говорила, что Жирмандель оставляет ее совершенно равнодушной, она

даже не пытается притворяться; Шевалье верил ей. И это было для него большим удовлетворением. Еще она говорила ему, что уже давно, уже несколько месяцев Жирмандель был для нее только другом, и Шевалье верил ей. Наконец, он наставлял рога судебному приставу, и поэтому испытывал приятное чувство собственного превосходства. Узнал он и то, что преподаватель Фелиси, когда она заканчивала второй год учения в Консерватории *, тоже не встретил с ее стороны отказа. Но огорчение, вызванное этим обстоятельством, смягчалось сознанием, что таков обычай, освященный веками. Теперь ему причинял невыносимые страдания Робер де Линьи. С некоторых пор Линьи вечно торчал около Фелиси. Шевалье не сомневался, что она любит Робера. Временами он, правда, убеждал себя, что она еще не сошлась с де Линьи, но оснований так думать у него не было, он просто пытался хоть немножко себя утешить.

В последних рядах партера громко заплодировали, и в первых рядах тоже несколько мужчин не спеша и беззвучно захлопали в ладоши, что-то одобрительно бормоча. Нантейль подала последнюю реплику Жанне Перен.

— Браво, браво! Прелесть как мила! — вздохнула г-жа Дульс.

От ревности Шевалье стал плохим товарищем. Он прикоснулся пальцем ко лбу:

— Вот чем она играет.

Потом, положив руку на сердце, прибавил:

— А надо играть вот чем.

— Спасибо, спасибо, мой друг! — прошептала г-жа Дульс, признав в этом суждении явную похвалу себе.

Действительно, она всегда утверждала, что играют хорошо, лишь когда играют сердцем. Она проповедовала, что страсть можно выразить по-настоящему, только испытав ее, что необходимо ощутить те чувства, которые хочешь передать. Она охотно приводила в пример себя. Так, сыграв роль трагедийной королевы, выпившей чашу с ядом, она потом целую ночь мучилась — все внутри у нее жгло как огнем. И в то

же время она говорила: «Театральное искусство — это искусство подражания, а подражаешь хорошо тому, чего сам не пережил». И для подтверждения этого принципа опять-таки черпала примеры из своей триумфальной сценической карьеры.

Она глубоко вздохнула:

— Поразительно одаренная девочка. Но мне ее жаль. Она родилась в неудачное время. Сейчас нет ни настоящей публики, ни настоящей критики, ни настоящих пьес, ни настоящих театров и артистов. Искусство переживает упадок.

Шевалье покачал головой.

— Не жалейте ее: у нее будет все, чего только можно желать, и успех, и деньги. Она бессердечна, а бессердечный человек всего добьется. Вот людям с чувствительным сердцем в пору камень на шею, да в воду. Но я тоже далеко пойду, я тоже высоко поднимусь. Я тоже буду бессердечен.

Он встал и вышел, не дожидаясь конца спектакля. Он не пошел в уборную к Фелиси, боясь встретить там Линьи, вид которого был ему невыносим; а так он но крайней мере мог думать, что Линьи не вернулся туда.

Но разлука с Фелиси причиняла ему почти физическую боль, поэтому он раз пять или шесть прошелся по безлюдной и неосвещенной галерее «Одеона», спустился в темноте по ступенькам и направился на улицу Медичи. Извозчики дремали на козлах в ожидании конца спектакля; наверху, в облаках, луна скользила по вершинам платанов. Все еще лелея в душе остаток сладостной и тщетной надежды, он и в этот вечер, как обычно по вечерам, пошел дожидаться Фелиси к ее матери.

III

Госпожа Нантейль жила вместе с дочерью на бульваре Сен-Мишель, где снимала на пятом этаже доходного дома небольшую квартиру с окнами на Люксембургский сад. Она ласково встретила Шевалье, ибо была ему благодарна за то, что он любит Фелиси и

не любим ею, а того, что он любовник ее дочери, она принципиально не хотела знать. Она усадила его около себя в столовой, где горел в печке уголь. При свете лампы на стене поблескивали револьверы, сабли с золотыми кистями на темляках, развешанные вокруг женской кирасы с жестяными чашками на месте грудей — лат, в которые Фелиси прошлой зимой, еще ученицей Консерватории, облачалась, изображая Жанну д'Арк у некоей герцогини-спиритки. Будучи вдовой офицера и матерью актрисы, г-жа Нантейль, настоящая фамилия которой была Нанто, хранила эти доспехи.

— Фелиси еще не пришла, господин Шевалье. Я жду ее не раньше двенадцати. Она занята до конца спектакля.

— Знаю: я играл в одноактной пьесе. Я ушел из театра после первого действия «Матери-наперсницы».

— Но почему же вы не досидели до конца, господин Шевалье? Дочь была бы очень довольна. Когда играешь, приятно, чтобы в публике были друзья.

Шевалье ответил довольно уклончиво:

— О, в друзьях у нее недостатка нет.

— Вы ошибаетесь, господин Шевалье: хороших друзей не так-то легко найти. Госпожа Дульс, конечно, была? Фелиси ей понравилась?

И она прибавила смиренным тоном:

— Как бы я была счастлива, если бы Фелиси имела успех! В театре очень трудно пробиться самой без всякой поддержки, без протекции! Ей, бедняжке, очень важно выдвинуться!

Шевалье был не так настроен, чтобы умиляться, думая о Фелиси. Он резко сказал, пожав плечами:

— Ах, пожалуйста, не беспокойтесь. Фелиси выдвинется. Она актриса в душе. Театр вошел ей в плоть и кровь.

Госпожа Нантейль сказала со спокойной улыбкой:

— Бедная девочка! Плоть-то у нее не слишком крепкая. Здоровья она не плохого. Но переутомляться ей нельзя. Она часто страдает головокружением, мигренями.

Вошла служанка и поставила на стол блюдо с колбасой, бутылку и тарелки.

А Шевалье меж тем обдумывал, как бы кстати вернуть вопрос, который вертелся у него на языке, когда он еще только ступил на лестницу. Ему хотелось знать, встречается ли Фелиси с Жирманделем, о котором больше не было никаких разговоров. Наши желания вытекают из нашего положения. Теперь, когда он влачил такое жалкое существование, когда так исстрадался душой, он горячо желал, чтобы Фелиси, разлюбившая его, любила Жирманделя, которого она не очень любила, и чтобы Жирмандель никому ее не уступал, чтобы он захватил ее целиком для себя, ничего не оставив Роберу де Линьи. Мысль, что Фелиси живет с Жирманделем, успокаивала его ревность, и он боялся услышать, что она бросила своего судебного пристава.

Он, конечно, никогда не позволил бы себе расспрашивать мать о любовниках ее дочери. Но с г-жой Нантейль можно было завести разговор о Жирманделе, ибо она не хотела видеть ничего предосудительного в близком знакомстве с чиновником министерства, человеком состоятельным, женатым и отцом двух очаровательных дочерей. Только надо было придумать, как бы полвечее упомянуть о Жирманделе. И Шевалье придумал, и, как ему показалось, очень хитро.

— Кстати, — сказал он, — я встретил Жирманделя. Госпожа Нантейль промолчала.

— Он ехал в экипаже по бульвару Сен-Мишель. Мне кажется, это был он. Не может быть, чтобы я обознался.

Госпожа Нантейль промолчала.

— Борода белокурая и лицо красное, совсем как у него. У Жирманделя наружность очень приметная.

Госпожа Нантейль промолчала.

— Раньше вы были очень близки с ним, и вы и Фелиси. Вы по-прежнему видаетесь?

Госпожа Нантейль равнодушно ответила:

— С господином Жирманделем? Ну, конечно, ведаемся...

При этих словах Шевалье почувствовал почти что радость. Но г-жа Нантейль обманула его; она не сказала правды. Она солгала из самолюбия и чтобы не выдать семейной тайны, которая, по ее мнению, не могла служить к чести дома. Правдой было то, что Фелиси, без ума влюбленная в Линьи, дала отставку Жирманделю, и судебный пристав, хоть он и был человеком светским, сразу перестал давать деньги. Из любви к дочери, чтобы та не терпела нужды, г-жа Нантейль, в ее возрасте, снова завела любовника. Она возобновила свою старую связь с Тони Мейером, который торговал картинами на углу улицы Клиши. Тони Мейер не мог заменить Жирманделя: он не был щедр. Г-жа Нантейль, женщина расудительная и знавшая цену вещам, не обижалась, и преданность ее была вознаграждена: за те полтора месяца, что она была снова любима, г-жа Нантейль помолодела.

Шевалье, думавший о своем, спросил:

— Жирмандель уже не молод?

— Он не стар, — сказала г-жа Нантейль. — Мужчина в сорок лет еще не стар.

— Он еще сохранил силы?

— Ну, конечно, — спокойно ответила г-жа Нантейль.

Шевалье замолчал и погрузился в думы. Г-жа Нантейль клевала носом. Ее вывела из дремоты служанка, которая принесла солонку и графин, и г-жа Нантейль спросила:

— А вы, господин Шевалье, довольны?

Нет, он не доволен. Критики объединились, чтобы стереть его в порошок. А вот и доказательство того, что это сговор: все они в один голос твердят, будто у него неблагоприятная наружность.

— Неблагодарная наружность, — с возмущением воскликнул он. — Они должны были бы сказать: трагическая наружность... Я вам сейчас объясню, госпожа Нантейль. У меня большие запросы, это меня и губит. Вот хотя бы в «Ночи на двадцать третье октября», которую сейчас репетируют, — я играю Флорентена: шесть реплик, ничтожная роль... Но я беско-

нечно облагородил образ. Дюрвиль в бешенстве. Он не дает мне развернуться.

Госпожа Нантейль, женщина благодушная и добрая, нашла для него слова утешения. Препятствия всегда есть, но в конце концов их преодолеваешь. Дочери тоже пришлось столкнуться с недоброжелательством некоторых критиков.

— Половина первого, — сказал Шевалье, помрачнев. — Фелиси запаздывает.

Госпожа Нантейль предположила, что ее задержала г-жа Дульс.

— Госпожа Дульс обычно провожает ее домой, а она, вы знаете, не любит торопиться.

Шевалье, желая показать, что знает приличия, встал и сделал вид, будто собирается уходить. Г-жа Нантейль удержала его:

— Куда вы? Фелиси должна скоро вернуться. Она будет вам очень рада. Вместе и поужинаете.

Госпожа Нантейль снова задремала, сидя на стуле. Шевалье молча уставился на часы, висевшие на стене, и, по мере того как подвигалась на циферблате стрелка, он чувствовал, как увеличивается жгучая рана у него в груди; каждое покачивание маятника причиняло ему боль, обостряло его ревность, отмечая мгновения, которые Фелиси проводила с Робером де Линьи. Ибо теперь он был уверен, что они вместе. Молчание ночи, прерываемое только глухим шумом экипажей, доносившимся с бульвара, оживляло мучительные картины и думы. Казалось, он вочию видит их.

Разбуженная песней, долетевшей с улицы, г-жа Нантейль встрепенулась и докончила мысль, на которой заснула.

— Я всегда говорю Фелиси: не надо отчаиваться. В жизни бывают тяжелые минуты...

Шевалье кивнул головой.

— Но тот, кто страдает, сам виноват, — сказал он. — Ведь все невзгоды могут кончиться мгновенно, правда?

Она согласилась: ну, конечно, бывают всякие неожиданности, особенно в театре.

Он снова заговорил глубоким, идущим от сердца голосом:

— Не думайте, что я терзаюсь из-за театра... Я уверен, в театре я завоюю себе положение, и не плохое!.. Но что толку быть великим артистом, если ты несчастен? Есть глупые, но ужасные страдания. Боль, которая отдается в висках ровными, монотонными ударами, как тикание этих часов, и доводит до сумасшествия.

Он остановился; мрачно поглядел своими ввалившимися глазами на доспехи, висевшие на стене. Потом опять начал:

— Тот, кто долго терпит такие глупые страдания, такую нелепую боль, попросту трус.

И он ощупал кобуру револьвера, который постоянно носил в кармане.

Госпожа Нантейль слушала его с невозмутимым спокойствием, с тем безмятежным сознательным неведением, которое было спасительным принципом всей ее жизни.

— Самое ужасное для меня — стряпня, — сказала она. — Фелиси все надоело. Не знаешь, что ей приготовить.

Разговор постепенно замер, теперь они обменивались отдельными малозначащими словами. Г-жа Нантейль, служанка, горящий уголь, лампа, тарелка с колбасой тоскливо ожидали Фелиси. Пробыло час. Теперь Шевалье страдал безгранично, но был спокоен. Он больше не сомневался. С улицы громче доносился звук сейчас уже редких экипажей. Вот один экипаж остановился. Несколько минут спустя он услышал, как тихо щелкнул ключ в замке, как открылась дверь, услышал легкие шаги в передней.

Часы показывали двадцать минут второго. Вдруг его охватили волнение и надежда. Это она! Как знать, что она скажет? Может быть, она объяснит свое опоздание самым естественным образом.

Фелиси вошла в столовую — усталая, рассеянная, притихшая, хорошенькая, счастливая; волосы растрепались, глаза блестели, щеки покрывала бледность, губы были воспалены и помяты; казалось, что под

тальмой, которую она запахнула и крепко держит обеими руками, она таит остаток пыла и страсти.

Мать сказала:

— Я уже начала беспокоиться... Ты не разде-
ваешься?

Фелиси ответила!

— Я проголодалась.

Она опустилась на стул у круглого столика. Отки-
нула на спинку тальму и сидела такая тоненькая
в простеньком черном платье, опершись левой ру-
кой о стол, покрытый клеенкой, и тыкая вилкой
в ломтики колбасы.

— Ну как сегодня сошел спектакль, хорошо? —
спросила г-жа Нантейль.

— Очень хорошо.

— Видишь, Шевалье пришел посидеть с тобой.
Как это мило с его стороны, правда?

— А-а, Шевалье. Ну, так чего же он не садится
за стол?

И, не отвечая больше на вопросы матери, она
с жадностью накинулась на еду, очаровательная, как
Церера, пришедшая к старухе *. Потом отодвинула
тарелку и, откинувшись на спинку стула, полузакрыв
глаза, приоткрыв рот, улыбнулась улыбкой, похо-
жей на поцелуй.

Госпожа Нантейль, выпив подогретого вина,
встала:

— Вы меня извините, господин Шевалье, мне надо
подвести итог за день.

В таких словах она обычно объявляла, что идет
спать.

Оставшись один с Фелиси, Шевалье пылко ска-
зал:

— Это глупо! Это малодушно! Но я схожу с ума
от любви к тебе... Слышишь, Фелиси?

— Ну, конечно, слышу! Незачем говорить так
громко.

— Это смешно, правда?

— Нет, это не смешно, это...

Она не кончила.

Он приблизился к ней, пододвинув свой стул.

— Ты возвратилась домой в двадцать пять минут второго. Тебя провожал Линьи, я в этом уверен. Вы приехали вместе, я слышал, как у твоего дома оставили экипаж.

Она ничего не ответила, и он снова заговорил:

— Скажи, что это неправда!

Она молчала. И он повторил настойчиво и умоляюще:

— Скажи, что неправда!..

Если бы она хотела, ей достаточно было сказать слово, кивнуть головой, пожать плечами, и он сразу смягчился бы и почувствовал себя почти счастливым. Но она хранила недоброе молчание. Сжав губы, глядела она в пространство, словно погруженная в мечты.

Он вздохнул и сказал хриплым голосом:

— Дурак, об этом я не подумал! Я был уверен, что ты пойдешь домой, как всегда, с госпожой Дульс или одна... Если бы я только знал, что тебя будет провожать этот субъект!..

— Ну, что бы ты сделал, если бы знал?

— Я бы выследил вас!

Она посмотрела на него сразу посветлевшими глазами:

— Не смей, слышишь, не смей! Если ты хоть раз попробуешь меня выследить и я это узнаю, — не показывайся мне больше на глаза. Прежде всего никто не давал тебе права следить за мной. Вольна я или нет делать, что хочу?

Задышавшись от удивления и гнева, он пробормотал:

— Никто не давал права? Никто не давал права?.. Ты говоришь, никто не давал права?..

— Да, никто не давал... А потом я не хочу!

На ее лице отразилось отвращение.

— Шпионить за женщиной подло. Если ты хоть раз посмеешь проследить, куда я иду, я без долгих разговоров выставлю тебя за дверь.

— Так выходит, что мы уже друг для друга ничего не значим, — не веря своим ушам, пробормотал он, — я для тебя ничего не значу... Мы не принадлежим друг другу... Послушай, Фелиси, вспомни...

Но она в нетерпении перебила его:

— Ну, что я должна вспомнить?

— Фелиси, подумай, ведь ты была моей!

— Не хочешь ли ты, милый мой, чтобы я об этом целый день думала? Это уж чересчур.

Он посмотрел на нее скорее с любопытством, чем с гневом, и сказал горько и вместе с тем мягко:

— Да, ты бессердечна!.. Ну что же, Фелиси, будь бессердечна. Будь бессердечна сколько хочешь! Не все ли равно, раз я тебя люблю? Ты моя, я возьму тебя, возьму и не отдам. Пойми! Не могу же я вечно мучиться, как дурак! Послушай: я все забуду. Мы снова будем любить друг друга. И на этот раз все пойдет хорошо. Ты будешь принадлежать мне, и только мне. Ты знаешь, я человек порядочный. Ты можешь мне верить. Дай мне только стать на ноги, и мы поженимся.

Она посмотрела на него с презрительным удивлением. Он подумал, что она сомневается в его театральной карьере, и, чтобы рассеять ее сомнения, он выпрямился во весь свой длинный рост и сказал:

— Ты не веришь в мою звезду, Фелиси? Напрасно. Я чувствую, что у меня большой драматический талант. Пусть только мне дадут роль, и я покажу, на что я способен. И не только в комедии, но и в драме, и в трагедии... Да, в трагедии. Я умею читать стихи. А этот дар сейчас встречается все реже и реже... Итак, Фелиси, ты не можешь счесть за обиду мое предложение жениться на тебе. Конечно же нет... Мы поженимся, когда это будет возможно и своевременно. Над нами не каплет. А пока мы заживем по-старому, как на улице Мучеников. Ты помнишь, Фелиси, как мы были там счастливы! Кровать была узкая. Но мы говорили: «Что с того». Теперь у меня две прекрасные комнаты на улице святой Женевьевы, позади церкви святого Стефана. На всех стенах у меня твои портреты... И наша узенькая кроватка переехала туда с улицы Мучеников... Послушай, я слишком много выстрадал, дольше страдать я не в силах. Я требую, чтобы ты была моей, только моей.

Пока он говорил, Фелиси взяла с камина карты, на которых ее мать гадала каждый вечер, и разложила их на столе.

— Только моей... Слышишь, Фелиси?

— Оставь меня в покое, я загадала.

— Послушай, Фелиси, я требую, чтобы ты не пускала к себе в уборную этого идиота...

Она рассматривала карты, бормоча:

— Все черные внизу.

— Да, идиота. Он дипломат, а министерство иностранных дел — это прибежище бездарностей.

Он повысил голос.

— Фелиси, ради твоего и моего спокойствия выслушай меня.

— Не кричи: мама спит.

Он сказал глухим голосом:

— Знай, я не хочу, чтобы Линьи стал твоим любовником.

Она повернула к нему свою хорошенькую головку и зло спросила:

— А если он уже мой любовник?

Шевалье поднял стул, шагнул к ней и, посмотрев на нее обезумевшими глазами, рассмеялся надтреснутым смехом.

— Если он уже твой любовник, долго он им не пробудет.

И он опустил стул.

Теперь она испугалась. Она попыталась улыбнуться.

— Ты же понимаешь, что я пошутила.

Ей без большого труда удалось убедить его, что она сказала это, только чтобы наказать его, так как он стал невыносим. Он успокоился. Тогда она начала уверять, что падает от усталости, что хочет спать. Он решил наконец уйти. Уже в дверях он обернулся и сказал:

— Фелиси, во избежание несчастья советую тебе не встречаться больше с Линьи.

Она крикнула ему в приоткрытую дверь:

— Постучи в окно швейцарской, чтобы тебя выпустили.

IV

В зрительном зале было темно, длинные полотнища покрывали ложи и балкон. Огромный чехол, натянутый на партер, был скатан по краям и на свободных креслах виднелись в темноте бледные тени — актеры, машинисты сцены, костюмеры, друзья директора, матери и любовники актрис. То здесь, то там в черных провалах бенеуара поблескивали глаза.

Репетировали в пятьдесят шестой раз «Ночь на 23 октября 1812 г.», нашумевшую драму двадцатилетней давности, которая еще не шла на сцене «Одеона». Актеры сыгрались, и на следующий день была назначена последняя специальная репетиция, та, которую в театрах не столь строгих, как «Одеон», называют «прогоном».

Нантейль не была занята в пьесе. Но у нее нашлись дела в театре, и, так как ей сказали, что Мари-Клэр из рук вон плоха в роли генеральши Мале, она пришла посмотреть на нее и теперь сидела в глубине ложи бенеуара.

Шла центральная сцена второго акта. Декорация изображала мансарду дома умалишенных, где держали генерала-заговорщика в 1812 г. На сцену вышел Дюрвиль, игравший роль генерала Мале *. Он репетировал в костюме: в длинном синем сюртуке, с высоким, закрывавшим уши воротником, в лосинах. Он даже сделал себе грим под воинственного генерала Империи, с гладко выбритым подбородком и маленькими бачками впоследствии унаследованными от героев Аустерлица их сыновьями, представителями июльской буржуазии *. Дюрвиль опустил голову на правую руку, локоть которой подпер левой ладонью, и стоял в гордом сознании неотразимости своего бархатного голоса и ног, обтянутых лосинами.

— «Одному, без денег, из темницы восстать на этого колосса, который повелевает миллионом солдат и повергает в трепет все народы и всех властителей Европы... Ну, что же? Колосс падет».

Из глубины сцены ему подал реплику старик Мори, игравший заговорщика Жакмона:

— «Падая, он может раздавить и нас».

Вдруг в первых рядах раздался чей-то жалобный и возмущенный голос.

Это не выдержал автор — семидесятилетний старик с молодой кипучей душой.

— Кто это там, в глубине сцены? Это не актер, а камин. Уж не прикажете ли позвать печников и каменщиков, чтобы сдвинуть вас с места... Да шевелитесь же, Мори, черт вас возьми!

Мори повторил:

— «Падая, он может раздавить и нас... Я знаю, что это будет не по вашей вине, генерал. Ваше воззвание превосходно составлено. Вы обещаете конституцию, свободу, равенство... Это макиавеллизм!» *

Дюрвиль ответил:

— «Макиавеллизм чистой воды. О, неисправимая нация! Они собираются нарушить клятвы, которых не давали, и мнят себя учениками Макиавелли, потому что лгут... Зачем вам неограниченная власть, глупцы?..»

Его прервал резкий окрик автора:

— Не то, не то, совсем не то, Довиль.

— У меня не то? — с удивлением спросил Дюрвиль.

— Да, у вас, Довиль, вы ни слова не понимаете из того, что говорите.

Из желания унижить комедиантов, сбить с них спесь, этот человек, за всю свою жизнь ни разу не забывший, как зовут молочницу или консьержа, не давал себе труда запомнить фамилии самых известных актеров.

— Довиль, голубчик, повторите это место.

Автор играл все роли. Говорил то басом, то нежным голосом; вздыхал, рычал, смеялся, плакал, был то весел, то мрачен, резок, ласков, непреклонен, льстив. Подобно герою народной сказки, он последовательно превращался в огонь, в поток, в женщину, в тигра.

За кулисами актеры обменивались пустыми отрывистыми фразами. При всей вольности речи, легкости нравов, фамильярности в обращении они соблюдали ту степень лицемерия, которая необходима людям, чтобы смотреть в лицо друг другу без отвращения и ужаса.

Можно сказать, что в этой кузнице искусства, работавшей сейчас на полном ходу, царила видимость согласия и единства, чувство общности, созданное мыслью автора, неважно какой — возвышенной или ничтожной, дух порядка, преображающий соперничество и злопахательство в добрую волю и дружеское соревнование.

При мысли о том, что Шевалье в театре, недалеко от той ложи, где сидит она, Нантейль становилось как-то не по себе. Она не видела его уже третий день, с той самой ночи, когда он напугал ее своими неясными угрозами, и страх этот не проходил. «Фелиси, во избежания несчастья советую тебе не встречаться больше с Линьи» — что это значит? Она задумалась не на шутку. Еще третьего дня она считала его самым заурядным, незначительным человеком, ей казалось, что она как следует разглядела его, знает наизусть, а теперь он представлялся ей таинственным и полным неожиданностей! Она вдруг поняла, что не знает Шевалье. На что он способен? Она старалась разгадать его. Что он сделает? Вероятно, ничего. Все мужчины, когда их бросишь, угрожают, но не приводят свои угрозы в исполнение. А вдруг Шевалье не такой, как все? Его называли ненормальным. Но это была просто манера выражаться. А теперь она сомневалась: может быть, он и вправду не совсем нормален. Сейчас она с непритворным интересом старалась понять его. Фелиси была значительно умнее Шевалье и никогда не считала его умным, но он не раз удивлял ее своим упорством. Она вспоминала некоторые его поступки, свидетельствовавшие о странной целеустремленности. Он был ревнив по натуре, но понимал многое. Он знал, на что приходится идти женщине, чтобы завоевать себе положение в театре или хорошо одеться; но он не хотел, чтобы ему изменяли по любви. Способен ли он на преступление, на непоправимый поступок? Вот этого она не могла решить. Она помнила, какое при страстие питает Шевалье к оружию. Когда она приходила к нему на улицу Мучеников, он всегда бывал занят разборкой и чисткой старого ружья, хотя не был охотником. Он хвалился, что он меткий стрелок, не

расставался с револьвером, но что это доказывает? Никогда раньше не думала она о нем так много.

Итак, Нантейль одолевала беспокойные мысли, когда к ней в ложу вошла Женни Фажет, тоненькая и хрупкая, — муза Альфреда Мюссе, — портившая ночами свои голубые глаза, редактируя хронику светской жизни и статьи о модах. Она была посредственной актрисой, но ловкой, чрезвычайно трудоспособной женщиной и лучшей подругой Фелиси. Каждая отдавала должное достоинствам другой, признавая, что у каждой свои достоинства, и обе действовали сообща, как две великие державы «Одеона». И все же Фажет всеми силами старалась отбить Линьи у своей подруги, и не потому, что он ей нравился, — она была бесчужденной деревяшкой и презирала мужчин, — но она считала, что связь с дипломатом сулит ей некоторые выгоды, а главное — не хотела упустить случай проявить свой цинизм. Нантейль это знала. Она знала, что все ее подруги — Эллен Миди, Дюверне, Эртель, Фаллампэн, Стелла, Мари-Клэр — спят и видят отбить у нее Линьи. Она нисколько не сомневалась, что Луиза Даль, которая одевалась скромно, будто какая-нибудь учительница музыки, и всегда бежала по улице, словно боясь опоздать на омнибус, соблазняет Линьи своими стройными ногами и преследует его томными взглядами нищей Пасифаи *, хотя эта самая Луиза Даль производила впечатление женщины весьма строгих правил, даже когда она как бы невзначай задевала мужчину или вызывая улыбалась ему. А как-то в коридоре она застала почтенную старушку Раво, которая при виде Линьи обнажила то, чем еще могла похвастать — свои великолепные руки, славившиеся целых сорок лет.

Фажет с отвращением махнула затянутой в перчатку рукой в сторону сцены, на которой жестикулировали Дюрвиль, старик Мори и Мари-Клэр.

— Ты только посмотри на них. Ну точно утопленники под водой играют.

— Это потому, что нет верхнего освещения, — заметила Нантейль.

— Да нет же. Здесь всегда кажется, будто сцена под водой. И подумать только, что сейчас и я окажусь в этом аквариуме... Нантейль, не застрейвай в «Одеоне» больше, чем на один сезон. Здесь потонешь. Да ты посмотри на них, посмотри!

Дюрвиль для пушей важности и мужественности уже не говорил, а чревовещал.

— «Мир, отмена косвенных налогов и рекрутского набора, прибавка жалованья солдатам; в случае недостатка денег — чеки на банк; вовремя розданные награды и повышения — вот самые верные средства».

В ложу вошла г-жа Дульс. Распахнув ротонду на жалком кроличьем меху, она извлекла на свет божий растрепанную книжку.

— Это письма госпожи де Севиньи *, — сказала она. — Знаете, на той неделе я собираюсь выступить с чтением самых замечательных писем госпожи де Севиньи.

— Где? — спросила Фажет,

— В зале Ренар.

По всей вероятности, это был малоизвестный зал, где-нибудь на окраине. Нантейль и Фажет не слыхали о нем.

— Я устраиваю это чтение в пользу трех сироток, оставшихся после покойного артиста Лакура, этой зимой скончавшегося от чахотки в ужасающей нищете. Я рассчитываю, что вы, душечки, поможете распространить билеты.

— А все-таки Мари-Клэр смешна! — сказала Нантейль.

Кто-то постучал в дверь ложи. Это был Константен Марк, автор пьесы «Решетка», репетиции которой должны были начаться со дня на день, и ему, хотя он и был сельским жителем и привык к лесу, театр стал необходим, как воздух. Нантейль должна была играть главную роль, и он смотрел на нее с волнением, как на драгоценную амфору, предназначенную стать носительницей его мысли.

А на сцене между тем хрипел Дюрвиль:

— «И если Францию можно спасти только ценою нашей жизни и чести, я скажу, как говорили герои

девяносто третьего года *»: «Пусть погибнет намять о нас!»

Фажет показала пальчиком на чванного господина в первом ряду, который сидел, опершись подбородком на трость.

— Как будто там барон Деутц?

— Можешь не сомневаться, — отозвалась Нантейль. — Эллен Миди занята в пьесе. В четвертом действии. Барон Деутц пришел, чтобы все его видели.

— Пойдите, девочки, я сейчас проучу этого невежу: он встретился со мной вчера на площади Согласия и не поклонился.

— Барон Деутц?.. Он тебя не видел!..

— Отлично видел. Но он шел не один. Я сейчас ему нос утру; вот увидите.

Она тихонько окликнула его:

— Деутц! Деутц!

Барон подошел и с самодовольной улыбкой облокотился на барьер ложи.

— Скажите, господин Деутц, почему вы не поклонились мне, когда я вас вчера встретила, верно вы были в очень уж неподходящей компании?

Он с удивлением посмотрел на нее.

— Я был с сестрой.

— Ах, так!..

А на сцене Мари-Клэр, повиснув на шее у Дюрвиля, восклицала:

— «Иди! Победи или погибни. Все равно, плох или хорош будет исход, слава тебе обеспечена. И что бы ни случилось, я буду достойной герою женой».

— Благодарю вас, госпожа Мари-Клэр! — сказал Прадель.

В эту минуту на сцену вышел Шевалье, и автор тут же схватился за волосы и разразился воплями:

— Какой к черту это выход! Это не выход, а крах, катастрофа, стихийное бедствие! Господи боже мой! Если бы на сцену обрушился болид, аэролит, кусок луны, это не было бы так ужасно!.. Беру обратно свою пьесу!.. Шевалье, давайте еще раз ваш выход.

Мишель, художник, который делал эскизы костюмов, молодой блондин с мистической бородой, сидел в

первом ряду галереи на ручке кресла. Он нагнулся к уху декоратора Роже:

— Подумать только, что автор уже в пятьдесят шестой раз так обрывает Шевалье.

— Знаешь, ведь Шевалье из рук вон плох, — решительно заявил Роже.

— Совсем он не так плох, — снисходительно заметил Мишель. — Но у него всегда такой вид, словно он смеется, а что может быть хуже для актера! Я его еще мальчиком знал, на Монмартре. В школе учителя спрашивали: «Чего вы смеетесь?» А он не смеялся, ему было совсем не до смеха: на него целый день сыпались колотушки. Родители хотели, чтоб он поступил на химический завод, а он мечтал о театре и проводил все время на Монмартре в мастерской художника Монталана. Монталан работал тогда дни и ночи над своей «Смертью Людовика Святого», огромным полотном, заказанном ему для собора в Карфагене. Вот как-то Монталан и предложил ему...

— Нельзя ли потише! — крикнул Прадель.

— ...и предложил ему: «Шевалье, раз ты все равно без дела сидишь, попозируй мне для Филиппа Смелого» *. — «Ладно», — сказал Шевалье. Монталан посадил его в позу человека, подавленного горем. Кроме того, он налепил ему на щеки две слезы величиной со стекло в очках. Закончив картину, он отправил ее в Карфаген и заказал полдюжины шампанского. Три месяца спустя Монталан получил письмо от отца Корнемюза, главы французской миссии в Тунисе, с сообщением, что его преосвященство кардинал-архиепископ отверг картину «Смерть Людовика Святого» из-за непристойного выражения лица Филиппа Смелого, который смеется, глядя, как умирает на соломе святой король — его отец. Монталан не понимал, в чем дело, он был вне себя и хотел судиться с кардиналом-архиепископом. Он получил картину, распаковал ее, стал разглядывать в мрачном молчании и вдруг воскликнул: «А ведь правда, кажется будто Филипп Смелый радуется. Ну и дурак же я, дурак! Написал его с Шевалье, а он, скотина, вечно скалит зубы!»

— Да замолчите же! — рявкнул Прадель.

— Прадель, будьте другом, выгоните вон всю эту публику! — крикнул автор.

Он не переставал делать указания:

— Трувиль, отойдите немного назад, вот так... Шевалье, вы подходите к столу, берете бумаги, одну за другой и говорите: «Сенатское решение... очередные задачи..., депеши в департаменты... воззвание...», Поняли?

— Да, понял.. «Сенатское решение... очередные задачи... депеши в департаменты... воззвание...»

— Ну же, ну, Мари-Клэр, больше жизни, голубушка, черт вас возьми! Ну... Так, очень хорошо... Повторите; очень, очень хорошо, смелее!.. Вот так удружила; все к черту пошло!..

Он позвал заведующего сценой:

— Ромильи, дайте свет. Ни черта не видно. Довиль, голубчик, чего вы перед суфлерской будкой торчите? На шаг отойти боитесь! Поймите же раз навсегда, вы не статуя генерала Мале, а генерал Мале собственной персоной, моя пьеса не каталог музея восковых фигур, а трагедия, живая, хватающая за душу, исторгающая слезы и...

Он не окончил и зарыдал, уткнувшись в платок. Затем завопил:

— Черт вас возьми! Прадель! Ромильи! Куда запропастился Ромильи? Ах, вот он, негодник... Ромильи, я же вам говорил, что печку надо пододвинуть к слуховому окну. Почему вы не пододвинули? О чем вы думаете, голубчик?

Репетицию пришлось прервать из-за неожиданного серьезного затруднения. Шевалье, снабженный бумагами, от которых зависела судьба Империи, должен был бежать из тюрьмы через слуховое окно. Мизансцена еще не была окончательно утверждена — до установки декорации этого нельзя было сделать. И теперь оказалось, что декорации плохо рассчитаны и до слухового окна нельзя добраться.

Автор вскочил на сцену.

— Ромильи, голубчик, печка не на месте. Как прикажете Шевалье вылезти через слуховое окно? Сейчас же передвиньте печь направо.

— Хорошо, — сказал Ромильи, — но мы загородим дверь.

— Как, загородим дверь?

— Ну да, загородим.

Директор театра, заведующий сценой, машинисты с мрачным вниманием уставились на декорации, автор молчал.

— Не беспокойтесь, мэтр, — сказал Шевалье. — Ничего не надо менять. Я выпрыгну.

Он влез на печку, изловчился, и, хотя это казалось невозможным, ему действительно удалось ухватиться за край слухового окна, притянуться и подняться на локтях.

На сцене, за кулисами и в зале послышался шепот восхищения: Шевалье всех поразил силой и ловкостью.

— Очень хорошо, Шевалье! — крикнул автор. — Отлично, голубчик... Ну и ловок же, бестия, настоящая обезьяна! Никто из вас на это не способен. Если бы все равнялись по Флорентену, пьесе был бы обеспечен шумный успех.

Нантейль ощутила почти что восхищение. На какой-то миг ей почудилось, что Шевалье больше, чем человек, что он человек и горилла одновременно, и страх, который он ей внушал, непомерно возрос. Она его не любила, она никогда его не любила; она его не желала; уже давно прошло то время, когда он вызывал в ней желание, а последние дни она не представляла себе наслаждения ни с кем, кроме Линьи; но если бы в эту минуту она очутились наедине с Шевалье, у нее не было бы сил противиться ему и она поспешила бы смягчить его гнев своей покорностью, как смягчают гнев того, кто наделен сверхъестественной властью.

Автор не уходил со сцены и, не обращая внимания на шум переставляемых декораций, на гостиную в стиле ампира, спускавшуюся с колосников, на передвижение боковых кулис, командовал актерами и статистами, давал советы, показывал.

— Послушайте, вы, толстуха, пирожница, мадам Раво, неужели вы не слышали, как кричат на Елисейских полях разносчицы: «А вот сахарные вафли! Кому вафель, господа! Они же нараспев кричат. К завтраш-

нему дню обязательно выучите мотив... Ну а ты, барабанщик, дай-ка сюда барабан: сейчас покажу, как дробь выбивать, черт бы тебя подрал!.. Фажет, деточка, чего ты полезла на бал к министру юстиции, раз у тебя чулки не с золотыми стрелками? Ты бы еще вязаные шерстяные чулки напялила... Нет, больше я моих пьес в этот театр не даю... Где полковник десятой когорты? Ты?.. Ну, так вот что, голубчик, твои солдаты маршировать не умеют, переваливаются с ноги на ногу... Мадам Мари-Клэр, подойдите поближе, я вас научу делать реверанс.

Можно было подумать, что у него сто глаз, сто ртов, а уж рук и не счесть сколько!

В зрительном зале Ромильи поздоровался с г-ном Гомбо, членом Академии нравственных и политических наук, своим человеком в «Одеоне».

— Что хотите говорите, господин Гомбо, возможно здесь не все факты исторически точны, но ведь это театр.

— Заговор генерала Мале, — ответил г-н Гомбо, — все еще остается и, вероятно, надолго останется исторической загадкой. Автор пьесы воспользовался невыясненными подробностями, чтобы ввести драматический элемент. Но для меня не подлежит никакому сомнению, что генерал Мале, хоть он и присоединился к роялистам, сам был республиканцем и стремился к восстановлению народной власти. Во время допроса он произнес глубокие, незабываемые слова. Когда председатель военного совета спросил его: «Кто ваши сообщники?» — Мале ответил: «Если бы заговор удался, — вся Франция и вы сами».

К ложе, где сидела Нантейль, подошел старый скульптор, почтенный и прекрасный, как сатир античного мира; увлажненным взором, с веселой улыбкой на устах смотрел он, опершись о барьер ложи, на сцену, в данную минуту полную движения, взбудораженную.

— Пьеса вам нравится, мэтр? — спросила Нантейль.

И скульптор, которого больше всего на свете интересовали кости, сухожилия и мускулы, ответил:

— Очень, очень нравится, мадемуазель! В этой пьесе занята одна молоденькая актриса — Миди, а у нее ключицы — просто заглядение...

Скульптор пальцем в воздухе нарисовал ее ключицы. У него даже слезы на глаза навернулисьсь.

В ложу попросил разрешения войти Шевалье. Он был обрадован и не столько своим неожиданным успехом, сколько тем, что видит Фелиси. В своем безумии он вообразил, что она пришла ради него, что она его любит, что она опять будет принадлежать ему.

Она боялась его и, так как была трусихой, поспешила к нему подольститься:

— Поздравляю, Шевалье. Это просто потрясающе. Ты поразил нас. Можешь мне поверить. Я не одна так говорю. Фажет находит, что ты неподражаем.

— Серьезно? — спросил Шевалье.

Эта минута была одной из счастливейших в его жизни.

Вдруг с пустынных высот третьего яруса раздался пронзительный голос, прорезавший воздух, как свисток локомотива:

— Вас не слышно, дети мои: говорите громче и произнесите более четко.

И высоко под куполом на полутемной галерке появился автор, маленький-премаленький.

Теперь голоса актеров, столпившихся на авансцене вокруг игроков, зазвучали более явственно.

— Император даст войскам отдохнуть три недели в Москве; а потом быстро, как орел, устремится на Санкт-Петербург.

— Пики, трефы, козырь, у меня две взятки.

— Там мы перезимуем, а весной через Персию проникнем в Индию — и тогда конец британскому могуществу.

— Тридцать шесть в бубнах.

— А у меня туз, король, дама и валет одной масти.

— Кстати, господа, что вы скажете об императорском указе, помеченном Кремлем, относительно французских актеров? Да, теперь конец всем ссорам, мадемуазель Марк и мадемуазель Левер! *

— Посмотрите-ка, как идет Фажет голубое платье в стиле Марии-Луизы, с отделкой из шиншиллы, — сказала Нантейль.

Госпожа Дульс извлекла из-под своих мехов растрепанную пачку билетов, которые она, по-видимому, усиленно старалась всем навязать.

— Маэстро, вы, верно, слышали, — сказала она Константену Марку, — что в будущее воскресенье я выступаю с чтением лучших писем госпожи де Севиньи, с комментариями, на вечере в пользу трех бедных сироток скончавшегося нынешней зимой артиста Лакура, смерть которого мы все оплакиваем.

— Талантливый был актер? — спросил Константен Марк.

— Какое там! — сказала Нантейль.

— В таком случае почему же плакать о нем?

— О мэтр, не прикидывайтесь бессердечным, — вздохнула г-жа Дульс.

— Я никем не прикидываюсь. Просто меня удивляет: почему мы придаем такое значение жизни людей, которые нам нисколько не интересны. Впечатление такое, словно жизнь сама по себе нечто ценное. А природа, наоборот, учит нас, что нет ничего неизменнее и презреннее жизни. Раньше люди не были так испорчены сентиментальностью. Каждый считал бесконечно ценной свою личную жизнь, но не чувствовал никакого уважения к жизни ближнего. Тогда люди были ближе к природе: мы созданы, чтобы пожирать друг друга. Но род людской слаб, нервозен, лицемерен, и нам нравится тайное каннибальство. Пожирая друг друга, мы разглагольствуем о том, что жизнь священна, и не смеем признаться, что жизнь — это убийство.

— Жизнь — это убийство, — безотчетно повторил Шевалье, погруженный в свои думы.

Потом он стал развивать туманные идеи.

— Убийство и резня, возможно, что это и так! Но только резня забавная и потешное убийство. Жизнь — смехотворная катастрофа, внушающий ужас комизм, карнавальная маска на окровавленных щеках. Вот что такое жизнь для актера; для актера на сцене и для актера в действии!

Встревоженная Нантейль старалась уловить смысл в его бессвязных словах.

А он возбужденно продолжал:

— Жизнь — это еще и другое: это цветок и нож, сегодня — это слепая ярость, а завтра поэзия, это ненависть и любовь, сладостная, восхитительная ненависть, жестокая любовь.

— Господин Шевалье, — самым спокойным тоном спросил его Константен Марк, — вам не кажется, что убивать вполне естественно и что только страх быть убитым удерживает нас от убийства?

Шевалье ответил задумчиво глухим голосом:

— Нет, конечно! Меня страх быть убитым не удержал бы от убийства. Я не боюсь смерти. Но я уважаю чужую жизнь. Я человек, тут ничего не поделаешь. С некоторых пор я много думал над вопросом, который вы мне сейчас задали. Я размышлял над ним и дни и ночи, и теперь я знаю, что не могу убить.

Тут Нантейль, сразу повеселевшая, окинула его презрительным взглядом. Она его больше не боялась и не могла ему простить тот страх, что он нагнал на нее.

Она встала.

— Прощайте, у меня голова болит... До завтра, господин Марк.

И она выпорхнула из ложи.

Шевалье вышел за ней следом в коридор, спустился по артистической лестнице и догнал ее у швейцарской.

— Фелиси, давай пообедаем сегодня вместе где-нибудь в кабачке. Для меня это будет такою радостью! Хочешь?

— Вот еще что выдумал? Нет, конечно!

— Почему ты не хочешь?

— Оставь меня в покое, ты мне надоел.

Она хотела уйти. Он удержал ее.

— Я так тебя люблю! Не мучай меня.

Она подошла к нему вплотную и, презрительно вздернув верхнюю губу, прошипела сквозь зубы:

— Конечно, конечно, конечно! Слышишь. Ты мне поперек горла встал.

Тогда он сказал очень мягко, очень серьезно:

— Мы разговариваем сейчас в последний раз. Слушай, Фелиси, я должен тебя предупредить, пока не произошло катастрофы. Я знаю, насильно мил не будешь. Но я не хочу, чтобы ты любила другого. В последний раз советую тебе не встречаться больше с господином де Линьи. Я не позволю, чтобы ты принадлежала ему.

— Ты не позволишь, ты? Жаль мне тебя!

Он ответил еще мягче:

— Сказал и сделаю. Того, что хочешь, всегда добьешься; только надо уметь хотеть.

V

Придя домой, Фелиси разрыдалась. Перед глазами у нее стоял Шевалье, словно моливший о милостыни. Такой жалобный голос и такое страдальческое выражение лица она встречала у измученных нищих, когда ехала в Антибы к богатой тетке, куда ее увезла на зиму мать, опасавшаяся за ее легкие. Фелиси презирала в Шевалье именно эту его мягкость и спокойствие. Но ее мучило воспоминание о его лице и голосе. Она не могла есть. У нее сжималось горло. Ей не хватало воздуха. Вечером смертельная тоска стеснила ей грудь, и она испугалась, что умрет. Она уже два дня не видалась с Робером и подумала, что поэтому так изнервничалась. Было девять часов. Она решила, что застанет его еще дома, и надела шляпку.

— Мама, мне сегодня вечером опять надо в театр. Я ухожу.

Из уважения к матери она прибегала к таким туманным объяснениям.

— Ступай, девочка, только возвращайся не слишком поздно.

Линьи жил с родителями в прелестном особняке на улице Берне, где у него была отдельная квартирка в мансарде с круглыми окнами, которую он называл своим «Версалем». Фелиси попросила швейцара сказать Роберу, что его дожидаются на улице в эки-

паже. Линьи не любил, чтобы в родительском доме его посещали женщины. Его отец, дипломат, сделавший карьеру, был очень занят внешними делами Франции и жил в полном неведении того, что творится у него дома. Но г-жа де Линьи строго следила за тем, чтобы у них в семье соблюдались приличия. И сын старался удовлетворять ее требования, которые касались только внешней формы и не затрагивали сущности. Она несколько не мешала ему любить, кого он хочет, и только в минуты особой откровенности намекала, что молодому человеку полезно более близкое знакомство с дамами общества. Поэтому Робер отклонял визиты Фелиси на улицу Берне. Он снял на бульваре Вилье небольшой домик, где они могли спокойно встречаться. Но на этот раз, после двух дней, проведенных вдали от нее, он очень обрадовался ее неожиданному визиту и сейчас же вышел на улицу.

В экипаже они сидели, тесно прижавшись друг к другу, лошаденка не спеша трусила по улицам и бульварам, сквозь сумрак и снег, и мгла окутывала их любовь.

— До завтра, — сказал он, когда они подъехали к ее дому.

— Да, до завтра, на бульваре Вилье. Приходи пораньше.

Он подал ей руку, чтоб помочь выйти из экипажа. Вдруг она откинулась назад.

— Вон там, вон там! Под деревьями... Он нас видел... Он нас поджидал.

— Кто?

— Мужчина... незнакомый мужчина.

Она узнала Шевалье.

Она вышла из экипажа и, прячась под шубу Робера, дождалась, пока откроют дверь. Но и потом она не отпустила его.

— Робер, проводи меня наверх. Я боюсь.

Немного досадуя, поднялся он за нею по лестнице.

Шевалье ждал Фелиси до часу ночи, коротая время с г-жой Нантейль в тесной столовой, которую украшали доспехи Жанны д'Арк. Потом он спустился вниз и сторожил ее на улице; увидев остановившийся у

крыльца экипаж, он спрятался за дерево. Шевалье был уверен, что она вернется с Линьи; но, когда он увидел их вместе, ему показалось, будто разверзлась земля, и, чтоб не упасть, он схватился за ствол. Он дождался Линьи; увидел, как тот вышел из дому и, запахнувшись в шубу, направился к экипажу. Шевалье шагнул к нему, остановился, а затем быстро пошел по бульвару.

Он шел, подгоняемый дождем и ветром. Ему стало жарко, он снял шляпу и с удовольствием почувствовал на лбу холодные капли. В его сознании смутно отражались мелькающие мимо дома, деревья, стены, огни; он шел, погруженный в думы.

Сам не зная, как он туда попал, Шевалье очутился на почти незнакомом ему мосту, посреди которого стояла огромная женская статуя. Теперь он был спокоен, он принял решение. Его уже давно волновала одна мысль, но теперь она засела у него в мозгу, как гвоздь, и захватила его целиком. Он даже не вникал в нее. Он холодно соображал, как лучше осуществить задуманное. Он шел куда глаза глядят, поглощенный своей мыслью, рассеянный, спокойный, как математик.

На мосту Искусств он заметил, что к нему пристала собака, большая лохматая дворняга с бесконечно грустными ласковыми глазами. Он заговорил с ней:

— У тебя нет ошейника, ты несчастна. Ничем не могу тебе помочь, бедняга.

В четыре часа утра он очутился на проспекте Обсерватории. Увидев знакомые дома на бульваре Сен-Мишель, он почувствовал щемящую боль и быстро повернул обратно к Обсерватории. Собака отстала. Около Бельфорского льва Шевалье остановился перед глубокой канавой, пересекавшей дорогу. У насыпи под брезентом, натянутым на четыре колышка, сидел перед жаровней старик. Уши его шапки из кроличьего меха были спущены; огромный нос пылал. Он поднял голову, слезящиеся глаза при отблеске пламени казались сплошь белыми, без радужной оболочки. Он набивал маленькую трубку дешевым табаком, смешанным с хлебными крошками; табаку не хватило и на полтрубки.

— Угостить табачком, старик? — спросил Шевалье, протягивая ему кiset.

Старик ответил не сразу. Он соображал туго и не привык к вежливому обращению.

Наконец он открыл беззубый рот.

— Отказываться не приходится, — сказал он.

И приподнялся. Одна нога у него была обута в старый башмак, другая обмотана тряпкой. Он принялся медленно набивать трубку своими корявыми пальцами. Шел мокрый снег.

— Можно? — спросил Шевалье.

И подлез под брезент к старику. Время от времени они перекидывались словом, другим.

— Отвратительная погода!

— По времени и погода. Зима — она суровая. Летом лучше.

— Так вы ночным сторожем работаете, приятель?

Старик отвечал на вопросы охотно. Сперва в горле у него что-то долго негромко свистело и булькало, и только потом раздавались слова:

— Сегодня одно, завтра другое делаю. Я за всякую работу берусь.

— Вы не парижанин?

— Я родом из Крезы. Работал землекопом в Вогезах. Я сбежал в тот год, как туда пруссаки и всякие другие народы пришли... * Ты, парень, может, слышал про прусскую войну?

Он долго молчал, потом спросил:

— Ты что же это, парень, без работы валандаешься? В мастерскую не идешь?

— Я драматический актер, — сказал Шевалье.

Старик не понял и спросил:

— Мастерская-то твоя где?

Шевалье захотелось похвастаться.

— Я играю на сцене в большом театре, — сказал он. — Я один из главных актеров «Одеона». Вы слышали про «Одеон»?

Сторож покачал головой. Он не слышал про «Одеон». После очень долгого молчания он опять открыл свой беззубый рот:

— Так, так, парень, ты, значит, гуляешь. Не хочешь обратно в мастерскую? Верно ведь?

Шевалье ответил:

— Почитайте послезавтра газету. Там будет напечатана моя фамилия.

Старик постарался понять смысл его слов; но это было ему не под силу, он отказался от такой задачи и вернулся к своим привычным думам:

— Вот так без работы иной раз несколько недель, а то и месяцев прогуляешь...

Когда стало светать, Шевалье встал и ушел. Небо было молочно-белого цвета. Колеса тяжело громыхали по мостовой. В свежем воздухе то тут, то там раздавались голоса. Снег перестал. Шевалье шел куда глаза глядят. Он даже будто повеселел, видя, как возрождается жизнь. На мосту Искусств он долго смотрел, как течет Сена, затем пошел дальше. На Гаврской площади он увидел открытое кафе. Стекла на фасаде атели в слабом свете зари. Официанты посыпали песком пол, вымощенный плитками, и расставляли столики. Он сел.

— Человек, рюмку полынной!

VI

Миновав укрепления, Фелиси и Робер ехали вдоль безлюдного бульвара, крепко прижавшись друг к другу.

— Любишь свою Фелиси, да? Скажи!.. Разве тебе не приятно, что твою любимую обожает публика, что ей хлопают, пишут о ней в газетах? Мама наклеивает в альбом рецензии обо мне. Альбом уже заполнен.

Он ответил, что оценил ее еще до того, как она начала пользоваться успехом. И действительно, их связь началась, когда она впервые, еще скромной дебютанткой, выступала в «Одеоне» в возобновленной малоизвестной пьесе.

— Когда ты сказал, что хочешь меня, я не томила тебя долго, а? Упрашивать не пришлось. Скажи, ведь я поступила правильно? Ты слишком умен и не осу-

дишь меня за то, что я не ломалась. С первого же раза, как я тебя увидела, я знала, что буду твоей. Так стоило ли тянуть? И я не жалею. А ты?

Экипаж остановился неподалеку от укреплений перед садом, обнесенном решеткой.

Решетка, давно уже не крашенная, завершала выложенную камешками стену, довольно низкую и довольно широкую, так что на нее могли взобраться дети. Ржавые острия решетки, до половины забранной зубчатой полосой толя, торчали на высоте трех метров от земли. В середине между двумя каменными столбами, увенчанными чугунными вазами, в решетке была двухстворчатая калитка, цельная внизу, с внутренней стороны снабженная источенными временем ставнями.

Они вышли из экипажа. В тумане вырисовывались легкие остовы деревьев, посаженных в четыре ряда вдоль бульвара. В охватившей их беспредельной тишине замирал шум колес их экипажа, который ехал обратно в Париж, да от заставы приближался стук копыт.

Она сказала, поживаясь:

— Как грустно в деревне!

— Но какая же это деревня — бульвар де Вилье, дружок?

Он никак не мог справиться с калиткой, замок скрипел.

Фелиси сказала с раздражением:

— Да открой ты ее, ради бога: этот скрип мне на нервы действует.

Она заметила, что экипаж, приехавший из Парижа, остановился у этого же дома, деревьев за десять от них; она посмотрела на тощую, вспотевшую лошадь, на обтрепанного кучера и спросила:

— Это еще что за экипаж?

— Это извозчик, милая.

— Почему он тоже здесь остановился?

— Он остановился не здесь. Он остановился рядом у соседнего дома.

— Рядом нет дома, там пустырь.

— Ну что ж, тогда, значит, он остановился у пустыря. Что я тебе еще могу сказать?..

— Никто из экипажа не вышел.

— Возможно, извозчик поджидает седока.

— У пустыря?

— Ну, конечно, милая... Вот беда, замок заржавел.

Прячась за деревьями, она дошла до того места, где остановился экипаж, затем вернулась к Линьи, который справился наконец с калиткой.

— Робер, шторы спущены.

— Значит, там влюбленные.

— Тебе не кажется странным этот экипаж?

— Красоты в нем мало. Но извозчицьи экипажи все такие. Входи.

— А вдруг это кто-нибудь следит за нами?

— Кому охота за нами следовать?

— Почему я знаю... Может быть, какая-нибудь из твоих женщин.

Но она говорила не то, что думала.

— Входи же, милая.

— Запри как следует калитку, Робер, — сказала она, войдя.

Перед ними расстилалась овальная лужайка. В конце сада стоял самый обычный дом — крыльцо в три ступени, оцинкованные маркизы, шесть окон, черепичная крыша.

Линьи снял этот дом на год у старика приказчика, которому надоело, что всякие праздношатающиеся таскали у него кур и кроликов. Посыпанные песком дорожки огибали лужайку с обеих сторон и вели к крыльцу. Они пошли по правой дорожке. Под ногами скрипел песок.

— Опять госпожа Симоно забыла закрыть ставни, — сказал Робер.

Госпожа Симоно была жительница Нельи, каждое утро приходившая прибирать квартиру.

Сухое, словно мертвое, иудино дерево дотянулось черным изогнутым суком до самой маркизы.

— Не нравятся мне это дерево, — сказала Фелиси, — у него не ветки, а какие-то огромные змеи. Одна прямо в спальню к нам лезет.

Они вошли по ступенькам. И пока он отыскивал на связке нужный ключ, Фелиси положила голову ему на плечо.

Фелиси раздевалась со спокойной гордостью, что придавало ей особое очарование. Она так безмятежно любовалась своей наготой, что сорочка у ее ног казалась белым павлином.

И когда Робер увидел ее голой и светлой, как ручьи и звезды, он сказал:

— Тебя по крайней мере не приходится упрашивать!.. Странно, есть женщины, которые сами, не дожидаясь просьб, идут тебе навстречу во всем, что только возможно, и в то же время не хотят, чтобы ты видел вот хоть столечко их голого тела.

— Почему? — спросила Фелиси, наматывая на палец легкие нити своих волос.

У Робера де Линьи был большой опыт по части женщин. И все же он не почувствовал, сколько лукавства в ее вопросе. Он был воспитан на принципах добродетели и, отвечая Фелиси, вдохновился преподанными ему уроками.

— Вероятно, это зависит от воспитания, — сказал он. — От религиозных взглядов, от врожденной стыдливости, которая остается даже, когда...

Так отвечать, конечно, не следовало, и Фелиси передернула плечами, уперла руки в свои гладкие бедра и перебила его:

— Что за наивность! Попросту они плохо сложены... Воспитание! Религия! Я прямо киплю, когда слышу такие слова... что, я хуже других воспитана? Что, я меньше их в бога верю?.. Ты мне скажи, Робер, сколько ты видел хорошо сложенных женщин? Пересчитай-ка по пальцам... Да, очень многие женщины никогда не обнажают ни плеч, ни иного прочего! Вот хотя бы Фажет, она не показывается даже женщинам: когда она надевает чистую рубашку, она старую придерживает зубами. И будь я сложена, как она, я, конечно, тоже так бы делала.

Она замолчала, умиротворилась и со спокойным самодовольством провела руками по талии, по бедрам.

— Главное нигде ничего лишнего, — сказала она с гордостью.

Она знала, как выигрывает ее красота от изящной худощавости ее форм.

Сейчас она лежала, запрокинув голову, потонувшую в светлых волнах распутившихся волос, лениво вытянув хрупкое тело, слегка приподнятое подушкой, соскользнувшей к бедрам; одна нога поблескивала вдоль края кровати, и заостренная ступня заканчивала ее наподобие меча. Яркий огонь, горевший в камине, золотил неподвижное тело, на котором трепетали свет и тени, одевая его великолепием и тайной, а платье и белье, раскинутое на ковре и стульях, казалось, терпеливо ждали ее, точно присмирившее стадо.

Она приподнялась на локте и подперла голову рукой.

— Знаешь, ты первый. Я не лгу: другие все равно, как не существуют.

Он не ревновал ее к прошлому и не боялся сравнений. Он спросил:

— Ну, так как же другие?

— Прежде всего их было только двое: мой преподаватель, он в счет не идет, и потом тот, что я говорила, человек положительный, которого присмотрела для меня мать.

— И никого больше?

— Честное слово.

— А Шевалье?

— Шевалье? Ну, знаешь!.. Еще что выдумал!

— А положительный человек, которого присмотрела для тебя мать, тоже в счет не идет?

— Уверяю тебя, с тобой я совсем другая женщина. Нет, правда... Ты у меня первый... Странно, как только я тебя увидела, меня повлекло к тебе. Сейчас же во мне поднялось желание. Я угадала. Почему? Затрудняюсь сказать... Ах, я не раздумывала!.. Понравился мне, вот и все! И твои корректные манеры, и твоя сухость, холодность, и весь твой вид волка в овечьей шкуре, все понравилось! Теперь я не могу жить без тебя. Нет, правда, не могу.

Он уверил Фелиси, что обладание ею дало ему неожиданные радости, и наговорил кучу ласковых и приятных слов, которые говорились много раз до него.

Она взяла его голову обеими руками.

— А у тебя и вправду волчьи зубы. Мне кажется, что тогда в первый день именно твои зубы и привлекли меня. Ну, укуси, укуси...

Он прижал ее к себе и почувствовал, как все ее гибкое и крепкое тело отзывается на его ласку. Вдруг она высвободилась из его объятий.

— Тебе не кажется, что скрипит песок?

— Нет.

— Ты послушай. Мне почудились шаги на дорожке. Она села и, нагнувшись вперед, прислушалась.

Он был разочарован, раздражен, возмущен и, пожалуи, чуточку оскорблен в своем мужском самолюбии.

— С чего это ты? Ведь глупо же.

— Замолчи! — прикрикнула Фелиси.

Она прислушивалась к легкому и близкому шороху, словно от ломающихся веток.

Вдруг она вскочила с кровати таким быстрым, инстинктивно проворным кошачьим движением, что Линьи, как мало он ни был начитан, невольно вспомнил о кошке, превратившейся в женщину*.

— Ты с ума сошла? Куда ты?

Она приподняла край занавески, протерла уголок вспотевшего стекла и посмотрела в окно. В темноте ничего не было видно. Шум прекратился.

Между тем Линьи, отвернувшись к стенке, недовольно ворчал:

— Конечно, это твое дело, но, если простудишься, пеняй на себя!

Она скользнула в постель. Сначала он немного дулся; но она прильнула к нему и обдала его восхитительной свежестью.

Они были очень удивлены, когда, придя в себя, увидели, что уже семь часов.

Он зажег лампу, керосиновую лампу в виде колонны со стеклянным резервуаром, в котором словно солитер извивался фитиль. Фелиси быстро оделась. Им надо было спуститься в нижний этаж по деревянной лестнице, узкой и неосвещенной. Он пошел вперед, держа лампу, и, остановившись в коридоре, сказал:

— Иди, милая, я тебе посвечу.

Она открыла дверь и тут же с криком отпрянула назад. На крыльце, раскинув крестом руки, стоял Шевалье, длинный и черный. Он держал револьвер. Револьвер не блестел, и все же она очень явственно различила его.

— Что случилось? — спросил Линьи, прикручивая фитиль.

— Слушайте и не подходите! — громко сказал Шевалье. — Я запрещаю вам принадлежать друг другу. Это моя последняя воля. Прощай, Фелиси.

И он вложил в рот дуло револьвера.

Она прижалась к стене и зажмурилась... Когда она открыла глаза, Шевалье лежал на боку поперек двери. Глаза у него были широко открыты; казалось, он смотрит и смеется. Струйка крови стекала изо рта на ступеньки крыльца. Рука судорожно дергалась. Потом он затих. Он лежал согнувшись и казался не таким длинным, как всегда.

Услышав выстрел, Линьи подбежал, приподнял в темноте тело Шевалье. И сейчас же осторожно опустил его на ступеньки и стал чиркать спичками, которые тут же задувал ветер. Наконец при вспыхнувшей спичке он увидел, что пуля сорвала часть черепа и обнажила кусок мозговой оболочки величиной с ладонь; серая, кровянистая, с рваными краями, она напоминала ему своим очертанием Африку, как ее изображают в атласах. Неожиданно он почувствовал благоговейный трепет перед покойником, подхватил его под мышки, с величайшей осторожностью втащил в переднюю. Оставив его там, он стал звать Фелиси, разыскивая ее по всему дому.

Он нашел ее в спальне, она уткнулась головой в неубранную постель, стонала «мама, мама» и громко молилась.

— Тебе лучше уехать, Фелиси.

Они спустились вместе по лестнице. Но в коридоре она остановилась:

— Ты же знаешь, что пройти нельзя.

Он провел ее через черный ход,

VII

Оставшись один в безмолвном доме, Робер де Линьи зажег лампу. Он прислушивался к серьезным, даже немного торжественным голосам, которые вдруг говорили в нем. Воспитанный с детства на принципе моральной ответственности, он ощущал болезненное раскаяние, похожее на укоры совести. При мысли, что он, пусть даже невольно, стал причиной смерти этого человека, он чувствовал какую-то долю своей вины. Совесть его смущали отрывочные воспоминания о тех философских и религиозных взглядах, которые ему прививались с детства. Сентенции моралистов и проповедников, заученные в коллеже и лежавшие где-то под спудом, теперь неожиданно всплывали в его памяти. Их твердили ему внутренние голоса. Они повторяли слова какого-то духовного оратора былых времен: «Предаваясь порокам, самым невинным в глазах света, подвергаешь себя опасности совершить деяния, достойные всяческого осуждения... Ужасные примеры подтверждают нам, что сладострастие ведет к преступлению». Эти изречения, над которыми он никогда не задумывался, вдруг приобрели для него определенный и грозный смысл. Они навели его на серьезные размышления. Но их воздействие было довольно слабым и непродолжительным, ибо он не был глубоко религиозным человеком и не отличался чрезмерно чуткой совестью. Вскоре он решил, что все это скучно и не приложимо к его случаю. «Предаваясь порокам самым невинным в глазах света... ужасные примеры подтверждают нам...» Только что эти сентенции звучали в его душе раскатами грома, теперь же ему слышались гнусавые или шепелявые голоса преподавателей и священников, обучавших его, и он находил эти слова немножко смешными. По совершенно естественной ассоциации мыслей он вспомнил отрывок из поразившей его старой римской новеллы, которую он прочитал на уроке в предпоследнем классе — всего несколько строк о женщине, уличенной в прелюбодеянии и обвиненной в том, что она подожгла Рим. «Ибо поистине, — говорил рассказчик, — тот, кто нарушил целомудрие, спо-

собен на любое преступление». При этом воспомина-
нии он мысленно усмехнулся и подумал, что у мора-
листов все же нелепые понятия о жизни.

Нагоревший фитиль давал мало света. Линьи ни-
как не мог снять нагар, и лампа несносно чадила.
Думая об авторе слов, относящихся к римской матроне,
Робер де Линьи делал такой вывод:

— Ну, уж это он перехватил!

Робер успокоился и больше не винил себя. Легкие
угрызения совести окончательно рассеялись, и он уже
не понимал, как мог хоть на мгновение счесть себя
ответственным за смерть Шевалье. Все же случившееся
тяготило его.

Вдруг он подумал: «А что, если он еще жив!»

Только что, на протяжении какой-то секунды, при
свете вспыхнувшей и тут же погасшей спички он
видел, что у Шевалье прострелен череп. А что, если ему
это только померещилось? Что, если это поверхностная
рана, и ему только показалось, что повреждены череп
и мозг? Трудно сохранить трезвый рассудок в первые
минуты удивления и испуга. Рана может быть страш-
ной, но не смертельной и даже не очень опасной. Ему,
правда, показалось, что Шевалье мертв. Но ведь он же
не доктор, чтобы судить об этом с уверенностью.

Его разозлил нагоревший фитиль, и он проворчал:

— Лампа чадит.

Потом вспомнил обычную поговорку доктора Со-
крата, неизвестно откуда взятую, и мысленно повторил:

— Эта лампа смердит, как тридцать шесть тысяч
чертей.

Ему пришло на ум несколько случаев неудавшихся
покушений на самоубийство. Он вспомнил, что читал
в газете, как муж, убив жену, выстрелил из револь-
вера себе в рот и только раздробил челюсть. Он вспо-
мнил, что как-то в клубе после скандала за картами
один известный спортсмен хотел выстрелить себе в
висок и только отстрелил ухо. Эти примеры поразит-
ельно подходили к данному случаю.

— Что, если он жив?..

Он жаждал, чтобы несчастный самоубийца еще
дышал, он надеялся, вопреки очевидности, что его

можно еще спасти. Он подумал, что надо найти бинты и сделать первую перевязку. Желая еще раз осмотреть Шевалье, лежащего в передней, он поднял, но слишком резко, не успевшую как следует разгореться лампу, и она погасла.

Неожиданно погрузившись в темноту, он потерял терпение и выругался:

— Вот сволочь!

Зажигая лампу, Робер льстил себя надеждой, что, когда Шевалье будет доставлен в больницу, он придет в себя, вернется к жизни. Он уже представлял себе Шевалье на ногах, такого долговязого, представлял, как тот кричит, кашляет, усмехается, и теперь Линьи уже не так страстно желал, чтобы он выздоровел, пожалуй, совсем не хотел этого, находил, что выздоравливать ему не к чему и даже нехорошо с его стороны. Он с беспокойством, с настоящей тревогой задавал себе вопрос: «Что станет делать этот мрачный комедиант, вернувшись к жизни? Снова поступит в «Одеон»? Будет щеголять в кулуарах огромным шрамом? Опять начнет донимать Фелиси своими ухаживаниями?»

Он поднес к телу зажженную лампу и снова увидел бледную кровавистую рану, неправильные очертания которой напоминали ему Африку, как она изображалась на школьных картах.

Совершенно очевидно, что смерть последовала мгновенно, и он не понимал, как мог хоть на секунду усомниться в этом.

Он вышел из дому и принялся шагать по саду. Рана стояла у него перед глазами, как запечатлевшееся в мозгу пятно от слишком яркого света. Она плыла и разрасталась. В темноте на фоне черного неба она представлялась ему бледным материком, с которого проворные негритята метали во все стороны стрелы.

Он решил, что прежде всего надо позвать г-жу Симоно, жившую рядом, на бульваре Бино, в том доме, где кофейня. Он аккуратно запер калитку и пошел за ней. На бульваре Линьи обрел спокойствие ума и чувств. Он примирился с тем, что случилось. Принял свершившийся факт, но клял судьбу за все сопровождавшие его обстоятельства. Раз суждено, чтобы кто-то

умер, ничего не поделаться, пусть его умирает, но он предпочел бы, чтобы умер кто-нибудь другой. К этому покойнику он чувствовал какое-то отвращение и неприязнь.

«Я допускаю самоубийство, — рассуждал он. — Но к чему такое глупое и театральное самоубийство? Неужели он не мог покончить с собой дома? Неужели он не мог выполнить свое решение, раз уж оно было непоколебимо, с подлинным достоинством и должной скромностью? Светский человек на его месте поступил бы именно так. И все бы его жалели и чтили память о нем».

Он вспомнил слово в слово разговор, который вел в спальне с Фелиси, за час до катастрофы. Он спросил ее, не было ли чего-нибудь между ней и Шевалье. Спросил не затем, чтобы узнать, так как не сомневался на этот счет, а чтобы показать, что знает. Она с возмущением ответила: «Между мной и Шевалье? Ну, знаешь!.. Еще что выдумал!»

Он не осуждал ее за то, что она солгала. Все женщины лгут. Он скорее восхищался той непринужденностью, с какой она вычеркнула этого человека из своего прошлого. Но его сердило, что она отдалась какому-то жалкому комедианту. Он был оскорблен в своих лучших чувствах. Из-за Шевалье Фелиси утратила для него часть своей прелести. Почему она берет себе таких любовников? Значит, у нее нет вкуса? Значит, она сходится так, без разбору? Как девки? Значит, у нее нет врожденного целомудрия, которое подсказывает женщине, что можно, а чего нельзя? Значит, она не умеет себя вести? Да, вот к чему приводит отсутствие воспитания! Он обвинил ее в случившемся несчастье и почувствовал, что с его плеч свалилась большая тяжесть.

Госпожи Симоно дома не оказалось. Он спросил, где она — у официантов в кофейне, у приказчиков в колониальной лавочке, в прачечной, у полицейских, у почтальона. Наконец, по указанию соседки, он разыскал ее у одной старой дамы, которой она делала припарки, так как была сиделкой. Лицо у г-жи Симоно пылало, и от нее несло водкой. Он послал ее сторожить

покойника. Велел накрыть его простыней и никуда не отлучаться до прихода полицейского комиссара и врача, которые должны констатировать смерть. Она с некоторой обидой ответила, что сама, слава богу, знает свои обязанности. И она действительно их знала. Г-жа Симоно родилась в обществе, послушном законным властям и с уважением относящемся к смерти. Когда же из расспросов выяснилось, что г-н Линьи перетащил тело в переднюю, она не скрыла от него, что он поступил необдуманно и может навлечь на себя неприятности.

— Этого делать не следовало, — сказала она. — Когда человек покончил с собой, его нельзя трогать до прихода полиции.

Затем Линьи пошел к полицейскому комиссару. После того как первое волнение улеглось, его уже ничто не трогало, верно потому, что события, которые издали показались бы необычными, воспринимаются как вполне естественные, — как оно и есть на самом деле, — когда совершаются у нас на глазах; они развертываются совершенно банально, распадаются на ряд незначительных фактов и теряются в житейской прозе. От мыслей о насильственной смерти несчастного человека его отвлекли самые обстоятельства этой смерти, то участие, которое ему пришлось в них принимать, те хлопоты, которые свалились на него. Идя к полицейскому комиссару, он несколько не волновался, и голова у него была вполне ясная, как будто он шел к себе в министерство разбирать телеграммы.

В девять часов вечера полицейский комиссар в сопровождении секретаря и полицейского появился в саду. Городской врач, г-н Ибри, прибыл одновременно с ними. Стараниями г-жи Симоно, которая любила, чтоб все было честь по чести, в доме сильно пахло карболкой и горели свечи. И г-жа Симоно волновалась, ибо ей не терпелось достать для покойника распятие и освященную веточку букса. При свете свечи доктор осмотрел труп.

Доктор, грузный и краснолицый, только что пообедал: он пыхтел и отдувался.

— Пуля крупного калибра проникла через твердое небо, прошла в мозг, раздробила левую теменную кость, разрушила часть мозговой ткани и сорвала кусок черепа. Смерть наступила мгновенно.

Он отдал свечу г-же Симоно и продолжал:

— Осколки черепа отлетели на некоторое расстояние. Их можно отыскать в саду. Я предполагаю, что пуля была круглая. Коническая не причинила бы такого разрушения.

Комиссар, г-н Жосс-Арбриссель, худой и длинный, с седыми усами, казалось, ничего не видел и не слышал. За калиткой выла собака.

— Направление раны, — сказал врач, — а также согнутые пальцы правой руки свидетельствуют с полной очевидностью, что это самоубийство.

Он закурил сигару.

— Все ясно, — сказал комиссар.

— Я сожалею, что побеспокоил вас, господа, — сказал Робер де Линьи, — и очень вам благодарен за ту готовность, с которой вы выполнили свои обязанности.

Секретарь полицейского участка и полицейский перенесли тело во второй этаж, куда их проводила г-жа Симоно.

Господин Жосс-Арбриссель кусал ногти, устремив взгляд в пространство.

— Самоубийство из ревности, — сказал он. — Обычная история. Здесь у нас, в Нельи, средняя цифра самоубийств более или менее устойчива. На сто самоубийств приходится тридцать из-за проигрыша. Остальные падают на несчастную любовь, нужду или неизлечимые болезни.

— Шевалье? — переспросил доктор Ибри, большой театрал. — Шевалье? Постойте, я его видал... Я его видал в «Варьете» на каком-то благотворительном вечере. Совершенно верно. Он читал монолог.

Собака за калиткой продолжала выть.

— Даже представить себе нельзя, — снова начал комиссар, — какое бедствие для нашей коммуны — тотализатор. Я не преувеличиваю, из самоубийств, которые мне приходится констатировать, тридцать процен-

тов, самое меньшее, вызваны игрой. Здесь все играют. Здесь сколько парикмахерских, столько тайных притонов. Не далее как на прошлой неделе нашли в Булонском лесу повесившегося привратника с улицы Руль. Рабочие, прислуга, мелкие служащие, проигравшись, еще могут не кончать с собой. Они переменяют место жительства, исчезнут. Но куда скроется человек с положением, чиновник, если он проиграется в пух и прах, если он обременен срочными долгами, если ему грозит наложение ареста на имущество, судебное преследование? Что прикажете ему делать?

— Вспомнил! — воскликнул доктор. — Он читал «Дуэль в саванне». Вообще монологи немножко утомительны. Но этот очень забавен. Помните: «Хотите драться на шпагах?» — «Нет, сударь». — «На пистолетах?» — «Нет, сударь». — «На саблях, на ножах?» — «Нет, сударь». — «В таком случае я знаю, что вам нужно. Вам еще не все надоело. Вам нужна дуэль в саванне. Согласен. Мы заменим саванну пятиэтажным домом. Вам разрешается спрятаться в листе». Шевалье очень забавно читал «Дуэль в саванне». В тот вечер он доставил мне большое удовольствие. Правда, я зритель благодарный. Обожаю театр.

Комиссар полиции не слушал. Он продолжал развивать свою мысль.

— Никто не поверит, сколько состояний и жизней ежегодно поглощает тотализатор. Скачки цепко держат свою жертву. Очистят до нитки, на что же тогда прикажете надеяться, как не на выигрыш? Оно и понятно, больше-то надеяться не на что...

Он замолчал, прислушался к долетевшему крику газетчика, выскочил на улицу за убегавшей, что-то выкрикивавшей тенью, остановил ее, вырвал из рук выпуск газеты с отчетом о скачках, развернул, чтоб просмотреть при свете фонаря названия лошадей: Красавец, Принцесса, Лукреция. Затем посмотрел вокруг блуждающим растерянным взглядом и, словно пришибленный, выронил из дрожащих рук газету: его лошадь не выиграла.

А доктор Ибри, издали наблюдавший за ним, подумал, что его, врача, обслуживающего покойников, в

один прекрасный день пригласят, пожалуй, констатировать самоубийство полицейского комиссара, и он заранее решил дать, если только возможно, заключение, что смерть произошла, вследствие несчастного случая.

Вдруг он схватил зонт.

— Я убегаю. Мне сегодня дали контрамарку в Комическую Оперу. Жаль не воспользоваться.

Раньше чем покинуть дом, Линьи спросил г-жу Симоно:

— Куда вы его положили?

— На кровать, так приличнее, — ответила г-жа Симоно.

Робер ничего не сказал; поглядев на фасад дома, он увидел в окне спальни, сквозь кисейные занавески, огоньки двух свечей, которые г-жа Симоно зажгла на ночном столике.

— Пожалуй, надо бы позвать монахиню, чтобы почитать над ним, — сказал он.

— Не к чему, — ответила г-жа Симоно, успевшая пригласить соседок и позаботиться о вине и закуске, — не к чему, я сама почитаю.

Линьи не стал настаивать.

Собака выла по-прежнему.

Возвращаясь пешком к заставе, он увидел над Парижем красный отсвет, охвативший все небо. Над крышами поднимались трубы, черные и нелепые, выделяясь на фоне багровой дымки; казалось, они с тупым равнодушием глядят на таинственно пламенеющее небо. Редкие прохожие, которые встречались ему на бульваре, спокойно проходили мимо, не поднимая головы. Хотя он и знал, что ночью в городах в сыром воздухе часто отражаются огни и окрашивают небо ровным немигающим отблеском, ему чудилось, что это зарево огромного пожара. Он охотно допускал, что в Париже бушует пламя; он находил естественным, чтобы личная катастрофа, к которой он оказался причастен, слилась с общим бедствием и чтобы эта ночь была роковой не только для него, но и для всего народа.

Он был очень голоден и, взяв у заставы извозчика, поехал в ресторан на Королевской улице. В освещенном, жарко нагретом зале тяжелое настроение прошло. Заказав обед, он развернул вечернюю газету и прочитал в отчете о заседании парламента, что его министр произнес речь. Просматривая речь, он невольно усмехнулся: он вспомнил рассказы, которые ходили на набережной д'Орсэ *. Министр был влюблен в г-жу де Нейль, стареющую кокетку, возведенную общественным мнением в ранг авантюристки и шпионки. Говорили, будто свои парламентские речи он произносил сперва перед ней. Линьи, который тоже был в течение какого-то времени любовником г-жи де Нейль, вообразил себе государственного мужа в ночной сорочке, произносящего перед своей подругой сердца следующую декларацию: «Разумеется, мы считаемся с чувством национальной гордости. Правительство, ревнуя о чести Франции, сумеет при всем своем миролюбии и т. д.». Эта картина привела его в веселое настроение. Он перевернул страницу и прочитал: «Завтра в «Одеоне» впервые (в этом театре) будет представлена «Ночь на 23 октября 1812 г.» с участием господ Дюрвиля, Мори, Ромильи, Дестре, Викара, Леона Клима, Вальроша, Амана, Шевалье...»

VIII

На следующий день, в час пополудни, в фойе театра была назначена первая репетиция «Решетки», Серые каменные своды, хоры и колонны поглощали неяркий свет. В угрюмом величии этого тусклого зала, под сенью статуи Расина, главные действующие лица читали еще не выученные наизусть роли Праделю, директору театра, Ромильи, заведующему сценой, и Константену Марку, автору пьесы, которые слушали их, сидя на красном бархатном диване. А обойденные ролями актрисы, на отодвинутой в простенок между колоннами скамейке, не спускали со своих товарищей злобного взгляда и завистливо шушукались. Первый любовник, Поль Делаж, с трудом разбирая слова роли:

— «Узнаю замок, его кирпичные стены, шиферную кровлю, где я так часто вырезал на коре деревьев наши с ней инициалы, пруд, сонные воды которого...»

Фажет подала ему реплику:

— «Смотрите, Эмери, может случиться, что замок вас не узнает, что парк забыл ваше имя, что пруд шепнет: «Кто этот незнакомец?»»

Но она была простужена и читала по копии, полной ошибок.

— Уйдите отсюда, Фажет, — это сельская беседа, — сказал Ромильи.

— Откуда я могу это знать, скажите на милость?

— Там поставлен стул.

— «...что пруд шепнет: «Кто этот незнакомец?»»

— Мадемуазель Нантейль, ваш выход... Где Нантейль?.. Нантейль!

На сцене появилась, кутаясь в мех, бледная, как полотно, Нантейль; в руке она держала сумочку и роль, глаза глядели устало, она едва стояла на ногах. Она провела ужасную ночь: не во сне, а наяву видела мертвого Шевалье, пришедшего к ней в спальню.

Фелиси спросила.

— Откуда я выхожу?

— Справа.

— Хорошо.

И она прочитала:

— «Кузен, я проснулась сегодня утром такая радостная. Сама не знаю почему. Может быть, вы мне объясните?»

Делаж прочитал свою реплику:

— «Возможно, Сесиль, что это особая милость провидения или судьбы. Бог любит вас и посылает вам улыбку в дни слез и зубовного скрежета».

— Нантейль, голубушка, тут ты переходишь на другую сторону, — сказал Ромильи. — Делаж, отойди-ка немного и пропусти ее.

Нантейль перешла на другую сторону.

— «Вы говорите об ужасных днях, Эмери? Наши дни такие, какими мы их делаем. Они ужасны только для злых».

Ромильи перебил:

— Делаж, отойди-ка немного в сторону, следи, чтобы ты не заслонял ее от публики... Повтори сначала, Нантейль.

Нантейль повторила:

— «Вы говорите ужасные дни, Эмери? Наши дни такие, какими мы их делаем. Они ужасны только для злых».

Константен Марк не узнавал своего произведения; даже его любимые фразы, которые он столько раз повторял сам себе в лесах Виварэ, звучали не так. Он был подавлен, изумлен и молчал.

Нантейль грациозно перешла на другую сторону и снова стала читать роль:

— «Может быть, вы сочтете меня глупенькой, Эмери; в монастыре, где я училась, я часто завидовала мученикам».

Делаж прочитал свою реплику, но нечаянно перескочил через страницу:

— «Погода прекрасная. В саду уже прогуливаются гости».

Пришлось начинать все сызнова:

— «Вы говорите: ужасные дни, Эмери...»

И они читали, не вникая в смысл, только внимательно следили за своими движениями, словно запоминая фигуры в танце.

— Для пользы пьесы надо сделать купюры, — сказал Прадель огорченному автору.

А Делаж продолжал:

— «Не вините меня, Сесиль: с детства я привязался к вам той братской привязанностью, которая придает любви, порожденной ею, оттенок кровосмешения».

— Кровосмешения, — воскликнул Прадель. — Кровосмешение надо убрать, господин Марк. Вы и не подзреваете, как чувствительна в некоторых вопросах публика. Кроме того, надо переставить две следующие реплики. Этого требует специфика сцены.

Репетиция была прервана. Ромильи заметил Дюрвиля, рассказывающего анекдоты в амбразуре окна.

— Дюрвиль, можете идти. Второй акт сегодня репетировать не будем.

Прежде чем уйти, старый актер подошел к Нантейль. Считая необходимым ей посочувствовать, он постарался выдать слезу, сделать грустное лицо, что сделал бы на его месте всякий, желающий выразить соболезнование. Но сделал он это искусно. Его взор подернулся слезами, как луна, скрытая дымкой облаков, углы рта опустились, и от них до самого подбородка протянулись глубокие складки. Вид у него действительно был весьма опечаленный.

— Бедняжка, — вздохнул он. — Поверь, мне тебя очень жаль!.. Когда любимый... когда близкий человек кончает так трагически... нет, это тяжело, это ужасно!

И в знак сочувствия он протянул ей обе руки.

Нантейль, у которой были взвинчены нервы, крепко зажала в руке носовой платочек и рукопись, повернулась к нему спиной и прошипела сквозь зубы:

— Старый идиот!

Фажет обняла ее за талию, ласково отвела в сторону под стацию Расина и шепнула ей на ухо:

— Послушай, милая! Надо замять это дело. Все только о нем и говорят. Если ты не положишь конец разговорам, то так на всю жизнь и останешься вдовой Шевалье.

И прибавила, ибо любила высокие слова:

— Я тебя знаю, я твой лучший друг. Я отдаю тебе должное. Но помни, Фелиси: женщины обязаны знать себе цену.

Все стрелы, выпущенные Фажет, попали в цель. Нантейль вспыхнула и сдержала слезы. Она была слишком молода и потому не помышляла о предусмотрительности, которая появляется у знаменитых актрис в том возрасте, когда они могут считаться дамами общества, но Фелиси была очень самолюбива, а с тех пор, как она полюбила по-настоящему, ей хотелось вычеркнуть из своего прошлого все, что бросало на нее тень; она чувствовала, что Шевалье своим самоубийством публично подтвердил свою близость к ней и поставил ее в глупое положение. Она еще не знала, что все забывается, что все наши дела уносятся, как воды потоков, которые текут среди ничего не запоминающих берегов, и потому, стоя у ног Жана Расина,

внимавшего ее горю, нервничала и предавалась печальным мыслям.

— Посмотри на нее, — сказала г-жа Мари-Клэр первому любовнику Делажу. — Она сейчас расплачется. Я ее понимаю. Из-за меня тоже покончил самоубийством один человек. Мне это было очень неприятно. Он был граф.

— Давайте продолжать, — сказал Прадель. — Мадемуазель Нантейль, вашу реплику.

И Нантейль повторила:

— «Кузен, я проснулась сегодня утром такая радостная...»

Тут появилась г-жа Дульс, величественная и горестная. Она проронила следующие слова:

— Печальная новость. Кюре не разрешает внести его в церковь.

У Шевалье не было родственников, кроме сестры, работницы в Пантене, и актеры собрали деньги на похороны, а г-жа Дульс взяла на себя все хлопоты.

Ее окружили.

— Церковь отказывается от него, словно он проклят. Ужасно! — сказала она.

— Почему? — спросил Ромильи.

Госпожа Дульс ответила очень тихо и как бы нехотя:

— Потому что он самоубийца.

— Это надо уладить, — заметил Прадель.

Ромильи заволновался.

— Я знаком с кюре, он хороший человек — сказал он. — Я схожу в церковь святого Стефана, и не может быть, чтобы...

Госпожа Дульс печально покачала головой:

— Ничего не выйдет.

— Но ведь без церковного отпевания нельзя, — сказал Ромильи с безапелляционностью заведующего сценой.

— Ну, конечно, — подтвердила г-жа Дульс.

Госпожа Мари-Клэр возмущенно заявила, что кюре нужно заставить отслужить заупокойную мессу.

— Не надо волноваться, — сказал Прадель, поглаживая свою почтенную бороду. — В царствование Людовика Восемнадцатого народ взломал двери церкви

святого Роха, куда не допустили тело мадемуазель Рокур *. Времена и обстоятельства изменились. Испробуем менее сильные средства.

Константен Марк, с грустью заметивший, что интерес к его пьесе пропал, тоже подошел к г-же Дульс.

— Почему вы хотите, чтобы церковь напутствовала Шевалье? — спросил он. — Что касается меня, я католик. Для меня католичество не вера, а система, и я считаю своим долгом соблюдать все обряды. Я стою за всяческую власть: судейскую, военную, духовную. Следовательно, во мне нельзя заподозрить приверженца гражданских похорон. Но я не понимаю, почему вы так упорно навязываете настоятелю церкви святого Стефана этого покойника, если он от него отрещивается. Чего ради вы хотите, чтобы бедняга Шевалье обязательно попал в церковь?

— Чего ради? — отозвалась г-жа Дульс. — Ради спасения его души и потому, что так приличнее.

— Приличнее было бы, — возразил Константен Марк, — подчиниться церковным постановлениям, по которым самоубийц отлучают от церкви.

— Господин Марк, читали вы «Вечера в Нельи»? * — спросил Прадель, великий книголюб и рьяный читатель. — Вы не читали «Вечера в Нельи», написанные господином Фонжере? Напрасно. Книга весьма любопытная, она изредка еще попадает у букинистов. Ее украшает литография Анри Монье, изображающая, неизвестно почему, Стендаля в карикатурном виде. Фонжере — это псевдоним двух вольнодумцев эпохи Реставрации — Дитмера и Каве. Эта книга — сборник комедий и драм, не подходящих для театра, но там есть чрезвычайно интересные бытовые сцены. Например, вы можете прочесть в ней, как в царствование Карла Десятого настоятель одной из парижских церквей, аббат Мушо, отказался хоронить весьма богобоязненную даму и во что бы то ни стало желал похоронить по церковному обряду некоего атеиста. Госпожа д'Отефей была очень набожна, но она приобрела национализированные земли. Ее напутствовал священник-янсенист. Вот почему аббат Мушо не допустил ее в церковь, в которой она бывала всю свою

жизнь. Одновременно с госпожой д'Отефей в том же приходе умер крупный банкир, господин Дибур. Он завещал, чтобы его снесли прямо на кладбище. «Это католик, — решил аббат Мушо, — он наш». И аббат сейчас же завернул свое облачение, поспешил к умершему, совершил над ним миропомазание и отправил в церковь.

— Ну что ж, этот аббат был прекрасным политиком, — ответил Константен Марк. — Атеисты не страшны духовенству. Это не противники. Они не могут воздвигнуть церковь против церкви, они и не помышляют об этом. Среди высшего духовенства и князей церкви всегда были атеисты и многие из них оказали огромные услуги папству. А вот тот, кто не подчиняется безоговорочно церковной дисциплине и хоть в чем-нибудь отступает от устава, кто одной верою противопоставляет другую, общепринятым правилам и обрядам — другие правила и обряды, тот нарушитель порядка, тот опасен, его надо изъять. Аббат Мушо это понял. Его следовало возвести в сан епископа, в сан кардинала.

Госпожа Дульс обладала искусством не высказывать всего сразу, теперь она добавила:

— Но, несмотря на упорство господина кюре, я не сдалась. Я просила, я умоляла. И он ответил: «Мы послушны уставу. Ступайте к архиепископу. Если монашеский приказет, я подчинюсь». Остается последовать его совету. Бегу к архиепископу.

— Ну-с, давайте работать, — сказал Прадель.

Ромильи позвал Нантейль:

— Нантейль, Нантейль, повтори сначала свой выход.

И Нантейль повторила все сначала:

— «Сегодня утром я проснулась такая радостная, кузен...»

IX

Особенно затруднял переговоры театра с церковью шум, поднятый по поводу самоубийства на бульваре Вилье газетами. Репортеры не поспешили на подро-

ности и, раз дело приняло такой оборот, открыть двери приходской церкви для Шевалье, по словам аббата Мирабеля, второго архиепископского vicария, было бы равносильно признанию за отлученными права на молитвы духовенства.

Впрочем, аббат Мирабель, проявивший в данных обстоятельствах много ума и такта, сам указал нужный путь.

— Вы отлично понимаете, — сказал он г-же Дульс, — что мнение прессы нас не трогает. Оно нам абсолютно безразлично, и мы несколько не интересуемся тем, что пишут об этом несчастном юноше пять десятков газет. Послужили ли журналисты истине или предали ее — касается только их, а не меня. Я не знаю и не хочу знать того, что они написали. Но факт самоубийства общепризнан. Опровергнуть его вы не можете. Сейчас надо было бы призвать на помощь науку, чтобы внимательно разобраться в обстоятельствах, при которых было совершено самоубийство. Не удивляйтесь, что я обращаюсь к науке. Религия — лучший друг науки. А медицинская наука в данном случае может быть нам очень полезна. Сейчас вы все поймете. Церковь отсекает от своего тела самоубийцу только в том случае, когда самоубийство является актом отчаяния. Умалишенный, покусившийся на собственную жизнь, — не отчаявшийся, и церковь не отказывает ему в своих молитвах: она молится за всех страждущих. Вот если бы удалось установить, что несчастный юноша действовал под влиянием горячки или психического расстройства, если бы какой-нибудь врач удостоверил, что бедняга не в здравом уме наложил на себя руки, тогда бы можно было беспрепятственно совершить над ним церковный обряд.

Выслушав речь аббата Мирабеля, г-жа Дульс побегала в театр. Репетиция «Решетки» кончилась. Прадель был у себя в кабинете с двумя молодыми актрисами, которые просили его — одна об ангажементе, другая — об отпуске. Он отказал обеим, следуя своему принципу: сперва отказать и только потом согласиться. Это придавало цену его согласию на самую пустяжную просьбу. Маслеными глазами и бородой патриарха,

своими повадками, одновременно сластолюбивыми и отеческими, он напоминал Лота, заигрывающего с двумя своими дочерьми *, каким его изображали на эстампах старые мастера. Амфора из позолоченного картона, стоявшая тут же, дополняла иллюзию.

— Невозможно, — говорил он каждой из них, — право же, невозможно, детка моя... Ну, зайдите завтра, посмотрим.

Выпроводив их, он спросил, не отрываясь от бумаг, которые подписывал:

— Ну, госпожа Дульс, что нового?

Константен Марк, вошедший в эту минуту вместе с Нантейль, возбужденно перебил:

— А как же декорации, господин Прадель?

И он в двадцатый раз описал пейзаж, который должна изображать сцена при поднятии занавеса.

— На первом плане старый парк. Стволы высоких деревьев с северной стороны обросли зеленым мхом. Надо, чтобы чувствовалась влажная земля.

И директор ответил:

— Будьте покойны, мы сделаем все, что в наших силах, и все будет очень хорошо. Ну, так как же, госпожа Дульс? Что нового?

— Есть искорка надежды, — ответила она.

— В глубине в туманной дымке, — сказал автор, — серые каменные стены и шиферные крыши аббатства.

— Да, да, отлично. Присядьте же, госпожа Дульс. Я вас слушаю.

— У архиепископа меня приняли очень любезно, — сказала г-жа Дульс.

— Господин Прадель, необходимо, чтобы создалось впечатление, будто стены аббатства глухие, крепкие, и в то же время вечерний туман должен придавать им какую-то легкость. Бледно-золотистое небо...

— Господин аббат Мирабель, — начала г-жа Дульс, — священнослужитель чрезвычайно образованный...

— Господин Марк, вы настаиваете на этом самом бледно-золотистом небе? — спросил директор. — Говорите, госпожа Дульс, говорите, я слушаю...

— ...и изысканно вежливый. Он деликатно намекнул на нескромность газет...

В эту минуту в кабинет директора ворвался режиссер Маршеже. Его зеленые глаза метали молнии, а рыжие усы плясали, как языки пламени. Он быстро заговорил:

— Опять начинается!.. Лидия, — знаете, молоденькая статистка, — визжит на лестнице, как поросенок. Видите ли, Делаж хотел ее изнасиловать. За месяц она, пожалуй, уже в десятый раз эту канитель заводит. И как только не надоест!

— В таком театре, как наш, это недопустимо, — сказал Прадель. — Оштрафуйте Делажа... Госпожа Дульс, продолжайте, пожалуйста.

— Аббат Мирабель совершенно точно разъяснил мне, что самоубийство — акт отчаяния.

Но тут Константен Марк спросил Праделя, хорошенькая ли статистка Лидия.

— Вы видели ее в «Ночи на двадцать третье октября», она играет женщину из народа, которая покупает в предместье Гренель вафли у мадам Раво.

— Насколько я помню, это очень красивая девушка, — заметил Константен Марк.

— Бесспорно, — ответил Прадель. — Но она была бы еще красивей, если бы не ноги, они у нее как тумбы. Константен Марк задумчиво рассуждал вслух:

— И Делаж ее изнасиловал... Он понимает толк в любви. Любовь — простой и примитивный акт. Это борьба, ненависть. Насилие в любви необходимо. Любовь по взаимному согласию скучная обязанность.

И он воскликнул в полном восхищении:

— Делаж гениален!

— Не увлекайтесь! — сказал Прадель. — Статисточка Лидия сама зазывает актеров к себе в уборную, а потом поднимает крик, что ее изнасиловали, и требует денег... Этому фокусу ее научил любовник, деньги идут ему... Итак, госпожа Дульс, вы говорили...

— После долгой и содержательной беседы, — снова принялась рассказывать г-жа Дульс, — аббат Мирабель намекнул на возможность благоприятного разрешения вопроса. Он дал мне понять, что все препят-

ствия могут быть устранены, если врач засвидетельствует, что Шевалье был невменяем и, следовательно, не мог отвечать за свои поступки.

— Но Шевалье не был невменяем, — заметил Прадель. — Он был в здравом уме.

— Как мы можем это утверждать, — возразила г-жа Дульс. — Откуда нам знать?

— Нет, он не всегда был нормален, — сказала Нантейль.

Прадель пожал плечами:

— В конце концов возможно, что это и так. Нормальный или ненормальный все зависит от того, как на это посмотреть... У кого можно было бы попросить такую справку?

Госпожа Дульс и Прадель назвали трех докторов подряд; но они никак не могли отыскать адрес первого; у второго был плохой характер, а третий, как оказалось, умер.

Нантейль предложила обратиться к доктору Трюбле.

— Прекрасная мысль! — одобрил Прадель. — Давайте попросим справку у доктора Сократа... Какой сегодня день?... Пятница. Это его приемный день. Он дома.

Доктор Трюбле жил в старом доме, в самом конце Сенской улицы. Прадель взял с собой Нантейль, решив, что Сократ не сможет отказать хорошенькой женщине. Константен Марк, для которого Париж без актеров был невыносим, увязался за ними. История с Шевалье начинала его занимать. Он находил, что это чисто театральная история — уж очень в ней много комедиантства. Хотя час приема окончился, в гостиной у доктора было еще полно больных, чающих исцеления. Трюбле быстро от них отделался и пригласил актеров к себе в кабинет. Он сидел за столом, заваленным книгами и бумагами. У окна нагло лезло в глаза старое гинекологическое кресло. Директор «Одеона» изложил цель своего визита и закончил так:

— Шевалье только в том случае будет похоронен по церковному обряду, если вы засвидетельствуете, что он был не совсем нормален.

Доктор Трюбле заявил, что Шевалье может отлично обойтись без церковной службы.

— Адриенна Лекуврер, до которой ему очень далеко, обошлась без церковного отпевания *. По мадемузель Моним не служили заупокойной мессы, и, как вы знаете, ей было отказано «в чести истлевать на жалком кладбище по соседству со всеми проходимцами ее квартала». Ей от этого не было ни жарко, ни холодно.

— Вы знаете, доктор Сократ, — ответил Прадель, — актеры чрезвычайно религиозны. Для них будет большим огорчением, если они не смогут отслужить панихиду по своему товарищу. Они уже заручились согласием нескольких певцов, и музыка будет прекрасная.

— Вот это довод, — сказал Трюбле. — Тут ничего не возразишь. Шарль Монселе *, человек остроумный, за несколько часов до смерти позаботился о музыке для своей заупокойной мессы. «Я хорош со многими оперными певцами, — сказал он. — У меня будет такой *Pie Jesu*¹, что пальчики оближешь». Но ежели в данном случае архиепископ не разрешает духовного концерта, придется его отложить до следующего раза.

— Что касается меня, — сказал директор, — я неверующий. Но я рассматриваю церковь и театр, как две великие социальные силы, и считаю очень важным, чтобы они были друзьями и союзницами. И лично я никогда не упускаю случая укрепить этот союз. Будущим постом я поручу Дюрвиллю прочесть одну из проповедей Бурдалу *. Я получаю субсидию от государства: значит, я должен быть приверженцем конкордата *. И потом, что там ни говори, а католичество — самая приемлемая форма религиозного индифферентизма.

— Если уж вы так почитаете церковь, так чего же ради вы хотите силой или хитростью навязать ей покойника, от которого она открещивается? — спросил Константен Марк.

Доктор высказался в том же духе и в заключение прибавил:

¹ Милосердый Иисусе... (лат.)

— Послушайте, Прадель, бросьте вы хлопотать по этому делу.

Но тут вступилась Нантейль и, сверкая глазами, прошипела свистящим шепотом:

— Двери церкви должны быть открыты ему, доктор; удостоверьте то, о чем вас просят, напишите, что он был невменяем. Пожалуйста.

В своей просьбе Фелиси руководствовалась не только приверженностью к религии. Тут примешивалось и личное чувство и остатки смутных старых суеверий, о которых она сама не подозревала. Она надеялась, что, если гроб поставят в церковь и окропят святой водой, Шевалье умиротворится, станет добрым покойником и не будет ее больше мучить. И наоборот: она боялась, что если церковь откажет ему в благословении и молитвах, он, отвергнутый небом и озлобившийся, не даст ей покою. Попросту Фелиси страшилась, что он будет ей являться, и хотела, чтобы священники тоже приняли участие в его погребении, чтобы все приложили к этому руку, чтобы он был похоронен покрепче, попрочнее, окончательно и навсегда. Губы у Фелиси дрожали; она заломила сжатые руки.

Трюбле, изучивший человеческую природу, смотрел на нее с интересом. Он был великим знатоком и ценителем женщин. Фелиси восхищала его. Он смотрел на нее, и его курносое лицо сияло от удовольствия.

— Успокойтесь, детка. С церковью всегда можно договориться. То, чего вы от меня хотите, не в моих возможностях, я врач неверующий; но у нас, слава богу, есть теперь врачи верующие, которые посылают своих больных на чудотворные воды и специально занимаются тем, что констатируют чудесные исцеления. Одного такого врача я знаю, он проживает в нашем квартале. Я дам вам его адрес. Ступайте туда, епископат ему ни в чем не откажет. Он уладит ваше дело.

— Нет, — сказал Прадель, — вы пользовали беднягу Шевалье. Вы должны и справку дать,

Ромильи был того же мнения.

— Ну конечно же, доктор. Вы — театральный врач. Незачем стирать свое грязное белье на людях.

Нантейль умоляюще посмотрела на Сократа.

— Но что же вы хотите, чтобы я удостоверил? — спросил Трюбле.

— Очень просто, — ответил Прадель. — Удостоверьте, что он был в какой-то мере не ответственен за свои поступки.

— Вам хочется, чтобы я выступил как судебно-медицинский эксперт. Вы требуете от меня слишком многого!

— Значит, доктор, вы полагаете, что Шевалье был вполне вменяем и ответственен за свои поступки?

— Напротив того, я полагаю, что он ни в малейшей степени не был ответственен за свои поступки.

— Тогда в чем же дело?

— Но я также полагаю, что в этом он несколько не отличался от вас, от меня и от всех людей вообще. Мои коллеги, судебные эксперты, индивидуализируют ответственность. У них есть приемы, при помощи которых они распознают, полностью ли ответственен человек за свои поступки, или только на три четверти, или наполовину. Но вот что примечательно: когда надо осудить человека, они всегда находят, что он несет полную ответственность за свои поступки... Интересно, какова их собственная ответственность, уж верно полная... как луна!

И доктор Сократ стал развивать перед изумленными служителями искусства обширную теорию универсального детерминизма. Он спустился к истокам жизни. Он не жалел красноречивых слов, уподобляясь в этом перепачканному соком ежевики Вергилиеву Силену *, который пел сицилийским пастухам и нимфе Эгле о происхождении вселенной.

— Как можно, чтобы несчастный человек отвечал за свои поступки!.. Но уже в ту пору, когда солнечная система была еще только бледной туманностью и образовывала в эфире легкий венок, окружность которого в тысячу раз превышала орбиту Нептуна, уже тогда наше существование было давным-давно обусловлено, безвозвратно предопределено, установлено раз на-

всегда, и всякая ответственность, дружок мой, просто снята со всех нас, и с вас, и с меня, и с Шевалье. Все наши движения, вызванные к жизни предшествующим движением материи, подчинены законам, управляющим космическими силами, и человек — только частный случай механики вселенной.

Он указал рукой на закрытый шкаф.

— Того, что у меня там в бутылках, достаточно, чтобы изменить, подавить или обострить до предела волю пятидесяти, тысяч людей.

— Ну, это, пожалуй, и ни к чему, — заметил Прадель.

— Согласен, это, пожалуй, и ни к чему. Но эти вещества в основе своей не продукт лаборатории. В лаборатории комбинируют, но ничего не создают. Эти вещества рассеяны в природе. В свободном состоянии они обволакивают и пронизывают нас, они определяют наши действия, ибо обуславливают нашу свободу воли, которая на самом деле только иллюзия, объясняющаяся тем, что мы ничего не знаем о предопределении.

— Что это вы говорите? — спросил сбитый с толку Прадель.

— Я говорю, что свобода воли — иллюзия, которая объясняется незнанием причин, побуждающих нас проявлять свою волю. Проявляем свою волю не мы, а мириады необычайно активных клеточек, которых мы не знаем, которые не знают нас, не ведают о существовании друг друга, и тем не менее мы состоим из них. От их движения возникают бесчисленные токи, которые мы воспринимаем как свои страсти, мысли, радости, страдания, желания, страхи и как свою волю. Мы думаем, что распоряжаемся собой, но достаточно капли алкоголя, чтобы взбудоражить, а затем погрузить в оцепенение те элементы, которые вызывают в нас чувства и желания.

Константен Марк прервал доктора:

— Извините, раз уж вы заговорили о действии алкоголя, я хотел бы посоветоваться с вами на этот счет. После обеда и ужина я выпиваю рюмочку арманьяка. Скажите, это не много?

— Это очень много. Алкоголь — яд. Если у вас дома стоит бутылка водки, выкиньте ее за окно.

Прадель задумался. Он считал, что, отрицая волю и ответственность людей, доктор Сократ наносит ему личную обиду.

— Можете говорить, что вам угодно, но воля и ответственность не иллюзии. Это ощутимые и прочные реальности. Я знаю, к чему меня обязывает платежная ведомость, и я подчиняю своей воле штат театра.

И он с горечью прибавил:

— Я верю, что существуют свобода воли, моральная ответственность, способность отличить добро от зла. Конечно, вы считаете эти понятия глупыми...

— Безусловно глупыми, — ответил доктор. — Но они нам удобны, потому что мы сами глупы. Об этом всегда забывают. Это глупые, высокие и спасительные понятия. Люди почувствовали, что без этих идей они сошли бы с ума. У них не было иного выбора: либо глупость, либо безумие. Они вполне разумно выбрали глупость. Таково происхождение нравственных понятий.

— Что за парадокс! — воскликнул Ромилья.

Доктор спокойно продолжал развивать свою мысль:

— Понятие о добре и зле никогда не выходило в человеческом обществе за пределы самого грубого эмпиризма. Оно сложилось с чисто практической целью и исключительно из соображений удобства. Мы никогда не относим его к камням или деревьям. Мы проявляем моральный индифферентизм по отношению к животным. Проявляем его по отношению к дикарям, что позволяет нам уничтожать их без зазрения совести. Это носит название колониальной политики. Не видно также, чтобы верующие предъявляли к своему богу повышенные нравственные требования. При современном состоянии общества они, конечно, не допустили бы, чтобы он был похотлив и компрометировал себя с женщинами; но им нравится, что он мстителен и жесток. Наша мораль — это взаимное соглашение охранять то, что мы имеем: землю, дом, обстановку, женщину и собственную жизнь. Эта мораль не предполагает у тех, кто ей подчиняется,

никаких особых усилий, ума или воли. Она инстинктивна и свирепа. Писанные законы приблизительно такие же и отлично с ней уживаются. Поэтому-то люди большого сердца и высокого ума, подобно Сократу, сыну Фенареты, и Бенуа Малону, карались правосудием *, ибо родина обычно обвиняла их в нечестии. И можно сказать, что человек, не приговоренный хотя бы к тюремному заключению, не приносит много чести своей родине.

— Бывают исключения, — заметил Прадель.

— Бывают, — согласился Трюбле, — но редко.

Однако Нантейль не сдавалась.

— Сократ, голубчик, вы можете засвидетельствовать, что он был сумасшедшим. Это правда. Он был не в своем уме. Я-то знаю.

— Ну конечно же, деточка, он был сумасшедшим. Но вот вопрос: в большей ли степени, чем другие люди? Вся история человечества, изобилующая муками, экстазами и побоищами, — это история безумцев и одержимых.

— Доктор, — спросил Константен Марк, — неужели в вас не вызывает восхищения война? А ведь, если подумать, какое это великолепное зрелище. Животные просто пожирают друг друга. А люди придумали внести красоту в братоубийство. Они дерутся в сверкающих кирасах, в касках с развевающимся плюмажем и ярко-красными султанами. Применив артиллерию и искусство фортификации, они ввели в свою неизбежно разрушительную деятельность химию и математику. Это великое изобретение. И раз уж уничтожение живых существ представляется нам единственной целью жизни, люди поступили мудро, превратив это взаимное уничтожение в блестящее удовольствие... Ведь не можете же вы, доктор, отрицать, что убийство — закон природы и, следовательно, божественный закон.

На что доктор Сократ ответил:

— Мы всего-навсего жалкие животные, и, однако, мы сами для себя и провидение и боги. Низшие животные, которые с незапамятных времен задолго до нас царствовали на этой планете, своим упорством и умом преобразовали ее. Насекомые проложили дороги, про-

ники в глубь земли, продолбили стволы деревьев и скалы, построили дома, заложили города, видоизменили почву, воздух и воду. В результате работы самых скромных организмов — мадрепор — выросли острова и континенты. Всякое материальное изменение вызывает изменение моральное, ибо нравы зависят от окружающей среды. Человек в свою очередь тоже преобразовывал землю, и, разумеется, произведенное им преобразование глубже и гармоничнее тех изменений, которые внесены другими животными. Почему же не предположить, что человечеству удастся, изменив природу, сделать ее миролюбивой? Почему не предположить, что человечество, при всем том ничтожестве, в котором оно пребывает и будет всегда пребывать, не прекратит или хотя бы не урегулирует в один прекрасный день борьбу за существование? Почему не отменит оно убийство? Можно возлагать большие надежды на химию. Однако ручаться ни за что нельзя. Возможно, что человечество упорно будет предаваться печали, бредовым видениям, возбуждению, безумию и косности вплоть до своей жалкой гибели во льду и мраке. Возможно, что наш мир неизлечимо болен. Так или иначе мне в нем было совсем не скучно. Зрелище он представляет собой весьма забавное, и я начинаю думать, что Шевалье был безумнее других людей, раз он по доброй воле покинул сей мир.

Нантейль взяла с письменного стола перо, обмакнула в чернильницу и протянула его доктору.

Он написал:

«Оказывая неоднократно врачебную помощь...»

Остановился и спросил, как звали Шевалье.

— Э м е , — ответила Нантейль.

«...Эме Шевалье, я имел возможность наблюдать у него известное расстройство чувствительности, зрения, движений, что является обычным симптомом...»

Он взял с полки книжного шкафа толстый том.

— Не может быть, чтобы я не нашел в курсе по психиатрии профессора Баля * симптомов, необходимых для подтверждения моего диагноза.

Он перелистал книгу.

— Вот, пожалуйста, Ромильи, послушайте, что я вычитал для начала. Восемнадцатая лекция, страница триста восемьдесят девять: «Среди актеров встречается много сумасшедших». Это наблюдение е профессора Баля напомнило мне, что знаменитый Кабанис * спросил однажды у доктора Эспри Бланша, не является ли театр рассадником сумасшедших.

— Неужели? — с тревогой в голосе спросил Ромильи.

— Можете не сомневаться, — ответил Трюбле. — Но послушайте, что говорит профессор Баль на той же самой странице: «Не подлежит никакому сомнению, что врачи чрезвычайно предрасположены к душевному расстройству». И это очень верно. Среди врачей особенно предрасположены к душевным заболеваниям психиатры. Часто трудно решить, кто из двух сумасшедший: больной или его врач. Говорят также, что помешательству подвержены гениальные люди. Это несомненно так. Однако для того, чтобы быть здравомыслящим, недостаточно быть дураком.

Он еще немного полистал лекции профессора Баля, потом снова принялся писать:

«...обычным симптомом маниакального возбуждения; если же принять во внимание невропатический темперамент пациента, будут все основания предположить, что по самой своей конституции он был предрасположен к умопомешательству, которое согласно крупнейшим авторитетам следует рассматривать как гипертрофию врожденного характера индивида; поэтому нельзя считать, что вышеозначенное лицо несет полную моральную ответственность за свои поступки».

Трюбле поставил свою подпись и протянул справку Праделю.

— Вот вполне невинная и ничего не говорящая справка, следовательно, в ней нет ни слова лжи.

Прадель встал.

— Поверьте, доктор, мы не посмели бы просить вас лгать.

— Почему? Я врач. Мое дело врать. Я облегчаю страдания, я утешаю. А не соврав, не утетишь, не облегчишь страданий!

Тут он с сочувствием посмотрел на Нантейль и сказал:

— Только женщины и врачи знают, как необходима людям и как благодетельна ложь.

И, когда Прадель, Константен Марк и Ромильи начали прощаться, прибавил:

— Пройдите в столовую. Я получил бочоночек старого арманьяка. Интересно, понравится ли он вам,

Нантейль осталась в кабинете доктора.

— Сократ, миленький, я провела ужасную ночь. Я видела его...

— Во сне?

— Нет, наяву.

— Вы уверены, что не спали?

— Уверена.

Он чуть не спросил, говорило ли с ней привидение. Но удержался, боясь внушить такому податливому субъекту, как Фелиси, слуховую галлюцинацию, которой из-за навязчивости этого рода галлюцинаций опасался куда больше зрительных. Он знал, с какой покорностью подчиняются больные приказаниям, исходящим от голосов. Подумав, что расспрашивать Фелиси не следует, он решил на всякий случай попробовать успокоить угрызения совести, которые могли ее мучить. Однако, по опыту зная, что чувство моральной ответственности мало развито у женщин, он не приложил к этому больших стараний и удовольствовался тем, что сказал:

— Не считайте, деточка, что вы виноваты в смерти бедняги Шевалье. Самоубийство от любви — неизбежный конец патологических состояний. Всякий самоубийца должен был стать самоубийцей. Вы просто случайная причина катастрофы, разумеется прискорбной, но преувеличивать ее значение не следует.

Он рассудил, что на эту тему сказано достаточно, и попробовал рассеять страхи, одолевающие Фелиси. Он постарался убедить ее простыми рассуждениями: те образы, что она видит, не имеют реальной основы, они порождены ее собственными мыслями. В виде

иллюстрации к своим доводам, а также для ее успокоения он рассказал ей следующую историю:

— Один английский врач пользовал некую даму, как и вы, очень умную, которой, как и вам, мерещились под столами и стульями кошки и являлись призраки. Он убедил ее, что эти видения ни на чем не основаны. Она поверила и успокоилась. После долгого перерыва она снова стала появляться в свете, и вот однажды, войдя в гостиную, она увидела хозяйку дома, которая пригласила ее сесть и указала на кресло. Гостья увидела также, что в кресле сидит старый джентльмен и насмешливо улыбается. Она подумала, что из этих двух особ одна несомненно плод ее воображения, и решив, что джентльмен в действительности не существует, опустилась в кресло. Плотно усевшись, она вздохнула с облегчением. С этого дня ей больше никто не чудился, ни люди, ни животные. Заодно со старым насмешливым джентльменом она придушила их всех своим объемистым задом.

Фелиси покачала головой.

— Тут совсем другое дело.

Ей хотелось сказать, что ее привидение не старый чудаковатый господин, на которого можно сесть, что ее привидение — ревнивый мертвец, который приходит к ней неспроста. Но она опасалась говорить о таких вещах и, безвольно опустив руки на колени, умолкла.

Видя, что она печальна и подавлена, он принялся убеждать ее: зрительные галлюцинации весьма распространены, не стоит придавать им большое значение, они проходят скоро и бесследно.

— Мне тоже являлось привидение, — сказал он.

— Вам?

— Да, мне, лет двадцать тому назад в Египте.

Он заметил, что она с любопытством смотрит на него, и начал рассказ о своей галлюцинации, предварительно зажегши все электрические лампочки, чтобы прогнать призраки, ютящиеся в темноте.

— Когда я служил врачом в Каире, я каждый год в феврале поднимался вверх по Нилу до Луксора *, а оттуда отправлялся с друзьями в пустыню осматривать гробницы и храмы. На эти прогулки по пескам обычно

ездят верхом на осле. В последний раз, когда я ехал в Луксор, я нанял молодого погонщика с белым ослом Рамзесом, показавшимся мне более выносливым, чем остальные ослы. Погонщик, которого звали Селим, тоже был крепче, стройней и красивей остальных погонщиков. Ему было пятнадцать лет. Его глаза ласковым и жестоким блеском сверкали из-под великолепных длинных черных ресниц; смуглое лицо отличалось четким и чистым овалом. Глядя, как он ступает по пескам пустыни босыми ногами, я невольно вспоминал те воинственные пляски, о которых рассказывает библия. Все его движения были исполнены грации. Его молодая животная радость была обаятельна. Тыча Рамзеса в круп концом палки, он разговаривал со мной отрывистыми фразами, в которые вставлял английские, французские и арабские слова; он охотно рассказывал о путешественниках, которых сопровождал и которых всех без исключения величал князьями и княгинями. Но когда я спрашивал его о родных и друзьях, он замолкал с равнодушным, скучающим видом. Когда он выпрашивал хороший бакшиш, его гортанный голос приобретал вкрадчивый оттенок. Он шел на разные хитрости и, не жалея, расточал просьбы, чтобы выклянчить папиросу. Заметив, что мне приятно, когда погонщики ласковы с ослами, он целовал при мне Рамзеса в ноздри и во время стоянок играл с ним. Иногда он проявлял необыкновенную изобретательность, чтобы получить желаемое. Но он был слишком недалководен и потому, получив то, что хотел, не высказывал ни малейшей благодарности. Он был жаден на пиастры, но еще больше зарился на всякие блестящие безделушки, которые легко спрятать, на золотые булавки, кольца, запонки, на никелированные зажигалки; при виде золотой цепочки его лицо загоралось сладострастием.

Лето в тот год для меня было самым трудным за всю мою жизнь. В Нижнем Египте свирепствовала эпидемия холеры. Я носился по раскаленному городу с утра до вечера. Лето в Каире вообще мучительно для европейца. Но такой жары я еще не знал. И вот однажды мне сказали, что Селим, привлеченный

к ответственности туземным каирским судом, приговорен к смерти. Он убил девятилетнюю феллахскую девочку, чтобы завладеть ее серьгами, и бросил труп в водоем. Серьги, забрызганные кровью, были найдены под большим камнем в долине Царей. Это были примитивные украшения, которые нубийцы-кочевники выковывают молотком из шиллингов и монет в сорок су. Мне сказали, что Селим будет повешен, так как мать девочки не соглашается на выкуп за кровь. Действительно, хедиву не дано права миловать собственной властью, и согласно мусульманскому закону убийца может купить себе жизнь только в том случае, если родные убитого согласятся получить в возмещение некоторую сумму денег. Я был слишком занят и не вник в это дело. Впрочем, я легко мог себе представить, что Селим, хитрый, но склонный к необдуманным поступкам, ласковый и жестокий, поиграл с девочкой, сорвал с нее серьги, а ее убил и спрятал тело. Вскоре я позабыл о нем. Из старого города эпидемия перекинулась и в европейские кварталы. Я посещал тридцать — сорок больных в день и каждому делал внутривенное вливание. Меня мучила печень, изводило малокровие, одолевала усталость. Чтобы сохранить силы, мне необходимо было отдохнуть среди дня. После завтрака я растягивался во внутреннем дворе моего дома и погружался на час в африканскую тень, густую и свежую, как вода. Раз, когда я лежал так у себя во дворе на диване и как раз зажигал папиросу, я увидел Селима. Он был, как всегда, в синем бурнусе. Приподняв своей красивой бронзовой рукой занавес на двери, Селим подошел ко мне. Он не говорил, но он улыбался, обнажая в невинной и свирепой улыбке сверкающие зубы между алыми губами. Глаза, осененные иссиня-черными ресницами, загорелись алчностью при виде моих часов, лежавших на столе.

Я подумал, что он убежал из тюрьмы. И очень удивился не потому, что арестантов хорошо стерегут в восточных тюрьмах, где мужчин, женщин, лошадей и собак загоняют в плохо запирающиеся дворы под надзор одного-единственного солдата, вооруженного палкой. Но мусульмане не склонны испытывать

судьбу. Селим опустился на колени со свойственной ему умильной грацией и потянулся губами к моей руке, чтобы по древнему обычаю поцеловать ее. Я не спал, и у меня есть тому доказательство. У меня так же есть доказательство, что видение длилось недолго: когда Селим исчез, я заметил, что на моей зажженной папиросе еще нет пепла.

— Он уже умер, когда вы его видели? — спросила Нантейль.

— Нет, — ответил доктор. — Несколько дней спустя я узнал, что Селим все еще плел в тюрьме корзиночки или часами перебирал стеклянные четки и, улыбаясь, выпрашивал пиастр у посетителей-европейцев, которых поражала ласкающая мягкость его глаз. Мусульманское правосудие не торопится. Селима повесили через полгода. Ни на него, ни на других это не произвело большого впечатления. Я был тогда в Европе.

— А потом он больше не приходил?

— Нет.

Нантейль посмотрела на доктора с разочарованием.

— Я думала, что он приходил после смерти. Но раз он был в тюрьме, ясно, что вы не могли его видеть и что это было ваше воображение.

Поняв мысль Фелиси, доктор поспешил ответить:

— Нантейль, дружок мой, верьте мне: призраки мертвых так же нереальны, как и призраки живых.

Не обращая внимания на его слова, она спросила, неужели он видел привидение потому, что страдал печенью? Он ответил, что плохое состояние пищеварительных органов, общая усталость и предрасположение к приливам крови безусловно сделали свое дело.

— Я думаю, — прибавил он, — тут была и более непосредственная причина. Я лежал на диване, и голова у меня была ниже туловища. Я приподнял голову, чтоб зажечь папироску, и сейчас же опять опустил ее. Такое положение поразительно способствует галлюцинациям. Иногда достаточно лечь и запрокинуть голову, и вы тут же начнете видеть образы и слышать звуки, порожденные вашей фантазией. Вот поэтому-то я и советую вам, дружок, спать высоко, на двух больших подушках.

Она рассмеялась.

— Совсем как мама!.. Так же величественно!

Затем она перескочила на другую мысль.

— Послушайте, Сократ, а почему вам привиделся именно этот воришка, а не кто другой? В свое время вы наняли его осла и потом больше о нем не думали, И вдруг он вам привиделся. Ведь это же нелепо.

— Вы спрашиваете, почему именно он, а не кто другой? Я затрудняюсь ответить. Часто наши видения связаны с самыми сокровенными помыслами; но иногда они не имеют с ними ничего общего и совершенно для нас неожиданны.

Он снова стал убеждать ее не поддаваться боязни призраков.

— Мертвые не возвращаются. Если вам явится какой-нибудь покойник, будьте уверены, что это — порождение вашей фантазии.

Она спросила:

— Можете вы мне поручиться, что после смерти нет ничего?

— Деточка, после смерти нет ничего, что могло бы вас напугать.

Она встала, взяла сумочку и роль, протянула доктору руку.

— Вы ни во что не верите, старенький мой Сократ.

Он задержал ее на минутку в передней, посоветовал не переутомляться, вести спокойный образ жизни, развлечься, отдохнуть.

— Вы думаете, при нашей профессии это легко!.. Завтра у меня репетиция в фойе, репетиция на сцене, примерка платья; сегодня вечером я занята в спектакле. И вот уже больше года, что я так живу.

Х

Под высокими сводами, в пустоту которых надлежит возноситься молитвам, волновалось пестрое людское стадо.

У катафалка, окруженного свечами и утопающего в цветах, собрались актеры, все до единого: Дюр-

виль, старик Мори, Делаж, Викар, Дестре, Леон Клим, Вальрош, Аман, Реньяр, Прадель и Ромильи, и режиссер Маршеже; актрисы, все до единой: г-жа Раво, г-жа Дульс, Эллен Миди, Дюверне, Эртель, Фалампэн, Стелла Мари-Клэр, Луиза Даль, Фажет, Нантейль. Женщины стояли на коленях, все в черном, печальные, как элегии. Некоторые уткнулись в молитвенник. Другие плакали. Во всяком случае, к гробу товарища все женщины пришли побледневшие от утренней сырости, с темными кругами под глазами. Журналисты, актеры, драматурги, весь тот люд, что кормится театром, их семьи и толпа любопытных заполняли храм.

Певчие жалобно тянули «Kyrie eleison»; ¹ кюре поцеловал алтарь, повернулся к народу и возгласил:

— Dominus vobiscum ².

Ромильи окинул взглядом публику.

— У Шевалье недурной сбор.

— Посмотри-ка на Луизу Даль, — сказала Фажет. — Она надела черный резиновый ватерпруф, пусть все видят, что и она в трауре.

Доктор Трюбле, стоя несколько поодаль, по своему обычаю наблюдал нравы и делился вполголоса своими впечатлениями с Праделем и Константенем Марком...

— Заметьте, — говорил он, — на алтаре и вокруг гроба вместо свечей зажгли лампадки на длинных палках и вместо чистого воска ублажают господу деревянным маслом. Благочестивые люди, живущие при храме, спокон веков обжуживают бога. Наблюдение это не мое; кажется, его сделал Ренан *.

Священнослужитель, стоя справа от алтаря, негромко читал:

— Nolumus autem vos ignorare fratres de dormientibus ut non contristemini, sicut et ceteri qui spem, non habent ³.

— Кому теперь дадут роль Флорентена? — спросил Дюрвиль у Ромильи.

¹ Господи, помилуй (*греч.*).

² Господь с вами (*лат.*).

³ Мы желаем, чтобы вы ведали об усопших и не скорбели подобно остальным, которые надежды не имеют (*лат.*).

— Реньяру, — хуже Шевалье он ее не сыграет.

Прадель дернул доктора Трюбле за рукав.

— Доктор Сократ, скажите, пожалуйста, вы как ученый, как физиолог видите очень большие трудности для признания бессмертия души?

Он задал свой вопрос тоном делового, практического человека, лично заинтересованного в получении точных сведений.

— Вы, мой милый, конечно, знаете, что говорила по этому поводу птица Сирано де Бержерака *, — ответил Трюбле. — Однажды Сирано подслушал разговор двух птиц, сидевших на дереве. Одна сказала: «Душа птиц бессмертна». — «В этом нет сомнения, — согласилась другая. — Но вот что непонятно: как существа, у которых нет ни клюва, ни перьев, ни крыльев и которые ходят на двух ногах, могут думать, что и у них, как у птиц, душа бессмертна».

— Все равно, — сказал Прадель, — когда я слышу орган, мне в голову лезут благочестивые мысли.

— Requiem æternam dona eis, Domine¹.

Прославленный автор «Ночи на 23 октября 1812 г.» вошел в церковь, и в тот же миг он оказался повсюду, и у алтаря, и в притворе, и на хорах. Надо думать, что он уподобился Хромому бесу *, оседлавшему свой костыль, и носился над головами у всех, иначе как мог бы он в мгновение ока перейти от депутата Морло, в качестве свободомыслящего не вошедшего в церковь, к Мари-Клэр, стоявшей на коленях перед катафалком.

За одну минуту он успел шепнуть несколько слов каждому и каждой из присутствующих.

— Прадель, слыханное ли это дело, чтобы молодой человек бросил роль, превосходную роль, и как дурак покончил с собой? Пустить себе пулю в лоб накануне премьеры! По его вине придется теперь делать купюры и подгонять сцены одну к другой, это задержит нас на целую неделю. Вот идиот! Он играл из рук вон плохо. Но надо отдать ему справедливость: прыгал он, скотина, отлично. Ромильи, голубчик, займемся под-

¹ Вечный покой даруй им, господи (*лат.*) — католическая заупокойная молитва.

гонкой сегодня же в два часа. Надо, чтобы у Реньяра была копия роли и чтобы он умел лазать по крышам. Только бы он тоже не подвел нас, как Шевалье! Что, если и он застрелится! Да вы не смейтесь. Над некоторыми ролями тяготеет рок. Вот хотя бы в моем «Марино Фальеро» гондольер Сандро сломал себе на генеральной репетиции руку. Мне дают другого Сандро. На первом же представлении он вывихнул ногу. Мне дают третьего, он заболевает тифом... Нантейль, голубушка, когда ты будешь во Французской Комедии, я дам тебе замечательную роль. Но клянусь всеми святыми, что ваш театр от меня больше ни одной пьесы не получит.

И почти тут же он показал своим собратям по перу эпитафию Расина * под дверцей правого клироса и вспомнил историю этого камня, ибо был из тех парижан, что интересуются стариной родного города; он рассказал, что поэта, следуя его желанию, похоронили в Пор-Рояль, в ногах могилы г-на Амона, и что, когда это аббатство было снесено и могилы разрушены, тело дворянина Жана Расина, королевского секретаря и камер-юнкера, было без всяких почестей перенесено в церковь св. Стефана. И дальше он рассказал, что надгробие с рыцарским шлемом, серебряным лебедем на гербе и надписью, сочиненной Буало и переведенной на латинский Додаром, было вделано вместо ступени на хорах церквушки в Маньи-Лессаре, где оно и было найдено в 1808 году.

— Вот оно! — прибавил драматург. — Оно было разбито на шесть кусков, а имя Расина местами стерлось под башмаками крестьян. Куски приладили друг к другу и восстановили недостающие буквы.

На такие темы он распространялся со свойственными ему живостью и красноречием, извлекая из своей поразительной памяти множество любопытных фактов и забавных анекдотов, оживляя историю и внося страстность в археологию. Он то бурно восхищался, то приходил в негодование и все с одинаковым пылом, не смущаясь благолепием места и торжественностью богослужения.

— Хотел бы я знать, какие безграмотные болваны вделали этот камень сюда в стену: «Nis jacet nobilis vir Johannes Racine»¹. Это неправда! По их милости эпитафия честного Буало лжет. Тело Расина не тут. Оно было погребено в третьей часовне налево от входа. Что за идиоты!

И, сразу успокоившись, он указал на надгробие Паскаля.

— Оно попало сюда из музея на улице Малых Августинцев. Честь и слава Лемуару*, ведь он во время революции собрал, сберег...

Он экспромтом прочитал общедоступную лекцию о надгробиях, еще более блестящую, чем первая, изобразил жизнь Паскаля как интересную и ужасную драму и исчез. В церкви он в общей сложности провел не больше десяти минут.

Над склоненными головами, одолеваемыми суетными заботами и мирскими желаниями, как буря гремело «Dies irae»:²

Mors stupebit et natura,
Quum resurget creatura
Judicanti responsura³.

— Послушайте, Дютиль: ну как могла Нантейль, ведь она и очаровательная и умненькая, связаться черт знает с каким жалким актеришкой, с Шевалье?

— Ваше незнание женского сердца поразительно!

— Эршель гораздо больше бы шло быть брюнеткой.

Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti
Mih quoque spem dedisti⁴.

— Мне пора завтракать.

— Вы никого не знаете, у кого был бы ход к мистру?

¹ Здесь лежит благородный муж Жан Расин (лат.).

² День гнева (лат.).

³ Смерть иссякнет и рождение,
И воскресшее творенье
Будет ждать судьи решение (лат.).

⁴ Ты, Марию оправдавший
И мольбе злодея внявший,
Ты, и мне надежду давший (лат.).

— Дюрвилю крышка. Он дышит, как рыба, вытас-
щенная из воды.

— Сделайте мне одолжение, напечатайте несколько
слов о Мари Фалампэн. Она была обаятельна в «Ки-
тайских болванчиках», поверьте мне.

Inter oves locum præsta
Et ab hædis me sequestra,
Statuens in parte destra¹.

— Так это он из-за Нантейль застрелился? Из-за
такой потаскушки, которая и подметки его не стоит!

Священник налил в чашу вино с водой и возгласил:

— Deus qui humans substantiæ dignitatem mirabi-
liter condidisti...²

— Неужели, доктор, он покончил с собой потому,
что Нантейль дала ему отставку?

— Он покончил с собой потому, что она полюбила
другого, — ответил Трюбле. — Навязчивые эротиче-
ские представления часто служат толчком к безумию
и меланхолии.

— Вы не знаете актеров, доктор Сократ, — сказал
Прадель. — Он покончил с собой потому, что хотел
произвести впечатление, и не почему иному.

— Не одни актеры чувствуют непреодолимую
потребность во что бы то ни стало привлечь к себе
внимание, — сказал Константен Марк. — В прошлом
году у нас в Сен-Бартоломе тринадцатилетний маль-
чуган сунул в колесо работавшей молотилки руку, и
ее раздробило до плеча. Доктор, который ампутировал
ему руку, спросил во время перевязки, чего ради он
так себя изувечил. Мальчик признался, что хотел обра-
тить на себя внимание.

Меж тем Нантейль, сжав губы, не спускала сухих
глаз с черного покрывала на гробу и с нетерпением
ждала, когда покойник будет сполна улагодворен свя-

¹ К овцам белым сопричисли
И, от козлищ отделивши,
Дух от скверны мой очисти (лат.).

² Боже, ты, дивно воздвигнувший звание человеческое...
(лат.).

той водой, свечами и латинскими молитвами и сойдет в могилу, смирившись и не злобствуя. Этой ночью он опять являлся ей, и она приписывала его приход тому, что церковь еще не упокоила его душу. Потом, подумав, что когда-нибудь она тоже умрет и будет, как Шевалье, лежать в гробу под черным покрывалом, она вздрогнула от страха и зажмурилась. Чувство жизни было так сильно в ней, что смерть она представляла себе, как ужасную жизнь. Ей стало страшно, что она умрет, и она принялась молиться, чтоб бог послал ей долгую жизнь. Стоя на коленях, опустив голову, в ореоле легких волос, светлым пленительным пеплом упавших на склоненное чело, эта кающаяся грешница читала по молитвеннику слова, которых не понимала, но они успокаивали ее.

«Господи Иисусе Христе, царю славы, спаси души всех преставившихся верующих от мук адových и геенны огненной. Спаси их от пасти лвиной. Да не поглотит их бездна ада и тьма вечная; да приведет их архистратиг Михаил к святому свету, обещанному Аврааму и потомству его...»

В момент пресуществления святых даров молящиеся, проникшись смутным чувством, что таинство достигло своего апогея, прекратили посторонние разговоры и постарались придать своему лицу сосредоточенное выражение. В тишине, когда замолк орган, прозвенел колокольчик в руках мальчика-причетника, и все наклонили головы. Затем, после чтения последнего евангелия, когда священник, окончив службу под пение «Libera»¹, приблизился, сопутствуемый причтом, к катафалку, по толпе пробежал вздох облегчения, и все, слегка теснясь, потянулись проститься с покойником. Женщины, которых неподвижное стояние на коленях наводило на благочестивые, грустные и покаянные помыслы, сейчас же, как только кругом задвигались, вернулись к повседневным заботам. Актрисы, сталкиваясь друг с другом и с актерами, опять уже говорили о своих профессиональных делах.

¹ Избави... (лат.).

— Слышала, — сказала Эллен Миди своей товарке Фалампэн, *. Нантейль переходит во Французскую Комедию.

— Не может быть!

— Контракт подписан.

— Как она этого добилась?..

— Во всяком случае, не игрой на сцене, — ответила Эллен и начала рассказывать чрезвычайно скандальную историю.

— Тише, — остановила ее Фалампэн, — она идет сзади тебя.

— Вижу! Надо же иметь наглость, чтобы прийти сюда, правда?

Мари-Клэр шепнула на ухо Дюрвилю неожиданную новость:

— Говорят, что он застрелился. Ну, так это неправда! Вовсе он не застрелился. Иначе разве стали бы отпевать его в церкви?

— А что же тогда? — спросил Дюрвиль.

— Де Линьи застал его с Нантейль и убил.

— Какой вздор!

— Уверяю тебя, я из достоверных источников знаю.

Разговоры принимали все более оживленный и интимный характер.

— И вы здесь, старый греховодник!

— Сборы падают.

— Стелла добилась рекомендации от семнадцати депутатов, из которых девять входят в бюджетную комиссию.

— А ведь я Эршель говорила: «Вертопрах Боке не для вас, вам нужен солидный человек».

Когда факельщики, подняв гроб, вынесли его из храма, ласковые лучи зимнего солнца коснулись лиц женщин и роз на венках. По обеим сторонам паперти стоял народ. Учащаяся молодежь узнавала среди публики известных актеров. Шведы из соседних мастерских, стоявшие по двое, обнявшись, обсуждали туалеты актрис. Двое бродяг, привыкшие жить под открытым небом, то ласковым, то суровым, прислонились к стенке паперти, чтобы дать отдых натруженным ногам,

и обводили толпу медленным угрюмым взглядом, а рядом с ними ученик коллежа упивался созерцанием огненно-рыжих кудрей Фажет, стянутых пламенным узлом на затылке. Остановившись в дверях на верхней ступени, она разговаривала с Константином Марком и несколькими журналистами.

— ...Господин де Линьи? Он был моим поклонником еще задолго до того, как познакомился с Нантейль. Он часами смотрел на меня влюбленными глазами и не решался высказаться. Я охотно его принимала, потому что он никогда не выходил из границ приличия. Надо отдать ему справедливость: у него превосходные манеры. Он вел себя чрезвычайно сдержанно. И вот в один прекрасный день он признался, что влюблен в меня до безумия. Я сказала, что, поскольку он говорит со мной серьезно, я отвечу ему тем же: мне искренне жаль его; я очень огорчаюсь каждый раз, как случается такое дело; я женщина серьезная, жизнь моя налажена, и я ничем не могу ему помочь. Он был в отчаянии. Заявил, что уедет в Константинополь и не вернется обратно. Он не мог ни на что решиться, не знал, оставаться ему или уезжать. Даже заболел. Нантейль, думая, что я его люблю и хочу удержать, из кожи лезла, только бы отбить его у меня. Бессовестно заигрывала с ним. Меня это сместило. Но, как вы, конечно, понимаете, я не мешала ее планам. Господин де Линьи, со своей стороны, уж не скажу вам почему — то ли, чтобы я о нем пожалела, то ли просто назло, а может быть, надеясь вызвать во мне ревность, очень недвусмысленно отвечал на заигрывания Нантейль. Так они и сошлись. Я была в восторге, Нантейль моя лучшая подруга.

Госпожа Дульс медленно спускалась по ступеням между двумя рядами любопытных и в воображении своем слышала шепот толпы: «Вон знаменитая Дульс!»

Мимходом она подхватила Нантейль, прижала ее к сердцу и, в прекрасном порыве христианского милосердия накинув на нее свое пальто, с рыданием в голосе посоветовала:

— Попробуй молиться, деточка, вот на тебе образок. Его благословил сам папа. Мне дал его монах доминиканец.

Госпожа Нантейль, несколько запыхавшаяся, хотя и помолодевшая с тех пор, как опять любила, вышла последней. Дюрвиль пожал ей руку.

— Бедняга Шевалье! — пробормотал он.

— Он был неплохим человеком, — ответила г-жа Нантейль. — Но такта у него не было. Человек общества так с собой не покончит. Ему не хватало воспитания.

Похоронные дроги двинулись в огромную тень, отбрасываемую Пантеоном, и проследовали дальше по улице Суфло, по обе стороны которой тянулись книжные лавки. Товарищи Шевалье, театральные служащие, директор, доктор Сократ, Константен Марк, несколько журналистов и несколько любопытных из толпы шли пешком за катафалком. Духовенство и актрисы разместились в экипажах. Нантейль, вопреки советам г-жи Дульс, поехала вместе с Фажет в наемной карете.

Погода была прекрасная. Идущие за гробом неприужденно болтали.

— Кладбище-то у черта на куличках!

— Монпарнасское? Полчаса, не больше!

— Ты знаешь, Нантейль пригласили во Французскую Комедию.

— Репетиция сегодня состоится? — спросил Константен Марк у Ромильи.

— Конечно, в три часа в фойе. Будем репетировать до пяти. Я занят в спектакле сегодня вечером, занят завтра; занят в воскресенье и утром и вечером... Нам, актерам, никогда отдыха нет. Каждый день все начинается снова, каждый день трепка нервов...

Поэт Адольф Менье положил ему руку на плечо.

— Как дела, Ромильи, хорошо?

— А у вас как?.. По-прежнему Сизифовым трудом занимаюсь. Это бы еще куда ни шло. Но успех зависит не только от нас. Если пьеса плохая и провалится, с ней вместе полетит к черту все, что мы в нее вложили, вся наша работа, наш талант, кусок нашей

жизни... И сколько таких провалов я видел! Не раз пьеса валилась с ног, как замороженная кляча, а вместе с ней и я летел вверх тормашками. Ведь страдаешь-то не только за свои ошибки!..

— Ромильи, дорогой, разве вы не знаете, что и наша удача, удача драматурга, зависит от актеров в той же мере, как и от нас самих? Разве вы не знаете, как часто они, из-за неумения или по небрежности, проваливают талантливое произведение? Ведь нас, так же как одного из легионеров Цезаря, охватывает смущение и страх * при мысли, что судьба наша зависит не от наших собственных достоинств, а от доблести тех, кто сражается бок о бок с нами.

— Такова жизнь! — заметил Константен Марк. — Во всяком деле, всюду и всегда мы расплачиваемся за ошибки других.

— К сожалению, это так, — подхватил Менье, лирическая драма которого «Пандольф и Кларимонда» только что провалилась. — Но такая несправедливость возмущает нас.

— Она не должна нас возмущать, — возразил Константен Марк. — Миром управляет священный закон, и мы должны ему подчиняться и чтить его, этот закон — несправедливость, высшая святая несправедливость. Ее повсюду благословляют, называя счастьем, богатством, гением, красотой. Мы не признаем и не почитаем ее под настоящим ее именем только по собственному малодушию.

— То, что вы говорите, очень странно! — заметил мягкий Менье.

— Подумайте хорошенько, — начал убеждать его Константен Марк. — И вы тоже стоите за несправедливость, раз вы стремитесь к славе и вполне разумно хотите задавить своих конкурентов, — желание естественное, несправедливое и законное. Что может быть глупее и противнее людей, провозглашающих справедливость? Общественное мнение, хотя его и нельзя назвать умным, здравый смысл, хотя его и нельзя назвать высшим смыслом, поняли, что эти люди идут наперекор природе, обществу и жизни.

— Конечно, — сказал Менье, — но справедливость...

— Справедливость — мечта нескольких дураков. Несправедливость придумана богом. Учения о перво-родном грехе было бы достаточно, чтобы сделать из меня христианина, а учение об искуплении содержит все истины, человеческие и божеские.

— Вы верите в бога? — почтительно спросил Ромильи.

— Я не верю, но хотел бы верить. Веру я считаю самым большим благом на земле. В Сен-Бартоломе по воскресеньям и праздникам я хожу к обедне, и ни разу не бывало, чтобы, слушая проповедь священника, я бы не подумал: «Все бы отдал, дом, поля и леса, лишь бы быть таким же глупым, как эта скотина».

Мишель, молодой художник с мистической бородой, разговаривал с декоратором Роже.

— У бедняги Шевалье были свои идеи, но не всегда удачные. Как-то вечером он вошел в пивную весь сияющий и какой-то преображенный, подсел к нам и, теребя длинными красными пальцами свою старую шляпу, воскликнул: «Я нашел, как надо играть драматические роли. До сих пор никто не умел играть драматические роли, никто, понимаете!» И он рассказал нам, в чем заключается его открытие: «Я только что был в палате. Взобрался наверх в амфитеатр. Внизу, словно черные жуки на дне колодца, копошились депутаты. Тут на трибуну вышел коренастый человек. У него был такой вид, словно он взвалил себе на спину мешок с углем. Он оттопыривал локти, сжимал кулаки. До чего же он был смешон! У него был южный говор, и ударения он ставил неверно. Он говорил о трудящихся, о пролетариях, о социальной справедливости. Говорил великолепно, его голос и жесты пробирали до самого нутра; зал чуть не обрушился от рукоплесканий. Я подумал: «Я сделаю на сцене то, что делает сейчас он, и еще удачнее. Я, комик, буду играть в драме. Главные драматические роли, чтобы они производили впечатление, должны играть комики, но комики с душой». И он, бедняга,

воображал, что сделал необычайное открытие. «Вот увидите!» — повторял он.

На углу бульвара Сен-Мишель к Менье подошел журналист.

— Правда, что Робер де Линьи был безумно влюблен в Фажет?

— Если он в нее и влюблен, то очень недавно. Две недели тому назад он спросил меня в театре: «Кто эта блондиночка?» — И показал на Фажет.

— Не пойму, откуда взялась эта страсть клеветать на человечество, — говорил корреспондент вечерней газеты корреспонденту утренней. — Я, наоборот, удивляюсь, сколько на свете хороших людей. Просто можно подумать, что люди стесняются добра, которое делают, и стараются тайком совершать самоотверженные и великодушные поступки... Вам тоже так кажется?

— А я, — сказал корреспондент утренней газеты, — всякий раз, как случайно открою дверь, в прямом и в переносном смысле, так обнаруживаю подлость, о которой не подозревал. Если бы общество вдруг вывернуть наизнанку, как перчатку, и показать нам, что там внутри, мы бы все попадали в обморок от ужаса и отвращения.

— В свое время, — сказал Роже художнику Мишелю, — я встречался на Монмартре с дядей покойного Шевалье. Он был фотографом и одевался, как астролог. Этот старый чудака постоянно перепутывал фотографии клиентов. Клиенты возмущались... Но не все. Некоторые даже находили, что они очень похожи.

— Что с ним случилось?

— Он разорился и повесился.

На бульваре Сен-Мишель Прадель, шагавший рядом с Трюбле, воспользовался случаем, чтобы еще раз спросить о бессмертии души и о том, что ждет человека после смерти. Но не получая вразумительного, с его точки зрения, ответа, он несколько раз повторил:

— Хотел бы я знать...

На что доктор Сократ ответил:

— Люди созданы не для того, чтобы знать; люди созданы не для того, чтобы понимать. Им не хватает чего-то, что для этого нужно. Мозг человека больше и

богаче извилинами, чем мозг гориллы, но существенной разницы между ними нет. Самые высокие наши мысли и самые сложные системы — всего только великолепное развитие мыслей, которые содержатся в голове обезьяны. Нас радует, нам льстит то обстоятельство, что мы знаем о вселенной больше, чем собаки, но само по себе это очень мало, а вместе со знаниями растут и наши иллюзии.

Но Прадель уже не слушал. Он повторял в уме речь, которую собирался произнести над могилой Шевалье.

Когда погребальная процессия свернула к увядшим цветникам на проспекте Обсерватории, трамвай пропустил ее из уважения к смерти.

Трюбле заметил по этому поводу:

— Люди уважают смерть, ибо справедливо полагают, что если смерть достойна уважения, то каждый неизбежно заслужит уважение хотя бы после смерти.

Взволнованные актеры разговаривали о смерти Шевалье. Дюрвиль с таинственным видом, глухим голосом приподымал завесу над драмой:

— Это не самоубийство. Это преступление из ревности. Господин де Линьи застал Шевалье с Нантейль. Он выпустил в него семь пуль из револьвера. Две попали в нашего несчастного товарища — одна в голову, другая в грудь, четыре пролетели мимо, а пятая царапнула Нантейль пониже левого соска.

— Нантейль ранена?

— Легко.

— Против де Линьи возбудят судебное преследование?

— Дело замнут, и это правильно. У меня самые точные сведения.

Актрисы, ехавшие в экипажах, тоже сеяли всякие слухи. Одни верили в самоубийство, другие в убийство.

— Он только ранил себя выстрелом в грудь, — уверяла Фалампэн. — Доктор сказал: если бы помощь была оказана вовремя, его бы спасли. Но его оставили лежать на полу, плавающим в собственной крови.

Госпожа Дутьс повернулась к Эллен Миди:

— Мне часто случалось стоять у постели усопшего. В таких случаях я преклоняю колени и читаю молитву. И тут же чувствую, как на меня нисходит небесный покой.

— Ваше счастье! — сказала Эллен Миди.

В конце улицы Кампань-Премьер на широких, сумрачных бульварах они почувствовали, какой проделали длинный и печальный путь. Они почувствовали, что вслед за гробом оставили пределы живых и перешли в царство мертвых. По правую руку тянулись мастерские памятников и искусственных венков, были выставлены горшки с цветами и дешевый могильный инвентарь — цинковые вазоны, жестяные венки бесмертников, гипсовые ангелы-хранители. По левую — за низкой кладбищенской оградой, среди оголенных лип, торчали белые кресты, и все здесь, в белесой пыли, дышало смертью, смертью обыденной, упорядоченной, регламентированной городом и государством и скромно принаряженной любящей семьей.

Похоронная процессия прошла между двух тяжелых каменных столбов, увенчанных крылатыми песочными часами. Катафалк, медленно двигавшийся по песчаной дорожке, казался вдвое выше среди жилищ усопших; в тишине было слышно, как скрипит песок. Провожающие читали на могилах фамилии знаменитых людей или рассматривали статую сидящей девушки с книгой в руке. Старик Мори узнавал из надписей на памятниках возраст умерших. Он огорчался, если человек умер в молодом, и еще больше, если он умер в среднем возрасте, видя в этом дурное предзнаменование. Но, когда он встречал покойников завидно почтенного возраста, он радовался, ибо это давало ему надежду, что и он еще может долго прожить.

Катафалк остановился в середине боковой аллеи. Духовенство и женщины вышли из экипажей. Делаж принял с высокой подножки в свои объятия добродушную г-жу Раво, несколько отяжелевшую за последнее время, и полушутя, полусерьезно сделал ей игривое предложение. Мадам Раво была уже немолода; полвека она провела в театре. Двадцатипятилетний Делаж

считал ее старухой. Но пока он шептал ей на ухо, он все более возбуждался, становился настойчив, говорил искренне и уже действительно желал ее, отчасти из нездорового любопытства, отчасти из потребности выкинуть какой-нибудь экстравагантный фортель, отчасти потому, что был уверен в своих возможностях; может быть, в нем заговорил профессиональный инстинкт красавца мужчины, а главное, попросив о том, чего сперва ему совсем не хотелось, он захотел того, о чем попросил. Мадам Раво вырвалась, негодующая, но польщенная.

А гроб, который несли на руках, удалялся под бормотание молитв по узкой дорожке, обсаженной карликовыми кипарисами.

— In paradisum deducant te Angeli, in tuo adventu suscipiant te Martyres et perducant te in civitatem Sanctam Jerusalem, Chorus Angelorum te suscipiat et cum Lazaro, quondam paupere, æternam habeas requiem¹.

Вскоре дорожка кончилась. Провожающим пришлось по одному перелезть вслед за быстро удалявшимся гробом, за священником и причтом через могильные камни и протискиваться между надгробными памятниками и крестами. Они то теряли из виду, то вновь находили покойника. Нантейль старалась не отстать от него, она волновалась, спешила и, крепко держа в руке молитвенник, дергала юбку, цепляющуюся за решетки, задевала засохшие венки, с которых на нее сыпались головки бессмертников. Наконец те, что пришли первыми, почувствовали терпкий запах свежей земли и, встав на соседние могильные плиты, увидели яму и опускавшийся туда гроб.

Актеры не поспешили на похороны. Они купили в складчину своему товарищу потребное ему количество земли: два метра сроком на пять лет. Ромильи от имени актеров «Одеона» передал администрации триста франков, точнее триста один франк восемьде-

¹ В рай да введут тебя ангелы, да встретят тебя у врат его мученики и да проводят тебя в священный град Иерусалима, хор ангелов да примет тебя и вместе с Лазарем, что был некогда нищим, да вкушаешь ты вечный покой (*лат.*).

сят сантимов. Он даже набросал проект памятника: сломанная колонна, на которой висят театральные маски. Но насчет памятника никакого решения принято не было,

Священник благословил могилу. Попеременно с мальчиками-причетниками произносил он слова молитвы:

— Requiem æternam dona ei, Domine.

— Et lux perpetua luceat ei.

— Reguiescat in pace.

— Amen.

— Anima ejus et animæ omnium fidelium defunctorum, per misericordiam Dei, requiescant in pace.

— Amen.

— De profundis...¹

Все по очереди окропили могилу святой водой. Нантейль следила за всем: как молятся, бросают на гроб горсточку земли, кропят могилу святой водой; затем, преклонив в сторонку на краю чьей-то могилы колени, она с жаром стала читать: «Отче наш, иже еси на небесех...»

Прадель сказал надгробное слово. Он не собирался произносить речь. Но театр «Одеона» не может расстаться без прощального слова с молодым всеми любимым артистом.

— Итак, от имени большой и дружной театральной семьи я выскажу то, что сейчас на сердце у каждого...

Стоя вокруг оратора в подходящих случаю шаблонных позах, актеры слушали его по-профессиональному. Они слушали его активно — ушами, ртом, глазами, руками, ногами. Они слушали по-разному: кто с благородной осанкой, кто с наивным выражением лица, кто с печалью, кто с возмущением — каждый в соответствии со своим амплуа.

— Вечный покой даруй ему, господи,

— И неугасимый свет да сияет ему,

— Да упокоится в мире,

— Аминь.

— Душа его и души всех усопших христиан милосердием божием да упокоятся в мире.

— Аминь.

— Из бездны... (лат.).

Нет, директор театра не допустит, чтобы ушел без прощального слова отличный актер, о котором, несмотря на его короткую театральную карьеру, мало сказать, что он подавал большие надежды.

— Роли, созданные Шевалье, человеком порывистым, неровным, беспокойным, отличались оригинальностью, имели собственную физиономию. Несколько дней, я мог бы сказать несколько часов тому назад, он придал эпизодическому персонажу необычайную выразительность. Автор пьесы, человек с большим именем, пришел в восторг. Успех был обеспечен. В Шевалье жил священный огонь. Его трагическая смерть кажется необъяснимой. Не старайтесь найти разгадку. Его убило искусство. Его убило драматическое горение. Он умер, сожженный огнем, медленно пожирающим всех нас. Увы! Театр, в котором публика наслаждается только улыбками и слезами, столь же сладостными, как улыбки, театр — это ревнивый владыка, требующий от своих служителей безоговорочной преданности, тяжелых жертв, иногда даже жизни. Прощай, Шевалье! Все товарищи говорят тебе — прощай!

Присутствующие утирали слезы. Актеры плакали искренне: они плакали над собой.

Когда все разошлись, доктор Трюбле, оставшийся на кладбище с Константенем Марком, обвел взглядом толпу могил.

— Помните, — спросил он, — изречение Огюста Конта? * «Человечество состоит из мертвых и живых. Мертвых гораздо больше, чем живых». Да, мертвых гораздо больше, чем живых. Своим числом и огромностью проделанной ими работы они на много превосходят живых. Они управляют; мы подчиняемся. Наши учителя покоятся под этими плитами. Вот законодатель, проведший закон, которому я послушен сегодня, вот архитектор, построивший мой дом, поэт, создавший иллюзии, до сих пор волнующие нас, оратор, убедивший нас еще до нашего рождения. Вот все, кто потрудился над нашими знаниями, верными или ложными, над нашей мудростью и над нашим безумием. Они лежат тут, непреклонные повелители, которых

нельзя послушаться. За ними сила, преимущество, длительность... Что значит поколение живых по сравнению с бесчисленными поколениями мертвых? Что значит наша мимолетная воля по сравнению с их многовековой?.. Разве можем мы восстать на мертвых? Нам даже не хватит времени послушаться их!

— Вот до чего вы договорились, доктор Сократ! — обрадовался Константен Марк. — Вы отрекаетесь от прогресса, от современной справедливости, от всеобщего мира, от свободы мысли, вы подчиняетесь традиции... Вы согласны вернуться к старым заблуждениям, к блаженному неведению, к достопочтенной несправедливости наших отцов. Вы возвращаетесь к галльской традиции, подчиняетесь древнему обычаю — непререкаемому авторитету предков.

— Откуда вы взяли обычай и традицию? Откуда вы взяли непререкаемый авторитет предков? — возразил Трюбле. — Существуют несогласуемый друг с другом традиции, различные обычаи, враждующие авторитеты. Мертвые не навязывают нам единой воли. Они подчиняют нас противоположным волям. Старые воззрения, тяготеющие над нами, неопределенны и туманны. Они давят нас, но в то же время уничтожают друг друга. Все эти мертвые жили, как и мы, среди волнений и противоречий. В свое время каждый из них, на свой лад, ненавидя или любя, осуществлял мечту своей жизни. Осуществим ее и мы, радостно и благожелательно, если это возможно, и пойдем завтракать. Я поведу вас в трактирчик на улице Вавен к Клеманс, которая готовит только одно блюдо, но зато какое! Рагу по-кастельнодарски, которое не следует смешивать с рагу по-каркассонски из самой обычной баранины с фасолью. В рагу по-кастельнодарски входят маринованные гусиные полотки, заранее сваренные бобы, сало и колбаски. Оно должно долго томиться на медленном огне, только тогда оно будет вкусным. У Клеманс рагу томится уже двадцать лет. Она подкладывает в горшок то гусятники или сала, то колбаски или бобов, но рагу это все то же. Она никогда не выскребает горшок до дна, а на дне-то как раз и есть самый смак, придающий рагу ту прелесть,

которую мы находим в золотистых женских телах на картинах старых венецианских мастеров. Пойдемте, я хочу угостить вас рагу, приготовленным Клеманс.

XI

Нантейль не осталась слушать Праделя и, дочитав свою молитву, вскочила в экипаж и отправилась на свидание с Робером де Линьи, который ожидал ее у Монпарнасского вокзала. Они молча поздоровались среди уличной суеты. С особой силой ощутили они свою близость. Робер любил ее.

Любил, сам того не зная. Он думал, что она для него только одно из наслаждений в бесконечной цепи возможных наслаждений. Но наслаждение воплотилось для него в Фелиси, и если бы он размышлял о тех бесчисленных женщинах, которые, как он предполагал, еще долгие годы будут украшать его недавно начавшуюся жизнь, они все предстали бы перед ним в образе Фелиси. Во всяком случае, он мог бы заметить, что, хоть в его намерения и не входило быть ей верным, он не изменял ей и, с тех пор как она принадлежала ему, не заглядывался на других женщин. Но раньше он не замечал этого.

Сейчас, на этой людной, будничной площади, когда он увидел ее не в дышащем страстью ночном полумраке, не при мягком свете спальни, где ее обнаженное тело мерцало пленительной белизной Млечного Пути, а при резком дневном свете, под лучами беспощадного, не смягченного тенью солнца, от которого не скроешь под вуалеткой заплаканных глаз, бледности щек, морщинок в углах губ, он вдруг почувствовал, что она полна для него какого-то таинственного и глубокого обаяния.

Он не стал ее расспрашивать. Они наговорили друг другу много нежных слов. Фелиси проголодалась, и он повел ее в известный ресторан, вывеска которого сияла золотыми буквами на старинном доме тут же на площади. Им накрыли столик в зимнем саду; скалы, фонтан и дерево отражались во множестве зеркал,

обрамленных вьющимися растениями. Сидя за столом и выбирая меню, они разговорились с большей откровенностью, чем обычно. Он говорил, что за последние три дня у него издергались нервы от всяких хлопот и тревожений, но что теперь все неприятности позади и пора выкинуть из головы эту печальную историю. Она говорила о своем здоровье, жаловалась, что плохо спит, что ее мучают страшные сны. Но она не говорила, что именно она видит во сне, избегала упоминать об умершем. Он спросил, не переутомилась ли она сегодня утром и зачем поехала на кладбище, кому это нужно?

В глубине души у нее жила смутная вера в обряды, в молитвы и в заклинания, но объяснить ему это она не умела и потому покачала головой, словно говоря: «Так надо было».

Сидящие за соседними столиками кончали завтракать, а они в ожидании, пока им подадут, еще долго разговаривали вполголоса.

Робер дал себе слово, клятвенно обещал не упрекать Фелиси за то, что она была любовницей Шевалье, даже никогда ее ни о чем не спрашивать. И все же из затаенного злопамятства, из поднявшегося в нем недоброго чувства, из понятного любопытства, а также потому, что он ее очень любил и не мог сдержаться, он с горечью сказал:

— Ты принадлежала ему.

Она молчала, не отрицая ничего. И не оттого, что чувствовала всю бесполезность лжи. Наоборот, она привыкла отрицать очевидные факты и, кроме того, слишком хорошо знала мужчин, а потому была уверена, что нет такой грубой лжи, которой не поверил бы влюбленный мужчина, если ему хочется ей поверить. Но на этот раз она не солгала, вопреки своим привычкам и натуре. Она побоялась обидеть покойника. Она думала, что отречься от него, значит причинить ему боль, обокрасть, рассердить его. Она молчала из страха, что сейчас он явится ей с обычной застывшей усмешкой на лице, с простреленной головой; сядет за их столик и скажет жалобным голосом:

«Фелиси, ведь ты не забыла нашей комнатки на улице Мучеников!..»

Она не могла бы сказать, чем он стал для нее после смерти, настолько это противоречило ее вере и рассудку, настолько слова, которыми это можно было выразить, казались ей устарелыми, смешными, вышедшими из употребления. Но какое-то подсознательное чувство, которое можно было бы объяснить атавизмом или скорее рассказами, слышанными в детстве, шептало ей, что он принадлежит к тем мертвецам, которые в былые времена не давали покоя живым и которых заклинали священники; недаром, думая о нем, она инстинктивно поднимала руку, чтобы перекреститься, и удерживалась только потому, что боялась показаться смешной.

Линьи, увидя, что она смущена и печальна, пожалел о своих жестоких и ненужных словах, и тут же сказал новые, не менее жестокие и ненужные:

— Почему же ты говорила, что это неправда?

— Я хотела, чтобы это была неправда, вот почему, — горячо возразила она и прибавила: — Любимый мой, уверяю тебя, с тех пор как я твоя, я не принадлежала никому больше. И заслуги тут никакой нет: это просто стало для меня невозможно.

У нее, как у молодых животных, была потребность радоваться жизни. Вино, сверкавшее в стакане, как расплавленный янтарь, ласкало ее глаз, и она с наслаждением сделала глоточек. Ее занимали подаваемые кушанья, особенно яблочное суфле, словно выдудое из золотого стекла. Затем она принялась рассматривать сидящих за соседними столиками и потешаться на их счет, наделяя их в зависимости от внешнего вида смешными чувствами или нелепыми страстями. Фелиси замечала недоброежелательные взгляды женщин и старания мужчин показаться ей красивее и значительнее. И она пришла к следующему выводу:

— Робер, ты заметил, что люди никогда не бывают сами собой? Они говорят не то, что думают, а то, что, по их мнению, надо сказать. Поэтому они так скучны. Очень редко встретишь человека, который был бы сам собой. Вот ты из таких.

— Да, мне кажется, я не позер.

— Ты тоже позируешь, как и все. Но ты позируешь естественно. Я отлично вижу, когда ты хочешь произвести на меня впечатление...

Она стала говорить о нем, и ход мыслей невольно привел ее к драме в Нельи. Она спросила:

— Твоя мать ничего не говорила?

— Нет.

— Но ведь она знает...

— Вероятно.

— У тебя с матерью отношения хорошие?

— Ну, разумеется!

— Говорят, твоя мать все еще красива. Это правда?

Он не ответил и попробовал перевести разговор. Он не любил, когда Фелиси расспрашивала его о матери и вообще о семье. Г-н и г-жа де Линьи пользовались большим уважением в парижском обществе. Г-н де Линьи, потомственный дипломат, был человеком весьма почтенным и притом еще до своего появления на свет, ибо его предки оказали Франции немало важные дипломатические услуги. Его прадед подписал отказ от Пондишери в пользу Англии*. У г-жи де Линьи были очень приличные отношения с мужем. Но она жила не по средствам, на слишком широкую ногу, ее туалеты свидетельствовали о былой славе Франции. У нее был близкий друг — бывший посланник. Его преклонный возраст, его положение, взгляды, титулы, огромное состояние заставляли уважать эту связь. Г-жа де Линьи держала жен республиканских сановников на почтительном расстоянии и при случае давала им уроки хорошего тона. Ей нечего было бояться, что скажет свет. Робер знал, что в высшем обществе она пользуется уважением. Но он боялся, что Фелиси, не принадлежавшая к обществу, недостаточно тактично отзовется о его матери. Он вечно опасался, как бы она не сказала чего лишнего. Он ошибался: откуда могла Фелиси знать интимную сторону жизни г-жи де Линьи, да если бы она и знала, она не осудила бы ее. Эта знатная дама вызывала в ней наивное любопытство и восхищение, к которому примешивался страх. Ее любовник не хотел говорить

с ней о матери, Фелиси его сдержанность казалась аристократической спесью и даже признаком неуважения, и это возмущало ее гордость плебейки и девушки легких нравов. Она с горечью упрекала его: «Почему ты не хочешь, чтобы я говорила о твоей матери?» В первый раз она прибавила: «Чем моя хуже твоей?» Но она поняла, что это вульгарно, и больше этого не повторяла.

Зал опустел.

Она посмотрела на часы и, увидев, что уже три, сказала:

— Пора бежать. Сегодня дневная репетиция «Решетки». Константен Марк, верно, уже в театре... Вот тоже чудак! Рассказывает, что в Виварэ не пропускает ни одной женщины. А тут он такой застенчивый, робет, когда Фажет или Фалампэн заговорят с ним. Меня он боится. Смешно!

Она так устала, что не могла заставить себя встать.

— Странно! Все говорят, что я приглашена во Французскую Комедию. Это неправда. Даже речи об этом не было... Само собой понятно, что я не могу застрять навсегда в «Одеоне». В конце концов там отупеешь. Но спешить некуда. У меня большая роль в «Решетке». А дальше видно будет. Для меня важно одно — играть на сцене. Я не стремлюсь поступить во Французскую Комедию, чтобы сидеть там сложа руки.

Вдруг у нее округлились от ужаса глаза, она откинулась на спинку стула, побледнела и пронзительно вскрикнула. Потом, закрыв глаза, пробормотала, что задыхается.

Робер расстегнул ей лиф, смочил водой виски.

Она сказала:

— Священник! я увидела священника... Он был в облачении... Он беззвучно шевелил губами... и смотрел на меня.

Робер постарался ее успокоить.

— Ну что ты, дружок, ты только подумай, как может священник, да еще в облачении, обучиться в ресторане?

Она покорно слушала и соглашалась с его доводами.

— Ты прав, ты прав, я сама знаю.

Из ее легкомысленной головки все улетучивалось очень быстро. Она родилась через двести тридцать лет после смерти Декарта *, о котором ничего не слышала, и все же он научил ее пользоваться разумом, как сказал бы доктор Сократ.

В шесть часов, по окончании репетиции, Робер встретил ее под аркадами театра и усадил в экипаж.

Она спросила:

— Куда мы едем?

Он минутку поколебался:

— Тебе не хочется опять туда, в наше гнездышко?

Она возмутилась:

— Что ты еще выдумал, нет, нет, ни за что!

Он ответил, что так и предполагал, и постарается подыскать что-нибудь другое: подходящую квартиру в Париже, а сегодня им придется удовольствоваться случайным помещением.

Она посмотрела на него пристальным, тяжелым взглядом, порывисто привлекла к себе, опалила ухо и шею горячим дыханием страсти. Потом разжала объятия и, грустная и безвольная, откинулась на спинку сидения.

Когда экипаж остановился, она спросила:

— Робер, послушай, ты не рассердишься, если я тебе что-то скажу: не сегодня... завтра...

Она сочла необходимым принести эту жертву ревнивому покойнику.

XII

На следующий день они отправились в снятую им меблированную комнату, банальную, но веселую, во втором этаже особняка, выходящего в сквер около Библиотеки. Посреди сквера возвышался фонтан, который поддерживали рослые нимфы. На дорожках, обсаженных лавровыми деревьями и бересклетом, не видно было гуляющих, и в доносившемся сюда, в это безлюдное место, многоголосом гуле города было что-то успокоительное. Репетиция кончилась очень поздно. Сумерки, наступавшие медленнее в это время года,

когда снег уже тает, окутали тенью стены комнаты, в которую они вошли. Большие зеркала в шкафу и на камине тускло мерцали в сгущавшейся тьме.

Фелиси сняла меховой жакет, подошла к окну, чуть раздвинула занавески и сказала:

— Робер, ступеньки на крыльце мокрые.

Он ответил, что никакого крыльца тут нет, прямо тротуар, потом мостовая, другой тротуар и ограда сквера.

— Ты же парижанка, ты отлично знаешь эту площадь. В центре среди деревьев монументальный фонтан с огромными женщинами, у которых грудь далеко не такая красивая, как у тебя.

В нетерпении Робер хотел помочь Фелиси расстегнуть суконное платье, которое было на ней. Но он не мог найти крючки, поцарапался о булавки.

Он сказал:

— Какой я неловкий.

Она, смеясь, ответила:

— Ну, конечно, до госпожи Мишон тебе далеко! Ты не то что неловок, а просто боишься уколоться. Мужчины все трусы. А женщинам волей-неволей приходится привыкать к боли... знаешь, женщине почти все время больно.

Он не заметил, что она бледна, что под глазами у нее синяки. Он слишком сильно ее желал и потому уж не видел ее.

Он сказал:

— Женщины очень чувствительны к боли, и к наслаждению они тоже очень чувствительны... Ты читала Клода Бернара? *

— Нет!

— Это был крупный ученый. Он сказал, что без всякого колебания признает превосходство женщины в области физической и моральной чувствительности.

Нантейль, расшнуровывая корсет, заметила:

— Если он хотел этим сказать, что все женщины чувствительны, так он дурак. Надо было бы свести его с Фажет, тогда бы он увидел, легко ли добиться от нее чего бы то ни было в области... как это он гово-

рит?.. в области физической и моральной чувствительности.

И она прибавила с нежной гордостью:

— Не обманывайся, Робер, насчет женщин. Таких, как я, немного.

Он привлек ее к себе, но она высвободилась из его объятий.

— Ты мне мешаешь.

Она сидела и, нагнувшись, развязывала ботинки.

— Знаешь, доктор Сократ на днях рассказывал мне, что видел призрак. Ему являлся погонщик осла, убивший девочку. Сегодня ночью мне все это приснилось, только во сне я никак не могла разобраться, кто этот погонщик — мужчина или женщина. Сон был такой путаный!.. Да, кстати, отгадай, чей любовник доктор Сократ? Той дамы, что держит читальню на улице Мазарини. Она не первой молодости, но очень умная женщина. Как ты думаешь, он ей изменяет?.. Я сниму чулки, так приличнее.

И она принялась болтать о театральных делах:

— Я действительно думаю, что недолго останусь в «Одеоне».

— Почему?

— Сейчас скажу. Сегодня перед репетицией Прадель мне говорит: «Нантейль, прелесть моя, смешно — между нами никогда ничего не было...» Он держал себя очень прилично, но он дал мне понять, что такое положение недопустимо и вечно продолжаться не может... Знаешь, ведь Прадель ввел такое правило. Раньше он останавливал свой выбор на какой-нибудь одной из молодых актрис. У него были любимицы, это вызывало недовольство. Теперь ради пользы дела он не пропускает никого, даже тех, кого не находит привлекательными, даже тех, кого находит просто-напросто непривлекательными. Любимиц больше нет. Все в порядке. Да, вот это настоящий директор.

И она стала приставать к Роберу, который молча лежал в постели:

— Значит, тебе будет все равно, если я сойду с Праделем?

— Нет, дорогая моя, нет, не будет все равно. Но ведь от того, что я это скажу, дело не изменится.

Наклонившись над ним, она, шутливо грозясь, расточала ему пламенные ласки.

— Раз ты не ревнуешь, значит ты меня не любишь! Я хочу, чтобы ты ревновал, — крикнула она.

Потом вдруг отошла от него и, придерживая на левом плече рубашку, соскользнувшую с правой груди, она остановилась у туалетного столика и с беспокойством спросила:

— Робер, ты сюда из той комнаты ничего не взял?

— Ничего.

Тогда осторожно, робко она скользнула в постель, но не успела лечь, как приподнялась на локте и, вытянув шею, приоткрыв рот, стала прислушиваться. Ей показалось, что она слышит легкий скрип песка под ногами, как в том саду на бульваре Вилье. Она подбежала к окну, увидела иудино дерево, лужайку, решетку. Наперед зная, что она сейчас увидит, она хотела закрыть лицо руками, но у нее не хватило сил поднять руки и перед ее глазами встало лицо Шевалье.

XIII

Дома у нее поднялась температура. Робер пообедал с родителями и пошел к себе в «Версаль». После неудачного свидания с Фелиси он был раздражен и мрачен.

Сорочка и фрак, приготовленные лакеем, лежали на кровати и, казалось, ждали его, покорно предлагая свои услуги. Он начал одеваться с несколько порывистой быстротой. Ему не терпелось уйти. Он открыл круглое окошко, услышал шум города, увидел в небе над крышами отблеск парижских огней. Он вдохнул в себя испарения любви, идущие от всей массы тел, собранных этой зимней ночью в театрах, дорогих кафе, кафешантанах и барах.

Он злился на Фелиси за то, что она обманула его желания, и решил искать удовлетворения у другой женщины; ему казалось, что его затрудняет только выбор, ибо он не мог решить, которую предпочесть, но,

вскоре он понял, что его не привлекает ни одна из знакомых женщин, не привлекают даже и незнакомые. Он закрыл окно и сел к камину.

В камине горел уголь: г-жа де Линьи, не жалевшая на шубку двадцать пять тысяч франков, сэкономила на столе и отоплении. Она не потерпела бы, чтобы в спальне жгли дрова.

Робер задумался о своих делах, которые раньше мало его беспокоили, о недавно начатой служебной карьере и ее не вполне ясных для него перспективах. Министр был большим другом их семьи. Он вырос в Севеннах, питался каштанами и теперь жмурился от удовольствия при виде обильно сервированного стола. Однако он был хитер и ловок и потому не пренебрегал теми преимуществами, которые были у него перед старой аристократией, принимавшей его; он считал свои желания законом и высокомерно отказывал в просьбах. Линьи это знал и не ждал от него никаких поблажек. В данном случае он оказался проницательнее матери, воображавшей, что может влиять на этого черного волосатого человечка, который по четвергам неизменно вел ее к столу, исчезая в складках ее депотических юбок. Робер считал его начальником неприятным. А, кроме того, тут замешалось еще особое обстоятельство. Линьи имел несчастье раньше него снискать милость г-жи де Нейль, дамы легкого поведения, которую тот любил до безумия. И Роберу казалось, что министр догадывается и потому смотрит на него косо. Наконец, служа на набережной д'Орсэ, он пришел к тому выводу, что министры мало что могут, да, пожалуй, и мало чего хотят. Но он ничего не превеличивал и считал вполне возможным, что его оставят при министерстве. До сих пор он этого очень хотел, потому что ему не улыбалось расстаться с Парижем. Его мать, наоборот, предпочла бы, чтобы он отправился в Гаагу, где была вакантная должность третьего секретаря. Сейчас ему вдруг захотелось в Гаагу. «Я уеду, — решил он. — И чем скорее, тем лучше». Потом он постарался разобраться, почему принял такое решение. Прежде всего это превосходно для будущей карьеры. Затем, служить в Гааге одно удовольствие... Приятель,

раньше занимавший эту должность, расхваливал очаровательную в своем лицемерии маленькую сонную столицу, где идут на всякие компромиссы и махинации, лишь бы угодить дипломатический корпус. Он принял также в соображение и то, что Гаага — колыбель нового международного права, и под конец извлек на свет божий последний аргумент — его назначение в Гаагу будет приятно матери. После всех этих рассуждений ему стало ясно, что он хочет уехать только из-за Фелиси.

Он стал мысленно развенчивать ее. Ведь он знал, что она лгунья, трусиха, недоброжелательно относится к подругам. Не сомневался, что она сходилась с первым встречным актеришкой, во всяком случае не пренебрегала никем.

Он не был уверен, что она не изменяет ему, хотя она ничем не возбудила его подозрений, просто он с полным основанием не доверял женщинам вообще. Он припомнил все дурное, что знал о ней, и постарался убедить себя, что она дрянь; однако чувствуя, что все же любит ее, решил, что любит ее только за красоту. Этот довод показался ему веским, но, вдумавшись, он понял всю его несостоятельность: он любит эту девушку не за красоту вообще, а за особую, за ее красоту, не такую, как у всех; он любит ее за то редкое и своеобразное, что есть в ней; за то, что она чудесное произведение искусства, предмет вождления, живое сокровище, которому нет цены. И тогда он почувствовал свою слабость и заплакал. Он плакал над своей потерянной свободой, плененной мыслью, смятенной душой, над тем, что он всей кровью, всем телом принадлежит очаровательному, но слабому и коварному созданию.

Робер долго смотрел на раскаленный уголь в камине, и у него воспалились глаза. Он закрыл их и сквозь веки увидел негров, которые бесчинствовали в кровавом сумбуре. Он постарался припомнить, из какой книги о путешествиях, читанной в отрочестве, вылезли эти чертенята; они начали уменьшаться, стали незаметными точками и исчезли в какой-то красной Африке, которая постепенно преобразилась в рану,

мелькнувшую при свете спички в ночь самоубийства. Он подумал: «Чертов Шевалье. Ведь я даже не думал о нем».

Вдруг на фоне крови и огня появилось сладострастно изогнутое тело Фелиси, и он почувствовал, как его охватывает острое, горячее желание.

XIV

На следующий день Робер отправился к ней, в ее скромную квартиру на бульваре Сен-Мишель. Это было не в его привычках. Он не любил встречаться с г-жой Нантейль; хотя она была с ним очень вежлива и даже чересчур предупредительна, ему было с ней скучно и неловко.

На этот раз к нему в убого обставленную гостиную вышла она. Поблагодарила за внимание к Фелиси, сказала, что бедняжка вчера вечером чувствовала себя плохо, нервничала, но что сегодня ей лучше.

— Она у себя в спальне, работает над ролью. Я сейчас скажу ей, что вы пришли. Фелиси будет вам очень рада, господин де Линьи. Она знает, что вы к ней очень хорошо относитесь. А истинные друзья — такая редкость, особенно в театральном мире.

Робер с интересом рассматривал г-жу Нантейль, хотя раньше не обращал на нее внимания. Глядя на нее, он старался себе представить, какой будет в ее годы дочь. Он вообще любил по лицу матери угадывать судьбу дочери. И на этот раз он упорно разглядывал черты лица г-жи Нантейль, вдумываясь в них, как в интригующее пророчество. Из ее лица он не вычитал никакого предзнаменования, ни плохого, ни хорошего. Г-жа Нантейль пухлая, пышнотелая, с хорошим цветом лица, со свежей кожей производила приятное впечатление. Но дочь была совсем на нее не похожа.

Видя, как она невозмутимо спокойна, он спросил:

— А у вас крепкие нервы?

— И всегда были крепкими. Дочь не в меня. Она вылитый отец. Он был хрупок, хотя и не плохого здо-

ровья. Умер он от падения с лошади... Хотите чашку чая, господин де Линьи?

В гостиную вошла Фелиси. Она была в белом шерстяном пеньюаре, нетуго стянутом в талии толстым басонным шнуром, в красных ночных туфельках, с распущенными волосами. Она казалась совсем девочкой. Друг дома Тони Мейер, торговавший картинами, прозвал ее за это платье монашеского покроя братом Ангелом из рода Шаролэ, потому что находил в ней сходство с портретом работы Натье *, изображающим мадемуазель де Шаролэ во францисканском одеянии. Робер онемел при виде этой девочки.

— Очень мило, что вы зашли справиться о моем здоровье, — сказала она. — Спасибо. Мне лучше.

— Фелиси заработалась, совсем заработалась, — сказала г-жа Нантейль. — Она очень устает от той роли, которую играет в «Решетке».

— Да нет же, мама.

Разговор перешел на театр и скоро оборвался.

В наступившем молчании г-жа Нантейль спросила г-на де Линьи, продолжает ли он коллекционировать старые модные картинки.

Фелиси и Робер с недоумением посмотрели на нее. В свое время, чтобы объяснить свидания, которых они не могли скрыть, они придумали модные картинки. Но и тот и другой уже успели забыть о них, так затуманила им головы любовь. Только г-жа Нантейль, свято чтившая условности, еще помнила об этих картинках.

— Дочь говорила, что у вас целая коллекция старинных картинок и что она пользуется ею для своих костюмов.

— Совершенно верно, сударыня!

— Пойдемте, господин де Линьи, — сказала Фелиси. — Я хочу показать вам, какой костюм я придумала для Сесиль де Рошмор.

И она увела его к себе в спальню.

Это была небольшая комнатка с обоями в цветочек, с зеркальным шкафом, двумя мягкими стульями, обитыми волосяной материей, и железной кроватью под белым пикейным одеялом. Над кроватью висела чаша со святой водой и буксовая ветка.

Фелиси долгим поцелуем поцеловала его в губы.

— Я люблю тебя!

— Это правда?

— Да, да. А ты?

— Я тоже люблю тебя. Я не думал, что так полюблю тебя.

— Значит, это пришло потом.

— Это всегда приходит потом.

— Ты прав, Робер. Заранее знать нельзя.

Она покачала головой.

— Вчера я совсем разболелась.

— Ты советовалась с Трюбле? Что он сказал?

— Он сказал, что мне необходимо отдохнуть, успокоиться... Родной мой, нам придется недельки две еще быть умниками. Ты огорчен?

— Ну, конечно.

— Я тоже огорчена. Но что поделаешь?..

Он прошелся несколько раз по комнате, ко всему приглядываясь. Она следила за ним с некоторым беспокойством, опасаясь, что он будет расспрашивать о незатейливых украшениях и простеньких безделушках, скромных подарках, происхождение которых не всегда объяснишь. Выдумать, конечно, можно все, что угодно, но легко запутаться, нажить неприятности, а стоит ли из-за такой ерунды! Она постаралась отвлечь его внимание.

— Робер, открой мой ящик для перчаток.

— А что там в этом ящике?

— Фиалки, которые ты мне подарил в первый раз. Родной мой, не оставляй меня. Не уезжай... Как подумаю, что не сегодня-завтра ты можешь уехать за границу, в Лондон, в Константинополь, я с ума схожу.

Он успокоил ее, сказал, что его хотели послать в Гаагу. Но он не поедет, добьется, чтобы его оставили в министерстве.

— Обещаешь?

Он искренне обещал. И Фелиси повеселела.

— Видишь, родной мой, — сказала она, кивнув в сторону небольшого зеркального шкафа, — вот перед ним я разучиваю роли. Когда ты пришел, я работала над четвертым действием. Я пользуюсь теми минутами,

что бываю одна, и пытаюсь найти верный тон. Я стараюсь говорить на одном дыхании, плавно. Если бы я послушалась Ромильи, речь у меня получилась бы отрывистая, а это мельчит образ. Мне надо сказать: «Я вас нисколько не боюсь». Это самое эффектное место в роли. Знаешь, как Ромильи хочет, чтобы я сказала: «Я вас нисколько не боюсь»? Сейчас объясню: надо закрыть ладонью рот, растопырить пальцы, так чтобы на каждый палец пришлось по слову, сказанному отдельно, особым тоном, с определенной мимикой: «Я, вас, нисколько, не, боюсь», словно я показываю марионеток! Не хватает только надеть на каждый палец бумажный колпачок. Как это тонко, как умно, правда?

Потом, откинув волосы со своего высокого лба, она сказала:

— Сейчас я тебе покажу, как я это делаю.

Неожиданно преобразившись, выросши, она сказала с наивной гордостью и спокойным простосердечием:

— Нет, сударь, я вас нисколько не боюсь. Зачем мне вас бояться! Вы думали поймать меня в расставленную вами западню, и сами оказались в моей власти. Вы человек чести. Теперь я нахожусь под вашим кровом, и вы скажете мне то, что сказали вашему врагу шевалье д'Амберру, когда он очутился за этой оградой: «Вы у себя: приказывайте!»

Фелиси обладала таинственным даром перевоплощаться и внутренне и внешне. Линьи был под обаянием красивой иллюзии.

— Ты просто поразительна!

— Послушай, котик. На мне будет большой батиновый чепчик с оборками, в несколько рядов до самых щек. Потому что по пьесе я девушка времен революции. И надо, чтобы это чувствовалось. Надо, чтобы я вжилась в революцию, понимаешь?

— А ты знаешь революцию?

— Ну, конечно! Дать я, понятно, не помню. Но у меня есть чувство эпохи. Для меня революция — это шарф, скрещенный на гордой груди, это полосатая

юбка, не затрудняющая движений, это пылающие щеки. Да, да! вот как!

Он стал расспрашивать ее о пьесе. И понял, что пьесы она не знает. Ей не надо было знать. Она угадывала, инстинктивно находила все, что было нужно.

— На репетициях я не очень стараюсь. Все придуманные эффекты я приберегаю для публики. Воображаю, как удивится Ромильи... Все просто лопнут с досады... А Фажет так та, родной мой, сляжет в постель.

Она села на старый стульчик. Ее лоб, только что белый, как мрамор, порозовел; она снова стала девочкой.

Робер подошел к ней, заглянул в ее очаровательные серые глаза и, как вчера у горящего камина, подумал, что она лгунья, трусиха и недоброжелательно относится к подругам; но подумал без злобы. Он подумал, что она любила жалкого актеришку, во всяком случае не пренебрегала им; но подумал с мягким сожалением. Он припомнил все плохое, что знал о ней, но без горечи. Он чувствовал, что любит ее не за красоту вообще, а за особую, за ее красоту, не такую, как у всех; что он любит ее за то, что она живое сокровище, бесценное произведение искусства и предмет вождения. Он заглянул в ее очаровательные серые глаза, в которых, словно в озаренной светом воде, плавали как бы крошечные астрологические знаки. Он так глубоко заглянул ей в душу, что она почувствовала, как ее всю пронизало током. Теперь она не сомневалась, что он видит ее насквозь, и, крепко сжимая его голову ладонями, глядя ему прямо в глаза, она сказала:

— Ну да! я изолгавшаяся комедиантка, но я люблю тебя и плюю на деньги. И таких женщин, как я, не много. И ты это знаешь.

XV

Они виделись ежедневно в театре и вместе ходили гулять.

Нантейль была занята в спектакле почти каждый вечер и ревностно работала над ролью Сесили. Посте-

ленно она успокоилась, стала лучше спать, не требовала, чтобы мать держала ее за руку, пока она засыпает, ее не мучили больше кошмары. Так прошло две недели. И вот однажды утром Фелиси сидела за туалетом и причесывалась; так как день был пасмурный, она пододвинулась к зеркалу и вдруг увидела там не свое лицо, а лицо мертвого Шевалье. Струйка крови стекала у него изо рта; он смотрел на нее и усмехался.

Тогда она решила сделать то, что считала полезным и нужным. Она наняла экипаж и поехала к нему. На бульваре Сен-Мишель она купила у знакомой цветочницы букет роз. И повезла их ему. На кладбище она опустилась на колени перед скромным черным крестом, которым было отмечено место, куда его положили. Она говорила с ним. Молила образумиться, оставить ее в покое. Просила прощения за то, что бывала с ним неласкова. В жизни нельзя без ссор. Но теперь он должен понять и простить. Что толку мучить ее? Она хочет сохранить о нем хорошее воспоминание. Обещает время от времени приходить на могилу. Но пусть он перестанет преследовать и пугать ее.

Она постаралась подольститься к нему и усыпить его ласковыми словами:

— Я понимаю, что ты хотел отомстить. Это естественно. Но ведь в душе ты не злой. Брось сердиться. Не приходи. Я сама буду приходить к тебе, буду приходить часто, приносить цветы.

Ей очень хотелось обмануть его, усыпить ложными обещаниями, сказать: «Успокойся, не волнуйся больше, успокойся, я клянусь не делать того, что тебе не нравится, обещаю исполнить твою волю». Но она не решалась лгать на могиле, да, кроме того, она была уверена, что это бесполезно, что мертвые знают все.

Утомившись, она еще несколько минут продолжала молить и упрашивать его, но уже не так усердно, и неожиданно для себя заметила, что могилы не внушают ей больше страха и что сейчас она не боится мертвого Шевалье. Она постаралась понять почему, и догадалась; она не боится его потому, что его здесь нет.

Она подумала: «Его здесь нет; никогда нет; он всюду, только не там, куда его положили. Он на улице, в доме, в комнате».

И она в полном отчаянии встала с колен. Теперь она была уверена, что встретит его повсюду, кроме кладбища.

XVI

Вытерпев две недели, Линьи стал настойчиво требовать, чтобы они вернулись к прежнему. Срок, назначенный ею самой, истек. Он не хочет ждать дольше. Она страдала не меньше его. Но она боялась, что покойник вернется. Под разными неловкими предложениями она оттягивала свидание и, наконец, призналась, что ей страшно. Он презирал ее за то, что она такая глупая и такая трусиха. Не ощущая больше ее любви, он говорил ей злые слова; он неустанно преследовал Фелиси своей страстью.

И вот потянулись жестокие дни, безрадостные часы. Теперь она не решалась войти с ним под один кров; они брали экипаж, после долгих скитаний по пригородам выходили где-нибудь на угрюмой улице и быстро шагали, гонимые жестоким восточным ветром, словно подхлестываемые дыханием незримого гнева.

Но как-то выдался особенно ласковый день, и его ласка заворожила их. Они шли рядом по безлюдным аллеям Булонского леса. На фоне розового неба верхушки деревьев казались лиловыми от почек, начинавших набухать на концах тоненьких черных веточек. Налево расстилалась поляна с купами оголенных деревьев и видны были дома Отейля. По дорогам медленно прогуливались в каретах старики, кормилицы катили детские колясочки. Шум автомобильного мотора прорезал тишину леса.

— Тебе нравятся эти машины? — спросила Фелиси.

— Я нахожу, что они удобны, вот и все.

Он не умел управлять автомобилем. Не любил спорта и интересовался только женщинами.

— Робер, видел? — сказала Фелиси, указав на экипаж, обогнавший их.

— Что?

— Там сидела Жанна Перен с женщиной.

И видя, что это его нисколько не трогает, Фелиси сказала тоном упрека:

— Ты вроде доктора Сократа: по-твоему это так и нужно?

В темной ограде елей спокойно дремало светлое озеро. Они свернули направо, по дорожке, идущей вдоль откоса, на котором лебеди и белые гуси чистили перышки.

При их приближении утки целой флотилией, словно живые челны, с шеей, изогнутой, как нос гондолы, подплыли к ним.

Фелиси огорченным тоном сказала уткам, что у нее ничего для них не припасено.

— Когда я была маленькой, папа водил меня по воскресеньям кормить зверей в награду за то, что я хорошо училась всю неделю, — пояснила она. — Папе нравилось в деревне. Он любил собак, лошадей, всех животных. Он был очень добрый и умный. Много работал. Но офицеру, не имеющему средств, живется трудно. Он страдал, что не может жить, как те офицеры, у которых есть деньги, а потом они с мамой не ладили. Папа не был счастлив. Он часто грустил. Говорил мало, но мы с ним и без слов понимали друг друга. Он меня очень любил... Робер, милый, потом, через много-много лет у меня будет домик в деревне, ты придешь, мое солнышко, и застанешь меня в подоткнутой юбке, кормящей кур.

Он спросил, почему ей вздумалось поступить на сцену.

— Я знала, что замуж не выйду, раз у меня нет приданого. А следовать по стопам моих старших подруг, работавших мастерицами или телеграфистками, не хотелось. Еще совсем маленькой я мечтала стать актрисой. В пансионе в день святого Николая я участвовала в детском спектакле. Меня это очень увлекло. Учительница сказала, что я плохо играю, но это потому, что мама должна была ей за три месяца. С пятнадцати лет я стала серьезно думать о театре. Потом поступила в Консерваторию. Я работала упорно, очень

упорно. Наша профессия выматывает силы. Но успех вознаграждает за все.

Напротив швейцарского домика, приютившегося на островке, они увидели лодку, стоявшую на привязи. Линь прыгнул в нее и потащил за собой Фелиси.

— Такие огромные деревья красивые и без листы, — сказала она, — но я думала, что в это время года швейцарский домик закрыт.

Перевозчик ответил, что в погожие зимние дни гуляющие любят переправляться на остров, потому что там тихо, кстати он только сию минуту отвез туда двух дам.

Официант, живший на безлюдном острове, подал им чай; помещение было простое — два стула, стол, пианино, диван. Панель облупилась, паркет разохся. Фелиси посмотрела в окно на лужайку и высокие деревья.

— Что это за огромный темный ком на тополе? — спросила она.

— Это омела, дорогая.

— Точно какой-то зверь обвился вокруг ветки и гложет ее. Смотреть неприятно.

Она положила голову на плечо своего друга и томно сказала:

— Люблю.

Робер увлек ее на диван. Она почувствовала, что он опустился к ее ногам, ощутила на своем теле его неловкие от нетерпения руки и, покорная, обессиленная, не стала противиться, зная, что это бесполезно. В ушах у нее звенело. Звон прекратился, и справа от себя она услышала странный резкий и бесстрастный голос: «Я запрещаю вам принадлежать друг другу». Ей показалось, что голос идет откуда-то сверху из чуть брезжущего света, но она не смела повернуть голову. Голос был незнакомый. Невольно, вопреки собственному желанию, она стала припоминать его голос и обнаружила, что забыла его и никогда больше не вспомнит. Она подумала: «Может быть, у него теперь такой голос». В испуге она быстро натянула на колени юбку. Но удержалась, не крикнула, ничего не сказала про

голос, боясь, что Робер сочтет ее сумасшедшей, и сама сознавая, что этот голос — плод ее фантазии.

Линьи отошел от нее.

— Если я тебе больше не нужен, скажи прямо. Насиловать тебя я не хочу.

Она сидела выпрямившись, сжав колени.

— Пока мы в толпе, пока вокруг нас люди, меня влечет к тебе, я хочу тебя; но как только мы остаемся вдвоем, мне страшно.

Он ответил ей дешевой и злой шуткой:

— Ах так, чтобы почувствовать возбуждение, тебе нужна публика!..

Она встала и подошла к окну. По щекам ее катились слезы. Она долго молча плакала. Потом вдруг позвала его:

— Посмотри!

И она показала ему на лужайке Жанну Перен с молодой женщиной. Они шли, обнявшись, давали нюхать друг другу фиалки и улыбались.

— Смотри, она счастлива, покойна!

Жанна Перен мирно вкушала привычное наслаждение, удовлетворенная и спокойная, как будто даже несколько не гордясь своими странными наклонностями.

Фелиси смотрела на нее с любопытством, в котором не хотела признаться даже себе, и завидовала ее спокойствию.

— Ей не страшно.

— Бог с ней. Она нам ничего плохого не сделала.

Он пылко обнял Фелиси за талию.

Она высвободилась, вся дрожа. Робер был обманут в своих ожиданиях, разочарован, оскорблен и вышел, наконец, из себя, обозвал ее дурой, сказал, что ее глупости ему надоели.

Она ничего не ответила и снова заплакала.

Разозленный ее слезами, он грубо крикнул:

— Раз ты не можешь мне дать то, чего я прошу, видеться нам больше незачем. Нам нечего сказать друг другу. Для меня ясно: ты меня не любишь. И если бы ты была способна сказать правду, ты бы в этом

сама призналась; ты всегда любила только этого несчастного актеришку.

Тогда она разразилась гневом, застонала от горя: — Неправда, неправда! Как не стыдно так говорить. Ты видишь, что я плачу, и хочешь измучить меня еще больше. Ты пользуешься моей любовью, чтобы сделать мне больно. Это подло! Ну так вот, я не люблю тебя. Уходи! Не хочу тебя больше видеть. Уходи... Ах, да что же мы делаем? Неужели мы всю жизнь будем глядеть друг на друга со злобой, отчаянием, яростью! Я не виновата... Я не могу, не могу. Прости меня, мой дорогой, мой любимый. Я люблю тебя, обожаю, хочу тебя. Но прогони его. Ты мужчина, ты знаешь, что надо делать. Прогони его. Ты убил его, не я, ты. Убей его до конца... Боже мой, я с ума схожу, с ума схожу!

На следующий день Линьи попросил послать его третьим секретарем в Гаагу. Через неделю он получил назначение и тут же уехал, не повидавшись с Фелиси.

XVII

Госпожа Нантейль думала только о счастье дочери. Связь с Тони Мейером, торговцем картинами с улицы Клиши, оставляла ей много досуга и не захватывала ее целиком. В театре она познакомилась с г-ном Бондуа, владельцем завода электрических приборов, человеком еще нестарым, не погрязшим всецело в делах и чрезвычайно вежливым. Он был влюбчив, но застенчив, робел перед молодыми и красивыми женщинами и поэтому приучил себя мечтать только о некрасивых и немолодых. Г-жа Нантейль была еще очень привлекательна. Но как-то вечером, когда она была плохо одета и не в аванже, он предложил ей свою любовь. Она согласилась ради того, чтобы поправить дела и чтобы дочь не терпела ни в чем недостатка. Ее преданность была вознаграждена. Г-н Бондуа души в ней не чаял. Вначале это ее удивляло, затем она почувствовала себя счастливой и успокоилась; быть любимой

показалось ей и приятным и естественным, зачем думать, что твое время прошло, раз тебе доказывают обратное.

Она всегда была женщиной благожелательной, с легким ровным характером. Но никогда раньше не бывала она так весела, так радушна и заботлива. Она была снисходительна к людям и к себе, улыбалась и в легкие и в трудные минуты, пленяя ослепительными зубами и ямочками на полных щеках. Цветущая, оживленная, излучающая счастье, она была благодарна жизни за то, что та ей давала, и вносила радость и молодость в дом.

Госпоже Нантейль приходили в голову только веселые и светлые мысли, которые она и высказывала, а Фелиси грустила, брюзжала, мрачнела. На ее красивом лице появились морщины; голос стал резким. Она сразу поняла, какую роль играет в их семье г-н Бондуа, и ежедневно, чаще всего за обедом, горько попрекала мать новым другом дома, делая весьма прозрачные намеки и не выбирая выражений, а при встречах с г-ном Бондуа не скрывала своей неприязни и явной антипатии. Может быть, она ревновала мать и хотела, чтобы та жила только для нее одной, или же она страдала в своей дочерней любви от сознания, что уже не питает к матери прежнего уважения, а может быть, она завидовала ей или просто испытывала неловкость, которую всегда ощущает третий в обществе двух влюбленных. Г-жа Нантейль огорчалась, но не чрезмерно, и оправдывала поведение дочери незнанием жизни. А г-н Бондуа, которому Фелиси внушала сверхъестественный страх, старался снискать ее расположение почтительностью и скромными подарками.

Фелиси была резка, потому что страдала. Письма, которые получались из Гааги, бередили ее любовь и терзали ее. Она совсем извелась от одолевавших ее жгучих картин. Когда образ отсутствующего друга слишком явственно вставал перед ней, у нее начинало стучать в висках, сердце учащенно билось, а потом голова наливалась какой-то тяжелой мутью: каждый нерв трепетал, в каждой жилке кипела кровь, все силы ее существа сосредоточивались в тайниках ее плоти и

выливались в желание. В такие минуты ей хотелось только одного — снова быть с Робером. Ее влекло лишь к нему, и она сама удивлялась тому отвращению, которое ей внушали все остальные мужчины. Потому что прежде любовь к одному не исключала для нее интереса к другим. Она давала себе слово, не откладывая, попросить денег у Бондуа и взять билет в Гаагу. И не делала этого. Ее останавливало не столько то соображение, что это вызовет недовольство ее возлюбленного, который, конечно, сочтет ее визит неуместным, сколько смутный страх разбудить уснувшую тень.

С тех пор как уехал Линьи, призрак больше не являлся. Но все же и в ней самой и вокруг нее творилось много непонятого. На улице за ней увязывалась собака, которая появлялась неизвестно откуда и так же внезапно исчезала. Однажды утром, когда она еще лежала в постели, мать сказала: «Я иду к модистке», и вышла. Минуты две-три спустя Фелиси увидела, что мать опять вошла в спальню, как будто за чем-то, что позабыла взять. Но видение приближалось к ней без слов, без взгляда, без звука, дошло до кровати и исчезло.

Смущали ее и более тревожные галлюцинации. Как-то в воскресенье Фелиси была занята в утреннем спектакле, она играла в «Гофолии» роль юного Захарии *. Роли трагести нравились ей, так как давали возможность показать свои красивые ноги; кроме того, она была довольна, что может шегольнуть умением читать стихи. Но в первых рядах она заметила кюре в сутане. Духовные лица не раз бывали на утренниках, когда шла эта трагедия, сюжет которой заимствован из библии. И все же на Фелиси это произвело неприятное впечатление. Когда она вышла на сцену, она ясно увидела, что Луиза Даль в тюрбане на голове, как и полагается Иосавефе, заряжает перед будкой суфлера револьвер. У Фелиси хватило здравого смысла и присутствия духа, чтобы отмахнуться от этого нелепого видения, которое тут же исчезло. Но первые строфы она произнесла глухим голосом.

Ее мучили изжога, удушье; временами невыносимая боль сжимала ей сердце, у нее появились перебои, она боялась умереть.

Доктор Трюбле, пользовавший ее, был очень внимателен и осторожен. Она часто обращалась к нему в театре, а время от времени приходила за советом на квартиру в старинный дом на улице Сены. Ей не приходилось дожидаться в приемной; лакей провожал ее в столовую, где в полутьме поблескивала арабская фаянсовая посуда, и она всегда проходила в кабинет первая. Как-то Сократу удалось растолковать ей, как образуются в нашем мозгу представления и почему они не всегда соответствуют внешним предметам, а если соответствуют, то не вполне точно.

— Галлюцинации — это чаще всего неверные восприятия. Люди видят то, что есть, но видят плохо, и метелка из перьев для обметания пыли превращается в лохматую голову, красная гвоздика в разинутую пасть, сорочка в привидение, завернутое в саван. Просто незначительные заблуждения.

Доводы доктора помогли ей преодолеть страх и отделиться от чудившихся ей часто собак, кошек или хорошо знакомых живых людей. Но она боялась снова увидеть покойника. И мистические страхи, затаившиеся в каких-то извилинах ее мозга оказались сильнее ученых доказательств. Сколько бы ее ни убеждали, что мертвецы не возвращаются, она твердо знала, что это не так.

Сократ и на этот раз посоветовал ей развлекаться, ходить в гости, предпочтительно к приятным ей людям, и бежать темноты и одиночества, как самых злых своих врагов.

И прибавил:

— Особенно рекомендую вам избегать тех людей и предметов, которые в какой-то мере связаны с вашими галлюцинациями.

Ему не пришло в голову, что это невозможно. И Нантейль тоже не пришло это в голову.

— Так вы меня вылечите, милый мой Сократ? — сказала она с мольбой, подняв на него свои красивые серые глаза.

— Вы сами вылечитесь, деточка. Вы вылечитесь, потому что вы деятельны, умны и мужественны. Ну да, вы одновременно и трусиха и храбрая. Вас страшат

опасности, но в то же время тянет к жизни. Вы вылечитесь потому, что горе и страдание не совместимы с вами. Вы вылечитесь потому, что хотите вылечиться.

— Вы думаете довольно захотеть, чтобы вылечиться?

— Да, если не просто хотеть, а хотеть всем нутром, глубоко, всеми клетками нашего тела, хотеть подсознательно, хотеть с той же скрытой, неудержимой, полной жизненных соков волей, которая заставляет деревья зеленеть весной.

XVIII

Этой ночью Фелиси не могла заснуть, она ворочалась с боку на бок, скидывала одеяло. Она чувствовала, что сон еще далеко, что придет он, только когда первые солнечные лучи, полные танцующих пылинок, пробьются сквозь неплотно задернутые шторы. Ночник, пламенное сердечко которого таинственно светилось сквозь его фарфоровое тело, коротал с ней ночь. Фелиси открыла глаза, взгляд ее вобрал белый молочный свет, и это ее успокоило. Потом веки ее опять закрылись, и ею овладела томительная, сумбурная бессонница. Временами она вспоминала фразу из роли, и эта фраза не выходила у нее из головы, хотя она и не придавала ей никакого значения: «Наши дни такие, какими мы их делаем». И в мозгу у нее с утомительной назойливостью вертелись все те же четыре или пять мыслей.

«Надо завтра обязательно пойти на примерку к мадам Руаомон. Вчера мы с Фажет вошли в уборную к Жанне Перен, когда она одевалась, и она чуть ли не хвасталась перед нами своими волосатыми ногами. Жанну Перен нельзя назвать некрасивой; черты у нее даже совсем неплохие, но выражение лица очень неприятное. Как это так получается, что госпожа Кольбер требует с меня тридцать два франка? Четырнадцать и три — семнадцать, и девять — двадцать шесть. Я должна ей только двадцать шесть франков. «Наши дни такие, какими мы их делаем». Господи, как жарко!»

Быстрым и гибким движением она сразу повернулась на другой бок и раскинула обнаженные руки, обнимая воздух словно чье-то свежее стройное тело.

«Мне кажется, что уже целый век, как уехал Робер. Зачем он оставил меня одну, как это гадко с его стороны. Я так без него скучаю».

И, свернувшись клубочком в постели, она стала старательно припоминать, как они лежали, крепко прижавшись друг к другу, когда были вместе.

— Котик мой! Солнышко!

И снова в голове с утомительной назойливостью заветелись все те же мысли.

«Наши дни такие, какими мы сами их делаем. Наши дни такие, какими мы сами их делаем... Наши дни...» Четырнадцать и три — семнадцать и девять — двадцать шесть. Я отлично поняла, что Жанна Перен нарочно выставляла напоказ свои длинные волосатые, как у мужчины, ноги. Неужели правду говорят, будто Жанна Перен дает женщинам деньги? Обязательно надо пойти завтра в четыре часа на примерку. Как это ужасно, что у мадам Руаомон всегда плохо шиты рукава. Господи, как жарко! Сократ хороший врач. Но иногда ему доставляет удовольствие оглуплять людей».

Неожиданно она вспомнила Шевалье и тут же почувствовала, что вдоль стен струятся какие-то исходящие от него флюиды. Ей показалось, будто от них потускнел свет ночника. Это было что-то еще более неудобное, чем тень, и это «что-то» было страшно. Вдруг ей подумалось, что эти неощутимые флюиды исходят от портретов покойника. У нее в спальне не осталось ни одного. Но она уничтожила не все, в квартире еще были его портреты. Мысленно она сосчитала их, должно быть, осталось еще три: на одном он снят совсем юным на фоне облачного неба; на другом он сидит верхом на стуле, веселый и смеющийся; на третьем он изображен в роли дона Сезара де Базана*. Торопясь их уничтожить, она вскочила с постели, зажгла свечу и в ночных туфлях и рубашке проскользнула в гостиную к палисандровому столику, на котором стояла пальма, приподняла скатертку, стала рыться в ящике. Там лежали какие-то жетоны, розетки от подсвечников, ку-

сочки дерева, отклеившиеся от разной мебели, несколько подвесок к люстре и фотографические карточки; среди них она нашла только одного Шевалье, того, который снят совсем молодым на фоне облачного неба.

Разыскивая две другие его фотографии, она перерыла все ящики в занимавшем простенок между двумя окнами шкафчике Буль *, на котором красовались китайские вазы. Там мирно покоились потускневшие стеклянные колпаки, абажуры, хрустальные вазы в позолоченной бронзовой оправе, фарфоровая спичечница со статуэткой, изображающей мальчика, который спит рядом с собакой, прислонясь к барабану, растрепанные книги, отдельные листы партитур, два поломанных веера, флейта и стопочка фотографических карточек. Среди них она нашла второго Шевалье — дона Сезара де Базана. Не хватало еще одного, последнего. Она тщетно старалась припомнить, куда его могли задевать. Напрасно осмотрела она коробочки, вазы, кашпо * этажерку для нот. С лихорадочным нетерпением продолжала она свои поиски, а портрет меж тем все яснее вставал перед ее взором, вырастал в ее воображении; теперь он был уже величиной с человека, насмешливо улыбался, издевался над ней. У Фелиси голова была в огне, а ноги холодные, как ледышки, она чувствовала, что у нее защемило от страха под ложечкой. Она уже хотела отказаться от поисков и зарыться головой в подушки, но тут вспомнила, что мать хранит фотографии у себя в шифоньерке. Она приободрилась. Осторожно прокралась в спальню к спящей матери, неслышными шагами подошла к шифоньерке, медленно, бесшумно открыла ее и, взобравшись на стул, осмотрела верхнюю полку, заставленную старыми коробками. Ей попался в руки альбом времен Второй империи, который не открывали уже больше двадцати лет. Она перебрала кучу писем, связки гербовой бумаги, ломбардные квитанции. Г-жа Нантейль, проснувшаяся от света свечи и шороха, спросила:

— Кто здесь?

И в стоявшем на стуле хрупком привидении, одетом в длинную ночную рубашку, с распушенной толстой кофтой, она тут же узнала дочку.

— Это ты, Фелиси? Уж не заболела ли ты?.. Что ты здесь делаешь?

— Я ищу одну вещь.

— У меня в шифоньерке?

— Да, мама.

— Ступай лучше спать! Смотри, простудишься... Скажи хоть, что ты ищешь. Если шоколад, так он на средней полке, рядом с серебряной сахарницей.

Но Фелиси наткнулась наконец на пакет с карточками и теперь быстро его просматривала. Нетерпеливыми руками перебирала она фотографии: вот г-жа Дульс вся в кружевах; вот Фажет — нарядная, в ореоле светлых волос; Тони Мейер с близко поставленными глазами, с нависшим надо ртом носом; Прадель с холеной бородой; Трюбле — лысый и курносый; робкий г-н Бондуа с прямым носом и пышными усами... Хотя ей было сейчас совсем не до г-на Бондуа, она все же бросила на него неприязненный взгляд и, словно невзначай, капнула ему на нос воском.

Госпожа Нантейль, окончательно пробудившаяся ото сна, ничего не могла понять:

— Фелиси, что тебе понадобилось у меня в шифоньерке, чего ты там роешься?

Фелиси, нашедшая наконец карточку, которую так долго искала, испустила в ответ радостный вопль и прыгнула со стула, унося своего покойника, а вместе с ним прихватив по ошибке и г-на Бондуа.

В гостиной она присела на корточки перед каминном, разожгла его бумагой и бросила в огонь все три карточки Шевалье. Она смотрела, как они горят, съеживаются, чернеют... и когда карточки улетели, когда от них не осталось ничего, ни формы, ни материи, Фелиси глубоко вздохнула. Она была уверена, что уничтожила ту субстанцию, которая давала ревнивому покойнику возможность являться ей, что теперь она освободится от наваждения.

Снова взяв в руки свечу, она увидела карточку г-на Бондуа, нос которого закрывал кружок белого воска. Не зная, куда ее деть, она с удовольствием бросила фотографию в еще пылавший камин.

Вернувшись к себе, Фелиси стала перед зеркалом

и обтянула на теле рубашку, любясь своим сложением. На этот раз она задержалась немножко дольше на мысли, которая и раньше приходила ей в голову. Она подумала: «Почему мы сотворены так, с головой, руками, ногами, грудью, животом? Почему так, а не как-нибудь по-другому? Смешно!»

В эту минуту образец, по которому был создан человек, представлялся ей чем-то произвольным, непонятным, странным. Но скоро ее недоумение прошло. Собственное тело доставляло ей живое и глубокое эстетическое удовольствие. Она спустила рубашку и осторожно взяла в ладони обе груди, с нежностью посмотрела на них в зеркало, словно это не она сама, а что-то постороннее, принадлежащее только ей, словно это два живых существа, словно это пара голубок.

Ласково улыбувшись им, Фелиси снова легла. Она проснулась поздно утром и на какой-то миг почувствовала удивление, что лежит в постели одна. Иногда во сне сознание ее раздваивалось: она ощущала собственное тело, и ей снилось, будто ее ласкает другая женщина.

XIX

Генеральная репетиция «Решетки» была назначена на два часа. С часу дня доктор Трюбле уже сидел на своем обычном месте в уборной Нантейль.

Фелиси, отданная во власть г-жи Мишон, упрекала доктора за то, что он ничего ей не говорит, но на самом деле это она его не слушала, занятая, поглощенная своей ролью. Фелиси велела никого не пускать в уборную. Однако она обрадовалась Константену Марку, которому симпатизировала.

Он был очень взволнован и, чтобы скрыть свое беспокойство, завел разговор о родных лесах в Виварэ, принялся рассказывать истории про крестьян и всякие охотничьи небылицы.

— Я что-то робею, — сказала Нантейль. — А вы, господин Марк? Не щемит у вас под ложечкой?

Он стал уверять, что ничуть не волнуется. Она не унималась:

— Признайтесь, вам бы очень хотелось, чтобы все было уже позади.

— Ну, раз вы на этом настаиваете, может быть, я и предпочел бы, чтобы все было уже позади.

После этих слов доктор Сократ с невозмутимым спокойствием спросил самым простодушным тоном:

— А может быть, то, что должно свершиться, уже свершилось и спокон веков уже было свершено?

И, не дожидаясь ответа, прибавил:

— Если явления вселенной доходят до нашего сознания в известной последовательности, мы еще не вправе заключать, что и в действительности они последовательны, и еще меньше оснований у нас думать, что они совершаются именно в тот момент, когда мы их воспринимаем.

— Это совершенно ясно, — сказал Константен Марк, не слушавший его.

— Вселенная представляется нам несовершенной, — продолжал доктор, — и у нас создается иллюзия, будто все непрестанно кончается. Так как мы воспринимаем все явления последовательно, нам и вправду представляется, что одни явления предшествуют другим. Те явления, которых мы уже не видим, мы считаем прошлыми, а те, которых мы еще не видим, — будущими. Но можно представить себе существа, которые одновременно воспринимают и то, что для нас является прошлым, и то, что для нас является будущим. Можно также представить себе существа, которые воспринимают явления в обратном порядке и видят, как они развертываются от того, что мы считаем будущим, к тому, что мы считаем прошедшим. Живые существа, которые осваивали бы пространство не так, как мы, и могли бы, например, двигаться с большей скоростью, чем свет, составили бы себе совершенно иную, чем мы, картину всех явлений.

— Только бы Дюрвиль не приставал ко мне сегодня на сцене со всякой ерундой, — вздохнула Фелиси, которой г-жа Мишон натягивала под юбкой чулки.

Константен Марк заверил ее, что Дюрвиль и не помышляет ни о чем таком, и умолял ее не волноваться.

А доктор Сократ продолжал развивать свою мысль:

— Мы сами, смотря ясной ночью на созвездие Девы, мерцающее над верхушкой тополя, видим одновременно и то, что было, и то, что есть. Можно с тем же основанием сказать, что мы видим и то, что есть, и то, что будет. Ибо если звезда, такая, как мы ее видим, — прошедшее по отношению к дереву, то дерево — будущее по отношению к звезде. Между тем небесное светило, крошечный огненный лик которого мы видим не таким, каков он теперь, но таким, каким он был в нашей юности, или даже в ту пору, когда нас еще не было на свете, и тополь, молодые листочки которого трепещут при свежем вечернем ветре, соединяются для нас во времени и присутствуют в нашем сознании оба сразу. Мы говорим о предмете, что он существует в настоящем, когда мы воспринимаем его совершенно отчетливо. Мы говорим, что он существовал в прошлом, когда у нас сохранилось о нем лишь смутное представление. Пусть некое действие совершилось миллионы лет тому назад; если у нас очень ясное представление об этом действии, оно уже для нас не прошлое: для нас оно настоящее. Нам не известна последовательность, с которой все проносится в безднах вселенной. Мы знаем только последовательность наших восприятий. Думать, что будущее не существует в настоящем, раз оно нам неизвестно, это все равно, что думать, будто книга не окончена, раз мы не дочитали ее до конца.

Тут доктор на минуту остановился. И в наступившей тишине Нантейль услышала биение собственного сердца. Она крикнула:

— Продолжайте, пожалуйста, продолжайте, миленький мой Сократ. Если бы вы знали, как хорошо на меня действует, когда вы говорите. Вы, конечно, не воображаете, что я вслушиваюсь в ваши слова. Но разговоры на такие отвлеченные темы успокаивают меня, убеждают, что есть еще что-то, кроме моего выхода; не дают мне погрузиться в беспросветный мрак... Рассказывайте, рассказывайте, все равно что, только не молчите...

Мудрый Сократ, который, по-видимому, ожидал, что его слова окажут на актрису благотворное влияние, снова заговорил:

— Вселенная строится по тем же непреложным законам, что и треугольник, сторона и два угла которого даны. Будущее предопределено. А тем самым завершено. Все равно, как если бы оно уже существовало. Да оно и существует уже сейчас. Оно настолько существует, что мы уже знаем какую-то его часть. И если эта часть незначительна по сравнению с необъятностью всего будущего, она вполне пропорциональна той части уже свершившегося, которая доступна нашему знанию. Мы можем сказать, что для нас будущее немногим темнее прошлого. Мы знаем, что поколение за поколением, сменяя друг друга, будут трудиться, радоваться и страдать. Я устремляю свой взгляд за пределы существования человеческого рода. Я вижу как небесные созвездия медленно изменяют свою конфигурацию, казавшуюся незбылемой; я вижу, как Возничий распрягает свою древнюю упряжку, как распадается Пояс Ориона, как гаснет Сириус. Мы знаем, что солнце взойдет завтра и долго еще будет всходить каждое утро, то в тяжелых тучах, то в легких облачках.

Тут в уборную деликатно на цыпочках вошел Адольф Менье.

Доктор пожал ему руку.

— Здравствуйте, господин Менье. Мы видим полную луну будущего месяца. Мы видим ее не так ясно, как полную луну сегодняшней ночи, потому что не знаем, на фоне какого неба — серого или красного — взойдет она над моей крышей среди труб, увенчанных остроконечными колпаками и романтическими капюшонами, и предстанет перед влюбленными кошками в виде дна старой кастрюли. Но если бы мы обладали достаточной ученостью, чтобы заранее знать мельчайшие обстоятельства, все до одного необходимые, при которых взойдет эта будущая луна, у нас было бы такое же отчетливое представление о той ночи, о которой я говорю, как и о сегодняшней ночи: обе были бы для нас в равной мере настоящим.

Знание явлений — единственная причина, побуждающая нас сделать вывод об их реальности. Мы знаем некоторые явления, долженствующие произойти. Значит, мы обязаны считать их реально существующими.

А если они реально существуют, значит, они осуществлены. Итак, дорогой Константен Марк, можно предположить, что ваша пьеса была сыграна тысячу лет или полчаса тому назад, кстати это абсолютно все равно. Можно предположить, что мы все уже давно умерли. Читайте, что это так, и вы перестанете волноваться.

Константен Марк, который очень невнимательно следил за рассуждениями доктора и не уяснил себе, сколь они уместны и подходящи для данного случая, ответил несколько раздраженно, что обо всем этом уже сказано у Боссюэ*.

— У Боссюэ! — обиделся доктор. — Держу пари, что вы не найдете у него ничего подобного. Боссюэ не умел философски мыслить.

Нантейль повернулась к доктору. Она была в высоком круглом чепце с широкой голубой лентой и пышными кисейными оборками, которые затеняли ей лоб и щеки. Она преобразилась в яркую блондинку. Золотисто-рыжие локоны спускались ей на плечи. Батистовая косынка была завязана под грудью крест-накрест. Белая в розовую полоску юбка, схваченная выше талии широким лиловым поясом, словно мокрая, облегла фигуру, отчего Фелиси казалась очень высокой. Она предстала перед ними, как образ из сновидения.

— И Делаж тоже любит дурацкие шутки: знаете, как он подшутил над Мари-Клэр? Они играли вместе в «Ученых женщинах»*. На сцене он положил ей в руку сырое куриное яйцо. Она так в течение всего акта и не знала, куда его деть.

Услышав звонок, Фелиси в сопровождении Константена Марка пошла на сцену. Они слышали гул зрительного зала, голос многоликого чудовища, и им казалось, будто они идут прямо в пышущую огнем пасть апокалиптического зверя.

«Решетку» приняли хорошо. Поставленная в конце сезона, пьеса не могла пройти много раз, но публике она понравилась. В середине первого акта зритель почувствовал, что она написана со вкусом, поэтична и местами не совсем понятна. И с этой минуты пьеса

получила признание, все старались показать, что это им нравится, делали вид, что проникли в самую суть. «Решетке» простили то, что она совсем не сценична, что это пьеса для чтения. На сей раз публика примирилась с этим жанром.

У Константена Марка не было знакомых в Париже. Он пригласил в театр нескольких помещиков из Виварэ. Кирпично-красные, в белых галстуках, сидели они в первых рядах партера, таращили глаза и не решались хлопать. Друзей он еще не приобрел, и потому некому было завидовать его успеху. Даже в кулуарах говорили, что он талантлив не в пример прочим. И все же он очень волновался, заходил то в одну, то в другую ложу или забивался в угол директорской ложи. Его пугали критики.

— Не волнуйтесь, — сказал Ромильи. — То хорошее или плохое, что они скажут о вашей пьесе, будет относиться не к ней, а к Праделю. А в настоящий момент они скажут о нем больше плохого, чем хорошего.

Адольф Менье сообщил ему с кислой улыбкой, что публика настроена хорошо, а критики хвалят язык пьесы. Он ожидал, что в ответ услышит несколько лестных слов о «Пандольфе и Кларимонде». Но Константен Марк этих слов не сказал.

Ромильи покачал головой.

— Надо быть готовым к разносу. Господин Менье это знает по собственному опыту. В отношении него печать была несправедливо жестока.

— Что делать! — вздохнул Менье. — О нас никогда не будет сказано столько дурного, сколько было сказано о Шекспире и Мольере.

Нантейль имела большой успех, отмеченный не столько бурными вызовами, сколько менее громогласным, но более глубоким одобрением тонких ценителей. У нее неожиданно открылись новые качества: чистота дикции, благородство жеста, целомудренно горделивая грация.

Во время последнего антракта ее поздравил пришедший на сцену министр. Это означало, что публике она понравилась, ибо министры никогда не выражают своего личного мнения. Позади главы просвещения

толпились рассыпавшиеся в похвалах чиновники, представители светского общества, драматурги. Со всех сторон к Фелиси, словно шланги, тянулись руки; все в один голос выражали ей свое восхищение. Затисканная толпой почитателей, г-жа Дульс оборвала о пуговицы сюртуков дешевое кружево, в изобилии украшавшее ее платье.

Последнее действие было настоящим триумфом Фелиси. Публика наградила ее тем, что ценнее рыданий и возгласов восторга: на ее долю достались не громкие крики, а приглушенный, чуть слышный шепот восхищения, не слезы, а влажные взоры, — непритворная дань красоте.

Фелиси почувствовала, как неизмеримо она выросла в эту минуту, и, когда занавес опустился, она прошептала:

— На этот раз победа одержана!

Она раздевалась у себя в уборной, заставленной корзинами орхидей, букетами роз и снопами сирени, когда ей подали телеграмму. Она вскрыла ее. Телеграмма была из Гааги, в ней стояло:

«Всего сердца присоединяюсь поздравлениям несомненным успехом.

Робер»

Она дочитывала депешу, когда в уборную вошел доктор Трюбле.

Фелиси обвила шею доктора Сократа горячими от усталости и счастья руками, притянула его голову к себе на влажную грудь и, хмельная от радости, запечатлела на его лице задумчивого Силена жаркий поцелуй.

Мудрый Сократ принял этот поцелуй, как подарок судьбы, зная, что он предназначен не ему, что он принесен на алтарь славы и любви.

Нантейль и сама заметила, что дыхание ее опьяненных уст было слишком пылким, и, широко раскинув руки, воскликнула:

— Все равно! Я так счастлива!

На пасхе одно знаменательное событие еще увеличило ее радость: ее пригласили во Французскую Комедию. С некоторого времени Фелиси, никому ничего не говоря, уже предпринимала кое-какие шаги. Мать тоже хлопотала за нее. Г-жа Нантейль расцвела с тех пор как была любима. Она стала носить корсеты с прямой планшеткой и нижние юбки, которые не посрамили бы и завзятых модниц. Она обивала пороги министерских канцелярий и, как говорили, охотно уступила настояниям начальника канцелярии по делам искусства. Во всяком случае, так утверждал Прадель.

Он весьма игриво замечал:

— Мамашу Нантейль не узнаешь! Она стала очень аппетитна. По-моему, она куда привлекательней своей злюки дочери. У нее характер приятнее.

Как и ее товарищи по театру, Фелиси Нантейль презирала, ругала, поносила Французскую Комедию. Как и ее товарищи по театру, говорила: «Ничуть я не стремлюсь попасть в это заведение». Но, когда она попала в это заведение, счастью и гордости ее не было предела. Она радовалась вдвойне еще и потому, что должна была дебютировать в «Школе жен». Она уже работала над ролью Агнесы с г-ном Максимом, старым, мало известным преподавателем, которого она ценила за то, что он был прежней школы. По вечерам она играла Сесиль в «Решетке». И в самый разгар работы, целиком захватившей ее, она вдруг получила письмо от Робера де Линьи, сообщавшего о своем возвращении в Париж.

Во время пребывания в Гааге у него были кое-какие похождения, в итоге которых он понял, как сильно любит Фелиси. Его любовницами были признанные красавицы. Но и г-жа Бумдернут, рослая и свежая брюсселька, и сестры ван Крюйзен, модистки с Вивера, и Сюзетта Берже, подвизавшаяся в театре Фоли-Мариньи, который гастролировал в тот сезон в Северной Европе, дали ему только наслаждение, но не полноту счастья. В их объятиях Робер мечтал о Фелиси, он понял, что из всех женщин его влечет она

одна. Только после знакомства с г-жой Бумдернут, сестрами Крюизен и Сюзеттой Берже он полностью осознал, как дорога ему Фелиси Нантейль. Если придираться к словам, надо сказать, что он ей изменял. Таков общепринятый термин. Есть и другие, означающие то же самое, но менее употребительные. Но если вдуматься глубже, он ей не изменял. Он искал ее, искал в других и понял, что найдет только в ней самой. Он чувствовал всю бесполезность своего воздержания, злился и даже испытывал какой-то страх при мысли, что вся необъятность его желаний отныне сосредоточена на таком малом количестве живой материи, на одном-единственном хрупком предмете. И оттого, что к его любви примешивались нетерпение и ненависть, он только сильнее любил Фелиси.

В день своего приезда он назначил ей свидание в холостой квартире, которую для этого случая уступил ему богатый сослуживец по министерству иностранных дел. Она помещалась на авеню Альма, в первом этаже очаровательного дома — две комнатки, стены которых были оклеены спокойными светлыми обоями с подсолнечниками, чьи коричневые серединки и золотистые лепестки радовали глаз. Рисунок бледно-зеленой с цветами на длинных стеблях мебели в декантском стиле повторял плавные изгибы лилий, и это придавало всей обстановке хрупкую томность болотных растений. Высокое зеркало стояло слегка наклонно в раме из переплетенных тонких стеблей, которые заканчивались нераспустившимися венчиками цветов, и эта рама сообщала зеркальной поверхности свежесть воды. Перед кроватью лежала шкура белого медведя.

— Ты!.. ты!.. Это ты!

Больше она ничего не могла выговорить.

Она видела его тяжелый, блестящий желанием взгляд, она смотрела на него, и глаза ее затуманивала страсть. Огонь, пылавший у нее в крови, пламя, сжигавшее ее лоно, горячее дыхание, распалывшее ей грудь, влажный жар чела волной прихлынули к ее устам, и Фелиси впиалась в губы своего возлюбленного долгим поцелуем, пламенным и свежим, как цветок, окропленный росой.

Они задавали сразу кучу вопросов и перебивали друг друга, не слушая ответов:

— Ты скучал вдали от меня, Робер?

— Значит, тебе дали дебют во Французской Комедии?

— Гаага красивый город?

— Да, уютный городок. Красные, серые, желтые дома с двускатными кровлями, зелеными ставнями и геранью на окнах.

— Как ты там жил?

— Да так... понемножку... Ходил гулять на Вивер.

— Надеюсь, за женщинами не ухаживал?

— Ну вот еще! Конечно, нет... Какая ты красивая! Ты совсем поправилась?

— Да, да, совсем поправилась.

И вдруг с мольбой в голосе она сказала:

— Робер, я люблю тебя. Не бросай меня; если ты меня бросишь, другого я не полюблю. А что тогда со мной станется? Ведь ты же знаешь, я не могу жить без любви.

Он ответил ей резко, грубо, что даже слишком любит ее, что только о ней и думает:

— Я дурею от любви к тебе!

Резкость его ответа восхитила и успокоила ее больше всяких любовных клятв и нежных уверений.

Она улыбнулась и стала раздеваться, ибо была щедра и великодушна.

— Когда твой дебют во Французской Комедии?

— В этом месяце.

Она открыла сумочку и, вытащив вместе с пудрой расписание репетиций, протянула его Роберу. Фелиси не могла налюбоваться на этот лист бумаги со штампом Французской Комедии и далекой великой датой ее основания.

— Видишь, я дебютирую в роли Агнесы из «Школы жен».

— Хорошая роль!

— Еще бы!

И, раздеваясь, она тихонько повторяла все время вертевшияся у нее на языке стихи:

«Я в сердце ранила?» — Я страх как удивилась! *
«Да, — говорит она, — вы ранили как раз
Того, кто был вчера недалеко от вас». —
«Ума не приложу, — старушке я сказала, —
Уж не с балкона ль что тяжелое упало?»

Видишь, я не похудела...

«Нет, — говорит она, — глаза всему виной,
От взгляда вашего страдает наш больной...»

Я даже скорее пополнела, но не очень.

«Как! — изумилась я. — О боже! Зло от глаза!
Откуда же взялась в глазах моих зараза!»

Он с удовольствием слушал стихи. Античную и французскую классическую литературу он, правда, знал не лучше своих сверстников, но он обладал большим вкусом и любознательностью. А Мольера он, как истый француз, понимал и глубоко чувствовал.

— Какая прелесть, — сказал он. — Ну, пойдешь же ко мне.

Она спустила рубашку спокойным чарующе грациозным движением. Но из желания потомить его, а также из любви к сцене она начала монолог Агнесы:

Однажды на балкон присела я с шитьем,
Как вдруг увидела: под ближним деревцом
Красивый господин; он взор мой, видно, встретил...

Он позвал ее, привлек к себе. Она выскользнула у него из рук и, подойдя к зеркалу, продолжала декламировать и играть:

И тут же вежливым поклоном мне ответил.

Она согнула колени и присела сначала слегка, затем ниже, потом, вытянув вперед левую ногу и отведя назад правую, сделала глубокий реверанс:

И я, невежливой прослыть не захотев,
Ответила ему, почтительно присев...

Он опять позвал ее, уже нетерпеливо. Но она снова присела, не спеша, с забавной точностью проделывая все движения. И продолжала декламировать и делать

реверансы там, где это полагается по тексту и по издавна установившейся традиции:

А после нового учтвого поклона
Вторично отвечать пришлось и мне с балкона.
Затем последовал и третий в тот же час;
Ответила и я, не медля, в третий раз.

Она с полной серьезностью, старательно, на совесть разыгрывала свою сцену. Хотя некоторые ее позы казались нелепыми, ибо для их оправдания нужна была юбка, почти все были красивы и все без исключения увлекательны. Они подчеркивали упругость мускулов при общей мягкости линий; каждое движение выявляло, гармоничную стройность всех частей ее юного тела, обычно не столь заметную.

Облекая свою наготу в благопристойные позы и наивные речи, она волею судьбы и по собственной прихоти превращалась в изящное произведение искусства, в аллегория невинности во вкусе Клодиона или Аллегрена *, и в устах этой ожившей статуэтки восхитительно чисто звучали стихи великого комедиографа. Невольно очарованный, Робер дал ей довести сцену до конца. Особенно забавляло его то, что такое сугубо публичное зрелище, как театральная сцена, разыгрывается перед ним одним частным образом и втайне от всех. И, наблюдая за церемонными движениями совершенно голой девушки, он с философским удовольствием отмечал, чем достигается достойная осанка в лучших труппах.

Он ходит взад, вперед; и лишь подходит ближе,
Все кланяется мне, и с каждым разом ниже;
И я — мой взгляд за ним внимательно следил —
Тотчас же кланялась, когда он проходил.

А она меж тем любовалась в зеркало своими молодыми, недавно расцветшими грудями, своим легким станом, чуть худощавыми изящными руками с тонкими запястьями, стройными ногами с круглыми коленями и воодушевлялась, воспаменялась при мысли что всем этим она служит прекрасному театральному ис-

кусству; легкий румянец играл на словно накрашенных щеках.

И если б темнота ночная не настала,
Я б, верно, без конца все то же продолжала.
И не сдалась бы, нет, а то, избави бог,
Невежливей себя меня почесть он мог!

Он приподнялся на постели, опершись на локоть, и крикнул:

— Ну, а теперь пойди, пойди ко мне.

И Фелиси, вся зардевшаяся и оживленная, скользнула к нему.

— Так ты думаешь, что я не люблю тебя!..

Покорная и разомлевшая, она запрокинула голову, подставив его поцелуям глаза, осененные длинными ресницами, и полуоткрытый рот, в котором влажно поблескивали зубы.

Вдруг она вскочила на колени. В устремленных в пространство глазах застыл неописуемый ужас. Из гортани вырвался хриплый крик, а вслед за ним стон, протяжный и жалобный, как звук органа. Отвернувшись, указала она пальцем на белую шкуру перед постелью:

— Там, там!.. Он лежит с простреленной головой... Смотрит на меня и смеется, а из угла рта стекает кровь.

Ее широко открытые глаза закатились. Тело судорожно изогнулось, а затем обмякло, и она замертво повалилась на постель.

Он смочил ей виски холодной водой и привел ее в чувство. Слабым детским голоском пожаловалась Фелиси на боль во всем теле. Ладони саднило. Она посмотрела на свои руки и увидела, что они поцарапаны и кровоточат.

Она сказала:

— Это я ногтями впила в ладони. Смотри, ногти у меня все в крови!

Она ласково поблагодарила его за нежные заботы и попросила не сердиться за причиненное волнение.

— Не для того ты пришел сюда, а?

Она попробовала улыбнуться и оглядела комнату.

— Как здесь славно.

Ее взгляд упал на расписание репетиций, лежавшее на ночном столике. Фелиси вздохнула:

— Какой толк в том, что я талантливая актриса, если мне нет счастья?

Сама того не подозревая, она слово в слово повторила фразу, сказанную Шевалье, когда она оттолкнула его.

Затем, приподняв с подушки свою еще тяжелую голову, она печально поглядела на любовника и покорно сказала:

— Мы так любили друг друга. И вот все кончено. Никогда уже не буду я твоей... Он не хочет!

***КРЕНКЕБИЛЬ,
ПЮТУА, РИКЕ
И МНОГО ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ
РАССКАЗОВ***

Переводы под редакцией *В. А. Дынник*

КРЕНКЕБИЛЬ

Александрю Стейнлену * и Люсьену Гитри *, которые сумели — один в серии превосходных рисунков, другой в прекрасном творении своего актерского таланта — поднять до высокого трагизма образ моего бедного уличного продавца.

I

Величие правосудия полностью выражено в каждом приговоре, который выносит судья от имени державного народа. Жером Кренкебиль, уличный зеленщик, познал всемогущество закона, когда был препровожден в исправительную полицию за оскорбление представителя власти. Очутившись на скамье подсудимых, в великолепном и мрачном зале, он увидел судей и секретарей, увидел адвокатов, облаченных в мантии, судебного пристава с цепью на груди, жандармов, а за перегородкой — обнаженные головы молчаливых зрителей. Он заметил, что и сам сидит на возвышении, словно, представ перед судьями, обвиняемый тем самым получает право на какие-то мрачные почести. В глубине зала, между двумя членами суда, восседал председатель, г-н Буриш. Его грудь была украшена

академическими пальмами. Бюст республики и распятый Христос возвышались над судилищем, так что все законы божеские и человеческие нависли над головой Кренкебиля. Он ощутил истинный ужас. Не обладая философским складом ума, он не задумался над тем, что в сущности означает этот бюст и распятие и совместно ли пребывание Христа и Марианны * во Дворце Правосудия. Однако это могло бы стать темой для размышлений, поскольку учение о главенстве папы и каноническое право * по многим пунктам расходятся с конституцией Республики и Гражданским кодексом. Ведь декреталии * не отменены. Церковь Христова по-прежнему учит, что законна только та власть, которую она освятила. Французская же республика все еще считает себя независимой от папской власти. Кренкебель мог бы не без оснований сказать:

— Господа судьи, ведь президент Лубе не помазанник божий, а значит, водруженный над вами Христос, представляемый на земле папами и вселенскими соборами, вашу власть не признает. Либо его присутствие должно напоминать вам о правах церкви, коими отвергаются ваши права, либо оно не имеет никакого смысла.

На это президент Буриш мог бы возразить:

— Обвиняемый Кренкебель, короли Франции постоянно не ладили с папой. Гильом де Ногаре * был отлучен от церкви и, однако, не сложил своих полномочий. Христос в залах суда — не Христос Григория VII * и Бонифация VIII. Это, если хотите, Христос евангельский, ни слова не знавший из канонического права и не ведавший о священных декреталиях.

Тогда позволительно было бы Кренкебилю ответить:

— Евангельский Христос был бунтарь. Более того, ему был вынесен приговор, который уже девятнадцать столетий все христианские народы считают величайшей судебной ошибкой. Уверяю вас, господин председатель, от его имени вы не имеете права приговорить меня даже к двум суткам ареста.

Но об истории, религии или социальных проблемах Кренкебель и не помышлял. Он пребывал в изумлении. Окружавшие его атрибуты суда внушали ему мысль о

величии правосудия. Проникнутый уважением, исполненный страха, он готов был согласиться с приговором судей и признать себя виновным. По совести, он преступником себя не считал, но чувствовал, как мало значит совесть какого-то зеленщика по сравнению с символами закона и вершителями общественного возмездия. К тому же и адвокат наполовину убедил его в том, что он все-таки виновен.

Поверхностное и наспех произведенное следствие подтвердило тяготевшие над ним обвинения.

II

Случай с Кренкебилем

Жером Кренкебиль, зеленщик, ходил по городу, подталкивая свою тележку, и кричал: «Капуста, репа, морковь!», а когда у него был лук-порей, он кричал «Спаржа!», потому что порей — спаржа бедняков. И вот двадцатого октября, в полдень, когда он спускался по улице Монмартр, г-жа Байар, хозяйка башмачной лавки, вышла из своей двери и подошла к зеленщику. Пренебрежительно приподняв связку порея, она сказала:

— Не очень-то он хорош, ваш порей. Почему пучок?

— Пятнадцать су, хозяйюшка. Лучшего не бывает.

— Пятнадцать су за три дрянных луковицы?

С презрением она швырнула их в тележку.

Тут подошел полицейский № 64 и сказал Кренкебилю:

— Проходите.

Пятьдесят лет с утра до вечера Кренкебиль только и делал, что проходил и проходил. Приказ полицейского показался ему вполне законным и совершенно в порядке вещей. Готовый повиноваться, он стал торопить покупательницу.

— Надо же выбрать! — сердито сказала башмачница.

Она снова перебрала все пучки порея и, остановившись наконец на том, который показался ей самым лучшим, она прижала его к груди, подобно тому как святые на церковных картинах прижимают к себе пальмовые ветви.

— Даю четырнадцать су. Красная цена. Только схожу за ними в лавку, при себе денег нет.

И, держа в объятиях пучок лука, она направилась в свою лавку, куда только что вошла покупательница с ребенком на руках.

Тут полицейский № 64 вторично сказал Кренкебилю:

— Проходите!

— Я жду денег, — ответил Кренкебель.

— Я вам не говорю, чтобы вы денег ждали; я говорю, проходите, — сухо повторил полицейский.

Между тем в своей лавчонке башмачница стала примерять голубые туфельки полуторогодовалому ребенку, так как покупательница торопилась. Зеленые головки порея покоились на прилавке.

Полвека толкая свою тележку по улицам, Кренкебель научился повиноваться представителям власти. Но на сей раз он попал в необычное положение — между своим долгом и своим правом. Юридически мыслить он не умел. Он не понимал, что личное право не освобождает его от общественного долга. Он придал излишнее значение своему праву на получение четырнадцати су и недостаточно подумал о своем долге везти тележку и идти все время вперед, все время вперед. Он не сдвинулся с места.

В третий раз полицейский № 64 спокойно и без раздражения приказал ему проходить. Не в пример бригадире Монтосьелю, который всегда только угрожает и никогда не переходит к решительным действиям, полицейский № 64 скуп на предупреждения и скор на составление протокола. Видимо, таков его нрав. Человек он, правда, немного мрачный, но прекрасный служака и исполнительный солдат. Храбр, как лев, и кроток, как ребенок. Признает один только устав.

— Вы что, не слышите, когда вам говорят — проходите!

Кренкебель продолжал стоять — и, казалось ему, по вполне уважительной причине. Он объяснил ее просто и безыскусственно:

— Ох, черт побери! Сказал уж я — денег жду.

Полицейский № 64 не стал вдаваться в подробности.

— В протокол попасть хотите? Пожалуйста, за мной остановки не будет!

На эти слова Кренкебиль устало повел плечами, по-смотрел на полицейского скорбным взглядом, а затем обратил глаза к небу. И взгляд его говорил: «Видит бог! Что я, преступник какой? Смеюсь я, что ли, над правилами и распоряжениями о продаже с тележек? В пять утра был на рыночной площади. С семи часов уж руки так и горят от оглобель. Кричу, надрываюсь: «Капуста, репа, морковь!» Мне ведь уже шестьдесят. Заморился я. А вы так со мной говорите, словно я подымаю черное знамя восстания. Смеетесь вы надо мной, и шутки у вас жестокие!»

То ли полицейский не уловил выражения этого взгляда, то ли не счел все же возможным извинить неповиновение, только отрывистым и грубым тоном он повторил свою угрозу.

А на улице Монмартр именно в эту минуту скопилось особенно много экипажей. Фиакры, повозки, фургоны, omnibusы, подводы, напирая со всех сторон, казались одним сплошным месивом. Брань и крики так и носились над этим клокочущим, запруженным потоком. Извозчики через всю улицу обменивались с мясниками отборной, смачной руганью, а кондуктора omnibusов, считая, что всему виной Кренкебиль, обзывали его «грязным пореем».

На тротуаре затолкались зеваки, любители происшествий. И полицейскому, оказавшемуся в центре внимания, особенно захотелось поддержать свой авторитет. — Ну что ж! — сказал он.

И вытащил из кармана засаленную книжку и огрызок карандаша.

Кренкебиль же, повинуюсь какой-то внутренней силе, упорно ожидал своих денег. К тому же ни вперед, ни назад он теперь двинуться не мог. Да еще, на беду, его тележка зацепилась колесом за повозку молочника.

Он схватил себя за выбившиеся из-под фуражки волосы и завопил:

— Да толковал же я вам, что денег жду. Вот несчастье-то! Проклятие...

Все это выражало отнюдь не возмущение, а отчаяние, однако полицейский № 64 почувствовал себя оскорбленным. А так как в его сознании всякое оскорбление непременно облекалось в освященную традицией, привычную и без конца повторяемую — можно даже сказать ритуальную — формулу: «Смерть коровам», — то и на этот раз он воспринял слова преступника именно в таком виде.

— А! Вы сказали: «Смерть коровам!» Ладно. Следуйте за мной.

Кренкебиль, изумленный и доведенный до отчаяния, вытаращил на полицейского выцветшие от солнца глаза и, заикаясь, голосом, исходившим откуда-то из затылка или из пяток, закричал, скрестив руки на синей блузе:

— Я сказал «Смерть коровам»? Я? О!..

Приказчики и мальчишки гоготали над арестованным. Это было по вкусу толпе, падкой на низменные и жестокие зрелища.

Только какой-то старик, очень грустный, одетый в черное, в цилиндре, протиснулся через толпу к полицейскому и сказал ему, не возвышая голоса, весьма вежливо и весьма твердо:

— Вы ошиблись. Он вас не оскорблял.

— Не вмешивайтесь не в свое дело, — ответил ему полицейский, обходясь без угроз, так как говорил с прилично одетым человеком.

Старик настаивал очень спокойно, но упорно. Полицейский предложил ему обратиться со своими показаниями к комиссару.

Кренкебиль продолжал кричать:

— Что это такое? Значит, я сказал «Смерть коровам»?!! О!..

Он все повторял и повторял поразившие его слова, когда г-жа Байар, башмачница, вышла к нему с четырнадцатью су в кулаке. Но полицейский № 64 уже держал его за воротник, и г-жа Байар, рассудив, что не за чем платить человеку, которого ведут в полицию, положила четырнадцать су в карман своего фартука.

Кренкебиль вдруг увидел, что его тележка задержана, сам он больше не свободен, что у него пропасть под ногами, а солнце уже не светит, и только пробормотал:

— Как же это так?..

Старый господин заявил комиссару, что, проходя по улице и задержавшись из-за скопления экипажей и давки, он стал случайным свидетелем происшествия и может утверждать, что полицейского никто не оскорблял и все это только простое недоразумение. Он сообщил свое имя и звание: доктор Давид Матье, старший врач больницы имени Амбруаза Паре *, кавалер ордена Почетного легиона. В былые времена такого свидетельского показания было бы совершенно достаточно, но в эту пору ученые во Франции считались неблагонадежными.

Арест Кренкебиля был признан правильным, ночь он провел в участке, а утром его в фургоне препроводили в арестный дом.

Тюремное заключение не показалось ему ни печальным, ни унижительным. Он принял его как неизбежность. Но что сразу же его удивило, так это чистота стен и плиточного пола. Он сказал:

— Уж что чисто, так чисто. Ей-богу, хоть ешь на полу.

Оставшись один, он захотел подвинуть скамейку и заметил, что она прикреплена к стене. Удивленный, он воскликнул:

— Вот так штука! Мне бы такого и не придумать!

Он сидел, крутил большими пальцами и все недоумевал. Тишина и одиночество угнетающе действовали на него. Ему было скучно, его беспокоило, куда дели его тележку, полную капусты, моркови, сельдерея, рапунцеля и салата. И он с тревогой все спрашивал себя: «Ой, куда же ее сунули?»

На третий день к нему пришел защитник, мэтр Лемерль, один из самых молодых парижских адвокатов и председатель секции во «Французской отечественной лиге».

Кренкебель попытался рассказать ему все, что произошло, но было это ему очень трудно, так как говорить он не умел. Вероятно, и получилось бы что-нибудь связное, если бы ему хоть чуточку помогли. Но на каждое его слово адвокат недоверчиво покачивал головой и, роясь в бумагах, приговаривал:

— Гм! Гм! Об этом в протоколе не упоминается...

Потом, несколько утомленный, сказал, покручивая белокурые усы:

— В ваших интересах, пожалуй, лучше во всем сойтись. Я нахожу, что принятая вами система полного отрицания исключительно неудачна.

После этого Кренкебиль сознался бы во всем, если бы только знал, в чем сознаваться.

III

Кренкебиль перед лицом правосудия

Председатель суда Буриш посвятил допросу Кренкебиля целых шесть минут. Этот допрос внес бы некоторую ясность, если бы обвиняемый отвечал на предложенные ему вопросы. Но Кренкебиль не привык к выступлениям, а в таком обществе почтение и страх и вовсе сковали ему язык. Он молчал, а председатель сам составлял за него ответы; они были убийственными. Председатель заключил:

— Следовательно, вы признаете, что вами было сказано: «Смерть коровам»?

— Я сказал «Смерть коровам», потому что господин полицейский сказал «Смерть коровам». Тогда и я сказал: «Смерть коровам»!

Ему хотелось втолковать, что, удивленный нелепым обвинением, недоумевая, он повторил эти странные, ложно ему приписанные слова, которых он, конечно, сам не говорил. Его восклицание «Смерть коровам?!» означало: «Да что вы! Разве я мог так выразиться?»

Господин председатель Буриш понял его иначе.

— Вы утверждаете, — сказал он, — что полицейский первый это выкрикнул?

Кренкебиль не стал объяснять. Это было слишком трудно.

— Вы не настаиваете. Правильно делаете, — сказал председатель. И велел позвать свидетелей.

Полицейский № 64, по имени Бастьен Матра, принес присягу говорить правду и только правду. Затем дал такие показания:

— Двадцатого октября я дежурил в полдень на

улице Монмартр и заметил какого-то человека, видимо, разносчика, тележка коего стояла у дома номер триста двадцать восемь, что послужило образованию затора на улице. Я ему трижды приказывал проходить, но он отказался подчиниться моему приказу. В ответ же на предупреждение мое о составлении протокола, крикнул: «Смерть коровам!», что я счел за оскорбление.

Такое показание, твердое и четкое, суд выслушал с явной благосклонностью. Защита вызвала г-жу Байар, башмачницу, и г-на Давида Матье, кавалера ордена Почетного легиона, главного врача больницы имени Амбруаза Паре. Г-жа Байар ничего не видела и ничего не слышала. Доктор Матье находился в толпе, собравшейся вокруг полицейского, который приказывал торговцу проходить. Его показания сопровождалась маленьким инцидентом.

— Я был свидетелем происшедшего, — сказал он. — Я заметил, что полицейский ошибается: его никто не оскорблял. Я подошел и заявил ему это. Полицейский, однако, зеленщика не отпустил, а мне предложил обратиться к полицейскому комиссару. Я это и сделал. Я повторил комиссару свое заявление.

— Можете сесть, — сказал председатель. — Судебный пристав, пригласите вторично свидетеля Матра. Когда вы, Матра, задержали обвиняемого, не указал ли вам господин доктор Матье на то, что вы ошибаетесь?

— Так точно, господин председатель, он меня оскорбил.

— Что он вам сказал?

— Он мне сказал: «Смерть коровам!».

В зале засмеялись и зашумели.

— Можете идти, — поспешил сказать председатель.

И предупредил публику, что при повторении недостойных выходок он велит освободить зал. Между тем защитник торжественно потрясал рукавами своей мантии, а все присутствующие уже считали, что Кренкебия оправдают.

Тишина была восстановлена, и мэтр Лемерль под-

нялся. Он начал свою защитительную речь с превознесения работников префектуры:

— Эти скромные служители общества, получающие самое ничтожное вознаграждение, пренебрегают усталостью, постоянно оказываются перед лицом опасности и повседневно проявляют героизм. Это старые солдаты, они и теперь солдаты. Солдаты — это слово выражает все...

И мэтр Лемерль свободно воспарил к возвышенным суждениям о доблестях воинов.

— Я сам принадлежу к тем, — говорил он, — кто не позволит задеть армию, национальную армию, я горжусь тем, что был в ее рядах...

Председатель склонил голову.

Действительно мэтр Лемерль был лейтенант в отставке. Он был также кандидатом от националистов в квартале Вьей-Одриэт.

Он продолжал:

— Безусловно я не могу не признавать тех скромных и драгоценных услуг, которые стражи общественного порядка ежедневно оказывают славному населению Парижа. И я не посмел бы говорить перед вами, господа, в защиту Кренкебиля, если бы я усматривал в нем оскорбителя старого солдата. Моего подзащитного обвиняют в том, что он сказал: «Смерть коровам!» Смысл этой фразы ясен. Перелистайте словарь рыночного жаргона, и вы прочтете: «Коровяк» — ленивый, бездельник; кто валяется, как корова, вместо того чтобы работать. «Корова» — тот, кто продался полиции, сыщик. «Смерть коровам!» — говорится в определенной среде. Но весь вопрос в том: как Кренкебель это сказал? И даже сказал ли он это? Позвольте мне усомниться.

Я не подозреваю полицейского Матра в недобросовестности. Но он выполняет трудную работу, он иногда может и устать, измучиться, дойти до изнеможения. В таком случае он мог стать жертвой галлюцинации слуха. И если он говорит, господа, что доктор Давид Матье, кавалер ордена Почетного легиона, главный врач больницы имени Амбруаза Паре, светоч науки и человек из хорошего общества, крикнул «Смерть коровам», то мы, конечно, вынуждены признать, что Матра страдает на-

вязчивыми идеями и, осмелюсь утверждать, одержим манией преследования.

Допустим даже, Кренкебиль крикнул: «Смерть коровам!» Но надо еще уяснить себе, носит ли эта фраза, вылетевшая из его уст, характер преступления. Кренкебиль — незаконнорожденный сын разносчицы, погибшей от разврата и пьянства, наследственный алкоголик. Вы его видите: он совсем отупел после шестидесяти лет нищенского существования. Господа, вы признаете, что он невменяем!

Мэтр Лемерль сел, а г-н председатель прочитал сквозь зубы решение суда: Жером Кренкебиль был приговорен к двум неделям тюремного заключения и пятидесяти франкам штрафа. Суд вынес приговор, основываясь на показаниях полицейского Матра.

Когда Кренкебиля вели по длинным и темным коридорам здания суда, ему мучительно захотелось чьего-либо участия. Он обернулся к сопровождающему стражнику и трижды окликнул его:

— Служивый! Служивый!.. Эй! Солдатик! — И вздохнул: — Кто бы мне сказал полмесяца тому назад, что со мной этакое случится! — Потом заметил; — Быстро эти господа говорят. Хорошо говорят, но уж очень скоро. Разве с ними столкнешься.. Ведь правда, служивый, уж слишком скоро говорят?

Но солдат шел, не отвечая и не поворачивая головы. Кренкебиль спросил:

— Что ж ты не отвечаешь?

Солдат молчал. Тогда Кренкебиль сказал ему с горечью:

— С собаками и то разговаривают. Почему ты со мной не говоришь? Боишься рот раскрыть — верно, изо рта воняет?

IV

Похвальное слово г-ну председателю суда Буришу

Когда прочитали приговор и секретарь уже приступил к оглашению следующего дела, два-три адвоката и кое-кто из публики направились к выходу. Уходя они и не думали о деле Кренкебиля, в сущности их совсем

не заинтересовавшем. Один только Жан Лермит, гравер-офортист, невзначай очутившийся в здании суда, все еще размышлял о том, что ему довелось увидеть и услышать.

Положив руку на плечо мэтра Жозефа Обарре, он сказал ему:

— Следует отдать должное председателю Буришу, он сумел обуздать в себе бесплодные поиски любопытствующего ума и гордыню духа, стремящегося познать все. Сопоставив противоречивые показания полицейского Матра и доктора Давида Матье, судья вступил бы на путь, приводящий только к сомнениям и неуверенности. Метод, рекомендуемый изучение фактов согласно законам критически мыслящего разума, не подходит для правильного судопроизводства. Если бы судья неосмотрительно последовал этому методу, его решениями руководили бы лично ему присущая способность мыслить, которая обычно не велика, и общечеловеческие слабости — явление постоянное. Чего стоили бы такие решения? Нельзя не согласиться, что знакомство с историей преступления не дает судье необходимой уверенности. Достаточно вспомнить случай с Уолтером Ролеем*.

В один прекрасный день Уолтер Ролей, заключенный в лондонский Тауэр, трудился, как обычно, над вторым томом своей «Всемирной истории», и вдруг услышал во дворе какую-то бурную ссору. Он подошел к окну, поглядел на ссорящихся и снова взялся за работу, в полной уверенности, что хорошо запомнил все подробности наблюдаемой сцены. Но, рассказывая о ней на следующее утро своему другу, тоже свидетелю и даже участнику происшествия, он был потрясен, заметив, как расходятся их наблюдения буквально во всем. Он задумался над тем, насколько трудно установить истинный ход отдаленных событий, если можно ошибиться даже в том, что видишь собственными глазами, — и предал свою рукопись огню.

Будь судьи столь же щепетильны, как сэр Уолтер Ролей, они все свои протоколы побросали бы в огонь. Но они не имеют на это права. Отвергать правосудие с их стороны — преступление. Можно отказаться знать, но нельзя отказаться судить. Те, кто требуют, чтобы

решения суда были обоснованы методическим расследованием фактов, — опасные софисты и коварные враги гражданского и военного судопроизводства. У председателя Буриша слишком юридический образ мыслей, чтобы подчинять свои решения разуму и науке, выводы которых постоянно вызывают споры. Он судит, основываясь на догме и опираясь на традицию, так что его решения — нечто вроде церковных заповедей. Его приговоры каноничны. Я хочу сказать, что он руководствуется положениями некоторых священных канонов. Заметьте, например, что в свидетельских показаниях для него существенны не малоопределенные и обманчивые черты правдоподобия и правдивости, а признаки непреложные, постоянные и явные. Их весомость подкрепляется для него весом оружия. Что может быть проще и мудрее? Показания стража общественного порядка для него неопровержимы, так как, отвлекаясь от личности полицейского, он видит в нем нечто метафизическое — определенный номер по списку, категорию полиции в идеале. Не потому, что Матра (Бастьен), уроженец Чинто-Монте (Корсика), кажется ему неспособным ошибаться. Он и не думает, что Бастьен Матра особенно наблюдателен и умеет воспринимать факты точно и основательно. Короче говоря, ему важен не Бастьен Матра, а полицейский № 64. Человеку, знает он, свойственно ошибаться. Какой-нибудь Пьер или Поль могут ошибиться. Декарт и Гассенди, Лейбниц и Ньютон, Биша и Клод Бернар * могли в свое время впасть в ошибку. Мы все постоянно ошибаемся. Поводы к заблуждениям у нас неисчислимы. Чувственные восприятия и суждения разума являются источниками неверных представлений и порождают неуверенность. Нельзя полагаться на показания единственного свидетеля: «*Testis unus, testis, nullus*»¹. Но доверять номеру вполне возможно. Бастьен Матра из Чинто-Монте может ошибаться. Но полицейский № 64, абстракция от человеческой природы, не ошибается. Это — некая сущность. А сущность свободна от того, что свойственно человеку, что его волнует, портит, обольщает. Она

¹ Одно доказательство — не доказательство (*лат.*).

чиста, неизменна и едина. Вот почему суд не задумался пренебречь показаниями доктора Давида Матъе — просто человека, и признать то, что говорил полицейский № 64, ибо он — чистейшая идея, луч, снизошедший от бога на свидетельскую скамью.

Действуя таким образом, председатель Буриш обеспечивает себе некую непогрешимость, единственную, на какую может притязать судья. Когда дает показания человек, вооруженный саблей, надо прислушиваться к сабле, а не к человеку. Человек — существо презренное и может быть неправ. Иное дело сабля — она всегда права. Председатель Буриш глубоко проник в дух законов. Опорой общества является сила, и должно уважать силу как величайшую основу всякого общества. Правосудие — орган управления силы. Председатель Буриш знает, что полицейский № 64 — частица верховной власти. Верховная власть есть в каждом из ее служителей. Подорвать авторитет полицейского значит ослабить государство. Кто ест листок артишока, тот ест артишок, как говорит своим высоким стилем Боссюэ *. («Политика, извлеченная из Священного писания», *passim*¹).

В каждом государстве все мечи обращены в одну сторону. Направив их один против другого, можно ниспровергнуть Республику. Поэтому-то подсудимый Кренкебель и был справедливо приговорен к двухнедельному тюремному заключению и пятидесяти франкам штрафа, на основании свидетельских показаний полицейского № 64. Мне так и слышится, что председатель Буриш самолично излагает возвышенные и прекрасные побуждения, внушившие ему его приговор. Мне так и слышится, что он говорит: «Я осудил этого человека согласно показаниям полицейского № 64, поскольку полицейский № 64 есть эманация государственной силы. И, чтобы признать мою мудрость, вам достаточно представить себе, будто я сделал обратное. Вы тотчас же увидите, как это было бы нелепо. Ведь если бы я судил против силы, мой приговор не был бы приведен в исполнение. Обратите внимание, господа, что судьям

¹ Повсюду (*лат.*).

повинуются, только когда на их стороне сила. Без жандармов судья лишь жалкий мечтатель. Я пошел бы против самого себя, укажи я полицейскому, что он не прав. К тому же против этого и сам дух закона. Обезоруживать сильных и предоставлять оружие слабым — значило бы изменять социальный порядок, который я обязан охранять. Закон — это санкция установившегося беззакония. Кто и когда видел, чтобы правосудие противостояло завоевателям и узурпаторам? Утвердится какая-либо незаконная власть — и служителям закона только и остается, что признать ее законной. Главное — это форма, а преступление и невинность разделены между собой только толщиной листа гербовой бумаги.

От вас, Кренкебиль, зависело стать самым сильным. Если, выкрикнув «Смерть коровам», вы объявили бы себя императором, диктатором, президентом республики, пусть даже муниципальным советником, уверяю вас, я вас не присудил бы к двухнедельному заключению и пятидесяти франкам штрафа. Я освободил бы вас от всякого наказания. Можете мне поверить».

Нет сомнения, что председатель Буриш изложил бы все именно таким образом, ибо мыслит он юридически правильно и знает обязанности судейского чиновника перед обществом. Он защищает устои общества последовательно и неизменно. Правосудие — явление социальное. Только те, кто превратно мыслит, требуют от него человечности и чувствительности. Судопроизводство следует точно установленным правилам, а не сентиментальным порывам и озарениям разума. Самое главное, не ищите в нем справедливости, оно не обязано быть справедливым, поскольку является правосудием; скажу вам даже больше: мысль о справедливом правосудии могла зародиться лишь в голове анархиста. Председатель Маньо *, надо это признать, выносит справедливые решения. Но их отменяют — это и есть правосудие.

Настоящий судья весомость свидетельских показаний определяет по весу оружия. Это вы могли видеть в деле Кренкебиля и в других более знаменитых процессах *.

Так говорил г-н Жан Лермит, расхаживая взад и вперед по Залу потерянных шагов *.

Мэтр Жозеф Обарре, знакомый с судебными порядками, ответил ему, почесывая кончик носа:

— Если вам угодно знать мое мнение, то мне думается, что председатель Буриш вряд ли поднимался до таких метафизических высот. По-моему, приняв показания полицейского № 64 за выражение истины, он просто сделал то, что постоянно видел в судах. В подражании надо искать причину большинства человеческих поступков. Будешь поступать как принято, прослывешь порядочным человеком. Почтенными людьми называют тех, кто ничем не выделяется.

V

О подчинении Кренкебиля законом республики

Очутившись снова в своей камере, Кренкебель сел на прикованную к стене скамейку, преисполненный удивления и восторга. Он не знал, что судьи ошиблись. Внешнее величие заслонило от него внутреннюю несостоятельность судопроизводства. Ему и в голову не приходило, что прав он, а не судьи, чье представление о правоте было для него непостижимо: он не мог даже помыслить, чтобы в такой прекрасной церемонии был изъян. Ведь он не ходил к обедне, не бывал в Елисейском дворце * и никогда в жизни не видывал ничего прекраснее, чем суд исправительной полиции. Он очень хорошо помнил, что не кричал «Смерть коровам!» А приговор к двухнедельному тюремному заключению за эти слова был в его представлении высшей тайной, одним из тех символов веры, что слепо исповедуются верующими, неким откровением, загадочным и ослепительным, внушающим благоговение и трепет.

Несчастный старик признавал себя виновным в том, что будто бы оскорбил полицейского № 64, также как мальчик на уроке закона божия признает себя виновным в грехе Евы. Вынесенный судом приговор гласил, что он крикнул «Смерть коровам!».

Значит, он действительно крикнул «Смерть коровам!» Но каким-то таинственным, ему неведомым образом. Он оказался в мире сверхъестественного. Судебное решение было его апокалипсисом *.

Если преступление было ему непонятно, то не более понятно было и наказание. Обвинительный приговор показался ему чем-то торжественным, религиозным и возвышенным, ослепительным и непостижимым, так что нельзя ни оспаривать его, ни хвалиться им, ни жаловаться на него. И случись ему в этот час увидеть председателя Буриша спускающимся к нему с разверзшегося потолка, с сиянием вокруг головы и с белыми крылышками, он не удивился бы этому новому проявлению судейской славы, а только подумал бы: «Мое дело все еще продолжается».

Наутро его навестил адвокат.

— Ну, как, старина? Не так уж плохо себя чувствуете? Бодрее! Две недели мигом пролетят. Особенно жаловаться не приходится.

— Да уж чего там, можно сказать господу обходительные, такие вежливые; и грубого слова не молвили. Никогда бы не поверил, А солдат белые перчатки надел. Заметили?

— Если все взвесить, вы хорошо сделали, что соznались.

— Пожалуй.

— Кренкебиль, я к вам с доброй вестью. Один благодетель, которого мне удалось заинтересовать вашим делом, передал вам через меня пятьдесят франков, для уплаты наложенного на вас штрафа.

— А когда вы мне дадите эти пятьдесят франков?

— Я внесу их в судебную канцелярию. Не беспокойтесь.

— Ну, не беда, я все равно благодарен этому господину.

И Кренкебиль пробормотал в задумчивости:

— Что-то со мной необыкновенное приключается.

— Не надо преувеличивать, Кренкебиль. Все это далеко не редкость.

— А не скажете вы мне, куда они девали мою тележку?

VI

Кренкебиль пред лицом общественною мнения

Отбыв наказание, Кренкебиль снова шел со своей тележкой по улице Монмартр, крича: «Капуста, репа, морковь!» Он не возгордился от происшедшего с ним, но и не стыдился. Тягостных воспоминаний у него не осталось. Как будто все это было в театре, во время путешествия или во сне. Ему особенно приятно было снова ходить по слякоти, по городской мостовой и видеть над собой дождливое небо, мутное, как ручьи на улицах, славное небо родного города. Он останавливался на каждом углу пропустить стаканчик; потом легко и весело, поплевав на руки, чтобы смягчить мозоли, брался за оглобли и подталкивал тележку, а воробы, такие же ранние птахи, как и он, также ничего не имеющие и вынужденные искать себе пропитание на мостовой, взлетали стайкой при знакомом возгласе: «Капуста, репа, морковь!» Подошедшая старушка хозяйка спрашивала, перебирая сельдерей:

— Что случилось, папаша Кренкебиль? Недели три вас не видели. Неужто были больны? Ишь как побледнели.

— Доложу вам, госпожа Майош, что я будто рантье заделался...

В его жизни ничего не переменялось, разве только стал он почаще заглядывать в кабачок: все ему кажется, что нынче праздник и знаком-то он нынче со всякими благодетелями. Навеселе возвращается он в свою каморку. Растянувшись на тюфяке, он укрывается вместо одеяла мешками, которые ему когда-то дал торговец каштанами, и размышляет: «Тюрьма... Ничего не скажешь, там недурно; все есть. Да только дома лучше».

Но радоваться ему пришлось недолго. Вскоре он заметил, что покупательницы смотрят на него косо.

— Превосходный сельдерей, госпожа Куэнтро!

— Мне ничего не надо.

— Как так ничего? Воздухом, что ли, питаетесь?

А г-жа Куэнтро, хозяйка большой булочной, не удаставая его ответом, гордо возвращалась к себе. Ла-

вочницы и привратницы, недавно толпившиеся у его цветущей зеленой тележки, стали отворачиваться. Подъехав к башмачной мастерской «Ангел-хранитель», где когда-то начались его злоключения, он окликнул:

— Госпожа Байар, госпожа Байар, за вами еще с того раза пятнадцать су.

Но восседавшая за прилавком г-жа Байар даже голову не удостоила повернуть.

Всей улице Монмартр было известно, что папаша Кренкебель вышел из тюрьмы, и вся улица знать его больше не хотела. Слух о его судимости долетел и до предместья и до шумного перекрестка улицы Рише. Там, около полудня, он заметил, как г-жа Лора, его постоянная и хорошая покупательница, наклонилась над тележкой маленького Мартена и оглядывала большой кочан капусты. Ее волосы горели на солнце, словно золотые нити, уложенные большим пышным узлом. А маленький Мартен, бездельник, грязная скотина, божился, положив руку на сердце, что его товар самый лучший. У Кренкебеля сердце чуть не разорвалось от этого зрелища. Он направил свою тележку прямо на тележку Мартена и сказал г-же Лоре надтреснутым, жалобным голосом:

— Нехорошо делаете, что мне изменяете.

Госпожа Лора не родилась герцогиней, она сама это признавала. Ее представление об арестантском фургоне и тюрьме сложилось, конечно, не в светском обществе. Но порядочным человеком ведь можно быть повсюду. У каждого свое самолюбие, и кому понравится водиться с человеком, побывавшим в тюрьме? Ответила она Кренкебелю гримасой, как будто ее тошнит. И старый зеленщик, поняв, что его хотят обидеть, крикнул:

— Пошла ты, сука!

Госпожа Лора выронила свою капусту и завопила:

— Ах, вот как! Ты убирайся, старая кляча! Сам в тюрьме сидел, а еще людей оскорбляет!

Сохрани Кренкебель хладнокровие, он никогда бы не попрекнул г-жу Лору ее профессией. Он слишком хорошо знал, что в жизни делаешь не то, что хочешь, и не сам выбираешь себе дорогу; а хорошие люди повсю-

ду встречаются. Благоразумно следуя выработавшейся у него привычке, он никогда не интересовался домашней жизнью покупательниц и никого не презирал. Но тут он вышел из себя и трижды обозвал г-жу Лору потаскухой, стервой и девкой. Вокруг г-жи Лоры и Кренкебиля уже собрались любопытные, но те продолжали переругиваться все так же грубо и пустили бы в ход весь свой набор ругательств, не возникни перед ними полицейский, который стал как вкопанный и молчал, что сразу заставило их тоже застыть и замолчать. Все разошлись в разные стороны. Но эта ссора бесспоротно погубила репутацию Кренкебиля в предместье Монмартр и на улице Рише.

VII

Последствия

Старик удалился, бормоча:

— Конечно, шлюха. Такой другой и не сыскать...

Но, по правде говоря, не за это он ее упрекал. Он знал, кто она, и не презирал ее. Скорее уважал, видя, какая она бережливая и аккуратная. В былые времена они охотно беседовали друг с другом. Она рассказывала о своих родных, живущих в деревне. Оба, бывало, мечтали о маленьком садике и о том, как хорошо разводить кур. Славная была покупательница. Но когда он увидел, что она берет капусту у маленького Мартена, у такого бездельника и грязной скотины, его как ножом кольнуло, а презрительная гримаса довела до иступления, и...

Хуже всего было то, что не она одна обращалась с ним как с шелудивой собакой. Никто его больше и знать не хотел. Все так же, как г-жа Лора, как булочница г-жа Куэнтро и как г-жа Байар, хозяйка «Ангеларанителя», — презирали и отталкивали его. Все общество, вот как!

Что же это такое? Пробыл две недели в тюрьме и даже пореем торговать не можешь! Разве это справедливо? Где же правда, когда доброму человеку только и остается, что помирять с голоду из-за каких-то ма-

леньких неладов с полицейскими шелкоперами. А нельзя торговать, значит подыхай.

Он скис, как скисает слабое вино. Нагрубив г-же Лоре, он стал грубить всем. Привязавшись к пустяку, он отчитывал своих покупательниц и, уж поверьте, не стеснялся в выражениях. Чуть замешкаются с выбором товара, он уже обзывал их пустомелями и голодранками, а в кабаке орал громче всех. Его приятель, торговавший на углу каштанами, просто не узнавал старика и все повторял, что этот чертов Кренкебиль истинный дикобраз. Отрицать не приходится: он стал грубияном, брюзгой и скандалистом... А все потому, что увидел несовершенство общества и мысли его спутались — ведь он не мог с легкостью, свойственной профессору Школы нравственных и политических наук, выразить свое суждение о пороках системы и необходимых реформах.

Несчастье сделало его несправедливым. Он срывал злобу на тех, кто ничего плохого ему не сделал, и не раз даже на тех, кто был слабее его. Случилось, что он дал пощечину Альфонсу, сынишке виноторговца, когда тот спросил, хорошо ли в кутузке. Ударив его, Кренкебиль сказал:

— Сопляк! Отца бы твоего в кутузку, богатеет тут, торгуя не вином, а отравой.

Ни слова, ни поступок не делали ему чести — нельзя бить детей и попрекать отцом, которого они не выбирали, как правильно заметил ему торговец каштанами.

Он совсем запил. Чем меньше зарабатывал, тем больше пил. Прежде бережливый и трезвый, он сам дивился такой перемене.

— Никогда пьяницей не был, — говорил он. — Неужто к старости разум теряешь?

Иногда он строго осуждал свое беспутство и лень:

— Ну, старина, куда ты теперь годишься!

Иногда, сам себя обманывая, он втолковывал себе, что выпить необходимо:

— Ведь надо когда-никогда и пропустить стаканчик, чтобы малость сдюжить, ну и освежиться. Не

иначе как в брюхе у меня что-то печет. А напитки, они освежают.

Он часто стал опаздывать на утренние торги, и ему доставался один негодный товар, который отпускали в кредит. Однажды утром, чувствуя, что ноги ослабли, а сердце не лежит к работе, он оставил в сарае свою тележку и весь день протолкался то у лотка старухи Розы, торгующей требухой, то у кабаков Центрального рынка. Под вечер, присев на какую-то корзину, он призадумался и осознал свое падение. Вспомнилось ему, какой он был сильный и как хорошо работал, вспомнилась и усталость и порою хорошая выручка, вспомнилась длинная вереница дней, однообразных, но не бесплодных: вставал он до зари, еще затемно был на рыночной площади, дожидаясь начала торгов; искусно и ладно укладывал груды овощей в своей тележке; наспех, стоя, выпивал чашку черного кофе у тетушки Теодоры и привычными крепкими руками брался за оглобли; его крик, звонкий, как пение петуха, гулко раздавался в утреннем воздухе; ходил он по людным улицам, и вся его жизнь, честная и тяжелая жизнь человека-лошади, прошла в том, что целых полвека он доставлял на своем катящемся лотке горожанам, замученным бессонницей и заботами, свежий дар зеленых огородов. Покачивая головой, он вздохнул.

— Нет! Ушла моя прежняя сила, конченный я человек. Ходит, ходит кувшин по воду, да и голову сломит. А как судили меня, весь я переменялся. Не тот уж я, вот оно как!

Мало-помалу он опустился окончательно. Человек в таком состоянии словно на мостовой лежит, — кто ни пройдет, тот и толкнет.

VIII

Конечные последствия

Пришла нищета, беспросветная нищета. Бывало, по возвращении из предместья Монмартр в кошельке у старого зеленщика полным-полно серебра, а теперь и гроша не водилось. Стояла зима. Старика прогнали из ка-

морки, и ночевал он теперь под тележками в сарае. Дожди шли непрерывно, недели три подряд, сточные каналы переполнились, и сарай был почти весь затоплен.

Съевшись в своей тележке, над грязными лужами, в обществе пауков, крыс и одичавших кошек, Кренкебиль размышлял в потемках. Целый день он ничего не ел, мешков из-под каштанов, служивших ему одеялом, у него теперь уже не было, и невольно он вспомнил, как в тюрьме его поили и кормили две недели подряд. Можно было позавидовать арестантам, которые не страдают от холода и голода. Вдруг он сообразил: «Да ведь знаю же я фокус, — а что, коли попробовать?»

Он поднялся и вышел на улицу. Было часов одиннадцать, не больше. Стояла промозглая погода, во круг — полная темень. Падала изморозь, более пронизывающая и холодная, чем дождь. Редкие прохожие пробирались вдоль стен.

Кренкебиль прошел мимо церкви св. Евстафия и свернул на улицу Монмартр. Там было пусто, лишь постовой полицейский неподвижно стоял на панели против церкви, под газовым фонарем, где вокруг пламени отсвечивал рыжеватой пылью мелкий моросящий дождик. Капли падали на капюшон полицейского, он, видно, совсем озяб; но, может быть, предпочитая оставаться на свету или же устав ходить, он все стоял и стоял под этим канделябром, словно видя в нем товарища, даже друга. Вздрагивающее пламя фонаря было в ночном одиночестве его единственным компаньоном. Неподвижность полицейского казалась какой-то нечеловеческой, отражение сапог на мокром тротуаре, обратившемся в сплошное озеро, неестественно удлиняло его рост, так что издали он напоминал некое чудовище — амфибию, наполовину вышедшую из воды. Вблизи, вооруженный, закутаный в капюшон, он казался воином-монахом. Крупные черты его лица, еще увеличенные тенью от капюшона, были спокойны и грустны. У него были густые, короткие, тронутые сединой усы. Это был старый служака, лет сорока.

Кренкебиль тихонечко подошел к нему и произнес чуть слышно и нерешительно:

— Смерть коровам!

Он стал ждать действия сакраментальных слов. Но ничего не последовало. Полицейский стоял неподвижно и все так же молча, со скрещенными под плащом руками. Его широко открытые глаза поблескивали в темноте и смотрели на Кренкебиля печально, внимательно и с презрением.

Кренкебиль удивился, но, верный своему решению, пробормотал:

— Я говорю: «Смерть коровам!» Вот вам!

Молчание тянулось долго, а мелкая, рыжеватая пыль дождя все падала, и кругом царила леденящая тьма. Наконец полицейский промолвил:

— Нельзя так говорить... Не положено так говорить. В вашем возрасте понимать надо... Идите своей дорогой.

— Что ж не арестовываете-то меня? — спросил Кренкебиль.

Полицейский покачал головой в мокром капюшоне.

— Всех пьянчужек задерживать, которые болтают не то, что надо, — хлопот много, да и к чему?

Кренкебиль, подавленный таким презрительным великодушием, долго стоял по щиколотку в воде и тупо молчал. Прежде чем отойти, ему захотелось объяснить:

— Не вам я сказал «Смерть коровам». И никому другому. Была одна мысль...

Полицейский ответил беззлобно, но строго:

— Мысль ли какая, или что другое, а только не надо так говорить, когда человек службу несет и все претерпевать ему приходится, не дело оскорблять его непристойными словами... Еще раз предлагаю вам — идите своей дорогой.

Понурившись и вяло опустив руки, Кренкебиль побрел под дождем в темноту.

ПЮТУА

*Георгу Брандесу **

I

— Этот сад, где мы играли детьми, — сказал г-н Бержере, — сад, весь-то каких-нибудь двадцать шагов в длину, был для нас огромным миром, полным улыбок и страхов.

— Люсьен, ты помнишь Пютуа? — спросила. Зоя, улыбаясь, как обычно, то есть не разжимая губ и уткнувшись носом в шитье.

— Помню ли я Пютуа!.. Да ведь из всех людей, виденных мною в детстве, Пютуа яснее всего запечатлелся в моей памяти. Каждая черточка его лица и его характера так и встает у меня перед глазами. У него был остроконечный череп...

— Низкий лоб, — добавила мадемуазель Зоя.

И брат и сестра, поочередно, не изменяя тона, стали с комической серьезностью перечислять его, так сказать, особые приметы.

— Низкий лоб.

— Глаза разного цвета.

— Бегающий взгляд.

— Морщинки на висках.

— Выдающиеся скулы, красные и лоснящиеся.

— У него были плоские уши.
— Лицо без всякого выражения.
— Только вечно движущиеся руки говорили о присутствии мысли.

— Он был сутуловатый, тщедушный с виду...

— А на самом деле удивительно сильный.

— Он легко двумя пальцами гнул монету в сто су.

— И большой палец был у него огромный.

— Голос тягучий...

— А речь слащавая.

Вдруг г-н Бержере воскликнул:

— Зоя! Мы пропустили «желтые волосы и реденькую бородку». Начнем сначала.

Полина с удивлением выслушала этот странный пересказ и спросила отца и тетку, чего ради они выучили наизусть этот отрывок прозы и почему читали его как молитву.

Господин Бержере ответил с полной серьезностью:

— Полина, то, что ты сейчас слышала, — это священный, могу даже сказать — литургический, текст семьи Бержере. Необходимо, чтобы и ты его знала, иначе он погибнет, когда мы с тетей умрем. Твой дедушка, дочь моя, дедушка Элуа Бержере, которого, бывало, не позабавишь глупой шуткой, с уважением относился к этому отрывку, главным образом из-за того, как он возник. Он озаглавил его «Анатомия Пютуа» и не раз повторял, что анатомию Пютуа он, в некотором отношении, ценит выше, чем анатомию Каремпре-нана *. «Описание, сделанное Ксеноманом, — говорил он, — более научно и изобилует редкостными и изысканными определениями, зато описание Пютуа намного выигрывает благодаря ясной мысли и прозрачному стилю». Он рассуждал так потому, что доктор Ледубль * из Тура еще не прокомментировал тогда тридцатую, тридцать первую и тридцать вторую главу четвертой книги Рабле.

— Ничего не понимаю, — сказала Полина.

— Это потому, дитя мое, что ты не знаешь Пютуа. Так вот узнай, что в детстве для меня и для тети Зон Пютуа был, можно сказать, самым близким знакомцем.

В доме твоего дедушки Бержере беспрестанно о нем говорили. Каждый был уверен, что видел его.

Полина спросила:

— Кто же такой этот Пютуа?

В ответ г-н Бержере расхохотался, рассмеялась с сомкнутыми губами также и мадемуазель Бержере.

Полина смотрела то на одного, то на другую.

Ей казалось странным, что тетка так от души смеется, и еще более странным, что смеется она заодно с братом. Это было действительно необычно — брат и сестра редко сходились в настроениях.

— Папа, скажи же, кто такой Пютуа? Если ты хочешь, чтобы я знала, расскажи мне.

— Пютуа, дитя мое, был садовник. Сын почтенных земледельцев из Артуа, он обосновался в Сент-Омере, где выращивал и продавал саженцы. Но покупателям он что-то не нравился, и его дела шли плохо. Тогда он бросил торговлю и стал ходить на поденную работу. Те, кто его нанимали, не особенно бывали им довольны.

Тут, все еще смеясь, мадемуазель Бержере добавила:

— Помнишь, Люсьен, когда отец не находил на письменном столе чернильницы, перьев, сургуча или ножниц, он говорил: «Чувствую, что здесь побывал Пютуа».

— О, у Пютуа была не очень хорошая репутация, — сказал г-н Бержере.

— И это все? — спросила Полина.

— Нет, дитя мое, не все. Пютуа был замечателен тем, что мы его знали, привыкли к нему, и однако...

— ...он не существовал, — продолжала Зоя.

Господин Бержере укоризненно посмотрел на сестру.

— Ну что это, Зоя! Зачем ты нарушила впечатление? Пютуа не существовал! И ты посмела это сказать! Зоя, где твои доказательства? Достаточно ли ты знакома с различными условиями существования и формами бытия, чтобы утверждать, что Пютуа не существовал, что Пютуа никогда не было? Пютуа существовал, сестрица. Но, правда, это было совсем особое существование.

— Чем дальше, тем непонятнее, — сказала недоумевающая Полина.

— Сейчас тебе все станет ясно, дочь моя. Надо сказать, что Пютуа появился на свет совсем взрослым. Я тогда был еще ребенком, тетя твоя — уже подростком. Жили мы в небольшом домике в предместье Сент-Омер. Родители наши вели спокойный и уединенный образ жизни, пока их не разыскала одна пожилая дама, по имени госпожа Корнуйе, сент-омерская помещица, жившая в своей усадьбе «Услада», в пяти лье от города, — как выяснилось, двоюродная бабушка нашей матери. На правах родства она стала требовать, чтобы наши отец и мать каждое воскресенье приезжали к ней в «Усладу» обедать, а им там было ужасно скучно. Она говорила, что у всех порядочных людей принято обедать по воскресеньям в семейном кругу и что только люди низкого происхождения не соблюдают этот старинный обычай. В «Усладе» отец просто изнывал от скуки. Жалко было смотреть на него. Но госпожа Корнуйе этого не замечала. Она вообще ничего не замечала. Мама была более мужественной; страдала она не меньше, чем отец, может быть даже больше, но все-таки улыбалась.

— Женщины созданы для страдания, — заметила Зоя.

— Все живое обречено на страдание, Зоя. Тщетно наши родители отказывались от этих тягостных приглашений. Каждое воскресенье, после полудня, за ними приезжал экипаж госпожи Корнуйе. Приходилось ехать в «Усладу»; уклониться от этой повинности было совершенно невозможно. Это был твердо установленный порядок, нарушить который мог только бунт. Отец наконец взбунтовался и дал клятву не принимать больше ни одного приглашения госпожи Корнуйе, а матери предоставил изыскивать благовидные предлоги и различные оправдания для отказа — как раз то, к чему она менее всего была способна. Наша мама притворяться не умела.

— Вернее, Люсьен, не хотела. Она могла бы солгать не хуже других, — сказала Зоя.

— Да, но надо признаться, что она охотнее опиралась на факты, чем прибегала к выдумкам. Помнишь,

сестра, как она сказала раз за обедом: «К счастью, у Зои коклюш; теперь мы не скоро поедим в «Усладу».

— Правда, так было, — согласилась Зоя.

— Ты выздоровела. И госпожа Корнуи приехала к нашей маме. «Теперь, милочка, — сказала она, — я рассчитываю, что вы с мужем приедете в воскресенье обедать в «Усладу». Отец требовал во что бы то ни стало найти уважительную причину для отказа, и, в такой крайности, мать прибегла к выдумке: «Очень сожалею, дорогая бабушка, но это невозможно. В воскресенье я жду садовника».

Услышав это, госпожа Корнуи посмотрела через стеклянную дверь гостиной на наш запущенный садик; там росли бересклет и сирень, но, казалось, они никогда не знали садовых ножниц, да и не собирались с ними знакомиться. «Вы ждете садовника! Для чего?» — «Чтобы поработал в саду».

И невольно окинув взглядом буйно растущую траву и несколько почти одичавших кустов, столь громко названных садом, мама просто ужаснулась неправдоподобно своей выдумки. «Этот человек, — сказала госпожа Корнуи — прекрасно может прийти в ваш... сад в понедельник или во вторник. Так будет гораздо лучше. Не следует работать по воскресеньям». — «Он всю неделю занят».

Я нередко замечал, что самые невероятные, самые нелепые доводы почти не вызывают возражений: они попросту сбивают противника с толку. Госпожа Корнуи настаивала меньше, чем можно было ожидать от такой цепкой особы. Поднявшись с кресла, она спросила: «Как зовут, милочка, вашего садовника?» — «Пютуа», — не колеблясь, ответила мама.

Пютуа получил имя. С этих пор он существовал. Госпожа Корнуи ушла, приговаривая: «Пютуа! Кажется, знаю, Пютуа? Пютуа! Знаю, знаю. Только не припомню... Где он живет-то?» — «Он работает поденно. Когда в нем есть надобность, его зовут через знакомых». — «Ну, так я и думала: лодырь, проходимец какой-то... несостоящий человек. Поосторожнее с ним, милочка».

Теперь у Пютуа был уже и характер.

II

Пришли г-н Губен и Жан Марто. Г-н Бержере объяснил им о чем идет разговор:

— Мы вспоминаем, как моя мать когда-то выдумала в Сент-Омере садовника и дала ему имя. И он стал жить.

— Дорогой учитель, не будете ли вы добры повторить? — сказал г-н Губен, протирая очки.

— Пожалуйста, — ответил г-н Бержере. — Этого садовника не было. Этот садовник не существовал. Мать сказала: «Я жду садовника». И — садовник возник и начал действовать.

— Дорогой учитель, но как же он действовал, если не существовал? — спросил г-н Губен.

— Он существовал особым образом.

— Вы хотите сказать, это было воображаемое существование, — несколько пренебрежительно сказал г-н Губен.

— А разве воображаемое существование — это ничто? — воскликнул г-н Бержере. — А разве герои мифов не могут оказывать влияние на людей? Вдумайтесь как следует в мифологию, господин Губен, и вы заметите, что самое глубокое и длительное воздействие на души производят не столько реальные, сколько воображаемые существа. Всегда и везде существа, не более реальные, чем Пютуа, внушали народам ненависть и любовь, ужас и надежду, толкали на преступления, принимали жертвы, создавали законы и нравы. Господин Губен, поразмыслите об извечной мифологии. Пютуа — мифическое лицо, правда, весьма незначительное и самого невысокого разряда. Неотесанный сатир, некогда усевшийся за стол наших северных крестьян, удостоился чести появиться на картине Иорданса и в басне Лафонтена *. Косматый сын Сикораксы * попал в дивный мир Шекспира. Пютуа не повезло, им пренебрегут художники и поэты. Ему не хватает величия и причудливости, не хватает стиля и характера. Он зародился в слишком уж рассудительных умах, в среде людей, умеющих читать и писать и совершенно лишенных той прелестной фантазии, которая повсюду сеет сказки. Я думаю, гос-

пода, сказанного уже достаточно для того, чтобы вы поняли истинную сущность Пютуа.

— Я уяснил себе это, — сказал г-н Губен.

Господин Бержере продолжал:

— Пютуа был. Могу это утверждать. Он был. Присмотритесь, господа, и вы придете к выводу, что бытие никак не предполагает субстанции, а означает лишь связь субъекта с атрибутом, выражает только чистое отношение.

— Несомненно, — сказал Жан Марто, — бытие без атрибутов — почти ничто. Не помню, кто из древних сказал: «Я тот, кто есть». Извините несовершенство моей памяти. Все запомнить невозможно. Но тот, кто говорил таким образом, был на редкость неосторожен. Своим необдуманном изречением он позволил предположить, что лишен атрибутов и стоит вне всяких отношений, — следовательно, объявил, что он не существует, и легкомысленно сам себя упразднил. Держу пари, что больше о нем никто и не слышал.

— Проиграли, — сказал г-н Бержере. — Он исправил скверное впечатление от этих эгоистических слов, снабдив себя целой кучей прилагательных, и о нем много говорили, большей частью без всякого толку.

— Не понимаю, — сказал г-н Губен.

— И незачем понимать, — ответил Жан Марто.

И он попросил г-на Бержере рассказать о Пютуа.

— Вы очень любезны, что просите меня об этом, — сказал г-н Бержере. — Итак, Пютуа родился во второй половине девятнадцатого века, в Сент-Омере. Лучше бы ему родиться на несколько столетий раньше в Арденских или Броселиандских лесах. Он был бы тогда изумительно проказливым злым духом.

— Не выпьете ли чашку чаю, господин Губен? — сказала Полина.

— Разве Пютуа был злой дух? — спросил Жан Марто.

— В какой-то степени да, но не совсем злой, — ответил г-н Бержере. — С ним было, как с чертями: ведь их считают очень злыми, но при ближайшем знакомстве обнаруживают в них кое-что доброе. Я склонен думать, что Пютуа оговорили. Госпожа Корнуйе, ко-

торая отнеслась к нему с предубеждением и сразу заподозрила, что он лентяй, пьяница и вор, поразмыслив, решила, что если моя мать, не будучи богатой, нанимала его, следовательно, он довольствуется малым, и подумала, не выгоднее ли будет и ей самой нанять Пютуа вместо ее постоянного садовника, человека с хорошей репутацией, но и с большими требованиями. Наступило время подрезать тисы. Она рассчитала, что если жена Элуа Бержере платит, по своей бедности, немного, то она, госпожа Корнуйе, при своем богатстве будет давать Пютуа еще меньше — ведь богатые всегда платят меньше, чем бедные. Ей уже представлялось, как ее тисы будут подстрижены под шпалеры или в виде шаров и пирамид — и стоять это будет пустяки. «Я уж присмотрю, чтобы Пютуа не шатался без дела и не приворовывал, — размышляла она. — Ничем я не рискую, а только выгадаю. Эти бродяги иной раз работают лучше, чем честные работники». Придя к такому выводу, она сказала моей матери: «Милочка, пришлите мне Пютуа. Я ему дам работу в «Усладе». Мама обещала. Она охотно выполнила бы свое обещание. Но, что поделаешь, это было невозможно. Госпожа Корнуйе ждала, ждала к себе Пютуа — и все напрасно. Была она особой настойчивой и не любила отказываться от своих замыслов. При встрече с моей матерью она пожаловалась, что о Пютуа ни слуху ни духу. «Вы, душенька, значит, не сказали ему, что я его жду?» — «Как же, сказала! Но он такой странный, такой чудак...» — «Ох, знаю я этих людей. Прекрасно представляю себе вашего Пютуа. Но найдется ли такой полоумный, который отказался бы от работы в «Усладе»? Мой дом, кажется, хорошо известен. Пютуа, конечно, явится ко мне, и явится тотчас же, моя милая. Скажите мне только, где он квартирует; сама съезжу и его отыщу». Мама ответила, что не знает, где он живет, и неизвестно, есть ли у него угол, всего верней — у него ни кола, ни двора. «Его уже давно не видно, бабушка. Мне думается, что он скрывается». Ну можно ли было сказать удачнее!

Однако госпожа Корнуйе слушала уже с некоторым недоверием; она заподозрила подвох: не прячут ли от

нее Пютуа, боясь, что она его совсем перетянет отсюда или слишком избалуует? Она сочла нашу маму исключительной эгоисткой. Сколько общепринятых суждений, освещенных историей, обоснованы ничуть не больше.

— Признаться, это верно, — заметила Полина.

— Что верно? — спросила Зоя, слегка уже задремавшая.

— Что суд истории часто бывает ошибочным. Мне вспомнилось, папа, как ты однажды сказал: «Госпожа Ролан * была крайне наивна, взывая к беспристрастному потомству и не учитывая того, что если ее современники — отвратительные обезьяны, то их потомки тоже будут отвратительными обезьянами».

— Полина, — строго обратилась к ней мадемуазель Зоя, — что общего у истории Пютуа с тем, о чем ты тут рассказываешь?

— Очень много общего, тетя.

— Я не улавливаю...

Господин Бержере, отнюдь не противник отступлений, сказал дочери:

— Если бы любая несправедливость устранялась в конце концов в этом же мире, воображение людей никогда не создало бы другого, лучшего мира, где нет несправедливости. Можно ли требовать от потомства правильного суждения об усопших? Как расспросить тех, кто исчез во мраке? К тому времени, когда можно справедливо судить о них, они уже бывают позабыты. Но возможно ли вообще справедливое суждение? И что такое справедливость?.. Госпожа Корнуйе по крайней мере была вынуждена в конце концов признать, что мама ее не обманывает и что найти Пютуа невозможно.

Но от розысков она все-таки не отказалась. Она спрашивала о нем своих родственников, друзей, соседей, слуг и разносчиков. Только двое-трое ответили, что никогда о нем не слыхали. Всем остальным казалось, что они его знают. «Слышала я эту фамилию, — сказала кухарка, — а какой он из себя, не помню». — «Пютуа! — повторил железнодорожный обходчик, почесывая затылок, — ну, еще бы, знаю его, а вот кто он, не могу сказать». Самые точные сведения дал приемщик Управления по налоговым сборам, заявив, что нанимал

Пютуа и тот колот ему дрова с девятнадцатого по двадцать третье октября, в год появления кометы *.

Однажды утром госпожа Корнуйе, вся запыхавшаяся, влетела в кабинет к моему отцу: «Только что видела Пютуа». — «Ну?» — «Да, видела». — «Вы полагаете?» — «Уверена. Он крался вдоль забора господина Таншана. Потом свернул на улицу Аббатис. Он шел быстро, и я потеряла его из виду». — «Но он ли это?» — «Несомненно. Человек лет пятидесяти, худой, сутулый, по виду бродяга, в грязной блузе». — «Действительно, — сказал отец, — все приметы сходятся». — «Вот видите! К тому же я его окликнула. Я закричала: «Пютуа!», и он обернулся». — «Средство, применяемое сыскной полицией для опознания злоумышленников», — сказал отец. «Уверю вас, что это он!.. Все-таки я сумела найти вашего Пютуа. Что говорить! Личность подозрительная. Вы с женою очень неосторожно поступили, нанимая его к себе на работу. Я хорошо разбираюсь в лицах и, хотя видела его только со спины, могу ручаться, что он вор, может быть даже убийца. Уши у него совсем плоские, а это примета верная». — «О! Вы заметили, что у него плоские уши?» — «От меня ничто не ускользнет. Дорогой господин Бержере, если вы не хотите, чтобы вас с женою и детьми зарезали, не пускайте к себе больше этого Пютуа. И вот вам совет: смени-те все замки».

Спустя несколько дней случилось, что у госпожи Корнуйе украли на огороде три дыни. Так как вора найти не удалось, она заподозрила Пютуа. В «Усладу» вызвали жандармов, и они своими рассказами подтвердили подозрения госпожи Корнуйе. Шайки воров опустошали в ту пору местные сады. Но эту кражу, видимо, совершил один человек, и притом на редкость ловко. Никаких вещественных доказательств, ни единого следа на влажной земле. Вором мог быть только Пютуа. Это явствовало из заключения жандармского унтера, немало знавшего о Пютуа и собиравшегося поймать-таки эту птицу.

Сент-Омерская газета посвятила трем дыням госпожи Корнуйе целую статью и, на основании собранных в городе справок, опубликовала приметы Пютуа.

«У него, — сообщала газета, — низкий лоб, глаза разного цвета, бегающий взгляд, морщинки на висках, выдающиеся скулы, красные и лоснящиеся. Плоские уши. Худой, сутуловатый, тщедушный с виду, а на самом деле удивительно сильный, он легко двумя пальцами гнет монету в сто су».

Имеются веские основания, утверждала газета, приписывать ему немало краж, причем совершены они поразительно ловко.

Весь город говорил о Пютуа. Потом прошел слух, что он арестован и сидит в тюрьме. Вскоре выяснилось, что за него приняли какого-то книгоношу по фамилии Ригобер. За отсутствием улик, этого человека освободили после четырнадцати месяцев предварительного заключения. Пютуа так и не могли обнаружить. У госпожи Корнуйе случилась новая кража, еще более наглая, чем первая. Из буфета пропали три серебряных ложечки.

Она узнала в этом руку Пютуа, велела навесить цепь на дверь своей спальни и лишилась сна.

III

В десять часов Полина ушла к себе в комнату, и мадемуазель Бержере сказала брату:

— Не забудь рассказать, как Пютуа соблазнил кухарку госпожи Корнуйе.

— Я уже думал об этом, — ответил сестре г-н Бержере, — это самое интересное место, и его никак нельзя пропустить. Но рассказывать надо все по порядку. Полиция усердно разыскивала Пютуа и не находила. Когда заговорили о том, что он неуловим, для каждого стало делом чести найти его; хитрецам это удавалось. А так как в Сент-Омере и его окрестностях хитрых людей хоть отбавляй, то Пютуа видели в одно и то же время и на улице, и в поле, и в лесу. Таким образом возникла еще одна черта его личности. Ему приписали дар быть вездесущим, что обычно свойственно народным героям. Человек, способный мгновенно преодолевать любое пространство и появляться там, где его

меньше всего ждут, действительно пугает. Пютуа стал пугалом в Сент-Омере. Госпожа Корнуйе, глубоко убежденная, что Пютуа своровал у нее три дыни и три чайных ложки, жила в постоянном страхе, забаррикадировавшись у себя в «Усладе». Засовы, решетки, замки — все казалось ей ненадежным. Пютуа был в ее представлении ужасающе неуловимым существом, проходящим сквозь запертые двери.

Одно событие в доме удвоило ее страх. Кто-то соблазнил кухарку, и та уже больше не могла это скрывать, только упорно отказывалась назвать соблазнителя.

— Ее звали Гудулой, — сказала Зоя.

— Ее звали Гудулой, и все считали, что от опасностей любви эту женщину охраняет ее борода, довольно длинная и раздвоенная. Внезапно выросшая борода когда-то действительно послужила охраной девственности для святой королевской дочери *, которую так почитают в Праге. Добродетели Гудулы не оберегла даже ее многолетняя борода. Госпожа Корнуйе потребовала от Гудулы назвать того, кто воспользовался ее слабостью и затем бросил ее. Гудула пролиwała потоки слез, но молчала. Не помогли ни просьбы, ни угрозы. Госпожа Корнуйе произвела сложное и тщательное расследование. Прибегая ко всяким хитростям, она долгое время расспрашивала соседей, соседок, разносчиков, железнодорожного сторожа и полицейских, но ничто не наводило ее на след виновного. Снова попыталась она добиться признания Гудулы: «Для вас же лучше, Гудула, сказать, кто это». Гудула молчала. Вдруг госпожу Корнуйе осенило: «Пютуа!» Кухарка плакала и не отвечала. «Это — Пютуа! Как я раньше не догадалась? Это — Пютуа! Ах, несчастная, несчастная!»

И госпожа Корнуйе осталась при убеждении, что Пютуа — отец кухаркиного ребенка. Все в Сент-Омере, от председателя суда до собачонки фонарщика, прекрасно знали Гудулу и ее корзинку. Весть о том, что Пютуа ее соблазнил, изумила, восхитила и развеселила весь город. Пютуа стяжал славу наподобие чемпиона по кеглям или соблазнителя одиннадцати тысяч дев. Самых незначительных поводов оказалось достаточно,

чтобы признать его отцом нескольких ребят, которые появились на свет в том же году, хоть смело могли и не появляться, принимая во внимание, что за удовольствие ожидало их в жизни и что за радость доставило матерям их рождение. Среди его жертв называли служанку трактирщика Марешаля из «Свидания рыбаков», разносчицу хлеба и маленькую горбунью, только разочек поговоривших с Пютуа и уже за получивших себе младенца. «Чудовище!» — восклицали кумушки.

А Пютуа, незримый сатир, угрожал в Сент-Омере непоправимыми бедами всему молодому женскому населению, хотя старожилы не помнят, чтобы когда-либо прежде здешние женщины проявляли склонность к беспокойным порывам.

Распространив таким образом свою деятельность на город и его окрестности, Пютуа по-прежнему множеством невидимых нитей был связан с нашим домом. Он проходил мимо нашей двери и, как полагали, иногда перелезал через ограду нашего садика. В лицо мы его никогда не видели. Но мы постоянно узнавали его тень, голос, следы его ног. Не раз, в сумерки, мы как будто видели его спину где-нибудь на повороте дороги.

С моей сестрою и со мной он держался несколько по-особому. Все такой же скверный и зловерный, с нами он становился ребячливым и очень наивным. Он делался менее обыденным и, смею думать, более поэтичным. Он входил в круг простодушных детских представлений. То это был людоед, то рождественский дед или песочный человек, приходящий по вечерам к детям, чтобы запорошить им глаза. Это не был домовой, по ночам озорующий в конюшне и связывающий хвосты жеребят; но, не обладая чисто деревенским складом и очарованием домового, он был такой же проказник и подрисовывал чернильные усы куклам моей сестры. Лежа в своих кроватках, мы, перед тем как заснуть, прислушивались к нему: он вопил на крыше с котами, лаял с собаками, наполнял вздохами подполье, подражал на улице пению загулявших пьяниц.

Пютуа стал нам близок и постоянно был у нас на уме, потому что о нем говорили все окружающие нас

предметы. Зоины куклы, мои школьные тетрадки, в которых он так часто спутывал и пачкал страницы, садовая ограда, над которой по вечерам как будто светились красные угольки его глаз, голубая фаянсовая ваза, разбитая им как-то зимней ночью, если только она просто не раскололась от мороза; деревья, улицы, скамейки — все напоминало нам Пютуа, нашего Пютуа, детского Пютуа, существо домашнее и мифическое. Если говорить об изяществе и поэтичности, то ему было далеко и до самого тупого сатира, до самого неповоротливого фавна Сицилии или Фессалии. Но что ни говори, он был полубог.

Другим представлялся Пютуа нашему отцу: для него он был символичным и философичным.

Отец испытывал большую жалость к людям. Но особога ума он у них не находил, и их заблуждения, если они не были жестокими, забавляли и смешили его. Вера в Пютуа заинтересовала его, как наглядный образец и обобщение всех человеческих верований. Любитель поиронизировать, насмешник, он говорил о Пютуа, как о вполне реальной личности. И подчас говорил так убедительно, с такими подробностями, что удивленная мама простодушно спрашивала его: «Кажется, друг мой, ты говоришь совершенно серьезно, но ты же знаешь...»

Он важно отвечал: «Весь Сент-Омер верит в существование Пютуа. Плохим бы я был гражданином, если бы пошел против этого. Надо трижды подумать, прежде чем посягнуть на малейшую частицу общих верований».

Подобную щепетильность мог проявлять только исключительно порядочный человек. По сути, отец был последователем Гассенди *. Свое личное мнение он согласовывал с мнением общественным, веря, как и все сент-омерцы, в существование Пютуа, и только не соглашался признать его прямое участие в краже дынь и обольщении кухарок. Иначе говоря, он соглашался с тем, что есть какой-то Пютуа, дабы быть хорошим сент-омерцем, и обходился без Пютуа при объяснении городских происшествий. В данном случае, как и всегда, он поступал и умно и корректно.

Что касается мамы, то она немного корила себя за выдумку о Пютуа, и не без оснований. Ведь Пютуа по-

рожден был ее ложью, так же как Калибан порожден был ложью поэта. Конечно, эти проступки сравнивать нельзя, и моя мать повинна меньше, чем Шекспир. И все-таки она была испугана и смущена, видя, как ее невинная ложь стала безмерно расти, как ее вздорная выдумка, стяжав такой чудовищный успех, молниеносно распространилась по всему городу и грозила распространиться на целый мир. Как-то раз она даже побледнела, боясь, что ее измышление сейчас воочию предстанет перед ней. В тот день новая служанка, взятая из других мест, вошла в комнату и сказала, что какой-то человек спрашивает барыню. Он говорит, что пришел по делу. «Кто он такой?» — «Человек в блузе, с виду батрак». — «Он назвал себя?» — «Да, барыня». — «Ну! Как же его зовут?» — «Пютуа». — «Он вам сказал, что его зовут...» — «Пютуа, барыня». — «Он здесь?» — «Да, барыня. Ждет на кухне». — «Вы его видели?» — «Да, барыня». — «Что ему надо?» — «Он мне сказал, что скажет только барыне». — «Пойдите спросите еще раз».

Когда служанка вернулась на кухню, Пютуа там уже не было. Эта встреча прибывшей издалека служанки с Пютуа так и осталась загадкой. Но с того дня, думается мне, мама готова была поверить, что, возможно, Пютуа и в самом деле существовал и что она никого не обманула.

РИКЕ

*Ж.-А. Куланжону **

Окончился срок найма, и г-н Бержере с сестрой и дочерью собрался переезжать из старого обветшавшего дома на Сенской улице во вполне современную квартиру на улице Вожирар. Так решили Зоя и судьба. Пока тянулись долгие часы переезда, Рике грустно бродил по опустошенной квартире. Рушилось все, к чему он был так привязан. Незнакомые люди, плохо одетые, переругивающиеся и злые, смущали его покой и добивались даже до кухни, задевая ногами его тарелку для овсянки и чашку с чистой водой. Стулья забирали, едва только он на них укладывался, а ковры грубо выдергивали из-под его бедного задика, которому в собственном доме некуда уже было деваться.

Отметим, к чести Рике, что сначала он пытался протестовать. Как только стали уносить ушат, Рике яростно залаял на врага. Но никто не явился на его призыв. Он не чувствовал никакой поддержки, и даже, это несомненно, домашние оказались против него. Мадемуазель Зоя сухо сказала «Замолчи, наконец», а мадемуазель Полина добавила: «Рике, ты смешон!»

Он отказался тогда от бесполезных предупреждений и от борьбы в одиночку за общее благо, только молча оплакивал разруху в доме и тщетно, то в одной, то в другой комнате, искал хоть немножко покоя. Когда рабочие проникали туда, где он обретал себе убежище,

он прятался от опасности под стол или под комод, еще стоявшие на месте. Но эта предосторожность оказывалась скорее вредной для него, чем полезной, так как мебель вдруг приходила в движение, поднималась над ним, снова сердито опускалась, грозила его раздавить. Он убегал, испуганный, со взъерошенной шерстью, и отыскивал себе другое убежище, такое же ненадежное, как первое.

Но эти неудобства, даже опасности — были ничто по сравнению с тем, как больно было его сердцу. Страдал он, как говорится, не столько физически, сколько морально.

В его представлении все предметы обихода были не просто вещи, а одухотворенные и благожелательные существа, исчезновение которых предвещало жестокие несчастья. Блюда, сахарницы, кастрюли и сковородки — все божества кухни; кресла, ковры, подушки — все фетиши семейного очага, его лары и домашние боги, вдруг ушли. Столь огромное бедствие представлялось ему совершенно непоправимым. И это причиняло ему столько горя, сколько могла вместить его маленькая душа. К счастью, как и человеческую душу, ее легко было отвлечь, и она скоро забывала свои горести.

Во время продолжительных отлучек упаковщиков, то и дело чувствовавших приступы жажды, веник старой Анжелики подымал стародавнюю пыль, скопившуюся в углах, и Рике вдыхал тогда запах мышей, следил за убежавшим пауком, — его легковесная мысль была этим вполне занята. Но вскоре его снова охватывала тоска.

В день отъезда, видя, что все час от часу только ухудшается, он впал в совершенное отчаяние. Особенно зловещим показалось ему то, что стали упрячивать белье в какие-то темные ящики. Полина торопливо и весело складывала в корзину свои платья. Он отвернулся от нее, как будто она делала скверное дело. И, носом к стене, размышлял: «Вот наступило самое худшее! Конец всему!» Полагал ли он, что вещи не существуют, если на них не глядишь, или просто хотел избежать тягостного зрелища, но он старался не смотреть в сторону Полины. Случаю было угодно, чтобы, ходя

взад и вперед по комнате, она заметила позу Рике. Поза была печальной. Ей она показалась уморительной, и она засмеялась. И, смеясь, позвала его: «Поди сюда! Рике, сюда!» Но он не шевельнулся в своем углу и не повернул головы. Ему было совсем не до того, чтобы ласкаться к молодой хозяйке, и к тому же, в силу какого-то тайного инстинкта, своего рода предчувствия, он боялся подойти к зияющей корзине. Полина позвала его еще несколько раз. И так как он не отзывался, подошла к нему, взяла его на руки и высоко подняла. «Какие же мы несчастные! — сказала она. — Какие жалкие!» В ее голосе звучала ирония. Рике иронии не понимал. Он висел у нее на руках, неподвижный, угрюмый, и притворялся, что ничего не видит и не слышит. «Рике, посмотри на меня!» Она трижды приказывала ему это — и все напрасно. Тогда, изображая страшный гнев, со словами: «Исчезни, глупое животное!» — она бросила его в корзину и захлопнула крышку. В эту минуту ее позвала тетя, она вышла из комнаты и оставила его в корзине.

Обеспокоен он был ужасно. Ему и в голову не приходило, что это только игра и запрятали его сюда шутки ради. Считая свое положение и без того достаточно трудным, он побоялся осложнить его какой-нибудь неосторожностью. И несколько мгновений лежал неподвижно, затаив дыхание. Затем рассудил, что не бесполезно обследовать темницу. Он ощупал лапами юбки и блузки, на которые его так безжалостно швырнули, и стал разыскивать выход из столь страшного места. Он усердно занимался этим уже две или три минуты, как вдруг г-н Бержере, собираясь идти из дому, позвал его:

— Сюда, Рике, сюда! Пойдем пройдемся по набережной. Вот истинно великолепное место. Там теперь выстроили пристань, не знающую себе равной по безобразию, поразительную по своему уродству. Архитектура нынче — погибшее искусство. Ломают дом на углу улицы Бак, а выглядел он прекрасно. Вместо него, конечно, возведут какое-нибудь гнусное строение. Хоть бы наши архитекторы не касались по крайней мере набережной д'Орсэ и не лезли туда со своим варварским стилем, чудовищный образец которого они по-

казали на углу Елисейских полей и улицы Вашингтона!.. Сюда, Рике!.. Погуляем по набережным. Вот истинно великолепные места. Но архитектура много сдала со времен Габриэля и Луи... * Где же пес? Рике!.. Рике!..

Голос г-на Бержере сильно подбодрил Рике. В ответ он неистово заскребся в ивовую плетеную стенку.

— Где пес? — спросил г-н Бержере входившую со стопкой белья Полину.

— Он в корзине, папа.

— Как так в корзине! Почему он там?

— Глуп был, — ответила Полина.

Господин Бержере освободил своего приятеля. Рике, виляя хвостом, шел за ним до передней. Вдруг в его мозгу мелькнула какая-то мысль. Он побежал обратно, бросился к Полине, прижался к ее ногам и, лишь после того как бурно выразил ей свое обожание, понесся догонять хозяина, уже бывшего на лестнице. Не выразить своей любви хозяйке, могущество которой погрузило его в недра корзины, видимо, означало для него погрешить против мудрости и религии.

На улице г-ну Бержере и его псу представилось не веселое зрелище их домашнего скарба, разложенного на тротуаре. Упаковщики засиделись в соседнем кабачке, а тем временем зеркальный шкаф мадемуазель Зои отражал вереницу прохожих — рабочих, учеников художественного училища, девиц, торговцев, подводы, фиакры, фургоны, а также аптечную витрину со стеклянными шарами и змеями Эскулапа. Прислоненный к тумбе, г-н Бержере-отец бледно улыбался в своей рамке тонкой улыбкой, а волосы у него были словно откинута ветром. Г-н Бержере с почтением и нежностью посмотрел на отца и убрал портрет с тротуара. В более надежное место поставил он и кругленький столик Зои, который будто застыдил, очутившись на улице.

Между тем Рике, толкая передними лапами хозяина, глядел ему в лицо чудесными печальными глазами, и взгляд его говорил: «Неужели ты, еще недавно такой богатый и могущественный, теперь обеднел? Неужели, о господин мой, ты теперь слаб? Ты позволяешь грязному мужичью вторгаться в твою гостиную, в твою

спальню и столовую, накидываться на твою мебель и выносить ее из дому, тащить по лестнице твоё глубокое кресло, наше с тобой кресло, в котором мы вместе отдыхали каждый вечер, а часто и по утрам. Я слышал, как в руках этих оборванцев стонало это кресло, кресло, представляющее собой великий фетиш и нашего духа-покровителя. Ты не воспротивился этим захватчикам. Если у тебя нет больше добрых гениев, прежде наполнивших твоё жилище, если ты лишился даже тех маленьких божеств, что ты надевал по утрам, вставая с постели, этих туфель, которые я любил покусывать, играя, если ты теперь беден и несчастен, о господин мой, что же станет со мной?!»

МЫСЛИ РИКЕ

I

Люди, животные и камни растут, приближаясь, и становятся огромными, когда они около меня. Я же не меняюсь. Где бы я ни был, я всегда одинаково велик.

II

Когда хозяин протягивает мне под стол кусок, который он собирается отправить себе в рот, — это затем, чтобы испытать меня и покарать, если я поддамся искушению. Ибо я не могу поверить, что он готов отказать себе в чем-нибудь ради меня.

III

Запах собак — восхитителен.

IV

Хозяин согревает меня, когда я лежу в кресле за его спиной. И это потому, что он бог.

Каменная плитка пола перед камином — тоже теплая. Эта плитка — божественна.

V

Я говорю, когда хочу. Из рта моего хозяина тоже иногда исходят звуки, имеющие смысл. Но этот смысл менее ясен, чем у звуков моего голоса.

У меня все звуки осмысленны; изо рта же хозяина часто исходит бесполезный шум.

Очень трудно угадывать мысли хозяина, но это необходимо.

VI

Великолепное занятие — есть. Но еще лучше — уже съесть. Ибо враг, стерегущий тебя, чтобы схватить твой кусок, быстр и ловок.

VII

Все течет, все меняется. Один лишь я остаюсь неизменным.

VIII

Я всегда в самом центре мира, а люди, животные и вещи, враждебные или дружественные мне, расположены вокруг меня.

IX

Во сне мы видим людей, собак, дома, деревья, много красивого и страшного. А когда мы просыпаемся — все это исчезает.

X

Размышление. Я люблю своего хозяина Бержере за то, что он могуществен и страшен.

XI

Поступок, за который тебя побили, — дурной поступок. Поступок, за который тебя приласкали и накормили, — хороший поступок.

XII

Как только спускается ночь, злые духи начинают бродить вокруг дома. И я лаю, чтобы хозяин услышал и разогнал их.

XIII

Молитва. О мой Бержере, господин мой, бог, властвующий над убоиной, я обожаю тебя. Будь благословен, ужасный! Будь благословен, несравненный! Я припадаю к ногам твоим, я лижу твои руки.

Как велик и прекрасен ты, когда за накрытым столом ты пожираешь груды мяса.

Как велик и прекрасен ты, когда из тоненькой щечки извлекаешь пламя и ночь обращаешь в день. О, дай мне пребывать в доме твоём, но одному только мне из всех собак.

И ты, Анжелика, кухарка, божество прекрасное и великое, я страшусь тебя и почитаю, дабы ты давала мне обильную пищу.

XIV

Если собака не поклоняется людям и презирает святыни, хранящиеся в доме ее господина, то она влачит жизнь жалкую и бродячую.

XV

Однажды через гостиную несли треснувший кувшин, полный воды, и несколько капель брызнуло на натертый паркет. Надеюсь, этот неблаговоспитанный кувшин высекли.

XVI

Люди обладают божественной властью открывать все двери. Я же могу открыть сам только очень немногие.

Двери — это великие фетиши, которые неохотно повинуются собакам.

XVII

Жизнь собаки полна опасностей. И, чтобы избежать страданий, надо быть настороже каждую минуту — и когда ешь и когда спишь.

XVIII

Никогда не знаешь, хорошо ли ты вел себя по отношению к человеку. Надо боготворить людей, не стремясь их постигнуть. Их мудрость таинственна.

XIX

Заклинание. О Страх, Страх возвышенный и благодетельный, Страх священный и спасительный, проникни в меня, дай исполниться тобою пред лицом опасности, дабы я мог бежать от всего, что грозит нанести мне вред, ибо если я брошусь на врага, то тут же пострадаю от собственного неблагоразумия!

XX

Есть повозки — их тащат по улицам лошади. Они ужасны. Есть и другие, они бегают сами и при этом довольно сильно пыхтят. Они тоже мои враги. Люди в лохмотьях отвратительны, так же как и все те, кто носит корзины на головах или катают бочки. Я не люблю детей — гоняясь друг за другом, они бегают по улицам и слишком громко кричат.

Мир полон враждебности и опасностей.

ГАЛСТУК

*Госпоже Декори **

Господин Бержере занимался вколачиванием гвоздей в стены новой своей квартиры. Заметив, что это доставляет ему удовольствие, он начал доискиваться причин, — почему ему приятно вколачивать гвозди в стену. Он отыскал причины и потерял удовольствие. Ибо удовольствие состояло именно в том, чтобы вколачивать гвозди, не доискиваясь причин. И, продолжая размышлять о неудобствах философского склада ума, он повесил в гостиной, на месте, которое показалось ему наиболее почетным, портрет своего отца.

— Он слишком наклонился вперед, — сказала Зоя.

— Ты думаешь?

— Я в этом уверена. Так и кажется, что он сейчас упадет.

Господин Бержере укоротил бечевки у портрета.

— Он висит неровно, — сказала мадемуазель Бержере.

— Ты думаешь?

— Это сразу видно. Он накренился влево.

Господин Бержере стал поправлять.

— А теперь?

— Накренился немного вправо.

Господин Бержере сделал все, что было в его

силах, чтобы основание рамы стало, наконец, горизонтально. Затем он отступил на три шага, чтобы оценить свою работу.

— Мне кажется, теперь хорошо, — сказал он.

— Теперь действительно хорошо, — сказала Зоя. — На меня производит неприятное впечатление, когда картина висит криво.

— Это свойственно не только тебе, Зоя. Многие испытывают в таких случаях своего рода недомогание. Неправильности раздражают именно в простых геометрических фигурах, потому что тогда особенно ясно замечаешь разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть. Некоторым доставляют страдание плохо подогнанные куски обоев. Человек есть человек, то есть существо, поставленное в самые страшные, самые нестерпимые условия, и все же он способен волноваться из-за криво повешенной рамы.

— В этом нет ничего удивительного, Люсьен. Мелочи занимают большое место в жизни. Ты и сам вечно занят пустяками.

— Не первый год смотрю я на этот портрет, а не замечал того, что поразило меня сейчас, — сказал господин Бержере. — Вот только сию минуту я обнаружил, что портрет нашего отца — это портрет молодого человека.

— Но, Люсьен, ведь когда художник Гослен по возвращении из Рима писал этот портрет, отцу и было не больше тридцати.

— Это правда, сестра. Но, когда я был маленьким, мне казалось, что это портрет пожилого человека, и такое ощущение у меня оставалось все время. А сейчас оно вдруг пропало. С годами живопись Гослена потемнела; лицо и руки приняли под старым лаком янтарный оттенок; очертания словно тонут в оливковых тенях. Кажется, что лицо отца постепенно уходит в глубокую даль. Но я вижу впервые, что этот гладкий лоб, пылкие большие глаза, спокойная и чистая худоба щек, эти густые и блестящие черные волосы принадлежат совсем молодому человеку.

— Разумеется, — сказала Зоя.

— Прическа и костюм напоминают о временах его молодости. Волосы, словно откинутые ветром. Высокий темно-зеленый воротник, нанковый жилет и широкий галстук из черного шелка, трижды обертывающий шею.

— Лет десять тому назад еще можно было видеть стариков в подобных галстуках, — заметила Зоя.

— Как будто так, — сказал г-н Бержере. — А уж господин Малоре, конечно, никогда не носил других.

— Ты говоришь, Люсьен, о декане филологического факультета в Сент-Омере... Вот уж тридцать лет, как он умер, — нет, даже больше.

— Ему было за шестьдесят, Зоя, когда мне не было и двенадцати. И я совершил тогда неслыханно дерзкое нападение на его галстук.

— Мне кажется, — сказала Зоя, — я припоминаю эту проделку. Она не отличалась тонким остроумием.

— Нет, Зоя, нет, ты не помнишь об этом нападении. Если бы ты сохранила о нем воспоминание, ты говорила бы по-другому. Как тебе известно, господин Малоре отличался великим почтением к своей персоне и при любых обстоятельствах сохранял собственное достоинство. Как тебе известно, он тщательно исполнял все требования благопристойности. У него была воспитательная старомодная манера говорить. Однажды, когда он пригласил пообедать наших родителей, он самолично предложил нашей маме во второй раз блюдо артишоков, сказав при этом: «Еще один задочек, сударыня». Это значило поступать и говорить в соответствии с лучшими традициями учтивости и светской речи. Ибо наши предки никогда не говорили «доньшко артишока». Но словечко устарело, и мама с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Не знаю уж как, Зоя, но нам стала известна эта история с артишоками.

— Стала известна, — сказала Зоя, которая подрубила белые занавески, — потому что отец рассказал ее однажды при нас, не заметив нашего присутствия.

— И с того времени, Зоя, ты без смеха не могла видеть господина Малоре.

— Да ведь и ты тоже смеялся.

— Нет, Зоя, я не смеялся над этим. То, что заставляет смеяться других, мне не смешно, а то, отчего я

смеюсь, не смешно другим. Я много раз замечал это. Я нахожу забавное там, где никто его не находит. Я смеюсь и печалюсь шиворот-навыворот, и это часто ставит меня в дурацкое положение.

Господин Бержере поднялся на стремянку, чтобы прикрепить «Вид на Везувий ночью, во время извержения» — акварель, которая досталась ему от одного из предков с отцовской стороны.

— Но я тебе не рассказал, сестра, в чем я виноват перед господином Малоре.

Мадемуазель Зоя ответила:

— Люсьен, пока ты еще на стремянке, пристрой, пожалуйста, карнизы для оконных занавесок.

— С удовольствием, — ответил г-н Бержере. — Мы жили тогда в маленьком домике в предместье Сент-Омер.

— Кольца с винтами в ящике, поверх гвоздей.

— Вижу... В маленьком доме с садом.

— Очень красивым садом, — сказала Зоя. — Он утопал в сирени. На лужайке была маленькая терракотовая статуя, изображавшая садовника, в глубине — лабиринт и грот, отделанный мелкими камешками и ракушками, а на ограде — две большие голубые вазы.

— Да, Зоя, две большие голубые вазы. Однажды утром, летним утром, господин Малоре пришел к нам в дом, чтобы поработать над книгами, которых не было в его библиотеке и которых он не мог найти и в городской, так как она пострадала при пожаре. Отец предоставил свой кабинет в распоряжение декана, и господин Малоре устроился там. Было решено, что после сличения своих текстов он останется позавтракать у нас.

— Посмотри-ка, Люсьен, не слишком ли длинны занавески.

— С удовольствием... В то утро была удушающая жара. Даже птицы молчали в неподвижной листве. Сидя под деревом в саду, я заметил в темном кабинете спину господина Малоре и его длинные седые волосы, рассыпавшиеся по воротнику сюртука. Он не шевелился, только рука его тихонько двигалась по листу бумаги. В этом не было ничего необычного. Он писал. Но что показалось мне более странным...

— Ну, как занавески? Не коротки?

— Надо бы припустить еще пальца на четыре, моя добрая Зоя.

— Как, на четыре пальца? Дай-ка мне самой посмотреть, Люсьен.

— Смотри... Что показалось мне более странным, так это то, что галстук господина Малоре лежал на подоконнике. Декан, капитулируя перед солнцем, освободил свою шею от куска черного шелка, трижды обвинявшего ее. И длинный галстук свешивался с подоконника по обе стороны открытого окна. Меня охватило непреодолимое желание завладеть им. Я тихонько скользнул к стене, достал пальцем до галстука и потянул его; ничто не шевельнулось в кабинете; я потянул еще раз; галстук остался у меня в руке, и я тотчас побежал и спрятал его в одной из больших голубых ваз нашего сада.

— Это была не очень остроумная шутка, дорогой мой Люсьен.

— Да... Я его спрятал в большой голубой вазе и даже прикрыл его листьями и мхом. Господин Малоре еще долго работал в кабинете. Я видел его неподвижную спину и длинные седые волосы, рассыпавшиеся по воротнику сюртука. Затем няня позвала меня завтракать. Когда я вошел в столовую, самое невероятное зрелище представилось моим глазам. Я увидел рядом с отцом и матерью господина Малоре, важного, спокойного — и без галстука! Он сохранял свою обычную благородную осанку. Он был почти величествен. Но он был без галстука. И именно это казалось мне крайне удивительным. Я знал, что галстук не может быть у него на шее, поскольку лежит в голубой вазе. И все же я был в высшей степени изумлен, видя его без галстука. «Я не могу постичь, сударыня...» — говорил он вполголоса маме... Она перебила его: «Муж даст вам один из своих, дорогой господин Малоре».

И я подумал: «Я спрятал его галстук, чтобы пошутить, а он не нашел его всерьез». И я удивлялся.

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ В МОНТИЛЕ

*Октаву Мирбо **

Действия были начаты, все обстояло прекрасно. По распоряжению генерала Южной армии Декюира, занявшего со своей бригадой выгодную позицию под деревьями Сен-Коломбана, в десять часов утра была произведена блестящая рекогносцировка, которая установила, что противника нет и в помине. После этого кавалеристы поели супу, а генерал, оставив свою свиту в Сен-Люшере, сел с капитаном Варно в пришедший за ними автомобиль и отправился в Монтильский замок, куда баронесса де Бонмон пригласила его к завтраку. Деревня Монтиль была разукрашена. При въезде в парк генерал увидел воздвигнутую в его честь высокую триумфальную арку, всю в флагах, военных трофеях и дубовых ветках, перевитых ветвями лавра.

Баронесса де Бонмон встретила генерала на крыльце замка и провела его в огромный оружейный зал, весь сверкающий железом,

— У вас великолепная резиденция, сударыня, и в прекрасной местности, — сказал генерал. — В этих местах мне часто доводилось охотиться, особенно у де Бресе, где я имел удовольствие встретить, если не ошибаюсь, вашего сына.

— Вы не ошибаетесь, — сказал Эрнест де Бонмон, который подвез генерала из Сен-Люшера. — Ну и скучища у этих Бресе, — неопикуемая!

Завтрак был совершенно интимным. Кроме генерала, капитана, баронессы и ее сына, присутствовали г-жа Вормс-Клавлен и Жозеф Лакрис.

— Совсем как на войне! — сказала г-жа де Бонмон, усаживая генерала по правую руку от себя за стол, который был украшен цветами и статуэткой северского неглазурованного фарфора, изображавшей Наполеона на коне.

Генерал окинул взглядом длинную галерею, увешанную прекраснейшими из ковров Ван Орлея.

— Кажется, обширный замок?

— Генерал, пожалуй, мог бы привести с собою всю бригаду, — сказал капитан.

— Я была бы счастлива принять ее, — ответила баронесса улыбаясь.

Беседа была простой, спокойной и сердечной. Из чувства такта о политике не говорили. Генерал был монархистом. Он не упоминал об этом, но все это знали. Он был совершенно корректен. Двое его сыновей были задержаны во время избрания президента Лубе, когда они кричали на бульварах: «Панама!»; * что же касается его самого, то он вел себя всегда осторожно. Говорили о лошадях и пушках.

— Новая семидесятипятимиллиметровая — просто прелесть, — сказал генерал.

— И не налюбуйтесь легкостью, с какой регулируется стрельба. Это поистине чудо, — подхватил капитан Варно.

— А когда она в действии, — заметила г-жа Вормс-Клавлен, — то благодаря остроумному новому устройству крышки зарядных ящиков служат прикрытием для прислуги.

Все восхищались военными познаниями супруги префекта.

Оценили и нравственный облик г-жи Вормс-Клавлен, когда она завела речь о Бельфейской божьей матери.

— Вы представляете, генерал, в нашем департаменте, в том же Бресе, есть чудотворная статуя святой девы.

— Наслышан, наслышан, — ответил генерал.

— Аббат Гитрель еще до назначения епископом очень интересовался чудесными явлениями божьей матери Бельфейской, — продолжала г-жа Вормс-Клавлен. — Он даже написал книжку, в которой доказывает, что божья мать Бельфейская — покровительница французского оружия.

— С удовольствием прочитал бы, — сказал генерал. — Где ее достать?

Госпожа Вормс-Клавлен обещала прислать книгу.

Словом, за столом не прозвучало ничего, что могло бы дать повод к недоразумениям. После завтрака вышли прогуляться в парк.

Капитан Варно откланялся.

— Капитан, пусть моя свита ждет меня в Сен-Люшере, — распорядился генерал.

И, обернувшись к Лакрису, заметил:

— Большие маневры — это картина войны, однако неточная картина, поскольку здесь все предусмотрено, тогда как война полна неожиданностей.

— Генерал, не хотите ли посмотреть фазаний двор? — спросила г-жа де Бонмон.

— Охотно, сударыня.

Она обернулась.

— А ты пойдешь, Эрнест?

Эрнеста задержал в дверях добрейший Ролен, монтильский мэр.

— Прошу прощения, господин барон. Замолвите словечко генералу Декюиру, нельзя ли при случае пустить артиллерию по холму Сен-Жан, где мое люцерновое поле.

— Стало быть, ваша люцерна не так уж хороша, Ролен, если вы хотите, чтоб ее потравили?

— Напротив! Напротив! Она превосходна. В будущем месяце я сниму прекрасный урожай... Но ведь и возмещение за потраву не пустяк! В прошлый раз его получил этот Уссьо. Разве не справедливо, чтобы теперь получил я? Ведь я мэр, у меня куча общественных

обязанностей, — стало быть, по справедливости, когда представляется такой случай...

Генерала проводили на фазаний двор.

— Мне пора возвращаться в свою бригаду, — сказал он.

— О! — воскликнул маленький барон. — Мои «тридцать лошадиных сил» не подкачают.

Зашли на псарню, в конюшни, в сад.

— Великолепные розы! — сказал генерал, который обожал цветы.

В ароматном воздухе прокатились отголоски оружейного грома.

— Эти торжественные звуки радуют сердце, — сказал Лакрис.

— Как звон колоколов, — откликнулась г-жа Вормс-Клавлен.

— Вы истинная француженка, сударыня, — сказал генерал. — Ваши речи свидетельствуют о патриотизме чистойшей воды.

Было четыре часа. Генерал не мог задерживаться более ни минуты. К счастью, «тридцать лошадиных сил» действительно не подкачали.

С маленьким бароном, Лакрисом и шофером генерал уселся в машину и опять проехал под триумфальной аркой, воздвигнутой в его честь.

Спустя сорок минут они были в Сен-Люшере. Но не обнаружили здесь генеральской свиты. Все четверо напрасно искали капитана Варно. Деревня опустела. Ни одного солдата. Какой-то мясник, проезжавший в своей повозке, на вопрос, где бригада Декюира, ответил:

— Поищите-ка на Каньинском шоссе. Только что слышали пушку со стороны Каньи. Здорово гремела.

— А как попасть в это Каньи? — спросил генерал.

— Не беспокойтесь, я знаю, — сказал маленький барон. — Я вас доведу.

И так как поездка обещала несколько затянуться, он дал генералу пыльник, фуражку и очки.

Они устремились по департаментской дороге, миновали Сент-Андре, Вильнев, Летаф, Сен-Порсен, Трюфем, Миранж и, наконец, увидели Каньинский пруд, весь бронзовый от заходящего солнца. На шоссе они

повстречали драгунов Северной армии, которые не знали, где бригада Декюира, но зато сообщили, что войска Южной армии направлены в Сен-Полен.

Сен-Полен находился в сорока пяти километрах по пути к Монтилю.

Автомобиль сделал поворот, снова выбрался на департаментскую дорогу, проехал Миранж, Трюфем, Сен-Порсен, Летаф, Вильнев и Сент-Андре.

— Прибавьте скорость, — скомандовал маленький барон.

Машина проскочила Верри-ле-Фужере, Сютьер и Рари-ля-Виконте, поднимая на улицах облако пыли, вставшей золотым ореолом, и давя кур и свиней. А в двух километрах от Сен-Полена ей встретились сторожевые посты Южной армии, которые охраняли Ля Соле, Мевиль и Ле Сурдэ. Здесь им сообщили, что вся Северная армия находится на другом берегу Илетты.

Они направились на Торси-ля-Миранд, чтобы выехать к реке у Вье-Бака.

После часа езды, когда в вечернем сумраке уже забелел по лощинам зыбкий туман, маленький барон сказал:

— Черт возьми! Проехать нельзя, мост через Илетту разрушен!

— Как! — вскричал генерал, — мост через Илетту разрушен? Да что вы такое выдумываете? Мост разрушен!

— Конечно, генерал! Но, как положено на маневрах, он разрушен условно.

Генерал Декюир не любил злых шуток.

— Вы не лишены остроумия, молодой человек, — сказал он с досадой.

У Вье-Бака они с громоуханием проехали по железному мосту и выбрались на древнюю римскую дорогу, которая связывает Торси-ля-Миранд с главным городом департамента. В небе близ полумесяца разгоралась серебристым огнем Венера. Они сделали около тридцати километров, не встретив войск. У Сент-Эвариста попался ужасный подъем. Машина закричала, как усталое животное, но не остановилась. На спуске она запрыгала по камням и чуть было не опрокинулась

в канаву. Дальше дорога была отличная вплоть до Мальманша, куда они прибыли ночью во время тревоги.

Небо блистало звездами. Играли горны. На голубой дороге большие фонари разведали космы рыжеватого света. Пехотинцы выбегали из домов. Жители прилипли к окнам.

— Эти операции хотя и условны, но весьма эффективны, — заметил Лакрис.

Генерал узнал, что его бригада занимает Вильнев, на левом фланге победоносной армии. Враг отступал повсюду.

Вильнев расположен на слиянии Илетты и Клены, в двадцати километрах от Мальманша.

— На Вильнев! — сказал генерал. — Теперь хоть знаем, где искать. И то хорошо!

Дорога на Вильнев была запружена пушками, зарядными ящиками и сонными артиллеристами в длиннополых шинелях, — так что автомобиль с трудом прокладывал себе путь сквозь это скопище. Маркитанка, восседавшая на своей повозке, освещенной китайскими фонариками, окликнула автомобилистов, предлагая им кофе и ликеры.

— Как тут отказаться! — промолвил генерал. — При этих передвижениях мы изрядно наглотались пыли.

Они выпили по рюмке и продолжали путь, пока не достигли Вильнева, который оказался занятым пехотой.

— А моя бригада? — воскликнул встревоженный генерал.

Предчувствуя недоброе, они обратились к встречным офицерам. Но о бригаде Декюира не было никаких известий.

— Как! Никаких известий? Ее нет в Вильневе? Это непостижимо!

Вдруг где-то над ними прозвенел колокольчиком женский голос:

— Господа...

Они взглянули вверх и увидели в окне утыканную папильотками голову почтовой кассирши.

— Господа, есть два Вильнева. Это Вильнев-на-Клене. Может быть, вам нужен Вильнев-ля-Батайль?

— Может быть, — сказал молодой барон.

— Тогда это далеко, — сказала кассирша. — Вам надо сначала ехать в Монтиль... Вы знаете Монтиль?

— Да, — ответил маленький барон, — мы знаем Монтиль.

— Затем вы поедете к Сен-Мишель-дю-Мон, свернете на национальную дорогу и...

Из соседнего дома с золочеными табличками на дверях высунулась голова в платке, образующем над нею два рога.

— Господа...

И нотариус Вильнева-на-Клене подал свой совет:

— В Вильнев-ля-Батайль вы лучше всего попадете через Тонгский лес. Поезжайте в Круа-дю-Перрон, сверните направо...

— Все понятно. Я знаю Тонгский лес, — сказал маленький барон, — я охотился там с Бресе... Благодарю вас, сударь... Благодарю, сударыня.

— Не за что, — сказала кассирша.

— К вашим услугам, господа, — сказал нотариус.

— Не заехать ли в трактирчик пососать коктейля? — предложил маленький барон.

— Не худо бы и подзакусить, — добавил Лакрис — Я изнемогаю.

— Чутьочку терпения, господа, — ответил генерал. — Подождем до Вильнев-ля-Батайля.

И они пустились в путь. Пересекли Вели, Ля Рош, Ле Соль, Мелет, Ля Тайери и въехали в Трамбльский лес. Яркий свет бежал впереди автомобиля сквозь сумрак ночи и лесную тень. Вот Круа-дю-Перрон, потом — перекресток короля Генриха. Они мчались неудержимо среди тишины и безлюдья.

На пути им попадались олени, мерцали огоньки в хижинах угольщиков. Внезапно на пустынной просеке они вздрогнули от зловещего звука — как будто от выстрела. Автомобиль занесло и ударило о дерево.

— Что такое? — спросил опрокинувшийся генерал.

Лакрис охал, распростертый на ложе из папоротника.

Эрнест, вооруженный фонарем, сообщил мрачным голосом:

— Шина лопнула... А что самое скверное, — погнут передний мост!

ЭМИЛЬ

Мадемуазель Бержере молчала. Она улыбнулась, что было для нее необычно.

— Почему ты смеешься, Зоя? — спросил г-н Бержере.

— Я думаю об Эмиле Венсене.

— Как, Зоя! Ты думаешь об этом чудесном человеке, который недавно умер, которого мы так любили, которого мы оплакиваем — и ты смеешься?!

— Я улыбнулась потому, что снова вижу его перед собою — таким, каким он был когда-то давным-давно, а ведь старые воспоминания — самые сильные. Ты должен бы, однако, знать, Люсьен, что не все улыбки радостны — как и не все слезы печальны... И надо же, чтобы старая дева тебе это объясняла!

— Мне известно, Зоя, что смех — результат нервного напряжения. Госпожа де Кюстин, прощаясь в тюрьме со своим мужем*, приговоренным к смерти революционным трибуналом, безумно расхохоталась при виде одного заключенного, который прошел мимо нее в халате и ночном колпаке, набеленный и нарумяненный, а в руках держал подсвечник.

— Ну, это совсем другое дело, — сказала Зоя.

— Да, — ответил г-н Бержере. — Но я вспоминаю, что произошло со мной самим, когда я узнал о смерти

бедной Демэ, — той, что певала в кафешантанах веселые песенки. Это было в префектуре, на вечернем приеме. Вормс-Клавлен сказал нам: «Демэ умерла».

Я, как и все, принял это известие с подобающей скорбью. И, подумав, что никто уж больше не услышит, как эта толстая девица поет: «Я шелкаю орешки, садясь на них», — ярко ощутив всю печаль, заключенную в этих мыслях, я следил, как она стекала мне в душу капля по капле, и я молчал. Секретарь префектуры господин Лакарель проговорил густым голосом в свои галльские усы: «Демэ умерла! Какая потеря для французского веселья!» — «Об этом сообщает сегодня вечерняя газета», — отозвался судья Пилу. «Действительно, — мягко сказал генерал Картье де Шальмо. — И уверяют, что эта особа перед смертью приняла святое причастие».

При этих простосердечных словах генерала некая внезапная фантазия, странная, неуместная, пришла мне на ум. Я вообразил себе конец света — таким, как он описан в *Dies irae*, по свидетельству Давида и Сивиллы *. Я увидел мир, обращенный в пепел, я представил себе мертвецов, выходящих из могил при звуках архангельской трубы и теснящихся толпой перед престолом судии, — и среди них — толстуху Демэ, совсем голую, одесную господу бога. При этой мысли я расхохотался под удивленными взглядами гражданских и военных чиновников. Хуже всего то, что, не в силах избавиться от этого видения, я сказал, продолжая смеяться: «Вы увидите, одним своим присутствием она нарушит всю торжественность Страшного суда»... Никогда еще никакое высказывание не было так плохо понято, Зоя. Никогда никакое высказывание не было так мало одобрено!

— Что за нелепости, Люсьен. У меня таких странных фантазий не бывает. Я улыбнулась потому, что представила себе нашего бедного друга Венсена таким, каким он был при жизни, вот и все. Это вполне естественно. Мне его жаль от всего сердца. У нас не было лучшего друга.

— Я тоже очень любил его, Зоя, и мне тоже хочется улыбнуться при мысли о нем. И вот что

любопытно, — как это в таком маленьком теле заключалось столько военного жара и как при таком кругленьком и румянном лице у него могла быть столь героическая душа! Его жизнь преспокойно протекла в предместье провинциального городка. Он занимался производством щеток в Тентельри. Но ведь это не запыляло всего его сердца.

— Он был еще меньше ростом, чем дядя Жан, — проговорила мадемуазель Бержере.

— А дух в нем был военный, гражданственный и колониальный, — заметил г-н Бержере.

— Это был добрый и порядочный человек, — продолжала мадемуазель Бержере.

— Он участвовал в войне тысяча восемьсот семидесятого года, Зоя. Ему тогда было двадцать лет. Мне было только двенадцать. Он казался мне человеком преклонного возраста, величественным старцем. Однажды в «грозный год» * он ввалился, лязгая железом, в наш безмятежный провинциальный домик. Он пришел проститься с нами. На нем был ужасный костюм франтирера. Из-за ярко-красного пояса у него торчали рукоятки двух седельных пистолетов. Жизнь подстраивает шутки даже в самые трагические минуты — и вот невольная прихоть неведомого оружейника прицепила его к громадной кавалерийской сабле. Не упрекай меня, Зоя, за такой оборот речи; он имеется в одном письме Цицерона *. «Кто же, — изъясняется там оратор, — прицепил моего зятя к сему мечу?»

Так вот, в экипировке нашего друга Эмиля Венсена меня более всего поразила его огромная сабля. В моей детской душе возникла надежда на победу. Ты, Зоя, кажется, обратила больше внимания на сапоги, потому что подняла голову от своей работы и воскликнула: «Смотрите! Кот в сапогах!»

— Я сказала: «Кот в сапогах»? Бедный Эмиль!

— Ты сказала: «Смотрите! Кот в сапогах!» Не раскаивайся, Зоя. Госпожа д'Абрантес * рассказывает в своих «Мемуарах», что одна маленькая девочка тоже назвала «котом в сапогах» молодого и тощего Бонапарта в тот день, когда увидела его, нелепо выражен-

ного генералом Республики. Бонапарт затаил против нее злобу. Наш друг, более благородный, не оскорбился твоим восклицанием. Эмиль Венсен со своей ротой был передан в распоряжение некоего генерала, который не любил франтиреров и сказал новоприбывшим: «Нарядиться как на масленицу — это еще не все. Нужно еще воевать».

Наш друг Венсен спокойно выслушал эту крепкую речь. Он был восхитителен на протяжении всей кампании. Однажды видели, как он подошел к самым аванпостам противника с безмятежностью героя и близорукое человека. Он действительно не видел дальше трех шагов перед собой. Ничто не могло заставить его отступить. В течение всех последующих тридцати лет он вспоминал эти месяцы своей военной жизни, фабрикуя щетки из пырея. Он читал военные газеты, председательствовал на собраниях бывших товарищей по оружию, присутствовал на торжественных открытиях памятников в честь бойцов тысяча восемьсот семидесятого года; он проходил во главе рабочих своей фабрики перед статуями Верцингеторикса, Жанны д'Арк и солдата Луары *, по мере того как статуи эти появлялись на французской земле. Он произносил патриотические речи. И мы здесь касаемся, Зоя, одной из сцен человеческой комедии, мрачную смехотворность которой, быть может, когда-нибудь оценят. Эмиль Венсен отважился сказать во время дела Дрейфуса, что Эстергази * — мошенник и предатель. Он так сказал, потому что знал это и был слишком чистосердечен, чтобы скрывать истину. С этого дня он прослыл врагом отечества и армии. С ним обращались как с изменником и чужаком. Нанесенные ему огорчения ускорили развитие болезни сердца, которой он страдал. Он умер грустный и недоумевающий. В последний раз, когда я видел его, он говорил со мной о тактике и стратегии. Это была любимая его тема. Несмотря на то, что он, участвуя в войне, мог наблюдать великий беспорядок и непомерную путаницу, он был убежден, что военное искусство есть прекраснейшее из искусств. И, боюсь, я рассердил его, сказав, что, собственно говоря, искусства войны не существует, а во

время кампании применяют все мирные искусства: хлебопечение, кузнечное дело, полицейский надзор, химию и тому подобное.

— Почему ты так говорил, Люсьен? — воскликнула мадемуазель Бержере.

— Говорил по убеждению, — отвечал г-н Бержере. — То, что называют стратегией, есть, в сущности, искусство, применяемое агентством Кука *. Оно состоит главным образом в том, чтобы форсировать реки по мостам и переваливать через горы по ущельям. Что же касается тактики, то она устанавливает правила по-детски наивные. Великие полководцы с этими правилами не считаются. Они многое предоставляют случаю, хотя и не сознаются в этом. Искусство же их заключается в том, чтобы внушать благоприятные для них предрассудки. Им легче побеждать, когда все считают их непобедимыми. Только на карте сражение принимает ту видимость порядка и организованности, которая свидетельствует о высшей, направляющей воле.

— Бедный Эмиль Венсен! — вздохнула мадемуазель Бержере. — Это правда, он очень любил военных. Я тоже уверена, — он жестоко страдал, видя, что в армии с ним обращаются как с врагом. Генеральша Картье де Шальмо была немилосердна к нему. Она знала лучше, чем кто бы то ни было, как много он жертвовал на благотворительные учреждения милитаристов, однако она порвала с ним, узнав, что он назвал Эстергази мошенником и предателем. И порвала беспощадно. Когда он явился к ней, она подошла к дверям прихожей, где он ждал, и крикнула так, чтобы он услышал: «Скажите, что меня нет дома». А ведь это была совсем не злая женщина.

— Нет, конечно, — ответил г-н Бержере. — Она действовала с той святой простотой, восхитительные примеры которой мы находим в прошлом. Ныне встречаются только посредственные добродетели. А бедный Эмиль умер от горя, ни от чего другого.

АДРИЕННА БЮКЕ

*Доктору Жоржу Дюма **

В кабачке, когда мы кончали обедать, Лабуле сказал:

— Согласен, все эти явления, связанные с еще мало изученным состоянием организма: случаи ясно-видения, внушения на расстоянии, оправдавшихся предчувствий, — обычно не проверены настолько строго, чтобы это могло вполне удовлетворить требованиям науки. Почти всегда ссылаются в таких случаях на чьи-нибудь свидетельства, но, даже будучи вполне правдивыми, они оставляют какую-то неясность в природе происшедшего. Подобные факты мало исследованы — готов это признать. Но самая их возможность уже не внушает мне никакого сомнения с тех пор, как я сам столкнулся с одним из них. Благодаря исключительно счастливому стечению обстоятельств мне удалось произвести тогда наблюдения со всей необходимой полнотой. Можешь мне поверить, я действовал методично, тщательно устраняя всякую возможность ошибки.

Говоря так, молодой доктор Лабуле ударял обеими руками по своей впалой груди, обложенной брошюрами, и наклонял ко мне через стол свой лысый внушительный череп.

— Да, мой дорогой, — прибавил он, — на редкость удачно получилось, что одно из явлений, классифицируемых Майером и Подмором * как «призраки живых», прошло во всех своих фазах перед взором слушателя науки. Я все отметил, все записал.

— Я слушаю.

— Это произошло летом тысяча восемьсот девяносто первого года, — продолжал Лабуле. — Мой друг Поль Бюке, о котором, помнишь, я тебе часто рассказывал, наш тогда со своею женой в маленькой квартире на улице Гренель, против фонтана. Ты не был знаком с Бюке?

— Видел его два-три раза. Толстяк с бородой чуть ли не от самых глаз. Жена у него брюнетка, бледная, с крупными чертами лица и продолговатыми серыми глазами.

— Совершенно верно: темперамент желчный и нервный, впрочем достаточно уравновешенный. Но женщина живет в Париже, нервы берут верх и — держись! Значит, ты видел Адриенну?

— Я встретил ее как-то вечером на улице Мира, она стояла с мужем перед витриной ювелирной лавки, и глаза ее не отрывались от сапфиров. Красивая особа и чертовски элегантная для жены бедного малого, погрязшего в промышленной химии. Ведь Бюке не особенно преуспевал?

— Бюке работал уже пять лет в фирме Жакоб, торгующей на бульваре Маджента фотографическими аппаратами и всякими химикалиями для фотографирования. Он рассчитывал стать в ближайшее время компаньоном. Больших денег он не зарабатывал, но занимал неплохое положение. У него было будущее. Терпеливый, бесхитростный, работающий, в конце концов он бы добился своего. А пока расходы на жену его особенно не донимали. Истинная парижанка, она умела изворачиваться, то и дело находя случай покупать по дешевке белье, платья, кружева, драгоценности. Она удивляла мужа своим умением чудесно одеваться почти даром, и Полю всегда было лестно видеть ее в элегантных туалетах и в изящном белье. Но все, что я пока говорю тебе, мало интересно.

— Напротив, мне это очень интересно, дорогой Лабуле.

— Во всяком случае эта болтовня уводит нас от главного. Я был, как тебе известно, школьным товарищем Поля Бюке. Дружили мы с ним в старших классах в коллеже Людовика Великого, не переставали встречаться и потом, когда, двадцати шести лет, еще не устроенный, он женился на Адриенне по любви, взяв ее, как говорится, в одной рубашке. С его жеманностью наша дружба не прекратилась. Адриенна относилась ко мне, по-видимому, с симпатией, и я часто обедал у молодой пары. Ты знаешь, что я постоянный врач актера Лароша, вхож к артистам, и они частенько дают мне билеты. Адриенна и ее муж очень любили театр. В тот вечер, когда у меня бывала ложа, я шел к ним обедать запросто, а потом вел их во Французскую Комедию. Я всегда мог быть уверен, что в обеденное время застану дома Бюке, обычно в половине седьмого возвращавшегося с фабрики, его жену и их друга Жеро.

— Жеро? — спросил я. — Марсея Жеро, который служил в банке и носил такие красивые галстуки?

— Его самого. Это был друг дома. Как холостяк и приятный сотрапезник, он постоянно у них обедал. Он приносил омаров, паштеты и всякие лакомства, был мил, любезен и мало говорил. Бюке просто не мог без него обходиться, и мы увозили его с собой в театр.

— Сколько лет ему было?

— Жеро? Не знаю. Лет тридцать — сорок... Так вот, однажды Ларош дал мне ложу, а я, как обычно, отправился на улицу Гренель, к моим друзьям Бюке. Я немного опоздал, и стол был уже накрыт к обеду. Поль вопил, что голоден, но Адриенна не решалась садиться за стол без Жеро. «Дети мои, — заявил я, — у меня ложа во Французскую Комедию. Идет «Дениза» *. — «Живее! — сказал Бюке. — Поскорей пообедаем, чтобы не пропустить первого акта». Служанка стала подавать. Адриенна казалась озабоченной, и было видно, что глотала она суп через силу. Бюке шумно втягивал ртом вермишель, подхватывая

языком длинные нити, виснувшие у него на усах. «Женщины поразительны, — воскликнул он. — Представь себе, Лабуле, Адриенна беспокоится, почему Жеро не пришел сегодня обедать. Она воображает всякие ужасы. Скажи ей, что это ерунда. Жеро могли помешать. У него свои дела. Он холостяк, и ему не перед кем отчитываться. Меня удивляет, наоборот, что он проводит у нас почти все вечера. Это очень мило с его стороны. Так надо же быть справедливыми и дать ему хоть немного свободы. У меня правило: не вмешиваться в дела моих друзей. Но женщины этого не признают». Госпожа Бюке ответила прерывающимся голосом: «Я беспокоюсь, боюсь, не произошло ли что-нибудь с господином Жеро». А Бюке все потирали ладонями. «София, — кричал он служанке, — мясо, салат! София, сыр, кофе!» Я заметил, что госпожа Бюке совсем не ела. «Ну, иди одеваться, — сказал ей муж. — Иди, а то опоздаем на первое действие. Пьеса Дюма — это не какая-нибудь оперетка, где достаточно схватить одну, другую арию. Это нечто последовательно развивающееся, и пропустить тут ничего нельзя. Иди, дорогая, мне ведь только надеть сюртук». Она поднялась и направилась в свою комнату медленно и словно неохотно.

Мы с мужем выпили кофе и выкурили по папиросе. «А все-таки, — сказал мне Поль, — я огорчен, что наш славный Жеро сегодня не пришел. Ему было бы приятно посмотреть «Денизу». Но подумай только, как Адриенна обеспокоена его отсутствием! Уж я ей толкую, что у этого чудесного малого есть, вероятно, дела, о которых он нам не рассказывает, — почем знать, может быть, встречи с женщинами. Она и не слушает. Дай-ка мне папиросу». Я протянул ему портсигар, и вдруг мы услышали из соседней комнаты протяжный крик ужаса, а за ним шум падения чего-то тяжелого и мягкого. «Адриенна!» — вскричал Бюке и бросился в спальню. Я последовал за ним. Мы увидели Адриенну, распростертую на паркете, бледную, с закатившимися глазами, неподвижную. Но ни малейших признаков эпилептического припадка или чего-либо подобного. Никакой пены на губах. Руки и ноги вы-

тянуты, но гибкие. Пульс неровный и отрывистый. Я помог мужу перенести ее в кресло. Почти тотчас же кровообращение восстановилось, лицо, обычно матово-бледное, залилось краской. «Там, — проговорила она, показывая на зеркальный шкаф, — там! Я его видела. Застегивала лиф и увидела его в зеркале. Я повернулась, думая, что он тут. Но никого не увидев, поняла... и упала».

Тем временем я осматривал, не поранила ли она себя при падении, но ничего не обнаружил. Бюке заставлял ее глотать мелиссовую воду с сахаром. «Ну, моя милая, — говорил он, — приди в себя. Кого, черт побери, ты увидела? И что ты такое рассказываешь?» Она опять побледнела. «О, я видела, я видела его, Марсея». — «Она увидела Жеро? Странно!» — воскликнул Бюке. «Да, я видела его, — повторила она мрачным тоном, — он посмотрел на меня, не говоря ни слова, вот так». И она придала своему лицу какое-то дикое выражение. Бюке вопросительно посмотрел на меня. «Не беспокойтесь, — ответил я, — это не опасно. Быть может, во всем виноват желудок. Выясним на досуге. Пока что не будем этим заниматься. Я знал в Шарите * одного желудочного больного, которому мерещились кошки под каждой койкой».

Через несколько минут госпожа Бюке окончательно пришла в себя, муж глянул на часы и обратился ко мне: «Если вы считаете, Лабуле, что театр ей не повредит, время ехать. Пойду скажу Софии, чтобы позвала извозчика». Адриенна мигом надела шляпку. «Поль, Поль, доктор, послушайте! Заедем сперва к Жеро. Я так волнуюсь, так волнуюсь, что не могу выразить». — «Ты с ума сошла. Что могло случиться с Жеро? Мы его видели вчера здоровым и невредимым». Она бросила на меня умоляющий взгляд, горячим лучом проникший мне в сердце. «Лабуле, друг мой, заедем к Жеро сейчас же, хорошо?» Я согласился. Она так попросила, что нельзя было отказать. Поль ворчал, ему хотелось видеть первое действие. Я сказал ему: «Заедем все-таки к Жеро. Не такой уж

большой крюк». Экипаж ожидал нас. Я крикнул кучеру: «Улица Лувра, пять, и побыстрее!»

Жеро жил в доме номер пять по улице Лувра, недалеко от своего банка, в небольшой трехкомнатной квартире, наполненной галстуками. Они были страстью этого доброго малого. Едва мы остановились перед домом, Бюке выскочил из экипажа и, просунув голову в каморку привратницы, спросил: «Как поживает господин Жеро?» Привратница ответила: «Господин Жеро вернулся в пять часов; он взял свои письма и больше не выходил. Если хотите подняться к нему, то лестница в глубине, пятый этаж, направо». Но Бюке уже кричал в окно кареты: «Жеро дома! Теперь ты видишь, дорогая, твои страхи были просто нелепы. Извозчик, во Французскую Комедию!» Тогда Адриенна едва не выскочила из экипажа. «Поль, умоляю, поднимись по лестнице, зайди к нему, зайди, это необходимо!» — «Лезть на пятый этаж! — сказал он, пожимая плечами. — Адриенна, мы из-за тебя опоздаем в театр. Ну, если уж женщине взбрело в голову...»

Я остался в экипаже один с госпожой Бюке и видел, как блстели в темноте ее глаза, обращенные к двери дома. Наконец появился Поль. «Честное слово, — сказал он, — звонил три раза. Он не откликается. В общем, моя дорогая, у него, видимо, есть причины желать, чтобы ему не мешали. Быть может, у него женщина, что ж тут удивительного?» Взгляд Адриенны принял такое трагическое выражение, что меня самого охватило беспокойство. И к тому же, если поразмыслить, было как-то странно, что Жеро, никогда не обедавший дома, оставался у себя от пяти до половины восьмого. «Подождите меня, — сказал я господину и госпоже Бюке. — Сейчас я поговорю с привратницей». Этой женщине также показалось странным, что Жеро не пошел обедать, как всегда. Она убирала комнаты у жильца пятого этажа, и у нее был свой ключ от его квартиры. Она сняла этот ключ с доски и предложила мне подняться вместе. Когда мы добрались до площадки, она открыла дверь и из прихожей несколько раз позвала: «Господин Жеро!»

Не получив ответа, она решилась войти в соседнюю комнату, служившую спальней. Позвала еще: «Господин Жеро, господин Жеро!» Никакого ответа, кругом темно. Спичек у нас не было. «На ночном столике должна быть коробка шведских спичек», — сказала женщина, вся дрожа и не в состоянии сделать ни шага. Я принялся шарить по столу и почувствовал, что мои пальцы коснулись чего-то липкого. «Знакомо мне это, — подумал я, — это кровь».

Когда, наконец, мы зажгли свечу, то увидели Жеро вытянутым на постели, с разmozженной головой. Его рука свисала почти до ковра, куда упал револьвер. Незапечатанное письмо лежало на столе, все в крови. Оно было написано его рукой, адресовано господину и госпоже Бюке и начиналось так: «Дорогие друзья, вы были единственной радостью и утешением моей жизни...» Он объявлял им затем о своем решении умереть, в сущности не открывая причин. Правда, он намекал, что денежные затруднения привели его к этому. Я установил, что смерть наступила приблизительно час тому назад, то есть что он убил себя в тот самый момент, когда госпожа Бюке увидела его в зеркале.

Не правда ли, как я тебе и сказал, дорогой мой, это совершенно твердо установленный случай ясновидения, или, говоря точнее, один из тех примеров странной психической синхронности, над которыми сейчас работает наука, — правда, с большим рвением, чем успехом.

— Быть может, тут другое, — ответил я. — Уверен ли ты, что ничего не было между господином Жеро и госпожой Бюке?

— Но... я никогда ничего не замечал. И потом разве это что-нибудь меняет?

ГЕММА

Я пришел к нему в полдень, как он и просил меня. Во время завтрака в длинной, как церковный неф, столовой, где он разместил целое сокровище — собрание старинных ювелирных изделий, мне показалось, что он не то чтобы грустен, но словно задумчив. В беседе то и дело проявлялось живое изящество его ума. Иной раз какое-нибудь слово говорило о его тонком художественном вкусе или свидетельствовало об увлечении спортом, ничуть не остывшем после ужасного падения с лошади, когда он проломил себе голову. Но мысли его внезапно прерывались, как бы разбиваясь одна за другой о какую-то преграду.

Из всего этого разговора, довольно утомительного и бессвязного, у меня осталось в памяти только то, что он послал пару белых павлинов в свой замок Рарэ и что без всякой к тому причины, вот уже три недели, забросил своих друзей, даже самых близких — г-на и г-жу Х. Однако ж вряд ли он позвал меня к себе для подобных признаний. За кофе я спросил его об этом. Он посмотрел на меня несколько удивленно.

— Я собирался тебе что-то сказать?

— Ну да, черт возьми! Ты написал мне: «Приходи завтракать, хотел бы с тобой поговорить».

Так как он молчал, я вытащил из кармана письмо и показал ему. Адрес был написан его стремительным,

красивым, но несколько изломанным почерком. На конверте сохранилась лиловая сургучная печать.

Он потер себе лоб.

— Вспоминаю... Будь так добр, сходи к Фералю. Он тебе покажет набросок Ромнея: * молодую женщину с золотыми волосами, — их ответ золотит ей лоб и щеки... Глаза темно-синие, так что и белок весь в синих отсветах... Теплая свежесть кожи... Изумительно! Но руки какие-то распухшие, В общем, посмотри и постарайся узнать...

Он замолк. Потом, держась за ручку двери, сказал:

— Подожди меня. Я только надену визитку. Выйдем вместе.

Оставшись один в столовой, я подошел к окну и внимательней, чем прежде, посмотрел на лиловую сургучную печать. Это был отпечаток античной геммы — сатир приподымает покрывало нимфы, уснувшей под лавром, у подножья полуколонны. Излюбленная тема художников и граверов Рима периода расцвета. Вариант мне показался великолепным. Безупречная верность стиля, исключительное чувство формы и композиции придавали изображению величиной в ноготь впечатляющую силу большой и широко задуманной картины.

Я стоял, как зачарованный, когда мой друг приоткрыл дверь.

— Ну что же! Идем!

Он был в шляпе и, видимо, спешил.

Я сказал, что восхищен его печатью.

— Но я раньше не видел ее у тебя.

Он ответил, что она у него недавно, месяца полтора. Настоящая находка. Он снял с пальца кольцо, куда был вставлен этот камень, и протянул мне.

Известно, что геммы такого дивного классического стиля большей частью — сердолики. Увидев же темно-лиловый матовый камень, я был несколько удивлен.

— Гм! Аметист! — пробормотал я.

— Да, печальный камень, не так ли, и сулящий несчастье. Ты думаешь, это подлинная древность?

Он велел принести лупу. Увеличительное стекло показало изумительно тонкую работу. Это несомненно был шедевр греческой глиптики * первых времен Империи. Я не видел лучшего образца даже в неаполитанском музее, а ведь там собрано столько камней. Благодаря лупе можно было различить на полуколонне эмблему, обычно встречающуюся на изображениях сцен вакхического цикла. Я обратил на это его внимание.

Он повел плечами и улыбнулся. Камень просвечивал в кольце. Я принялся рассматривать оборотную сторону и крайне удивился, заметив знаки, нанесенные уж очень неумело и, видимо, много позже. Они напоминали начертания, встречающиеся на восточных амулетах, неизвестные среди антикваров, и, хотя сам мало искушенный в этой области, я, казалось, узнал в них магические письмена. Мой друг был того же мнения.

— Утверждают, — сказал он, — что это кабалистическая формула, заклинание, встречающееся у одного из греческих поэтов.

— У кого именно?

— Да я их слабо себе представляю.

— У Феокрита? *

— Возможно, у Феокрита.

При помощи лупы я мог ясно прочесть четыре рядом стоящих буквы:

КНРН

— Это не имя, — сказал мой друг.

Я заметил, что по-гречески это звучит:

КЕРЕ

И отдал ему камень. Он долго смотрел на него в каком-то оцепенении и затем снова надел кольцо на палец.

— Идем, — быстро проговорил он, — идем. Ты куда?

— В сторону церкви святой Магдалины. А ты?

— Я... Куда же я иду-то?.. Черт возьми! Иду к Голо взглянуть на лошадь, которую он не решает

купить, пока я ее не осмотрю. Ты знаешь, я барышник и даже немного ветеринар, к тому же старьевщик, драпировщик, архитектор, садовник и, если надо, маклер. Да, друг мой, я обставил бы всех евреев, не будь это так трудно.

Мы дошли до предместья, и мой друг зашагал с быстротой, совершенно не соответствовавшей его постоянной апатии. Он шел все быстрее и быстрее, и я уже еле поспевал за ним. Впереди появилась довольно хорошо одетая женщина. Он обратил на нее мое внимание.

— Spина кругла и талия тяжеловата. Но погляди на лодыжку. Я уверен, нога очаровательная. Знаешь, лошади, женщины, словом, все красивые животные устроены одинаково. Тело их, полное и округлое там, где положено быть мясу, утончается к местам сочленений, что свидетельствует о тонкой кости. Вот смотри на эту женщину: выше талии — никуда не годится. Но ниже! Какая свободная и мощная линия! Гляди. Видишь, как она передвигается, красиво и равномерно колыша свое тело. А нога внизу какая тонкая! Ручаюсь, у колена она стройная и мускулистая, причем действительно красивая.

Он добавил, как всегда охотно делясь своим опытом в этой области:

— Нельзя требовать всего от одной женщины; надо брать совершенное там, где его находишь. Совершенное так редко!

При этом, следуя загадочному течению своей мысли, он приподнял левую руку и посмотрел на свое кольцо. Я сказал ему:

— Эта чудесная вакхическая сцена заменила тебе твой герб, то дерево?

— Ах да, бук, дерево Дю Фо¹. Мой прадед в Пуату при Людовике Шестнадцатом был то, что называлось «благородный», то есть принадлежал к недворянской знати. Потом он стал членом революционного клуба в Пуатье и скупщиком национальных иму-

¹ Фамилия Дю Фо (*Du Fau*) происходит от франц. слова *fau* (бук).

ществ, благодаря чему я пользуюсь расположением владетельных особ и сам считаюсь аристократом в нашем обществе израильтян и американцев. Почему я изменил буку Дю Фо? Зачем? Он не уступал дубу Дюшена¹ де ла Сикотьер. А я заменил его вакхической сценой, бесплодным лавром и эмблематической полуколонной.

Пока с насмешливым пафосом он говорил все это, мы подошли к особняку его друга Голо, но Дю Фо не остановился перед двумя медными молотками в виде Нептунов, сиявшими на двери, как краны в ванной комнате.

— Ты так спешил к Голо?

Он, казалось, не слышал моих слов и все ускорял шаг. Во весь дух домчались мы до улицы Матиньон, по которой он и устремился. Вдруг он стал перед большим унылым шестизэтажным домом. Он молчал и с каким-то беспокойством смотрел на плоский оштукатуренный фасад, испещренный многочисленными окнами.

— Долго ты будешь так стоять? — спросил его я. — Тебе известно, что в этом доме живет госпожа Сэр?

Я был уверен, что задену его, упоминая о женщине, которую он не терпел за фальшивую красоту, за всем известную продажность и потрясающую глупость, женщине, которую подозревали в том, что теперь, постаревшая и опустившаяся, она подворовывает в магазинах кружева. Но он ответил мне слабым, почти жалобным голосом:

— Ты думаешь?

— Уверен. Вот видишь в окнах третьего этажа ее ужасные занавески с красными леопардами?

Он кивнул.

— Госпожа Сэр... Да, верно, действительно она здесь живет. Думаю, что она сейчас там, за одним из красных леопардов.

Похоже было, что он собирается ее навестить. Я выразил удивление.

— Она не правилась тебе прежде, когда все нахо-

¹ Фамилия Дюшен (Duchesne) происходит от франц. слова *chêne* (дуб).

дили ее красивой и эффектной, когда она разжигала роковые страсти и трагическую любовь. Ты говорил: «Уже одной ее пористой кожи достаточно, чтобы вызвать во мне непреодолимое отвращение. Но она к тому же вся плоская, с огромными руками». А теперь, когда она превратилась в развалину, ты обнаруживаешь в ней восхитительные уголки, довольствоваться которыми ты только что советовал. Каково твое мнение о тонкости ее лодыжки и благородстве ее души? Нескладная дылда, без бюста и бедер, озиравшаяся, бывало, при входе в гостиную, чтобы привлечь таким незамысловатым приемом толпу болванов и хвастунов, готовых разоряться из-за женщин, которые даже не могут раздеться.

Я умолк, несколько удивившись, что так говорю о женщине. Но эта особа столько раз проявляла такую ужасную злобность, что можно было не стесняться. Право же, я никогда бы не сказал ничего подобного, не зная я ее бессердечности и подлости. Я успокоился, заметив, что Дю Фо не слышал ни слова.

Он заговорил — как бы с самим собой:

— Пойду ли я к ней, или не пойду, это ничего по изменит. Вот уже полтора месяца я не могу войти ни в одну гостиную, чтобы не встретить ее там. Даже в домах, где по несколько лет не бывал и куда, сам не знаю зачем, пришел вдруг снова! Странные все дома!

Я оставил его перед открытой дверью и не стал задумываться над тем, что его туда влечет. Дю Фо не выносил госпожу Сэр, когда она была молода и красива, отвергал ее заигрывания в годы ее блеска, а теперь увлекся этой старухой и морфинисткой — подобная извращенность в моем друге была для меня совершенно неожиданна. Я мог бы поручиться, что подобное заблуждение чувств немислимо, будь вообще что-либо достоверное в такой темной области, как патология страсти.

Месяц спустя я уехал из Парижа, и до отъезда мне так и не случилось повидать еще раз Поля Дю Фо. Пробыв несколько дней в Бретани, я поехал в Тру-

виль к своей кухне Б., находившейся там с детьми. В первую неделю моего пребывания на даче «Морская ласточка» я учил своих племянниц рисовать акварелью, фехтовал с племянниками и слушал Вагнера в исполнении кузины.

В воскресенье утром я проводил все семейство до церкви и, пока длилась обедня, пошел прогуляться по городу. Направившись к пляжу по улице, где в лавках торговали игрушками или случайными вещами, вдруг впереди я увидел г-жу Сэр. Она шла к кабинам поникшая, покинутая всеми, одинокая. Ноги она волочила, как будто на ней были домашние туфли. Поятое дешевое платье висело на ней, как на вешалке. Она обернулась. Впалые, невидящие глаза и отвисший рот были страшны. Проходившие мимо женщины косились на нее, а она шла угрюмая и ко всему безразличная.

Несчастливая, видимо, была отравлена морфием. В конце улицы она остановилась перед прилавком г-жи Гийо и стала длинной худой рукой перебирать кружева. При виде алчного выражения ее глаз мне вспомнились ходившие о ней рассказы по поводу нескольких неприятных историй в больших магазинах. Толстуха Гийо, провожая покупательниц, показалась в дверях. И г-жа Сэр, оставив кружево, опять уныло поплелась к пляжу.

— Что-то вы перестали у меня покупать! Плохой вы покупатель! — воскликнула, увидев меня, г-жа Гийо. — Зашли бы посмотреть пряжки и веера; ваши племянницы находят, что они чудесны. А барышни все хорошеют да хорошеют.

Потом, взглянув на удаляющуюся г-жу Сэр, она покачала головой, словно говорила: «Вот бедняга!»

Ничего не оставалось, как купить племянницам стразовые пряжки. Пока их заворачивали, я увидел в окно, что по направлению к пляжу идет Дю Фо. Шел он очень быстро, вид у него был озабоченный. Как многие нервные люди, он покусывал ногти, — и на пальце его я мог заметить аметист.

Встреча эта меня поразила, тем более что он сообщил мне о своей поездке в Динар, где у него был за-

городный домик и где лошади его участвовали в скачках. Я зашел в церковь за кузиной. Я спросил ее, известна ли ей, что Дю Фо в Трувиле. Она кивнула в ответ и несколько смущенно заметила:

— Наш бедный друг какой-то странный. Он не отстает от этой женщины. И, по правде сказать...

Запнувшись она договорила:

— Именно он за ней гоняется. Просто непонятно.

Да, он за ней гонялся.

В последующие дни многое меня в этом убедило. Я то и дело видел его — и неизменно в обществе г-жи Сэр и г-на Сэр, о котором трудно было сказать, дурак ли он, или снисходительный муж. Глупость выручала его: подлость оставалась под сомнением. В свое время эта женщина отчаянно старалась понравиться Дю Фо, охотно оказывавшему покровительство небогатым парам, бредящим роскошью. Но Дю Фо питал к ней нескрываемую неприязнь. Бывало, в ее присутствии он говорил: «Поддельная красавица гораздо хуже уроды. Некрасивая может оказаться неожиданно приятной, тогда как первая — только плод, наполненный прахом». Сила убеждения в таких случаях возвышала красноречие Дю Фо до стиля Священного писания. Теперь г-жа Сэр не обращала на него никакого внимания. Равнодушная к мужчинам, она признавала только шприц Праваца и свою приятельницу графиню В. Они были неразлучны, но отношения их, видимо, были совсем невинны — обе уже никуда не годились. Однако Дю Фо сопровождал их на прогулках. Я встретил его однажды нагруженного их накидками, с огромным морским биноклем г-на Сэра через плечо. Он добился разрешения покататься в лодке с г-жой Сэр, и весь пляж злоратно лорнировал их.

Понятно, что при таких обстоятельствах у меня не было охоты с ним встречаться, и, так как он находился в каком-то постоянном состоянии сомнамбулизма, я покинул Трувилль, не обменявшись с ним и десятком слов, предоставив его Сэрам и графине В.

Вновь встретился я с ним однажды вечером в Париже, у его друзей и соседей Х., людей чрезвычайно радушных и гостеприимных. В убранстве их краси-

вого особняка на авеню Клебера я узнал изысканный вкус г-жи Х., а также и Дю Фо, у которого с ней было много общего. Прием носил довольно интимный характер, и Поль Дю Фо, как и прежде, говорил очень своеобразно, причудливо сочетая изысканную деликатность с самой живописной грубостью. Г-жа Х. умна, и побеседовать в ее доме довольно приятно. Однако, когда я вошел, то услышал мало интересный разговор. Какой-то чиновник, г-н Никола, советник, нудно пересказывал всем надоевшую историю о гауптвахте, где караульные стрелялись один за другим, так что пришлось ее снести, дабы приостановить этот новый вид эпидемии. Затем г-жа Х. спросила меня, верю ли я в талисманы. Советник Никола вывел меня из затруднения, пустившись уверять, что раз я человек неверующий, то непременно суеверен.

— Вы не ошиблись, — сказала г-жа Х. — Он не верит ни в бога, ни в черта, а истории о потустороннем мире обожает.

Пока говорила эта очаровательная женщина, я не сводил с нее глаз и любовался изяществом ее лица, шеи, плеч. Все ее существо кажется чем-то редкостным и драгоценным. Не знаю, что думает Дю Фо о ножке г-жи Х. Я нахожу ее прелестной.

Поль Дю Фо подошел и пожал мне руку. Я заметил, что перстня на пальце у него не было.

— А где твой аметист?

— Я потерял его.

— Как! Потерял эту гемму, чудеснейшую из всех гемм Неаполя и Рима?

Господин Х., всегда неразлучный с моим другом, воскликнул, не дав ему времени ответить:

— Да, это странная история. Аметист он потерял.

Х. — чудесный человек, он доверчив, несколько многословен, иной раз до смешного простодушен. Он шумно позвал свою жену:

— Марта, дорогая, видишь, есть еще люди, не знающие, что Дю Фо потерял аметист.

И, повернувшись ко мне, стал рассказывать:

— Тут целая история. Представьте себе, наш друг совсем было нас покинул... Я говорил жене: «Что ты

ему сделала?» Она отвечала: «Я? Ничего, друг мой». Все было совершенно непонятно. Мы еще больше удивились, узнав, что он не отходит от этой бедняги госпожи Сэр.

Госпожа Х. прервала мужа:

— Ведь это неинтересно.

Но г-н Х. настойчиво продолжал:

— Позволь, дорогая! Я рассказываю все это, чтобы объяснить историю с аметистом. Итак, этим летом наш приятель Дю Фо против обыкновения отказался приехать к нам в деревню, хотя мы с женой очень радушно его приглашали. Но он продолжал жить в Трувиле, у своей кузины де Морель, в скучном обществе.

Госпожа Х. запротестовала. Г-н Х. стоял на своем:

— Конечно, скучное общество. Он целыми днями катался в лодке с госпожой Сэр.

Дю Фо спокойно заметил, что тут нет ни одного слова правды. Г-н Х. положил руку на плечо своего лучшего друга.

— Посмей только сказать, что я вру!

И он закончил рассказ:

— Дю Фо день и ночь катался с госпожой Сэр, вернее с ее тенью, так как от госпожи Сэр только тень и осталась. Господин Сэр стоял на пляже с биноклем. Во время одной из таких прогулок Дю Фо потерял свой аметист. После этого несчастья он дня не захотел провести в Трувиле. Ушел с пляжа, ни с кем не попрощавшись, сел в поезд и появился у нас в Эйзи, где его никто и не ждал. Было два часа ночи. «Вот и я», — сказал он мне спокойно. Ну и чудак!

— А аметист? — спросил я.

— Он действительно упал в море, — ответил Дю Фо. — Лежит себе в мелком песке. По крайней мере еще ни один рыбак не принес его мне в брюхе рыбы, как это полагается.

Несколько дней спустя я зашел, по обыкновению, к Генделю, на улицу Шатоден, и спросил, нет ли какой-нибудь вещицы в моем вкусе. Он знает, что, невзирая на моду, я собираю античный мрамор и бронзу. Не говоря ни слова, он отпер особую, предназначенную только для любителей, витрину и вынул

статуэтку египетского писца, вырезанную из какого-то твердого камня, очень древнего стиля, — настоящую драгоценность! Но, узнав, сколько она стоит, я собственноручно поставил ее на место, конечно, не без сожаления. И вдруг я увидел в витрине восковой отпечаток геммы, которой так восхищался у Дю Фо.

Я узнал нимфу, полуколонну, лавр. Никаких сомнений!

— У вас был камень? — спросил я Генделя.

— Да, я продал его в прошлом году.

— Чудесная вещь! Как она к вам попала?

— От Марка Делиона, финансиста, застрелившегося пять лет тому назад из-за одной светской дамы... госпожи... вы, вероятно, знаете... госпожи Сэр*.

СИНЬОРА КЬЯРА

*Уго Оджетти **

Профессор Джакомо Тедески, неаполитанский врач, хорошо известен в своем городе. Дом его, насквозь пропахший лекарствами, расположенный неподалеку от Инкоронаты *, посещают особы самого различного положения, преимущественно же красивые девицы, те, что торгуют устрицами у церкви святой Лючии. Он сам составляет снадобья от всех болезней, не гнушается вытащить у вас изо рта гнилой зуб, после праздников отлично заштопывает парням распоротую кожу, бойко болтает на местном жаргоне пополам со школьной латынью, развлекая пациенток, томящихся в таком широком, таком хромом, таком скрипучем и таком засаленном кресле, какому не найдешь подобного ни в одном приморском городе вселенной.

У этого низкорослого человечка полное лицо, маленькие зеленые глазки и длинный нос, нависающий над извилистым ртом. Своими круглыми плечами, торчащим животиком и тонкими ножками он напоминает некоторых героев народных римских комедий.

Джакомо женился уже на склоне лет на молоденькой Кьяре Мамми, дочери старого каторжника, очень уважаемого неаполитанцами, который стал потом

булочником на Борго ди Санто и умер, оплакиваемый всем городом.

Под полуденным солнцем, золотящим виноград Торро и апельсины Сорренто, красота синьоры Кьяры расцвела во всем своем великолепии.

Тем не менее профессор Джакомо Тедески, как полагается, верит, что жена его столь же добродетельна, сколь и прекрасна. Он знает к тому же, как сильно бывает чувство чести у женщин в семьях преступников. Но он врач и не может не помнить о слабости и несовершенстве женской природы. И он стал испытывать некоторое беспокойство, когда миланец Асканьо Раньери, дамский портной с площади Деи Мартири, завел привычку посещать его дом.

Асканьо был молод, красив и всегда улыбался. Нет сомнения, что дочь героического Мамми, булочника-патриота, была слишком хорошей неаполитанкой, чтобы забыть свой супружеский долг ради какого-то миланца. Однако Асканьо продолжал посещать дом неподалеку от Инкоронаты — и преимущественно в отсутствие доктора, да и синьора охотно принимала его без свидетелей.

Однажды, когда профессор вернулся домой немного раньше, чем ожидали, он застал Асканьо у ног Кьяры. Синьора неторопливой поступью богини направилась к дверям, а Асканьо поднялся с колен. Джакомо Тедески подошел к нему с видом самого живого сочувствия.

— Друг мой, я вижу, вы больны. Как хорошо вы сделали, что пришли ко мне! Я врач, я всю свою жизнь посвятил облегчению человеческих мук. О, как вы страдаете, как страдаете! У вас горит лицо... Вероятно, болит голова, жестоко болит голова. Как хорошо, что вы пришли ко мне! О да, я знаю, вы меня заждались. Да, жестоко болит голова... — и, не переставая болтать в таком роде, Джакомо, сильный, как сабинский бык, потащил Асканьо в свой приемный кабинет и силой усадил в знаменитое кресло, которое за сорок лет выдержало болезни всех неаполитанцев. Не давая ему встать, профессор воскликнул:

— Теперь я вижу, в чем дело, — у вас болят зубы,

вот что! У вас очень болят зубы. — Он вытащил из кучи инструментов огромные зубные клещи, силой раздвинул Асканьо рот и, повернув щипцы, рванул зуб.

Асканьо убежал, беспрестанно сплевывая кровь, а профессор кровожадно вопил:

— Ну и зуб! Чудесный, великолепный зуб!

НЕПОДКУПНЫЕ СУДЬИ

*Посвящается 2-же Марсель Тинайр **

— Я видел неподкупных судей, — сказал Жан Марто. — На картине. Я перешел бельгийскую границу, чтобы ускользнуть от одного любознательного судьи, который считал меня участником заговора анархистов. Я не знал своих сообщников, а мои сообщники не знали меня. Это не было препятствием для судьи. Его ничто не смущало. Он не искал истины, а старательно создавал почву для обвинения. Его мания показалась мне опасной. Я перешел бельгийскую границу и остановился в Антверпене, где устроился приказчиком в бакалейной лавке. Однажды, в воскресенье, я увидел двух неподкупных судей на картине Мабюзе *, в музее. Они принадлежат к ныне исчезнувшей породе. Дело в том, что это странствующие судьи, которые рысцой ездят по дорогам верхом на своих лошадаках. Их сопровождают пешие стражники, вооруженные копьями и протазанами. Эти двое судей, бородатые, заросшие волосами, носят, как короли в старых фламандских библиях, причудливый и пышный головной убор, похожий одновременно на ночной колпак и на корону. Их парчовые платья расшиты цветами. Старый мастер сумел придать им важный, спо-

койный и кроткий вид. Их лошади кротки и спокойны, как они сами. Однако у этих судей различные характеры и убеждения. Это сразу видно. Один держит в руке бумагу и пальцем указывает на текст. Другой, опершись левой рукой на луку седла, поднял правую скорее благожелательным, чем властным движением. Он словно держит щепотку неосязаемой пыли. И этот жест, выражающий осторожность, свидетельствует о благоразумии и тонкости мысли. Оба они неподкупны, но первый явно придерживается буквы, а второй — духа закона. Прислонившись к барьеру, отделяющему их от публики, я услышал их разговор. Первый судья сказал:

— Я основываюсь на написанном. Первый закон был начертан на камне, в знак того, что будет существовать вечно.

Второй судья ответил:

— Всякий писанный закон устарел. Ибо рука писца медлительна, а ум людей проворен, и судьба их переменчива.

И почтенные старцы продолжали обмениваться суждениями.

Первый судья. Закон постоянен.

Второй судья. Закон никогда не бывает твердо установлен.

Первый судья. Исходя от бога, он незыблем.

Второй судья. Он — естественный продукт общественной жизни и зависит от изменчивых условий этой жизни.

Первый судья. Закон есть божья воля, которая вечно неизменна.

Второй судья. Закон есть воля человека, которая вечно изменяется.

Первый судья. Он существовал до человека и поэтому выше его.

Второй судья. Он есть порождение человека, несовершенен, как человек, и, так же, как он, может совершенствоваться.

Первый судья. Судья, открой свою книгу и прочти, что в ней написано. Ибо бог глаголет верую-

шим в него. Sic locutus est patribus nostris, Abraham et semini ejus in saecula¹.

Второй судья. То, что написано умершими, будет вычеркнуто живыми, ибо иначе воля несуществующих будет навязана существующим ныне, и мертвые будут живыми, а живые — мертвыми.

Первый судья. Живые должны подчиняться законам, завещанным мертвыми. Живые и мертвые — современники перед богом. Моисей и Кир, Цезарь, Юстиниан и германский император еще и поныне управляют нами*. Ибо мы — их современники перед лицом предвечного.

Второй судья. Живые должны получать свои законы от живых. Зороастр и Нума Помпилий* с меньшим основанием могут поучать нас тому, что нам дозволено и что запрещено, чем какой-нибудь сапожный подмастерье у церкви святой Гудулы.

Первый судья. Первые законы были возведены нам бесконечной премудростью. Закон тем лучше, чем ближе он к этому источнику.

Второй судья. Разве вы не видите, что каждый день появляются новые законы и что конституции и кодексы различны в разные времена и в разных странах?

Первый судья. Новые законы возникают из старых. Это — молодые ветви того же самого дерева, и питаются они теми же соками.

Второй судья. Старое дерево законов источает горький сок. Его постоянно подрубают.

Первый судья. Судья не должен доискиваться, справедливы ли законы, потому что они несомненно таковы. Он лишь должен справедливо применять их.

Второй судья. Мы должны разбирать, справедлив или несправедлив закон, который мы применяем; ибо если признать его несправедливость, то можно несколько смягчить его в применении, что мы и обязаны сделать.

¹ Так глаголет он праотцам нашим, Аврааму и семени его вовеки.

Первый судья. Критика законов несовместима с должным уважением к ним.

Второй судья. Если мы не видим суровости законов, как мы можем их смягчить?

Первый судья. Мы — судьи, а не законодатели или философы.

Второй судья. Мы — люди.

Первый судья. Человек не может судить человека. Судья, творя суд, отрешается от всего человеческого. Он уподобляется божеству и не доступен более ни радости, ни скорби.

Второй судья. Правосудие, совершаемое без сочувствия к людям, — само по себе жесточайшая несправедливость.

Первый судья. Правосудие совершенно, когда оно придерживается буквы закона.

Второй судья. Когда правосудие забывает о духе закона, оно нелепо.

Первый судья. Основа законов божественна, и даже самые малейшие последствия, вытекающие из них, — божественны. Но если бы даже закон не исходил всецело от бога, а был бы полностью создан человеком, — его должно было бы применять буквально. Ибо буква — неизбежна, а дух — непостоянен.

Второй судья. Закон — всецело создание человека и был бессмысленным и жестоким при своем зарождении, когда человеческий разум едва лишь начал развиваться. Но если бы даже сущность его была божественной, все равно нужно было бы следовать духу закона, а не букве его, ибо буква — мертва, а дух жив.

Разговаривая таким образом, неподкупные судьи спешили и отправились в сопровождении стражников в суд, где их ожидали, дабы каждому они воздали должное. Их лошади, привязанные к дому под большим вязом, стали беседовать друг с другом. Конь первого судьи начал так:

— Когда земля будет принадлежать лошадям (а она когда-либо будет им принадлежать, ибо лошадь несомненно венец и конечная цель творения), — итак, когда земля будет принадлежать лошадям и когда мы

сможем действовать на свой лад, мы будем жить под властью законов, как люди, и будем иметь удовольствие сажать в тюрьму, вешать и колесовать себе подобных. Мы будем нравственными существами. Это будет ясно по тюрьмам, виселицам и дыбам, воздвигнутым в наших городах. Появятся лошади-законодатели. Как ты думаешь, Рыжак?

Рыжак, конь второго судьи, подтвердил, что лошадь — венец творения, и выразил надежду, что рано или поздно наступит ее царство.

— Когда мы построим города, — добавил он, — нужно будет, ты согласишься с этим, Серый, ввести полицию в городах. Я хотел бы, чтобы законы у лошадей были лошадиные: то есть благоприятные для лошадей и для конского счастья.

— Что ты под этим разумеешь, Рыжак? — спросил Серый.

— То, что нужно. Я требую, чтобы законы обеспечивали каждому причитающийся ему паек овса и место в конюшне; и чтобы каждый мог любить по своему желанию в положенный срок. Ибо всему свое время. Словом, я хочу, чтобы лошадиные законы сообразовались с природой.

— Я надеюсь, — ответил Серый, — что у наших законодателей будет более возвышенный образ мыслей, чем у тебя, Рыжак. Они будут сочинять законы по внушению Небесного Коня, создателя всех лошадей. Он — всеблагий, ибо он — всемогущий. Могущество и благодать — его атрибуты. Он велел своим творениям терпеть узду, повиноваться поводьям, выносить шпоры и издыхать под ударами. Ты говоришь о любви, приятель, но он пожелал, чтобы многие из нас были сделаны меринами. Так он установил. Закон должен подерживать эти божественные установления.

— Но твердо ли ты уверен, дружище, — спросил Рыжак, — что эти беды ниспослал нам Небесный Конь, создавший нас, а не человек, его недостойное творение?

— Люди — посланцы и ангелы Небесного Коня, — ответил Серый. — Его воля проявляется во всем происходящем. Она — благодатна. Раз он хочет нам зла,

значит это зло есть благо. Закон, в своей благости, также должен причинять нам зло. И в лошадином царстве нас будут принуждать и мучить всякими способами: указами, постановлениями, декретами, судебными определениями и приказами, чтобы угодить Коню Небесному.

У тебя, Рыжак, должно быть, ослиная башка, — добавил Серый, — если ты не понимаешь, что лошадь послана в мир, чтобы страдать, а если она не страдает, то это противоречит ее назначению, ибо Конь Небесный отвращает свои взоры от счастливых лошадей.

ХРИСТОС ОКЕАНА

*Ивану Страннику **

В том году многие из сен-валерийских рыбаков утонули в море. На берегу находили их тела, выброшенные волной вместе с обломками баркасов, и целых девять дней можно было видеть, как по холмистой дороге несли в церковь гробы, а за ними шли плачущие вдовы, в своих больших черных покрывалах похожие на библейских женщин.

Рыбака Жана Леноеля и его сына Дезире положили в большом нефе церкви, под сводом, где они сами некогда повесили оснащенный кораблик в дар божьей матери. Люди они были честные и богобоязненные, и сен-валерийский священник Гильом Трюфем, отпустив им грехи, сказал дрогнувшим голосом:

— Никогда еще не предавали святой земле, в ожидании божьего суда, более достойных людей и лучших христиан, чем Жан Леноель и сын его Дезире.

Рыбаки на баркасах гибли у берегов, большие корабли тонули в далеких просторах, и не было дня, чтобы океан не принес каких-либо обломков. И вот однажды утром дети, катаясь на лодке, заметили лежащую на воде фигуру. То была статуя Иисуса Христа, в человеческий рост, вырезанная из крепкого дерева, раскрашенная и, видимо, старинной работы. Господь

бог покачивался на воде, раскинув руки. Дети вытащили его на берег и принесли в Сен-Валери. На нем был терновый венец; руки и ступни были пробиты насквозь. Но ни гвоздей, ни самого креста не было. С распростертыми, благословляющими руками, он казался таким, каким его видели при погребении Иосиф Аримафейский * и святые жены.

Дети отдали фигуру кюре Трюфему, и тот им сказал:

— Это изображение спасителя — древней работы; того, кто его сделал, конечно, давно уже нет в живых. Ныне в Амьене и Париже продаются в лавках прелестные статуи по сто франков и даже дороже, — однако следует признать, и у старых мастеров были свои достоинства. Но особенно умиляет меня мысль, что, если Иисус Христос прибыл в Сен-Валери с распростертыми руками — значит, он благословляет наш приход, подвергшийся таким жестоким испытаниям, и возвещает о своем сострадании к бедным рыбакам, с опасностью для жизни выходящим в море. Ведь он — бог, который шел по водам и благословил сети Петра-рыбаря.

Положив Христа в церкви, кюре Трюфем пошел заказать плотнику Лемерру хороший крест из дубовой сердцевины.

Когда крест был готов, господа бога прибили к нему новенькими гвоздями и поставили в церковном нефе, над скамьей приходского совета. И вот тогда все увидели, что глаза Христа полны милосердия и как будто увлажнены небесным состраданием.

Церковный староста, присутствовавший при водружении креста, даже уверял, что по божественному лику текли слезы. На другое утро, придя, в сопровождении мальчика из хора, служить обедню, священник был крайне удивлен, найдя крест пустым, а Христа лежащим на алтаре. Закончив службу, он немедленно позвал плотника и спросил, зачем тот снял спасителя с креста. Но плотник уверял, что и не прикасался к нему. Опросив сторожа и членов церковного совета, кюре Трюфем убедился, что после того как бога поместили над скамьей совета, в церковь никто не входил.

Священник почувствовал в этом нечто чудесное и всесторонне обдумал, как быть дальше.

В воскресной проповеди он призвал прихожан жертвовать на сооружение нового креста, более красивого и более достойного нести на себе искупителя мира.

Нищие сен-валерийские рыбаки дали столько денег, сколько могли, а вдовы принесли свои кольца, так что кюре Трюфем мог тотчас же поехать в Абвиль и заказать там черный деревянный крест, сверкающий лаком, с табличкой, где было написано золотыми буквами: INRI¹. Спустя два месяца его водрузили на месте первого, прибав к нему Христа, с копьем и губкою по сторонам.

Но, как и в первый раз, Иисус покинул крест: он сошел ночью и лег на алтаре.

Священник, найдя его там утром, упал на колени и долго молился. Слух о чуде разнесся повсюду, и амьенские дамы стали собирать пожертвования для Христа из Сен-Валери. Кюре Трюфем получил деньги и драгоценности из Парижа, жена морского министра г-жа де Невиль послала ему бриллиантовое сердечко. Располагаемая всеми этими богатствами, золотых дел мастер с улицы св. Сульпиция целых два года изготовлял крест из золота и драгоценных камней, который затем, на второе воскресенье после пасхи 18 ** года, был торжественно, с колокольным звоном внесен в сен-валерийскую церковь. Но тот, кто не отказался принять мученический крест, ушел с этого роскошного креста и снова лег на белом полотне алтаря.

На сей раз, боясь оскорбить, его уже не стали трогать. Так он оставался более двух лет, когда вдруг к кюре Трюфему пришел Пьер, сын Пьера Кайю, и сказал, что нашел на берегу настоящий крест спасителя.

Пьер был дурачок и, не умея зарабатывать себе на жизнь, питался подаянием; его любили, потому что он никогда не делал зла. Но говорил он так бессвязно, что его и не слушали.

Однако кюре Трюфем, который непрестанно раз-

¹ Иисус Назарянин, Царь Иудейский (*лат.*).

мышлял о чуде Христа Океана, был поражен тем, что сказал ему полоумный бедняга. Со сторожем и двумя членами церковного совета он отправился к месту, где мальчик видел крест. Он нашел две доски, скрепленные гвоздями, — их долго носило море, и они в самом деле лежали крест-накрест.

Это были остатки какого-то давнего крушения. На одной доске еще можно было различить буквы, выведенные черной краской: Ж и Л, — и всем стало ясно, что это обломки баркаса Жана Леноеля, пять лет тому назад погибшего в море со своим сыном Дезире.

Увидев это, церковный сторожа и члены совета посмеялись над дурачком, принявшим обломки баркаса за крест Иисуса Христа. Но кюре Трюфем их пристыдил. Он усердно размышлял и усердно возносил молитвы с того дня, как появился среди рыбаков Христос Океана, и тайна безграничного милосердия начала открываться священнику. Он тут же, на песке, стал на колени, прочел молитву о погибших и повелел сторожу и членам совета поднять обломки на плечи и снести их в церковь. Когда это было сделано, он приподнял Христа с алтаря, положил на доски от баркаса и собственноручно прибил гвоздями, изъеденными морской водой.

На следующий день он приказал водрузить это распятие над скамьей приходского совета, на месте креста из золота и драгоценных камней. Христос Океана больше не покидал своего места. Он остался на досках барки, в которой погибли люди, взывая к его имени и к имени его матери. И, приоткрыв священные скорбные уста, он, казалось, говорил: «Мой крест создан всеми страданиями человеческими, ибо поистине я — бог бедняков и несчастных».

ЖАН МАРТО

I

Сновидение

Говорили о сне и сновидениях, и Жан Марто сказал, что один сон оставил неизгладимое впечатление в его душе.

— Был ли он вещим? — спросил г-н Губен.

— Этот сон, — ответил Жан Марто, — ничем не был замечателен, даже своей бессвязностью. Но я воспринял его образы с болезненной, ни с чем не сравнимой остротой. Ничто в мире, ничто и никогда не было так ярко, так ощутимо, как видения этого сна. Этим-то он и примечателен. Мне стали понятны иллюзии мистиков. Если бы я не так твердо придерживался научных взглядов, я принял бы свой сон за апокалиптическое откровение, и стал бы выводить из него принципы поведения и правила жизни. Нужно сказать, что я видел этот сон при обстоятельствах необыкновенных. Дело было весной тысяча восемьсот девяносто пятого года; мне было двадцать лет. Я был новичком в Париже и переживал трудные времена. В ту ночь я расположился на опушке Версальского леса, уже сутки не имея ни крошки во рту. Это меня не удручало. Я ощу-

щал приятную легкость, но минутами меня охватывало какое-то смутное беспокойство. Я не то спал, не то бодрствовал. Маленькая девочка, совсем маленькая девчушка, в голубом капоре и белом передничке, опираясь на костыли, в сумерках шла по равнине. Костыли при каждом ее шаге удлинялись, и она как бы приподнималась на ходулях. Вскоре они сделались выше тополей, окаймлявших реку. Какая-то женщина, заметив мое удивление, сказала мне: «Разве вы не знаете, что весною костыли растут? Временами они растут прямо-таки с ужасающей быстротой».

Какой-то человек, лица которого я не мог разглядеть, добавил: «Это час величайшего роста!»

Тогда, со слабым и таинственным шумом, испугавшим меня, травы вокруг начали подниматься. Я сорвался с места и очутился на лугу, покрытом бесцветными растениями, увядшими, мертвыми. Я встретил там Вэрно, своего единственного парижского друга, который так же бедствовал, как и я. Мы долго молча шли рядом. Огромные тусклые звезды в небе напоминали бледно-золотые диски.

Я знал причину этого явления и объяснил ее Вэрно. «Это оптический обман, — сказал я ему. — Наш глаз не совершен».

И я, весьма подробно и чрезвычайно старательно, привел ряд доказательств, которые основывались главным образом на полном тождестве человеческого глаза и стекла телескопа.

Пока я поучал его таким образом, Вэрно нашел на земле, среди мертвенно-бледной травы, огромную черную шляпу в форме котелка, с золотыми галунами и алмазной пряжкой. Он сказал мне, примеряя шляпу: «Это шляпа лорда-мэра». — «Наверно», — ответил я ему.

И я продолжал свои доказательства. Они были столь сложны, что пот выступил у меня на лбу. Я ежеминутно терял нить своих рассуждений и без конца возвращался к той же фразе: «У огромных ящеров, плававших в теплых водах первозданных морей, были глаза, устроенные наподобие телескопа...»

Я остановился, только когда заметил, что Вэрно куда-то исчез. Я тотчас разыскал его в небольшом овражке. Он был насажен на вертел и жарился на костре из хвороста. Индейцы с завязанными на макушке волосами поливали его из огромной ложки и поворачивали вертел. Вэрно отчетливо сказал мне: «Мелани пришла».

Лишь тогда я заметил, что голова и шея у него — цыплячьи. Но я думал сейчас только о том, чтобы найти Мелани, так как знал, по внезапному озарению, что это — прекраснейшая из женщин. Я побежал к лесной опушке и там увидел в лунном сиянии ускользающий белый призрак. Великолепные огненные волосы струились по ее затылку. Серебристое мерцание окутывало ее плечи, голубая тень лежала во впадине, посреди ее сверкающей спины; и ямочки на бедрах, возникавшие и пропадавшие при каждом ее шаге, как будто божественно улыбались. Я ясно видел, как росла и сокращалась лазурная тень под ее коленями, всякий раз как она выпрямляла и снова сгибала ногу. Я заметил также розовые ступни ее ножек. Я гнался за ней долго, без усталости, шагом легким, как полет птицы. Но густой сумрак скрывал ее, а я, в непрестанной погоне, выбежал на дорогу, столь узкую, что маленькая плавильная печка загромождала ее целиком. Это была одна из тех печей с длинными коленчатыми трубами, которые обычно ставят в мастерских. Она накалилась добела. Дверца расплавилась, и чугун залил все вокруг. Короткошерстый кот сидел наверху и смотрел на меня. Приблизившись, я увидел сквозь трещины в его обожженной шкуре раскаленную массу расплавленного железа, наполнявшую его тело. Он замыкал, и я понял, что он хочет пить. Чтобы достать воды, я спустился по склону, поросшему молодыми березами и ясенями. Там, в глубине овражка, протекал ручеек. Но глыбы песчаника и заросли карликового дуба нависали над ним, и я не мог до него добраться. Пока я скользил по мшистым камням, моя левая рука совершенно безболезненно отделилась от плеча. Я подобрал ее другой рукой. Она была бесчувственна и холодна, прикосновение к ней было мне

неприятно. Я подумал, что теперь мне грозит опасность потерять ее и что до конца дней меня будут обременять беспрестанные заботы о ее сохранности. Я решил заказать ящик черного дерева и класть ее туда, когда не буду ею пользоваться. Я сильно продрог в сыром овраге и поэтому выбрался из него по едва заметной тропинке, которая привела меня на выбитое ветрами плоскогорье с печально склоненными деревьями. Там, по песчаной дороге, двигался крестный ход. Это было скромное сельское шествие, подобное крестному ходу в деревне Бресе, хорошо известной нашему учителю господину Бержере. Церковный причт, монахи, верующие не представляли собой ничего необычного, разве что за отсутствием ступней они передвигались на колесиках. Под балдахином я узнал господина аббата Лантэня, превратившегося в деревенского священника, — он плакал кровавыми слезами. Я хотел крикнуть ему: «Я — полномочный посол». Но слова застряли у меня в горле, а огромная тень, опустившись на меня, заставила поднять голову. Это был один из костылей маленькой хромоножки. Они вытянулись теперь на тысячи метров в небо, и девочка казалась черной точкой рядом с луной. Звезды еще увеличились и потускнели, и я различил среди них три шарообразных планеты, ясно видимых простым глазом. Мне показалось даже, что я узнал некоторые пятна на их поверхности. Но эти пятна не соответствовали изображениям Марса, Юпитера, и Сатурна, которые я видел недавно в астрономических атласах.

Мой друг Вэрно подошел ко мне, и я спросил, не видит ли он каналов на планете Марс. «Правительство пало», — сказал он мне.

Я увидел, что вертел, проткнувший его, не оставил на нем никаких следов, но у него по-прежнему были цыплячья голова и шея, и с него текла подливка. Я испытывал непреодолимую потребность изложить ему свою оптическую теорию и возобновил свои рассуждения с того места, где остановился. «У огромных ящеров, — сказал я, — плававших в теплых водах первозданных морей, были глаза, устроенные наподобие телескопа...»

Не слушая меня, он вскочил на церковный набой, находившийся в поле, открыл книгу антифонов * и запел петухом.

Выведенный из терпенья, я отошел от него и прыгнул в проходящий трамвай. Внутри я обнаружил обширную столовую, из тех, какие бывают в больших отелях и на океанских пароходах. Столы были уставлены хрусталем и цветами. Декорированные женщины и мужчины во фраках сидели повсюду, насколько видел глаз; люстры и канделябры создавали бесконечную перспективу света. Метрдотель предложил мне жаркого, и я взял порцию. Но мясо издавало зловоние, и кусок, который я поднес ко рту, вызвал у меня чувство тошноты. Впрочем, *я не был голоден*. Гости вышли из-за стола, прежде чем я успел хоть что-нибудь проглотить. Когда слуги начали выносить свечи, Вэрно подошел ко мне и сказал: «Ты не разглядел декорированную даму, сидевшую рядом с тобой? Это была Мелани. Посмотри-ка».

И, приподняв портьеру, он показал мне в ночном полумраке, под деревьями, окутанные белым сиянием плечи. Я выскочил наружу и бросился в погоню за чарующим видением. На этот раз я догнал ее, я ее коснулся. На мгновение я ощутил, как под моими пальцами затрепетало восхитительное тело. Но она выскользнула у меня из рук, и я обнял колючки.

Вот мой сон.

— Он действительно печален, — сказал г-н Бержере. — Если говорить языком простодушной Стратоники *.

Свой призрак собственный внушить способен ужас.

II

Закон мертв, но судьба жив

— Несколько дней спустя, — продолжал Жан Марто, — мне пришлось ночевать в чаше Венсенского леса. Я не ел в течение полутора суток.

Господин Губен протер стекла своих очков. У него зрение было слабое, но взгляд — твердый. Он испы-

тующе посмотрел на Жана Марто и сказал ему с упреком:

— Как? И на этот раз тоже вы не ели?

— На этот раз тоже, — ответил Жан Марто. — Но я был сам виноват. Не подобает оставаться без хлеба. Это неприлично. Голод должен считаться таким же преступлением, как бродяжничество. И в самом деле, оба преступления сливаются в одно, и статья двести шестьдесят девятая присуждает к тюремному заключению на срок от трех до шести месяцев лиц, не имеющих средств к существованию. Бродяжничество, говорится в своде законов, есть положение, присущее бродягам, темным личностям без определенных занятий, не имеющим ни постоянного места жительства, ни средств к существованию. Это — большие преступники.

— Примечательно, — сказал г-н Бержере, — что такой же образ жизни, как у бродяг, подлежащих шести месяцам тюрьмы и десяти годам надзора, добрый святой Франциск * предписывал своим собратям в обители святой Марии-с-ангелами; и если бы инокини из монастыря святой Клары, святой Франциск Ассизский и святой Антоний Падуанский * пришли бы нынче со своими проповедями в Париж, они сильно рисковали бы угодить в тюремную карету префектуры. Я это говорю не для того, чтобы разоблачить перед полицией нищенствующих монахов, которые всюду суют свой нос и теперь у нас кишмя кишат. Уж они-то имеют средства к жизни и берутся за всякое ремесло.

— Они пользуются уважением, потому что богаты, — сказал Жан Марто, — а нищенствовать запрещено только беднякам. Если бы меня нашли тогда под деревом, то посадили бы в тюрьму, и это было бы актом правосудия. Не владея ничем, я, уже на этом основании, должен был считаться врагом собственности, а защищать собственность от ее врагов — вполне справедливо. Священная обязанность судьи — утверждать за каждым его участь: за богатым — богатство, за бедным — бедность.

— Я размышлял над философией права, — сказал г-н Бержере, — и пришел к выводу, что все обществен-

ное правосудие покоится на двух аксиомах: кража преступна; добытое кражей — священо. Именно эти принципы укрепляют безопасность личности и поддерживают порядок в государстве. Если бы один из этих охранительных принципов был отвергнут, рухнуло бы все общество. Эти принципы были установлены на заре человечества. Вождь племени, одетый в медвежью шкуру, вооруженный каменным топором и бронзовым мечом, однажды вернулся со своими воинами в каменный загон, где были заперты дети вместе с толпой женщин и стадом северных оленей. Воины привели девушек и юношей соседнего племени и принесли с собой камни, упавшие с неба и драгоценные тем, что из них можно было делать негнущиеся клинки. Вождь взобрался на бугор в середине загона и сказал: «Эти рабы и это железо, отнятые мной у людей слабых и презренных, принадлежат мне. Кто протянет руку к добыче, падет от моего топора». Так возникли законы. Их дух — дух древний и варварский. Именно потому, что правосудие освящает все несправедливости, оно всем представляется залогом спокойствия.

Судья может быть добр, ибо не все люди злы; закон не может быть добр, ибо возник он раньше, чем всякая идея добра. Изменения, которые вносились в него на протяжении веков, не повлияли на его исконный характер. Законоведы сделали его гибким, но сущность его осталась варварской. Его почитают, он кажется священным именно в силу своей жестокости. Люди склонны поклоняться злым богам, и то, что не жестоко, не кажется им достойным уважения. Подсудимые верят в справедливость законов. У них та же мораль, что и у судей, они тоже думают, что если кто наказан, то он уже тем самым достоин наказания. Я часто имел случай наблюдать в суде исправительной полиции или в суде присяжных, что обвиняемый и судья совершенно сходятся в своих взглядах на добро и зло. У них одни и те же предрассудки и одинаковая мораль.

— Иначе и быть не может, — сказал Жан Марто. — Бедняк, укравший с прилавка сосиску или пару башмаков, не предавался ради этого углубленным и сме-

лым размышлениям над истоками права и основами правосудия. А те, кто, подобно нам, не боятся усмотреть в основе свода законов освящение насилия и несправедливости, — те неспособны украсть ни сантима.

— Но все же есть и справедливые законы, — сказал г-н Губен.

— Вы думаете? — спросил Жан Марто.

— Господин Губен прав, — сказал г-н Бержере. — Есть и справедливые законы. Но закон, установленный для защиты общества, по самому духу своему не может быть более справедливым, чем это общество. Поскольку общество покоится на несправедливости, — законы обязаны защищать и поддерживать несправедливость. И чем более они будут несправедливыми, тем более будут казаться достойными уважения. Заметьте также, что законы — по большей части древнего происхождения и в них запечатлена не столько несправедливость наших дней, сколько несправедливость прошлого, еще более тяжкая и грубая. Это — памятники жестоких времен, сохранившиеся до менее мрачной поры.

— Но их исправляют, — сказал г-н Губен.

— Их исправляют, — подтвердил г-н Бержере. — Палата депутатов и сенат занимаются этим, когда им нечего делать. Но варварская сущность законов остается. По правде сказать, я не слишком боялся бы дурных законов, если б их применяли хорошие судьи. Говорят, что закон непреклонен. Я не верю этому. Нет такой статьи закона, которую нельзя было бы смягчить. Закон мертв. Судья жив, — и в этом его огромное преимущество. К несчастью, он им почти не пользуется. Обычно судья бывает более мертвым, холодным и бесчувственным, чем статьи, которые он применяет. Он лишен человечности; он чужд сострадания. Сословный дух совершенно уничтожил в нем сочувствие к людям.

А ведь я говорю только о честных судьях.

— Таковых громадное большинство, — сказал г-н Губен.

— Таковых громадное большинство, — подтвердил г-н Бержере, — если оценивать их честность с точки зрения общепринятой морали. Но достаточно ли быть

относительно честным человеком, чтобы осуществлять, без ошибок и злоупотреблений, чудовищное право наказывать? Хороший судья должен одновременно обладать философским умом и природной добротой. А это значит слишком много спрашивать с человека, который делает карьеру и хочет выдвинуться. К тому же, придерживаясь более высоких нравственных норм, чем принято в его время, судья станет ненавистен своим собратьям и вызовет всеобщее возмущение. Ибо мы называем безнравственностью всякую мораль, которая расходится с нашей. Всем, кто вносит в мир хоть немного доброты, порядочные люди платят презрением. Так произошло с председателем суда Маньо *.

Вот его суждения, собранные в небольшом томике, с комментариями Анри Лейре *. Когда эти суждения были обнародованы, они возмутили строгих судей и добродетельных законодателей. Они свидетельствуют о высочайшем уме и чрезвычайно мягком сердце. Они полны сострадания, они человечны, они добродетельны. В судейских кругах решили, что председатель суда Маньо не способен юридически мыслить, а друзья господина Мелина * обвинили его в недостатке уважения к собственности. И действительно, те «принимая во внимание», на которые опирались судебные решения господина председателя суда Маньо, необыкновенны: ибо там в каждой строчке видны свободный ум и великодушное сердце.

Господин Бержере, взяв со стола красный томик, полистал его и прочел:

Честность и неподкупность суть две добродетели, гораздо легче проявляемые, если вы ни в чем не нуждаетесь, чем если у вас ничего нет.

* * *

То, чего нельзя избежать, не должно быть наказуемо.

* * *

Чтобы справедливо судить о проступке бедняка, судья должен на мгновение забыть о своем собственном благосостоянии и поставить себя на место этого жалкого существа, покинутого всеми.

* * *

При истолковании закона судья должен заботиться не только о частном случае, подлежащем его рассмотрению, но и о тех полезных или вредных последствиях, которые может иметь его приговор в более широком смысле.

* * *

Лишь рабочий производит, и он подвергает опасности свое здоровье или жизнь исключительно ради выгоды предпринимателя, который рискует только своим капиталом.

— И ведь я цитировал почти наугад, — добавил г-н Бержере, захлопывая книгу- — Вот новое слово, в котором звучит великая душа!

ГОСПОДИН ТОМА

Я знал одного сурового судью. Его звали Тома де Молан, и принадлежал он к мелкому провинциальному дворянству. Он посвятил себя исполнению судебных обязанностей в период президентства маршала Мак-Магона *, в надежде в один прекрасный день творить правосудие именем короля. У него были принципы, которые он мог бы считать непоколебимыми, ибо никогда не задумывался над ними. Ведь как только коснешься принципа, сразу найдешь в нем какой-нибудь изъян и заметишь, что это вовсе не принцип. Тома де Молан тщательно прятал от собственной любознательности свои религиозные и социальные принципы.

Он был судьей первой инстанции в городишке Х***, где я тогда жил. Внешность его внушала уважение и даже некоторую симпатию. Длинное сухое туловище — кожа да кости, желтое лицо. Полнейшая простота придавала всему его облику что-то величественное. Он приказывал называть себя господином Тома, — не из пренебрежения к своему дворянскому званию, но потому, что считал себя слишком бедным, чтобы поддерживать его. Я был довольно близко знаком с ним и знал, что внешнее впечатление не обманчиво и что, при своем скудном уме и вялом темпераменте, он обладал возвышенной душой. Я открыл в нем высокие нравственные

достоинства. Но, имея возможность наблюдать, как он исполнял свои обязанности следователя и судьи, я заметил, что сама его безукоризненная честность и глубокое сознание своего долга делали его бесчеловечным и порой лишали всякой прозорливости. Так как он был крайне набожен, то идея греха и искупления, незаметно для него самого, подавляла в его сознании идею преступления и наказания, и он карал виновных несомненно с приятной мыслью об очищении их душ. В человеческом правосудии он видел слабое, но все-таки прекрасное подобие правосудия божественного. Ему вдолбили в детстве, что страдание — благо, что оно само в себе заключает достоинства, добродетель, что оно есть искупление. Он твердо верил в это и считал, что преступник имеет право на страдание. Он любил карать. Это было следствием его доброты. Привыкнув благодарить бога за то, что он ниспосылает ему зубную боль и печеночные колики в наказание за грех Адама и ради вечного спасения, он присуждал бродяг и праздношатающихся к тюрьме и штрафу, словно бы оказывал им благодеяние и помощь. Философию законов он извлекал из своего катехизиса и был беспощаден в прямоте и простоте своей мысли. Нельзя было назвать его жестоким. Но, не будучи чувственным, он не был и чувствительным. Человеческое страдание не было для него понятием конкретным и материальным, а лишь чистой идеей — нравственной и догматической. У него было несколько мистическое пристрастие к системе одиночного заключения, и с нескрываемой радостью в душе и во взгляде он показал мне однажды прекрасную тюрьму, только что выстроенную в его участке: нечто белое, чистое, безмолвное, грозное; камеры по кругу, а надзиратель — в центре, на вышке. Это имело вид лаборатории, выстроенной сумасшедшими для производства сумасшедших. И что за мрачные сумасшедшие сами изобретатели одиночек, желающие исправить преступника при помощи такого образа жизни, который превращает его в тупицу или зверя! Г-н Тома рассуждал иначе. Он молча и удовлетворенно рассматривал эти ужасные клетки. У него была своя тайная мысль: он думал, что заключенный никогда не бывает

один, потому что бог пребывает с ним. И его спокойный, довольный взгляд говорил: «Я оставил там пятерых или шестерых наедине с их создателем и вечным судьей. Нет на свете участи более завидной».

Этот чиновник производил расследования по некоторым делам, и, между прочими, по делу одного учителя. Светская и церковная школа находились тогда в состоянии открытой войны. Когда республиканцы выступили с разоблачением невежества и грубости монахов, местный клерикальный листок обвинил одного из светских учителей в том, что он посадил ребенка на раскаленную печку. Обвинение нашло поддержку среди сельской аристократии. Пошли всякие рассказы об этом преступлении и его возмутительных подробностях, и молва привлекла к нему внимание правосудия. Г-н Тома, как честный человек, никогда не потворствовал бы своим пристрастиям, если бы знал, что это были пристрастия. Но он воспринимал их как веления долга, поскольку они носили религиозный характер. Он считал своим долгом принимать жалобы на безбожную школу, но не замечал, что принимает их с крайней поспешностью. Я должен сказать, что он расследовал дело с необычайной тщательностью и бесконечным прилежанием. Он вел следствие согласно обычным правилам правосудия и добился замечательных результатов. Тридцать школьников, старательно допрошенных, отвечали ему вначале плохо, затем — лучше, наконец — очень хорошо. После месяца допросов они отвечали столь удачно, что все давали один и тот же ответ. Тридцать свидетельских показаний совпали, они были тождественны, схожи слово в слово, и те дети, которые в первый день говорили, что ничего не видели, заявили теперь в один голос, в одних и тех же выражениях, что их маленький товарищ был посажен голым задом на раскаленную печку. Судья г-н Тома уже готов был радоваться столь блистательному успеху, но учитель привел неопровержимые доказательства, что в школе никогда не было печки. Г-н Тома возымел тогда некоторое подозрение, что дети лгали. Но он и не заметил, что сам, не желая того, внушил им и заставил заучить наизусть их показания.

Дело было прекращено за отсутствием улик. Учитель был отпущен домой после сурового внушения судьи, который горячо рекомендовал ему на будущее сдерживать свои зверские инстинкты. Малыши, ученики монахов, устроили кошачий концерт перед его опустевшей школой. Когда он выходил из дому, они кричали ему: «Эй ты! Поджарь-Зад!» — и бросали в него камнями. Инспектор начальных школ, узнав о таком положении вещей, сообщил по начальству, что этот учитель не пользуется авторитетом у своих учеников, и высказался за его немедленное перемещение. Учитель был послан в деревню, где говорили на местном наречии, которого он не понимал. Его и там звали Поджарь-Зад. Это было единственное французское выражение, которое там усвоили.

Постоянно общаясь с г-ном Тома, я узнал, почему получается, что свидетельские показания, собранные должностными лицами, обладают все одним и тем же стилем. Он принял меня в своем кабинете, где, с помощью секретаря, вел допрос какого-то свидетеля. Я хотел было уйти, но он попросил меня остаться, ибо мое присутствие ничуть не могло помешать нормальному отправлению правосудия.

Я уселся в углу и стал слушать вопросы и ответы.

— Дюваль, вы ведь видели обвиняемого в шесть часов вечера?

— Так что, господин судья, жена моя была у окошка. Ну, она мне и сказала: «Вон Соккардо идет!»

— Его присутствие под вашими окнами показалось ей достойным внимания, почему она и сочла нужным сообщить вам об этом. А вам намерения обвиняемого не казались подозрительными?

— Вот значит как, господин судья. Жена мне сказала: «Вон Соккардо идет!» Тогда я посмотрел и сказал: «И верно! Это Соккардо!»

— Ну, так! Секретарь, пишите: «В шесть часов пополудни супруги Дюваль заметили обвиняемого, который бродил вокруг дома с подозрительными намерениями».

Господин Тома задал еще несколько вопросов этому свидетелю, простому поденщику; полученные ответы

он продиктовал секретарю в переводе на юридический жаргон. Затем свидетелю были прочитаны его показания, он подписался, поклонился и вышел.

— Почему бы вам, — спросил я тогда, — не протоколировать свидетельские показания в том виде, в каком они были сделаны, вместо того чтобы переводить их на язык, чуждый свидетелю?

Господин Тома посмотрел на меня с удивлением и ответил спокойно:

— Не знаю, что вы имеете в виду. Я протоколирую свидетельские показания с наивозможной точностью. Все судейские так делают. И в анналах магистратуры нельзя найти ни одного примера свидетельских показаний, искаженных или урезанных судьей. Если в соответствии с обычаем, установленным среди моих коллег, я изменяю самые слова, употребленные свидетелями, — это потому, что свидетели вроде Дюваля, которого вы только что слышали, скверно излагают свои мысли и правосудие унизило бы свое достоинство, протоколируя без особой необходимости выражения неправильные, вульгарные и зачастую грубые. Но, милостивый государь, вы, я полагаю, недостаточно учитываете условия, в каких протекает судебное следствие. Не нужно упускать из виду, какую цель ставит перед собой следователь, протоколируя и группируя свидетельские показания. Ведь он должен не только сам уяснить себе обстоятельства дела, но и разъяснить их суду. Недостаточно, чтобы все прояснилось в вашей голове; необходимо, чтоб свет проник и в головы судей. Следует выявить улики, иногда таящиеся в путаном и многословном рассказе свидетеля, равно как и в уклончивых ответах обвиняемого. Если бы все это не записывалось в особом порядке, то доказательства, даже наиболее веские, показались бы неубедительными, и большинство преступников избежало бы кары.

— Но разве нет опасности в самом этом уточнении нечетких мыслей свидетеля?

— Эго могло бы иметь место, если бы судьи не были добросовестны. Но я не знал еще ни одного судьи, который бы не обладал высоким сознанием своего долга.

А между тем я заседал вместе с протестантами, деистами и иудеями. Но они были судьями.

— Во всяком случае, господин Тома, ваш способ вести процесс имеет одно неудобство, а именно то, что свидетель, когда вы ему читаете его показания, почти не может их понять, так как вы вводите туда выражения ему непривычные, смысл которых от него ускользает. Что понимает этот поденщик в вашем выражении «подозрительные намерения»?

Он живо возразил мне:

— Я думал об этом и предусматриваю подобную опасность. Я сейчас вам приведу пример. Недавно один свидетель, человек весьма ограниченного ума и нравственность коего мне неизвестна, был невнимателен, когда секретарь читал его собственные показания. Призвав свидетеля к сугубому вниманию, я велел прочитывать их вторично. Я заметил, что ничего не достиг. Тогда я употребил хитрость, чтобы внушить ему правильное понятие о его долге и ответственности. Я продиктовал секретарю последнюю фразу, которая противоречила всем предыдущим. И дал свидетелю подписаться. В тот момент, когда он поднес перо к бумаге, я схватил его за руку: «Несчастный! — вскричал я. — Вы хотите подписать показания, противоречащие тем, которые вы только что сделали, и таким образом совершить уголовное преступление».

— И что же он вам сказал?

— Он ответил мне жалобно: «Господин судья, вы ведь учение меня, вы лучше знаете, как писать». Вы видите, — добавил господин Тома, — что судья, добросовестно выполняющий свои обязанности, огражден от всякой возможности ошибки. Поверьте, милостивый государь, судебная ошибка — это басня.

ДОМАШНЯЯ КРАЖА

*Анри Моно **

Лет десять тому назад мне случилось побывать в одной женской тюрьме. Это был старинный замок, выстроенный еще при Генрихе IV и возвышавший свои остроконечные шиферные крыши над невзрачным южным городком, расположенным на берегу реки.

Начальник тюрьмы достиг уже того возраста, когда начинают подумывать об отставке. Парик у него был черный, а борода седая. Это был своеобразный начальник. Он самостоятельно мыслил и был человечен. Он не питал иллюзий относительно нравственности трехсот своих подопечных, хотя отнюдь не полагал, чтобы она была намного ниже, чем у каких-нибудь других трех сотен женщин, взятых наугад в любом городе.

«Здесь все так же, как везде», — казалось, говорил мне его усталый, мягкий взгляд.

Когда мы проходили по тюремному двору, длинная вереница женщин заканчивала свою молчаливую прогулку и возвращалась в мастерские. Тут было немало старух с грубыми и хитрыми лицами. Сопровождавший нас тюремный врач, мой добрый знакомый, указал мне на то характерное явление, что почти все эти женщины отличаются физическими недостатками, что среди них часто встречаются косоглазые, что все они дегенератки

и лишь немногие среди них не отмечены признаками преступности или по крайней мере порочности.

Начальник тихо покачал головой, и я понял, что он не очень-то доверяет теориям медиков-криминалистов и остается при убеждении, что виновных в нашем обществе не всегда отличишь от невиновных.

Он повел нас в мастерские. Мы увидели, как работают булочницы, прачки, белошвейки. Казалось, труд и чистота доставляли им что-то похожее на радость. Ко всем этим женщинам начальник относился хорошо. Самые тупые, самые злобные не могли поколебать его терпения и доброжелательности. Он полагал, что нужно многое прощать людям и не следует слишком много спрашивать даже с преступниц. Вопреки обыкновению, он не требовал от воровок и сводень, чтобы они стали безупречными только потому, что их постигла кара. Не очень-то доверяя исправительной силе наказаний, он и не помышлял превратить тюрьму в школу добродетели. Он не думал, что людей можно сделать лучше, заставляя их страдать, и как мог облегчал страдания этим несчастным. Не знаю, насколько он был религиозен, но идее искупления он не придавал никакого нравственного смысла.

— Я толкую устав, прежде чем его применять, — сказал он мне. — И сам объясняю его заключенным. Устав предписывает, например, абсолютную тишину. Но если бы они буквально соблюдали полную тишину, то все стали бы либо идиотками, либо сумасшедшими. Я думаю, я обязан думать, что ведь не этого добивается устав. Я им говорю: «Устав предписывает вам соблюдать тишину. Что это значит? Это значит, что надзирательницы не должны вас слышать. Если вас услышат, вы будете наказаны; если не услышат, вас не в чем будет упрекнуть. Я не могу привлекать вас к ответу за ваши мысли. Если ваши разговоры произведут не больше шума, чем ваши мысли, я не буду привлекать вас к ответу за ваши разговоры». И, предупрежденные таким образом, они приучаются разговаривать как бы беззвучно. Они не сходят с ума, и устав соблюден.

Я спросил, одобряет ли вышестоящее начальство такое толкование устава.

Он ответил, что инспекторы часто делали ему замечания, но тогда он вел их к наружной двери и говорил: «Видите эту решетку? Она деревянная. Будь здесь мужчины, через неделю ни одного бы не осталось. Женщины не помышляют о побеге. Но все же надо остерегаться и не приводить их в ярость. Уже сам тюремный режим неблагоприятен для их физического и морального состояния. Я отказываюсь отвечать за них, если будет введена еще и пытка молчанием».

Затем мы посетили лазарет и спальни, устроенные в больших залах, выбеленных известкой, где от былого великолепия остались только монументальные каминные из серого камня и черного мрамора, увенчанные горельефами величественных Добродетелей. Статуя Правосудия, изваянная в 1600 году каким-то итальянским фламандским скульптором, — с обнаженной грудью и с выступающим из разреза туники бедром, держала в толстой руке перекошенные весы, чашки которых звякали одна о другую, как цимбалы. Эта богиня нацелилась острием своего меча прямо на маленькую больную, совсем, казалось, девочку, лежавшую в железной кровати на тюфяке, тонком, как сложенное полотенце.

— Ну как? Лучше? — спросил доктор.

— О да, сударь, гораздо лучше.

И она улыбнулась.

— Ну вот, будьте умницей, и вы поправитесь.

Она посмотрела на врача своими большими глазами, полными радости и надежды.

— Да, она была очень больна, эта малышка, — сказал доктор.

И мы пошли дальше.

— За какой проступок ее осудили?

— Не за проступок, за преступление.

— Ах, так?

— За детоубийство.

Пройдя длинный коридор, мы вошли в маленькую комнату, довольно веселенькую, всю заставленную шкафами. Ее окна без решеток выходили на волю. Молодая женщина, очень красивая, сидела за столом и писала. Стоя возле нее, другая, прекрасно сложенная,

искала ключ в связке, подвешенной к поясу. Я подумал было, что это дочери начальника тюрьмы. Он мне сказал, что это заключенные.

— Разве вы не видели, что они в тюремной одежде?

Я этого не заметил, — вероятно потому, что одежда сидела на них не так, как на других.

— Их платья лучше сшиты, а чепчики поменьше, чем у других, так что видны волосы.

— Дело в том, что очень трудно помешать женщине показывать свои волосы, если они красивы, — ответил старый начальник. — Обе эти женщины подчиняются общему режиму и должны работать.

— Что они делают?

— Одна архивариус, другая библиотекарь.

Нечего было и спрашивать: это были «жертвы любви». Начальник не скрыл от нас, что преступник он предпочитает простым правонарушителям.

— Я знаю преступниц, — сказал он, — как бы совершенно не причастных к своему преступлению. Оно было в их жизни словно какой-то молнией. Они способны быть прямыми, мужественными и благородными. О моих воровках я бы этого не сказал. Их проступки, всегда посредственные и заурядные, составляют основу их существования. Они неисправимы. Низость, толкнувшая их на недостойные дела, постоянно проявляется в их поведении. Наказание они получают относительно мягкое, и так как физически и морально они мало чувствительны, то обычно легко его переносят.

Но нельзя сказать, — поспешно добавил он, — что все эти несчастные вовсе не заслуживают жалости и внимания. Чем больше я живу, тем больше замечаю, что нет виноватых, а есть только несчастные.

Он ввел нас в свой кабинет и велел смотрителю привести заключенную № 503.

— Вот для вас случай, — сказал он, — увидеть настоящий спектакль, отнюдь не подстроенный заранее, прошу вас поверить, и способный внушить вам, быть может, новые мысли о проступках и наказаниях. То, что вы увидите и услышите, я видел и слышал сто раз в моей жизни.

В кабинет вошла заключенная в сопровождении надзирательницы. Это была молодая крестьянка, довольно красивая, с виду простоватая, недалекая и кроткая.

— У меня для вас приятная новость, — сказал ей начальник. — Господин президент Республики, узнав о вашем хорошем поведении, снимает с вас остаток наказания. В субботу вы выходите из тюрьмы.

Она слушала, приоткрыв рот, сложив руки на животе. Но мысли туго проникали в ее голову.

— В следующую субботу вы выйдете из этого дома. Вы будете свободны.

На этот раз она поняла и, как бы в отчаянии, всплеснула руками; губы у нее задрожали.

— Правда? Мне надо уходить? Что же со мной будет-то? Тут меня кормили, одевали и все такое... Не могли бы вы сказать этому доброму господину, что уж лучше бы мне тут оставаться?

С мягкой настойчивостью начальник растолковал ей, что нельзя отказываться от павшей на нее милости. Затем он предупредил ее, что при уходе она получит известную сумму — десять или двенадцать франков.

Она вышла, вся в слезах.

Я опросил, что такая могла сделать?

Он перелистал книгу:

— Номер пятьсот три. Была работницей у деревенских хозяев... Украла у них нижнюю юбку... Домашняя кража... А знаете, закон строго карает домашнюю кражу.

ЭДМЕ, ИЛИ УДАЧНО ПОДАННАЯ МИЛОСТЫНЯ

А. Ардюэну

Ортер, основатель «Звезды», политический и литературный редактор «Национального обозрения», а также иллюстрированного листка «Новый век», — Ортер, принимая меня в своем кабинете, сказал мне из глубины своего редакторского кресла:

— Дорогой Марто, напишите рассказ для специального номера моего «Нового века». Триста строчек. Новгодний рассказ. Что-нибудь легонькое, с привкусом аристократичности.

Я ответил, что вряд ли способен на что-либо подобное, особенно в том духе, как он предлагает, но какой-нибудь рассказик дам охотно.

— Мне бы хотелось, чтобы он назывался «Рассказ для богатых», — сказал Ортер.

— Я предпочел бы «Рассказ для бедных».

— Именно то, что я думаю! Рассказ, внушающий богатым жалость к беднякам.

— Правду сказать, не люблю, когда богатые жалеют бедных.

— Странно!

— Ничуть не странно и согласуется с наукой. По моему мнению, жалость богача к бедняку оскорбительна и противоречит тому, что все люди братья.

А если вы хотите, чтобы я обратился к богатым, то я им скажу: «Избавьте бедняков от вашей жалости — они в ней не нуждаются. Почему жалость, а не справедливость? Вы перед ними в долгу. Так рассчитайтесь! Тут не место чувствам. Это — вопрос экономики. Если ваше подаяние служит лишь тому, чтобы закрепить за вами богатство, а за ними бедность, то дар ваш — дар несправедливый, и слезы, подмешанные к нему, не помогут вам расплатиться. «Надо возмещать», как сказал судья прокурор после проповеди доброго брата Майара *. Вы подаете милостыню, чтобы не возмещать. Даете мало, чтобы удержать много, и довольны собой. Так тиран Самосский бросил морю свой перстень. Но ведь божественная Немезида не приняла его дара. Рыбак принес тирану его перстень, скрытый во внутренностях рыбы. И Поликрат лишился всех своих богатств».

— Вы, я вижу, в шутовском настроении.

— Совсем нет. Я хочу разъяснить богатым, что они великодушны по дешевке и благотворительствуют по сниженному тарифу, что они только заигрывают с теми, перед кем в долгу, тогда как дело есть дело. Такое суждение может им быть полезно.

— И вы собираетесь с подобными идеями выступать в «Новом веке» и погубить наш листок? Только не это! Дорогой мой, только не это!

— Зачем вам нужно, чтобы богатый держал себя с бедняками иначе, чем с состоятельными и власть имущими? Им он выплачивает то, что должен, а когда ничего не должен, так ничего и не платит. В этом честность. Если он честен, пускай поступает так же и с бедняками. И не говорите, что богатые не в долгу перед бедняками. Убежден, что никто из богатых так не думает. Каковы размеры долга — вот где начинаются сомнения. Уточнять не торопятся. Предпочитают неясность. Знают, что должны. Но не знают, сколько должны, — и время от времени делают небольшой взнос. Это зовется благотворительностью, и это выгодно.

— Но то, что вы говорите, милейший коллега, лишено здравого смысла. Я, быть может, более социалист, чем вы, но я практичен. Облегчите страдания, поддержите чью-то жизнь, исправьте частицу социальных

несправедливостей — вот уже нечто. Не много добра, — но оно сделано. Это не все, но это кое-что. Если рассказик, которого я у вас прошу, умилит сотню моих богатых подписчиков и пробудит в них щедрость, то это уже в какой-то мере победа над горем и страданием. Так мало-помалу положение бедняков и станет более сносным.

— А хорошо ли, чтобы положение бедняков становилось сносным? Бедность — непереносимое условие существования богатства, богатство — бедности. Одно зло порождается другим, одно возможно благодаря другому. Не нужно улучшать положение бедняков, нужно уничтожить бедность. Не буду я внушать богатым милосердия, потому что их подаяние отравляет, потому что милостыня приносит пользу тому, кто дает, и вред тому, кто получает, словом — потому, что богатство по своей сущности черство и жестоко и незачем придавать ему видимость доброты. Раз уже вы хотите получить от меня рассказ для богатых, могу им сказать: «Ваши бедняки — это ваши псы, которых вы подкармливаете, чтобы они кусали. Для собственников призрешаемые — это свора, лающая на пролетариев. Богатые подают только тем, кто просит. Трудящиеся не просят ничего. И ничего не получают».

— Но сироты, калеки, старики?..

— Они имеют право жить. Я не стану вызывать к ним жалость, я напому об этом праве.

— Все это теория! Вернемся к действительности. Вы приготовите рассказик и можете подпустить в него чуточку социализма. Социализм теперь в моде, это своего рода хороший тон. Я говорю, конечно, не о социализме Гэда или Жореса *, а о том благопристойном социализме, который люди опытные так умно и кстати противопоставляют коллективизму. Выведите-ка в вашем рассказе молодые персонажи. Ведь будут иллюстрации, а публике нравится только изящное. Пусть там фигурирует молодая девица, очаровательная молодая девица. Это не трудно.

— Да, не трудно.

— А не ввести ли в рассказ еще маленького трубочиста? У меня есть подходящая иллюстрация — цвет-

ная гравюра. Молодая девица на ступенях церкви святой Магдалины подает милостыню маленькому трубочисту. Вот случай пустить гравюру в ход... Снег, мороз, хорошенькая барышня подает милостыню маленькому трубочисту. Представляете себе?

— Представляю.

— Вышьете по этой канве?

— Вышью. Трубочистик в порыве признательности бросается на шею миловидной барышне — как оказывается, единственной дочери графа де Линота. Он целует ее и сажей отпечатывает на щеке изящного дитяти прелестное «О», совсем кругленькое и черненькое. Он любит ее. Эдме (ее зовут Эдме) не безразлична к столь искреннему, столь непосредственному чувству... Мне кажется, сюжет довольно трогательный.

— Да... пожалуй, у вас получится.

— Что же, тогда продолжаю... Вернувшись в роскошную квартиру на бульваре Мальзерб, Эдме впервые испытывает какое-то отвращение к воде и мылу: ей хотелось бы сохранить на своей щеке отпечаток губ, которые ее коснулись. Между тем юный трубочист следовал за ней до самого дома и стоит в экстазе под окнами обожаемой девицы... Это подходит?

— Гм... да...

— Слушайте дальше. Наутро Эдме, лежа в белоснежной постельке, видит, как из камина появляется трубочистик. В простоте души он бросается на прелестное дитя и испещряет ее маленькими «О» из сажи, такими кругленькими-кругленькими. Я забыл вам сказать, что он удивительно красив. Графиня де Линот застаёт его за этим милым занятием. Она кричит, она зовет на помощь. Он настолько увлекся, что ничего не видит и не слышит.

— Но, дорогой Марто...

— Ничего не видит и не слышит... Вбегает граф. У него благородная душа дворянина. Он хватает трубочистика за штаны, за самую серединку, как раз представляющуюся его глазам, и выбрасывает за окошко.

— Но, дорогой Марто...

— Сейчас кончу... Девять месяцев спустя маленький трубочист женится на благородной девице. И весьма

вовремя. Таковы последствия удачно поданной милостыни.

— Мой дорогой Марто, вы достаточно поиздевались надо мной.

— Ничуть. Кончаю. Вступив в брак с мадемуазель де Линот, маленький трубочист стал графом де Пап и разорился на скачках. Теперь он печник на улице Гетэ, на Монпарнасе. Его жена сидит в лавке я продает железные печурки по восемнадцать франков за штуку, с рассрочкой на восемь месяцев.

— Дорогой Марто, это скучно.

— Осторожнее, дражайший Ортер. Мой рассказ, в сущности, то же самое, что «Падение ангела» Ламартина или «Элоа» Альфреда де Виньи *. И, по совести говоря, он стоит большего, чем все ваши слезливые историйки, внушающие людям, что они добры (а они совсем не добры), что они творят добро (хотя это вовсе не так), что им легко быть благодетелями (хотя это труднее всего на свете). В моем рассказе есть мораль. Более того, он жизнерадостен и хорошо кончается. Ибо Эдме нашла в лавке на улице Гетэ счастье, которого тщетно искала бы среди развлечений и празднеств, выйди она замуж за какого-нибудь дипломата или офицера...

Что же, решайте, дорогой редактор: берете вы «Эдме, или Удачно поданную милостыню» для «Нового века»?

— У вас такой вид, будто вы спрашиваете серьезно!

— Я и спрашиваю серьезно. Не хотите моего рассказа, — напечатаю в другом месте.

— Это где же?

— В буржуазном листке.

— Весьма сомневаюсь.

— Вот увидите! ¹

¹ Газета «Фигаро», выходящая под редакцией г-на де Роде, напечатала рассказ «Эдме, или Удачно поданная милостыня». Следует добавить, что она предложила своим читателям эту вещичку на Новый год. (Примечание автора.)

ПЬЕСЫ

Переводы

С. Г. Вышеславцевой, Е. А. Гунста, И. С. Татариновой
под редакцией *В. А. Дынник*

Чем черт не шутит!

Комедия в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Жермена
Сесиль
Нележ
Жак Шамбри
Франсуа

ГОСТИНАЯ В ПАРИЖЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Жермена, потом Сесиль.

Жермена (*одна, пишет*). «...Акроклиниум розовый, одна дюжина; акроклиниум махровый, белый, две дюжины... Альпийские цветы — совсем мелкие. Чтобы подобрать цветы, мне нужно знать: собираетесь вы сажать их на северную сторону или на южную...»

Сесиль (*входит*). Здравствуй, Жермена. Мне повезло: ты еще не улетела.

Жермена. Здравствуй, Сесиль. Ты хочешь сказать мне что-нибудь?

Сесиль. Нет, ничего... ничего особенного... просто так... Кончай письмо.

Жермена. Всего две строчки дописать... (*Пишет.*) «Эксвольция калифорнийская, мандариновая, розовая...»

Сесиль. Боже мой, что это такое?

Жермена. Это цветок, дорогая, прелестный цветочек — белый с розовым отливом. (*Пишет.*) «Гелиотроп, броваль Червяковского».

Сесиль. Господи, на каком это языке ты переписываешься?

Жермена. На языке садоводов... Я пишу Адальберу; он просит меня выбрать цветы для его сада. Вот уже пять лет, весною, он присылает мне трогательное письмо одного и того же содержания: «Дорогая Жермена, когда мой бедный брат был жив, вы выбирали цветы для садов Сельи. Выберите их и теперь, когда Сельи принадлежит мне. У вас столько вкуса!» Он находит, что у меня хороший вкус. Я не могу отказать ему. Но что бы я ни делала — сады Сельи не станут лучше...

Сесиль. Почему?

Жермена (*запечатывая письмо*). Сама не знаю. Тут нужен особый дар. Сескурам вообще ничего в жизни не удается. У моего мужа была одна только страсть: лошади. И в его конюшнях всегда что-нибудь не ладилось. Адальбер любит цветы — а цветы не хотят для него расти.

Сесиль. Ты думаешь?

Жермена. Уверена.

Сесиль. Но твой муж был гораздо умнее Адальбера.

Жермена. Ты хочешь сказать мне приятное или действительно так думаешь?

Сесиль. О, я знаю, он не был совершенством. Он не был из ряду вон выходящим мужем. Ты заслуживала лучшего. Но у меня на этот счет особый взгляд. Женщине вовсе не нужен благополучный брак. Наоборот: счастливый брак становится в конце концов помехой... Уверяю тебя... Помехой всему. Вот, например, у меня муж...

Жермена. Прелесть! Твой муж — просто прелесть.

Сесиль. Прелесть! Ну, вот — это-то всему и помешало... всему. И я порой думаю, что в плохом браке есть хорошие стороны. Он не служит препятствием на жизненном пути. Все тогда возможно, на все можно надеяться. Это упоительно!..

Жермена. Сегодня у тебя, дорогая, очень странные мысли. Скажи уж прямо, как Жак Шамбри, что женщина выходит замуж, чтобы получить свободу действий.

Входит Налож.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Налез.

Налез (*г-же де Сескур*). Сударыня... (*Г-же Лаверн*.) Сударыня моя... (*Здоровается.*)

Сесиль. Господин де Налез!.. Я думала, вы у себя в лесах...

Налез. Я прямо из лесу, сударыня. Я приехал вчера.

Сесиль. Ваш первый визит — госпоже де Сескур. Я требую второй — себе.. Прямо отсюда приезжайте ко мне. Вы застанете моего мужа, который любит вас день ото дня все больше, и скоро уже не сможет без вас обходиться... Это, однако, вовсе не значит... Покидаю вас. У меня еще несколько совершенно необходимых визитов — к людям, которых я не знаю. До свиданья! Обменяйтесь возвышенными мыслями, а если разговор зайдет обо мне, скажите; «Она мила!» (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Жермена и Налез.

Жермена. Она и в самом деле мила.

Налез. Очень мила.

Жермена. Не правда ли? А ведь мужчины как будто этого вовсе не замечают. Она твердит мне раза по два в неделю: «Я не уродливее и не глупее других. А вот — даже поверить трудно — никто за мною не ухаживает».

Налез. Зато за вами ухаживают с утра до ночи.

Жермена. Да что вы!

Налез. С утра до ночи.

Жермена. Нет, с пяти до семи.

Налез. И вас забавляет слушать все эти глупости, все эти пошлости? И вам лестно получать комплименты от всех этих олухов, которые не думают и сотой доли того, что говорят?

Жермена. Господин де Налез, как провели вы зиму?

Налез. Как провел зиму, сударыня? Я жил в одиночестве, у себя в лесу, с собакой, трубкой и ружьем. Я по целым дням не видел человеческого лица. Позапрошлую ночь я провел в заброшенной хижине угольщика; я заблудился в собственном лесу — в великолепную грозовую ночь.

Жермена. То-то и есть: такая жизнь наложила на вас отпечаток некоторой резкости.

Налез. А! Вы считаете меня резким, потому что я говорю, что вам нравятся пошлости...

Жермена. Вовсе нет!..

Налез. ...и потому, что я высказал подозрение, что вас забавляют громкие слова, скрывающие ничтожные чувства. Неужели вы думаете, сударыня, что вас нельзя поймать, как всякую другую, разглагольствованиями и притворством? Неужели вы думаете, что легко распознать искреннее чувство и заглянуть в глубину сердца?

Жермена. Мне кажется, что мужчины — даже самые умные — ничего в этом не смыслят. Любая дурочка может убедить их в чем угодно. Их ослепляет тщеславие. Но женщин не проведешь притворством. Они прекрасно различают, какие чувства скрываются за комплиментами.

Налез. Вы в этом уверены?

Жермена. Вполне! Мы сразу видим, с кем имеем дело.

Налез. Да, вы, женщины, воображаете, будто наделены таинственным даром, волшебной палочкой, отыскивающей родники любви. Вам кажется, что вы безошибочно различите среди толпы того, кто будет вас любить сильнее и... лучше всех. Тут женщины не допускают ошибок. Они говорят об этом, они верят в это, — пока долгий опыт не выведет их из заблуждения. Я знал одну итальянскую княгиню, уже глубокую старуху, которая славилась красотой в Милане и даже в Париже — в те годы, когда французы носили нанковые панталоны и распевали песенки Беранже *. В старости она постоянно рассказывала разные истории сво-

ему внучатному племяннику. Однажды она произнесла, приступая к одной из них: «В то время я была очень хороша», — а молодой человек шелкнул языком, как бы говоря: «И своего не упустила!» На это княгиня возразила, вздохнув: «Ну, друг мой, уж если говорить откровенно, меня в жизни изрядно обкрадывали!» И правда: в таких делах и женщина и мужчина действуют... не скажу: ощупью, ибо это было бы не так уж плохо; не скажу: как в жмурках, ибо в жмурках кричат: «Берегись, берегись!» — они действуют под властью множества бредней и всякой чертовщины, как Дон-Кихот, когда он отправился к инфанте на славном коне Клавиленьо *.

Жермена. Какой вы странный! Вы являетесь сюда из хижины угольщика и с помощью какой-то итальянской княгини и Дон-Кихота хотите убедить меня будто женщина неспособна заметить, что она... правится... внушает известное чувство.

Налож. Вот именно, сударыня. Женщина может пройти мимо искреннего чувства, мимо глубокой страсти — даже не заметив их.

Жермена. Ну, не будем говорить о страсти! Мы не имеем о ней ни малейшего представления. Страсть нельзя распознать: ее никто не видел.

Налож. Никто, сударыня?

Жермена. Никто. Страсть — как гром: никогда вас не поражает. Однажды в Гран-Комба меня застигла страшная гроза. Я спряталась на ферме. Все небо было в огне, гром гремел не переставая. В ста шагах от меня молния расщепила тополь от верхушки до основания. Я осталась невредима. Страсть — как молния: она страшит, но падает всегда поодаль. А вот симпатию, влечение женщина внушить может, вполне может... И это она всегда замечает.

Налож. Сударыня, я вам сейчас по всем правилам докажу обратное. Я владею научным методом. У меня научный ум. Я применил его к земледелию. Результаты получились плачевные. Но рациональный метод должен цениться сам по себе, независимо от тех или иных результатов. Итак, сударыня, я с абсолютной точностью докажу вам, что в большинстве случаев женщина заме-

чает симпатию лишь тогда, когда эта симпатия поверхностна; и чем сильнее возбужденное женщиной чувство, тем менее она его замечает.

Жермена. Докажите.

Належ. Надо ли сначала дать определение тому... влечению, о котором мы говорим?

Жермена. Это излишне.

Належ. Нет, сударыня, это было бы не излишне, — но, быть может, это неприлично?

Жермена. Как? Неприлично?

Належ. Да, пожалуй. Точное определение может оскорбить вашу щепетильность. Но то, что я говорю, не должно вас удивлять, ибо, когда человек сидит около дамы, вот так, как я сижу около вас, и когда, смотря на нее, как смотрю я, он думает про себя: «Госпожа такая-то восхитительна», — то в этом размышлении... Оно ведь не оскорбляет вас, сударыня?

Жермена. Ничуть.

Належ. ...То в этом размышлении имеется зародыш вполне естественной, физической, физиологической идеи, проявление которой, при всей ее мощи и простоте, все же не согласуется с приличиями. Одно уж это размышление: «Госпожа такая-то восхитительна» — свидетельствует о том, что в уме, где оно родилось, пронесется вереница пламенных образов, необычных чувств, необоримых желаний, которые следуют друг за другом, множатся, сталкиваются и затихают только при... Вообще не затихают, сударыня.

Жермена. Вы шутите.

Належ. Нет, сударыня, не шучу. Я лишь обосновываю дальнейшее рассуждение. Из только что изложенного следует, что если обыденный, пошлый, посредственный мужчина думает при виде вас: «Она прелестна», — и думает это бесстрастно, поверхностно, без духовного порыва, без вожделения, не сознавая даже того, что именно он думает и думает ли вообще, — то такой мужчина выказывает себя перед вами вежливым, любезным, приятным. Он разговаривает, он улыбается, он старается нравиться. И нравится. А между тем, если какой-нибудь несчастный тоже — и даже более искренне — думает, что она прелестна, но вместе с тем

чувствует и всю силу этой мысли, то он сдерживается, скрывается, таится. Он опасается, как бы мысль эта, помимо его воли, не выдала себя в неуместном порыве; он смущен. Он мрачен и молчалив. Вы думаете, что он скучает, и вам самой становится с ним скучно. И вы решаете: «Бедняга! Как он утомителен в большой дозе». А все оттого, что он слишком хорошо сознает ваше изящество и обаяние, оттого, что он глубоко затронут, оттого, что он чувствует к вам сильное и благородное влечение, — словом, оттого, что он, как говорили в старину, совсем заполонен вами.

Жермена. Ваш герой немного смешон.

Налож. Несомненно. Он отдает себе полный отчет в несоответствии мыслей, которые занимают его, с теми, которые ему дозволено высказывать. Он сам считает себя смешным. И он становится смешным. Думать, что дама — это женщина, значит проявлять глупую странность, значит быть нелепым, неприличным. И эта мысль может вылиться в трагикомедию.

Жермена. И что же?..

Налож. И вот, вместо того чтобы рассказывать приятные вещи и ловко дерзать, человек становится печальным, застенчивым. Даже тот, кому это по природе и не свойственно. Отказываешься выразить то, что допустимо выражать лишь в сильно смягченном виде. Впадаешь в мрачное уныние, в какое-то давящее тупоумие...

Молчание.

Жермена. И тут уже нет выхода?

Налож (*с живостью*). Тут находишь выход при первых же дивных звуках любимого голоса. Подбадриваешься, оживаешь... и если ты мечтательный деревенский житель, отшельник, много размышлявший, бродя в лесах с ружьем, книгой и собакой, то начинаешь развивать общие теории, строишь системы, рассуждаешь о любви. Пускаешься в длинные доказательства. Подыскиваешь доводы. Доказывать что-либо хорошенькой женщине — безнадежная затея и тем не менее пытаешься доказывать. Становишься упрямым и напряженно, настойчиво развиваешь свою мысль... Или же...

Жермена. Или же?..

Належ. Или же внезапно меняешь настроение. Становишься веселым, легкомысленным, непосредственным, шутливым. То встаешь, то опять садишься, все разглядываешь, интересуешься пустяками. Говоришь: «Какая на этой шкатулке прелестная миниатюра». *(Берет со стола шкатулку.)* Кто эта напудренная дама?

Жермена. Это мадемуазель Фель!

Належ *(сухо.)* Вот как, мадемуазель Фель?

Жермена. Так мне думается по крайней мере. Можете сравнить с пастелью Латура *, которая находится в Сен-Кантене.

Належ *(резко.)* Не премину, сударыня. Очень благодарен, что вы подыскали мне увлекательное занятие. Я посвящу ему свой досуг.

Жермена. Какой тон! Что с вами?

Належ. Ровно ничего. Продолжаю доказательство. Я сказал: разглядываешь все, шутишь... Шутишь неуклюже, резвишься, как слон. Или же... Вы следите за моей мыслью, не правда ли?

Жермена. Стараюсь. Продолжайте.

Належ. Или же мстишь в душе. Искренне — о, вполне искренне — обесцениваешь слишком дорогой предмет. Строишь на него с пренебрежением знатока. Говоришь себе: да, конечно... ясный, чистый цвет лица, золотистые волосы, бархатистая кожа, гармоничные очертания шеи и плеч, округлая и гибкая талия. Ну и что ж, разве это неповторимо? Такая ли уж это редкость? Вещь обычная. Как глупо мечтать об этом, какое безумие из-за этого страдать!

Жермена. Ах, вот как рассуждают...

Належ. Рассуждаешь так и стараешься убедить себя в этом. Потом становишься жаль самого себя; каждый хочет себе добра, каждый жаждет покоя и тишины. Говоришь себе: «Не мучайся зря, старина, не страдай. Уйди! Уйди! Покуривай себе трубку в лесу, вернись к своей лошади и к собаке; поди, дурак, поброди на свежем воздухе». И берешь шляпу. *(Берет шляпу.)* До свиданья, сударыня. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Жермена одна; потом Франсуа.

Жермена. Ушел... В добрый час, господин де Налез, до свиданья, прощайте... прощайте, до свиданья... Как знать? Этот господин немного резок, немного странен. Что ж поделаешь... Человек проводит ночи в лесной чаще, в грозу, в хижине угольщика. Уже пять часов... Дикарь, а тем не менее... Ах, письмо бедняге Адальберу! *(Звонит.)* Может быть, Сесиль и права, что Адальбер глупее, чем был мой... его брат. Но это неважно, совсем даже неважно.

Входит Франсуа.

На почту... Если кто приедет — не принимать. Никого.

Франсуа подает ей визитную карточку.

(Читает.) Жак Шамбри... Просите.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Жермена, Жак Шамбри.

Жермена. Вы застаете меня совсем случайно. Обычно меня так рано не бывает дома.

Шамбри. Случайность? Вернее удача... счастье!

Жермена. И даже редкостное счастье; вы ведь так редко себе это позволяете. Например, вчера в театре вы не зашли в мою ложу. Вы отказали себе в этом счастье.

Шамбри. Не посмел... Решительно не посмел. Я заметил в вашей ложе драконов, людоедов, людоедок, карликов... Просто ужас...

Жермена. Как? Драконов... людоедов, карл...

Шамбри. Да, они все собрались вокруг феи, чтобы охранять ее; это в порядке вещей. Но я все же содрогнулся. Позади вас, выпучив глаза, стоял советник Биллен, полковник Эрпен проливал слезы у вас над плечом, а барон Микиэль спал. Он-то и есть карлик. Он был страшен.

Жермена. Пьеса прелестная, не правда ли?

Шамбри. Правда! Прескучная, именно прескучная.

Жермена. Ах, вовсе нет. Я говорю — прелестная, прекрасная.

Шамбри. Прелестная? Возможно. Я видел только одно действие.

Жермена. Полноте! Вы просидели весь вечер в ложе очаровательной госпожи Дезен... Ведь в ее ложе не было карликов, людоедов, драконов? Был только сам Дезен, а он глухой, да маленький Мальси, а тот немой. Вам никто не мешал...

Шамбри. Никто, сударыня. Я все время любовался вами.

Жермена. Издалека?..

Шамбри. Издалека, но вдвойне: и в профиль и в фас. Ваш профиль отражался в зеркале авансцены, а какой затылок!.. Прекрасный затылок — редкость, большая редкость. До сего времени я насчитал их только пять...

Жермена. Вы их коллекционируете?

Шамбри. Просто у меня верный глаз, и я умею видеть. Не смейтесь. Не все обладают этой способностью. Я знаю людей, которые любили женщину месяцами, годами — три, четыре года...

Жермена. Четыре года?

Шамбри. Если это вас пугает — скажем полтора, два... Так вот, они боготворили женщину годами, любили ее всячески — и даже не знают, как она сложена, что в ней хорошо и что менее хорошо. Они не понимают этого, они никогда и не поймут. Они не разглядели женщину, не сумели ее разглядеть. У них зрение не развито. И это непоправимо. Для таких людей самое прекрасное... пропадает зря. Глаз этих людей не в состоянии прочесть женщину, а таких большинство... Могу привести вам пример. Вы знаете Тувенена, старика Тувенена, из «Общества железных дорог Конго»? Вам известно, что он уже несколько лет состоит в связи с танцовщицей Мерседес?

Жермена. Нет, ничего этого я не знаю.

Шамбри. Ну, так вот, я вам говорю... Итак, я встретился с Тувененом на прошлой неделе в одном очень приличном доме... не великосветском... Он просматривал в гостиной альбом с фотографиями девиц, на

которых, кроме сережек и колец, ничего не было. Я заглянул в альбом — и вдруг вижу маленькую, худенькую брюнетку; так как в ее распоряжении был только веер, она закрыла им глаза — из весьма почтенных соображений. Я сказал Тувенену: «Вот Мерседес». Он всполошился и воскликнул: «Где? Где?» — «Да вот, господин Тувенен, здесь, в альбоме образчиков». — «Не может быть! В чем вы находите сходство?» — «Во всем». — «Не нахожу ни малейшего сходства! Да и можно ли здесь что-либо узнать?» И заметьте, что Тувенен выкладывает по пятнадцати тысяч франков в месяц, чтобы обладать прелестями, которые он даже не узнает, если им недостает кончика носа. Мораль этой истории...

Жермена. Ах, тут есть мораль?..

Шамбри. И вы выведете ее сами...

Жермена. Сама? Но я ничего не поняла. Я не слушала.

Шамбри. Так выслушайте по крайней мере мораль: хоть и грустно сознавать это красивой женщине, а все же мало настоящих ценителей, очень мало!

Жермена. Итак, от пьесы, которую мы с вами видели... вместе, у вас осталась очень смутное впечатление. Жаль! Пьеса интересная.

Шамбри. Но ведь я же вам сказал: я смотрел только на вас. Вы и представить себе не можете, как пленительны вы были в тот вечер.

Жермена. Опишите... Сделайте одолжение, опишите... Уверена, что вы даже не знаете, какого цвета платье было на мне.

Шамбри. Платье?.. Какого цвета? (*Заминка.*) Голубое...

Жермена. Как жаль, что вы самого себя сейчас не видели... Голубое!.. Вы были вот какой (*передразнивает его*), забегали глазами, наморщили лоб, развели руки, растопырили пальцы и перебирали ими; совсем как мальчик, вытаскивающий лотерейный билет.

Шамбри. Ну, и что же?

Жермена. Ну, и что же, — выиграли.

Шамбри. И это голубое платье удивительно к вам шло.

Жермена. Вы находите? А один мой старый друг, из тех, что сидели у меня в ложе, сказал: «Это платье совсем вам не к лицу. В голубом вы далеко не так красивы, как в розовом». И признаюсь вам, господин Шамбри, я была тронута и польщена этим замечанием, потому что верю в его искренность, потому что почувствовала в нем откровенность и истинное желание видеть меня красивой.

Шамбри. Это вам сказал карлик!

Жермена. Карлик?

Шамбри. Да, барон Микиэльс. Он разговаривает с вами с нарочитой откровенностью. Уверенность, с какою он судит о ваших туалетах, покоряет вас. А ведь он дальтоник. Право же, дальтоник. Он не отличает красного от зеленого. Однажды на выставке картин я видел, как он восхищался вишнями, писанными Мадленой Лемер. Он принял их за сливы. Судите сами, как может этот гном оценить нежный румянец ваших щек, который так восхитительно растворяется в белизне вашей шейки...

Жермена. Милый господин Микиэльс! Он такой хороший, такой преданный друг.

Шамбри. Не верьте ему! Он мрачный, недоброжелательный человек — вот и все. Зачем вы постоянно окружаете себя чиновниками, финансистами, военными и позволяете стеречь себя этим нелепым и лютым стражам? Вас никогда нельзя застать одну.

Жермена. Однако сейчас, мне кажется...

Шамбри. Ну, в кой-то раз, у вас в гостиной... Двери... Сколько у вас тут дверей!

Жермена. Четыре двери. Гостиная как гостиная. Уж не воображаете ли вы...

Шамбри. Ах, скажите! Да, воображаю...

Жермена. Я не знаю ваших вкусов по части обстановки. Что касается меня, мне нравятся комнаты светлые, простые, незагроможденные.

Шамбри (*встает и разглядывает вещицы на полке, в горке, на столе*). У вас есть вкус, вы понимаете искусство. Правда! Можете мне поверить. Я в этом знаю толк.

Жермена. Я вам верю.

Шамбри. У вас хорошие, вещи. Прекрасные курильницы старинной работы. Старый китайский фарфор, севр... селадон... бисквит... * *(Берет со стола шкатулку.)* Вот шкатулка работы Мартена, с миниатюрой на полосатом фоне, напоминающем прабабушкины платья, — как она приятна и на глаз и на ощупь! Я люблю безделушки, которые хочется взять в руки, которые поддаются ласке. Эта миниатюра — портрет какой-то известной женщины. Это... это... сейчас... припомню.

Жермена. Говорят, это мадемуазель Фель.

Шамбри. Вот-вот. Она напоминает постель Латюра.

Жермена. Ах, вот как — вы знаете постель Латюра? Не ожидала!

Шамбри. Это вас удивляет оттого, что вы живете среди дикарей... Вы любите миниатюры? Я спрашиваю потому, что, если вы их любите, я могу вам показать довольно красивые, — у себя дома.

Жермена. Да, миниатюры я люблю, но не настолько, чтобы...

Шамбри. Разве уж нужно их любить «настолько», чтобы прийти взглянуть на них завтра, от пяти до шести на Вандомскую площадь, дом восемнадцать, первый этаж, налево, три ступеньки. *(Берет со стола книгу.)*

Жермена. Взгляните на то, что у вас в руках.

Шамбри. Вижу — сафьяновый переплет... золотой обрез... восхитительно!

Жермена. Не говорите, что я вам это навязала, вы его взяли сами. Давно сказано: от судьбы не уйдешь. Вот вы и пошли ей навстречу. Вы держите в руках не что иное, как альбом. Да, под сафьяном скрывается альбом. Я не хуже и не лучше других... У меня тоже есть альбом. *(Протягивает ему перо.)*

Шамбри *(перелистывает)*. Вижу. Альбом. И, сказать по правде, если вообще допускать альбомы, — ваш недурен... Фальгьер, Поль Эрвье, Массне... Анри Лаведан, Поль Бурже, Дешанель, Людовик Галеви... Сливки общества! Веленевые страницы испещрены знаменитыми именами... Гм! Кое-где мелькают и менее громкие. Если не ошибаюсь, над Жанвье-Дюпоном,

полковником Эрпеном... и Полем Флошем не сияет ослепительный ореол славы. Вы смешиваете в одном альбоме и знаменитых и безвестных...

Жермена. Так и надо. Я вам объясню. Иногда... о, довольно редко, но все же иногда светские люди, знаете, пишут в альбомы довольно милые вещи. Знаменитости — никогда. Можете сами убедиться. Посмотрите, что написал Жюль Леметр, Пальерон, Сарду, Вандерем.

Шамбри (*перелистывает и прочитывает про себя не- сколько страниц*). Да, вы правы... Незначительно, слабо... ничтожно...

Жермена. А Дюма! Прочтите, что написал Дюма... В начале... На самом верху... вот...

Шамбри (*читает вслух*). «Трубы прочищают с наступлением холодов. Александр Дюма-сын».

Жермена. А пониже... Прочтите, что написано пониже...

Шамбри (*читает вслух*). «Любовь расцветает от слез. Поль Флош».

Жермена. Вот это — мило.

Шамбри. Да, мило. И это пробуждает в памяти какое-то давнее впечатление. Какое-то давно пережитое чувство... А чем занимается этот господин Флош?

Жермена. Не знаю хорошенько. Кажется, служит в «Обществе торцовых мостовых». (*Видя, что Шамбри закрывает альбом.*) О, теперь ваша очередь. Не отделаетесь! Пишите...

Шамбри (*опять раскрывает альбом*). Особенно грустно делается не от того, что написано, а от вида незаполненных страниц. Когда смотришь на них, — думаешь о будущих глупостях, о жалких, неуклюжих, уродливых мыслях, которые время принесет с собою (*пишет*) и запечатлеет здесь. Досадно до слез!

Жермена. Пишите!

Шамбри. Готово, сударыня, готово!

Жермена. Что вы написали? (*Шамбри передает ей альбом. Жермена читает вслух.*) «Любовь — ручей, в котором отражается небо». Прелестно!

Шамбри. И я действительно так думаю. Да, я думаю, что если бы нашу жизнь не украшала любовь,

можно было бы умереть с тоски и отчаяния. В глубине души я сентиментален, я мечтатель.

Жермена. «Любовь — ручей, в котором отражается небо». Чудесно. Но ведь если небо и остается на месте, вода-то утекает. Вы себя ни к чему не обязываете.

Шамбри. Голубой ручей беспрестанно возрождается и беспрестанно течет журча. В его струях отражается мерцание звезд...

Жермена. А скажите: ручей этот течет из родника?

Шамбри. Гм...

Жермена. Не берет ли он скорее начало в маленьком цинковом резервуаре, от которого у вас имеется ключ и который вы закрываете, как только вам вздумается — в любой вечер, перед прогулкой?

Шамбри. Вы неблагоприятны; вы почти что повинны в издевательствах над любовью.

Жермена. Я не издеваюсь над любовью. Я издеваюсь, самое большее, над вашим ручейком.

Шамбри. Это нехорошо с вашей стороны. И тем более, что вы представить себе не можете... Если бы вы только знали...

Жермена. Да, но беда в том, что я ничего не знаю.

Шамбри. Вы считаете меня неспособным на чувство, на нежность?

Жермена. Признаюсь, у меня нет на этот счет никакого мнения.

Шамбри. Есть! Есть! Потому что я не прикидываюсь грубовато откровенным, как барон Микиэльс, потому что я не таращу глаз, как старик советник Биллен, потому что не рыдаю возле вас, в тиши, целыми вечерами, как доблестный полковник Эрпен, — вы воображаете, что я равнодушен, что мне не дано вас оценить, что я не замечаю, как вы прелестны, восхитительны, божественны.

Жермена. Я ничего не воображаю, поверьте, прошу вас.

Шамбри. Вы ошибаетесь во мне, вы мне не верите. Хотите, я скажу вам — почему? Потому, что в делах

любви вы держитесь за старинную традицию, за установленные формы, за светские приличия. Вы требуете, чтобы за вами ухаживали методически, вы благоволите к серьезным, корректным поклонникам. Это заблуждение. Как терзают женщину эти господа, когда добьются ее... Не попадайтесь им в лапы; это было бы преступлением.

Жермена. Были вы на выставке акварелистов? В этом году она очень удачна.

Шамбри. Почему вы не верите, что я вас люблю? Потому ли, что я не говорил вам об этом? Так иногда ведь об этом говорят мало именно потому, что много об этом думают.

Жермена. Скажу откровенно, господин Шамбри: даже если бы вы и говорили мне об этом, — я все равно не поверила бы.

Шамбри. Почему?

Жермена. Потому что достаточно вам оказаться возле женщины, и вы говорите ей об этом, как говорят: «Пошел дождь» или: «Сегодня хорошая погода». Для вас это имеет так же мало значения... Вы и не собирались этого говорить, а скажете — и тотчас же забудете. Это просто из вежливости.

Шамбри. Нет... Вовсе нет!

Жермена. В таком случае — по невежливости, если хотите!

Шамбри. И все же я вас люблю. Если я говорю об этом, несмотря на ваше отношение ко мне, так уж отнюдь не для того, чтобы быть вежливым и даже не для того, чтобы быть невежливым, как бы мне ни хотелось этого. Я говорю так просто потому, что я искренен... и что я люблю вас.

Жермена. Смешно... По-видимому, находятся женщины, которые принимают ваши слова всерьез... Ведь если бы никто не попадался на эту удочку время от времени, — вы отказались бы... Правда, как-никак, а правда, что женщины иногда бывают глупы.

Шамбри. Нет, глуп — я. Будем же глупы. Только это и хорошо. Вы никогда не были счастливы, вы никогда не были любимы. Вы не знаете, что это такое. Не губите свою молодость, свою красоту. *(Становится на*

полети, целует ей руки.) Не сопротивляйтесь, уступите чувству. Не будьте врагом собственного сердца. Жермена, умоляю вас... ради меня, ради самой себя.

Жермена. Встаньте! Звонят, кто-то идет...

Шамбри. Нет, не встану, никто не идет. Никто не должен входить. Это было бы нелепо. Это было бы как в театре. Я останусь у ваших ног. Я не оторву губ от вашей руки, пока вы мне не поверите.

Жермена. Ах, верю... что не вызываю у вас отращения... Ну, встаньте же!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Сесиль.

Сесиль. Это опять я, дорогая. Здравствуйте, господин Шамбри.

Шамбри. Сударыня, как я счастлив...

Сесиль. Очень приятно! *(Жермене.)* Належа здесь нет?

Жермена. Он уже больше часа, как уехал... И уехал даже очень поспешно...

Сесиль. Он собирался ко мне... Но он вернется сюда. Я назначила ему здесь свиданье. Он уехал с моим мужем, который хотел по дороге показать ему какую-то лошадь, а потом завезти его к тебе. Я думала, он уже здесь.

Шамбри. О, вам придется подождать. У лошадиников, как только они станут на подстилку и уставятся в круп, часы бегут, как мгновенья.

Сесиль. Вы плохо знаете господина Належа: самое большое для него удовольствие — бродить с ружьем и книгой... Но не думайте — хоть он человек и очень серьезный, он тем не менее весьма приятен.

Шамбри. И весьма умен. К сожалению, это как мебель моей тетушки Клеманс. Все говорят, что это великолепная работа Бове, но никто не видел ее без чехла. Да, если бы Належ снял с себя чехол — какой блеск! Но он его не снимает.

Сесиль. Вернее, он снимает его не для каждого. Он не банален.

Шамбри. Во всяком случае, у него есть одно преимущество, которому я завидую: он вам нравится...
(Жермена.) Сударыня!

Жермена. Уходите?

Шамбри (шепотом). Я вернусь, мне необходимо с вами поговорить.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Жермена, Сесиль.

Сесиль. Он за тобой ухаживает?

Жермена. Немного... Разве это заметно?

Сесиль. Когда объяснение в любви принимается благосклонно, оно оставляет след, — как удачная прививка оспы. Кожа слегка розовеет... о, чуть-чуть!

Жермена. Тебе, видно, доставляет удовольствие говорить глупости?

Сесиль. Но, дорогая, ведь нетрудно догадаться. Он ухаживает за всеми. Он ухаживает даже за мной, за мной, хотя мужчины и смотрят на меня не хотят... Право, я не пользуюсь успехом. Сама даже не знаю почему... Я не уродливее и не глупее других.

Жермена. Ты очень хороша.

Сесиль. Нет, я не очень хороша. Я приятная. И нормальная, вполне нормальная. Помнишь, как мы с тобой ходили на уроки господина Бланшара? В географическом атласе были изображены головы представителей различных рас: чернокожих, желтых, белых. Так вот изображение белой было — вылитый мой портрет. Ты даже подписала под ним мое имя.

Жермена. А еще жалуешься! Это была Венера.

Сесиль. Разве?

Жермена. Ну, разумеется. Венера Медицейская. Слева от нее был Аполлон, а под ними — краснокожий. Как сейчас вижу.

Сесиль. Ну, по-видимому, в наше время Венера Медицейская прельщает только Шамбри. А досаднее всего, что я ведь нормальна как в физическом отношении, так и в духовном, — нормальна душой... Ну, право же... помнишь, в нашем атласе под белой расой была

подпись: «Женщины этой расы деятельны, умны, стойки и преданны». Я именно такая. Я соответствую типу — ни более, ни менее. Я нормальна до банальности.

Жермена. А меня-то разве ты считаешь исключением, уродом?

Сесиль. В тебе есть очарование. Кроме того, я считаю тебя порядочной.

Жермена. Благодарю тебя, Сесиль.

Сесиль. Да, я считаю тебя порядочной. Я думаю это прежде всего потому, что удобнее так думать о подругах. Приходится это говорить; а раз говоришь — приходится так думать. К тому же, может быть, это и верно. У меня нет доказательств противного.

Жермена. Да что ты?

Сесиль. Затем: ты вдова, ты свободна. Быть может, свобода-то и сдерживает... Я знаю, что ты не строгая. Но именно строгие-то женщины и совершают самые большие глупости. Вот, например, госпожа де Сен-Венсен: была строга, была надменна, отличалась величественной красотой и возвышенными чувствами. И что ж? С первого же раза, как Шамбри соблаговолит быть с нею дерзким, она без чувств упала ему в объятия. С тех пор она бежит за ним как дурочка. Дети, репутация, дипломатическая карьера мужа — все принесено в жертву смазливому мальчишке, который, сама понимаешь, над нею только потешается.

Жермена. Даже страшно становится.

Сесиль. Ах, знаешь, Шамбри — опаснейший человек для женщин. Он лживый и тщеславный. Я не даю советов, даже когда их у меня не спрашивают, хотя это все же не так глупо, как давать советы, когда их просят. Но если бы я стала советовать — как полезны были бы мои советы! Сама я, дорогая моя, не участвую в игре, а потому прекрасно вижу карты партнеров, в то время как играющие, будь они даже самыми хитрыми женщинами...

Жермена. Не советуй, Сесиль, не советуй! Я поступлю, как и полагается, как раз наоборот, и на тебя ляжет страшная ответственность... Но не бойся — я не наделаю глупостей. Одно только несомненно: то,

что я вечно скучаю. И если мне удастся это и без посторонней помощи, то совершенно бесполезно мне в этом помогать. Лучше уж скучать самой, чем терпеть, чтобы тебе докучали. Так, менее досадно самой причесаться плохо, чем быть плохо причесанной своею горничною. У меня не осталось иллюзий, дорогая! Замужество рассорило меня с любовью. Мужчины, с которыми я встречаюсь, еще не помирили меня с ней. Кто искренен — тот убийственно скучен, а другие, те, которые могли бы нам понравиться, — издеваются над нами. При таких условиях не стоит усложнять существование. Я ни мягкосердечна, ни великодушна. Можешь меня уважать, Сесиль. Я слишком черствая, чтобы вести себя дурно.

Сесиль. Допустим. Ты черствая. Но не полагайся на это. Совсем не обязательно быть святой, чтобы дурно вести себя. Теперь поговорим серьезно. Ты пообедаешь у меня, а потом мы вместе отправимся в театр. С нами поедет Налезж и мой муж. Надень шляпку.

Франсуа подает визитную карточку.

Жермена (*читает*). Господин де Налезж.

Сесиль. Ступай скорее надевать шляпку. Я при-
му его.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Сесиль, Налезж.

Сесиль. Госпожа Сескур просит вас подождать минутку. Она сейчас выйдет. Ну, что же, купили вы лошадь, которую показал вам мой муж?

Налезж. Да... А что, госпожа Сескур отправилась... покорять сердца в другом месте? Тогда ждать придется, по-видимому, долго.

Сесиль. Нет, она у себя в комнате: она надевает шляпку.

Налезж. Это тоже будет долго... Но так как это одно из самых важных дел...

Сесиль. Не вижу тут особой важности...

Налезж. А я — вижу. Что придает женщине цену,

что выделяет ее, что делает из нее в свете силу, с которой может сравниться только золото? Платье и шляпа!

Сесиль. И белье, сударь.

Належ. И белье — совершенно верно!

Сесиль. Господин де Належ, вы считаете женщин низшими существами; быть может, вы и правы. Но вы безусловно неправы, когда даете им это понять. Это с вашей стороны неосмотрительно.

Належ. Значит, и вы, сударыня, требуете, чтобы вашими чувствами восхищались так же, как вашими шляпами?

Сесиль. Речь не обо мне. К тому же, господин де Належ, не старайтесь быть со мною нелюбезным; этому не было бы оправдания: вы ведь в меня не влюблены. Это было бы и несправедливо: я только что расхваливала вас и защищала от нападок господина Шамбри, который считает, что вы всегда в чехле.

Належ. В чехле?

Сесиль. Не старайтесь понять... Я утверждала, что у вас очень развитой, очень привлекательный, вовсе не обыденный ум и что в кармане у вас всегда лежит книжка. Верно это?

Належ. Что касается книги — верно! *(Вынимает из кармана книжечку.)*

Сесиль. Какой-нибудь серьезный автор, философ.

Належ. Или поэт... В данном случае — Ронсар... *

Сесиль *(беря книгу)*. Покажите... О, какая старая!

Належ. А я нахожу, что она восхитительно свежа.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Належ, Сесиль, Жермена.

Сесиль. Вот господин Належ с Ронсаром, вандомским дворянином.

Жермена. О, господин де Належ! Вы вернулись?

Належ. Пришлось.

Жермена. Как вы любезны!

Належ. Нет, сударыня, я недостаточно любезен; виноват, простите меня!

Сесиль (*перелистывая Ронсара*). Господин де Належ, вы кладете в книги цветы?

Належ. Да, сударыня. Библиофил меня за это осудит. Но я читаю в лесу и любимые страницы закладываю цветами.

Жермена. А что тогда происходит с собакой и ружьем?

Належ. Они спят.

Сесиль. Вот здесь заложено барвинком: «Когда, состарившись, вы вечером, при овечке...» Что же, это хорошее стихотворение?

Належ. Оно в старинном стиле и очень просто по форме. Но мне оно кажется лучшим в мире. (*Жермене.*) Вы его не знаете?

Жермена. Нет.

Належ. Жаль.

Сесиль. Я тоже его не знаю. И это тоже жаль. Даже еще более жаль. Потому что я очень люблю стихи. И понимаю их. Только это во мне незаметно. А так как Жермена сама вдохновляет поэтов, все сразу же решают, что она любит поэзию. О, спору нет, она вдохновляет поэтов. В ее альбоме столько стихотворений, посвященных ей! (*Перелистывает альбом.*) Вот например:

ГОСПОЖЕ ДЕ СЕСКУР

Отчего синева ваших глаз
Обжигает, как искрами, нас?

Это можно петь. Эти слова положены на музыку. (*Переворачивает несколько страниц.*)

ГОСПОЖЕ ДЕ СЕСКУР

Когда боярышник рук твоих
Протянет ветви отягченные...

Належ. Это уже свободные стихи.

Сесиль. А вот только что распутившаяся мысль: «Любовь — ручей, в котором отражается небо». Этот цветок появился сегодня, Жермена?

Налез. Это — Ренана.

Сесиль. Нет, это — Жака Шамбри.

Налез. Это — Эрнеста Ренана. Он писал эти строки во все альбомы без разбора.

Сесиль. Во всяком случае, здесь стоит подпись Жака Шамбри.

Налез. Это бессовестный плагиат, вот и все.

Жермена. Почему же? Если он так думает, он имел право подписать свое имя.

Сесиль. Поехали, Налез?.. То не хотели возвращаться, теперь не хотите уезжать. Мне некогда вас ждать. Мне еще нужно переодеться... Жермена, миленькая, не опоздай к обеду. Спектакль начинается в восемь. Постараемся приехать хотя бы к девяти.

Жермена. Я даже не помню, чтобы видела хоть одну пьесу с самого начала.

Сесиль. И я тоже. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Налез, Жермена.

Жермена. Как, господин де Налез, вы отпускаете ее одну?

Налез. Позвольте только сказать вам... Вы считаете, что я был резок, странен, невыносим...

Жермена. Нет, я не обнаружила в вас стольких качеств. Мне показалось только, что вы немного нервничаете. Это объясняется, по-видимому, темою разговора. Вы ее неудачно выбрали. В следующий раз вы выберете другую тему — вот и все. Тем сколько угодно.

Налез. Тем для разговора француженки с французом? Нет, сударыня, существует лишь одна такая тема. Одна-единственная, но ее можно варьировать до бесконечности. В будущем я стану рассуждать на эту тему, если позволите, совсем иначе и буду любезным, привлекательным, почти очаровательным.

Жермена. Я как раз собиралась вас об этом просить.

Налез. Хотите, я переменюсь сейчас же?

Жермена. Только поскорей! Даю вам три минуты. Меня ждет горничная.

Налез. Только три минуты? В таком случае это будет краткое изложение, конспект. Но все самое существенное я включу, и, надеюсь, вы будете удовлетворены. *(С деланным жаром и подчеркнутым изысканством.)* Итак, сударыня, я люблю только вас, вы одна владеете моими помыслами и смущаете мой покой. Если я делаю вид, будто занят кем-нибудь другим, то лишь для того, чтобы смотреть на вас издали, не тревожа вас. Я жду, чтобы жужжащий вокруг вас рой рассеялся. Я хочу, чтобы вы принадлежали только мне, мне одному. Я прихожу в отчаяние, что должен одолевая столько соперников. А между тем знайте, один я действительно восхищаюсь вами и понимаю вас. Вы — самая прекрасная, вы — единственно прекрасная, вы воплощение идеала, созданного мною в мечтах. Вы считаете меня ветреным, легкомысленным, влюбленным во всех женщин. Я люблю вас одну. Я люблю, я боготворю вас. *(Делает вид, что хочет обнять ее за талию.)*

Жермена. Господин де Налез, три минуты истекли.

Налез. Да, но я уже успел вам понравиться.

Жермена. Понравиться — это слишком сильно сказано; однако не скрою, что нахожу вас гораздо приятнее, чем недавно.

Налез. Вот то-то оно и есть. Вы находите меня любезным оттого, что я говорю с вами, как те, кто вас не любит, а только тешится созерцанием вашей красоты. Я вам понравился потому, что в моих словах был привкус лжи. Сударыня, что ни говорите, а на женщин действует только притворство.

Жермена *(в дверь)*. Жюли, приготовьте мне белое платье. *(Налезу.)* Господин де Налез, ваше обаяние кончилось. Сожалею о другой вашей манере, образчик которой вы только что дали, о манере прозрачной, как говорят художники. Ступайте, дайте мне одеться. Мы вместе пообедаем, вместе проведем вечер, вы должны быть довольны.

Налез. Нет, сударыня. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Жермена одна.

Жермена. Он забыл свою книжку... «Возлюбленные Пьера де Ронсара»... Разумеется, Шамбри говорил мне не особенно новые вещи, не такие, которые еще никогда никем не произносились и никогда уже больше не будут произнесены. Но он вкладывал в них столько очарования и нечто такое, что свойственно только ему. А чудачества Належа, вероятно, тоже не так уж новы. Но они нестерпимы... «Возлюбленные Пьера де Ронсара»... А правда, он кладет цветы в книжку любимых стихотворений. Эта привычка трогает меня. В сущности, Налез — хороший человек. Вот барвинок, которым отмечены самые нежные стихи. *(Читает.)*

Поверьте мне; к чему ждать завтрашнего дня? *
Спешите, — нынче же срывайте розы жизни.

Поэт господина Налеза, быть может, и прав.

Спешите, — нынче же срывайте розы жизни....

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Жермена, Шамбри.

Жермена. Вы?!

Шамбри. Я подстерегал. Я вернулся. Как вам, вероятно, надоел этот мужлан... Наконец-то мы одни! Мне столько нужно сказать вам...

Жермена. Вы подстерегали? Вы вер... Господин Шамбри, сделайте мне удовольствие — уйдите! Вы входите, как вор... У вас такой вид, словно вы вылезли из шкафа. Это смешно.

Шамбри. Нет, это не смешно. Вы хотите сказать, что это неприлично. Вы правы, это неприлично. Я отлично сознаю это.

Жермена. Это просто смешно.

Шамбри. Скажем лучше: непозволительно. В этом и заключается трудность нашего положения.

Жермена. Что вы говорите?

Шамбри. В этом трудность нашего положения. Тут множество трудностей. А потому, сударыня, не надо затягивать. Это было бы крайне неосторожно. Именно «до» рискуешь скомпрометировать женщину. Именно «до» совершаются все неловкости, все бестактности. Право же... «После» действуешь сообща, согласованно, по уговору. Действуешь осторожно и избегаешь опасностей. Скомпрометировать женщину «после» может только озорник или безнадежный дурак... да еще, пожалуй, дикарь вроде Належа... Вот у кого все отпечаталось бы на лице крупными буквами, как номера на фишках для лото, — если бы только женщина — бедняжка — выказала ему благосклонность!

Жермена. Господин Шамбри, меня ждет горничная. Ступайте!

Шамбри. Сделать неосторожность «после» — непростительно, в то время как «до» даже самый благовоспитанный мужчина не может ни за что поручиться. Не уверен, что мы уже не обратили на себя внимание. Этого не миновать.

Жермена. Странно, что я не сержусь на вас еще больше. Признайтесь, что и вам самому это кажется странным.

Шамбри. Наоборот, это вполне естественно, раз вы знаете, что я вас люблю...

Жермена. До свидания, господин Шамбри...

Шамбри. Куда же мы отправимся?

Жермена. Я? Я поеду обедать к госпоже Лаверн.

Шамбри. Нет, вы не поедете обедать к госпоже Лаверн.

Жермена. Я не поеду обедать к ... ? Вы с ума сошли! Уже восемь часов... Ведь Сесиль... и господин де Налез меня ждут...

Шамбри. Ну, уж нет... вы не будете обедать с Налезем. Вы пообедаете со мной где-нибудь в беседке, за городом.

Жермена. Вы становитесь совсем смешным.

Шамбри (*подает ей перо*). Пишите: «Дорогая Сесиль, страшная мигрень...»

Жермена. Господин Шамбри, говорю вам совершенно серьезно: уходите...

Шамбри. Нет, не уйду... Я не допущу вашей встречи с Налеем. Жермена, останьтесь, я люблю вас.

Жермена. Прошу вас — уйдите.

Шамбри. Я не могу расстаться с вами. Право, не могу расстаться... Это свыше моих сил... Жермена... вы страшно огорчите меня. Я говорю искренне. Правда, вы огорчите меня.

Жермена. Огорчу? Чем? Из-за Налеева?

Шамбри. Ну, конечно.

Жермена. О, хорошо... если все дело в Налееве — не огорчайтесь. Тут вам нет повода огорчаться, уверяю вас.

Шамбри. Правда? Вы предпочитаете меня?

Жермена. Предпочитаю вас. Довольны?

Шамбри. Очень.

Жермена. Ну, а теперь — уходите.

Шамбри. До завтра, в пять часов. Вы придете наверное? Три ступеньки... Я велю расстелить для вас новый ковер. *(Уходит.)*

Жермена *(одна)*. Рискну! Чем черт не шутит!

Кренкебиль

Пьеса в трех картинах

ЛЮСЬЕНУ ГИТРИ

Дорогой друг!

Не могу сказать, что дарю вам эту маленькую пьесу. Она и без того принадлежит вам. Она ваша — не только потому, что была принята вашим театром, чудесно поставлена вами и разыграна лучшими артистами, и не только потому, что вы с удивительной силой и великой правдивостью воплотили образ Кренкебиля. Пьеса эта принадлежит вам еще, и потому, что я не написал бы ее без ваших советов, а некоторые сцены, имевшие особенный успех, возникли всецело под вашим влиянием.

В знак моих дружеских чувств я ставлю ваше имя на первой странице нашего «Кренкебиля».

Анатоль Франс.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Кренкебиль
Торговец каштанами
Председатель суда Буриш
Адвокат Лемерль
Доктор Давид Матье
Обаре
Полицейский № 64
Лермит
Уличный продавец мелкого товара
Полицейский № 121
Судебный пристав
Г-жа Байяр
Г-жа Лора
Мышь
Мальчишка из колбасной
Женщина
Маленькая девочка
Торговка
Рабочий
Работница
Газетчик
Виноторговец
Альфонс, сын виноторговца
Мальчишка
Штукатуры
Человек из толпы
Другой человек из толпы
Уличные прохожие, школьники, публика
в зале суда.

КАРТИНА ПЕРВАЯ

УЛИЦА БОЖОЛЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Уличный продавец мелкого товара (одет как приказчик из «Лувра», стоит на табурете; перед ним на подставке покоится ящик размером с небольшой чемодан, — продавец ежеминутно извлекает оттуда и затем кладет обратно разные вещицы; он усердно расхваливает их обступившим его прохожим, завершая уже, как видно, свою бойкую речь... Каждый, раз при упоминании своей фирмы он слегка приподымает цилиндр). Если бы я стал утверждать, что торговый дом «Гамерон, Кормандель и компания», который я имею честь представлять, решил пойти на все перечисленные мною жертвы из чистейшего человеколюбия, вы бы мне, господа, не поверили... Глубоко ошибочно также думать — я не боюсь заявить об этом во всеуслышание! — будто торговый дом «Гамерон, Кормандель и компания» добивается разорения универсальных магазинов и даже мелких торговцев, — в чем безуспешно старались уверить публику некие злонамеренные лица, распространяя везде и всюду клевету, к которой стоит только внимательней приглядеться — и она испарится в воздухе. Нет, господа, торго-

вый дом «Гамерон, Кормандель и компания» преследует лишь одну-единственную цель. Она не лишена значения, и я сейчас вам ее открою. А пока, полагаясь на вашу хорошо известную любезность, попрошу уделить мне секунду внимания — я воспользуюсь ею, дабы подвести итоги. Шесть предметов, могущих поступить в распоряжение каждого желающего, вручаются ему по первому же слову, движению, взмаху руки или другому знаку. Вот краткий перечень этих предметов. Во-первых, пневматическая трость, — складывается от простого нажатия пальцев и превращается в небольшой предмет, который можно свободно спрятать в кармане средней величины. Продажная цена этой вещи, сделанной целиком из неокисляющегося металла, — три франка. Полагаю, господа, вы не сочтете эту цену чересчур высокой. Достаточно представить себе, сколь непомерно дороги рабочие руки в наше время! Я продолжаю. Во-вторых, набор великолепных запонок из американского золота для мужской сорочки. Три запонки для манишки. Две запонки для манжет с лапками из огнеупорного алюминия, способного противостоять действию огня свыше четырех часов. Наконец запонка для пристежного воротничка, украшенная прелестным голубым камнем под бирюзу. Я спрашиваю вас, господа, и прежде всего обращаюсь к тем, кто понимает в подобной работе... Скажите сами, в состоянии ли какой-нибудь ювелир... я, конечно, исключаю Бушеронов или Веверов... их, как говорится, за пояс не заткнешь...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Мальчишка из колбасной (*выступая из толпы, продавцу*). Сам заткнись! Будет язык чесать!

Продавец (*улыбаясь со скрытой злобой*). Погодите, дружок мой, погодите... Сию минуту я кончу — и тогда смогу заняться...

Мальчишка из колбасной (*с выразительным жестом*). Полезай выше, увидишь Монмартр! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Продавец (*продолжая*). Вы предпочитаете удалиться, молодой человек? Что ж, мы вас не держим. Итак, продолжаю. Как вы думаете, говорю я, может ли самый скромный ювелир, довольствуясь самой жалкой прибылью, назначить за эту вещь цену ниже полутора франков? Конечно, нет! Ну вот, а я оцениваю ее сейчас в один франк. В-третьих, коробка с чудесным мылом «Океан», волшебное действие коего я вам уже демонстрировал, мыла, от которого исчезают бесследно самые стойкие пятна и ткань выглядит совсем как новая. Не желая, господа, утомлять вас математическими подсчетами, я сразу сообщу его поистине смехотворную стоимость, — двадцать пять сантимов. В-четвертых, коробочка из приятно окрашенного норвежского целлулоида, содержащая пятьдесят пастилок — вернейшее средство от бронхита. А цена? Какова цена?.. Пятнадцать сантимов... Возможна ли большая дешевизна?.. Да, возможна, я сию минуту это вам докажу. Вот, наконец, самое удивительное. Два последних предмета: автоматический зажим, который может служить пажом для юбки, кольцом для салфетки, держателем для бумаг, и в довершение всего цепочка для часов, она же дамское кольцо, с аграфом под чистое золото... Цена? Никакой цены! Ничего!.. Подарок! Ноль франков, ноль сантимов, что составляет вместе с ценами всех вышеназванных предметов... общую сумму... (*скороговоркой*) три франка; пневматическая трость, один франк — набор запонок, двадцать пять сантимов — мыло «Океан», пятнадцать сантимов — лечебные пастилки... итого четыре франка сорок сантимов, каковую сумму торговый дом «Гамерон, Кормандель и компания», который я имею честь представлять перед вами, уполномочил меня обратить в подарок. Да, в подарок, я торжественно заявляю об этом, ибо дело пойдет не о четырех франках сорока сантимов, не о трех или двух франках, не об одном франке и даже не о пятидесяти сантимах... Дело пойдет, гос-

пода, о невероятной, смешной, ошеломляющей, нелепой сумме в... двадцать сантимов...

Люди роются у себя в карманах.

И если, возвратясь домой, сидя под лампой за большим семенным столом, на котором дымится ваш ужин, вы попытаетесь, господа, движимые вполне простительным любопытством, уяснить себе, из каких же побуждений поступает таким образом торговый дом «Гакерон, Кормандель и компания», то, советую вам, проврите ваши размышления и не теряйтесь в догадках!.. Все равно вам этого никогда не постичь!.. Это — реклама! *(Он вручает каждому, кто ему протягивает двадцать сантимов, рекламируемые предметы, и покупатели рассматривают их, уходя со сцены.)*

Торговка *(обращаясь к рабочему)*. А что, правда, эта штукавина так хорошо выводит пятна?

Рабочий. Знаешь, милая моя, вот уже двадцать пять лет, как я работаю красильщиком. Будь это мыло хоть на что-нибудь пригодно, я бы давно им пользовался. Так, дрянь какая-то!

Торговка. А все-таки четыре су за все — это уж больно дешево...

Кренкебиль. Капуста! Репа! Морковь!

Ребята *(выходя из школы)*. Эй! Эй, дядюшка Кренкебиль!

Кренкебиль. Шли бы вы лучше в школу, чем набираться всякой пакости на улице. И то сказать — чему могут они научиться, шлепая по грязи? Ничему не научатся, кроме плохого... А вот спаржа! Кому пучок спаржи?

Женщина. Да где ж у вас тут спаржа?

Мышь. Вы недогадливы: его спаржа — это порей. Ведь порей — спаржа для бедняков, это всем известно.

Один из мальчишек раскидывает в тележке пучки порея.

Оставьте, не мешайте ему торговать, зарабатывать себе кусок хлеба! Вот если б вы, как я, сами добывали себе пропитанье... Эх, вы, лоботрясы!

Кренкебиль. А ты разве сам себя прокармливаешь?

Мышь. Ну да!

Мальчишка. Он совсем никудышный. Ночует на улице, подзаборник. У него и родителей-то нет.

Кренкебиль. Коли у него нет родителей — виноваты они, а не он.

Мальчишка. Ему есть нечего, а он еще собаку кормит. Вот и ешь свою собаку!

Мышь. Кто сказал, что я ночую на улице? Кто, кто это сказал? Ну-ка, повтори!.. Я ночую не на улице, смотрите сами — вон мое окно!

Мальчишка. В твоём окне и стеклов-то нет — не дом, а развалина.

Мышь. Ночью я сторожу магазин, он сейчас на ремонте. Стало быть, я живу честным трудом. Чего ко мне пристаёте?

Кренкебиль. Ну, а чем ты все-таки промышляешь?

Мышь. Для игроков мячи подбираю, газеты продаю, исполняю всякие поручения... Все делаю!

Кренкебиль. А как звать тебя?

Мышь. Мышь.

Кренкебиль. Ну вот что, Мышь: ты рассуждаешь толковее, чем те ребята, лучше жизнь понимаешь.

Мышь. Потому что я знал нужду. А они ничего не испытали. Кто горя не видал, у того и смекалки нету.

Кренкебиль. Ты, говоришь, знал нужду?

Мышь. Я и сейчас её знаю. Нужда привяжется, так не отвяжешь.

Кренкебиль. Правда, с виду ты плоховат... На вот, держи грушу; она малость перезрела, зато сорт хороший, это — бера.

Мышь. Ох, какая мягкая... Если у хозяйки твоей сердце такое же нежное... Ну, спасибо тебе, дядюшка Кренкебиль!

Маленькая девочка (*несет каравай хлеба больше, чем она сама; произносит, как затверженный урок*). А капуста у вас хорошая?

Кренкебиль. Лучше не бывает, тугая-претугая.

Девочка. А почему она? Мама больна, не может сама ходить за провизией.

Кренкебиль. Что же такое с ней, с твоею мамой? Где у нее болит?

Девочка. Не знаю... Что-то внутри... Она мне велела купить у вас кочан капусты.

Кренкебиль. Ну, детка, не бойся, я услужу тебе не хуже, чем твоей маме... И даже лучше, потому если б я, допустим, и захотел обмануть кого, так уж скорее женщину взрослую, у которой нету ко мне доверия. Обкрадывать никого не годится, что и говорить... каждому — свое. Но коль на то пошло, так уж охотнее обманешь тех, кто при случае тебя и сам надует. Обижать же такого ангелочка, как ты, детка, совесть не позволит. *(Дает девочке кочан.)* Гляди, какой важный, — что твой сенатор!

Девочка дает ему пять су.

Он стоит шесть су, здесь одного су не хватает. Ты ведь не хочешь меня ограбить?

Девочка. Нет, сударь, мама дала мне только пять су.

Кренкебиль. Не надо говорить неправду, милочка. Поищи хорошенько, — может, одно су ты положила в кармашек?

Девочка *(простодушно)*. Нет, сударь, у меня всего пять су.

Кренкебиль. Ну что ж, милочка, поцелуй меня — и будем в расчете. А маму свою спроси, так ли хорош был тот кочан капусты, в котором она нашла тебя. Ступай деточка, да не упали по дороге... Добрый день, госпожа Лора! Как живете, все ли в порядке?

Г-жа Лора *(рыжий шиньон, явная кокотка)*. У вас нет сегодня ничего хорошего.

Кренкебиль. Можно ли так говорить!

Г-жа Лора *(пробуя редиску)*. Старая, вялая у вас редиска.

Кренкебиль. Нынче вы что-то придираетесь. Видно, с левой ноги встали.

Г-жа Лора. Никакого вкуса. Совсем, как вода.

Кренкебиль. Я вам вот что скажу: это вы потеряли вкус, не чувствуете, что едите. А все париж-

ская жизнь виновата. Здесь сжигают себе желудок. Что бы случилось и с вами и с другими покупательницами, если б дядюшка Кренкебиль не привозил вам свежих овощей, таких полезных для здоровья? Сгорели бы вы совсем!

Г-жа Лора. Мне плохо вовсе не от еды. Кроме салата и редиски, я уже почти ничего не ем. А все-таки вы верно сказали: в Париже сжигают себя. (*Мечтательно.*) Знаете, папаша Кренкебиль, мне хотелось бы дожить до того дня, когда я смогу обходиться без вашей капусты и моркови, когда я сама буду выращивать их — в своем собственном огорожке, у себя на родине, в восьмидесяти лье от Парижа. Как спокойно было бы жить в деревне, разводить цыплят, поросят...

Кренкебиль. Это сбудется, госпожа Лора, все это сбудется, не горюйте. Вы любите порядок и деньгам счет знаете, вы женщина солидная. Я не сую нос в дела своих покупательниц. Скажу одно: нет на свете негодного ремесла и хорошие люди во всяком звании встречаются... Да, вы женщина солидная. Вы к старости разбогатеете и будет у вас свой домик в родных местах, там, где вы родились... И все будут вас уважать. Приятно оставаться, госпожа Лора!

Г-жа Лора. До скорого свиданья, дядюшка Кренкебиль!

Кренкебиль. Да, да, хорошие люди встречаются во всяком звании... (*Кричит.*) Капуста! Репа! Морковь!

Г-жа Байяр (*выходя из своей лавки*). А порей-то у вас неважный... Сколько за пучок?

Кренкебиль. Пятнадцать су, хозяйюшка, лучшего порея нигде не сыщешь.

Г-жа Байяр. Пятнадцать су за три дрянных луковицы?

Полицейский № 64. Проходите!

Кренкебиль. Да... да... Я уже продал. Скорей решайте, слышали, что сказал полицейский?

Г-жа Байяр. Надо же выбрать... Пятнадцать су? Не дам ни за что! Хотите двенадцать?

Кренкебиль. Самому дороже стоит... Ведь к пяти утра, а то и раньше, нужно быть на Центральном рынке, чтобы получить все самое свежее.

Полицейский № 64. Проходите!
Кренкебель. Да, да... Сию минуту... Поторопитесь-ка, госпожа Байяр.

Г-жа Байяр. Двенадцать су...
Кренкебель. А с семи утра у меня руки уже так и горят от оглоблей, я хожу и кричу: «Капуста! Репа! Морковь!» И все лишь затем, чтобы заработать гроши на хлеб. А ведь мне перевалило уже на седьмой десяток; сами понимаете, надрываюсь не для своего удовольствия! Нет, нет, так дело у нас не выйдет... Верите ли, я и двух су на этом порее не наживаю.

Г-жа Байяр. Даю четырнадцать су. Только схожу за ними в лавку, с собою нет. *(Выходит.)*

Полицейский № 64. Проходите!

Кренкебель. Я жду денег.

Полицейский № 64. Я вам не говорю, чтобы вы ждали денег, я говорю — проходите!.. Ну, в чем дело? Вы не знаете, что такое проходить?

Кренкебель. Вот уже пятьдесят лет, как я это знаю — с тех самых пор, как вожу свою тележку... Но мне сейчас должны принести четырнадцать су — вон оттуда, из обувной лавки «Ангел-хранитель». Госпожа Байяр пошла за деньгами, вот я и жду.

Полицейский № 64. Вы что — в протокол попасть хотите? Этого, что ли, добиваетесь? Живо, очищайте мне мостовую, слышите?

Кренкебель. Вот проклятье!.. Пятьдесят лет я продаю людям капусту, репу, морковь, зарабатываю себе кусок хлеба, и вдруг из-за того, что я не желаю терять четырнадцать су, что мне задолжали...

Мальчишка из колбасной останавливается.

Полицейский № 64 *(вытаскивает записную книжку и огрызок карандаша)*. Предъявите вашу бляху.

Кренкебель. Мою бляху?

Полицейский № 64. Ну да, бляху на право уличной торговли с тележки.

Появляется мальчик-пирожник с корзиной.

Кренкебель. Ох, сынок, если ты желаешь видеть мою бляху, тебе придется пройтись ко мне.

Полицейский № 64. У вас нету бляхи?

Кренкебель. Есть, есть у меня бляха... только она дома... Я и так потерял их целых две штуки, та-кая с собой. Это стоило мне всякий раз по два франка; хватит с меня!

Полицейский № 64. Ваша фамилия?

Кренкебель. Брось шутить... Обворовали меня на четырнадцать су — и все тут! *(Он берется за оглобли и двигается к середине мостовой.)*

Полицейский № 64. Эй вы, постойте!

Кренкебель. Я ухожу...

Полицейский № 64. Теперь уже поздно... *(Он подходит к Кренкебелю и хватает его за руку.)*

Кренкебель оборачивается к нему и как раз в это время на тележку валится груз с подводы штукатуров, которые поднимают крик и ругань.

Штукатуры. Чтоб тебя, старый хрыч! Куда прешь? Вот остолоп!

Полицейский № 64. Поглядите, что вы наделали!

Газетчик на велосипеде налетает со всего размаху на тележку Кренкебиля с другой стороны и вопит.

Газетчик *(с кипой в полторы сотни номеров «Родины» на голове)*. Чего смотришь, порей поганный!

Полицейский № 64. Вот видите? Вот видите?

Он становится справа от Кренкебиля; тот, сделав полный оборот, зацепляется левым колесом своей тележки за левое колесо повозки банного заведения с погруженной на нее медной ванной; возница свирепо рычит и изрыгает проклятия.

Ну, на этот раз вам не поздоровится!

Кренкебель. Ах ты, горе какое! Как же тут прикажете проходить?

Полицейский № 64. А кто виноват? Вы сами.

Кренкебель. Нет, виновата во всем госпожа

Байяр. Будь она тут, она бы так и сказала. Удивительно, что ее до сих пор пет... Ушла — и будьте здоровы!

Между тем на сцене появляются мальчишки, рабочие, торговцы, праздные зеваки, самая разношерстная публика; из глубины сцены за подводой штукатуров движется повозка, уставленная ящиками с сифонами, полными сельтерской водой; поверх ящиков скачет, яростно лая, какая-то собачонка. Эта повозка незаметно вклинивается в кучу других, способствуя образованию «пробки». На мостовой, на тротуарах, на лестнице и повозках скапливается человек шестьдесят; человек тридцать глазеют из окон. Все волнуются, напирая друг на друга. Полицейский № 64, придя в иступление, трясет Кренкебиля за плечи.

Полицейский № 64. А-а! Вы сказали «Смерть коровам!» Ладно! Следуйте за мной.

Кренкебель. Я сказал это, я?

Полицейский № 64. Ну да, вы сказали.

Кренкебель. Я сказал «Смерть коровам»?

Смех.

Полицейский № 64. А! Вы еще повторяете?

Кренкебель. Что?

Полицейский № 64. Разве вы не сказали «Смерть коровам»?

Смех.

Кренкебель. Сказал.

Полицейский № 64. Ага!

Кренкебель. Но вам-то я ведь этого не говорил!

Смех.

Полицейский № 64. Вы этого не говорили?

Кренкебель. Тьфу ты пропасть, — не говорил!

Человек из толпы. Что у вас тут за спор?

Кренкебель. Да, видишь он говорит, будто я повернулся к нему и закричал (*он поворачивается к полицейскому и, поясняя, кричит*): «Смерть коровам!»

Полицейский № 64 (*который что-то записывал в своей книжке, на это не реагирует и говорит Кренкебилю без всякого гнева*). О, теперь вы можете повторять эти слова хоть двести раз — дело от этого не изменится.

Кренкебель. Я только им объясняю.

Человек из толпы (*другому, улыбаясь*). Меня это не касается, только он и в самом деле произнес эти слова по крайней мере три раза.

Другой человек из толпы. Да, но его заставил их произносить полицейский.

Человек из толпы. Что вы! Полицейский никогда бы этого не сделал.

Другой человек из толпы. Старик увидел, что все смеются, это его разозлило, и он совсем голову потерял.

Кренкебель. Да ведь чего, кажется, проще...

Полицейский № 64. Довольно разговоров! (*Хватает Кренкебеля.*)

Подходит седовласый господин — доктор Давид Матье; он одет во все черное, на голове у него цилиндр, в петлице орденская ленточка.

Доктор Матье (*потянув легонышко полицейского за рукав*). Позвольте... позвольте... Вы ошиблись.

Полицейский № 64. Ошибся? Вы говорите, я ошибся?

Доктор Матье (*мягко, но уверенно*). Вы не так поняли, этот человек не оскорблял вас.

Полицейский № 64. Не так понял?

Доктор Матье. Я был при этом происшествии и превосходно слышал все, что здесь говорилось.

Полицейский № 64. И что же?

Доктор Матье. Я утверждаю, что этот человек не произносил никаких обидных слов, за которые следовало бы...

Полицейский № 64. Это не ваше дело.

Доктор Матье. Прошу прощения. Мое право и мой долг — предостеречь вас от ошибки, которая может иметь для этого бедняги пагубные последствия... Мое право и мой долг как свидетеля происшествия...

Полицейский № 64. Потрудитесь быть вежливее.

Рабочий. Господин прав: зеленщик не сказал «Смерть коровам!»

Толпа. Нет, сказал! Конечно, сказал! Он этого не говорил! Говорил! Нет! Да! Вот так история!..

Полицейский № 64 (*рабочему*). А вы что — хотите, чтобы вас тоже арестовали?

Рабочий исчезает.

Доктор Матье (*полицейскому*). Вас никто не оскорблял. Слова, которые вам слышались, вовсе не были произнесены. Вы это сами признаете, когда успокоитесь.

Полицейский № 64. Прежде всего кто вы такой? Я вас не знаю.

Доктор Матье. Вот моя карточка: доктор Матье, заведующий клиникой при больнице имени Амбруаза Паре.

Полицейский № 64. Это меня не касается.

Доктор Матье. Нет, это вас касается. Я попрошу вас записать мою фамилию и адрес и занести в протокол мои показания.

Полицейский № 64. А, вы настаиваете? Что ж, тогда следуйте за мной, вы дадите показания комиссару.

Доктор Матье. С полной готовностью.

Работница (*мужу, показывая на доктора*). Вот чудно! Хорошо одетый, видать, образованный человек — и впутывается в такую историю... Пускай сам на себя пеняет, коли наживет неприятности... Никогда не надо вмешиваться в чужие дела. Ну, пойдем, муженек... Я-то отлично видела, как это все происходило: он сказал — про госпожу Байяр — «Ушла — и будьте здоровы!», а полицейскому слышалось «Смерть коровам!» Ну идем же, идем скорей, а то, не дай бог, зацапают тебя в свидетели.

Г-жа Байяр (*выходя из своей лавки*). Вот они, ваши деньги... Ай-ай-ай! Да ведь его арестовали! Не могу же я отдавать деньги человеку, которого арестовали... Это не полагается. Я думаю, это даже запрещено.

Толпа принимала во всем происходящем самое живое участие, но по жестокости трудно угадать, какие настроения преобладают. Все теснятся, следуя за группой, состоящей из полицейского № 64, Кренкебия и доктора Матье. Посреди ужасающего шума слышатся — поочередно и одновременно — ругательства, взрывы смеха, крики мальчишек, гудки велосипедистов, собачий лай, пощечина, которую дает мать расшалившемуся ребенку, и множество других звуков.

КАРТИНА ВТОРАЯ

ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ В СУДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Председатель Буриш (*оглашает приговор*). Рассмотрев в соответствии с законами настоящее дело и принимая во внимание...

Судебный пристав. Соблюдайте тишину!

Председатель. ...что из приложенных к делу документов и свидетельских показаний, заслушанных на заседании, с полной очевидностью следует, что третьего октября сего года обвиняемый Фромаж Александр оказался виновен в нищенстве, преступлении, предусмотренном статьей двести семьдесят четвертой уголовного кодекса, суд исправительной полиции, применив означенную статью, приговорил Фромажа Александра к шестидневному тюремному заключению.

Двое конвойных уводят Фромажа, сидевшего рядом с Кренкебилем. Пауза. Шум в зале.

(*Перелистывает бумаги.*) Ваша фамилия — Кренкебиль... Встаньте... Кренкебиль Жером, родился в Пуасси (департамент Сены) четырнадцатого июля тысяча восемьсот сорок третьего года. Наказания по суду не отбывал.

Кренкебиль. Можете хоть кого спросить. Я никому ничего не должен. Я знаю счет деньгам. Могу сказать, человек я аккуратный.

Председатель. Помолчите... Двадцать пятого июля сего года в полдень, на улице Божоле, вы оскорбили полицейского при исполнении им служебных обязанностей, произнеся по его адресу непристойное слово. Вы его обозвали к... *(Выговаривает лишь первую букву.)* Вы признаете это?

Кренкебиль *(обращаясь к своему адвокату)*. Что такое он сказал? Это он у меня спрашивает?

Председатель. Вы угрожали ему. Вы крикнули «Смерть к...» *(Выговаривает лишь первую букву.)*

Кренкебиль. Вы хотите сказать «Смерть коровам»?

Председатель. Значит, вы не отрицаете?

Кренкебиль. Клянусь всем святым, головой дочери поклялся бы, если бы у меня была дочь, — не оскорблял я полицейского. Правду вам говорю!

Председатель. Расскажите, что произошло... Изложите факты, как вы их себе представляете.

Кренкебиль. Господин председатель, я человек честный. Я никому ничего не должен. Я знаю счет деньгам. Могу сказать, человек я аккуратный. Уж сорок лет меня все знают и на Центральном рынке, и в предместье Монмартр, везде и всюду... Ведь с четырнадцати лет я живу своими трудами...

Председатель. Я вас не спрашиваю о вашей биографии.

Движение в зале.

Пристав. Соблюдайте тишину!

Председатель. Я спрашиваю у вас: что вы можете сказать относительно фактов, предшествовавших вашему аресту.

Кренкебиль. Могу одно сказать: за сорок лет, что я таскаюсь со своей тележкой, я хорошо узнал полицейских. Чуть завиджу кого из них — сразу поверну в другую сторону. Потому и не было у меня с ними никаких неприятностей. А чтобы оскорблять их — словом или как иначе — да никогда в жизни!

Это не в моем характере. К чему же на старости лет мне меняться?

Председатель. Вы не выполнили требования полицейского, когда он вам велел проходить.

Кренкебиль. Ой-ой-ой! Легко сказать — проходить! Если б вы только видели, что там творилось!.. Повозки наехали друг на друга и стояли так тесно, что никаких сил не было сдвинуть колеса даже на полоборота.

Председатель. Ближе к делу. Признаете ли вы, что сказали «Смерть к...»?

Кренкебиль. Я сказал «Смерть коровам», потому как господин полицейский сказал «Смерть коровам». Тогда и я оказал «Смерть коровам». Ведь ясно?

Председатель. Вы утверждаете, что полицейский первый произнес эти слова?

Кренкебиль (*в отчаянии, что не может объяснить*). Ничего я не утверждаю, а только...

Председатель. Вы не настаиваете, и правильно делаете. Садитесь.

Пауза. Движение в зале.

Пристав. Соблюдайте тишину!

Председатель. Переходим к допросу свидетелей. Господин пристав, пригласите первого свидетеля.

Пристав (*пройдя через публику к выходу из зала, громко зовет*). Полицейский Бастьен Матра!

Входит Матра; на нем портупея.

Председатель. Ваше имя, фамилия, возраст и профессия.

Матра. Матра Бастьен, родился пятнадцатого августа тысяча восемьсот семидесятого года в Бастии, на Корсике. Постовой полицейский номер шестьдесят четыре.

Председатель. Поклянитесь, что будете говорить всю правду и только правду... Скажите: «Клянусь».

Матра. Клянусь.

Председатель. Что вы можете рассказать по настоящему делу?

Матра. Двенадцатого октября в полдень, стоя на посту на улице Божоле, я заметил какого-то человека, по всей видимости, торговца, который, в нарушение правил, задерживал свою тележку возле дома номер двадцать восемь, вызывая этим затор уличного движения. Я ему трижды приказывал проходить, но он не повиновался. Когда же я предупредил его, что составлю протокол, он крикнул в ответ: «Смерть коровам!» — что я счел за оскорбление.

Председатель *(отеческим тоном Кренкебилю)*. Слышите, что говорит полицейский?

Кренкебель. Я сказал «Смерть коровам», потому как он сказал «Смерть коровам». Тогда и я сказал «Смерть коровам». Что же тут непонятного!

Председатель *(который его не слушал, готовясь дать свое заключение)*. Больше свидетелей не имеется?

Пристав. Есть, господин председатель, еще двое.

Председатель. Как! Еще двое?

Лемерль. Два свидетеля вызваны по ходатайству защиты.

Председатель. Господин адвокат, вы настаиваете на их допросе?

Лемерль. Разумеется, господин председатель.

Председатель *(вздыхает; полицейскому, который снова надевает свою португю)*. Можете остаться здесь.

Пристав. Госпожа Байяр!

Входит нарядно одетая г-жа Байяр.

Председатель. Ваша фамилия, имя, возраст и профессия.

Г-жа Байяр. Полина-Фелиситэ Байяр, владелица обувного магазина по улице Божоле, в доме номер двадцать восемь.

Председатель. Ваш возраст?

Г-жа Байяр. Тридцать лет.

Движение в зале.

Председатель. Поклянитесь, что будете говорить всю правду и только правду. Поднимите руку и скажите: «Клянусь».

Г-жа Байяр поднимает руку.

Снимите перчатку с правой руки. Господин пристав, попросите ее снять перчатку.

Она снимает.

Скажите: «Клянусь».

Г-жа Байяр. Клянусь.

Председатель. Что вам известно о происшедшем случае?

Кренкебель. Делает вид, что не узнала меня. Ишь, какая гордячка!

Пристав. Соблюдайте тишину!

Председатель (*обращается к г-же Байяр*). Что вы можете сказать по настоящему делу?

Г-жа Байяр молчит.

Что вы знаете о происшествии, которое привело к аресту Кренкебеля?

Г-жа Байяр (*тихо*). Я покупала пучок порея; зеленщик мне сказал: «Поторопитесь», а я ему ответила...

Председатель. Говорите более внятно.

Г-жа Байяр. Я ему ответила: «Надо же мне выбрать товар». Как раз в это время ко мне в магазин зашла покупательница и мне пришлось уйти, чтобы заняться с ней. Это была дама с ребенком.

Председатель. Это все, что вы можете сказать?

Г-жа Байяр. Пока торговец объяснялся с полицейским, я примеряла голубые башмачки полуторагодовалому ребенку, я примеряла ему голубые башмачки.

Председатель (*Лемерлю*). Господин адвокат, у вас нет вопросов к свидетельнице?

Лемерль отрицательно качает головой.

А у вас, Кренкебиль? Желаете задать вопрос свидетельнице?

Кренкебиль. Да, желаю, у меня есть вопрос...

Председатель. Спрашивайте.

Кренкебиль. Я хочу спросить госпожу Байяр, сказал ли я «Смерть коровам»? Она меня знает, это моя постоянная покупательница. Она может сказать, в моем ли это характере произносить такие слова.

Г-жа Байяр хранит молчание.

Вы можете сказать, госпожа Байяр, вы ведь с давних пор у меня покупаете.

Председатель. Обращайтесь к суду, а не к свидетельнице.

Кренкебиль (*не разбираясь в этих тонкостях*). Мы же с вами, госпожа Байяр, старые знакомые. Вы еще даже остались мне должны четырнадцать су. Говорю я не к тому, чтобы у вас их потребовать, — проживу, бог даст, и без этих четырнадцати су.

В зале смех и шум.

Пристав. Соблюдайте тишину!

Кренкебиль. Я хочу только сказать, что вы — моя постоянная покупательница.

Г-жа Байяр (*Кренкебиллю*). Я вас не знаю.

Председатель (*свидетельнице*). Можете идти. (*Лемерлю.*) Это показание ни в чем не противоречит показанию полицейского... Имеется еще свидетель?

Лемерль. Да, еще один.

Председатель. Вы настаиваете, господин адвокат, на его допросе?

Лемерль. Я полагаю, господин председатель, что показание, которое вы сейчас услышите, будет полезно для выяснения истины. Оно будет исходить от очень видного человека, и его свидетельство, я уверен, получит весьма важное, основное, решающее значение.

Председатель (*соглашаясь, скрепя сердце*). Пригласите сюда последнего свидетеля.

Пристав. Господин доктор Матье!

Доктор Матье входит.

Председатель. Ваша фамилия, имя, возраст и профессия.

Доктор Матье. Матье, Пьер-Филипп-Давид, шестидесяти двух лет, главный врач больницы имени Амбруаза Паре, кавалер ордена Почетного легиона.

Председатель. Поклянитесь, что будете говорить всю правду и только правду. Поднимите руку и скажите: «Клянусь».

Доктор Матье. Клянусь.

Председатель (*Лемерлю*). Господин адвокат, какой вопрос вы желаете задать свидетелю?

Лемерль. Доктор Матье присутствовал при аресте Кренкебиля. Мне хотелось бы, господин председатель, спросить у него, что он тогда видел и что слышал.

Председатель (*свидетелю*). Вам ясен вопрос?

Доктор Матье. Да. Я находился в толпе, собравшейся вокруг полицейского, который требовал, чтобы торговец не задерживался и проходил. Однако скопление людей и экипажей было столь велико, что не было возможности двинуться. Вот почему я оказался свидетелем происшествия, которое там имело место. Я могу утверждать, что не упустил ни единого слова. Я отлично видел, что полицейский ошибся: он не подвергся никакому оскорблению. Уличный торговец не произносил бранных слов, которые слышались полицейскому. Мое впечатление разделялось всеми окружающими меня людьми, которые тоже заметили эту ошибку. Подойдя к полицейскому, я пытался разъяснить ему недоразумение. Я обратил его внимание на то, что торговец отнюдь не оскорблял его, что, напротив, он был очень сдержан в своих выражениях. Но полицейский все-таки не отпустил его, а мне предложил, в несколько грубой форме, следовать за собою в комиссариат. Я так и сделал. Там я повторил свое заявление комиссару полиции.

Председатель (*ледяным тоном*). Хорошо. Можете сесть... Матра!..

Матра, сняв португею, предмет постоянных своих забот, подходит к барьеру.

Скажите, Матра, в тот момент, когда вы производили арест обвиняемого, не заметил ли вам доктор Матье, что вы ошибаетесь?

Матра молчит.

Вы слышали показания господина Матье? Я спрашиваю: когда вы производили арест Кренкебиля, не говорил ли вам господин Матье, что, по его мнению, вы ошиблись?

Матра. Ошибся?.. Ошибся?.. Дело в том, господин судья, что он меня оскорбил.

Председатель. Что же он вам сказал?

Матра. Он сказал мне: «Смерть коровам!»

Председатель (*поспешно*). Можете удалиться.

Пока Матра надевает свою португую, в зале волнение и шум; на бледном лице доктора Матье грустное недоумение.

Лемерль (*потрясая рукавами своей мантии, перекрывая шум*). С полным доверием предоставляю суду дать словам свидетеля надлежащую оценку.

Шум продолжается.

Голос из публики (*на фоне общего гула*). Ну и наглец же этот фараон! Тебя непременно оправдают, старина Кренкебель!

Пристав. Соблюдайте тишину!

Мало-помалу спокойствие восстанавливается.

Председатель. Эти бурные проявления чувств в высшей степени неуместны. Если они повторяются, я прикажу немедленно очистить зал... Господин Лемерль, предоставляю вам слово.

Лемерль открывает папку с бумагами.

Сколько времени вы предполагаете занять?

Лемерль. Немного. Я думаю, что показания полицейского Матра позволяют мне сильно сократить свою речь, и если суд разделяет это мнение...

Председатель (*весьма сухо*). Я спрашиваю — сколько времени вам потребуется?

Лемерль. Двадцать минут, не больше.
Председатель (*нехотя соглашаясь*). Ваше слово.

Лемерль. Господа! Я высоко ценю, уважаю и почитаю работников городской полиции. Случай, имевший место на этом заседании, как бы ни был он характерен сам по себе, не может поколебать во мне чувства симпатии к этим скромным служителям общества, которые, получая ничтожное вознаграждение, пренебрегая усталостью и подстерегающими их на каждом шагу опасностями, проявляют повседневный героизм — быть может, наиболее трудный из всех видов героизма. Это — старые солдаты, и они остаются таковыми...

Голоса (*ропот в зале*). Гляди-ка, он говорит в пользу фараонов!.. Защищай лучше Кренкебиля! Э ты, бездельник!

Стража выводит одного из присутствующих.

Выводимый. Я же ничего не сказал такого...
Право, ничего не сказал...

Лемерль (*продолжает свою речь*). О да! Я, разумеется, не могу не признавать тех скромных, но драгоценных услуг, которые ежедневно оказывают славному населению Парижа эти блюстители порядка. И я, господа, не посмел бы выступить перед вами в защиту Кренкебиля, если бы усматривал в нем оскорбителя старого солдата... Но обратимся к фактам. Моего подзащитного обвиняют в том, что он сказал «Смерть коровам». Я могу, ничуть не оскорбляя вашего слуха, повторить во всеулышание название этой величавой королевы лугов, доброго и мирного создания, питающего нас молоком. Не отрицаю, что при известных обстоятельствах и в устах некоторых лиц это слово может приобретать оскорбительный характер. Здесь, господа, перед нами маленькая, но довольно любопытная проблема простонародной речи. Перелистайте словарь рыночного жаргона, и вы в нем найдете (*читает*): «коровяк» — ленивый, бездельник; кто валяется, как корова, вместо того чтобы работать. «Корова» — тот, кто проданся полиции, сыщик. «Смерть коровам» — говорится в известной среде.

Весь вопрос, однако, заключается в том, как это сказал Кренкебиль. И даже — сказал ли он это? Позвольте, господа, усомниться. Я отнюдь не подозреваю полицейского Матра в недобросовестности. Но, как мы уже говорили, на нем лежат тяжелые обязанности. Он бывает подчас усталым, измученным, переутомленным. При таких условиях он мог оказаться жертвой своего рода галлюцинации слуха. После того как он нам здесь заявил, будто бы доктор Давид Матье, кавалер ордена Почетного легиона, главный врач больницы имени Амбруаза Паре, светоч науки и человек из хорошего общества, крикнул «Смерть коровам», мы вынуждены признать, что полицейский Матра страдает навязчивыми идеями, что он — если уместно столь сильное выражение — одержим манией преследования.

Голоса в зале (*многочисленные и шумные выражения одобрения*). Вот это правильно! Правильно! Можешь больше не говорить, все ясно. Очень хорошо, очень хорошо.

Пристав. Соблюдайте тишину!

Председатель. Всякое проявление одобрения или неодобрения строго воспрещается, — я отдам приказание страже удалять из зала нарушителей порядка.

Мертвая тишина.

Лемерль. Господа! Передо мной лежит сочинение высокоавторитетного в данной области автора. Это — «Трактат о галлюцинациях» Бриера де Буамона, доктора медицины Парижского университета, кавалера ордена Почетного легиона, польского ордена «За воинскую доблесть» и т. д. Из этого трактата мы узнаем, что слуховые галлюцинации — явление весьма и весьма распространенное и что под влиянием сильного волнения, переутомления, чрезмерного умственного или физического напряжения слуховым галлюцинациям бывают подвержены люди психически совершенно здоровые. Какова же обычная, постоянная природа этих галлюцинаций? Какие слова должны были послышаться полицейскому Матра, находившемуся в том болезненном состоянии, когда возникают

ложные слуховые восприятия? Об этом скажет вам доктор Бриер де Буамон. *(Читает.)* «В большинстве случаев возникновение таких иллюзий связано с профессиональными занятиями, с привычками, с увлечениями больных». Заметьте, господа: с профессиональными занятиями, с привычками... Таким образом, галлюцинирующий хирург услышит жалобы пациента, биржевой маклер — сообщения о курсе акций, политический деятель — бурные интерpellации депутатов, своих коллег, постовой полицейский — крик «Смерть коровам». Нужно ли останавливаться на этом дольше?

Председатель отрицательно качает головой.

Допустим, даже, что Кренкебиль крикнул «Смерть коровам»; надо еще уяснить себе, носит ли этот возглас в его устах характер преступления. Господа! При правонарушениях бывает достаточно установить самый факт правонарушения, независимо от того, имелся или нет у правонарушителя злой умысел.

В зале слышен гул разговоров.

Но здесь речь идет об уголовном праве, строгом и точном. Преступное намерение — вот что подлежит преследованию прокурорского надзора, вот что караете вы, господа! В суде исправительной полиции намерение становится существенным элементом преступления. И перед нами встает вопрос: имелось ли в данном случае преступное намерение? Нет, господа, его не было.

Шум возрастает.

Пристав. Соблюдайте тишину.

Лемерль. Кренкебиль — незаконнорожденный сын уличной торговки, погибшей от разврата и пьянства. Он...

Чей-то голос. Вот-те на! Он позорит теперь его мать!

Лемерль. ...наследственный алкоголик... Умственно ограниченный от природы и лишенный какой бы то ни было культуры, он живет одними инстинктами. И, позвольте вам заметить, инстинкты

эти, в сущности, вовсе не так уж плохи, но они грубы и примитивны. Душа его как бы заключена в непроницаемую оболочку. Он не понимает как следует ни того, что ему говорят, ни того, что говорит он сам. Слова имеют для него лишь смутный, рудиментарный смысл. Он принадлежит к тем жалким существам, которых столь мрачными красками изобразила кисть Лабрюйера *, — к людям, которые живут и ходят так низко пригнувшись к земле, что их можно издали принять за животных. Вот он перед вами, отупевший за шестьдесят лет нищенского существования. Господа! Вы признаете, что он — невменяем. (*Садится.*)

Председатель. Суд удаляется на совещание.

Шум. Два члена суда наклоняются к председателю, который им что-то шепчет.

Кренкебель (*своему адвокату*). Видно, вы долго обучались, что можете говорить так много без передышки. Говорите-то вы хорошо, да уж больно скоро, понять нельзя. Ну, да ладно — хоть я не разобрал, о чем вы там говорили, я все же благодарен вам, только...

Пристав. Соблюдайте тишину!

Кренкебель. Как заорет этот малый, так меня словно по животу ударят... Только надо было бы еще им сказать, что я никому ничего не должен. Ведь это сущая правда! Я — человек аккуратный, знаю счет каждому су. Да, может, вы и говорили, но я не дослышал... А потом надо было спросить, куда они девали мою тележку.

Лемерль. Ведите себя спокойно, это в ваших интересах.

Кренкебель. Это что же — они там сейчас приговор мой высжиживают? Ну и волынка... Ох, боже ты мой!..

Пристав. Соблюдайте тишину!

В зале водворяется тишина.

Председатель (*войдя, оглашает приговор, написанный на разных бумажках — на извещениях о смерти, о браках, на проспектах торговых фирм*

и т. д.). Рассмотрев, в соответствии с законами, настоящее дело...

Голос из публики (*прерывает внезапно тишину*). Оправдали!..

Председатель (*бросив уничтожающий взгляд*). ...и принимая во внимание, что из приложенных к делу документов и свидетельских показаний, заслушанных на заседании, следует, что двадцать пятого июля сего года, в день своего ареста, Кренкебилю Жером оказался виновен...

Из глубины зала поднимается глухой и грозный ропот; председатель пресекает его разящим как меч взглядом и продолжает чтение в наступившей снова тишине.

...в нанесении оскорбления представителю государственной власти при исполнении им служебных обязанностей, преступлении, предусмотренном статьей двести двадцать четвертой уголовного кодекса, суд исправительной полиции, применив означенную статью, приговорил Кренкебилю Жерома к пятнадцати дням тюремного заключения и пятидесяти франкам штрафа... Объявляется перерыв.

В зале невообразимый шум,

Невнятные голоса. Круто с ним поступили... Никак не ожидал этого... Да, приговор довольно жесткий.

Кренкебилю (*к конвойному*). Так я, стало быть, осужден?

Суд удаляется.

Когда конвой собирается увести Кренкебиля, Лемерль, который приводит в порядок бумаги, документы и пр., делает знак, что хочет поговорить с подсудимым.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Кренкебилю. Служивый!.. Служивый!.. Эй ты, служивый! Кто бы сказал мне полмесяца тому назад, что со мною этакое случится... Господа эти вежливые, надо правду сказать, слова грубого не промолвят.

Мудрено только столкнуться с ними. Не поспеть никак. Они-то, может, и не виноваты, только никак не поспеть, верно я говорю? Что же ты мне не отвечаешь? С собакой — и то разговаривают! Что ж ты молчишь? Боишься рот раскрыть — верно, изо рта воняет?

Лемерль. Ну, друг мой... Нам не приходится особенно жаловаться. Могло быть хуже.

Кренкебиль. Все может быть, все может быть...

Лемерль. Больше ничего нельзя было сделать... Ведь вы не послушались моих советов. Ваша тактика запирательства оказалась на редкость неудачной. Лучше было бы вам сознаться.

Кренкебиль. Уж, конечно, сынок, чего бы лучше. Только в чем было мне сознаваться? *(В раздумье.)* А все ж неладное что-то со мной творится,

Лемерль. Не будем преувеличивать. Такие случаи, как ваш, не редки, далеко не редки!.. Ну, не падайте духом.

Кренкебиль *(которого уводит конвой, оборачивается и говорит)*. А вы не можете сказать, куда они девали мою тележку?

Обаре *(Лермиту)*. Что ты здесь делаешь?

Лермит. Заканчиваю набросок. Во время заседания мне приходится рисовать, держа бумагу на дне шляпы. Это ведь не очень удобно... А сейчас я уточняю некоторые детали...

Обаре. Ты изобразил здесь председателя Буриша?

Лермит. Так это Буриш — тот, кто выносил приговор уличному зеленщику?

Обаре. Да, его фамилия Буриш.

Лермит. Посмотри, кажется вышло неплохо.

Лемерль *(приставу)*. Ламперьер, вы не знаете, отложено дело Гупи в третьей камере?

Пристав. Нет, оно слушается.

Лемерль. Черт возьми, надо бежать!.. Я вернусь сюда к возобновлению заседания. Надо попросить председателя Буриша отложить одно дело.

Лермит *(робко и неловко, шаря у себя в кармане, окликает Лемерля, который его не слышит и*

уходит). Господин Лемерль... Мне надо вам сказать два слова... Ах! Он уже ушел.

Обаре. После перерыва он сюда вернется. О чем может быть у тебя разговор с этой пташкой?

Лермит. Ни о чем... Я так... Согласись, дружище, что приговор по делу этого зеленщика все-таки чересчур суров.

Обаре. По делу Кренкебиля? Пожалуй, да. Но нельзя сказать, чтоб он был исключительно суров... (*Рассматривая рисунок.*) По этому наброску ты, вероятно, сделаешь небольшую картину?

Лермит. Да, на сцену в суде теперь хороший спрос. Утром я продал двух адвокатов за сотню франков; эта сотня у меня в кармане.

Обаре. И незачем ее извлекать оттуда...

Лермит. Что там ни говори, Обаре, а суд признал этого беднягу виновным без доказательств...

Обаре. Как без доказательств?

Лермит. Вопреки показаниям профессора Давида Матье, на основании только слов полицейского — это выше моего разумения, просто не могу понять...

Обаре. А ведь понять совсем не трудно.

Лермит. Как? Беспристрастному свидетельству заслуженного, высококультурного человека предпочесть нечленораздельное мычание тупого, упрямого неуча? Доверять какому-то ослу больше, чем ученому, — и ты, ты находишь это естественным? Да ведь это чудовищно! Председатель Буриш — мрачный и злой шутник после этого!

Обаре. Не скажи, Лермит, не скажи. Председатель Буриш — почтенный судейский чиновник, лишний раз доказавший нам тонкость своего юридического мышления.

Лермит. В деле Кренкебиля?

Обаре. Разумеется. Если бы он стал сопоставлять противоречащие одно другому показания полицейского номер шестьдесят четыре и профессора Матье, он вступил бы на путь, приводящий только к сомнениям и неуверенности. Председатель Буриш обладает достаточно гибким юридическим умом, чтобы не ставить свои приговоры в зависимость от разума и

науки, заключения которых бывают сплошь и рядом спорными.

Лермит. Значит, судья должен отказаться от выяснения истины?

Обаре. Да, но он не может отказаться от своих судейских обязанностей. По правде говоря, для председателя Буриша просто не существует никакого Бастьена Матра. Он знает только полицейского номер шестьдесят четыре. Человеку свойственно ошибаться, рассуждает он. Декарт и Гассенди, Клод Бернар и Пастер иной раз ошибались. Но полицейский номер шестьдесят четыре не ошибается. Это — номер. А номер не подвержен никаким заблуждениям.

Лермит. Рассуждение довольно занятное.

Обаре. Неопровержимое! Есть тут и еще одно соображение. Полицейский номер шестьдесят четыре является представителем государственной власти. У государства все мечи должны быть обращены в одну сторону. Если же направить один меч против другого...

Лермит. ...то будет нарушен общественный порядок. Я понял.

Обаре. Наконец, если бы суд выносил приговоры против носителей власти, то кто бы стал их выполнять? Без жандармов судья был бы жалким мечтателем.

Входит Лемерль.

Лемерль. Обаре, вас ждут в четвертой камере... Как, заседание еще не возобновлялось?

Обаре. Нет.

Лемерль. И пристав еще не показывался?

Лермит. Простите, господин адвокат... Скажите, при неуплате подсудимым положенного штрафа продлевается тюремное заключение?

Лемерль. Да.

Лермит. В таком случае не будете ли вы любезны передать пятьдесят франков этому зеленщику?

Лемерль. Кренкебилю?

Лермит. Да, не говоря ему, откуда эти деньги.

Лемерль. Хорошо, передам.

Лермит. Но дело в том, что у меня только стофранковая бумажка.

Лемерль (*ищет у себя в карманах*). Посмотрю, может быть, у меня найдется... нет... три луидора... Ах, вот! Десять франков... Сорок и десять — пятьдесят. Пожалуйста.

Лермит. Благодарю вас.

Лемерль. Это я должен благодарить вас за моего подзащитного.

Доктор Матье (*входя, Лемерлю*). Скажите, пожалуйста, ведь это вы защищали Кренкебиля? Я вас ищу.

Лемерль. Да, господин... Доктор Давид Матье. Вы были нашим свидетелем в процессе Кренкебиля.

Доктор Матье. Не могли бы вы передать вашему клиенту эти пятьдесят франков для уплаты штрафа?

Лемерль. С большим удовольствием. Но я уже получил пятьдесят франков для той же цели от господина... (*Указывает на Лермита.*)

Доктор Матье. Ах, так...

Доктор Матье и Лермит обмениваются поклонами. Пауза.

Лемерль (*держа в одной руке деньги, полученные от Лермита, в другой пятьдесят франков доктора Матье*). Как же мне теперь быть, господа?

Доктор Матье. Что ж... Пятьдесят франков для уплаты штрафа.

Лермит. Да, а другие пятьдесят передайте ему при выходе из тюрьмы.

Лемерль. Превосходно! Я так и сделаю, будьте спокойны...

Он раскланивается и выходит. Небольшая пауза. Доктор Матье и Лермит приветливо кланяются друг другу. Матье направляется к выходу, за ним на расстоянии нескольких шагов идет Лермит. Оба говорят одновременно, протягивая друг другу руки: «Позвольте...» Они улыбаются и сердечно, хотя не без грусти, обмениваются рукопожатием. Доктор Матье выходит.

П р и с т а в (*объявляет*). Суд идет!

Лермит. Начинается все сначала.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

НОЧЬ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Торговец каштанами. Каштаны! Каштаны! Горячие каштаны!.. *(Отпускает мальчишке на одно су каштанов.)*

Кренкебиль *(шумно споря, выходит из лавки виноторговца)*. Как! В чем дело?! За то, что я попросил стаканчик вина в долг?.. Можно ли из-за этого обращаться со мной как с мошенником!

Торговец каштанами. А ты знаешь картинку: «Кредит умер, — его убили неплательщики»? *

Кренкебиль. Скажите на милость, неужто ему так трудно отпустить мне стаканчик в долг? Мало он меня обворовывал, когда у меня водились деньжата? Вор — вот он кто! Вор!.. Так в глаза ему и скажу.

Торговец каштанами. Сам из тюрьмы только вышел, а людей обзывает ворами!

Альфонс *(подросток лет двенадцати, выходит из винной лавки и спрашивает Кренкебиля нарочито вежливо)*. Скажите, сударь, правда ли, что в кутузке живется совсем не плохо?

Кренкебиль. Ах ты, сопляк!.. *(Дает Альфонсу пинка; тот убегает, хныча.)* Отца твоего — вот кого бы упечь в кутузку, а он наживается тут, продавая людям отраву!

Виноторговец *(за ним его сын)*. Проучил бы я вас ужо, кабы не ваша седина, — знали бы, как бить моего сына. *(Сыну.)* Ступай домой, мерзавец!

Оба уходят.

Кренкебиль *(торговцу каштанами)*. Каково! Подумать только...

Торговец каштанами. Чего ж ты хочешь? Он прав: нельзя бить чужих детей и попрекать отцом, которого они сами себе не выбирали... За два месяца, как ты оттуда вышел, ты сильно изменился, старина Кренкебиль, — со всеми ссоришься да ругаешься. Это бы еще не беда. Но ты ни на что, кроме выпивки, стал теперь не годен.

Кренкебиль. Сроду я не бывал гулякой, да ведь требуется иной раз пропустить стаканчик — понабраться сил, освежиться... Право, здесь вот, внутри, так у меня и горит. А выпьешь — и полегчает малость.

Торговец каштанами. И это бы еще не беда, но ты разгневался, лодырничает. Коли человек дошел до такой жизни, можно сказать, что он валяется на земле, а подняться не в силах. Все проходящие топчут его ногами.

Кренкебиль. Что правда, то правда: нет во мне белой бодрости. Пришел мне каюк. Повалился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. А потом после дела моего в суде и характер у меня переменился. словно другим человеком я стал, ей-богу! Что тут прикажешь делать?.. Они меня арестовали за то, что я крикнул «Смерть коровам». А это неправда, я не кричал. Почтенный доктор один, с орденом, то же самое им говорил. Да они и слушать не хотели. Судьи-то, положим, люди вежливые, грубого словечка не скажут, только вот мудроно столкнуться с ними. Дали они мне пятьдесят франков, а тележку мою угнали невесть куда, две недели потратил, покуда ее отыскал. Чудно как-то все получилось. Ей-богу, словно в театре я побывал!

Торговец каштанами. Они дали тебе пятьдесят франков? Вот это новости, раньше так не делали.

Кренкебиль. Врать не буду: они мне дали пятьдесят франков прямо из рук в руки. Да потом и тюрьма — заведение приличное. Ничего плохого про нее не скажешь. Порядок везде, чистота. На полу хоть ешь. Только выйдешь когда оттуда — работать уже не сможешь, не заработаешь больше ни одного су. Все показывают тебе спину.

Торговец каштанами. Я тебе, знаешь, что скажу: перемени квартал.

Кренкебиль. Вот и госпожа Байяр, башмачница, воротит рожу, когда я прохожу мимо. Задирает нос передо мной, а ведь из-за нее меня тогда и забрали. Всего хуже, что она мне так и осталась должна

четырнацать су. Я сейчас хотел было их с нее потребовать, да она занята с покупательницей. Что ж, пождем, а свое возьмем!

Торговец каштанами. Ты куда это?

Кренкебиль. К госпоже Байяр, потолковать о деле.

Торговец каштанами. Только смотри, веди себя потише.

Кренкебиль. А что — разве я не имею права требовать у нее свои четырнадцать су? Мне они нужны до зарезу, уж не ты ли мне дашь их? Если дашь, так и скажи.

Торговец каштанами. Нет, я никак не могу, хозяйка глаза мне выцарапает. Я и так довольно передавал тебе за два последних месяца: каждый раз по двадцать, а то и по сорок су.

Кренкебиль. Не подыхать же мне, как собаке! У меня — ни гроша в кармане.

Торговец каштанами *(снова подзывая его к себе)*. Кренкебиль! Знаешь, что тебе надо сделать?

Кренкебиль. Что?

Торговец каштанами. Тебе надо переменить квартал.

Кренкебиль. Нет, не выйдет. Я ведь словно коза: она щиплет траву там, где привязана, щиплет, хотя б там остались уже одни булыжники.

Г-жа Байяр *(провожает покупательницу; когда та сворачивает за угол, г-жа Байяр подходит к Кренкебилю и резко спрашивает его)*. Что вам надобно от меня, а?

Кренкебиль. Можете сколько угодно стрелять глазами, как из пистолетов... Я желаю получить свои четырнадцать су.

Г-жа Байяр *(точно упала с неба)*. Ваши четырнадцать су?

Кренкебиль. Да, мои четырнадцать су.

Г-жа Байяр. Прежде всего я запрещаю вам врываться в мой магазин, как вы ворвались сейчас. Это еще что за нахальство?!

Кренкебиль. Ладно! Ладно! Подавайте мои четырнадцать су!..

Г-жа Байяр. Не понимаю, о чем вы говорите. Кроме того, знайте: людям, которые в тюрьме побывали, долгов не платят.

Кренкебиль. Ну и шельма!

Г-жа Байяр. Грубиян!.. Ах, если бы муж был жив...

Кренкебиль. Будь у тебя, скупердяйка, муж, я бы так отделал его по заднице, что сразу отучил бы тебя обворовывать людей да еще оскорблять их вдобавок.

Г-жа Байяр. Где же полиция?! *(Предусмотрительно запирается у себя в лавке.)*

Кренкебиль. Забирай себе мои четырнадцать су, подавись ими, воровка!

Торговец каштанами. У тебя только и на языке, что вор да воровка. Послушать тебя, так все воры. Это правильно, а с другой стороны, неправильно. Я сейчас объясню. Жить все хотят, а жить и не делать никому вреда нельзя, это просто немислимо... и, стало быть...

Мышь. Добрый вечер, честная компания!

Торговец каштанами. Добрый вечер, Мышь!

Мышь. Ну как, папаша Кренкебиль, дела, поправляются? Вы не узнаете меня? Я — Мышь. Ведь мы с вами — старые знакомые. Вы еще мне подарили грушу, немножко переспелую... Помните?

Кренкебиль. Все может быть.

Мышь. Пойду отдохну. Я проживаю здесь. Ох, и намаялся же я! А поработал здорово — целый день выкрикивал «Родина»! «Пресса»! «Вечерняя газета»! — аж глотка охрипла. Сейчас пожую чего-нибудь — и завалюсь на перину. Прощайте, друзья!

Торговец каштанами. Какая там у тебя перина!

Мышь. Думаешь, нет? Приходите — увидите. Я ее сам сделал, из мешков да стружек.

Кренкебиль. Тебе, стало быть, везет, малыш. А я уже целых два месяца мягко не спал.

Мышь уходит.

Истинная правда! Ведь из чулана-то моего меня прогнали. Вот уже пятая неделя как ночую в сарае, на своей тележке. А дождь шел и шел, весь сарай залило. Чтоб не потонуть, сидеть надо на корточках, а под тобой — вонючая вода, кругом кошки, крысы, пауки — прямо с кулак. А прошлой ночью еще возьми да лопни сточная труба: повозки так и плавали в нечистотах, одно горе! У входа в сарай даже сторожа поставили — смотреть, чтоб никто не входил туда: стена, того гляди, рухнет. Вроде меня она, значит, стена-то — стойма не держится... *(Видит, что в винную лавку входит г-жа Лора.)* А! Госпожа Лора.

Торговец каштанами. Госпожа Лора — женщина солидная, степенная; ремесло — ремеслом, а держать себя умеет. У стойки она пить не станет. Готов поспорить — выйдет сейчас оттуда с литром вина, чтобы распить дома, с приятелями.

Кренкебиль. Госпожа Лора! Я ее знаю бог весть с каких пор, это ведь моя покупательница. Да, госпожа Лора — женщина что надо!

Торговец каштанами. И собой хороша?.. Ишь, плут!

Из винной лавки выходит г-жа Лора.

Видишь, что я тебе говорил?

Кренкебиль. Здравствуйте, госпожа Лора!

Г-жа Лора *(торговцу каштанами)*. На двадцать сантимов каштанов. Самых горячих.

Кренкебиль. Не узнаете меня, госпожа Лора? Продавец порея.

Г-жа Лора. Вижу, вижу. *(Торговцу каштанами.)* Только не давай из мешка. Кто знает, сколько времени они там лежат; может, остыли.

Торговец каштанами. Что вы! Такие горячие, что пальцы обожжешь.

Кренкебиль. Вам трудно меня узнать, потому что я без тележки? Это меняет иногда человека... Ну а вы — как поживаете, госпожа Лора? *(Дотрагивается до ее руки.)* Я спрашиваю, как живется вам, как дела?

Г-жа Лора. Ну же, господин Растяпа, отпусти мне каштанов. Меня ищут гости. Сегодня праздник. Я, конечно, принимаю только тех, с кем знакома.

Кренкебиль. Не отрекайтесь от старых знакомых, госпожа Лора! Вы бываете скуповаты, но покупательница вы хорошая.

Г-жа Лора (*торговцу каштанами*). Отпускай же скорей. Неприятно, когда к вам пристаёт человек, сидевший в кутузке.

Кренкебиль. Что такое вы говорите?

Г-жа Лора. Я с вами не разговариваю.

Кренкебиль. Ты говоришь, что я сидел в кутузке, гадина? Ну, а ты, ты сама? Никогда, небось, не ездила в зеленой карете? Эх, кабы у меня было столько монет по сто су, сколько раз тебя в ней возили...

Торговец каштанами. Чего ты лаешься на моих покупателей? Замолчи, не то дам тумака.

Г-жа Лора. Поглядите, как разошелся... Ишь ты, старая кляча!

Кренкебиль. А ты — потаскуха!

С появлением молчаливой и неподвижной фигуры полицейского перебранка смолкает; г-жа Лора важно удаляется.

Мышь (*из окна*). Эй, заткнитесь! Орете во все горло, спать мешаете.

Кренкебиль. Ну и шлюха! Самая последняя, грязная шлюха — вот кто эта баба.

Торговец каштанами (*складывая свою жаровню*). Надо потерять всякую совесть, чтобы нападать на женщину, когда ей отпускают товар. Убейся к черту! Твое счастье, что я не попросил забрать тебя в полицию. (*Уходя.*) И этому-то человеку я уже два месяца даю по двадцать, по сорок су в неделю! Не знает совсем, как с людьми обходиться. Видали?

Мальчик из винной лавки затворяет ставни.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Кренкебиль. Эй, господин Растяпа, господин Растяпа! Послушай-ка!.. Удрал от меня. Ничего слышать не хочет. А разозлился я на эту шлюху, потому что все они поступают со мной, как она, все! Прикидываются, что не узнают. Госпожа Куэнтро, госпожа Лессен, госпожа Байяр — да что говорить, все решительно... Стало быть, если человека упрятали на две недели в кутузку, он уже не годен и порей продавать?! Разве это справедливо? Разве не противно это рассудку — заставлять подыхать с голоду честного человека только потому, что у него вышли неприятности с фараонами? Ведь коли я не смогу больше торговать овощами, мне остается только околевать! Ей-богу! Будь я вором, убийцей, будь прокаженным — и тогда не было бы мне хуже. Донимает и холод и голод... Есть нечего... Что ж, подыхай! Подыхай, дядюшка Кренкебиль! Эх! Иной раз пожалеешь, что не сидишь больше там.

В глубине сцены неподвижная фигура полицейского; Кренкебиль его замечает.

Ну и дурень же я! Ведь я знаю один славный фокус, отчего не попытаться?..

Он приближается тихонько к полицейскому, который стоит теперь почти на авансцене, и нерешительно, слабым голосом произносит:

Смерть коровам!

Полицейский смотрит на Кренкебиля пристально, с презрением и грустью. Пауза. Кренкебиль, удивленный, бормочет:

Смерть коровам! Вот что я вам сказал.

Полицейский № 121. Так говорить нельзя... не положено так говорить. В ваши годы понимать надо... Идите своей дорогой.

Кренкебиль. Что же вы не арестуете меня?

Полицейский № 121 (*покачивая головой*). Всех пьянчуг задерживать, которые болтают чего не следует, — хлопот не оберешься... Да и какой прок!

Кренкебель (*подавленный, долго и тупо молчит, затем говорит очень мягко*). Это я не вам сказал «Смерть коровам», и никому я не хотел так говорить, никому. Просто была мысль одна...

Полицейский № 121 (*сниходительно, но серьезно*). Мысль какая или что другое, а так говорить не годится: раз человек службу несет и столько ему терпеть приходится, нехорошо оскорблять его пустыми словами... Повторяю — идите своей дорогой.

ЯВЛЕНИИ ТРЕТЬЕ

Мышь (*из окна*). Папаша Кренкебель! Папаша Кренкебель! Папаша Кренкебель!

Кренкебель. А? Кто там говорит у меня над головой? Или это чудо?

Мышь. Папаша Кренкебель!..

Кренкебель. А-а, это ты?

Мышь. Куда это вы идете — под дождем без зонтика?

Кренкебель. Куда я иду?

Мышь. Да...

Кренкебель. В Сену броситься,

Мышь. Не ходите, не надо! Ведь там так холодно. И слишком мокро.

Кренкебель. Ну, а что же мне, по-твоему, осталось делать?

Мышь. Надо встряхнуться, дорогой папаша. Надо жить.

Кренкебель. А зачем?

Мышь. Не знаю, но из всякой беды нужно как-то выкручиваться. Была незадача, придет и удача. Вы еще будете торговать капустой и морковью, верно вам говорю! Пойдемте ко мне. У меня есть хлеб, колбаса и литр вина. Мы поужинаем, как миллионеры, и я сооружу вам постель, такую же, как моя, — из мешков да стружек. А завтра увидим, — утро вечера мудренее. Ну, идемте же, дорогой папаша!

Кренкебель. Ты такой молодой, ты еще не испорченный. Люди злые, но ты еще не сделался таким,

как все. Что ж, мальчонка, можешь сказать себе, что хоть ты и мал годами, а спас человека. Понятно, это не такое уж важное дело и особенно гордиться тут нечем: ведь и луна на небе будет ходить по-прежнему и наша республика краше не станет... А все же ты человека спас. *(Не проронив больше ни слова, свесив голову на грудь и опустив руки, Кренкебиль проходит в обратном направлении по сцене.)*

Ивовый манекен

Пьеса в восьми картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Бержере
Мазюр
Ру
Касиньоль
Подорожник
Шантеклер
Ла Клаври
Леду
Лантень
Де Громанс
Г-жа Бержере
Жюльетта
Полина
Зоя

Евфимия
Мадемуазель Роза
Г-жа де Громанс
Г-жа Торке
Прачка
Первый студент
Продавец вафель
Почтальон
Булочник
Подмастерье
Сторож
Второй студент
Третий студент

КАРТИНА ПЕРВАЯ

СТОЛОВАЯ В ДОМЕ БЕРЖЕРЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Почтальон, Евфимия, Жюльетта, Полина.

Почтальон. Это госпоже Бержере — «Моды для всех», а здесь — расписаться господину Бержере, за- казная бандероль.

Евфимия (*кричит*). Барин, вы наверху?

Голос Бержере. Да.

Евфимия (*почтальону*). Сейчас.

Почтальон дожидается. Видно, как в саду прогуливается Полина. С улицы доносятся далекие крики торговки,

Жюльетта (*входит, говоря*). Евфимия!

Замечает почтальона, тот встает и кланяется.

Почтальон. Мамзель Фимия пошла к вашему папаше, — надо расписаться в получении бандероли.

Жюльетта: А больше ничего не было?

Почтальон. Модный журнал.

Жюльетта берет журнал.

Евфимия *(возвращаясь)*. Вот ваша книжка.
Почталъон. Прощайте, барышня. *(Выходит.)*
Жюльетта. Евфимия, поставьте мне утюг.
Евфимия. Никак нельзя, барышня... Вся плита как есть заставлена.
Жюльетта. Да чем?
Евфимия. А как же! Сковорода с котлетами, кастрюля для яиц всмятку и еще чайник.
Входит Полина.

Жюльетта. Как же быть, мне нужен утюг юбку разгладить!

Евфимия. После завтрака разгладите, барышня!

Полина. Что у вас с пальцем, Евфимия!

Евфимия. Завязала, барышня... потому, палец порезала. Рубила мясо и отхватила кончик. Ничего, заживет.

Полина. Надо быть осторожней, Евфимия! Вы, что ни день, себя калечите.

Евфимия. Ничего не поделаешь, барышня! У барыни весь день волчком вертишься. Голова кругом идет.

Полина. Вы арнику приложили?

Евфимия. И так заживет; я здоровая. К здоровому человеку ничто не пристанет.

Жюльетта. Значит, вы не можете нагреть мне утюг?

Шум на кухне.

Полина. Что там такое?

Евфимия *(серьезно и без всякого удивления)*. Должно, чайник на огонь опрокинулся. Сходить за плитой присмотреть!

Звонок.

Звонят, сходить дверь отпереть! *(Выходит.)*

Полина. У Евфимии такая привычка — ставит чайник на горку угля. Угли сгорают, и катастрофа неизбежна. Каждый раз одно и то же. И никак она не может это понять.

Жюльетта. А юбку для гулянья мне все-таки разгладить надо.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, Роза.

Евфимия (*возвращаясь*). Это — модистка... Пожалуйте.

Полина. Здравствуйте, мадемуазель Роза.

Жюльетта. Мадемуазель Роза, вы принесли мне канотье?

Роза. Мадемуазель Жюльетта, я не обещала вам на сегодня. В субботу, это уж без обмана. Я пришла за перьями для шляпы вашей мамы. Госпожа Бержере пообещалась занести перья сегодня с утра. Я все время ее поджидала, а сейчас мне надо к госпоже Деллион, и...

Жюльетта. Мама пошла к вам; вероятно, она уже у вас.

Роза. Она никого не застанет, — я заперла магазин, когда уходила.

Жюльетта. Подождите минутку; она скоро вернется.

Евфимия. Пора на стол накрывать.

Жюльетта. Уберите щетку; вы ужасная неряха, Евфимия!

Полина (*смотря на упавшую щетку*). Что за свирепый вид у этой щетки. Настоящее ведьмино помело: облезлая, взъерошенная.

Жюльетта. Это — старая щетка. Нечего издеваться.

Евфимия. Нет, это новая. Из старой весь волос повылазил. Теперь я на нее тряпку наматываю, когда пол на кухне протираю.

Жюльетта. Вы уверены, мадемуазель Роза, что мама не заходила к вам сегодня утром?

Роза. Уверена. Я никуда не отлучалась.

Снова шум на кухне.

Евфимия (*накрывая на стол*). Должно, чайник опрокинулся.

Часы бьют половину.

Роза. Половина двенадцатого. Мне пора!

Жюльетта. Мадемуазель Роза, что носят в этом году?

Роза. Треуголочки, отделанные цветами, бержерки... они всем к лицу. Я вам покажу, — никак не отличить от парижских. У меня все модели есть. Простите, больше ждать никак не могу: мне пора к заказчице.

Жюльетта. А шляпы-бержерки отделяют кружевом?

Роза. Почему же... если вам нравится... Прощайте. Напомните мамаше прислать мне перья. *(Уходит)*.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Жюльетта, Полина, Евфимия, Бержере.

Бержере *(читает адрес на вскрытой бандероли)*. «Господину Бержере, профессору филологического факультета, город Бурж, Старая улица, 61. Отправитель: издательство Ашетта и компании, Париж». Гранки моего учебника латинской литературы. Надо выправить ошибки набора и мои собственные, — им нет числа. Работа длинная и нудная... Ну вот, с первого же взгляда вижу: три «козла» в одной строке. Ты, Полина, знаешь, что такое «козел»?

Полина. Ну да, папа, опечатка, от которой меняется слово. Это — очень неприятная опечатка.

Бержере. Так вот, здесь одна-единственная буква, а «козел» получился такой страшный, что поверг бы в ужас Амфитриту или Венеру Анадиомену, как сказал бы господин Ру, мой лучший ученик. Он поэт... Пять лет тому назад он имел удовольствие увидеть свои первые стихи напечатанными в журнале, таком же молодым, как и он сам. Но удовольствие было омрачено опечаткой наборщика. Ру описывал волшебницу Титанию, зачаровавшую лесных птиц, деревья, растения, цветы, — и вот в последнем четверостишии он говорит:

У ног ее в экстазе духи.

А наборщик сделал, конечно:

У ног ее в экстазе мухи.

Господин Ру был огорчен до глубины души.

Полина. Бедный господин Ру! Солдатская форма ему не к лицу.

Бержере. Да, совсем не к лицу! Но скоро он снимет мундир. Кажется, завтра кончатся положенные двадцать восемь дней... Хороший был латинист.

Полина. Чем он теперь занят?

Бержере. Пишет в разных журналах и распространяет жирондские вина. (*Распечатывает и читает письмо.*) Издательство сообщает, что на следующей неделе мне опять пришлют гранки, — ну, теперь я потону в океане бумаги!

Полина. Бедный папа! Как ты работаешь!

Бержере. Работаю я много, но работаю нехорошо! Я слишком занят. Чтобы хорошо работать, надо быть свободным.

Полина. А кто свободен, тот не работает. Сколько гранок тебе надо прочитать?

Бержере. Шестьсот восемьдесят — петита!

Полина. Я не могу тебе помочь, папа?

Бержере. Ну, конечно, можешь.

Евфимия. Матерь божья! Теперь соль просыпалась. Это не к добру.

Бержере. Вы уверены, Евфимия?

Евфимия. Просыпать соль — всегда не к добру.

Бержере. А если я стану утверждать противное, вы мне поверите?

Евфимия (*почтительно, но твердо, преодолевая смущение*). Но барин... нет, не поверю!

Бержере. Вы мне не поверите? А ведь я же образованный, ученый.

Евфимия. Что и говорить, вы ученый! Да только учили-то вас по книгам, по писаному, а не тому, что в жизни бывает, не по-серьезному. Где уж вам разобратся, что к добру, а что к беде.

Полина. Видишь, папочка, у тебя, бедного, нет авторитета. Тебя не принимают всерьез. Твое мнение не имеет веса.

Бержере. Да, чаще всего... Но почему?

Полина. Знаешь, — может быть, то, что ты говоришь, слишком трудно для понимания... А потом ты очень добрый, очень ласковый, очень простой. А уж это, конечно, не способствует авторитету.

Жюльетта (*рассматривая модный журнал*). Полина, полосатые ситцы...

Полина (*не слыша*). Папа, я тебе скажу то, чего ты и не подозреваешь. Ты сейчас в столовой, и около тебя обе твои дочки. Признайся, ты этого не заметил!

Бержере. Я думаю, дочка, что нам с тобой обоим недостает авторитета... Кто-то идет. Это мать... Пойду повяжу что-нибудь на шею — без этого никак нельзя! (*Уходит.*)

Видно, как по саду идет г-жа Бержере.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, г-жа Бержере.

Жюльетта. Полина, какой ширины этот ситец?

Полина. Восемьдесят сантиметров.

Жюльетта. Восемьдесят, ты уверена?

Полина. Да, уверена.

Жюльетта. Вот мама. Она сейчас скажет.

Г-жа Бержере (*входя*). Я боялась опоздать. Я от мадемуазель Розы, она задержала меня на целый час — показывала шляпы. Одна, для госпожи Годи, просто необыкновенная.

Слова ее повисают в воздухе.

Евфимия. (*входя с хлебом и яйцами*). Кушать подано.

Г-жа Бержере (*сияющая и утомленная*). Отец, как обычно, запаздывает.

Полина. Он у себя в кабинете.

Г-жа Бержере. Евфимия, скажите барину, что завтрак подан.

Евфимия уходит.

Когда поздно завтракаешь, потом ничего не успеваешь сделать, день пропал.

Пауза.

(Решительно.) Ну, за стол, за стол!

Садятся за стол.

Жюльетта. Мама; после завтрака мы пойдем на бульвар?

Г-жа Бержере. Конечно... Скажи, Полина, ты все приготовила для прогулки? Не знаю, как это получается, но всегда тебе чего-нибудь не хватает.

Вынимают салфетки из колец.

Полина. Уверю тебя, мама, я тут ни при чем.

Г-жа Бержере. Перчатки нет! Куда я девала перчатку?

Жюльетта. Вот, мама.

Г-жа Бержере. Нет, не та. Самое неприятное — это потерять перчатку.

Бержере *(входит)*. Прошу прощения! *(Садится за стол.)*

Все едят.

Г-жа Бержере. Полина, о чем ты думаешь? Яйца всегда разбивают с тупого конца.

Полина. А — почему?

Г-жа Бержере. Так принято.

Бержере. Так установлено традицией, ритуалом. Надо строго соблюдать ритуал. В Персии фанатики как-то осмелились разбить яйцо с острого конца. Это вызвало кровавую революцию. В одном Исфахане погибло сто восемьдесят тысяч человек.

Полина. Это правда?

Бержере. Во всяком случае, это правдоподобно. Обычно люди избивают друг друга по причинам такого же рода.

Г-жа Бержере. Ваши шутки неуместны... Как я могу воспитывать дочерей, раз вы высмеиваете все мои наставления? Издевайтесь сколько вам угодно, но, как сидеть за столом, я знаю. Моя мать была очень

строга по части того, как надо пить или есть. У моего дядюшки Пуйи были превосходные манеры.

Пауза.

Люсьен, что у вас на шее?

Бержере. Как будто... платок.

Г-жа Бержере. Что у вас за дурная привычка, — в двенадцать часов еще не одеты! Мой отец с утра надевал выходной костюм... А тетушка Пуйи говаривала: «У нас в семье шлепанцев и в заводе нет, мы даже не знаем, что такое шлепанцы... Вставая с кровати, уже надевают ботинки. Шлепанцы хороши для лентяев». Вот дядюшка Пуйи и сделал блестящую карьеру и составил свой большой латинский словарь.

Бержере. Ага, значит, дядюшка Пуйи, раньше чем писать, надевал ботинки? Весьма похвально! Скажите: а когда он работал над своим большим словарем, он шпор не нацеплял?

Полина смеется в стакан, захлебывается.

Г-жа Бержере (*резко*). Вы находите это остроумным?

Бержере. Нет, это весело и...

Г-жа Бержере (*убежденно*). Верьте мне, Люсьен: если хочешь чего-либо добиться, нужно иметь приличный вид.

Бержере. Я тоже так думаю. Будь у меня вид получше, я бы, пожалуй, был не преподавателем латинской литературы на филологическом факультете третьеразрядного городишки, с годовым окладом в четыре тысячи восемьсот франков, а... В самом деле, кем бы я был?

Г-жа Бержере. Во всяком случае, растерзанный вид не дает никаких преимуществ.

Бержере. Да, одни только неудобства.

Пауза. На смену яйцам появились котлеты.

(*Внезапно вспомнив.*) Ах! Пока я не забыл — сделайте одолжение, избавьте меня от ивового манекена, на ко-

тором вы примеряете платья. Он совершенно загромождает мне кабинет.

Г-жа Бержере. А куда прикажете его девать?

Бержере (*мягко*). Куда-нибудь в другое место.

Г-жа Бержере. Не так уж он вам мешает.

Бержере (*мягко*). Мешает.

Г-жа Бержере (*меня разговор*). Я встретила госпожу Мазюр. На ней была новая шляпа. Огромная шляпа!

Бержере. А котлета не дожарена, Евфимия, — совсем не дожарена.

Евфимия. Не велика беда, — сейчас поставлю на плиту! (*Выходит.*)

Г-жа Бержере. Странный у вас вкус, — любите пережаренное мясо. Не понимаю, что за удовольствие есть уголь. Котлеты поджарены как раз в меру.

Полина. Может быть, у тебя и дожарена. А у меня она — в прославленном стиле Евфимии — сплошные контрасты, как у художников из группы «неистовых»: жженая сиена и киноварь.

Г-жа Бержере. Возможно. Но, если кто недоволен, надо сказать мне, а я уж сделаю замечание прислуге. Иначе, откуда же быть у меня необходимому авторитету... Мой отец никогда не вмешивался в хозяйство. И дом был в порядке...

Евфимия (*входя*). Вот вам котлета!

Бержере. Очень благодарен. О, на этот раз вы, Евфимия, достигли совершенства и даже превзошли его. Мысль, что ешь мясо несчастных животных, вызывает отвращение. При виде же такой котлеты забываешь об этом, — настолько она далека от животного и приближается к минералу.

Полина одна смеется.

Г-жа Бержере. То — недожарена, то — пережарена. На вас не угодишь!

Бержере. Нет, я доволен, дорогая, доволен, но, видимо, не умею это выразить. Тут — недоразумение, обидное недоразумение.

Г-жа Бержере. Сколько шуму из-за котлеты! Неужели нет более интересной темы для разговора?

Бержере. Есть, конечно есть — интересные разговоры еще будут, вот увидите.

Долгое молчание.

Г-жа Бержере. Сегодня утром часы на здании префектуры остановились. Вот уж, верно, господин Денизо был недоволен! Он всегда проверяет часы по префектуре.

Враждебное молчание.

Бержере (*сквозь зубы*). Я ведь говорил, что интересные разговоры еще будут.

Г-жа Бержере (*Полине*). Куда ты смотришь, Полина? О чем ты думаешь? Ты иногда бываешь такой рассеянной, что это просто невыносимо, а для молодой девушки и вовсе неприлично. Ты смотришь на часы, это невежливо.

Полина. Нет, мама, я смотрю на панно над дверями.

Г-жа Бержере. Ты с ума сошла! Ну, как это возможно! Вот уж три года, как мы живем в этом доме, и вдруг тебе понадобилось разглядывать живопись на панно, когда мы сидим за столом! Что ты нашла там нового?

Полина. Ничего, мама.

Бержере. Панно действительно красивое. Это все, что осталось здесь от крыла старинного особняка, построенного при Людовике Пятнадцатом откупщиком налогов Поке де-Сент-Круа.

Г-жа Бержере (*прерывая и как бы про себя*). Старая лачуга... и подумать только, что мы могли бы жить в самом центре и в новом доме! Нужно иметь особую любовь к потрескавшимся стенам и источенным червями лестницам!

Полина. Здесь есть сад.

Г-жа Бержере. Подумаешь! Очень он нужен на окраине.

Полина. Посмотри, каким красивым венком из виноградных листьев венчает нимфа голову Силена.

Бержере. Тебе нравится? Я дарю этот венок тебе, дочка, как в свое время, когда я был маленьким, мать подарила мне розу *.

Полина. Ты был маленьким?

Бержере. Совсем маленьким. Моя мама проводила целые дни за рабочим столиком, в спальне, где были обои, усеянные розами. Розы были в бутонах, нераспустившиеся, скромные, все — одинаковые и все прелестные. Раз как-то, отложив вышивание, она взяла меня на руки и, показав цветок на обоях, сказала: «Дарю тебе эту розу». И, чтобы распознать этот цветок, она иглой нацарапала на нем крестик. Никогда ни один подарок не доставлял мне больше радости.

Полина. Спасибо за виноградный венок, папа. *(Она целует его, встав за хлебом.)*

Г-жа Бержере *(с глупым видом)*. Ну, а меня, Полина, ты не поцелуешь?

Полина. Поцелую, мама.

Бержере. Жюльетта, хочешь гирлянду из виноградных листьев?

Жюльетта. Какую гирлянду? *(Евфимии.)* Поставьте уют!

Евфимия. Сейчас, барышня.

Полина. Папа, я уверена, что ты был необычным ребенком, — ты уже тогда был особенным.

Бержере. Нет, но я был веселым. Домик у нас, хоть и очень скромный, был такой уютный и приветливый. Жизнь там шла по заведенному порядку, простому и обывательскому, общему для всего мирка нашего квартала. Проходил один радостный день, и неизменно наступал другой. Рождество с традиционной индейкой, начиненной трюфелями, Крещение с пирогом, в котором запечен боб, дающий королевство, масленица с блинами. И всякие годовщины и дни варки варенья... Тогда от больших медных тазов шел кислый и горячий аромат смородины, наполнявший весь дом. И привычные вещи были такие уютные, добротные и ласковые.

Г-жа Бержере. Полина, сиди прямой: ты буквально вдвое согнулась!

Полина. Хорошо, мама. Значит, ты был очень веселым ребенком, бедный мой папочка! А какой была тетя Зоя, когда она была молодой?

Бержере. Когда она была молодой? Прежде всего она не была молодой. Она сразу отказалась от молодости, как от слишком большой роскоши. Очарование — не ее удел. Оно было бы помехой в ее серьезной и полезной жизни. Она была исключительно и полностью старшей сестрой... В свои лучшие годы она шила платья, обучала меня правилу согласования причастий, которое я так и не усвоил, — только никому этого не рассказывай, — и помогала матери вести скромное хозяйство. После смерти матери она ушла от нас и устроилась воспитательницей в России, в каком-то титулованном и нелепом семействе. Затем, после пятнадцатилетней безрадостной жизни, вернулась во Францию, не разбогатев, конечно, но обеспечив себе жизнь. *(Щелкает орешек.)* А впрочем, Зоя так аккуратна, так методична и разумна, что проживет богато и на тридцать су в день. *(Опять щелкает орех.)*

Госпожа Бержере бросает на него ядовитый взгляд.

Полина. Правда, ее домик в Люзансе такой уютный, а чистота...

Жюльетта. Да уж на уборке тетя Зоя просто помешана.

Г-жа Бержере. Ко всем своим добродетелям вашей тете Зое не мешало бы присоединить вежливость. Она была со мной так резка, так груба... Хотя она может сказать, что ее к этому поощряли...

Бержере. Ее надо знать! Зоя — преданнейшее существо, она всем рада оказать услугу, но с таким видом, словно ей до вас и дела нет, ведь она опасается, как бы ее услуг не заметили. Но когда их и впрямь не замечают, моя бедная Зоя огорчается. *(Щелкает орехи.)*

При каждом звуке г-жа Бержере нервничает и проявляет признаки раздражения. Г-н Бержере замечает это и щелкает орехи уже с меньшим удовольствием.

Г-жа Бержере *(выходя из себя)*. Это выше моих сил, я не выношу этого щелканья. Ничего не по-

делаешь, — я нервна. Я слишком нервна, я отлично это знаю. У нас в семье все нервные. Я не могу перемениться.

Бержере встает и уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-жа Бержере с дочерьми.

Г-жа Бержере (*обиженно и печально*). Ну, и характер! Ах, невесело жить изо дня в день с людьми, которые желают, чтобы другие выносили все, а сами не желают ничего выносить. Я считаю, что, живя вместе, надо идти на взаимные уступки. Я не хочу сказать ничего дурного о вашем отце, дети, но характер у него адский.

Евфимия подает кофе. Жюльетта говорит ей: «Немножко... так». Полина: «Еще... спасибо!» — и, положив сахару в чашку, предназначенную отцу, несет ее г-ну Бержере в кабинет.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Г-жа Бержере и Жюльетта.

Г-жа Бержере. Что за несчастье быть такой чувствительной... Всякий пустяк расстраивает, из-за всякого пустяка нервничаешь... и страдаешь. Ах, когда ты выйдешь замуж, я буду жить с тобой.

Жюльетта. Если только я когда-нибудь выйду замуж! Что-то не к тому клонится.

Г-жа Бержере. Оставь меня в покое со своим замужеством. Сказала тебе, что устрою, — и устрою... Еще надо, чтобы вам с мужем было на что жить.

Жюльетта. О, нам надо так мало!

Г-жа Бержере. Что ни говори, а воздухом сыт не будешь. Послушай, Жюльетта, мы с отцом не часто бываем одного мнения, но должна признать, что на этот раз он прав. Надо подождать, пока мы наведем новые справки о господине Ла Клаври и будем знать, какого взгляда придерживаться насчет тех видов на будущее, о которых он говорил... А пока ты должна...

Жюльетта. Зачем тебе новые справки, мама, я все знаю от него самого. Он рассказал мне о своих планах. Он очень умен. Он отлично может проложить себе дорогу. Если ты у всех будешь наводить о нем справки, может показаться, что мы ему не доверяем, как бы это его не обидело.

Г-жа Бержере. Да нет же, девочка, — так принято!

Жюльетта. Но это будет тянуться бесконечно. А если справки окажутся не такими, как ты бы хотела...

Г-жа Бержере. Я надеюсь, все будет хорошо.

Жюльетта. Видишь, ты сама не уверена! Мама, если я не выйду замуж за господина Ла Клаври, я умру.

Г-жа Бержере (*она расстрогана. Звонок*). Ну, Жюльетта, поцелуй меня. Пойди умойся и не расстраивайся. Обещаю тебе, ты выйдешь замуж за господина Ла Клаври.

Евфимия проходит через всю сцену. Видно, как по саду идет г-н Ру.

Евфимия. Барыня, это господин Ру.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г-жа Бержере, Ру.

Г-жа Бержере. Как это любезно с вашей стороны, что вы зашли!

Евфимия уходит.

Ру. Вы плакали?

Г-жа Бержере. Расстроилась из-за разговора с Жюльеттой относительно ее замужества. Господин Бержере и слышать не хочет. Девочка приходит в отчаяние, а меня это огорчает. Я хочу, чтобы она вышла замуж за господина Ла Клаври, раз она его любит... Хотя... Ах, бедняжка! Она создана для страданий, так же как и я! У нас у обоих слишком нежное сердце, мы не можем быть счастливы... Ну, пока все хорошо?

Ру. Отлично. Вот ваша перчатка.

Г-жа Бержере. Где она была?

Ру. Просто на камине, за японской ширмочкой.

Г-жа Бержере. А я ее искала... *(Долгий, долгий вздох.)* Ах, ах, друг мой!

Ру. Вы грустите! Почему?

Г-жа Бержере. Если я скажу, что из-за вашего завтрашнего отъезда, — вы сочтете это смешным?

Ру. Отнюдь нет! Я сочту, что это очень мило с вашей стороны.

Г-жа Бержере *(не вполне удовлетворенно)*. Ах, очень мило?

Ру. Очаровательно.

Г-жа Бержере. Правда? Значит, вы не позабудете?

Ру *(глухо)*. А почему бы мне позабыть?.. Вам я обязан тем, что двадцать восемь дней моего пребывания здесь были восхитительны. В моем существовании вы были внезапным и сияющим откровением. Семь лет назад, когда господин Бержере руководил семинарием, а я был зачислен на факультет, я приносил ему свои работы для исправления и видел вас, далекую и очаровательную; но тогда я не предполагал...

Г-жа Бержере. Я тоже... Друг мой, неужели вы уезжаете, покидаете меня?

Ру. Что делать... Но у нас еще целый день впереди.

Г-жа Бержере. День, один только день, и вокруг меня снова будет ночь, и воспоминание о вас, ведь я — не из тех, что забывают...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, Бержере.

Бержере *(входя)*. С трудом узнаю в этом наряде моего лучшего латиниста. Как поживаете, герой?

Ру. Герой!

Бержере. Я называю героем тех, кто бряцает оружием. Будь на вас медвежья шапка, я назвал бы вас великим героем. Надо же польстить человеку, которого посылают на убой; это самая дешевая плата за

исполнение тех обязанностей, которые мы на него возлагаем. Но скажите, двадцать восемь дней прошли благополучно?

Ру. Благополучно, если не считать, что как-то раз, во время учения, сержант очень плохо выразился относительно моей матери. Да! Оскорбленный моим невежеством, он грубо спросил, пересыпая свою речь бранью, какая весьма мало уважаемая особа могла произвести на свет такого осла, как номер пять, который даже держать равнение не умеет. Номер пять — это я. (*Воспользовавшись тем, что г-жа Бержере несколько отошла, он понижает голос.*) Он сказал мне: «Что за...» (*Шепчет на ухо Бержере.*) Ответственность, неожиданно возложенная по сему случаю на мою мать, противоречит моему идеалу справедливости.

Эти слова, думается мне, способствуют повышению нравственности, внушая всем желание заслужить нашивки, чтобы в свою очередь иметь возможность вести такие же речи, которые, очевидно, указывают на превосходство того, кто их ведет, над тем, к кому они обращены.

Г-жа Бержере. Были вы вчера у госпожи Торке?

Бержере. Нет.

Г-жа Бержере. Ах, вы вчера не были у жены декана?

Бержере. Нет.

Г-жа Бержере. А вчера был ее приемный день.

Бержере. Хорошо, но при чем тут я?

Г-жа Бержере. Так вот почему госпожа Торке делает вид, что не узнает меня! Вы поступаете бестактно, а я терплю оскорбления!

Бержере (*голосом нежным и приглушенным*). «О берега позлащенные, море лазурное...»

Г-жа Бержере. Что вы говорите?

Бержере. Я говорю: «О берега позлащенные, море лазурное, горы...» (*Евфимии, которая метеором пронесется по столовой.*) Что случилось?

Евфимия. Звонят. (*Исчезает в саду. Возвращаясь.*) Барин, там Шантеклер, сапожник из прихода святой Агнесы.

Г-жа Бержере. Приятель господина Бержере, он у него в лавке часами просиживает.

Бержере (*г-ну Ру*). Уже полгода я туда не заходил, что очень плохо с моей стороны: он умный старик, а кроме того, бедный человек.

Г-жа Бержере (*мужу*). Да, но так как у меня нет к нему никакого дела, я уйду.

Бержере (*про себя*). Вот и хорошо.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Бержере, Ру, Шантеклер.

Бержере. Здравствуйте, Шантеклер. Вы по делу?

Шантеклер. Здравствуйте, господин Бержере и вся честная компания. Ежели помешал, прощения просим. Но вы обещались полгода тому назад заказать мне пару ботинок. Вы обещались. С заказами-то сейчас туговато. Так вот мне бы мерку снять...

Бержере (*с сожалением*). А я как раз собрался уходить. Я сам зайду к вам.

Шантеклер. Ах, господин Бержере, вы только пообещаетесь, а потом не придете. Это не потому, что вы не хотите, но вы забудете. Мне бы мерку снять. Я вас сам и разую и обую. Вы даже не заметите. (*У него добродушное выражение лица.*)

Бержере. Ну, раз уж вы так хотите...

Шантеклер разувает его.

У меня довольно высокий подъем и выгнутая ступня. Примите это во внимание, Шантеклер.

Шантеклер (*вытаскивает из-за пазухи различные предметы, чтобы снять мерку*). Не беспокойтесь, господин Бержере... Тридцать девять. Ботиночки будут, может быть, не самые что ни на есть щегольские... Восемнадцать... зато прочные... Двадцать один... Вы, господин Бержере, человек солидный. Вы за красотой не гонитесь.

Бержере. Нет, гонюсь, гонюсь за красотой, во всем гонюсь!

Пауза.

Шантеклер. Ах, сейчас не то, что прежде, господин Бержере. Покупатель берет готовую обувь в больших магазинах. Товар там плохой, но довольствуются и таким... Тридцать три с половиной. Так, готово! Ах, господин Бержере...

Бержере. Что такое, голубчик!

Шантеклер. Ах, господин Бержере... Один я, как перст... Мне бы нужно... Вот уже двенадцать лет, как я овдовел... Мне бы нужно жену. Только мне бы жену солидную. Есть вот разносчица хлеба с улицы Тентельри, да она любит выпить. Есть еще кухарка покойного настоятеля церкви святой Агнесы, но она гордая, потому как у нее денежки есть. Мне бы нужно жену. Вот оно что!

Бержере (*торжественно, словно архангельский глас*). Шантеклер! Шантеклер! Ставьте подметки вашим согражданам, довольствуйтесь жизнью затворника у себя в одинокой лавочке, между своим сапожничьим столом и раскаленной добела печкой, под сенью красного сапога, служащего вам вывеской, вдыхайте запах кожи и вара, но не женитесь вторично. Шантеклер, вы человек мягкий, простой, приветливый, наивный и простосердечный, не женитесь вторично! Шантеклер, сшейте мне пару ботинок по ноге, сделайте подъем должной высоты и не женитесь вторично... (*Он слегка притоптывает вновь обутой ногой, берет г-на Ру под руку и направляется в сад.*)

КАРТИНА ВТОРАЯ

БУЛЬВАР

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Ла Клаври, Громанс, потом г-жа де Громанс.

Ла Клаври. Здравствуйте, господин де Громанс. Как поживаете? А как поживает госпожа де Громанс?

Громанс. Чудесно! Она где-то здесь, вы ее увидите. А вы, господи Ла Клаври? Не дает себя знать лихорадка, со славою приобретенная вами в наших африканских колониях?

Ла Клаври. Ни чуточки.

Громанс. А золотые горы, что вы открыли, все еще на месте?

Ла Клаври. Россыпи золота существуют. Я в данный момент занят вопросом о рабочей силе. *(Он улыбается со снисходительным видом человека, привыкшего к сомнениям со стороны своих сограждан.)*

Громанс. Господин Ла Клаври, скажите... Скучновато без негритянок?

Ла Клаври. Нет, ну их к черту!

Громанс. А ведь среди них есть хорошо сложенные. Я знавал одну в Париже, прекрасную по пропорциям.

Ла Клаври. Возможно; но негритянки с западного берега — настоящие мартышки.

Громанс. Еще бы! Их и сравнивать нельзя с тем, что вы оставили, покинув Париж, и даже с тем, что вы нашли здесь, — ведь что ни говори, в провинции...

Ла Клаври. Здесь я очень благодарен.

Громанс. Потому что увиваетесь за младшей Бержере. Она очаровательна. А как ваши брачные проекты? Добились каких-либо результатов? Ведь вы же еще совсем мальчишка, — неужели вы чувствуете себя способным составить счастье женщины? О, это дело серьезное. А что, как проснется прежний кутила? Ах, разбойник... Ну и натерпелся же ваш бедный папаша!

Ла Клаври. О, с этим покончено, покончено раз и навсегда. Знаете, господин де Громанс, когда я отказался от кутежей? Когда это мне надоело... Недостаток денег... Видите ли, деньги всегда найдутся. Но когда наступает пресыщение, тогда кончено. А вот то, что меня сейчас захватило, это серьезно.

Громанс. Правда?

Ла Клаври. Очень серьезно.

Громанс. Если это правда, вы спасены.

Ла Клаври. Можете не сомневаться.

Громанс. Что же, возможно вы и остепенитесь.

Появляется г-жа де Громанс.

Ла Клаври. Добрый день, госпожа де Громанс.

Г-жа де Громанс. Как поживает Жюльетта... Ромео?

Ла Клаври. Надеюсь, что хорошо.

Г-жа де Громанс. Когда свадьба?

Громанс. Дорогая моя, не спрашивайте. Он сам не знает... Он еще не сделал официального предложения.

Г-жа де Громанс. Чего же он дожидается?

Громанс. Боится господина Бержере.

Г-жа де Громанс. А ведь он как будто совсем не страшный. Хотите, я поговорю с ним?

Ла Клаври. Да, да, поговорите.

Г-жа де Громанс (*смеясь*). Ни за что на свете... Надо, чтобы влюбленные сами устраивали свои дела.

Ла Клаври (*Громансу*). Видите, все меня покидают.

Появляется г-жа Бержере с дочерьми.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, г-жа Бержере с дочерьми, потом
г-жа Торке.

Ла Клаври (*оборачиваясь*). А, три сестры... Сударыни, вы втроем составляете прелестную группу, дышащую свежестью и очарованием. Не знаю, может быть, это следствие моего долгого пребывания среди черных, но я особенно ценю ваши лица, где черное соединено с белым.

Г-жа Бержере (*жемаясь*). О сударь, вы мне льстите... Хотя, правда, Пуйи (мы ведь северяне) всегда отличались белой кожей.

Громанс. Имею честь, сударыни...

Г-жа Бержере подходит к Громансу.

Жюльетта (*быстро г-ну Ла Клаври*). Я бросила бумажку, скатанную в комочек, там, под четвертым деревом. (*Показывает налево.*)

Ла Клаври. Так вот почему я ничего не нашел. А я искал вон там. (*Показывает направо.*)

Г-жа Бержере (*в глубине сцены*). Ах, вот госпожа Торке. Я подозреваю, что она нарочно не замечает меня, в отместку за неучтивость мужа. Надо это выяснить. (*Садится.*)

Г-жа Торке проходит мимо, делая вид, что поглощена беседой с двумя дамами.

Г-жа Торке (*обеим дамам*). Сделаем вид, будто мы разговариваем: вон госпожа Бержере... Я предпочитаю не встречаться с ней... вот так... Значит... Да!.. Ах, прекрасно, прекрасно!

Проходят.

Ох, госпожа Бержере невыносима. Мне жаль ее мужа, — у него такой мягкий характер.

Г-жа Бержере (*словно не замечая, с пренебрежительным видом*). Пойдемте на музыку! Ах... вот и господин Ру!

Жюльетта. Вы меня любите?

Ла Клаври. Я вас люблю.

Жюльетта (*тихо*). Я буду вашей женой. Я верю вам. Ведь я же знаю, что вы человек порядочный. Прежде всего, не будь вы порядочным человеком, я не полюбила бы вас. Мне сердце так говорит.

Ла Клаври (*после паузы*). Значит, вы придете?

Жюльетта. К вам, ни за что, ни за что! И вы можете предлагать мне подобные вещи! Это гадко! Но у меня есть одна мысль. Нас обязательно поженят. Вот увидите, что у меня решительный характер.

Г-жа Бержере (*все это время беседовавшая с г-ном Ру в глубине сцены, идет на авансцену*). Жюльетта, не оставайся одна с господином Ла Клаври. Все видят, что вы болтаете наедине, это в высшей степени неприлично. Это не принято. Ты все время даешь отцу козырь в руки. Ведь нельзя же следить за тобой в твоём возрасте, как за маленькой девочкой, которую оберегаешь, чтобы она не попала под лошадь. И господина Ла Клаври, человеку светскому, следовало бы вести себя более осмотрительно... (*Ей хочется уйти с г-ном Ру.*) Имей это в виду. (*Уходя.*) Разве тебе с сестрой говорить не о чем? (*Идет вперед с г-ном Ру, оставляя Жюльетту позади.*)

Жюльетта (*г-ну Ла Клаври*). Через десять минут будьте там, на берегу, около музыки. Я люблю вас. Я ваша на всю жизнь. (*Идет к Полине, которая все это время разговаривала с двумя дамами и господином.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Подмастерье живописца вывесок, продавец вафель, сторож.

Подмастерье (*продавцу вафель*). Меня послал хозяин.

Продавец вафель. Какой такой хозяин?

Подмастерье. Господин Кайер, живописец вывесок.

Продавец вафель. Ах, да! Ну, так вот! (*Указывает на две ставни, прислоненные к дереву, с намаляванными на них изображениями и надписью: «Бержере рогач».*) Как бы стереть эту гадость?

Подмастерье (*свистнув*). Придется соскрести.

Продавец вафель. Как!

Подмастерье. Да так! Это деготь. Ишь ты... да еще вырезано. Ну и ну! Я-то думал, что довольно растопить его, а потом соскрести. Вот так писаки. Полнобуйтесь. Придется сострогать. Они вырезали, а потом замазали дегтем.

Продавец вафель (*удрученно*). Только бы поймать того, кто это сделал!

Подмастерье. Вдвоем работали.

Продавец вафель. Вдвоем?

Подмастерье. Ну да, вдвоем. Один и тот же мальчишка не мог сделать обоих человечков; они не похожи.

Продавец вафель. Этакая зараза!

Он недоброжелательно смотрит на двух очень тихих детей, играющих в шарики. Дети уходят, преследуемые его тяжелым взглядом.

Подмастерье (*серьезно, качая головой*). Придется, хозяин, пройтись здесь рубанком, а потом покрыть два раза краской, одного раза мало будет.

Продавец вафель. Всего три месяца, как заново отделал.

Подмастерье (*упорствуя*). Хотя бы и три дня, а не три месяца — все одно. Это тут господин Бержере нарисован. Мы на него в прошлом году работали. Я его видел, не похож, узнать трудно.

При этих словах входит старик сторож, отставной унтер, в погонах, с палкой. Рассматривает портреты.

Хорошо хоть, что имя подписано! Они больше сотни таких насажали по городу.

Продавец вафель (*сторожу*). Посмотрите-ка, что ваши мальчишки вытворяют!

Сторож. Да, да... Конечно, не дело выставлять у себя в заведении подобные рисунки: ведь здесь уважаемые люди гуляют. В балагане это еще туда-сюда, но не в съестной лавочке. Будь вы человек с понятием, вы бы этой мазни у себя на ставнях не потерпели.

Подмастерье. Если хотите поговорить с хозяином...

Продавец вафель. Я сперва попробую завтра с утра вывести жавелем.

Подмастерье. Жавелем? Как угодно... (*Смеется.*)

Продавец вафель. А что?

Подмастерье. Ничего, хозяин. (*Уходит, насвистывая.*)

Продавец прислоняет обе ставни к дереву. Входят Бержере и Мазюр. Г-жа де Громанс в обществе гуляющих проходит по сцене. Бержере кланяется,

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Бержере, Мазюр.

Мазюр. Вы кому поклонились, госпоже де Громанс?

Бержере. Да, дорогой господин Мазюр. Вы не находите, что она очень красивая женщина?

Мазюр. Пф! Кукла!

Бержере. Слишком легко вы о ней отзываетесь. Когда эта кукла живая, она большая стихийная сила. На госпожу де Громанс приятно глядеть. Стоит ей показаться, и на душе становится радостно, за что я ей благодарен.

Мазюр. Что касается меня, я особой радости не испытываю и вообще мало интересуюсь такими зловердными зверьками. Я не смотрю на масть. Меня привлекает сущность. Я изучаю человека изнутри. Восхожу к источникам. Вот как я понимаю свои функ-

ции архивариуса... Я завел, на чердаке в префектуре, папки на все семейства нашего города. Раз вы интересуетесь Громансами, я принесу вам их папку, довольно увесистую. Графиня де Громанс — урожденная Шапон. У себя в архивах я нашел только одного Шапона, ее отца, самого скаредного ростовщика во всей округе. Но у меня куча сведений о Громансах, их род принадлежит к мелкому дворянству области. Имеется некая девица де Громанс, которую в тысяча восемьсот пятнадцатом году наградили ребенком какой-то казак.

Бержере. Ну так что тут такого? Бедная бабышня сделала что могла. Она умерла. Казачонок тоже умер; не станем тревожить их память, а если мы и воскресим ее на мгновение, то будем снисходительны.

Мазюр. Во всяком случае, не одобряете же вы...

Бержере. Нет, не одобряю. Не судите, да не судимы будете.

Мазюр. Да ведь это же анархия!

Бержере. Не надо судей... Да, может быть, это и анархия.

Мазюр. Вы знаете, вчера в Люзансе открыли памятник Жану де ла Виолю, поэту-башмачнику. Министр народного просвещения... куча супрефектов, муниципальный совет и все шишки нашего округа были налицо. Пошлость этих людей мне противна. Будь я министром, я бы набросал орденов в лужу, пусть бы подбирали их зубами... Вот хотя бы Касиньоль, бывший председатель суда, неподкупный судья. Уж, кажется, человек порядочный... А его дед, крестьянин из Косьера, предал первому консулу за тысячу экю шуана Мартино, по прозвищу Гроза Синих *. Отсюда и пошло благосостояние Касиньолей. Я раскопал это у себя в архивах. Я покажу вам папку.

Входят Громанс, Лантень и Касиньоль, они разговаривают между собой, останавливаются, делают несколько шагов, снова останавливаются, наконец идут дальше. Лантень оказался поблизости от Бержере, они раскланиваются, но без особого воодушевления. Громанс здоровается с Бержере без церемоний, но и без приязни.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, Касиньоль, Громанс, Лантень.

Бержере (*Касиньоль*). Господин председатель!

Касиньоль. Дорогой господин Бержере, министр народного просвещения, после открытия памятника Жану де ла Виоллю...

Мазюр. В Люзансе.

Касиньоль. ...сегодня утром завтракал у меня. Я только что проводил его на вокзал. Он просил меня передать вам привет. Вы, оказывается, старые приятели.

Бержере. Да, мы еще в молодости знавали друг друга в Париже. Он был ярый революционер.

Касиньоль. Теперь уже не то... Но он сообщил мне интересную новость, дорогой Бержере: вас уже полгода как сделали профессором Сорбонны, а вы никому ни слова!

Мазюр. Это правда, Бержере?

Бержере. Да, мне поручили курс в Сорбонне, но мне удалось отсрочить отъезд. Я не тороплюсь покинуть наш город. Признаюсь даже, что начинаю его любить, с тех пор как мне предстоит отсюда уехать.

Касиньоль. Ах, дорогой Бержере, вы — друг юности министра народного просвещения. Ну, а я знаком с ним с более давних пор, я знаю его еще с пеленок. Пятьдесят лет тому назад его отец был советником в Пюи и председательствовал в суде присяжных, когда я, еще совсем молодым прокурором — мне было тридцать три года, — в первый раз должен был выступать в самом обыкновенном процессе об убийстве, но, однако, этот процесс не был лишен значения, ибо мог кончиться смертным приговором. Некого зажиточного фермера нашли задушенным в его постели. С самого начала подозрение пало на работника с этой фермы. Звали его Пудрай, Гиацинт Пудрай. Он был арестован. Против него были веские улики. У него была найдена сумма в шестьдесят франков, происхождения которой он не мог объяснить. На одежде обнаружили следы крови. Правда, был свидетель, который устанавливал его алиби, но этот свидетель славился безнравственным

поведением. Следствие велось очень хорошо... Обвинительный акт был составлен с большим искусством. Но Пудрай не сознавался. На суде в продолжение всех трений он отрицал все начисто, и ничем нельзя было его заставить отказаться от такого систематического заpiresательства.

Громанс и Лантень выходят на авансцену и присоединяются к Касиньолю и Бержере.

Я приготовил обвинительную речь со всем тщанием и добросовестностью, па которые был способен. Алиби обвиняемого, подтвержденное свидетелем, очень меня смущало... Я постарался его опровергнуть. Я напомнил, что дворовая собака не лаяла на убийцу, значит, она его знала. Значит, это был свой, это был работник, это был Пудрай. Словом, я требовал его казни и добился своего. Пудрай был приговорен к смерти большинством голосов. По прочтении приговора он громко крикнул: «Я не виновен!» Тогда мною овладело сомнение, ужасное сомнение. В течение многих дней у меня в ушах звучали слова Пудрая: «Я не виновен!»

Громанс (*предупредительно пододвигаясь на скамейке*). Садитесь, господин Бержере.

Бержере. Спасибо, спасибо, мне и так хорошо.

Громанс. Захватывающая история, не правда ли?

Бержере. Да.

Громанс. Ну, и как же?

Касиньоля. Просьба о помиловании была отклонена. И смятение мое усилилось. Уверенности, которую я внушил присяжным, у меня самого не было. Я потерял сон. Наконец утром того дня, на который была назначена казнь, я вошел в камеру осужденного и, оставшись с ним наедине, сказал: «Ничто не в силах изменить вашу участь. Если у вас сохранились еще добрые чувства, ради спасения собственной души и ради моего спокойствия, скажите мне, Пудрай, виновны ли вы в преступлении, за которое вас осудили». Мгновение он смотрел на меня молча. Как сейчас, вижу его плоское лицо и большой крепко сжатый рот. Я

пережил ужасную минуту. Наконец он наклонил голову и сказал: «Теперь, когда ждать больше нечего, я могу сказать: моих рук дело». Услыхав это последнее признание, я вздохнул с облегчением.

Пауза. Касиньоль берет из коробочки конфетку и кладет в рот.

Бержере *(проводя рукой по лбу)*. Способ, которым вы себя успокоили, приводит меня в ужас.

Пауза. Мазюр выходит на авансцену.

Громанс. Ну, раз Пудрай был виновен...

Бержере. Конечно! Но не сознайся он по простоте душевной, у прокурора не было бы уверенности ни тогда, ни теперь — полвека спустя.

Касиньоль. Никогда не устану повторять: во Франции обвиняемые обставлены всеми гарантиями, совместимыми с хорошей организацией правосудия.

Проходит женщина. Она очень привлекательна, Громанс сейчас же загорается.

Громанс. Хорошенькая дамочка! Очень... а? Нам повезло!

Все оборачиваются, но, увидя кавалера, который подошел к даме и, по-видимому, является ее спутником, продолжают прерванную беседу.

Мазюр. Ах, господин де Громанс, вас волнует всякая проходящая мимо девица! Я считал вас серьезнее.

Громанс. Я серьезен, когда дело касается вещей серьезных, а такие есть.

Бержере. Есть. Но мало. И это не всегда те, которые считаешь серьезными.

Громанс. Их три.

Мазюр. Три?

Бержере. Какие же?

Громанс. Первая — семья. Семья — это основа общества; пошатните ее, и все развалится. Вот то, чего недооценивает ваша партия, господин Мазюр. Вторая...

Громанс, Касиньоль и Лантень удаляются.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Мазюр, Бержере.

Мазюр. Итак, дорогой Бержере, вы — друг министра?

Бержере. Ну да.

Мазюр. Друг, действительно друг? Почему же вы мне ничего не говорили?

Бержере. Признаюсь, не пришло в голову. А для чего, собственно?

Мазюр. Голубчик, это глупо... Но... мне нужны отличия — академические пальмы. Это нелепо, сам сознаю... Но они мне нужны... Вы понимаете, Бержере, не для меня лично. Говоря откровенно, мне на них наплевать... Если бы они у меня были, я, может быть, и носить-то их не стал бы. Но в моем положении они необходимы. Общество у нас в городе относится ко мне с неприязнью из-за моих передовых политических убеждений. Вот вчера еще у нас в ложе мы повздорили из-за того, что я назвал министров вряями. Префект относится ко мне, как к старьевщику. Чтобы заставить уважать себя, чтобы заставить уважать мою жену, которую общество не принимает под тем предлогом, что она бывшая актриса, чтобы противостоять своре реакционеров, мне нужно получить академические пальмы, а затем лиловую розетку для респектабельности. Без этого я только пыльная тряпка.

Бержере. Бойтесь, бойтесь, Мазюр, получить то, чего добиваетесь. Вы красочны.

Мазюр. Как... красочен?

Бержере. У вас удивительно красочные и очаровательные по своей оригинальности манеры. Если же вы вступите на стезю почестей, вы облачитесь в общий мундир, станете аккуратным, точным, тусклым. Будет жалко. Все же я замолвлю словцо министру. Надо быть полезным своим друзьям на тот лад, какой им нравится.

Мазюр. Я вам сказал: я выше этого, но чтобы презирать почести, надо их получить. *(Вытаскивает из ветхого портфеля засаленный клочок бумаги и огрызок карандаша и в течение следующей сцены пишет.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, Зоя.

Мазюр (*заметив Зою*). Вон та дама, кажется, ваша сестра?

Бержере. Да, это она. Зоя! Как? Ты здесь, а я ничего не знал. С каких же пор ты здесь?

Зоя. Со вчерашнего дня и завтра уезжаю.

Бержере. И ты не зашла повидаться?

Зоя. Я знала, что встречу тебя на бульваре. Поверь мне, Люсьен, я более трезво, чем ты, смотрю на вещи: чем меньше я буду бывать у тебя, тем лучше. Твоя жена меня не любит.

Бержере. Что ты?!

Зоя. Я ее тоже не люблю. Как поживают девочки?

Бержере. Отлично. Они здесь, с матерью.

Зоя. У тебя нет неприятностей?

Бержере. Неприятности всегда есть.

Зоя. С женой?

Бержере. Нет.

Зоя. Что же тогда, скажи?

Бержере. Ты же знаешь... этот брак!..

Зоя. Брак Жюльетты?

Бержере. Да, за ней ухаживает молодой Ла Клаври, Жюльетта от него без памяти, а мне он совсем не по душе. Амелию он превозносит чуть не до небес, прямо ей в лицо, и Амелия с присущим ей здравым смыслом...

Зоя. В таком случае, голубчик, будь решителен, покажи, что ты глава семьи. Ты только исполнишь свой долг.

Бержере. Глава семьи!

Зоя. Ну, до свидания, Люсьен. Мне еще надо купить семена, розовые кусты, жердей... инкубатор... У меня целый список... (*Читает список.*)

Бержере. Итак, Зоя, до конца моих дней я буду видеться с тобой случайно, урывками, на улице или на бульваре, как с посторонней! Зоя, неужели мы как-нибудь вечером не посидим мирно рядышком за столом,

при свете лампы? Как бы хорошо, моя милая старушка, прожить вместе несколько часов.

Зоя. Брось мечтать, Люсьен. Я этого не люблю.

Бержере. Я не увижу тебя до отъезда?

Зоя. Нет. До свидания, будь благоразумен.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Мазюр, Бержере.

Мазюр. А ваша сестра не изменилась. Она живет поблизости?

Бержере. Час езды по железной дороге, около Люзанса. У нее там маленькая ферма, где она занимается разведением кур.

Мазюр. Вот вам, Бержере, записочка, в которой перечислены мои звания. Передайте ее министру.

Бержере. Будьте спокойны.

Пауза. На городских часах бьет шесть.

Мазюр. Заранее спасибо и прощайте. Иду обедать.

Жмет Бержере руку, чего тот, в своей ужасающей рассеянности, не замечает. Мазюр снисходителен; только когда он уже почти скрылся, Бержере приходит в себя и говорит.

Бержере. Прощайте, Мазюр.

Зоя возвращается.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Зоя, Бержере, затем Ла Клаври, Жюльетта, г-жа Бержере, Лантень.

Зоя. Люсьен! А каков собой этот господин Ла Клаври?

Бержере. Рослый молодой человек... с бородой, в пенсне.

Зоя. Слушай, позови-ка свою дочку, она гуляет, держась с ним за руку, к великому удовольствию прохожих. Все Громансы смотрят и, как ты сам понимаешь, смеются!

Бержере. Что ты говоришь!

Зоя. Я говорю, что Жюльетта нарочно стремится себя скомпрометировать. Они обмениваются цветами; она, кажется, в восторге от того, что делает»

Бержере. Жюльетта ведет себя...

Зоя. Она ведет себя, как дурочка... Она хочет заставить тебя согласиться на этот брак, и, чтобы добиться своего, глупышка не придумала ничего лучшего, как скомпрометировать себя.

Бержере. А мать где?

Зоя. Матери с ней нет... Она без надзора, это ее главная вина и в сущности единственная.

Бержере (*зовет*). Жюльетта! (*Тихо.*) Ла Клаври — бездельник! Жюльетта!

Зоя. Тише! Не будем преувеличивать неприятности и вести себя столь же неразумно, как молодые. Нам это непростительно!

Бержере. Зайди ко мне завтра перед отъездом.

Зоя. Завтра? Не знаю, там видно будет.

Бержере. Это необходимо.

Зоя. Зайду.

Жюльетта и Ла Клаври подходят к Бержере.

Ла Клаври (*твердо и решительно, набравшись смелости*). Милостивый государь, я люблю мадемуазель Жюльетту и прошу у вас ее руки.

Бержере. Милостивый государь, будьте любезны оставить меня в покое и уйти.

Бержере поворачивается к нему спиной и больше не произносит ни слова, но, увидя жену в сопровождении Лантея, твердо говорит ей.

(*Тихо*). Будьте добры, ступайте домой вместе с детьми, ступайте немедленно и без всяких разговоров.

Г-жа Бержере (*тихо*). Что это значит?

Бержере (*тихо*). Это значит, что ваша дочка ведет себя глупо и что в примерах для того она не испытывает недостатка. Это означает, что я готов взять вас обеих за руки и так провести через весь город. Поверьте мне, не доводите меня до крайности. Ступайте домой.

Г-жа Бержере (*взбешенная*). Ни в коем случае не потерплю, чтобы вы говорили со мной таким тоном, словно вы приказываете.

Бержере (*рассвирепев*). Ступайте домой!

Г-жа Бержере (*в ярости*). Пусть меня на куски режут, но я и шага не сделаю!

Бержере (*резким голосом зовет*). Жюльетта! Извините, господин Лантень. Жюльетта!

Г-жа Бержере испугалась, она сдаётся.

Г-жа Бержере. Хорошо, я уйду, но я вам припомню такое обращение!

Бержере. Мне только того и надо, чтобы вы не позабыли.

Госпожа Бержере с дочерьми уходит. Лантень деликатно отходит на авансцену. Бержере, умеющий владеть собой, вытаскивает из кармана книжку, открывает ее и обращается к Лантеню.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Бержере, Лантень.

Бержере. В этой книжке, принадлежащей английскому философу, я нашел странную мысль. Вот взгляните, господин аббат.

Лантень, во время предыдущей сцены внимательно наблюдавший за Бержере и остальными, с некоторым удивлением читает.

Лантень. «У наших предков-варваров был обычай отрезать себе кончик носа и подавать его на листе смоковницы могущественным людям, которых они хотели почтить. Следы этого обычая сохранились в обыкновении посылать визитные карточки».

Он медленно опускает руки и смотрит на г-на Бержере, который, видя, что продавец вафель ставит на место одну за другой обе ставни, рассматривает портреты, нарисованные на этих ставнях. Потом Бержере, сунув пенсне в жилетный карман, обращается к Лантеню.

Бержере (указывая на рисунки). Один — в шляпе, другой — без нее. Две школы. (И так как аббат делает вид, что не понимает, да и на самом деле не хочет понять, Бержере снова берет свою книжку и говорит улыбаясь.) Не правда ли остроумно? Но вряд ли правдоподобно. Так вот, дорогой господин Лантень...

Пока опускается занавес, Бержере и Лантень, беседуя, подходят к парапету, чтобы посмотреть на оркестр, который, играя марш «Самбра и Маас», проходит по берегу.

З а н а в е с

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

КАБИНЕТ Г-НА БЕРЖЕРЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Жюльетта, Полина, затем г-жа Бержере,
Евфимия, прачка.

Письменный стол наполовину погребен под грудой вещей, принадлежащих г-же Бержере а ее дочерям. На стульях навалены платья, шляпы, зонтики, ботинки. Ивовый манекен, на который надеты платья г-жи Бержере, загораживает дверь, и в течение всей сцены его часто переставляют с места на место, пока, наконец, он не водворяется на месте самого Бержере, перед письменным столом. При поднятии занавеса Полина велит Евфимии, притащившей чемодан, смахнуть с него пыль, и чемодан исчезает в облаке пыли. Открывают окно. Полина старательно укладывает свои вещи на дно чемодана. Затем она наудачу берет три-четыре книги, которые оставляет у отца на письменном столе.

Жюльетта входит с охапкой белья и платьев в руках, глаза у нее заплаканы; она обходит комнату, ищет места, куда бы все положить, нервничает, наконец швыряет в чемодан, закрывает его и садится сверху.

Жюльетта. Хотят, чтобы я отказалась от него. Ни за что... Ни за что! Я люблю его... Если мы не поженимся, я ни за кого не выйду замуж... Это Зоя наговорила папе. Терпеть ее не могу: фальшивая, злая... сама замуж не вышла, вот теперь и не хочет, чтобы выходили другие. Ненавижу ее. Зачем меня заставляют жить у тех, кого я ненавижу?

Полина. Да нет же, тетя Зоя не злая.

Жюльетта. Но я не сдамся. Он меня любит. Я покажу тебе его письма, и ты увидишь, что он меня любит. Пусть папа с Зоей и не надеются, что я его позабуду! Никогда я его не позабуду. *(Эта мысль придает ей силы, она встает, чтобы уложить вещи; открывает чемодан.)* Ты думаешь, весело прожить в Люзансе... целый месяц, в обществе тети Зои.

Полина. А вот я люблю деревню.

Жюльетта. Я тоже, но нельзя любить ту деревню, где живет тетя Зоя. Там отвратительно, и грустно, и вечный дождь, и ты там одна, одна, ото всего оторвана... Ну, да ведь тебе это безразлично! Ты никем не интересуешься, никого не любишь.

Полина. Потому что у меня недоброе сердце... Это давно известно.

Жюльетта. Не хочу уезжать. Не хочу! *(Пауза. Она придумывает всякие доводы.)* А потом мне надеть нечего. *(Берет отдельные вещи и роняет их куда попало.)* Вот гляди — вот, вот! Ну, как быть нарядной в таких тряпках?

Полина. Чтобы быть нарядной, многое нужно, много, чего у нас нет.

Жюльетта. Не знаю, почему ты всегда стараешься сказать мне что-нибудь неприятное? *(Подбирает платье.)*

Полина. Да ведь это же само по себе неприятно. Все равно скажу я или не скажу. Мы не богаты, не можем угнаться за богатыми. Ты и сама это знаешь, мне и говорить незачем.

Жюльетта. Да, но когда говорят, это еще неприятнее. Все равно... я не уеду.

Г-жа Бержере *(выходит из дверей гостиной)*. Что здесь такое?

Жюльетта *(разражаясь рыданиями)*. Мама... мама!

Г-жа Бержере. Ну, девочка, не огорчай меня.

Евфимия *(входит из задней кулисы, руки у нее красные, в руках серая губка и щетка)*. Барыня, пришел господин Ру.

Г-жа Бержере. И вы открыли дверь в таком виде? Постыдились бы!

Евфимия. Я уж час подтираю пол в кухне, весь залило.

Г-жа Бержере. Не надо было оставлять кран открытым.

Евфимия. Я не виновата. Меня со всех сторон зовут, все сразу.

Г-жа Бержере. Не рассуждайте. Где господин Ру?

Евфимия. В столовой.

Г-жа Бержере. Попросите его в гостиную. Ах, нет! Пойдите! Ведь там белье. Скажите прачке, пусть принесет сюда... *(Евфимии.)* Попросите господина Ру минутку подождать.

Евфимия выходит. Прачка и дочери приносят белье и наваливают к Бержере на письменный стол.

Прачка. Будете пересчитывать?

Г-жа Бержере. Нет, в такой тесноте невыносимо! Я вам доверяю...

Евфимия возвращается. Прачка уходит.

Господин Ру в гостиной?

Евфимия. Нет, барыня, он ушел. Он поговорил минутку с барином, а потом сказал, пойдет прогуляется, а потом сказал, вернется около пяти.

Г-жа Бержере. Скажите мне, как только он придет. *(Проходит в гостиную.)*

Жюльетта молча плачет. Полина хочет ее утешить. Входит Бержере; останавливает Полину жестом и говорит ей шепотом: «Оставь нас на минутку...» Подходит к Жюльетте, берет ее руку, продевает под свою, усаживает Жюльетту на стул, целует ее, садится напротив.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Бержере, Жюльетта.

Бержере. Ну же, девочка, ну! Ничего неприятного я тебе говорить не собираюсь и уверен, что ничем тебя не огорчу. Мне бы надо было переменить лицо, тогда бы ты охотно выслушала то, что я хочу тебе ска-

зять. Надо бы, чтобы у меня было лицо ласковое, сестринское, молодое, такое, как у тебя, а не такое, как у отца, ревниво оберегающего свой авторитет, и даже не такое, как у старшего брата. К несчастью, я не могу этого сделать. И ты, чего доброго, тоже подумаешь, что я извлек свою мудрость из книг и что это — мудрость бесплодная и покрытая пылью, как они сами; ты подумаешь, что я хочу задушить твою молодость своей стариковской философией. Это не так! И чтобы разубедить тебя, я открою тебе одну тайну... Душа не старится... Моя душа того же возраста, что и твоя, — того возраста, когда чувствуют, желают, боятся и страдают, того возраста, когда надеются. Только я чувствую, думаю и страдаю уже очень давно. Вот и вся разница. Перед жизненными невзгодами все мы — старые и молодые — одного возраста.

Жюльетта. Папа!

Бержере. Бедная моя Жюльетта! Не смотри на меня так, широко открытыми глазами, полными страха и изумления. Забудь, что я твой отец, профессор Бержере, читающий курс на филологическом факультете, помни только о том, что я человек, способный понять все горести и сомнения, ибо я способен их испытывать... что я такой же человек, как и ты, которому понятно все, что волнует твою беденькую встревоженную душу. Помни только об этом!

Жюльетта. О папа, я очень несчастна!

Бержере. Тогда выслушай меня. Прислушайся к шепоту сочувствующего тебе и более искушенному сердца... То, что случилось с тобой, девочка, случается часто, можно сказать постоянно, это в порядке вещей и неизбежно... Девочка вдруг начинает думать, что она стала взрослой...

Жюльетта. Но, папа...

Бержере. Она права. Но первое дыхание расцветшей жизни опьяняет ее. Ей всего хочется, и прежде всего — любви, любви, этой таинственной силы, трепет которой она чувствует даже в сухих страницах учебников истории и назидательных рассказов. И тогда всей поэзией, которую, читая и грезя, она накопила в своей

головке, она разукрашивает первого встречного, прохожего, незнакомца, шепнувшему ей несколько неопределенных и банальных слов. Она не сознает, что сама наделила этого незнакомца теми поразительными достоинствами, которыми, как ей кажется, он блещет; бедная неопытная девочка не знает, что ее ослепляет отблеск собственных грез.

Жюльетта. Но, папа!..

Бержере. Милая Жюльетта, все это я говорю только для того, чтобы предостеречь тебя: будь осторожна, погоди, обдумай. Я почти не знаю молодого человека, которому ты столь поспешно подарила свое доверие и сердце. Но то, что я о нем знаю, меня не успокаивает. Ты знаешь, что он тебя любит? Знаешь, кто он? Ты уверена, что сама его любишь?

Жюльетта. Ах, папа, я уверена, что он меня любит. Я его люблю. Мы никогда не разлюбим друг друга.

Бержере. Ты так думаешь — хорошо, продолжай так думать... Ну, так вот, хоть ты и уверена, а все же, знаешь, что надо делать: надо иметь мужество бороться со своим чувством, я не говорю — побороть чувство, но бороться с ним, пока ты не докажешь нам и себе самой, что это чувство — длительное, крепкое, которое выдержит все удары судьбы, а ведь удары бывают тяжелые. Ты откажешься от свиданий с господином Ла Клаври, от переписки с ним...

Жюльетта. Папа!

Рыдания.

Бержере. Подумай, ведь ты ничего не теряешь... Если, как ты думаешь, ваша любовь — и его и твоя — выдержит разлуку, ты не рискуешь ничем, а если ты случайно ошиблась, ты избежнешь ужасного риска.

Жюльетта. Папа, я тебя очень люблю, но я не могу отказаться от него! Боже мой!.. Боже мой!.. Не могу.

Бержере. Я этого и не требую, дочка. Я не требую, чтобы ты его разлюбила. Не требую, чтобы ты переделала свое сердце... Я требую, чтобы ты проявила серьезность и силу воли. Ты говоришь, что любишь его? Если ты не ошибаешься, если вы в самом деле

любите друг друга, кто может быть сильнее вас и чего тебе бояться?

Жюльетта. Это так, но папа, если ты, если все против нас, ну, как же тогда?

Бержере. Нет, Жюльетта, я не против тебя, и ты можешь верить отцу. Но ты должна рассчитывать только на себя. Только ты сама можешь построить свое счастье. Я не должен и не хочу распоряжаться тобою. Я не могу думать за тебя, чувствовать за тебя, понимать, сомневаться, верить за тебя. Не мне устраивать твою жизнь, а тебе, только тебе, бедняжка моя.

Жюльетта. Боже мой! Боже мой! Что со мной будет?.. Что делать?

Бержере. Ты должна быть сильной, то есть осмотрительной и терпеливой. В деревне, в обществе сестры и тети Зои, успокоившись, ты понемножку подвергнешь свои чувства испытанию временем. Ты поживешь, дашь улечься своим мыслям и в их покойной ясности лучше увидишь, так ли они глубоки, как тебе кажется. Словом, ты все обдумаешь, ведь ты взрослая девушка.

Жюльетта. Да, папа.

Они целуются.

Бержере. Жюльетта, у меня к тебе порученье. Во дворе у тети Зои есть старое поросшее мохом дерево, на котором растут прекрасные орехи. Если какие еще уцелели, пришли мне, пожалуйста, корзинку.

Входит Полина.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, Полина, потом Зоя, Евфимия.

Полина. Папа, можно войти? Тетя Зоя в саду...

Бержере. Жюльетта, будь добра, попроси ее податься сюда.

Жюльетта выходит.

Ну, как, Полиночка, довольна, что едешь с сестрой в Люзанс?

Полина. Да, папа. Мне только жалко оставлять тебя одного, затерянного в бумажном океане. Ты хотел, чтобы я помогла тебе.

Бержере. Ты мне и в Люзансе будешь полезна. Ты перепишешь начисто главу, которую я как раз закончил. Вот она.

Полина. Спасибо, папа. Я буду переписывать целыми днями.

Бержере. Нет, нет. Мне надо попросить тебя о более важном деле. Я хочу, чтобы ты не оставляла сестру и старалась развлечь ее... Она думает, что у нее есть огорчения, значит, они у нее есть. У нее небольшая душевная рана. Поухаживай за ней.

Полина. Постараюсь, папа... Но скажи, как?

Бержере. Лечи ее весельем. Это лучшее целебное средство.

Входят Зоя, Жюльетта и Евфимия.

Жюльетта (*Евфимии*). Возьмите чемодан.

Евфимия исполняет приказание.

Полина (*Зое*). До скорого свиданья, тетя Зоя.

Выходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Зоя, Бержере.

Зоя. Девушка, что открыла мне дверь, у тебя в прислугах?

Бержере. Да, славная девушка.

Зоя. Она у тебя давно?

Бержере. Полтора года.

Зоя. Так вот она до сих пор не умеет открывать дверь: она оставила меня в саду, а сама бросилась в дом, крича: «Это тетя Зоя!»

Бержере. Не вини ее.

Зоя. Ее-то я не виню. Я виню хозяев. Это твой рабочий кабинет?

Бержере. Ну да.

Зоя. На кресле — губка, на столах — белье, тряпки... метелка из перьев... И ты можешь тут жить?

Бержере. Да, могу.

Зоя. Ты можешь тут работать?

Бержере. С трудом.

Зоя. А что означает чемодан?

Бержере. Это чемодан девочек, — они проведут у тебя недельки две. Зоя, дорогая моя Зоя, я не спрашиваю твоего согласия. Забери их с собой. Я привезу их на вокзал. Поезд отходит в четыре тридцать.

Зоя. В четыре сорок.

Бержере. У нас еще много времени.

Зоя. Не будем торопиться и, если возможно, приведем в порядок свои мысли. Право, Люсьен, здесь в доме все с ума посходили. Прежде всего что случилось?

Бержере. После того, что произошло вчера на бульваре, я не хочу, чтобы Жюльетта оставалась здесь хотя бы один день. Она проведет две-три недели с тобой; пусть успокоится в деревне; может быть, за это время ее мысли и мечты примут другое направление. Я только что говорил с ней. Она очень хорошая девочка. За ней в первый раз начали ухаживать, и она не осталась к этому равнодушна...

Зоя. Она плохо воспитана, вот и все. Это не ее вина.

Бержере. Она уедет с тобой, и Полина тоже. Так это будет иметь более приличный вид. К тому же Полина всегда в восторге, когда может провести несколько дней у тебя в Люзансе.

Зоя. Ну-ну... В конце концов кто такой этот господин Ла Клаври?

Бержере. Ла Клаври... Сын мелкого нотариуса. Он — кутила, его отправили в Африку искать золотосные жилы. Вот все, что я о нем знаю.

Зоя. У твоей дочери нет приданого, у него тоже ни гроша за душой. Удивительно, что он хочет на ней жениться.

Бержере. Это было бы еще удивительнее, будь он богат.

Зоя. Но он действительно намерен на ней жениться?

Бержере. Он просил у меня ее руки вчера, на бульваре, после Жюльеттиной выходки.

Зоя. А ты что ответил?

Бержере. Попросил оставить меня в покое.

Зоя. Хорошо, я забираю девочек... Ты жене сказал?

Бержере. Да, вчера вечером я объявил ей о моем решении и выразил желание, чтобы все было готово.

Зоя. Ну, и что же она?

Бержере. Выслушала и подчинилась.

Зоя. Видишь, если бы ты всегда говорил коротко и решительно, все было бы в порядке. Ты же делал не так — ты был неправ.

Бержере. Но в конце концов, Зоя, не могу же я заниматься повседневными мелочами, — я не способен входить во все подробности хозяйства, проверять счета за неделю, расстраивать махинации женщины, которая наделала долгов, и девочки, которая прячет в дупло записки к поклоннику. Не могу я за всем присматривать.

Зоя. Я но говорю присматривать. Я говорю направлять. А ты этого не делал и, значит, не выполнял своего долга. Будь твоя жена способна это понять, она была бы вправе когда-нибудь потом попрекнуть тебя этим. У нас есть обязательства по отношению к тем, чью жизнь мы соединяем со своей.

Бержере *(рассеянно слушая наставления Зои, мрачно созерцает ивовый манекен и отталкивает его)*. Ох, этот манекен! Мало-помалу он стал похож на нее.

Зоя. Вот что значит жениться на женщине только потому, что она хорошенькая.

Бержере. Мне было двадцать пять лет, ей — двенадцать. Я руководил студенческим семинарием в захолустном сумрачном городке на севере. Что знал я о любви? Что знал я о жизни? Несколько встреч, мимолетных и обманчивых, несколько жалких любовных успехов, случайно выпавших на долю бедному студенту. Она была для меня очаровательной приманкой,

ловушкой. Женившись, я был счастлив в течение двух недель, полных грез и очарования, потом передо мной предстала действительность, и с тех пор я все время живу в действительности. Несомненно и она тоже несчастна. Как ты думаешь, Зоя?

Зоя. Почему я знаю?

Бержере. А что, если с ней поговорить?

Зоя. С твоей женой!

Бержере. Милая моя Зоя, старушка моя, сестренка!

Зоя. Не растрепли прическу, терпеть не могу, когда я растрепана.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, г-жа Бержере, Полина, Жюльетта, затем Евфимия.

Г-жа Бержере. Извозчик приехал, дочери готовы.

Входят обе девушки. Полина подходит к Зое, Жюльетта берет зонтик, который оставила на письменном столе, и исчезает.

Полина (*отцу*). Папа, можно взять книги?

Бержере. Какие?

Полина. Вот эту?

Бержере. Эту — нет! Она не для девушек.

Полина. А эту?

Бержере. Эту — можно; она написана специально для девушек.

Полина (*живо*). Нет, тогда не надо. Книги, написанные для девушек, очень глупые... Их я читать не могу, а эту нельзя. Значит...

Бержере. Остаются классические произведения... Правда, классические произведения часто бывают очень скучны.

Полина. Дай мне все же классические произведения, папа!

Г-жа Бержере (*мужу*). Люсьен, мне надо сказать вам два слова. Я не противилась отъезду детей; я даже приготовила все, что нужно, но я хочу знать:

вы отправляете Жюльетту специально, чтобы сделать неприятность мне?

Бержере. Как вы можете так думать?

Г-жа Бержере. Отлично. Вот все, что я хотела знать.

Зоя. Ну, едемте, пора!

Бержере (*боясь всяких неожиданностей*).

А Жюльетта!.. Где Жюльетта? (*Зовет.*) Жюльетта!

Евфимия (*снизу*). Она в коляске.

Бержере. А!

Зоя. Люсьен, ты можешь не торопиться, — у нас три четверти часа в запасе. Я поеду в гостиницу за двумя своими ящиками, а потом заеду за тобой.

Бержере. Нет; прямо из гостиницы отправляйтесь на вокзал. Я пойду пешком. Тут всего два шага, если идти по лестницам. (*Зое.*) До встречи на вокзале... Я поговорю с ней!

Полина (*целует мать; входящей Евфимии*). Евфимия, будьте добренькой, приберите все здесь у папы.

Евфимия. Не беспокойтесь, барышня.

Зоя (*г-же Бержере*). До свиданья, Амелия.

Г-жа Бержере (*Зое*). До свиданья, Зоя.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Бержере, г-жа Бержере.

Бержере. Амелия, прошу вас, выслушайте меня. Вчера я вспылил, я был неправ. Это не в моих привычках. Обычно я стараюсь сохранять спокойствие и благообразие. На этот раз я не выдержал. Будьте добры, простите меня.

Г-жа Бержере. И, конечно, вы набросились на меня. Вам следовало обратиться к господину Ла Клаври.

Бержере. Почему? Я его не знаю и не хочу знать, а я должен был предотвратить скандал.

Г-жа Бержере. Раз вы такого мнения, следовало сказать ему: «Сударь, я запрещаю вам делать то-то и то-то». Вы же предпочли оскорбить меня при всех!

Бержере. Я не оскорблял вас, я несколько резко поговорил с вами, но так, что никто этого не слышал.

Г-жа Бержере. Нет, слышали: аббат Лантень был там.

Бержере. Он был слишком далеко, чтобы слышать. Но довольно об этом.

Г-жа Бержере. Ну, конечно... Довольно об этом, — очаровательно!

Бержере. Вам самой вряд ли понравилось бы, если бы я остался равнодушным к прискорбному легкомыслию Жюльетты, и вы первая должны понять, что я почувствовал, видя, как Жюльетта...

Г-жа Бержере. Вы оскорбили женщину, вашу жену. Это подло... Но, как вы говорите: довольно об этом... Итак, вы хотели...

Бержере. Если я, совершенно не желая того, был недостаточно вежлив по отношению к вам, еще раз прошу меня извинить.

Г-жа Бержере. Никогда и никому не прошу грубости. Никогда!

Бержере. Умоляю, выслушай меня. Дело идет не о нас, а о наших детях. Надо, чтобы я с тобой поговорил, а ты меня выслушала. Это стало необходимым. Я был неправ: из боязни, что ты меня не поймешь, я слишком долго молчал.

Г-жа Бержере. Неужели я уж так глупа?

Бержере. Сейчас не время разбираться в наших умственных способностях. Сейчас надо проявить здравый смысл, если это только возможно.

Г-жа Бержере. Видите, вы уже сразу нападаете.

Бержере. Ах, боже мой, все-то ты навыворот понимаешь!

Г-жа Бержере. Да, да, да, я знаю, какого вы обо мне мнения. Но в моем мизинце больше здравого смысла и ума, чем во всей вашей особе.

Бержере. Господи, что же это такое! Будешь ты меня слушать? Я говорю с тобой о наших детях.

Г-жа Бержере. Ну, что же нового произошло с нашими детьми за это время?

Бержере. Глупо! То, что ты говоришь, глупо...

Г-жа Бержере. Очаровательный характер... и легкий... Да, собеседник вы приятный...

Бержере. Поразительно. Поговорив с вами, я тупею! Сейчас я уже идиот, форменный идиот!

Г-жа Бержере. К счастью, не все таковы, как вы. Я было тоже поверила, что глупа. Но я нашла людей, которые ищут моего общества и находят удовольствие в беседе со мной.

Бержере. Не понимаю, о чем мы говорим. Слова выскакивают одно за другим, как номерочки в лотерее, по воле случая, по воле страшного и губительного случая.

Г-жа Бержере. Вам нечего сказать мне в ответ. Вот вы и изошряетесь в красноречии.

Бержере. Не угодно ли! Наши слова — как пыль на ветру. Крутятся, словно маленькие вихри, жалкие, слабые. Совсем крохотные! Мы ни на земле и ни в облаках — мы парим в темной и низкой сфере. Я остался, чтобы поговорить с вами о детях, чтобы... теперь уже не помню... Вы рассеяли, спутали все мои мысли. В один миг вы уничтожили во мне всякую способность мыслить, рассуждать, чувствовать. Превратили меня в тупого, а возможно» и злого человека.

Г-жа Бержере. Видите, какой вы дерзкий, какой вы грубый.

Бержере. В тупого, а возможно, и злого...

Г-жа Бержере. Зачем стремиться к объяснениям? Мы все равно не пойдем друг друга.

Бержере. Вот, наконец, правда!.. Мы сошлись на том, что ни на чем не можем сойтись. Это уже какая-то точка зрения — точка зрения твердая и определенная... Ее и надо держаться. Можно бороться с разрозненными силами, стихийными и случайными, с огнем, мечом, водой, но с неразумием органическим и концентрированным бороться невозможно. Тут ничего не поделаешь.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

ГОСТИНАЯ Г-ЖИ БЕРЖЕРЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-жа Бержере, Евфимия, затем Ру.

Евфимия (*входя*). Барыня, господин Ру пришел.
Г-жа Бержере. Просите!

Евфимия выходит. Входит г-н Ру.

Вы только что приходили... Прошу извинить меня.

Ру. Помилуйте. У меня было дело здесь по соседству. Теперь я с ним развязался.

Г-жа Бержере. Я была занята отправкой дочек.

Ру. Как, они уехали?

Г-жа Бержере. Да! Они отправились на месяц в Люзанс, к своей тетке Зое. Пребывание в деревне пойдет им на пользу.

Ру. Вот как? А я и не знал.

Г-жа Бержере. Я решила это сегодня утром...
А как вы?

Ру. Освободился от военной службы.

Г-жа Бержере. И уезжаете?

Ру. Завтра. Ничего не поделаешь. Сегодня — увы! — наш последний день!

Г-жа Бержере. Ах, друг мой, я и грущу и счастлива разом. Я одновременно испытываю и горе и ра-

дость. Понимаете вы меня? Нет, вы не можете меня понять.

Ру. Но почему?

Г-жа Бержере. Нет, вы меня не понимаете. Для вас женщина — игрушка. У вас их было много, и как легко доставались вам победы!..

Ру. О!

Г-жа Бержере. Слишком легко, кому как не мне это знать.

Ру. Амелия...

Г-жа Бержере. О, я ни о чем не жалею,

Ру. И не надо жалеть.

Г-жа Бержере. Я слишком горда. Нет, мой друг, я совсем не та женщина, какой вы меня считаете. Отдавшись вам, я мучилась раскаянием. Не при мысли о муже. У меня нет с ним ничего общего. Госпожа Бержере — это ошибка мадемуазель Пуьи, вот и все. Но я знаю, в чем моя обязанность перед самой собой. У меня есть долг по отношению к себе. Вы бы поняли меня, если бы знали, как я была воспитана. В отношении принципов моя мать была непреклонна. Наша любовь... А что, если она — преступление?

Ру. Нет, преступление не может быть столь сладостно.

Она нюхает цветы.

Откуда этот букет?

Г-жа Бержере. Эти цветы?.. *(С чувством кивает головой.)*

Ру с вопросительной улыбкой смотрит на нее.

От моего старого поклонника... О, не изображайте из себя ревнивца.

Ру и не думал об этом.

От председателя суда, Касиньоля, ему семьдесят лет. Двадцать два года тому назад он просил моей руки. Ему тогда было... Двадцать два из семидесяти... сорок восемь. Разница в возрасте была слишком велика. Ему отказали. Он был очень огорчен. С тех пор каждый год в день своего предложения он посылает мне букет, всегда из одних и тех же цветов. Бедняга!

Ру. Скажите на милость... Председатель суда Касиньоль?

Г-жа Бержере. Красивый старик.

Ру. Великолепный.

Г-жа Бержере. Он долго страдал от этой душевной раны; может быть, и теперь еще страдает. Но не могла же я в восемнадцать лет?..

Ру. Нет, конечно, не могли.

Г-жа Бержере. Ах, может быть, было бы лучше... Тогда бы я, верно, осталась порядочной женщиной.

Ру. Но в моих глазах вы продолжаете быть чрезвычайно порядочной женщиной.

Г-жа Бержере. Этого недостаточно. Я сама не могу вполне оправдать себя. Вы мне в этом поможете, — правда? — своим вниманием, привязанностью, верностью. Обещаете? *(Проводит рукой по руке г-на Ру.)* Ах, если бы у меня была семейная жизнь, как у других женщин, если бы муж понимал меня!

Ру. Муж не понял вас?

Г-жа Бержере. Он не знает, что такое женщина. Он даже не подозревает, что такое сердце женщины. Я много страдала, и, слава богу, у меня хватило силы скрывать свои страдания. В обществе я всегда улыбалась. Но вам, друг мой, я могу сказать: я была очень несчастна. Муж смял мою нежную душу. Оскорбил мое чувствительное сердце. Я много страдала из-за него.

Ру. А ведь он не злой.

Г-жа Бержере. У него нет идеалов!.. А для меня человек без идеалов... Вам знакомы, друг мой, умы, которые все засушивают, чье мертвящее дыхание... *(Замолкает.)* Так вот, у господина Бержере такой ум.

Ру. У него ум высшего порядка.

Г-жа Бержере. Этого недостаточно.

Ру. Очевидно, нет.

Г-жа Бержере. При всем своем уме он никогда не мог меня понять. Он меня не знает. А я, — я хорошо его знаю: это человек глубоко эгоистичный... О да, я его знаю... Это — скептик. Я не выношу скептиков; у меня леденеет от них сердце. Ах, это потому, что я — вся порыв, я верю в мечту!

Ру. Мечта — единственная реальность жизни.
Г-жа Бержере. Ах, мой друг, мой любимый друг! Какое для меня утешение ваши слова!

Она у него в объятиях.

Скажите, что вы не скептик и что вы меня любите. Скажите, что вам знакомы порывы, скажите, что вы верите; скажи, что ты веришь в меня.

Ру (*страстным голосом*). Вы очаровательны.

Г-жа Бержере (*которую Ру крепко прижимает к себе*). Если бы вы могли видеть мое сердце!

Ру. Я вижу.

Г-жа Бержере. Ах!

Ру. Да, там все голубое, голубое. (*Привлекает ее к себе.*)

Г-жа Бержере. Пустите, пустите, мы не одни!

Ру. Все уехали.

Г-жа Бержере. А горничная? Я скоро приду к вам.

Ру. Куда?

Г-жа Бержере. К нам, в наше гнездышко.

Ру. Ах, гнездышка больше нет. Я вчера отказался от квартиры, и сегодня утром туда, в наше гнездышко, уже въехал жандармский лейтенант с женой и детьми... Я люблю вас... люблю...

Г-жа Бержере. Знаете, что я вижу в ваших глазах?... Небо!

Ру. Я слышу, как бьется ваше сердце... Я обожаю тебя...

Г-жа Бержере. Правда?

Она идет, чтобы окинуть его всего взглядом, к кушетке и становится на кушетку коленом. Ру подходит к ней, схватывает, сажает к себе на колени, целует, опрокидывает на кушетку, становится на колени, вливается поцелуем в губы г-жи Бержере. Они образуют группу. Входит Бержере. На шум хлопнувшей двери г-н Ру поворачивается всем корпусом. Он сидит на полу. Г-жа Бержере подымает голову. Бержере рассматривает цветок на ковре. Любовники ошеломлены и смотрят в пространство. Бержере пять секунд стоит неподвижно; взгляд его надает на столик; наконец он замечает брошюру, берет ее и направляется через всю сцену к себе в кабинет.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Г-жа Бержере, Ру, в прежних позах.

Г-жа Бержере (*убитым голосом*). Я пропала.

Ру. Почему?

Г-жа Бержере. Как почему? Ведь он же застал нас.

Ру. Нет! (*Встает.*) Он нас не видел.

Г-жа Бержере. Он видел нас так же хорошо, как я вижу вас. (*Встает.*)

Ру. Не думаю.

Г-жа Бержере. Вы с ума сошли!

Ру. Да нет же. Он отлично мог нас не заметить.

Г-жа Бержере. Как же так? Он вошел оттуда и дошел до стола. (*Показывая на дверь в коридор.*)

Ру. Ну, так что же? Это ничего не доказывает.

Г-жа Бержере. Не может быть, чтобы он нас не видел.

Ру. погодите, станьте там.

Она идет к кушетке. Ру повторяет выход г-на Бержере.

Г-жа Бержере. Ну?..

Ру (*с места Бержере, не очень уверенно*). Ну, конечно, не видел.

Г-жа Бержере. О!

Ру (*сдаваясь*). Мог и не увидеть — вот все, что я говорю.

Г-жа Бержере (*г-ну Ру, отсылая его к кушетке*). Станьте там!

О! Он идет. Она повторяет выход Бержере.

Ру. Ну, что?

Г-жа Бержере. Что — что? Ясно, что видел.

Смущение, томительное молчание.

Уходите!

Ру. Ухожу. О, как это ужасно... Оставить вас в таком состоянии.

Г-жа Бержере. Бросьте, уходите, уезжайте скорее. Я не боюсь, ничего не боюсь. Ступайте, ступайте.

Ру. Мой бедный друг! И во всем виноват я.

Г-жа Бержере. Уходите, друг мой.

Ру. Пишите мне до востребования, — на мое имя.

Г-жа Бержере. Да, да.

Он уходит. Она идет к дверям кабинета г-на Бержере и прислушивается.

З а н а в е с

КАРТИНА ПЯТАЯ

КАБИНЕТ Г-НА БЕРЖЕРЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Бержере, затем Евфимия.

Евфимия все прибрала.

Бержере (*входит из гостиной, затворяет за собой дверь, делает два шага, падает в первое попавшееся кресло. Книга, которую он взял в гостиной, вываливается у него из рук. Он подавлен, пробует встать. Остается на месте и говорит*). Изменила! Изменила! (*Усмехается, затем идет к шкафу, открывает его, смотрит в одну точку, ничего не видя, закрывает шкаф и говорит*). С ним! С ним! (*Делает несколько шагов, прислоняется к стене, хочет без всякой надобности открыть дверь в коридор; возвращается, садится к письменному столу и снова говорит*). А дети?.. (*Он растроган, отвертывается к окну, его душат рыдания, он расстегивает воротничок, срывает галстук и, подперев голову руками, горько плачет и говорит*). Довольно, довольно!.. (*Встает, идет к графину с водой, ищет стакан, не находит, пьет из горлышка. Открывает окно, глубоко вздыхает, возвращается, видит манекен, в ярости хватается за него, топчет, выбрасывает за окно, потом поворачивается к*

авансцене и говорит.) Нелепо! (Закрывает раму, ловит оба конца воротничка, пристегивает к рубашке, завязывает галстук, два раза прохаживается взад и вперед, дергает шнурок звонка, надевает шляпу, которая свалилась, когда он входил, и которую он теперь подобрал, затем, с зонтиком в руках, ожидает прихода Евфимии. Он стоит спиной к публике.)

Евфимия входит. Он говорит.

Евфимия... (Продолжает говорить шепотом, так что публике не слышно то, что слышит Евфимия; он показывает на место между окном и драпировкой, слева, и говорит.) ...Туда. (Затем уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Евфимия, затем г-жа Бержере.

Евфимия переставляет столик и стул на место, указанное Бержере. Г-жа Бержере, выжидавшая, пока уйдет муж, входит крадучись. Подходит к Евфимии и трогает ее пальцем за плечо.

Евфимия (вскрикивает). Ах!

Г-жа Бержере (тихо). Тише!

Евфимия. Я не знала, что это вы.

Г-жа Бержере (испытующе и с опаской). Барин ушел?

Евфимия. Да!

Г-жа Бержере. Не сказал, когда вернется?

Евфимия. Нет!

Г-жа Бержере. Не сказал, что придет к обеду?

Евфимия. Нет!

Г-жа Бержере. Ничего не сказал?

Евфимия. Нет. Сказал...

Г-жа Бержере (в тревоге). Что?

Евфимия. Барин сказал, чтобы я ему поставила железную кровать... вот сюда.

Госпожа Бержере в ужасе падает на стул. Евфимия продолжает передвигать мебель.

Занавес

КАРТИНА ШЕСТАЯ

ДОРОГА

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Подорожник, затем Бержере.

Подорожник *(поет)*.

Пошли мне бог, прелестная девица,
Чтоб вы лежали рядышком со мной
И чтобы ночь могла так долго длиться,
Как я вот здесь стою во тьме ночной.
Но вы в ответ смеетесь, ангел мой, —
Всегда, всегда смеетесь надо мной.

(Слышит шаги и прячется.)

Бержере *(запыленный, подавленный, измученный, отчаявшийся, растерянный)*. Нелепо! Отвратительно! Нелепо! Отвратительно! Ничего не осталось! Ничего не осталось! Ничего не осталось... Идти, идти, пока не упаду. Ничего не осталось! Ничего не осталось! Ничего не осталось!

Подорожник *(успокоившись, появляется)*.
Здравствуйте, господин. Вы гуляете и о своем думаете, да?

Бержере. Думаю о своем, да. Это вы, Подорожник?

Подорожник. Да, опять я. Знаете, что я прилаживаю? Прилаживаю ручку к ножу... Ведь они отобрали у меня нож... судьи-то, в тюрьме. Меня за бродяжничество арестовали... и засадили, думали, что я недоброе дело сделал. Но это не я. Они отобрали у меня нож, а трубку не отобрали. Вы меня знаете, правда?

Бержере. Да, знаю. Я вас не раз встречал на дорогах.

Подорожник. Меня все знают! Я тоже вас знаю. Вы человек жалостливый. А вот как вас зовут, не знаю. Лицо-то я помню, а вот как по имени, не знаю!

Бержере. Да, мое доброе имя!

Подорожник. Солнце припекает, а вот плохо то, что дождик будет.

Бержере. Вы думаете?

Подорожник. Да, тучи идут со стороны Сен-Севэра. Это примета, что будет ливень.

Бержере. Подорожник, я устал. Я долго ходил, и, как вы сказали, со мной вместе шли мои думы. Я очень устал. Я страдаю.

Подорожник. Что у вас болит? Голова?

Бержере. Да! Да! Голова.

Подорожник. Это болезнь богатых... У бедняков, если что болит, так живот или ноги.

Бержере. Я разбит, словно вывалился из окна. Присяду на минутку тут, около вас.

Подорожник. Я нашел на земле лезвие. Вот и делаю теперь ручку. Я еще дудки из тростника делать умею, фонтаны из соломинок и кораблики из дубовой коры на потеху ребятам. Я на все руки мастер!

Бержере (*сидясь*). Ничего! Ничего не осталось! Бедный мой дом, и так он был шаткий и жалкий, а теперь совсем обвалился, рухнул в грязь. Нелепо! Отвратительно! Эта женщина...

Подорожник. У Вас тоже свои неприятности. Но у богатых другие неприятности, не те, что у бедного человека. Совсем непохожие, все равно как тело и тень.

Бержере. Все люди, Подорожник, все люди подвержены страданиям и горю. Вот и я, вот и я тоже несчастен...

Молчание.

Подорожник. Еще хорошо, что старое лезвие подвернулось. Что бы я без него стал делать? Без ножа, как без рук. *(Показывая лезвие.)* Я наточил его. Теперь во как режет.

Бержере. Подорожник, вы никого не убивали из ревности?

Подорожник. Нет! Кто убивает, так тот уж сроду такой. Само это в голову не придет. Надо, чтоб оно всегда в тебе сидело.

Бержере. Я один не знал. Все знали, да, весь город знал. Нужен был случай. Этот мужчина... эта женщина... Нелепо... смешно... отвратительно... Подорожник, вы в самом деле никого не убивали?

Подорожник. У одних — одно в голове, у других — другое. Задумай я недоброе дело, я выкопал бы яму под деревом, положил бы на дно ямы нож и землю бы над ним утоптал.

Бержере. А ведь убить их, убить их обоих... было бы так естественно... и восхитительно. И отчего я этого не сделал?

Подорожник *(продолжая свое)*. А еще я знал людей молодых, так те убивали, потому как гордые были и не хотели, чтобы с ними обходились неправильно. А я совсем еще молодым потерял гордость... И все оттого, что наши деревенские надо мной надсмехались, и парни, и девушки, и ребята тоже. Теперь что хочешь надо мной делай: я даже не рассержусь. А почему? Гордость потерял, вот что...

Бержере. Подорожник, я думаю, что я тоже потерял гордость. В конце концов, может быть, и хорошо потерять гордость!

Подорожник. Чего только не находишь на дорогах! Всякое находишь. Чаще всего подковы находишь... Вы куда?

Бержере *(встает)*. Ничего не осталось... нет больше дома!.. Вернуться домой, домой... Нет!..

Подорожник. Не подходите к краю. Камыши очень ненадежные. Долго ли до беды? Вот на днях я срезал тростинку для дудки и чуть не утоп.

Бержере. А вы любите жизнь?

Подорожник. А как же... живешь-то ведь один раз!

Бержере. Может быть, и я люблю жизнь. Мне так мало нужно для счастья! Ничего не осталось! Нет больше дома! Девочки мои! Полина... Полина... Бедный твой папа... Подорожник, у вас никогда не было жены и детей?

Подорожник. Нет... а мне бы хотелось. Да только не вышло. Уже с самого начала не вышло.

Бержере. А у меня остались две девочки, две большие девочки.

Подорожник. Вам, видно, нехорошо.

Бержере. Нет! Нет! Еще недавно мне было нехорошо, но теперь, когда я вас встретил, лучше. Пока я беседовал с вами, мне полегчало. Люди, с которыми я знаком, стали для меня невыносимы, и мне нужно было побеседовать с существом беспредельно простым, с человеком или с собакой. Я нашел вас, вы помогли мне.

Молчание. Он встает.

Да, голубчик, ты утешил меня и дал мне хороший совет. Я не знал, как дальше жить и что делать. Ты научил меня, ты — человек простой и недалекий, мало чем отличающийся от окружающей природы. Простота твоя поучительна. Вот что я должен делать: не считаться с дурацким лицемерием света, не подчиняться тем или другим нелепым правилам поведения. Нет! Я должен укрыться, уйти в себя и держаться крепко, спокойно, непреклонно, чуждый гнева, равно как и прощения. Я должен уберечь своим молчанием двух моих дорогих ни в чем не повинных девочек. Я должен спокойно взяться за работу.

Подорожник. Вот уже капает. Пойти укрыться от дождя в хижину. Я, если намокну, долго не высохну. Не так, как те, что в постелях спят.

Бержере. Да, да, прошлая моя жизнь разрушена... Так ли уж это печально? Разве у меня ничего не осталось? Осталась работа, а в ней — вся моя радость.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Булочник, Бержере.

Булочник *(выходит справа из глубины сцены, мимоходом)*. Что вы тут делаете, господин Бержере? Сейчас хлынет как из ведра. Не пешком же вам домой идти! Хотите, подвезу? Я оставил тележку там, на берегу, а сам поднялся сюда, чтобы отнести...

Бержере. Охотно. Но скажите, пожалуйста, который час? *(Смотрит на свои часы.)* Двадцать минут пятого! *(Подносит часы к уху. Они стоят.)*

Булочник. Сейчас скажу. На соборных часах шесть. *(Бержере кладет свои часы обратно в карман.)* Шесть часов без нескольких минут.

Бержере. Простите, пожалуйста. Скажите мне, который час, точно. Мне нужно знать. Это для психологического опыта.

Булочник *(вытаскивая часы)*. Шесть часов без трех минут, точно...

Бержере. На соборных часах пробило пять, когда я еще был в гостинной. *(Булочнику.)* Благодарю вас. Это очень важное наблюдение. Мне хотелось знать, сколько времени требуется разумному человеку в одном определенном случае, чтобы перейти от безумия к мудрости.

Булочник. И вечно-то вы заняты наукой... Кончили?

Бержере. Да.

Булочник. Хорошо. Тогда идемте!

Бержере. Переход занял пятьдесят семь минут. Это хорошо.

Занавес

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

КАБИНЕТ Г-НА БЕРЖЕРЕ, ПРЕЖДЕ СЛУЖИВШИЙ СТОЛОВОЙ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Бержере, Леду, затем Евфимия.

Бержере. «...Чего же удивляться, что Сулла, который управлял республикой, распоряжался судьбами вселенной и укреплял своими законами...» (*К Леду.*) Леду, голубчик, если вы все так же упорно будете ставить самые большие книги в неустойчивом равновесии на самые высокие полки, то подвергнете меня опасности в один прекрасный день погибнуть под томами внушительного веса. (*Пишет.*) «...мощь государства, восстановленную силою его оружия, мог не заметить кое-каких скрытых несправедливостей и тайных происков». Так говорил оратор, а потом, обращаясь к судьям, сказал...

Обвал книг.

Леду, голубчик, видите, я был прав, вы навлекли на себя беду, которую готовили мне.

Леду. Не бойтесь, все поставлю на место.

Бержере (*пишет*). «...Секстию, равно как и рес-

публике, не остается другого прибежища, не остается других надежд, как только ваша доброта и... милосердие».

Новый обвал.

Леду. Уж и валятся же эти самые, как их там...

Бержере. Леду, голубчик, хватит — можете идти. *(Пишет.)* «...всем хорошо известные». *(Затем произносит, прежде чем написать.)* «Ежели вы не отрелись от этих добродетелей, то мы еще можем быть спасены, но ежели, да не пошлют этого боги, жестокость, которая за последнее время так опустошила Рим...»

Леду. Господин Бержере!

Бержере. Что, голубчик?

Леду. Вы заняты, прошу прощения.

Бержере. Ничего, говорите.

Леду. Нет. Вы заняты. Я подожду, когда вы кончите.

Бержере. Мне работы еще на пятьдесят лет хватит, голубчик!

Леду. Господин Бержере, дайте мне работу, я без дела. Урожай собран. Я не могу найти работы. А нельзя сказать, чтобы у меня не было желания. Я за все берусь. Могу разливать вино по бутылкам, чистить дорожки, выполнять поручения, могу быть садовником.

Бержере. Или библиотекарем!

Звонок.

Я не могу дать вам еще работы: я не могу оплатить ее. Я не богат, совсем не богат.

Звонок.

Леду. Нет, вы не из бедных. А потом не всегда бедным помогают богатые.

Снова звонок.

Бержере. Ну и упорный же звонок! Евфимия! Евфимия! Конечно, опять ее нет.

Е в ф и м и я (*входит, повязывая передник*). Нет, барин, я тут. Я только что вернулась. И опять надо бежать... Просто не понимаю, как я живу, честное слово! (*Уходит, потом возвращается.*) Это Шантеклер.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Шантеклер.

Шантеклер. Господин Бержере, я принес вам штиблеты. Оставайтесь довольны. Хорошо, удобно. Вот говорят: ручная работа... ручная работа... А только это и есть настоящая обувь. Фабричная обувь — дрянь. Подошвы на винтах, да разве это прочно? Кустарной обуви — сносу нет. Хотите примерить?

Неопределенный отрицательный жест со стороны Бержере.

Можете быть покойны, на ноге и не почувствуете.

Леду (*непринужденно вступая в разговор*). Покажите-ка. Вот бы мне такие... Мои протекают, а когда башмаки протекают...

Шантеклер. Господин Бержере, мне надо сообщить вам большую новость.

Бержере. Что случилось?

Шантеклер. Я нашел.

Бержере. Что нашли, голубчик?

Шантеклер. Да жену! Странная это штука, жизнь. Я искал, искал повсюду, а она оказалась насупротив моей лавки. Она торгует образками на улице святой Агнесы. Больше тридцати пяти лет живем мы друг против друга. По утрам и по вечерам перекидываемся словечком, и весь день я вижу ее за прилавком... Только об этом надо было подумать... Надо было на мысль напасть... И вдруг мне это пришло в голову.

Леду (*думая о своем*). Господин Бержере, если у вас когда будут ненужные штиблеты, которых вы уже не носите, отдайте их мне... Потому что мое старье с ног сваливается. Отказывается служить.

Уходившая Е в ф и м и я возвращается. Бержере пишет.

Шантеклер. Как раз такую жену мне и нужно... Работящую, бережливую. Ведь взять жену неработящую, небережливую, видите ли, господин Бержере, это все одно, что повесить себе камень на шею — и в реку... Моя покойница жена...

Леду. А вы уже были женаты?

Шантеклер. Да, был женат. Хорошая была женщина.

Леду. Она что же — скончалась?

Шантеклер. Да. Бедная моя старуха уж отходить стала, а все у меня прощения просила, что оставляет меня, вежливо так просила. А вы-то сами не женаты?

Леду (*смеясь*). Нет! Я никак не пристроюсь...

Евфимия (*недолюбливающая простой люд, к Леду*). Что же это вы не можете и ног обтереть, когда в дом входите? Вам здесь не конюшня. (*Кладет перед Бержере баранью ножку, наполовину завернутую в бумагу*.) Барин... мясник спрашивает, когда можно получить по счету.

Бержере (*начавший писать*), «...ожесточили вам души...» Когда угодно. «...и закрыли сердца...»

Евфимия. Он уже три раза приходил.

Бержере. «...для сострадания».

Евфимия. Вас, барин, никогда дома нет, а деньги-то ведь у вас...

Бержере. Да, деньги у меня... все деньги у меня.

Шантеклер (*продолжая разговор с Леду*). ...раз досталась хорошая жена, так и держись за нее... Поэтому, на такую редко нападешь.

Евфимия. Когда велеть ему опять зайти?

Бержере. Завтра. (*Обоим мужчинам*.) Друзья мои, я не гоню вас, но мне пора уходить.

Шантеклер. Мы уходим.

Бержере. До свидания.

Леду. Господин Бержере, а со старыми шляпами что вы делаете?

Бержере. Я их ношу.

Они уходят. Евфимия вздыхает при виде следов грязи и песку, оставленных Леду на паркете. Она уходит, возвращается со щеткой. Дверь справа открывается, и входит г-жа Бержере.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г-жа Бержере, Евфимия.

Г-жа Бержере. Его нет?

Евфимия. Только что вышел.

Г-жа Бержере. Я слышала мужские голоса.

Евфимия. Это Шантеклер, сапожник, да тот, непутевый, что здесь днюет и ночует. Все вместе ушли.

Г-жа Бержере. Господи! Чего он только хочет? Чего добивается? Он отобрал у меня все, отстранил меня, уничтожил... *(Садится.)* упразднил... Я у себя дома больше ничего не значу... Я больше не существую... Евфимия, он с вами обо мне не говорил?

Евфимия. Нет, барыня.

Г-жа Бержере. Отнять у меня деньги, отнять власть, отнять все права — как это гадко, как подло! Сама виновата, что заслужила, то и получаю... Вот что значит выйти за человека не своего круга, не так воспитанного... Но мое положение ужасно. *(Встаем.)* Я брожу по дому, как тело, из которого вынули душу... как...

Евфимия. Вы бы лучше куда сходили... людей повидали.

Г-жа Бержере. Ну, проведу часа два вне дома, повидаю кое-кого, а потом опять надо возвращаться домой, а здесь — пустота... молчание, отчаяние. Он хочет меня извести. Я потеряла сон, я боюсь... Раз десять за ночь вскакиваю с постели и слушаю у дверей. Мне все чудится, что он придет и убьет меня.

Евфимия. Да что вы!

Г-жа Бержере. Словом, я боюсь... боюсь... Этот у меня окончательно расстроятся нервы!

Евфимия. Не стоит себе кровь портить.

Г-жа Бержере. Боже мой, неужели в дальше будет такая жизнь?

Евфимия. Да нет! Но только если так и дальше будет, я тоже с ума сойду.

Звонок.

Г-жа Бержере. Ах!

Евфимия. Что?

Г-жа Бержере. Звонят!

Евфимия. Ну, так что ж с того?

Г-жа Бержере. Я каждый раз вздрагиваю, когда слышу звонок. Все думаю: что еще может случиться? Правда, теперь я не удивлюсь, даже если на меня дом рухнет.

Евфимия (*уходит, потом возвращается*). Это прачкина девчонка. Я велела ей подождать барина в саду.

Г-жа Бержере. Она принесла белье?

Евфимия. Нет, она пришла, чтобы получить по трем счетам. Белье она только тогда принесет, когда ей заплатят, уж это будьте покойны.

Г-жа Бержере. Срам какой! Мы станем посмешищем всего города. Зачем он это делает?

Евфимия. А я разве знаю? Вот уперся с того самого дела, о котором ему и знать-то не следовало... Пойти, что ли, подбросить угля в плиту.

Звонок.

Г-жа Бержере (*пока Евфимия открывает дверь*). Ох, что там еще?

Евфимия. Это мадемуазель Роза!

Г-жа Бержере. Скажите, чтоб пришла в другой раз, что меня нет.

Евфимия. Она ничего и слушать не хочет. Вот она сама.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Г-жа Бержере, Евфимия, мадемуазель Роза, затем дочь прачки.

Роза (*входит*). Здравствуйте, сударыня. Как ваше здоровье?

Г-жа Бержере. Голова немного болит.

Роза. Это от погоды. Сейчас много больных. Госпожа Бержере, я пришла сама, потому что уже два раза к вам писала, а вы не ответили.

Г-жа Бержере (*нагло улыбаясь*). Я не получила писем.

Роза (*растерянно улыбаясь*). Неужели?!

Г-жа Бержере (*разыгрывая искреннее удивление*). Я же вам говорю...

Роза (*с сильным сомнением*). Все может быть... Я по поводу счета. Подумать только: набралось за целых два года. Я человек коммерческий. Мне нужно получить, что причитается, чтобы к концу сезона расплатиться за товар.

Г-жа Бержере. Я поговорю с мужем.

Роза. Будьте так любезны, поговорите с ним сегодня же. Я не могу больше ждать.

Г-жа Бержере. Пришлите счет, сколько всего я вам должна.

Роза (*с мягким упреком*). Ах, госпожа Бержере! Я вам шесть раз досылала. Хорошо! Через час счет будет у вас. Но не заставляйте меня еще раз приходить. Будьте добры. Мне очень неудобно отлучаться днем, понимаете?

Г-жа Бержере (*представляя себя на месте Розы*). Отлично понимаю... Итак... пришлите счет... Я посмотрю. Впрочем, я собираюсь зайти к вам. Мне нужна шляпка, совсем простенькая. Заодно и по счету заплачу.

Роза. Очень вас об этом прошу. Не хочется документировать, но свои деньги как-никак получить надо.

Г-жа Бержере (*отлично ее понимая*). Да, да, это вполне естественно.

Роза. Значит, я буду надеяться? Просто сказать не могу, как это на вас непохоже!

Г-жа Бержере. Завтра утром обязательно заплачу.

Мадемуазель Роза направляется к двери, тут же входит дочь прачки.

Прачкина дочка. Сударыня, мама велела вам сказать, что белье готово. Можете взять его, только уплатите за прошлые три недели.

Г-жа Бержере. Хорошо, хорошо, девочка. Сейчас я за ним пришлю. Евфимия, вы сходите за бельем. До свидания, мадемуазель Роза, до свидания, девочка.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-жа Бержере, Евфимия.

Г-жа Бержере. Это уж чересчур, чересчур! Умереть можно со стыда и горя. Чтобы прачка так со мной разговаривала! А мадемуазель Роза — она видит столько людей... она все расскажет. Теперь вы убедились, что этот человек хочет меня уморить. Но я дождусь его здесь. Он думает, что взял надо мной верх, — ошибается!

Евфимия. Пришел! Я слышу, как он отпирает дверь своим ключом.

Г-жа Бержере. Ступайте, Евфимия. Я хочу поговорить с ним.

Немая сцена.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Г-жа Бержере, Бержере.

Г-жа Бержере. В конце концов что это значит? Теперь вы меня запираете! Я под замком. Вы стали на путь угнетения и лишения меня свободы, да, лишения свободы... любопытно бы знать, когда же конец? Я требую, чтобы вы сказали, к чему все это клонится. У вас есть цель, я хочу ее знать. Уже две недели, как я в непрерывной пытке. Хватит! Честное слово! Я ничего не значу в собственном доме, решительно ничего! Приходят поставщики, две недели тому назад они обращались прямо ко мне, а теперь, когда они спрашивают, нет ли заказов, или требуют то, что им причитается, я вынуждена отвечать: «Я больше ничем здесь не распоряжаюсь». На что это похоже? Как вы думаете, они не задают себе вопроса: а почему?.. и не доискиваются причины? Довольно! Я не хочу больше ждать. Я хочу, чтобы вы мне ответили. Я хочу, слышите, — хочу!

Бержере. Уйдите.

Г-жа Бержере. Нет, не уйду. Не отстану. Сейчас же скажите, что вы собираетесь делать! Человек,

за которого я вышла вопреки советам родителей, чуть ли не против их воли, которому отдала лучшие годы жизни, пожертвовала своей молодостью, этот человек посмел... О, не смейтесь. Я знаю, что говорю. Я вступила в брак нелепый, да, сударь, нелепый, неравный. Две недели назад вы все могли со мной сделать, могли убить меня. На мгновение я подумала, что вы так и сделаете. Вы этого не сделали. В тот день вы обращались со мной с таким обидным равнодушием, что я была потрясена. Вы желали показать, будто все, что меня касается, вам безразлично. Я это отлично знаю, вам безразлично все, что касается меня и других. Страдание вам незнакомо. Может быть, если бы случилось что-нибудь с Полиной... И то!.. Вы пришли в ярость и для отместки избрали окольный путь, постарались унижить меня, сделать общим посмешищем. Вы, как трус, исподтишка стали вредить мне, мелко пакостить, и вы думали, что согнули и одолели меня! Ошибаетесь! Я подымаю голову! Был такой момент, когда вы могли стать мне судьей. Вы отказались от этого. Конечно. У вас нет больше никаких прав на меня. Я не позволю вам презирать меня. *(Садится.)* Теперь я вправе требовать объяснений. Сию же минуту скажите мне, что вы намерены предпринять в отношении меня, или же... или же я назову вас человеком бесчестным и подлым. *(Ударяет рукой по столу.)*

Бержере. Начиная с известного вам дня, вы больше для меня не существуете! Я не сердит на вас, не чувствую к вам ни презрения, ни уважения. Ничего против вас я не замышляю. Я вас игнорирую. Если вы во что бы то ни стало желаете, я скажу, какое решение я принял: игнорировать вас. Я уже давно убедился, что несчастлив и потерял покой, необходимый для работы, в которой вся моя жизнь. За последние две недели я обрел нужный мне покой. Чтобы охранить этот покой, я не пожалею терпения, а терпение мое, я думаю, безгранично. Вот и все!

Г-жа Бержере. Это все? Ну нет, сударь! Вы от меня так легко не отделаетесь. Я не принимаю ваших отговорок. Извольте глядеть на меня, когда я с вами разговариваю. *(Она вырывает у него книгу и мнет ее.)*

Бержере. Позвольте! *(Отбирает книгу и приводит ее в порядок.)* Так как этот разговор между нами несомненно последний, уклоняться от него я не хочу. А может быть, и не должен. Ну, так знайте: если отныне я смотрю на вас, как на человека, совершенно чуждого мне и моему пониманию жизни, — я все же ни в коей мере не считаю себя свободным от обязанностей в отношении вас. Я отвечаю вам откровенно и по всем пунктам. Во-первых, вы не лишены свободы. Вы свободны. Нет человека свободнее вас. Вы вольны делать все, что хотите. Я ни в чем не буду стеснять вас, и, верьте, не почувствую ни печали, ни радости от того, что вы делаете. Я не буду об этом знать. Следовательно, если отныне вам не придется ждать от меня ни одобрения, которое вам безразлично, ни порицания, которое вас мало трогает, вы можете быть уверены в моем полном безразличии. Мы будем жить раздельно в прежней квартире, которая будет представлять собой две обособленные половины. Если вам угодно, ваша свобода будет ограничена только моей, а моя — только вашей.

Г-жа Бержере. Каким образом?

Бержере. Ваша свобода будет ограничена только моей, а моя — только вашей, и обе они будут стеснены только ради обоюдной гарантии.

Г-жа Бержере. Объяснитесь лучше. Вы хотите сказать, что мы будем жить, как двое жильцов, которые поселились на одной и той же площадке?

Бержере. И которые ни в коем случае не войдут друг к другу, даже не подумают об этом, ни в коем случае не подумают.

Г-жа Бержере. Это просто нелепо.

Бержере. Предшествующее положение вещей было еще нелепее, верьте мне. Вот первый пункт, на который, полагаю, я дал вам удовлетворительный ответ. Перейдемте, если угодно, к следующему. Ваши суждения обо мне меня не трогают. Но я хочу сохранить все свои преимущества перед вами. Вот почему я скажу вам всю правду. Нет, мне не безразлично; нет, я не равнодушен. И мне незачем скрывать от вас, — вы причинили мне страдание. Я говорю это спокойно, так как

вы человек для меня чужой, и теперь я уже несколько не страдаю. Я почувствовал к вам ненависть и отвращение. Я такой же человек, как все. У меня те же инстинкты, те же слабости и, хочу я или нет, те же предрассудки. Когда я застал вас тут, в гостиной, я был убит, уничтожен. И, когда я пришел в себя, был момент, когда я хотел вернуться в гостиную и задушить вас... я уже чувствовал, как мои пальцы впиваются вам в шею. Вы видите, — я был таким же зверем, как и все. Но не торопитесь возвращать мне свое уважение: я был таким лишь на миг. Вот чем я хуже остальных. Все, что я смог сделать, это выкинуть за окно манекен, олицетворявший вас. Вот что мне хотелось сказать вам. Я полагал, что не должен ничего от вас утаивать, раньше чем замолчать навсегда.

Г-жа Бержере (*спокойно, коварно и все же искренне*). Итак, вы больше не будете разговаривать со мной, мы будем жить врозь, как чужие?

Бержере. Уже две недели, как я позабыл о вашем существовании. На минуту вы снова напомнили мне о себе. Теперь я опять буду игнорировать ваше существование, и отныне уже навсегда.

Г-жа Бержере. Хорошо!.. Ну, а когда вернутся дочки?.. Если только вы не собираетесь отделаться от них и на неопределенное время оставить их у вашей сестры...

Отрицательный жест Бержере.

Ну так как же, когда они вернутся?

Бержере. Что ж, у них будет отдельная комната, а обедать они будут то со мной, то с вами. Это все мелочи, которые я легко разрешу, вот увидите.

Г-жа Бержере. Это будет в достаточной мере смешно... А потом вы и не подумали!.. Девочки заметят, что мы не живем вместе, как живут другие родители. Как они объяснят себе это?

Бержере. Я постараюсь скрыть от них подлинную причину. Надеюсь, вы мне в этом поможете.

Г-жа Бержере. Но как-никак дети будут страдать от того, что мы не в ладу! Разве справедливо, чтобы они расплачивались за нас? В интересах наших

дочек следовало бы попытаться прийти к соглашению. Вы их любите?

Бержере. Прошу вас, не будем говорить на эту тему.

Г-жа Бержере. Нет, будем! Вы их любите, я знаю. Люсьен, не ради себя, ради них прошу: вернемся к прошлому. Надо, чтобы, приехав домой, они нашли все как обычно.

Бержере. Это невозможно!

Г-жа Бержере. В данную минуту дело идет не обо мне. Позднее я объясню вам... я скажу вам... И, может быть, вы будете очень удивлены, так как вы меня не знаете.

Бержере. Я не собираюсь давать вам советы, но если вы хотите знать мое мнение, я предпочитал вас такой, какой вы были в начале разговора. Право, гнев вам больше к лицу.

Г-жа Бержере. О, эта вечная ирония! С вами и святой потеряет терпение. Вам бы хотелось отделаться от меня, да вот не можете. У вас нет улики против меня... нет... Будь у вас хоть малейшая улика, вы бы давно уже потребовали развода.

Бержере. Вы полагаете? Ошибаетесь. Я не хочу развода. У меня нет ни малейшего желания рассказывать адвокату, что мать моих девочек ведет себя недостойно. У меня нет ни малейшего желания, чтобы адвокат публично огласил и доказал это на суде. У меня нет ни малейшего желания обнародовать ваш позор. Я знаю, что принято действовать таким образом, но полагаю, что лучше не обнажать позорных и смешных тайн. Поверьте мне, не надо менять существующее положение до тех пор, пока наши дочери с нами. Когда они выйдут замуж, будем действовать, как нам заблагорассудится.

Г-жа Бержере. Хорошо! Пусть будет по-вашему. Мы не разводимся; мы продолжаем жить вместе, согласна... Но при одном условии: я опять займу свое место, стану тем, чем должна быть в доме, — хозяйкой, я буду всем распоряжаться... Это весьма скромное требование.

Бержере. Нет! Вы не будете распоряжаться. Я отберу у вас всякую возможность распоряжаться, и не для того, чтобы наказать вас, — я вам не судья, мои философские взгляды на человека и природу запрещают мне судить кого бы то ни было. Я не желаю исполнять роль домашнего судьи. Я не осуждаю вас, ибо не сужу. Я отбираю от вас управление домом только потому, что вы оказались к этому неспособной.

Г-жа Бержере. А вы способны? За последние две недели дом в порядке? Как бы не так!

Бержере. Порядка никакого, признаю. Но это — следствие вашего дурного управления. В мелочах, как и в вещах крупных, вы не поняли, что надо жить скромно и по своим средствам. Я окончательно лишил вас прав. Довольно. Покончим с этим. Мы не можем даже спорить, воевать и ссориться, ибо мы с вами на все смотрим по-разному. Прекратим этот разговор.

Г-жа Бержере. Вы этого хотите?

Бержере. Хочу... Но к чему говорить о желаниях человека? Это — необходимость, непреклонная необходимость. Я больше не могу вас видеть, не могу слышать, и если я нашел возможным потолковать с вами несколько минут, то исключительно ценой огромного напряжения, призвав на помощь отвлеченные рассуждения и все мое благоразумие. Но предупреждаю вас, я не в состоянии дольше пребывать в таком неестественном напряжении. Прекратим этот разговор!

Г-жа Бержере. Как вы меня ненавидите!

Бержере. Не обольщайтесь.

Г-жа Бержере. Да, да, ты ненавидишь меня! И мне это больше нравится. Послушай, Люсьен, Люсьен! Вернемся к прежней жизни. Я много думала. И если бы ты только знал все мысли, все чувства, которые приходили мне в голову за эти две недели!.. Я стала совсем другой, вот увидишь. Ты не узнаешь меня. Я способна на самопожертвование, на самоотречение. Я поняла многое, чего не понимала раньше. Я посвящу свою жизнь семье, нашим дочкам, и мало-помалу ты позабудешь, ты снова дашь мне местечко у себя в сердце. Прости, на коленях прошу, прости меня.

Бержере. Чтобы прощать, надо быть обиженным, и вы напрасно тешите себя мыслью, что я обижен вами... вами... О, правда гораздо проще! Я не могу выносить вашего присутствия, ибо ваше присутствие напоминает мне нечто безобразное, смешное и чудовищное, и ничего другого не примешивается к этому чувству. В нем нет гнева. Я сказал достаточно?... Нет? В таком случае я выражусь яснее: оставьте меня в покое.

Г-жа Бержере (*разражаясь гневом*). Ах, так... Хорошо же! Тогда развода потребую я. Я не хочу зачухнуть от горя и ярости. За меня все. Все дамы общества на моей стороне, а вас, вас все презирают, вы глупы, уродливы, смешны... вы... не знаю кто!.. Все это говорят. Я вас не люблю, я вас никогда не любила. (*Идет к выходу. Но дверь заперта на ключ, и г-жа Бержере не может выйти. Она говорит.*) Ототрите дверь.

Бержере отпирает, она выходит. Бержере, оставшись один, снова принимается писать, но вскоре раздается звонок, и входит Мазюр.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Мазюр, Бержере, Евфимия.

Мазюр. А-а, дорогой Бержере... Обитель мудреца! Здесь покойно. Здесь вам хорошо работать.

Евфимия. Я за бараньей ножкой.

Бержере. Вот возьмите!

Мазюр. Я вижу, у вас здесь полная перестановка.

Бержере. Да, полная.

Мазюр. Настоящая пертурбация.

Бержере. Скажем, трансформация.

Мазюр (*барабана пальцами по папке*). Дорогой мой, я принес вам небольшую папку, которая начинает пополняться.

Евфимия уходит.

Я работаю по четырнадцать часов в сутки, воюя с крысами на чердаках префектуры за старые бумаги о всех и всяком! И чего я там только не нашел! Громанс, пра-

дед нашего, гражданин Громанс Луи-Робер, скупщик национальных имуществ после седьмого фримера Третьего года *. *(Просматривает пачку бумаг и берет другую.)* Еще один Громанс, Мари-Антуан, приговорен двадцать четвертого июня тысяча восемьсот двенадцатого года к каторжным работам за поставку в армию картонных подошв... Вот читайте.

Евфимия. Барин, какой суп варить?

Бержере. Какой хотите.

Евфимия. С крупой или с овощами?

Бержере. Либо тот, либо другой.

Евфимия. Ну что тут поймешь!

Мазюр. ...Тысяча восемьсот шестнадцатый — Тереза-Антуанетта, любовница герцога Беррийского...

Бержере. У него и другие были...

Мазюр. Это не оправдание...

Пауза.

Евфимия *(возвращаясь)*. Барин, к какому часу прикажете обед?

Бержере. Евфимия, прошу вас с этого дня входить сюда, только когда вас позовут.

Евфимия. Вот вы как? Ладно, я ухожу... *(Развязывает передник и свертывает его жгутом, Мазюр подымает нос от бумаг. Евфимия продолжает, как горохом сыпать.)* Не могу я жить в этом доме, не могу! Что это за жизнь! Не то чтобы я барыню страсть как любила. Она надо мной поизмывалась властью, а бывало, и не кормила досыта...

Бержере делает две-три попытки остановить пыл Евфимии. Но можно ли остановить бурю?

Я ей не защитница. Не по-моему она делает. Про господина Ру я уже давно знаю и всегда скажу: неприлично это. Когда у девушки дружок есть, тут ничего не скажешь. Сама я на такие дела не падка, и если бы только я детей делала, пришел бы конец миру.

Мазюр с неслыханной тактичностью подходит к окну и делает вид, что погружен в чтение.

А парни всюду такие — всегда не прочь позабавиться, так долго ли до греха? Но женщина замужняя, семей-

ная — это вам не девушка, она уже с понятием. Раз есть муж, незачем на стороне удовольствия искать. Незачем. Только мы не турки, мы должны прощать друг друга. Мы ведь крещеные. Что и говорить, в деревне лучше знают обхождение, чем в городе. У нас в Куртре жена фермера Роберте, толстуха Леокадия, подарила пару подтяжек работнику, чтобы получить от него то, что она хотела, да только у нее не достало хитрости скрыть свои шашни от Роберте. Он их застучал в самое что ни на есть подходящее время и так проучил жену кнутом, что отбил у нее всякую охоту сызнова приниматься за то же. И с тех пор жены лучше Леокадии во всей округе не сыщешь. Теперь о ней ни вот столечко не скажешь. Вот если бы вы сделали, как Роберте, если бы вы обломали половую щетку о спину жены, вы бы правильно сделали. Никто слова бы не сказал. Но помните зло, когда и злобы-то уже нет, не говорить, сидеть и дуться, сердиться на бедную женщину, когда глядеть на нее и то жалость берет, — это нехорошо. Барин кушает на одной половине, барыня кушает на другой, как в харчевне, только подашь одному, — подавай другому. А бывает и того лучше, — барыня говорит: «У меня денег нет, посчитайтесь с барином». А принесу вам свою книжку, вы — словно меня и не знаете. Спрашиваю у вас, какие будут распоряжения, вы не отвечаете или такое говорите, что никак вас не поймешь. Нет, это не жизнь. В этом доме идиоткой станешь! Сил больше нет, ухожу. Уж очень вы злой, очень злой! Ухожу, ухожу.

Бержере. Можете уйти хоть сейчас же. Да, хоть сейчас же.

Евфимия. Тогда заплатите мне жалованье. Я не иду отсюда, пока вы не заплатите мне жалованья.

Мазюр (*вытаскивая часы*). Дорогой Бержере, прошу простить, но мне пора.

Бержере. Извините меня, дорогой Мазюр.

Мазюр. Что вы! Вы шутите!.. Сидите... сидите... Вы заняты... а я дорогу знаю. (*Уходит.*)

Бержере (*возвращаясь к столу*). Сколько я вам должен?

Евфимия. За начало этого месяца, да за тот весь,

и еще девять франков, что барыня у меня заняла, да две марки, что я мадемуазель Жюльетте дала, да за неделю вперед, потому что надо по справедливости...

Бержере. Всего?

Евфимия. Двадцать шесть франков.

Бержере. Вот сорок... Оставьте себе.

Евфимия (*кладет обе бумажки в портмоне, а портмоне — в карман*). Барин...

Бержере. Что такое?..

Евфимия. Пойду прощусь с хозяйкой.

Бержере. Ступайте.

Евфимия. Барин... будьте так любезны, передайте поклон обоим барышням. Они всегда были добры ко мне. Значит, вы барышням скажете, что мне грустно уходить, не попрощавшись с ними?..

Бержере. Окажу, обещаю... Вы думаете, я злой... Но если я могу вам быть чем полезен, милая Евфимия, я охотно это сделаю.

Евфимия (*разражаясь рыданиями, в большом горе*). Никто здесь не злой. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Г-жа Бержере, Бержере.

Г-жа Бержере (*влетает ураганом*). Вас не интересует, где я была?

Бержере. Нет!

Г-жа Бержере. Напрасно, это вас касается. Я прямо от нотариуса, господина Пайо. Он составляет прошение о разводе. Пока идут хлопоты о разводе, мы не можем жить под одной крышей. Сегодня же вечером я переберусь в гостиницу. Я ухлопала с вами двадцать лет жизни. Довольно. Хочу попытаться быть счастливой.

Бержере. Какие основания выставите вы на бракоразводном процессе?

Г-жа Бержере. Основания удовлетворительные.

Бержере. Если их все же сочтут недостаточными, предлагаю прийти вам на помощь.

Г-жа Бержере. Каким образом?

Бержере. Я разрешаю вам сослаться на вину с моей стороны, на вину, которой нет. Я не явлюсь в суд.

Г-жа Бержере. Хорошо.

Бержере. Можете оставаться тут в доме. Я уезжаю завтра утром в Париж, где намерен поселиться. Итак, оставайтесь здесь.

Г-жа Бержере. Хорошо.

Бержере. Я позабочусь, чтобы вы не испытывали слишком острых денежных затруднений.

Г-жа Бержере. До вынесения решения суд, конечно, оставит дочерей мне, а потом несомненно поручит мне заботы о них.

Бержере. Вы желаете оставить дочерей себе?

Г-жа Бержере. Да, желаю.

Бержере. Обоих?

Г-жа Бержере. Разумеется, обеих. А кому же, по-вашему, их отдать?

Бержере. Послушайте. Недавно, вот только что, мы на этом самом месте высказали друг другу немало ужасных истин. Ни тому, ни другому это не причинило страданий. Дело касалось только нас, и, по правде говоря, не ненависть друг друга и не желая друг другу зла, мы все же не нашли у себя в сердце ни капли взаимной привязанности. Мы безрадостно прожили бок о бок двадцать лет. И как ни прискорбно это констатировать, расстаемся навсегда без надрыва. Жизнь наша сложится по-разному. Вы не утратили вполне естественного желания быть счастливой. Вы не порвали с жизнью. А я уже ничего не жду от нее. Я погружусь в печаль и одиночество. Но я имею право, я обязан сохранить хоть что-нибудь от прошлого — дочерей. Это право вы в душе принуждены признать за мной. Я не вижу препятствий к тому, чтобы Жюльетта до своего брака оставалась с вами. А вот Полина...

Г-жа Бержере. Я оставлю Полину у себя. Да, сударь. По этому вопросу я не допускаю никаких споров. Обе мои дочери остаются со мной. Это — моя моральная защита, мое право.

Бержере. Ваше право! Но вы же знаете, на чем зиждется это право. Оно зиждется на моем великодушии. Подлинное право принадлежит мне.

Г-жа Бержере. Женщине, жене вы могли говорить что угодно. Мать — безупречна.

Бержере. Вы хотите, чтобы в наших спорах при творство и ложь всегда были на вашей стороне? Хорошо! Себе я оставляю откровенность. Я не скрою от вас: споря с вами за эту дочь, я не только выполняю свой долг, я защищаю свое счастье, и от этого счастья я не отступлюсь. Это счастье вы должны оставить мне. Для этого достаточно, чтобы вы были хоть в какой-то мере человечны. Во всех нас заложена основа человечности, которая проявляется, невзирая даже на самые ужасные резкости, обманы и подлости. Я предъявляю свои права на Полину. Было бы чудовищно, если бы вы мне в этом отказали.

Г-жа Бержере. Нет, у меня не хватит сил расстаться с детьми. Если вы полагаете, что право на вашей стороне, обращайтесь в суд.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Бержере, Евфимия.

Евфимия. Вы звали, барин?

Бержере (*составляет телеграмму*). «Срочная. Зое Бержере, Люзанс. Возвращайтесь втроем завтра семичасовым утренним. Встречу вокзале. Очень важно. Люсьен». Двадцать два плюс один пятьдесят за срочность, всего два франка шестьдесят. Евфимия, будьте добры, снесите на телеграф. Леду сейчас, верно, греется на солнышке, подпирая забор в саду. Пошлите его ко мне — помочь уложиться.

Евфимия. Вы уезжаете, барин?

Бержере. Уезжаю.

Евфимия. Хотите, я вам помогу?

Бержере. Очень хочу. Снесите телеграмму, а затем будем укладываться.

Евфимия поворачивается к нему спиной.

Что с вами?

Евфимия. Грустно стало.

Занавес

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

ТА ЖЕ ДЕКОРАЦИЯ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Леду, Евфимия, затем Бержере.

Евфимия (*к Леду*). Послушайте, лучше уж ничего не трогайте; все вы не так делаете.

Леду. Понимаете, я что-то ослаб. Не найдется ли у вас стаканчика винца, который плачет по хозяйну?

Евфимия. Нет, и без того много выпили.

Леду. Вы нелюбезны.

Евфимия. Незачем мне любезничать с вами.

Входит Бержере.

(*Шепчет*). Барин, отправьте его, он только мешается.

Бержере. Леду, голубчик, спасибо, и прощайте.

Леду. Ах, господин Бержере, взяли бы вы меня к себе в услужение. Довольно уж я мыкаюсь. На месте я бы успокоился.

Бержере. Заблуждаетесь, голубчик. В жизни никогда не успокоишься.

Леду. Мне бы больше ничего не надо; у вас в доме я берусь все делать. Право, попробуйте, я чувствую, что мы споемся.

Бержере. Не думаю, голубчик. Вот вам... (*Дает, ему деньги.*)

Леду. Ну, так я пойду... Господин Бержере (*протягивает ему руку*), хоть я разных там приятных слов говорить не умею, но это уж от всего сердца.

Бержере. Прощайте, голубчик.

Звонок. Евфимия бежит открывать.

Леду. Господин Бержере, не найдется ли у вас лишней папироски?

Бержере дает ему папиросу.

Спасибо, господин Бержере; выкурю за ваше здоровье.

Евфимия возвращается.

(*Евфимии.*) Не найдется ли у вас нескольких спичек?

Евфимия. Нет! Ступайте — кто-то пришел.

Леду уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Бержере, Евфимия, Ла Клаври.

Евфимия. Барин, вас там какой-то господин спрашивает.

Бержере. Кто такой?

Евфимия. Не знаю. Очень приличный господин. Не простой человек, а господин.

Бержере. Попросите войти.

Входит Ла Клаври.

Ла Клаври. Сударь, вы меня, вероятно, выставите за дверь, но мне надо поговорить с вами. Долго докучать вам я не буду. Уйду через две минуты. Я знаю, что я вам не нравлюсь, и достаточно от этого страдаю! Но умоляю вас выслушать меня. Дело идет о счастье или несчастье двух людей... один из этих людей вам дорог. Я люблю мадемуазель Жюльетту, и мадемуазель Жюльетта меня любит. Я просил у вас ее руки... Не отталкивайте меня... Я знаю, что у вас достаточно оснований не доверять мне. Еще совсем молодым я составил себе плохую репутацию, я кутил, пустился в авантюры. Теперь я отказался от своих про-

ектов, от всяких грандиозных планов и поступил в торговое предприятие на оклад в три тысячи франков... Любовь сделала меня благоразумным. Клянусь вам, господин Бержере, при всех своих недостатках, я человек не плохой.

Бержере. Будьте добры, сударь, дайте мне закончить сборы к отъезду.

Ла Клаври кланяется и уходит.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Бержере, Евфимия.

Евфимия вошла при последних словах Бержере.

Бержере. Евфимия, проводите господина.

Евфимия (*подходит к дверям и смотрит в сад*). Он уже ушел.

Бержере. Евфимия, вы уверены, что сдали телеграмму на телеграф?

Евфимия. А как же, барин? Ну, конечно, на телеграф! Служащему за решеткой, — он сосчитал слова, пришлепнул как следует своим инструментом, а потом взял с меня два франка шестьдесят... Конечно, на телеграф, а то куда же!

Бержере. Почему же ее не было на вокзале? Крушения бояться нечего, поезд прибыл при мне. Странно, что сестра не телеграфировала. Пожалуй, послать ей еще телеграмму... да. (*Пишет.*) «Срочная. Зое Бержере, Люзанс...»

Евфимия (*смотря в сад*). Барин, да вот и они!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, Полина, Жюльетта и Зоя, затем г-жа Бержере.

Бержере. Как? Вы приехали?

Жюльетта. Ну, да! Получили твою телеграмму только сегодня утром и не успели на первый поезд.

Полина. Здравствуй, папа.

Бержере. Ну, и отлично! Вид у вас прекрасный. Какие вы стали большие, дочки!

Жюльетта. Что ты, папа!

Полина. Это за три-то недели!

Бержере. Пока вас здесь не было, я представлял себе вас вот такими маленькими. Мне, отцу, кажется, что мои дети все еще в том возрасте, когда особенно нежно и заботливо их любишь, — что они еще совсем крохотные.

Входит Зоя.

Здравствуй, Зоя.

Зоя. Тебе всегда приходят в голову удачные мысли. Послал телеграмму, когда контора уже закрыта. Вот она и дошла до нас...

Бержере. Да, дети мне сказали...

Зоя. Ну, к чему такая спешка?

Бержере (*тихо Зое*). Сейчас скажу... (*Громко*). Я уезжаю в Париж. Меня назначили профессором в Сорбонну.

Полина. Папа, ведь это слава!

Бержере. Надеюсь, что это не будет даже известностью.

Зоя. Во всяком случае, это очень хорошо... Ты можешь быть доволен... Значит, ты уезжаешь?

Бержере. Увы, уезжаю, мои дорогие.

Полина. Как? Ты уезжаешь?

Г-жа Бержере (*входя*). Дети!

Жюльетта. Здравствуй, мама!

Полина. Здравствуй!

Г-жа Бержере. Здравствуй, Зоя.

Зоя. Здравствуй, Амелия.

Бержере (*Зое*). Пойдем поговорим.

Зоя и Бержере уходят в сад.

Г-жа Бержере (*детям*). Отец сказал вам?

Жюльетта. Да, мама.

Г-жа Бержере. Все решено! Он уезжает один и будет жить в Париже. Так лучше. Вы, мои милые, останетесь со мной.

Полина. И я тоже, мама?

Г-жа Бержере. Как, и я тоже? Что это значит, Полина?

Полина. Ничего, мама.

Г-жа Бержере. Я много перестрадала, дети; вы будете мне утешением.

Жюльетта. А Робер, мама?

Г-жа Бержере. Господин Ла Клаври? Если ты все еще его любишь, ты выйдешь за него замуж. Я не была счастлива, будь счастлива хоть ты... Уйдемте, чтобы не мешать отцу, он устроился теперь здесь. Через полчаса он уезжает. Вы зайдете попрощаться с ним немного погодя, ты, Жюльетта, первая, ведь тебе надо с ним поговорить.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Зоя, Бержере, затем Жюльетта.

Бержере и Зоя возвращаются из сада.

Бержере. Словом, она заявила мне, что подала прошение о разводе.

Зоя. Наконец-то ты освободился!

Бержере. И что оставляет детей при себе.

Зоя. Неужели?

Бержере. Не волнуйся! Жюльетта собирается замуж — пусть она и остается здесь. Это вполне удобно, но я ни на минуту не считал возможным оставить ей Полину. Она упорствует и будет упорствовать. Вчера я был уверен, что сломя ее упорство. Я провел бессонную ночь, — все придумывал, как это сделать. Я не придумал, и теперь очень волнуюсь... Эта женщина сильнее меня. Я сам, как человек порядочный, дал ей в руки оружие, которое она теперь обращает против меня. Женщина всегда сильнее мужчины в домашних делах. Зоя, Зоя, если я не смогу увести с собой Полину, возьми ее ты.

Зоя. Но этого нельзя, Люсьен. Это невозможно.

Бержере. Ну, если я не могу оставить ее на твоём попечении или увести с собой, я не уеду, вот и все.

Зоя. Как не уедешь?

Бержере. Карьера, Сорбонна, университет, декан, министр — все это не стоит мизинца моей дочки и имеет для меня меньше весу, чем волосок с ее головы.

Зоя. Успокойся, ты с ума сошел!

Бержере. Ты права, Зоя. Не знаю, каким образом я добьюсь своего, но добьюсь. Полина будет у меня, потому что должна быть у меня.

Жюльетта *(входя)*. Значит, папа, ты уезжаешь?

Бержере. Да, детка. А к какому решению пришла ты?

Жюльетта. Все к тому же.

Бержере. Жюльетта, я не очень-то верю в то счастье, о котором ты мечтаешь. Но я также не лыщу себя надеждой, что мои советы обеспечат тебе много радости в жизни! Мудрость отцов ограничена, и дети имеют право сами устраивать свое будущее. Как бы ты ни поступила, ты сама будешь ковать свое счастье. Если ты настаиваешь, я согласен.

Жюльетта. От всей души спасибо, папа. Я уверена, что буду счастлива.

Бержере. Всем сердцем желаю тебе этого, дорогая моя. Между прочим, я только что видел господина Ла Клаври.

Жюльетта. Где ты его видел?

Бержере. Здесь.

Жюльетта. Господи, что вы наговорили друг другу?

Бержере. Я его не съел... Я был слишком строг к нему. В сущности он мне даже нравится.

Жюльетта. Он придет еще?

Бержере. Нет!

Жюльетта. Ты не хочешь?..

Бержере. Когда я уеду. Возможно, я был тебе нужен, чтобы мешать вашим встречам. Я не нужен тебе, чтобы устраивать ваши встречи.

Полина *(входя)*. Жюльетта, мама зовет.

Жюльетта уходит.

Бержере. Дорогая моя девочка, я смотрю на тебя и вспоминаю то время, когда ты была совсем маленькой, когда я был товарищем твоих игр, твоих

прогулок, а потом вспоминаю наше совместное чтение, беседы... Около тебя я был счастлив. Я был эгоистом. Этот недостаток приходит вместе со старостью. Твоя радость давала радость мне. Теперь моя жизнь будет скрашена работой, но жизнь мне предстоит трудная, скромная, уединенная. Такая жизнь менее всего привлекательна для девушек, это — жизнь очень суровая, без роскоши, без развлечений. В больших городах люди маленькие становятся еще меньше, еще незаметнее. Ах, нет, может быть, не следует приобщать девочку к существованию замкнутому и мрачному.

Полина. Папа, ты меня не знаешь. В этом, конечно, я сама виновата, да, сама виновата, не сумела... Зачем же ты огорчаешь меня? Зачем? Хотя ты всегда был для твоей дочери...¹ я дичилась тебя. Я так сильно чувствовала твое превосходство, что не решалась говорить с тобой откровенно. Иногда мне очень хотелось постучать тебе в дверь и сказать: «Папа, не грусти. Ведь я с тобой! Я, правда, еще девочка, но я очень тебя люблю». А потом, ты сочтешь меня самонадеянной, но я думаю, что понимаю тебя лучше других! Когда ты излагаешь свои прекрасные мысли, мне кажется, что они жили во мне, но жили смутно, вернее, дремали, и что, когда ты говоришь, они просыпаются.

Бержере. Мои мысли? Это — марионетки, дочка, марионетки! Прощай, дочка моя дорогая.

Полина. Папа, мы не расстанемся. *(Зовет.)* Евфимия... Попросите сюда барыню.

Евфимия уходит.

Бержере. Что ты задумала, детка?

Полина. Не мешай мне, папа.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же, г-жа Бержере, Зоя, Жюльетта, затем Евфимия, студенты.

Полина *(2-же Бержере)*. Мама, умоляю тебя отпусти меня с папой. Я не думаю, чтобы я когда-либо причиняла тебе горе, по крайней мере созна-

¹ Пропуск в подлиннике.

тельно... Но, видишь ли, мама... Я уеду с ним, и ты согласишься, потому что ты добрая, потому что это нужно и потому что иначе быть не может. Я не хочу оставлять его одного; я не хочу расставаться с ним.

Г-жа Бержере. Я приношу эту жертву... Уезжай с отцом, девочка!

Бержере. Амелия! Эти добрые слова помогут забыть то, что было сказано раньше, и мы не станем ссориться на прощание. Итак, едем, девочка.

Зоя. О чем ты думаешь? Девочка не готова. Уезжай один. Я привезу ее тебе завтра в Париж. Господи! Что вы там стали бы делать одни, без меня.

Входит Евфимия.

Евфимия. Барин!.. Пришли молодые люди из университета проститься с вами.

Бержере. Просите!

Евфимия вводит студентов. Бержере здоровается с ними.

Первый студент. Дорогой учитель, мы пришли выразить вам наш почтительный и искренний прощальный привет; мы огорчены, что теряем вас, но радуемся при мысли, что сможем издали следить за вашими ценными лекциями, сможем слышать отзвук вашего голоса, который отныне будет звучать все громче.

Бержере. Благодарю вас, друзья мои. Я очень тронут. Вы знаете, что ваш старый учитель застенчив. Пусть же мое замешательство передаст вам и мое теплое чувство и мое огорчение. Помните, что я всегда старался учить вас только правде.

Второй студент. Мы тоже огорчены.

Первый студент. И восхищаемся вами.

Бержере. Нет, не восхищайтесь! Восхищение недолговечно, лучше сразу от него отказаться. Но любите меня немножко.

Приветствия. Студенты уходят.

Зоя. Ты опоздаешь на поезд! Пора на вокзал. Где шляпы!

Суматоха перед отъездом.

Бержере. Прощай, Амелия!
Г-жа Бержере. Прощай, Люсьен!
Полина. До скорого свидания, мама.

Зоя, Полина и Бержере уходят.

Жюльетта. Мама, ты бы послала записочку моему жениху, чтобы он пришел сегодня к обеду...

Г-жа Бержере. Не сегодня, девочка! Завтра, когда уедет сестра.

Жюльетта уходит. Входит Евфимия

Евфимия! Позовите столяра, пусть снимет полки, эта комната опять будет столовой. У нас завтра к обеду гости.

Занавес

**Комедия о человеке,
который женился
на немой**

Комедия в двух действиях

Utinam aut hic surdus, aut haec muta facta fit! ¹

Теренций, «Девушка с Андроса», — слова Дава.

*Госпоже Кальман-Леви * в знак уважения
и сердечной привязанности*

А. Ф.

¹ Ах, чтоб ему оглохнуть или этой онеметь совсем! * (*лат.*).

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Леонар Боталь, судья
Адам Фюме, адвокат
Симон Коллин, врач
Жан Можье, хирург-цирюльник
Серафим Дюлорье, аптекарь
Жиль Буакуртье, секретарь Леонара Боталя
Слепой, играющий на волынке
Катрина, жена Леонара Боталя
Ализон, служанка Леонара Боталя
Мадемуазель де ля Гарандьер

Действие происходит в Париже. Зал в нижнем этаже дома г-на Леонара Боталья. Слева выход на улицу Дофина; когда дверь открывается, виден Новый мост. Направо дверь в кухню. В глубине сцены деревянная лестница, ведущая в комнаты верхнего этажа. На стенах висят портреты судейских в мантиях. Вдоль стен возвышаются большие шкафы, битком набитые стопками и связками бумаг, книгами, свитками пергамента. Тут же стремянка на колесиках, с которой можно дотянуться до верхних полок. Письменный стол, стулья, мягкие кресла, прятка.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Жиль Буакуртье, потом мэтр Адам Фюме и
г-н Леонар Боталь.

Жиль Буакуртье, зевая, что-то строчит, когда входит служанка Ализон, держа в обеих руках по большой корзине. Едва завидя Ализон, Жиль бросается к ней.

Ализон. Святая дева, можно ли кидаться на людей, как дикий зверь, да еще в зале, куда каждую минуту могут войти?

Жиль *(вытаскивая из корзины бутылку вина)*. Ну, ну, не пищи, глупая пичужка! Никто и не собирается тебя ошипывать. Труда не стоит!

Ализон. Сейчас же оставь вино господина судьи, разбойник!

Она ставит корзину на пол, отнимает у секретаря бутылку, дает ему пощечину, снова хватается за свои корзины и исчезает в кухне; через полуоткрытую дверь виден очаг. Входит Адам Фюме.

Мэтр Адам. Не здесь ли проживает господин Леонар Боталь, судья по делам гражданским и уголовным?

Жиль. Здесь, сударь, и перед вами его секретарь, Жиль Буакуртье. Чем могу вам служить?

Мэтр Адам. Вот что, любезный: ступай доложи господину Боталю, что к нему пришел по делу его бывший однокашник мэтр Адам Фюме, адвокат.

С улицы доносится голос торговца, который нараспев кричит:
«Кому проса, проса для птичек?»

Жиль. Да вот, сударь, он сам.

Леонар Боталь спускается по внутренней лестнице. Жиль удаляется в кухню.

Мэтр Адам. Привет вам, господин Леонар Боталь! Очень рад снова увидиться с вами.

Леонар. Здравствуйте, мэтр Адам Фюме! Давненько не имел удовольствия вас видеть. Какживаете!

Мэтр Адам. Отлично! Надеюсь, и вы также, господин судья?

Леонар. Каким благоприятным ветром вас занесло к нам, мэтр Адам Фюме?

Мэтр Адам. Я приехал нарочно из Шартра, чтобы вручить вам данные по делу одной юной сиротки...

Леонар. А помните ли вы, мэтр Адам Фюме, о тех временах, когда мы с вами изучали право в Орлеанском университете?

Мэтр Адам. Да... Мы играли на флейте, устраивали пирушки с дамами и плясали себе с утра до вечера... Я приехал, господин судья и дорогой однокашник, чтобы вручить вам данные в защиту одной юной сиротки, дело которой ныне подлежит вашему рассмотрению.

Леонар. А благодарность от нее будет?

Мэтр Адам. Это юная сиротка...

Леонар. Понимаю. Но благодарность будет?

Мэтр Адам. Это юная сиротка, которую так обобрал опекун, что у нее остались только глаза, чтобы плакать. Выиграв же процесс, она снова разбогатеет и даст вам ощутимые доказательства своей признательности.

Леонар (*беря бумаги, которые ему протягивает мэтр Адам*). Мы рассмотрим ее дело.

Мэтр Адам. Благодарю вас, господин судья и дорогой однокашник.

Леонар. Мы рассмотрим это дело без малейшего пристрастия.

Мэтр Адам. Об этом и говорить не приходится... А теперь расскажите, как вам живется, все ли ладится? У вас что-то расстроенный вид. Между тем ведь должность у вас хорошая?

Леонар. Я заплатил за нее как за хорошую и ничуть не ошибся.

Мэтр Адам. Может быть, вам наскучило жить в одиночестве? Не собираетесь ли жениться?

Леонар. Как, мэтр Адам! Вы разве не знаете, что недавно я стал женатым человеком? С месяца тому назад я женился на молодой провинциалке, красивой и из хорошей семьи, на Катрине Момишель, седьмой дочери помощника уголовного судьи в Саланси. К сожалению, она — немая. Вот в чем горе!

Мэтр Адам. Ваша жена — немая?

Леонар. Увы!

Мэтр Адам. Совершенно немая?

Леонар. Как рыба.

Мэтр Адам. И вы не заметили этого до женитьбы?

Леонар. Как не заметить! Но тогда это обстоятельство меня мало заботило. Я видел, что Катрина хороша собой, что она состоятельна, и помышлял лишь о выгодах, которые мне сулил этот брак, и об удовольствии иметь красавицу жену. Однако теперь эти соображения не имеют уже для меня такой силы, и мне хочется только, чтобы она умела говорить: и

для меня самого было бы это приятно и принесло бы пользу моим делам. Ведь что прежде всего требуется для дома судьи? Обходительная жена, которая бы любезно принимала тяжущихся и тонкими намеками наводила их на мысль делать судье подношения, чтобы он с большим рвением изучал их дела. Ибо люди дают только тогда, когда их к этому подтолкнешь. Женщина, ловкая на язык и оборотистая, выудит у того окорок, у другого — кусок сукна, третий, глядишь, принесет вам вино или какую-нибудь птицу. Но моей бедняжке, немой Катрине, никогда ничего не урвать! И вот у моих собратьев кухня, кладовая, конюшня и амбар стараниями их жен. ломятся от всякого добра, а я получаю столько, что едва хватает прокормиться. Видите, мэтр Адам, какой убыток я терплю из-за того, что жена у меня немая! Теряю больше половины доходов... А самое скверное, что я от этого впадаю в меланхолию и хожу как потерянный.

Мэтр Адам. У вас нет оснований так унывать, господин судья! Хорошенько поразмыслив, в вашем положении можно найти даже преимущества, и довольно существенные.

Леонар. Ох, мэтр Адам, вы не представляете, что это такое! Держа в объятиях жену, сложенную, как самая дивная статуя — по крайней мере мне так кажется, — но молчаливую тоже, как статуя, я испытываю странное и тревожное чувство. Я дохожу до того, что начинаю себя спрашивать — уж не имею ли я дело с идолом, с автоматом, с волшебной куклой, с механизмом, созданным искусством какого-то чародея, а не с твореньем господа бога, и по утрам я иногда готов соскочить с постели и бежать куда глаза глядят от этого наваждения...

Мэтр Адам. Что за фантазии! Надо же придумать!

Леонар. Это еще не все. Живя с немой, я и сам становлюсь немым. Подчас я ловлю себя на том, что начинаю объясняться, как она, — знаками. На днях в суде мне случилось вынести приговор, но

произнося ни слова и осудить человека на каторгу при помощи одних только жестов в мимики.

Мэтр Адам. Нечего и говорить. Совершенно ясно, что немая жена — плохой собеседник. Пропадает всякая охота разговаривать, если не получаешь никогда ответа.

Леонар. Теперь вы знаете причину моей грусти.

Мэтр Адам. Не хочу с вами спорить, ибо нахожу причину эту вполне серьезной и уважительной. Но, быть может, существует средство бороться с этим несчастьем? Скажите: ваша жена и глухая тоже?

Леонар. Катрина не более глуха, чем мы с вами; даже менее, если можно так сказать; она услышала бы, как растет трава.

Мэтр Адам. В таком случае нельзя терять надежды. Ученые медики, аптекари и хирурги даже глухонемого заставляют говорить, но говорить так же невнятно, как он слышит: ведь до него не доносится ни то, что ему говорят другие, ни то, что он говорит сам. Иначе обстоит дело с немыми, обладающими слухом. Развязать им язык — для медика суший пустяк. Операция эта стоит так дешево, что ее делают ежедневно даже щенкам, если они долго не начинают лаять. Неужели же такому провинциалу, как я, нужно было сообщить вам, что знаменитый врач Симон Коллин, проживающий в двух шагах от вас, у перекрестка Бюси, в доме с драконом, славится именно тем, что удачно подрезает подъязычную жилку парижским дамам? Он в один миг исторгнет из уст вашей супруги звонкий поток приятных речей, подобно тому как, повернув кран, выпускают на волю нежно лепечущую струйку.

Леонар. Вы говорите правду, мэтр Адам? Вы не морочите меня? Не витийствуете вы, как на суде?

Мэтр Адам. Я беседую с вами как друг и говорю вам чистую правду.

Леонар. Так я приглашу этого знаменитого врача к себе. И не мешкая ни минуты.

Мэтр Адам. Как вам угодно! Но, прежде чем приглашать его, надо основательно взвесить, стоит ли

это делать. Ибо, здраво рассуждая, если немая жена приносит некоторые неудобства, у нее есть зато и свои преимущества. До свиданья, господин судья и мой однокашник! Считайте меня своим другом и ознакомьтесь, прошу вас, с моим делом. Если вы вынесете решение в пользу юной сиротки, ограбленной жадным опекуном, вам не придется нисколько жалеть об этом.

Леонар. Загляните в ближайшие дни, мэтр Адам Фюме. Я подготовлю приговор по вашему делу.

Мэтр Адам уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Леонар, потом Жиль, потом Катрина.

Леонар (*зовет*). Жиль! Жиль!.. Мошенник не слышит меня: он в кухне, готов, по своему обычаю, опрокинуть и горшки и служанку. Это страшный обжора и распутник. Жиль!.. Жиль!.. Негодяй! Балбес!

Жиль. Я здесь, господин судья.

Леонар. Отправляйся, голубчик, к знаменитому врачу мэтру Симону Коллину, что живет у перекрестка Бюси в доме с драконом. Попроси его тотчас же прийти сюда, ко мне, чтобы оказать помощь немой женщине.

Жиль. Слушаюсь, господин судья.

Леонар. Беги прямо к нему, да смотри не сворачивай на Новый мост поглазеть на фигляров. Ведь я знаю тебя: ты гуляка и плут, каких свет не видывал!

Жиль. Плохо же вы обо мне думаете, сударь...

Леонар. Ну, ступай и приведи сюда этого знаменитого врача.

Жиль. Слушаюсь, господин судья.

Леонар (*сидя за столом, покрытым кипами судебных бумаг*). Нынче мне предстоит подготовить четырнадцать приговоров, не считая решения по делу питомицы мэтра Адама. А это — немалый труд. Приговор не делает чести судье, если он не достаточно складно, искусно составлен, если он не блещет приятными изгибами мыслей и красотами стиля. В нем идеи должны

улыбаться, а слова — играть! Где же и проявить свое остроумие, как не в приговоре?

Катрина, спустившись по внутренней лестнице, садится за прятку, совсем близко к столу. Она улыбается мужу и готовится прятать. Леонар прерывает свое писание.

Добрый день, любовь моя... Я даже не слышал, как вы подошли. Вы подобны сказочным виденьям, плывущим по воздуху, или снам, что посылают боги, по словам поэтов, счастливым смертным.

Слышится голос проходящего по улице крестьянина: «А вот свежий кресс-салат, нет полезнее для здоровья. Шесть лиаров пучок! Шесть лиаров пучок!»

О любовь моя! Вы — чудо природы, вы преисполнены всех совершенств. Вам недостает только речи. Разве вам не хотелось бы научиться говорить? Разве вы не были бы счастливы, если б могли выражать своими устами все прелестные мысли, которые угадываешь по вашим глазам? Разве не было бы вам приятно проявить свой ум? Не доставило бы вам удовольствия сказать мужу, что вы его любите, назвать его своим сокровищем, душкой? Конечно, да!..

Слышен голос торговца, проходящего по улице: «А вот свечи, свечи! Светят ярче любой звезды!»

Так вот, сообщу вам, дорогая, хорошую новость: сейчас придет сюда ученый медик, который вас наделит даром речи...

Катрина знаками показывает удовольствие.

Он вам развяжет язык, не причиняя ни малейшей боли,

Катрина выражает свою радость и нетерпение грациозными движениями рук и ног. Слышен голос слепого, который, проходя по улице, поет под звуки волынки песенку.

В речке рыбка играет,
Блестит вода...
В речке рыбка играет.
Кто же рыбку поймает,
Когда?..
Вот красotka младая
Идет сюда...
Любить обещает,
Рыбку поймает
В свои невода...

Слепой произносит заунывным голосом: «Подайте, Христа ради, милостивые господа и дамы...» Затем он появляется на пороге, продолжая петь:

В летнюю ночь
Будем гулять,
Мельника дочку
Звать, поджидать,
Ой, поджидать!
Девка что надо,
Мельника дочь,
Плясать до упаду
Будет всю ночь,
С нами плясать всю ночь.

Катрина принимается танцевать вместе со слепым. Слепой снова поет:

Ой, плясать до упаду
Будем всю ночь,
Всю ночь.

Слепой прерывает игру и танец и произносит жутким, замогильным голосом: «Подайте, Христа ради, милостивые господа и дамы».

Леонар (*который ничего не видел, погруженный в свои бумаги, прогоняет слепого*). Негодяй, бездельник, бродяга! (*Он швыряет ему в голову связки судебных бумаг. Затем он обращается к Катрине, которая снова уселась за прялку.*) Дорогая. С тех пор как вы спустились ко мне, я не терял времени даром: четырнадцать мужчин и шесть женщин я присудил к позорному столбу, а семнадцать человек получили от меня в общей сложности... (*считает*) шесть... двадцать четыре... тридцать два... сорок четыре... сорок семь да девять — пятьдесят шесть, да еще одиннадцать, будет шестьдесят семь, да десять — семьдесят семь, да восемь — восемьдесят пять, да еще двадцать, будет сто пять, — сто пять лет каторги. Не дает ли это представления о высокой власти, которую облечен судья, и могу ли я не испытывать посему некоторой гордости?

Катрина перестает пряхать; она облакачивается на стол и с улыбкой взирает на мужа. Потом она садится прямо на судебные бумаги, которыми покрыт стол. Леонар делает вид, что хочет вытянуть их из-под нее.

Любимая! Вы укрываете от правосудия больших преступников — воров, убийц. Отныне я отказываюсь их преследовать: это убежище священно.

За сценой слышится крик трубочиста: «Следите за дымоходами, молодые хозяйки! Прочищайте их сверху донизу!» Леонар и Катрина обнимаются и целуются, сидя на столе. Но, увидя входящих ученых-медиков, Катрина убегает по внутренней лестнице наверх.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Леонар, Жиль, Симон Коллин, Серафим Дюлорье, потом Жан Можье, потом Ализон.

Жиль. Господин судья, тот великий врач, за которым вы посылали, уже пришел.

Мэтр Симон. Да, перед вами мэтр Симон Коллин. А это — мэтр Жан Можье, хирург. Вам требуются наши услуги?

Леонар. Да, сударь, я хотел бы, чтобы вы даровали способность речи одной немой женщине.

Мэтр Симон. Отлично. Мы поджидаем мэтра Серафима Дюлорье, аптекаря. Как только он придет, мы произведем операцию сообразно нашему знанию и пониманию.

Леонар. Так... А разве для того, чтобы немая заговорила, нужен непременно аптекарь?

Мэтр Симон. Да, сударь, и тот, кто сомневается в этом, не имеет ни малейшего понятия о тесной связи и зависимости друг от друга наших органов. Мэтр Серафим Дюлорье должен незамедлительно прибыть сюда.

Мэтр Жан Можье (*начинает внезапно орать громоподобным голосом*). О! Сколь великую благодарность надо питать к таким ученым мужам, как мэтр Симон Коллин, кои трудятся, чтобы сохранить нам здоровье, и врачуют нас от недугов. О! Сколь достойны похвал и благословений сии славные представители медицины, сочетающие в своей практике знание законов природы с долголетним опытом.

Мэтр Симон (*с легким поклоном*). Вы чересчур любезны, мэтр Жан Можье.

Леонар. В ожидании аптекаря не желаете ли, господа, выпить по стакану вина?

Мэтр Симон. Охотно.

Мэтр Жан. С удовольствием.

Леонар. Итак, мэтр Симон Коллин, вы произведете небольшую операцию, и моя жена заговорит?

Мэтр Симон. Точнее сказать, я буду руководить операцией. Я даю указания, а мэтр Жан Можье исполняет... Инструменты при вас, мэтр Жан?

Мэтр Жан. При мне. *(Он показывает пилу в три фута длиною с зубцами в два дюйма, ножи, щипцы, ножницы, шило, коловорот, огромный бурав и т. д.)*

Входит Ализон с вином.

Леонар. Надеюсь, господа, вы не собираетесь пускать все это в ход?

Мэтр Симон. Идя к больному, надо быть во всеоружии.

Леонар. Прошу выпить, господа.

Мэтр Симон. Винцо недурное.

Леонар. Вы слишком снисходительны. Оно из моих виноградников.

Мэтр Симон. Не пришлете ли мне бочоночек?

Леонар *(Жилу, который наливает себе красного до краев)*. Тебя, шельма, я ведь, кажется, не угощал!

Мэтр Жан *(глядя в окно на улицу)*. Вот и мэтр Серафим Дюлорье, аптекарь!

Входит мэтр Серафим.

Мэтр Симон. А вот и ослик его!.. Ах, нет, это мэтр Серафим Дюлорье, он сам. Постоянно путаешь. Откушайте вина, мэтр Серафим. Оно только сейчас из погреба.

Мэтр Серафим. За ваше здоровье, уважаемые коллеги!

Мэтр Симон *(обращаясь к Ализон)*. Налейте, красавица! Наливайте направо и налево, лейте туда, лейте сюда. Она каким боком ни повернется, открывает взору богатейшие прелести. Верно, вы, доченька, очень горды своим прекрасным сложением?

Ализон. Тут гордиться мне не приходится, я от этого получаю немного выгоды. Женские прелести ничего не дают, если они не покрыты парчой и шелком.

Мэтр Серафим. За ваше здоровье, уважаемые коллеги!

Ализон. Позабавиться с нами любят, но даром, во имя господа.

Все пьют, заставляя выпить и Ализон.

Мэтр Симон. Теперь, когда мы в полном сборе, можно подняться к больной.

Леонар. Я проведу вас к ней, господа. *(Поднимается по внутренней лестнице.)*

Мэтр Симон. Проходите, мэтр Можье, окажите честь.

Мэтр Можье. Прохожу, хотя знаю, что для меня много чести даже идти последним.

Мэтр Симон. Проходите, мэтр Серафим Дюлорье.

Мэтр Серафим поднимается по лестнице с бутылкой в руке.

Мэтр Симон *(запихнув в каждый карман своей мантии по бутылке и обнимая служанку Ализон, всходит по ступенькам, напевая).*

Вина, вина, вина, друзья!
Уйти не выпивши нельзя.
Ведь это значит быть глупцами —
Расстаться без вина с друзьями.

Ализон, наградив пощечиной Жилия, который пытался ее поцеловать, поднимается последней. Слышно, как все хором подхватывают:

Вина, вина, вина, друзья!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Леонар, мэтр Адам.

Мэтр Адам. Добрый вечер, господин судья. Как вы поживаете?

Леонар. Недурно. А вы?

Мэтр Адам. Как нельзя лучше. Извините меня за назойливость, господин судья и дорогой однокашник. Вы ознакомились с делом моей питомицы, ограбленной опекуном?

Леонар. Еще нет, мэтр Адам Фюме... Но что такое вы сказали? Вы ограбили вашу питомицу?..

Мэтр Адам. Ничего подобного, сударь. Я говорю «моя питомица» из чистой дружбы. Я вовсе не ее опекун, избави бог! Я ее адвокат. А если она вернет свое состояние, весьма немалое, я женюсь на ней. Я проявил даже такую предусмотрительность, что заранее влюбил ее в себя. Вот почему я буду вам крайне признателен, если вы рассмотрите ее дело как можно скорее. Для этого вам достаточно прочитать врученные вам бумаги: там имеется все, что вам надо знать.

Леонар. Ваше дело, мэтр Адам, лежит здесь, у меня на столе. Я бы уже давно ознакомился с ним,

когда б меня не отвлекали другие дела и заботы. Я принимал у себя цвет медицинской науки, и вся эта суматоха была поднята из-за вашего совета.

Мэтр Адам. Что вы хотите сказать?

Леонар. Я пригласил к себе знаменитого медика, о котором вы мне говорили, мэтра Симона Коллина. Он пришел с хирургом и аптекарем; освидетельствовал Катрину, мою жену, с головы до ног, желая увериться, что она — немая. Затем хирург подрезал моей дорогой Катрине жилку, аптекарь дал ей лекарства — и она заговорила.

Мэтр Адам. Она заговорила? И для этого ей нужно было принять лекарство?

Леонар. Ну да, потому что все наши органы связаны между собой.

Мэтр Адам. Ах, так... В конце концов самое существенное — это то, что она заговорила. Что же она сказала?

Леонар. Она сказала: «Принесите мне зеркало!» И, видя, что я очень взволнован, она прибавила: «Мои котик, вы подарите мне ко дню рождения атласное платье и чепец, отделанный бархатом?»

Мэтр Адам. И она продолжала говорить?

Леонар. С тех пор говорит не переставая.

Мэтр Адам. И вы не благодарите меня за совет, который я вам дал, не благодарите меня за то, что я указал вам на этого великого медика? Разве вы не обрадовались, услышав, что ваша супруга стала говорить?

Леонар. О да! Я благодарю вас от всего сердца, мэтр Адам Фюме; разумеется, я очень обрадовался, когда услышал, что моя жена говорит.

Мэтр Адам. Нет! Не видно, чтобы вы испытывали такое удовлетворение, какого следовало ожидать. Вы о чем-то умалчиваете, вас что-то огорчает.

Леонар. Откуда вы это взяли?

Мэтр Адам. Вижу по лицу... Чем же вы недовольны? Или ваша супруга говорит недостаточно хорошо?

Леонар. Она говорит хорошо и много. Если так

будет продолжаться, то, признаюсь вам, эти словоизлияния причинят мне большое беспокойство.

Мэтр Адам. Я это отчасти предвидел, господин судья. Но не надо так быстро отчаиваться. Быть может, этот словесный поток ослабеет. Ведь это бурлит источник, внезапно выпущенный на свободу... Всего доброго, господин судья! Так не забудьте: мою питомицу зовут Эрмелина де ля Гарандьер. Решайте в ее пользу, и вы увидите, что мы вас не обидим. Сегодня вечером я снова зайду.

Леонар. Мэтр Адам Фюме, я приступлю к изучению вашего дела безотлагательно.

Адам Фюме уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Леонар, потом Катрина.

Леонар (*читает*). Памятная запись о деле девицы Эрмелины-Гиацинты-Марты де ля Гарандьер.

Катрина (*вошла, чтобы сесть за прялку, она навливается возле стола. С большой словоохотливостью*). Что вы делаете здесь, мой друг? Вы, кажется, заняты? Вы много работаете. Не боитесь, что это будет вам вредно? Надо когда-нибудь и отдохнуть. Но вы не отвечаете — что вы делаете здесь, мой друг?

Леонар. Дорогая, я...

Катрина. Разве это уж такая большая тайна и я не должна ее знать?

Леонар. Дорогая, я...

Катрина. Если это тайна, то не говорите.

Леонар. Вы же не даете времени вам ответить. Я изучаю одно дело и готовлюсь вынести по нему решение.

Катрина. Вынести решение — это ведь очень важно.

Леонар. Безусловно. От этого зависит не только честь, свобода, но иной раз даже жизнь человека. Кроме того, судья здесь имеет возможность показать глубину своего ума и изящество языка.

Катрина. Так изучайте же, мой друг, ваше дело и готовьте решение. Я больше не скажу ни словечка.

Леонар. Прекрасно... «Девушка Эрмелина-Гиацинта-Марта де ля Гарандьер...»

Катрина. Мой друг, что, по-вашему, будет мне больше к лицу: платье из узорчатой шелковой ткани или же костюм а ля тюрк, весь из бархата?

Леонар. Не знаю, я...

Катрина. Мне кажется, атлас с цветами подошел бы лучше к моему возрасту — светлый атлас с мелкими-мелкими цветочками...

Леонар. Возможно! Но...

Катрина. А вам не кажется, мой друг, что носить чрезмерно широкие фижмы как-то непристойно? Разумеется, юбка должна быть пышной, иначе выглядишь не вполне одетой; экономить на материи для юбки никак нельзя. Но разве, мой друг, было бы вам приятно, если б я могла спрятать у себя под юбкой двух любовников? Эта мода пройдет; в один прекрасный день от нее откажутся светские дамы, а их примеру последуют и все остальные. Как вы полагаете?

Леонар. Да! Но...

Катрина. Вот туфли — другое дело, об их фасоне надо особенно заботиться. Ведь о женщине судят по ее ножке, и элегантную даму узнаешь сразу по обуви. Вы согласны со мной, мой друг?

Леонар. Согласен, но...

Катрина. Ну, пишите ваше решение. Больше я не скажу ни словечка.

Леонар. Вот и хорошо. *(Читает и делает заметки.)* Итак, опекун вышеназванной девушки Гугон Томасэн сеньор Пьеделу похитил у названной девушки ее...

Катрина. Мой друг, если верить жене председателя Монбадона, высшее общество очень испорчено, оно идет к своей неминуемой гибели; нынче молодые люди предпочитают честному браку связи с богатыми старухами, а порядочные девушки остаются меж тем без мужей. Разве это мыслимо? Отвечайте же мне, мой друг!

Леонар. Будьте добры, дружочек, минутку помолчать или идите говорить куда-нибудь в другое место. Не могу сосредоточиться.

Катрина. Успокойтесь, мой дорогой; я больше не скажу ни словечка.

Леонар. Отлично. *(Пишет.)* «Вышеозначенный сеньор Пьеделу, как в луговом покосе, так и в оборе яблоч...»

Катрина. Мой друг, сегодня на ужин у нас будет крошево из баранины с остатками гуся, что принес кто-то из просителей. Скажите, этого довольно, больше вам ничего не хочется? Я терпеть не могу скаредность и люблю, чтобы за столом всего было вдоволь, но что за прок подавать блюда, которые уносятся обратно даже нетронутыми? Жизнь ужасно подорожала. Куда ни пойдешь — на рынок за птицей или за зеленью, в мясную, либо фруктовую лавку — все так поднялось в цене, что скоро будет выгоднее брать еду у трактирщика.

Леонар. Умоляю вас... *(Пишет.)* «Сирота от рождения...»

Катрина. И до этого дойдет, вы увидите. Ведь каплун, куропатка, заяц, уже пропшигованные и жаренные, стоят дешевле, чем если их купить живыми на рынке. Это объясняется тем, что рестораторы, забирая оптом, получают их по более низким ценам и могут выгодно перепродавать. Я не хочу этим сказать, что надо брать из кухмистерской то, что ешь каждый день. Конечно, что-нибудь для себя сварить приятно дома. Но если вы хотите хорошенько угостить друзей, если вы даете званный обед, то дешевле и проще все заказать на стороне. Но пройдет и часа, как трактирщики и пирожники состряпают вам обед на двенадцать, на двадцать, на пятьдесят человек: повара жарят мясо и птицу, приготовят заливные, соусы и приправы, кондитер испечет пироги и торты, позаботится о закуске и десерте. Очень удобно. Разве вы, Леонар, не согласны со мной!

Леонар. Пощадите!

Катрина. И не удивительно, что все дорожает. Роскошь стола становится с каждым днем все более

вызывающей. Чтобы угостить родственника или приятеля, уже не довольствуются тремя блюдами — супом, жарким и фруктами. Желают иметь мясо, приготовленное на пять-шесть ладов, с таким количеством всевозможных соусов, приправ и печений, что получается какая-то дикая смесь. Вы не считаете, мой друг, это уже излишеством? Я так просто не понимаю, какое удовольствие люди находят в том, чтобы до такой степени пичкать себя всякой едой? Это вовсе не значит, что я презираю вкусные кушанья, я даже лакомка. По-моему, пусть будет еды немного, но она должна быть тонкой. Я, например, равнодушна к петушиным почкам и к доньшкам артишока. А вы, Леонар, кажется, питаете слабость к рубцам и кровяной колбасе? Фи! Как можно любить такую гадость!

Леонар (*хватаясь руками за голову*). Я сойду с ума! Я чувствую, что сойду с ума!

Катрина. Мой друг, я больше не скажу ни слова, потому что разговорами я могу помешать вашей работе.

Леонар. О, если бы вы делали то, что говорите!

Катрина. Я рта не открою.

Леонар. Чудесно.

Катрина. Видите, мой друг, я ничего больше не говорю.

Леонар. Да.

Катрина. Я вам даю совершенно спокойно работать.

Леонар. Да.

Катрина. И мирно сочинять ваше решение. Оно будет скоро готово?

Леонар. Оно никогда не будет готово, если вы не замолчите. (*Пишет.*) «Итак, сто двадцать ливров дохода, которые сей недостойный опекун похитил у бедной сиротки...»

Катрина. Послушайте! Тсс! Послушайте! Кажется, кричат «пожар»? Мне показалось, что кричат... Но возможно, что я ошиблась. Есть ли на свете что-либо ужаснее пожара? Ведь огонь еще страшней, чем вода. В прошлом году я видела, как горели дома на мосту Менял. Сколько смятения! Какие убытки! Люди

кидали свои пожитки прямо в реку и выбрасывались сами из окон. Они не сознавали, что делают: страх лишил их рассудка.

Леонар. Господи, смилуйся надо мной!

Катрина. Почему вы, мой друг, застонали? Скажите, что вас беспокоит.

Леонар. Больше вынести не могу!

Катрина. Отдохните, Леонар. Не надо так утомлять себя. Это неблагоприятно, и вы напрасно...

Леонар. Замолчите ли вы когда-нибудь?

Катрина. Не сердитесь, мой друг. Я больше ничего не скажу.

Леонар. Дай-то бог!

Катрина (*глядя в окно*). О! Сюда приближается госпожа де ля Брюин, жена прокурора... На ней чепец, расшитый шелком, и широкое манто мышиного цвета поверх парчового платья. За ней по пятам идет лакей — тощий, как селедка. Леонар, она глядит в нашу сторону: верно, идет к нам в гости. Подвиньте скорее кресла, чтобы ее принять: надо встречать людей в соответствии с их званием и положением. Она вот-вот остановится у нашей двери. Нет, проходит мимо; прошла. Может быть, я ошиблась? Может быть, то была не она? Ведь людей не всегда узнаешь. Но если и не она, то какая-то дама на нее похожая, очень даже похожая. Нет, как подумаю, вижу, что это несомненно была она; во всем Париже не сыскать женщины до такой степени схожей с госпожой де ля Брюин. Мой друг... мой друг... вы были бы рады, если бы госпожа де ля Брюин посетила нас? (*Садится на стол.*) Какое счастье, что вы не женились на ней; ведь вы так не любите болтливых женщин! Она стрекочет, как сорока; с утра до вечера только и делает что болтает. Что за трещотка! И она рассказывает порой такие истории, которые вовсе не делают ей чести.

Выведенный из терпения, Леонар поднимается с письменными принадлежностями на раздвижную стремянку, усаживается на средней ступеньке и пытается там писать.

Прежде всего она перечисляет все подношения, которые получил ее муж. Прямо слушать тошно!

(Катрина поднимается с другой стороны на стремянку и садится против Леонара). Что нам за дело до того, сколько прокурор де ля Брюин получил дичи, муки, рыбы или голов сахара? Однако госпожа де ля Брюин остерегается рассказывать, как однажды ее мужу преподнесли большой амьенский пирог и как, разрезав его, он нашел в нем только пару огромных рогов.

Леонар. У меня голова раскалывается на части! (Он спасается со своими письменными принадлежностями и бумагами на шкафу.)

Катрина (на самом верху лестницы). Видали вы эту прокуроршу? Ведь в конце концов она только жена прокурора. А она носит вышитый чепец, как принцесса. Вы не находите, что это смешно? Впрочем, в наше время все, и мужчины и женщины, стараются одеваться лучше, чем полагается по их званию. Молодые судейские клерки, желая сойти за дворян, носят золотые цепочки и всякие побрякушки, шляпы с перьями; и, несмотря на это, сразу видно, кто они такие.

Леонар (на шкафу). Я дошел до того, что не отвечаю больше за себя, я чувствую, что способен на преступление. (Зовет.) Жиль! Жиль! Жиль! Шалопай! Жиль! Ализон! Жиль! Жиль!

Входит Жиль.

Беги скорей к знаменитому врачу с перекрестка Бюси, к мэтру Симону Коллину, и скажи, чтобы он тотчас же пришел сюда — по делу, мол, совсем другому, но еще более важному и спешному, чем первое.

Жиль. Слушаюсь, господин судья. (Уходит.)

Катрина. Что с вами, мой друг? Вы, кажется, сильно разгорячились. Может быть, это из-за духоты, да?.. Не восточный ли ветер вам повредил, как вы думаете? Или рыба, которую вы скушали за обедом?

Леонар (проявляя на шкафу признаки бешенства). Non omnia passum omnes¹. Кому что положено: швейцарцам — пить да бражничать, торгашам — мерить ленты, монахам — попрошайничать, птицам —

¹ Не всякий все может (лат.).

гадить где попало, а женщинам — без умолку тараторить. О, как я раскаиваюсь, глупая болтушка, что велел подрезать тебе жилку! Но будь спокойна, этот великий медик скоро сделает тебя еще более немой, чем ты была раньше.

Он хватает нагроможденные на шкафу, где он приютился, связки судебных бумаг и швыряет их охапками в голову Катрины, которая проворно сбегает со стремянки и, вне себя от ужаса, спасается по внутренней лестнице наверх с криками: «На помощь! Убивают! Муж сошел с ума! На помощь!»

Ализон! Ализон!

Входит Ализон.

Ализон. Что тут творится? Вы, сударь, стали убийцей?

Леонар. Идите, Ализон, за ней, будьте возле нее и не давайте ей спускаться вниз. Ализон, заклинаю вас жизнью вашей, не давайте ей спускаться! Если я ее опять услышу, я взбешусь и бог знает до каких крайностей я дойду, что сделаю и с вами и с ней. Ступайте!

Ализон поднимается наверх.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Леонар, мэтр Адам, мадемуазель де ля Гарандьер в сопровождении лакея, несущего корзину.

Мэтр Адам. Позвольте, господин судья, вам представить — дабы смягчить ваше сердце и тронуть ваши чувства — эту юную сиротку, ограбленную жадным опекуном и умоляющую вас о правосудии. Впрочем, ее глаза скажут больше вашей душе, чем мой голос. Мадемуазель де ля Гарандьер приносит вам свои мольбы и слезы, присоединяя к ним окорок ветчины, два утиных паштета, гуся и пару налимов. Она смеет надеется, что получит взамен благоприятное решение по своему делу.

Леонар. Мадемуазель, вы меня заинтересовали... Не имеете ли вы что-нибудь добавить в защиту вашего дела?

Мадемуазель де ля Гарандьер. Вы слишком добры, сударь; я полагаюсь всецело на своего адвоката.

Леонар. Это все?

Мадемуазель де ля Гарандьер. Да, сударь.

Леонар. Она хорошо говорит, она говорит мало. Эта сиротка трогательна. *(Лакею.)* Отнесите этот сверток в буфетную.

Лакей уходит.

Мэтр Адам, когда вы вошли, я как раз составлял по ее делу приговор, который вскоре проведу в суде. *(Спускается со шкафа.)*

Мэтр Адам. Как! Вы его составляли на этом шкафу?

Леонар. Не знаю, где я и что со мной. У меня сильнейшая головная боль... Желаете послушать приговор? Мне и самому надо его перечитать. *(Читает.)* «Принимая во внимание, что мадемуазель де ля Гарандьер, сирота от рождения, обманным и вероломным образом похитила у господина Пьеделу, своего опекуна, десять покосов сена и восемьдесят фунтов рыбы из пруда... Принимая во внимание, что нет ничего ужасней пожара, а также, что господину прокурору преподнесли амьенский пирог *, в котором была пара рогов...»

Мэтр Адам. О небо! Что вы читаете?

Леонар. Не спрашивайте, я и сам ничего не понимаю. Словно какой-то дьявол колотил меня два часа подряд по голове. Я стал идиотом!.. А все по вашей вине, мэтр Адам Фюме... Если бы сей прославленный медик не сделал мою жену говорящей...

Мэтр Адам. Не обвиняйте меня, господин Леонар. Я вас предупреждал. Я ведь вам говорил, что надо дважды подумать, прежде чем развязывать язык женщине.

Леонар. Ах, мэтр Адам Фюме! Как я сожалею о том времени, когда Катрина была немой! Нет в природе бедствия ужасней, чем болтливая жена! Но я рассчитываю, что почтенные медики возьмут обратно свое жестокое благодеяние. Я за ними послал, и вот уже идет хирург.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же, мэтр Жан Можье, потом мэтр Симон Коллин и мэтр Серафим Дюлорье в сопровождении двух аптекарских мальчиков.

Мэтр Жан Можье. Имею честь вас приветствовать, господин судья! Вот и мэтр Симон Коллин приближается сюда на своем ослике в сопровождении мэтра Серафима Дюлорье, аптекаря. Вокруг него теснится восторженная толпа; горничные, подбирая свои юбки, и поварята, держа корзины на голове, бегут за ним.

Входит мэтр Симон Коллин со своей свитой.

О! Сколь заслужено поклонение народа, которое вызывает мэтр Симон Коллин, шествуя по городу в своей мантии, в четырехугольной шапочке и в эпитоге с белым жабо. О! Как мы должны быть признательны сим славным медикам, которые трудятся, дабы сохранить нам здоровье и врачевать нас...

Мэтр Симон (*мэтру Жану Можье*). Довольно, хватит...

Леонар. Мэтр Симон Коллин, я подждал вас с большим нетерпением. Я нуждаюсь в вашей немедленной помощи.

Мэтр Симон. Вы, сударь? Что же у вас болит? На что жалуетесь?

Леонар. Нет! Помощь нужна моей жене: той, которая была немой.

Мэтр Симон. Она страдает от какого-нибудь недомогания?

Леонар. Ничуть. Это я страдаю.

Мэтр Симон. Как! Вы сами больны, а хотите лечить свою жену?

Леонар. Мэтр Симон Коллин, она слишком много говорит. Даровать ей способность речи следовало, но не в такой мере. С тех пор как вы исцелили ее от немоты, она сводит меня с ума. Я больше не могу ее слышать. Я пригласил вас, чтобы вы сделали ее опять немой.

Мэтр Симон. Это невозможно.

Леонар. Что вы говорите! Вы не можете отнять у нее дар речи, которым сами ее наделили?

Мэтр Симон. Нет! Этого сделать я не могу. Искусство мое велико, но и у него есть пределы.

Мэтр Жан Можье. Это совершенно невыполнимо.

Мэтр Серафим. Не поможет никакое лечение.

Мэтр Симон. У нас есть средства, чтобы заставить женщину говорить; но у нас нет таких средств, чтобы принудить ее молчать.

Леонар. У вас нет таких средств? Что вы говорите! Вы повергаете меня в отчаяние.

Мэтр Симон. Увы, господин судья, нет такого эликсира, бальзама, порошка, пластыря, мази, таких целебных снадобий, микстур и составов, — словом, не существует никакой панацеи, которая могла бы излечить женщину от невоздержания речи. Здесь не помогут никакие противоядия и лекарства, здесь бесильны все травы, описанные Диоскоридом *.

Леонар. Вы говорите правду?

Мэтр Симон. Сударь, ваше недоверие оскорбительно.

Леонар. В таком случае, я — пропащий человек. Мне ничего не остается, как привязать себе на шею камень и броситься в Сену. Я не в состоянии жить в этом содоме! Если вы не хотите, господа врачи, чтобы я сейчас же утопился, отыщите мне какое-нибудь спасительное лекарство!

Мэтр Симон. Я уже сказал, что для вашей жены такового не имеется. Но для вас нашлось бы одно средство, если бы вы согласились к нему прибегнуть.

Леонар. Значит, все-таки можно надеяться? Объясните, прошу вас, что это такое.

Мэтр Симон. От болтовни жены имеется лишь одно-единственное средство. Это — глухота мужа.

Леонар. Что вы хотите сказать?

Мэтр Симон. То, что говорю.

Мэтр Адам. Вы не понимаете? Ведь это же самое блестящее открытие! Не будучи в силах сделать

вашу жену немой, этот великий медик предлагает сделать вас глухим.

Леонар. Взять да сделать меня глухим?

Мэтр Симон. Ну да. От невоздержанности языка вашей супруги я излечу вас быстро и радикально — посредством кофоза.

Леонар. Кофоза? Что такое кофоз?

Мэтр Симон. То же самое, что в просторечье называется глухотой. Вы усматриваете какое-нибудь неудобство в том, что станете глухим?

Леонар. Да, усматриваю, ибо неудобство в этом, конечно, есть.

Мэтр Жан Можье. Вы полагаете?

Мэтр Серафим. Какое же именно?

Мэтр Симон. Вы — судья. Какое же неудобство в том, что судья будет глухим?

Мэтр Адам. Никакого. Мне-то можно поверить: я ведь тоже слуга закона. Ни малейшего неудобства.

Мэтр Симон. Пострадает ли от этого правосудие?

Мэтр Адам. Нисколько. Напротив: господин Леонар Боталь не услышит ни речей адвокатов, ни споров тяжущихся, он не будет подвергаться риску быть обманутым всяким враньем.

Леонар. Это верно.

Мэтр Адам. Он будет от этого только лучше разбирать дела.

Леонар. Возможно.

Мэтр Адам. Не сомневайтесь!

Леонар. Как же производится это...

Мэтр Жан Можье. Исцеление.

Мэтр Симон. Кофоз, или глухота, достигается многими способами. Можно вызвать течь, опухоль или воспаление уха, развить склероз или сделать сращение костей. Но все эти способы длительны и болезненны.

Леонар. Я отвергаю их!.. Я отвергаю их всеми силами.

Мэтр Симон. Вы правы. Гораздо легче получить кофоз при помощи особого белого порошка, который имеется в моей сумке; довольно ввести в уши

одну щепотку этого порошка — и вы сделаетесь таким же глухим, как небо в дни его гнева или как глиняный горшок.

Леонар. Премного вам благодарен, мэтр Симон Коллин, можете оставить ваш порошок при себе. Я не желаю быть глухим.

Мэтр Симон. Как! Вы не желаете быть глухим? Как! Вы отвергаете кофоз? Вы бежите от исцеления, о котором только что умоляли? Вот зрелище, которое, увы, приходится наблюдать слишком часто и которое до глубины души огорчает искусного врача, — непослушный больной, уклоняющийся от спасительного лекарства...

Мэтр Жан Можье. ...не желающий применять леченья, которое успокоило бы его страдания...

Мэтр Серафим. ...избегающий своего собственного выздоровления!

Мэтр Адам. Не поступайте опрометчиво, господин Леонар Боталь, и не отвергайте с такой поспешностью малое зло, которое вас избавит от зла большего.

Леонар. Нет! Не желаю быть глухим. Не желаю этого порошка.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, Ализон, потом Катрина.

Ализон (*сбегает с лестницы, затыкая уши*). Не могу больше вынести. Трещит голова. Нет никаких человеческих сил слушать такую болтушку. Она рта не закрывает. Мне кажется, я битых два часа верчусь в мельничном колесе.

Леонар. Несчастливая! Не давайте ей спускаться. Ализон! Жиль! Заприте ее!

Мэтр Адам. О сударь!..

Мадемуазель де ля Гарандьер. Ах, сударь, неужели у вас такая черствая душа, что вы можете лишать свободы вашу бедную супругу?

Катрина. Какое приятное и многочисленное общество! Я к вашим услугам, господа. (*Делает реверанс.*)

Мэтр Симон. Ну как, сударыня, вы нами довольны? Хорошо мы развязали вам язычок?

Катрина. Вполне хорошо, господа, и я за это вам очень признательна. В первые минуты я не могла выговаривать многих слов. Но теперь я говорю совершенно свободно; разумеется, я не злоупотребляю своим умением говорить, зная, что болтливая жена — это бич в домашней жизни. Я была бы очень огорчена, господа, если б вы меня заподозрили в излишней говорливости, если б вы подумали, что я страдаю каким-то зудом болтовни. Вот почему я прошу вашего разрешения оправдаться сейчас же в глазах моего мужа, который, возымев что-то против меня, вообразил себе, что мои разговоры досадным образом отвлекают его от составления приговора; это был приговор в пользу одной юной сиротки, лишившейся в цвете лет отца и матери. Впрочем, это неважно. Я сидела с ним рядом и не промолвила, можно сказать, ни словечка, я сидела и молчала — вот и весь мой разговор. Может ли муж на это жаловаться? Что может он находить плохого в том, что жена, как и полагается ей, стремится быть возле него, ищет его общества? *(Мужу.)* Чем больше я размышляю об этом, Леонар, тем меньше могу понять ваше раздражение. В чем, скажите, причина? Бросьте ссылаться на мою болтовню, это — пустой предлог. Мой друг, вы, по всей вероятности, за что-то на меня в обиде, а за что — я не знаю и прошу вас мне прямо сказать. Вы должны мне все объяснить, и, когда я буду знать, чем я вас рассердила, я постараюсь сделать так, чтобы в будущем устранить причину вашего недовольства, о которой вы мне расскажете. Ведь я всем сердцем желаю, чтобы у вас не было никакого повода на меня сетовать. Моя мать говаривала, бывало: «Между супругами не должно быть никаких тайн». Она была совершенно права. Нередко муж или жена, что-то друг от друга скрывая, навлекают на себя и свою семью ужасную катастрофу. Вот что случилось, например, с женой председателя де Бопрео. Желая сделать мужу приятный сюрприз, она заперла в сундуке в своей спальне молочного поросенка. Муж услышал, как он

визжит и, подумав, что это любовник, обнажил шпагу и пронзил ею сердце своей несчастной супруги, даже не выслушав ее объяснений. Можете себе представить его изумление и отчаяние, когда был открыт сундук! Вот почему супруги даже с самыми благими намерениями не должны ничего таить друг от друга. Вы можете, Леонар, совершенно свободно объясниться перед этими господами. Я не знаю за собой никаких проступков и, что бы вы ни сказали, все будет лишь подтверждать мою невинность.

Леонар *(который уже несколько минут безуспешно старался жестами и возгласами прервать Катрину, выказывает знаки крайнего нетерпения)*. Порошок! Порошок! Мэтр Симон Коллин, где ваш порошок, ваш белый порошок, умоляю!

Мэтр Симон. В самом деле, никогда еще порошок, вызывающий глухоту, не был столь необходим. Прошу вас присесть, господин судья. Мэтр Серафим Дюлорье сейчас вдунет вам в уши оглушающий порошок.

Мэтр Серафим. Весьма охотно, сударь.

Мэтр Симон. Вот и готово.

Катрина *(мэтру Адаму Фюме)*. Убедите мужа образумиться, господин адвокат. Скажите ему, что он должен меня послушать, что никогда не обвиняют свою жену, даже не выслушав ее; скажите ему, что не бросают связки бумаг в голову женщине (как он бросал в меня!), если нет к этому сильнейших побуждений разума или сердца... Впрочем, нет! Я сама буду с ним говорить. *(Леонару.)* Мой друг, отвечайте, разве я перед вами в чем-нибудь провинилась? Разве я злая жена? Разве я плохая супруга? Я была верна своему долгу; признаюсь, я находила даже удовольствие в его соблюдении...

Леонар *(на его лице выражение блаженства; успокоенный, он вертит большими пальцами)*. Это восхитительно. Я больше ничего не слышу.

Катрина. Послушайте меня, Леонар, я вас нежно люблю. Я открою вам свое сердце. Я вовсе не из тех легкомысленных и вздорных женщин, которые огорчаются по пустякам, утешаются пустяками и забавляются всякой чепухой. Я испытываю потребность

в дружбе, Уж такую я уродилась: когда мне было семь лет, у меня была собачка, маленькая, рыженькая собачка... Вы не слушаете меня...

Мэтр Симон. Сударыня, он не может слушать ни вас и никого другого. Он больше не слышит.

Катрина. Как так не слышит?

Мэтр Симон. Да, не слышит под воздействием одного медицинского средства, которое только что было применено.

Мэтр Серафим. И которое вызвало в нем успокоительный, приятный кофоз.

Катрина. Я-то его заставлю слышать!

Мэтр Симон. Вы ничего не добьетесь, сударыня; это невозможно.

Катрина. Вы увидите... *(Обращается к мужу.)* Мой друг, мой дорогой, любимый, мое сокровище, душа души моей... Вы не слышите? *(Трясет его.)* Олибрий, Ирод, Синяя Борода *, рогоносец!

Леонар. Ушами я ее больше не слышу. Но я слышу ее, и даже чересчур хорошо, своими руками, плечами, спиной...

Мэтр Симон. Она приходит в бешенство.

Леонар. Куда бежать?! Она меня укусила, и я чувствую, что становлюсь тоже бешеным.

С улицы слышен голос слепого. Слепой входит в зал, напевая песенку:

Летнею ночью
Будем гулять,
С мельника дочкой
Песни играть.
Девка что надо,
Мельника дочь,
С нами плясать до упаду
Будет она всю ночь.
Ой, плясать до упаду
Будет всю ночь,
Всю ночь!

Катрина и Леонар танцуют, поют и кусают всех остальных, которые, становясь в свою очередь бешеными, дико поют и пляшут и останавливаются лишь затем, чтобы заявить устами Леонара Ботала: «Господа и дамы, автор просит снисхождения».

Конец

НА БЕЛОМ КАМНЕ

Перевод *Я. З. Лесюка*
под редакцией *В. А. Дынник*

Ты словно спал на белом
камне, в стране грез.

«Филопатрис» * , XXI

I

Несколько французов, соединенных узами дружбы, проводили весну в Риме и частенько встречались на месте раскопок Форума *. Это были Жозефен Леклер, атташе посольства в отпуску; г-н Губен, лицензиат словесности, ученый комментатор; Николь Ланжелье, отпрыск старинного рода Ланжелье, парижских книгопечатников и гуманистов; инженер Жан Буайи; Ипполит Дюфрен, который располагал досугом и любил искусство.

Первого мая, часов в пять вечера, они, по обыкновению, прошли через неизвестную широкой публике калитку на северной стороне площади, где командор Джакомо Бони, руководитель раскопок, с молчаливой приветливостью встретил их и проводил до порога своего деревянного дома, стоявшего среди лавров, бирючины и раkitника над огромным рвом, который вырыт в прошлом веке посреди воловьего рынка папского Рима и доходит до поверхности древнего Форума.

Тут они останавливаются и смотрят вокруг.

Прямо против них торчат изуродованными столбами почетные стелы *, а на месте базилики Юлия виднеется нечто вроде огромной шашечной доски, уставленной шашками. Дальше к югу три колонны храма Диоскуров * купают в лазури небес свои синюющие волюты. Правее — над разрушенной аркой Септимия Севера и

над высокими колоннами храма Сатурна — громоздятся на Капитолии дома христианского Рима и здание женской лечебницы, споря с водами Тибра желтизной и грязным оттенком своих фасадов. Левее вздымается Палатин *, окаймленный большими красными аркадами и поросший на вершине вечно-зелеными падубами. А внизу — от одного холма до другого — меж плит Священной дороги *, что не шире деревенской улицы, прямо из-под земли высовываются кирпичные стены и мраморные основания — остатки зданий, стоявших на Форуме во времена могущества латинян. Клевер, овес и полевые травы, посеянные ветром на верхушке осевших развалин, образовали над ними сельскую кровлю, где пламенеет дикий мак. Везде — обломки карнизов, множество колонн и алтарей, нагромождение ступеней и оград, и все это, разумеется, не маленькое, однако отнюдь не грандиозных, а скромных размеров.

Должно быть, Николь Ланжелье мысленно представил себе ансамбль памятников, некогда стоявших, тесно прижавшись друг к другу, на прославленной площади.

— Эти сооружения умеренной величины, выдержанные в мудрых пропорциях, — проговорил он, — отделялись одно от другого тенистыми улочками. То были те самые *vicoli* ¹, которые так любят в южных странах, и благородные потомки Рема *, выслушав речи ораторов, находили неподалеку от храмов прохладные уголки, где можно было поесть и отдохнуть, где постоянно пахло отбросами, ибо кожура арбузов и осколки раковин никогда не выметались. Конечно, из лавчонок, окаймлявших площадь, доносился острый запах лука, вина, жаркого и сыра. На прилавках мясников грудой высилось мясо, и зрелище это радовало взор крепких горожан; у одного из мясников Виргиний и взял нож, которым убил свою дочь *. Тут же, должно быть, располагались золотых дел мастера и продавцы домашних божков, покровителей очага, стойла и сада. Все необходимое для жизни граждан было собрано на этой площади: рынок и склады, базилики — иначе говоря, торговые биржи и гражданские суды; курия — этот городской совет, уп-

¹ Переулки (*итал.*).

равлявший впоследствии целым миром; тюрьмы с подземельями, откуда доносилась ужасающая вонь; храмы и алтари, без которых не могут обойтись жители Италии, — ведь у них всегда есть просьбы к небесным властям!

Именно здесь и совершались на протяжении веков заурядные или необыкновенные деяния, почти всегда нелепые, нередко отвратительные или смехотворные, порою благородные, совокупность которых и составляет величественную жизнь народа.

— А что это вон там, среди площади, перед основаниями почетных стел? — осведомился г-н Губен; водрузив на нос пенсне, он обнаружил нечто новое на древнем Форуме и желал получить разъяснения.

Жозефен Леклер предупредительно ответил, что это недавно открытый фундамент колосса Домициана.

Затем он указал пальцем на другие памятники, обнаруженные Джакомо Бони за пять лет плодотворных раскопок: водоем и колодезь Ютурны под Палатинским холмом; место сожжения тела Цезаря и воздвигнутый там алтарь, основание которого лежало у их ног, против роstralных колонн; * архаическую стелу и легендарную могилу Ромула, где покоится черный камень с Комиция, и «озеро» Курция *.

Солнце садилось позади Капитолия и стрелами своих последних лучей ударяло в триумфальную арку Тита на Верхней Веллии *. На западе уже всходила бледная луна, но небосвод оставался голубым, точно днем. Ровная, спокойная, прозрачная дымка окутывала молчаливый Форум. Землекопы, бронзовые от солнца, вскапывали это поле камней, а их товарищи, уподобляясь в своем труде древним царям, вращали колодезный ворот, чтобы добыть воду, которая все еще оmyвает русло, где в дни благочестивого Нумы * дремал Велабр среди зарослей камыша.

Рабочие трудились усердно и бодро. Ипполит Дюфрен, уже несколько месяцев наблюдавший за тем, как старательно они работают, как толково и охотно выполняют все приказания, спросил у руководителя раскопок, как ему удалось добиться от своих работников такого отношения к делу.

— Я живу, как они все, — объяснил Джакомо Бонн. — Вместе с ними копаю землю, рассказываю о том, что мы ищем, и помогаю им понять красоту нашего общего дела. Они увлечены работами, величие которых смутно чувствуют. Я заметил, как они побледнели от восторга, когда разрыли могилу Ромула. Они видят во мне своего товарища, и, если кто-либо из них заболевает, я сажусь у его изголовья. Я полагаюсь на них, а они — на меня. Вот почему у меня такие надежные работники.

— Бони, дорогой Бони, — воскликнул Жозефен Леклер, — вы знаете, как я восхищаюсь вашим трудом, в какое волнение приводят меня ваши великолепные открытия; и все-таки я сожалею — уж позвольте мне быть откровенным — о тех временах, когда стада паслись над погребенным Форумом. Белый вол с крутым лбом, увенчанным широко расставленными рогами, пережевывал жвачку на пустынном лугу, пастух дремал у высокой колонны, выступавшей из травы... И люди думали: «Здесь когда-то решались судьбы мира». С тех пор как Форум перестал быть *Campus Vaccino*¹, он безвозвратно потерян для поэтов и влюбленных.

Жан Буайи заметил, что раскопки, производимые по строгой методе, содействуют познанию прошлого. И разговор зашел о философии римской истории.

— Латиняне сохраняли рассудительность даже в своих религиозных верованиях, — сказал инженер. — Они поклонялись богам ограниченному, простоватому, но исполненному здравого смысла, а порою и благородства. Сравните римский Пантеон, состоящий из воинов, должностных лиц, девственниц и матрон, с чертовщиной, изображенной на стенах этрусских гробниц, и вы увидите лицом к лицу рассудок и безумие. Картины ада, запечатленные в могильных склепах Корнето*, являют нам чудищ, порожденных невежеством и страхом. Эти изображения кажутся такими же гротескными, как фреска Орканьи «Страшный суд»* в храме Санта-Мария-Новелла во Флоренции или его же

¹ Коровье пастбище (*итал.*).

фреска, навеянная Дантовым адом, на Campo-Santo¹ в Пизе; латинский же Пантеон неизменно являет собою образец хорошо организованного общества. Боги римлян, как и сами римляне, отличались трудолюбием и благонамеренностью. То были боги полезные; каждый занимался своим делом. Даже нимфы и те несли гражданские и политические обязанности.

Припомним Ютурну, чей алтарь мы не раз видели у подножья Палатинского холма. Ни происхождение, ни жизненные испытания и невзгоды, выпавшие на ее долю, — ничто, казалось, не предвещало, что ей предстоит исправлять регулярную должность в граде Ромула. Это была женщина из племени рутулов, полная возмущения. Юпитер, полюбивший Ютурну, даровал ей бессмертие. Когда, велением судеб, царь Турн пал от руки Энея *, Ютурна, которой не дано было умереть вместе с братом, кинулась в Тибр, чтобы по крайней мере больше не видеть солнечного света. Долгое время среди пастухов Лациума сохранялось предание о нимфе, живущей на дне реки, оплакивая свое горе. И позднее жителям сельского Рима, склонявшимся ночью с крутого берега Тибра, чудилось при свете луны, будто они видят ее среди камышей, закутанную в синеvато-зеленое покрывало. И что же? Римляне не позволили ей праздно предаваться скорби. Вскоре же их осенила мысль приискать для нее полезное занятие. Они поручили нимфе охрану своих источников. И превратили ее таким образом в муниципальную богиню. Так же они поступали и со всеми другими божествами. Диоскуры, от храма которых остались столь великолепные руины, братья Елены, Диоскуры, чье имя носят вон те две ярких звезды, были превращены римлянами в гонцов на службе у государства. Именно Диоскуры прибыли в Рим на белом коне, чтобы возвестить победу, одержанную у озера Регилл *.

Жители Италии просили у богов лишь благ земных да солидных выгод. В этом смысле, несмотря на все азиатские страхи, заполонившие Европу *, характер их религиозного чувства не изменился. Того, чего они

¹ Кладбище (*итал.*).

некогда требовали от богов и божков, они ожидают сегодня от мадонны и святых. В каждом приходе — свой угодник, и ему дают поручения, точно депутату. Есть святые, ведающие виноградником, злаками, скотом, помогающие при коликах и зубной боли. Воображение латинян вновь заселило небо множеством живых существ и превратило иудейское единобожие в новое многобожие. Оно расцветило евангелие богатой мифологией; оно опять установило непринужденные отношения между миром небесным и миром земным. Крестьяне требуют чудес от святых заступников и обрушиваются на них с бранью, если чудо долго не совершается. Крестьянин, тщетно умолявший Bambino¹ о милости, возвращается в часовню и на этот раз припадает к стопам царицы небесной: «Не к тебе, сын девки, обращаюсь я, а к твоей святой матери».

Женщины посвящают богородицу в свои любовные дела. Они с полным основанием полагают, что ведь она тоже женщина, стало быть, понимает что к чему, и незачем ее стыдиться. Они не опасаются показаться нескромными, и это свидетельствует об их благочестии. Так что нельзя не восторгаться молитвой, которую возносила мадонне одна красивая девица с генуэзского побережья: «Святая мать божья, ты, зачавшая без греха, ниспошли мне милость согрешить без зачатия».

Николь Ланжелъе обратил внимание собеседников на то, что религия римлян отвечала их политическим целям.

— Правда, ее отличал яркий национальный характер, — сказал он, — тем не менее она обладала способностью проникать в среду чужеземных народов, привлекая их своей доступностью и терпимостью. То была религия, приспособленная для управления, и она без труда внедрялась вместе с остальными формами управления.

— Римляне любили войну, — вмешался г-н Губен, всячески избегавший парадоксов.

— Они любили войну не ради нее самой, — возразил Жан Буайи. — Для этого они были слишком благо-

¹ Младенец (*итал.*).

разумны. По некоторым признакам можно утверждать, что ратный труд казался им тяжким. Господин Мишель Бреаль * скажет вам, что слово «аегитпа», сперва означавшее солдатское снаряжение, постепенно стало употребляться в более широком смысле, включавшем в себя такие понятия, как усталость, изнеможение, невзгоды, печаль, испытание, бедствие. Крестьяне древнего Рима — такие же, как и все другие. Они шли на войну, подчиняясь силе и принуждению. И даже их начальники, богатые землевладельцы, сражались не ради удовольствия или славы. Прежде чем начать военную кампанию, они раз двадцать обсуждали, принесет ли им это выгоду, и внимательнейшим образом взвешивали свои шансы.

— Верно, — подтвердил г-н Губен, — но их собственное положение и состояние тогдашнего мира вынуждали их не выпускать меча из рук. Таким способом они распространили цивилизацию до пределов известного им мира. Война — ни с чем не сравнимое орудие прогресса.

— Латиняне, — продолжал Жан Буайи, — были земледельцы, и воевали они, как земледельцы. Их честолюбивые устремления всегда носили, так сказать, аграрный характер. Они требовали от побежденного не денег, а земли — либо всей территории покоренных ими народов, либо части ее, обычно только трети, по дружбе, как они сами говорили, а также потому, что отличались умеренностью. Там, где легионер втыкал свое копьё, наутро уже появлялся колон * и распахивал землю. Именно благодаря землепашцу римляне закрепляли свою победу. Спору нет, это были великолепные солдаты, дисциплинированные, терпеливые, мужественные; они побеждали других и в свою очередь оказывались побежденными! Но они были еще более великолепные земледельцы! Обычно удивляются, как им удалось захватить столько земель, но куда более удивительно, что они умели их сохранить. Чудо состоит в том, что, проиграв множество битв, эти упрямые крестьяне ни разу не уступили ни клочка пахотной земли.

Пока они так беседовали, Джакомо Бони смотрел неприязненным взглядом на высокий кирпичный дом, возвышавшийся в северной части Форума: фундаментом ему служила каменная кладка, уцелевшая от античных зданий.

— Теперь мы должны приступить к раскопкам курии Юлия *, — сказал он. — Надеюсь, нам вскоре удастся смести с лица земли гнусное строение, под которым скрыты ее развалины. Государству это недорого обойдется. На глубине девяти метров, под монастырем Сант-Адриано лежат плиты Диоклетиана, в последний раз восстановившего курию. Мы, без сомнения, обнаружим среди обломков немало мраморных таблиц, на которых были высечены законы. Для Рима и для Италии, да и для всего мира, важно, чтобы руины римского сената вновь показались на свет.

Затем он пригласил друзей в свою гостеприимную, неприязнательную хижину, напоминавшую жилище Эвандра *.

В ней была одна-единственная комната, где возвышался грубый стол, заваленный черной глиняной посудой и бесформенными обломками, от которых пахло землей.

— Останки доисторической эпохи, — заметил, вздохнув, Жозефен Леклер. — Итак, вы, дорогой Бони, не довольствуясь тем, что разыскиваете на Форуме памятники времен императоров, республики и царей, углубляетесь теперь в земельные пласты, где сохранились следы исчезнувшей флоры и фауны; вы вторгаетесь в четвертичный, в третичный период, проникаете в плиоцен, в миоцен, в эоцен. От археологии древнего Рима вы переходите к археологии доисторических времен и к палеонтологии. Вы спускаетесь так глубоко, что уже вызываете тревогу в светских гостиных. Графиня Пазолини просто в недоумении — когда же вы остановитесь, а в сатирическом листке помещена карикатура: вы выходите на поверхность земли у антиподов * и со вздохом облегчения произносите: «Adesso va bene»! ¹

Бони, казалось, не слышал.

¹ Ну, теперь все хорошо (*итал.*).

С глубоким вниманием он изучал глиняный сосуд, еще влажный и покрытый илом. Его светлые глаза, часто менявшие оттенок, темнели, когда он отыскивал на этом убогом изделии рук человеческих какую-нибудь дотоле еще не обнаруженную примету таинственного прошлого. И, затуманиваясь мечтой, они снова становились бледно-голубыми.

— Остатки былого, лежащие перед вами, — произнес он наконец, — эти маленькие грубо вытесанные деревянные гробы и эти урны в форме хижин, вылепленные из черной глины, в которых покоятся истлевшие кости, были обнаружены под храмом Фаустины, в северо-западной части Форума.

Их находят рядом — черные урны, наполненные пеплом, и скелеты, лежащие в гробах, как в постели. Греки и римляне одновременно практиковали и погребение и сожжение. В доисторические эпохи по всей Европе и тот и другой обычай были в ходу в одно и то же время, в одном и том же городе, у одного и того же племени. Не соответствуют ли эти два разных обычая двум разным расам, двум разным верованиям? Полагаю, что так.

С уважением, почти богомольным, он взял в руки сосуд, напоминавший по форме хижину и содержащий немного пепла.

— Те, кто в незапамятные времена формовал таким образом глину, — оказал оп, — полагали, будто душа, неразрывно связанная с костями и пеплом, нуждается в крове, но что для ограниченной жизни мертвых она довольствуется жилищем небольших размеров. Люди эти принадлежали к благородному народу, вышедшему из Азии. Человек, чей легкий, почти невесомый прах я держу перед собой, жил еще до Эвандра и пастуха Фаустула *.

И он прибавил, шутливо подражая речи древних:

— В те времена царь Итал, или Витул *, царь Телец, мирно правил страной, которую ждала в будущем такая слава. Тогда Авзонийская земля * представляла собою одно большое пастбище. Но люди вовсе не были невежественны и грубы. От предков они унаследовали немало драгоценных сведений. Им были известны ко-

рабль и весло. Они владели искусством надевать ярмо на быков и припрягать их к дышлу. По своему желанию они раздували божественный огонь. Они добывали соль, делали украшения из золота, лепили и обжигали глиняную посуду. Вероятно, они начинали уже возделывать землю. По преданию, латинские пастухи сделались землепашцами при легендарном царе Тельце. Они сеяли просо, ячмень и полбу. Они сшивали шкуры костяными иглами. Они умели ткать и, быть может, красить шерсть в разные цвета. Они измеряли время фазами луны. Они созерцали небо и находили на нем то же, что и на земле. Они видели там гончего пса, который сторожит звездные стада своего хозяина Диоспитера *. Плодоносные тучи они принимали за скот, принадлежащий Солнцу, за дойных коров на лазурных полях. Они поклонялись своему отцу — Небу и своей матери — Земле. А по вечерам слышали, как повозки богов, таких же кочевников, как они сами, катились, грохоча своими грубыми колесами, по горным тропам. Они любили солнечный свет и с тоской помышляли о жизни, какую ведут души в царстве теней.

Нам известно, что эти большеголовые арийцы были белокуры — ведь белокуры были и боги, сотворенные по их образу и подобию. Волосы Индры * напоминали цветом спелый ячмень, а борода его походила на шерсть тигра. В представлении греков у бессмертных богов были синие или сине-зеленые глаза и золотые кудри. Богиня Рома * была «flava et candida»¹. По латинским преданиям, Ромул и Рем были рыжеволосыми.

Если бы удалось восстановить в прежнем виде эти истлевшие кости, перед вами возникли бы очертания скелетов чисто арийского типа. По этим крупным мощным черепам, по этим головам, квадратным, как первоначальный Рим, который предстояло основать их сынам, вы признали бы предков патрициев времен республики, родоначальников могучей породы, которая поставляла трибунов, верховных жрецов и консулов, вы прикоснулись бы к великолепной оболочке тех сильных умов, что создали религию, семью, войско, публичное

¹ «Златовласая и белолицая» (лат.).

право наиболее устроенного из городов, когда-либо существовавших на земле.

Медленно опустив на некрашенный стол глиняную урну, Джакомо Бони склоняется над гробом величиной с колыбель: гроб этот выдолблен из дубового ствола и походит по форме на первобытные лодки. Затем он приподнимает тонкую крышку из коры и заболони, которая прикрывает эту погребальную ладью, и взорам присутствующих предстают хрупкие кости, напоминающие птичий скелет. От покойника не осталось ничего, кроме спинного хребта, и можно бы подумать, что это скелет простейшего из позвоночных, скажем, большой ящерицы, но ширина лба выдает человека. Цветные бусины рассыпавшегося ожерелья смешались с потемневшими костями, омытыми подземными водами и извлеченными из жирной земли.

— А теперь посмотрите на этого ребенка, — сказал Бони — он не был сожжен с надлежащими почестями, его просто погребли, сразу предали земле, из которой он вышел. Это — не сын вождя, не благородный наследник белокурых людей. Он принадлежит к туземной расе, жившей по берегам Средиземного моря и превратившейся позднее в римский плебс; еще сегодня она составляет Италии ловких адвокатов и сметливых людей. Он родился во властительном городе, расположенном на Семи холмах, в эпоху, затуманенную для нас героическими сказаниями. Этот ребенок жил во времена Ромула. В ту пору долина Семи холмов представляла собой болотистую местность, а склоны Палатина были покрыты лишь хижинами из тростника. На гроб было положено небольшое копьё в знак того, что ребенок мужского пола. Он прожил всего лишь четыре года, а затем уснул смертным сном. Мать нарядила умершего сына в красивую тунику и надела ему на шею жемчужное ожерелье. Соплеменники не оставили его без подношений. В сосудах из черной глины они принесли к нему на могилу молоко, бобы, гроздь винограда. Я собрал эти сосуды и вылепил такие же, из такой же глины, обжег их в пламени костра, разведенного ночью на Форуме... Перед тем как попрощаться с усопшим, пришедшие с дарами съели и выпили часть принесен-

ного, и эта поминальная трапеза помогла им забыть свое горе. О дитя, спящее со времен бога Квирина! * Жизнь государства прошла над твоим простым гробом, но те же звезды, что светили при твоём рождении, зажгутся сейчас над нашей головой. Века, отделяющие твою жизнь от нашей, — всего лишь неуловимый миг в существовании вселенной.

После недолгого молчания заговорил Николь Ланжелье:

— Различить в народе составляющие его расы чаще всего столь же трудно, как проследить в течении реки впадающие в нее воды притоков. Да и что такое расы? Существуют ли на самом деле человеческие расы? Я знаю, есть люди белокожие, краснокожие и чернокожие. Но это — отнюдь не расы, это — разновидности одной и той же расы, одного и того же вида, они вступают в плодотворные союзы и непрестанно перемешиваются. Ученый тем более не признает существования нескольких желтых рас или нескольких белых рас. Но люди измышляют расы на потребу собственной гордости, вражде или алчности. В тысяча восемьсот семьдесят первом году Францию расчленили во имя прав германской расы, а ведь германской расы не существует. Антисемиты распаляют христианские народы гневом против еврейской расы, а ведь еврейской расы не существует.

Обо всем этом я рассуждаю, Бони, совершенно умозрительно, вовсе не из желания вам противоречить. Кто осмелится не верить вам? Вашими устами говорит сама убежденность. И вы соединяете в себе широту научного познания с глубиной познания поэтического. По вашим словам, пастухи, пришедшие из Бактрианы *, заселили Грецию и Италию. По вашим словам, они застали там коренных жителей. В древности и итальянцы и эллины одинаково верили, будто первые люди, жившие в их стране, родились из праха, подобно Эректею *. Не спорю, дорогой Бони, можно сквозь столетия проследить и судьбу туземцев вашей Авзонии и судьбу кочевников, пришедших с Памира: одни стали родоначальниками патрициев, исполненных мужества и чести, другие — предками искусных и речистых пле-

беев. Ибо, если, строго говоря, и не существует нескольких человеческих рас, а уж тем более — нескольких белых рас, то, без сомнения, можно наблюдать многие разновидности человеческого рода, подчас весьма непохожие друг на друга. Вот почему нет ничего невозможного в том, что две или несколько таких разновидностей живут долгое время бок о бок, не сливаясь воедино, и сохраняют каждая свои черты. И более того, порою различия между ними не только не стираются под медленным воздействием преобразующих сил природы, но, напротив, под влиянием неизменных обычаев и социальных установлений сказываются с каждым веком все сильнее.

— E rgrgio vego ¹, — прошептал Бони, опуская дубовую крышку на останки ребенка, жившего во времена Ромула.

Затем он предложил гостям стулья и обратился к Николу Ланжелье:

— Пора уж вам выполнить обещание и прочитать нам историю о Галлионе, которую, я видел, вы писали в своей комнатушке на Форо Траяно. В ней у вас беседуют римляне. Ее и надлежит выслушать именно здесь, в этом уголке Форума, возле Священной дороги, меж Капитолием и Палатином. Поторопитесь же, а то еще вас застигнут сумерки и, я боюсь, ваш голос скоро заглушат крики птиц, уведомляющих друг друга о приближении ночи.

Гости Джакомо Бони встретили эти слова одобрительными возгласами, и Николь Ланжелье, не ожидая более настойчивых уговоров, развернул рукопись и прочел нижеследующее.

¹ Совершенно верно (*итал.*).

II ГАЛЛИОН

В восемьсот четвертом году по основании Рима, на тринадцатом году принципата Клавдия Цезаря *, Юний Анней Новат был проконсулом Ахеи *. Отпрыск семьи всадников *, вышедшей из Испании, сын ратора Сенеки и добродетельной Гельвии, брат Аннея Мелы и прославленного Луция Аннея *, он носил имя своего приемного отца, ратора Галлиона, изгнанного Тиберием. Мать его принадлежала к роду Цицерона; от своего отца Юний унаследовал вместе с несметным богатством любовь к изящной словесности и философии. Он читал творения греков с еще большим тщанием, нежели творения латинян. Возвышенные мысли волновали его пытливый ум. Он испытывал влечение к физике и к тому, что следует за физикой *. Любознательность его была столь велика, что, принимая ванну, он приказывал читать себе вслух и даже на охоте не расставался с навощенными дощечками и стилосом *. На досуге, который он умел находить посреди самых серьезных забот и самых важных трудов, он писал книги по естественной истории и сочинял трагедии.

Клиенты * и вольноотпущенники Галлиона превозносили его мягкость. И в самом деле это был человек

благожелательный. Никто не видел, чтоб он давал волю гневу. Вспыльчивость он почитал худшим из недостатков и наименее прощительным.

Всякая жестокость внушала ему отвращение, разве только укоровившийся обычай или влияние общественного мнения мешали ему оценить ее по достоинству. И нередко даже в строгостях, освященных обычаями предков и оправданных законами, он усматривал отвратительные крайности, против которых ополчался и которые охотно бы уничтожил, если бы ему постоянно не приводили соображения о пользе государства и общественном благе. В те времена добросовестные судьи и неподкупные должностные лица не были редкостью в Империи. Среди них встречались, конечно, люди не менее честные и справедливые, нежели Галлион, но, пожалуй, ни в ком другом не было столько человечности.

Сделавшись правителем Греции, лишенной былого богатства, растерявшей былую славу и от бурной свободы перешедшей к спокойному прозябанию, он ни на минуту не забывал, что Греция некогда даровала миру мудрость и искусства, и в своем отношении к ней соединял бдительность опекуна с сыновней любовью. Он уважал независимость городов и права людей. Он чтит истинных греков, греков по рождению и образованию, и весьма скорбел, что их осталось так мало и что ему чаще всего приходится проявлять свою власть в отношении низкой толпы, состоящей из иудеев и сирийцев; тем не менее он был справедлив и к этим азиатам, ставя себе это в особую заслугу.

Его резиденцией был Коринф, самый богатый и многолюдный город римской Греции. Вилла Галлиона, построенная во времена Августа и с тех пор расширенная и приукрашенная проконсулами, сменявшими друг друга в управлении провинцией, возвышалась на крайних западных склонах Акрокоринфа *, чью косматую вершину венчал храм Венеры, стоявший среди рощ, где жили иеродулы *. Просторный дом окружали густолиственные сады, орошенные ключевой водой и украшенные статуями, беседками, гимнастическими

залами, купальнями, библиотеками и алтарями богов.

Однажды утром он, по обыкновению, прогуливался в саду со своим братом Аннеем Мелой, беседуя о порядке, царящем в природе, и о превратностях судеб. На розовом небосводе всходило, словно омытое, ослепительно-ясное солнце. Мягкие волнообразные очертания холмов Истма скрывали саронийский берег, ристалище, святилище игр, восточную Кенкрейскую гавань. Но меж бурых склонов Гераниенских гор и двуглавым розовым Геликоном виднелось дремлющее голубое море Алкионов. Вдалеке, на севере, сверкали три снежных вершины Парнаса. Галлион и Мела приблизились к самому краю высокой террасы. У их ног, на широком и светлом песчаном плоскогорье, отлого опускавшемся к пенистым берегам залива, простирался Коринф. Плиты Форума, колонны базилики, арена и расположенные вокруг нее амфитеатром места для зрителей, белоснежные ступени пропилеев — все ослепительно сверкало, и позолоченные крыши храмов отражали солнечные лучи. Обширный и новый город прорезали прямые улицы. Широкая дорога вела к Лекейской гавани, окаймленной складами; на водной глади виднелось множество кораблей. На западе земля была осквернена дымом кузниц и грязной водою, ручьями вытекавшей из красивен, а дальше, до самого горизонта, почти сливаясь с небом, тянулись сосновые леса.

Мало-помалу город просыпался. Пронзительное ржание лошади разорвало утреннюю тишину, и вот уже до слуха стали доноситься глухой шум колес, возгласы возниц и выкрики торговки зеленью. Слепые старухи выходили из своих лачуг и с медными урнами на головах, держась за руки детей, брели между развалин дворца Сизифа, чтобы набрать воды из Пиренского источника. На плоских кровлях домов, тянувшихся вдоль садов проконсула, коринфянки расстилали белье для просушки; одна из них стегала сынишку стеблями лука-порей. На выезженной дороге, подымавшейся к Акрополю, голый до пояса, бронзовый от загара старик осыпал ударами своего осла, нагруженного корзинами

с салатом, я щербатым ртом напевал в жесткую бороду песню раба:

Работай же, мой ослик,
Как я работал сам,
И можешь мне поверить:
В том польза для тебя.

Картина города, пробуждавшегося для своих повседневных трудов, вызвала у Галлиона мысль о прежнем Коринфе — жемчужине Ионического моря, городе, где довольство и радость царили до того самого дня, когда мирные граждане были вырезаны солдатами Муммия *, женщины Коринфа, благородные дочери Сизифа проданы в рабство, дворцы и храмы преданы огню, городские стены разрушены дотла, а сокровища погружены на консульские либурны *.

— Всего лишь век назад, — сказал Галлион, — здесь не было ничего, кроме развалин, оставленных Муммием. Побережье, которое ты видишь, брат, было еще более пустынно, нежели пески Ливии. Божественный Юлий восстановил город, разрушенный нашими легионами, и населил его вольноотпущенниками. На взморье, где прославленные Бакхиады * кичились своей праздностью, обосновались бедные и грубые латиняне, и началось возрождение Коринфа. Город быстро разросся и умело извлекал пользу из своего местоположения. Он взимает дань со всех кораблей, что приходят с востока и с запада и бросают якорь в Лекейской и Кенкрейской гаванях. Население и богатства Коринфа все умножаются благодаря установленному римлянами миру.

Сколько благодетений принесла всему свету Империя! По ее милости города и деревни вкушают полный покой. Моря очищены от пиратов, а дороги — от разбойников. От мглистого океана до Пермулийского залива, от Гадеса до Евфрата торговля ограждена от каких-либо опасностей. Закон охраняет жизнь и имущество населения. Права каждого человека защищены от чьих бы то ни было посягательств. Отныне пределом свободы служат лишь требования безопасности, и ограничивают свободу лишь для того, чтобы сделать ее надежной. Справедливость и разум управляют миром.

В отличие от своих братьев Анней Мела не домогался почестей. Люди, его любившие, — а их было немало, ибо он неизменно выказывал в обращении приветливость и учтивость, — приписывали такое устранение от дел скромности Мелы, который предпочитал спокойную безвестность и не желал иных забот, помимо занятий философией. Но более холодные наблюдатели полагали, что он на свой лад честолюбив и, по примеру Мецената *, жаждет, будучи всего лишь римским всадником, сравниться во влиянии с консулами. Наконец некоторые недоброжелатели утверждали, будто rozpoзнают в нем черту, присущую всем из рода Сенеки, — алчность к богатству, которое те якобы презирали: именно этим объясняли то обстоятельство, что Мела долгое время жил в безвестности в Бетике, всецело занятый управлением своими обширными поместьями, а когда позднее был призван в Рим братом-философом, то постарался стать у руководства финансами Империи, вместо того чтобы добиваться высоких судейских или воинских должностей. Было нелегко определить характер Мелы по его речам, ибо изъяснялся он на языке стоиков *, в равной мере способном скрывать слабости духа и выказывать величие чувств. В ту пору считалось признаком особого изящества вести добродетельные речи. Одно во всяком случае бесспорно: Мела придерживался возвышенного образа мыслей.

Он ответил брату, что, не будучи в отличие от него искушен в делах общественных, все же не раз имел случай восторгаться могуществом и мудростью римлян.

— Эти качества, — сказал он, — проявляются всюду, вплоть до самых отдаленных частей нашей Испании. Но сильнее всего ощутил я благодетельную и величавую роль Империи в одном диком ущелье Фессалийских гор. Я возвращался из Гипаты, города, прославившегося своими сырами и ворожеями; целых четыре часа скакал я по горным тропинкам, не встречая человеческого лица. Сраженный усталостью и зноем, я привязал своего коня к дереву, вблизи дороги, и растянулся под кустом толокнянки. Я отдыхал уже несколько минут, когда невдалеке показался худой

старик с вязанкой дров, согнувшийся под тяжестью своей ноши. Силы окончательно оставили его, он зашатался и, едва не упав, воскликнул: «Цезарь!» Когда я услышал этот возглас, слетевший с уст несчастного дровосека в бесплодной скалистой пустыне, сердце мое преисполнилось глубокого почтения к Граду-покровителю, который и в самых отдаленных краях внушает людям со столь грубой душою мысль о своем верховном заступничестве. Но к моему восторгу, брат, примешались скорбь и тревога, едва я помыслил о том, какой терпят урон, каким опасностям подвергаются наследие Августа и благополучие Рима из-за безрассудства людей и пороков нашего века.

— Я наблюдал вблизи те преступления и безумства, что тебя удручают, брат, — отвечал Галлион. — Присутствуя в сенате, я бледнел под взглядами жертв Гая *. Я безмолвствовал, лелея в душе надежду увидеть лучшие дни. Полагаю, что хорошие граждане обязаны служить государству и при дурных властителях, а не уклоняться от своего долга, предпочитая бесполезную смерть.

Когда Галлион произносил эти слова, два молодых еще человека, облаченных в тоги, приблизились к нему. Один из них, Луций Кассий, принадлежал хотя и к плебейскому роду, но роду древнему и отмеченному почестями, издавна обосновавшемуся в Риме. Другой, Марк Лоллий, был сыном и внуком консулов, хотя и родился в семье всадников, выходцев из Таррацины, города, сохранившего самоуправление. Оба посещали афинские школы и немало узнали о жизни природы, законы которой оставались совершенно неведомы римлянам, не бывавшим в Греции.

В ту пору они изучали в Коринфе, как надлежит управлять делами общественными, и проконсул держал их при себе для украшения своего судилища. Несколько позди обоих римлян неторопливо двигался плешивый человек с бородой Сократа, в коротком плаще философа; то был грек Аполлодор, который, подняв руку и шевеля пальцами, вел разговор с самим собою.

Галлион благосклонно встретил всех троих.

— Розы утра уже побледнели, — проговорил он, — и солнце начинает метать свои острые стрелы. Пойдемте со мною, друзья! Эти тенистые деревья прольют на нас прохладу.

И вдоль ручья, который своим журчаньем пробуждал безмятежные мысли, он повел их к полукругу, зеленых кустов, окаймлявшему алебастровый бассейн, полный прозрачной воды, где плавало перо голубки, не давно купавшейся здесь, а теперь выводившей свою жалобу в листве. Все опустились на мраморную скамью дугообразной формы с подпорами в виде грифонов. Лавры и мирты оплетали на ней свои тени. Вокруг кустарника возвышались статуи. Раненая амазонка в изнеможении обвивала согнутой рукой свою голову. На ее прекрасном лице даже страдание казалось прекрасным. Косматый сатир забавлялся с козю. Венера, выходя из воды, вытирала влажные бедра, по которым, чудилось, пробегает дрожь удовольствия. Неподалеку юный фавн, улыбаясь, подносил к губам флейту. Лоб у него был наполовину скрыт ветвями, но живот блестел полированным мрамором среди листвы.

— Этот фавн словно дышит, — заметил Марк Лоллий. — Так и кажется, что легкое дыхание вздымает ему грудь.

— Ты прав, Марк. Невольно ждешь, что он извлечет из своей флейты незамысловатую мелодию, — сказал Галлион. — Греческий раб изваял его из мрамора по древнему образцу. Греки некогда были большие мастера по части подобных пустячков. Многие их творения такого рода приобрели заслуженную известность. Всеми признано, что они умели придавать богам царственный облик и выражать в мраморе или бронзе величие владык мира. Кто не восторгается фидиевым Юпитером-Олимпийцем? И, однако, кто хотел бы стать Фидием? *

— Уж конечно ни один римлянин не пожелает этого, — вскричал Лоллий, который растрачивал огромное наследство своих предков, заставляя привозить себе из Греции и Азии творения Фидия и Мирона: ими он украшал свою виллу в Павзилиппе.

Луций Кассий согласился с ним. Он решительно заявил, что руки свободного человека не предназначены держать резец скульптора или кисть живописца, и ни один римский гражданин не унижится до такой степени, чтобы плавить бронзу, ваять мрамор или рисовать изображения на стенах.

Он не уставал восторгаться нравами древних и по каждому случаю прославлял добродетели предков.

— Курии и Фабриции *, — сказал он, — возделывали латук и спали под соломенной крышей. Им были неведомы статуи, если не считать изображений Приапа *, вырезанных из самшита: этот торчащий посреди сада мощный кол угрожал вора смехотворной и ужасной казнью.

Мела, усердно изучавший анналы Рима, возразил ему, сославшись на пример некоего патриция, жившего в прежние времена.

— В эпоху республики, — сказала она, — прославленный Гай Фабий *, чей род восходит к Геркулесу и Эвандру, расписал своими руками стены храма, посвященного богине Салус, — и с таким искусством, что утрата этой росписи при недавнем пожаре была сочтена общественным бедствием. Как передают, расписывая стены, он не снимал тоги, желая засвидетельствовать этим, что подобное занятие вполне достойно римского гражданина. Его прозвали «Пиктор» ¹, и потомки Фабия с гордостью носят это прозвище.

Луций Кассий с живостью возразил:

— Изображая победы на стенах храма, Гай Фабий видел перед собой эти победы, а не живопись. В те времена в Риме не было живописцев. Желая, чтобы великие деяния предков все время были перед глазами его сограждан, он подал пример ремесленникам. Но, подобно тому как верховный жрец или эдил, закладывая первый камень здания, не становится из-за этого каменщиком или архитектором, Гай Фабий — первый римлянин, взявший в руки кисть живописца, — не может быть отнесен к числу тех, кто добывает себе пропитание, разрисовывая стены.

¹ Живописец (лат.).

Аполлодор кивком головы одобрил эту речь и сказал, поглаживая свою бороду — бороду философа:

— Сыновья Иула * рождены, чтобы править миром. Всякое иное занятие было бы их недостойно.

И он еще долго в пышных выражениях превозносил римлян. Он льстил потому, что боялся их. Но в душе испытывал лишь презрение к этим ограниченным и лишенным тонкости людям. Он рассыпался в похвалах Галлиону:

— Ты украсил наш город великолепными зданиями! Ты утвердил свободу его сената и его народа. Ты ввел прекрасные установления для торговли и мореплавания, ты вершишь правосудие, сочетая доброжелательность со справедливостью. Твоя статуя будет воздвигнута на Форуме. Тебе будет присвоен титул второго основателя Коринфа, а вернее, Коринф в твою честь будет назван Аннеей. Твои деяния достойны римлянина, достойны Галлиона. Но не думай, будто греки почитают сверх меры ремесла. Если многие из них разрисовывают сосуды, красят ткани, лепят изображения, то лишь по необходимости. Одиссей собственно ручно сделал себе ложе и корабль. Однако ж греки придерживаются того взгляда, что истинному мудрецу не подобает посвящать себя занятиям грубым и ничтожным. Сократ в молодости был по ремеслу скульптор, он изваял харит, которых и поныне можно видеть на афинском Акрополе. Его мастерство не было заурядным, и, пожелай он только, он мог бы, подобно самым прославленным художникам, изобразить атлета, готового метнуть диск или стягивающего у себя на лбу повязку. Но, следуя велению оракула, Сократ оставил эти занятия, чтобы посвятить себя поискам мудрости. С той поры он приближался к юношам не для того, чтобы уловить пропорции их тела, но единственно для того, чтобы научить их добродетели. В противоположность скульпторам, живописцам и развратникам он предпочитал тому, кто хорошо сложен, того, кто обладает возвышенной душою, меж тем как они восхищаются красотой физической и презирают красоту духовную. Вам ведомо, что Фидий высек на пальце ноги

своего Юпитера имя атлета, чью красоту он ценил, не задумываясь, был ли тот чист душою.

— Именно поэтому, — заключил Галлион, — мы и не восхваляем скульпторов даже тогда, когда хвалим их творения.

— Клянусь Геркулесом! — вскричал Лоллий. — Не знаю, кем следует восторгаться более — фавном или Венерой? Богиня еще хранит свежесть воды, увлажнившей ее тело. Воистину она — само вожделение людей и богов, и не боишься ли ты, о Галлион, что однажды ночью какой-нибудь мужлан, проникнув в твои сады, подвергнет ее такому же оскорблению, какое некий юный святотатец нанес, по преданию, Венере Книдской? Как-то утром жрицы храма обнаружили на теле богини следы осквернения, и путешественники передают, что с той поры Венера хранит на себе несмываемое пятно. Следует изумляться дерзости этого человека и снисходительности бессмертной богини.

— Преступление не осталось безнаказанным, — заявил Галлион. — Богохульник кинулся в море и разбил о скалы. Больше его никогда не видели.

— Спору нет, Венера Книдская превосходит красоту всех остальных Венер, — продолжал Лоллий. — Но мастер, который изваял богиню, стоящую в твоём саду, о Галлион, умел вдохнуть жизнь в мрамор. Взгляни на этого фавна: он смеется, зубы его сверкают, уста увлажнены, щеки свежи, как яблоки; все его тело излучает юность. И все-таки этому фавну я предпочитаю твою Венеру.

Аполлодор поднял правую руку и сказал:

— Добрейший Лоллий, подумай немного, и ты согласишься, что такого рода предпочтение простительно невежде, который, не рассуждая, следует своим инстинктам, но непозволительно мудрецу, подобному тебе. Венера не может быть столь же прекрасна, как фавн, ибо тело женщины не столь совершенно, как тело мужчины, а копии предмета менее совершенного не дано сравниться красотой с копией предмета более совершенного. И никто не усомнится, о Лоллий, что тело женщины менее прекрасно, ведь и душа ее не так прекрасна, как душа мужчины! Женщины суетны, свар-

ливы, вздорны, неспособны ни к возвышенному образу мыслей, ни к великим деяниям, и недуг зачастую по-мрачает их разум.

— Однако ж, — заметил Галлион, — в Риме, равно как и в Афинах, девственниц и матерей семейств почитали достойными принимать участие в священнодействиях и приходили с приношениями и алтарям. Более того, нередко боги избирали девственниц, дабы их устами изрекать свою волю или возвещать людям грядущее. Кассандра *, обвив себе чело повязками Аполлона, предсказала гибель Трои. Ютурне, которой любивший ее бог даровал бессмертие, была поручена охрана источников в Риме.

— Верно, — подтвердил Аполлодор. — Однако боги недешево продают девственницам право возвещать их волю и открывать людям будущее. Позволяя им видеть то, что сокрыто от взоров других, боги в то же время лишают их разума и делают одержимыми. Впрочем, я согласен с тобою, о Галлион, что иные женщины превосходят иных мужчин, а иные мужчины куда хуже иных женщин. И случается так потому, что два пола не столь различны меж собой и не столь противоположны, как принято думать; напротив, во многих женщинах немало мужских качеств, точно так же, как во многих мужчинах немало женских качеств. И вот как это объясняют:

Предки людей, ныне обитающих на земле, вышли из рук Прометея: * чтобы создать их, он замесил глину, как это делают горшечники. Сотворить своими руками одну-единственную чету ему показалось мало. Он был слишком предусмотрителен и изобретателен, чтобы произвести весь род людской от одних родителей, а потому вознамерился самолично вылепить множество мужчин и женщин и сразу же даровать человечеству все выгоды, связанные с многолюдством. Чтобы лучше справиться со столь трудной задачей, он сначала лепил порознь все те части, которым впоследствии предстояло составить тела как мужчин, так и женщин. Он создал столько сердец, легких, печенок, мозгов, желчных и мочевых пузырей, селезенки, кишок, женских и мужских детородных органов, сколько ему

должно было потребоваться, — словом, изготовил с неподражаемым искусством все телесные органы, необходимые людям, чтобы они могли дышать, питаться и производить себе подобных. Не забыл он ни о мышцах, ни о сухожилиях, ни о костях, ни о крови, ни о влаге. Под конец он нарезал нужное количество кож и уже собирался зашить в каждую из них, словно в мешок, приготовленные органы. Все эти части мужских и женских тел были уже совершенно закончены, и оставалось только собрать их вместе, но в это время Прометей был приглашен на ужин к Вакху. Он пришел туда, украсил свое чело розами и весьма усердно осушал чашу бога. Пошатываясь, возвратился он к себе в мастерскую. Мозг его был затуманен винными парами, взор помрачен, руки дрожали; однако, нам на горе, он вновь принялся за прерванное занятие. Правильно распределить органы человеческого тела казалось ему делом нехитрым. Он не ведал что творил и был совершенно доволен собою. Сам того не замечая, он нередко наделял женщину тем, что присуще мужчине, а мужчину тем, что присуще женщине.

Вот почему наши праотцы были составлены из разрозненных кусков, мало соответствовавших друг другу. Сочетаясь между собой по собственной воле или по воле случая, они порождали существа, в такой же мере лишенные цельности, как и они сами. Вот и получилось, что по оплошности Титана мы встречаем столько мужественных женщин и столько женственных мужчин. Это же в равной мере объясняет нам и противоречия, с какими мы сталкиваемся в самом решительном человеке; по той же причине люди с весьма твердым характером то и дело изменяют самим себе. Словом, в силу этого все мы пребываем в состоянии внутренней борьбы.

Луций Кассий осудил этот миф, заметив, что он не помогает человеку побеждать самого себя, а, напротив того, толкает к подчинению природе.

Галлион обратил внимание собеседников на то, что поэты и философы различным образом излагают происхождение мира и сотворение человека.

— Не следует, о Аполлодор, слепо доверяться греческим басням, — сказал он, — не следует, в частности, принимать на веру рассказ греков о камнях, которые будто бы бросала Пирра *. Философы весьма разноречиво объясняют возникновение мира и оставляют нас в неуверенности относительно того, как образовалась земля: из воды, из воздуха или — что представляется самым правдоподобным — из летучего огня. Но греки желают все знать и измышляют хитроумные побасенки. Куда лучше прямо сознаться в своем невежестве! Прошлое сокрыто от нас, равно как и будущее; мы живем меж двух густых туч — в забвении того, что было, и в неведении того, что будет. Но мучительное любопытство переполняет нас желанием постичь причину вещей, и жгучая тревога толкает к размышлениям над судьбами человека и мира.

— Мы и вправду непрестанно стремимся проникнуть в непостижимое будущее, — вздохнул Кассий. — Мы прилагаем к тому все силы, добиваемся этого любыми путями. То мы надеемся достичь своей цели размышлением, то иступленными мольбами. Одни вопрошают оракулы богов, другие, не страшась запретов, отправляются к халдейским волхвам или к вавилонским магам. Суетное и нечестивое любопытство! Ибо к чему послужит нам знание того, что произойдет в грядущем, коль скоро избежать этого нельзя? И, однако ж, мудрецов еще сильнее, чем толпу, снедает желание проникнуть в тайну будущего и, так сказать, окунуться в него. И объясняется это, без сомнения, тем, что люди надеются таким путем избежать гнета настоящего, которое переполняет их скорбью и отвращением. Да и как людям наших дней не испытывать жгучего желания позабыть о своем жалком времени? Мы живем в век, отмеченный низостью, запятанный позором, избилующий преступлениями.

Кассий еще долго поносил свою эпоху. Он сетовал на то, что римляне, утратив добродетели древних времен, находят теперь удовольствие лишь в том, чтобы лакомиться устрицами из Лукринского озера да птицами с Фазиса *, и сохранили вкус только к скоморохам, конским ристаниям и гладиаторам. Он с горечью ощу-

щал недуг, которым страдает Империя: наглуую роскошь знати, низкую жадность клиентов, дикуую развращенность толпы.

Галлион и его брат согласились с Кассием. Они почитали добродетель. Но у них уже не осталось ничего общего с патрициями прежних времен, которые были заняты лишь откормом своих свиней да исполнением священных обрядов; те патриции и покорили весь мир ради процветания своих мыз. Но возвращенная на навозе знать, выпестованная Ромулом и Брутом *, давно уже угасла. Патрицианские роды, созданные божественным Юлием и императором Августом, также просуществовали недолго. Просвещенные люди, выходцы из различных провинций Империи, занимали теперь их место. Чувствуя себя римлянами в Риме, они нигде не были чужаками. Они намного превосходили старых Цетегов * тонкостью ума и человечностью. Они не оплакивали республику; они не оплакивали свободу, неотделимую в их воспоминаниях от проскрипций и гражданских войн. Они чтили Катона *, как героя давних времен, но не желали, чтобы столь высокий образец добродетели возник ценою новых разрушений. Они считали век Августа и первые годы правления Тиберия самым счастливым временем, какое когда-либо ведал мир, ибо понимали, что золотой век существует лишь в воображении поэтов. И они горестно изумлялись тому, что новый порядок вещей, суливший роду людскому длительное счастье, столь быстро привел Рим к неслыханному позору и скорби, неведомым даже во времена Мария и Суллы *. В годы безумия Гая они были свидетелями того, как лучших граждан клеймили каленым железом и посылали работать в рудники и мостить дороги или бросали на съедение хищным зверям, как отцов принуждали присутствовать при пытках родных детей, как люди, прославившиеся своей добродетелью, предпочитали, подобно Кремуцию Корду, умирать голодной смертью, чтобы лишить тирана зрелища их казни. К стыду римлян, Калигула не щадил ни своих сестер, ни самых знатных женщин. Новых патрициев — риторов и философов — не меньше, чем насилие над матронами и умерщвление славнейших из граждан,

возмущали преступления Гая против красноречия и изящной словесности. Этот одержимый замыслил уничтожить поэмы Гомера, приказал выбросить из всех книгохранилищ труды и изображения Вергилия и Тита Ливия и даже воспретил упоминать их имена. Наконец Галлион не мог простить Гаю, что тот уподобил стиль Сенеки творилу без цемента.

Клавдия они побаивались немного меньше, но презирали, пожалуй, еще больше. Они потешались над тем, что его голова напоминает тыкву и что он пыхтит, как тюлень. Этот старый ученый педант вовсе не был исчадием зла. Ему можно было поставить в укор лишь слабость. Но при осуществлении верховной власти слабость эта порой оборачивалась не меньшей жестокостью, чем жестокость Гая. У Галлиона и его братьев были особые причины для недовольства императором: если Калигула глумился над Сенекой, то Клавдий сослал его на остров Корсику. Правда, он затем возвратил его в Рим и вновь возвел в звание претора. Но они отнюдь не были ему благодарны, ибо Клавдий всего лишь выполнял волю Агриппины, сам толком не ведая, что приказывает. Негодующие, но терпеливые, они полностью полагались на императрицу, не сомневаясь, что она озаботится своевременной кончиной старика и выбором нового государя. Множество позорных толков ходило о бесстыдной и жестокой дочери Германика. Но они не преклоняли к ним слуха и восхваляли добродетели прославленной женщины, которой весь род Сенеки был обязан прекращением немилости и приумножением почестей. Как это часто бывает, убеждения их находились в полном согласии с их выгодой. Горестный опыт государственной деятельности не поколебал в них веру в режим, основанный божественным Августом и укрепленный Тиберием, в тот режим, при котором они занимали высокие должности. Они надеялись, что зло, причиненное владыками Империи, будет исправлено новым владыкой.

Галлион извлек из складок своей тоги свиток папируса.

— Любезные друзья, — сказал он, — нынче утром я получил письма из Рима и узнал, что наш юный

повелитель сочетался браком с Октавией, дочерью Цезаря.

Эта новость была встречена одобрительным шепотом.

— Несомненно, — продолжал Галлион, — мы должны поздравить друг друга с этим союзом, благодаря которому Нерон, присоединив к своим прежним правам еще и права супруга и зятя, сделался отныне равен Британнику *. Брат мой Сенека не устает хвалить в письмах красноречие и душевную мягкость своего ученика, уже успевшего, несмотря на молодость, прославить себя, выступая перед лицом императора в сенате с защитительными речами. Ему еще нет шестнадцати лет, а он уже выиграл процесс трех виновных или просто злосчастных городов — Илиона, Болонии, Апамеи.

— Стало быть, — спросил Луций Кассий, — он не унаследовал от своих предков Домициев злобного нрава?

— Разумеется, нет, — откликнулся Галлион. — Дух Германика оживает в нем.

Анней Мела, отнюдь не слышавший льстецом, также рассыпался в похвалах сыну Агриппины. Похвалы эти звучали трогательно и искренне, ибо он подкреплял их бесчестными свидетельствами своего юного сына.

— Нерон — чист душою, скромн, доброжелателен и благочестив. Мой маленький Лукан *, свет моих очей, был товарищем его детских игр и занятий. Оба они упражнялись в декламации по-гречески и по-латыни. Оба пробовали сочинять стихи. И в этом соревновании, требующем искусства и находчивости, Нерон никогда не проявлял ни малейшей зависти. Напротив, он охотно хвалил стихи своего соперника, в которых, несмотря на незрелый возраст сочинителя, то и дело проглядывало пылкое дарование. Казалось, ему доставляло удовольствие уступать пальму первенства племяннику своего наставника. Как такая скромность украшает юного государя! Когда-нибудь поэты станут сравнивать дружбу Нерона и Лукана со священной дружбой Эвриала и Ниса *.

— Даже юная пылкость Нерона, — заметил проконсул, — не мешает разглядеть его кроткую, сострада-

тельную душу. Добродетели эти лишь укрепятся с годами.

Усыновляя его, Клавдий мудро следовал желанию сената и чаяниям народа. Этим актом он оградил Империю от ребенка, на котором лежит печать бесчестия матери, а ныне, выдав Октавию замуж за Нерона, сделал еще более вероятным восшествие на престол юного Цезаря, которому предстоит стать отрадой Рима. Почтительный сын всеми уважаемой матери, ревностный ученик философа, Нерон, уже в юности блистающий самыми приятными добродетелями, Нерон, наша надежда и надежда мира, даже в пурпурной мантии будет вспоминать уроки Портика * и станет править миром осторожно и справедливо.

— Да сбудется твое благое предсказание, — подхватил Лоллий. — Пусть же начнется счастливая пора для всего рода людского!

— Трудно провидеть грядущее, — продолжал Галлион. — И однако ж мы нимало не сомневаемся в вечности Города. Оракулы предсказали Риму владычество без конца, и было бы кощунством не верить богам. Поделиться ли с вами самой сокровенной моей надеждой? Я с радостью ожидаю, что после наказания парфян * на земле воцарится вечный мир. Да, не боясь впасть в ошибку, мы можем возвестить конец войн, столь ненавистных матерям. Кто отважится отныне нарушить мирную жизнь, установленную Римом? Наши орлы достигли пределов вселенной. Все народы узнали нашу мощь и наше милосердие. Араб, сабиец, житель Гема, сармат, утоляющий жажду кровью своего коня, сикамбр * с вьющимися кудрями, курчавый эфиоп — все они наперебой славят Рим, славят своего покровителя. Откуда взяться новым варварам? Возможно ли, чтобы льды Севера или раскаленные пески Ливийской пустыни скрывали будущих врагов римского народа? Все варвары, побежденные нашей дружбой, сложат оружие, и Рим, этот убеленный сединами старец, вкусит покой и узрит, как народы с почтением соберутся вокруг него, словно приемные дети, полные согласия и любви.

Все одобрили эти речи, лишь Кассий покачал головою.

Он кичился воинскими почестями, которых удостое-ны были его предки, и слава оружия, не раз воспетая поэтами и риторам, переполняла его восторгом.

— Не думаю, о Галлион, что народы когда-либо перестанут ненавидеть и бояться друг друга, — сказал Кассий. — Да, по правде говоря, я этого и не хочу. Если прекратятся войны, как смогут люди выказывать твердость характера, величие духа, любовь к отечеству? Мужество и самопожертвование превратятся тогда в бесполезные добродетели.

— Успокойся, Луций, — проговорил Галлион. — Когда люди перестанут побеждать друг друга, они научатся, наконец, побеждать самих себя. И это — самый добродетельный подвиг, какой они способны совершить, самое возвышенное применение их мужества и душевного благородства. О да, Рим — этот величавый патриарх, чьи морщины и посеребренные веками волосы вызывают в нас глубочайшее уважение, установит мир на земле. И тогда жизнь станет прекрасна. Она будет достойна того, чтобы именоваться жизнью. Ведь она подобна зыбкому пламени, мерцающему между двумя бесконечными областями мрака; она — горящая в нас искра божества. Пока человек живет, он подобен богам.

При этих словах Галлиона голубка прилетела и опустилась на плечо Венеры, сверкавшей мраморным телом среди миртов.

— Дорогой Галлион, — промолвил, улыбаясь, Лоллий, — птице Афродиты пришлось по вкусу твои речи. Они нежны и полны изящества.

Раб принес прохладного вина, и друзья проконсула заговорили о богах. По мнению Аполлодора, нелегко было понять их природу. Лоллий сомневался в их существовании.

— Когда сверкает молния, — сказал он, — философ волен приписать это туче или богу, посылающему гром.

Но Кассий не одобрял столь легковесные речи. Он верил в богов, почитаемых в государстве. Правда, он ничего не мог сказать о пределах их власти, но, колеблясь, утверждал, что они существуют, ибо не хотел отступать в столь важном вопросе от общепринятых

мнений. И, чтобы утвердиться в вере предков, он прибежал к доводу, заимствованному у греков.

— Боги существуют, — заявил он. — Люди создают их изображения. А ведь нельзя создать изображение того, что не существует в действительности. Как можно было бы лицезреть Минерву, Нептуна, Меркурия, если бы Минервы, Нептуна, Меркурия не было?

— Ты убедил меня, — насмешливо сказал Лоллий. — Старуха, торгующая медовыми сотами у стен базилики на Форуме, своими глазами видела бога Тифона: у него ослиная голова и чудовищный живот. Он сбил ее с ног, завернул ей юбку на голову, не спеша надавал звонких шлепков и, полумертвую от страха, оросил необыкновенно зловонной мочой. Она самолично поведала, как ее, по примеру Антиопы *, посетил бес-смертный. Таким образом, совершенно достоверно, что бог Тифон существует, коль скоро он помочился на торговку медовыми сотами.

— Твои насмешки, Марк, не разубедят меня в существовании богов, — возразил Кассий. — И, я полагаю, у них обличье человека, ибо именно в этом обличье они всегда предстают нашему взору — спим ли мы, или бодрствуем.

— А вернее сказать, — заметил Аполлодор, — у людей обличье богов, ибо боги существовали до них.

— О дорогой Аполлодор, — вскричал Лоллий, — ты забыл, что Диану сперва изображали в виде дерева, и немало великих богов сохраняет форму неотесанного камня. Кибелу изображают не с женской грудью, а с несколькими сосцами, как суку или свинью. Солнце — тоже божество, но оно слишком горячо, чтобы сохранять обличье человека, вот оно и преобразилось в шар; так что это — божество круглое.

Аней Мела беззлобно осудил эти ученые насмешки.

— Не следует понимать буквально все, что говорят о богах, — заметил он. — Толпа называет злаки Церерой, а вино — Вакхом. Но найдется ли на свете такой безумец, который поверит, будто он пьет и ест бога? Надо глубже постигать божественную природу. Ведь боги — различные стороны природы, и все они сливаются в единое божество, которое и есть сама природа.

Проконсул согласился с мнением своего брата и, приняв приличествующий предмету тон, определил важнейшие признаки божества.

— Бог есть душа мира, разлитая во вселенной, которой она сообщает движение и жизнь. Душа эта — жидкительный пламень, пронизывающий косную материю, — сотворила мир. Она управляет им и сохраняет его. Божество — источник движения — по самому существу своему благостно. Материя, в которую оно вдыхает жизнь, — недвижна и бездеятельна, а отчасти заключает в себе злое начало. Богу не дано было переделать природу материи. Этим объясняется происхождение зла в мире. Наши души — мельчайшие частицы божественного пламени, с которым предстоит им в один прекрасный день вновь соединиться. Стало быть, бог — внутри нас, и он пребывает прежде всего в людях добродетельных, чьи души не подавлены грубой материей. Мудрец, в котором обретается бог, становится богоравным. Ему надлежит не призывать божество, а удерживать его в себе. Что может быть безрассуднее мольбы, обращенной к богу? Сколь кощунственно возносить ему молитвы! Не значит ли это — думать, будто можно просветить его разум, изменить его чувства, переделать его на свой лад? Не значит ли это — забывать, что его неколебимая мудрость подчинена Необходимости? Бог послушен судьбе. Скажем лучше: судьба и есть бог. Веленье божье — закон и для людей и для самого бога. Он повелевает единожды, он покоряется вечно. Свободный и могущественный в своей покорности, он повинуетя лишь самому себе. Всё, происходящее в мире, есть развитие его изначальных и непреложных предначертаний. Вот почему он совершенно бессилен что-либо изменить в себе.

Слушатели встретили слова Галлиона одобрением. Однако Аполлдор просил позволить ему привести несколько возражений:

— Ты совершенно прав, о Галлион, веруя, что Юпитер послушен Необходимости, и я, подобно тебе, полагаю Необходимость первой из бессмертных богинь. Но мне кажется, бог твой главным образом достоин поклонения за то, что бытие его протяженно и длительно;

однако, создавая мир, он проявил больше добрых намерений, чем должного умения, так как прибегнул к веществу неблагодарному, не поддающемуся обработке, и материал подвел мастера. Я не могу не сетовать на его плохую работу. Афинские гончары куда более искусны. Они пользуются для изготовления своих сосудов пластичной и чистой, без примесей, глиной, и она легко принимает и сохраняет форму, которую ей придают. Вот почему их амфоры и чаши радуют глаз. Они отличаются изящной округленностью, и живописец без труда наносит на них изображения, приятные взору: например, старика Силена, восседающего на осле, Афродиту, свершающую свой туалет, или целомудренных amazонок. Думая обо всем этом, о Галлион, я заключаю, что если твой бог оказался менее удачливым, нежели афинские гончары, — значит ему недоставало мудрости и умения. Взятый им материал был отнюдь не перво-сортным. Однако ж, как ты сам это признаешь, он не был лишен некоторых полезных свойств. Не существует вещей ни совершенно хороших, ни совершенно плохих. Вещь, непригодная в одном случае, оказывается весьма полезной в другом. Тот, кто стал бы сажать оливковые деревья в глину, которая служит для изготовления амфор, зря потратил бы время и труд. Древо Паллады * не приметя в этой мягкой и чистой глине, из которой выделывают прекрасные сосуды, чтобы награждать ими атлетов-победителей, краснеющих от смущения и гордости. И вот, мне думается, избрав для сотворения мира не совсем пригодный материал, твой бог, о Галлион, совершил ошибку, какую совершил бы виноградарь из Мегары, сажая лозу в глину, идущую для лепки, или какой-нибудь ремесленник из Керамика, вздумавший изготавливать амфоры из каменистой почвы, питающей золотые гроздья. Твой бог создал вселенную. Разумеется, ему следовало бы создать нечто совершенно иное, если бы он принял во внимание, какой материал был у него в руках. Коль скоро вещество, как ты сам это признаешь, сопротивлялось ему — в силу ли своей косности, либо в силу другого порока, — зачем было так настойчиво применять его не по назначению: вырезать, как говорится,

лук из кипариса? Умение — не в том, чтобы много сделать, а в том, чтобы сделать хорошо. Зачем не ограничился он какой-нибудь мелочью, но зато уж сделанной на славу, скажем, рыбкой, мошкой или каплей воды?

Я мог бы привести еще несколько замечаний относительно твоего бога, Галлион, например, спросить, не опасаясь ли ты, как бы он не стерся от постоянного и тесного соприкосновения с материей, как стирается жернов, которым продолжительное время размалывают зерно? Но вопросы такого рода быстро не решаются, а время проконсула дорого. Дозволь мне хотя бы сказать, что ты не прав, веруя, будто бог направляет мир и сохраняет его, коль скоро ты и сам признаешь, что он лишил себя способности познания после того, как все постиг, лишил себя воли после того, как подчинил своей воле весь мир, лишил себя могущества после того, как стал всемогущ. И это также весьма тяжкая ошибка с его стороны. Ибо тем самым он лишил себя возможности исправить свое несовершенное творение. Я же склонен полагать, что на самом деле бог не таков, каким ты его себе представляешь, и что правильнее видеть бога в той самой материи, в которую он якобы вдохнул жизнь: мы, греки, именуем эту материю хаосом. Ты ошибочно считаешь ее косной. Она постоянно движется, и этим вечным брожением поддерживается жизнь во вселенной.

Так говорил философ Аполлодор. Выслушав его речь с некоторым нетерпением, Галлион не признал за собою ошибок и противоречий, в которых обвинил его грек. Но в полной мере опровергнуть доводы своего противника проконсулу не удалось, ибо он не отличался достаточно изощренным умом и в философии видел прежде всего средство для обращения людей к добродетели: его занимали только те истины, какие он почитал полезными.

— Согласись же, Аполлодор, что бог — не что иное, как сама природа. Природа и бог — одно. Бог и природа — всего лишь два наименования одной и той же сущности, подобно тому как имена Новат и Галлион принадлежат одному и тому же человеку. Если уж тебе

угодно, бог — это божественная мысль, растворенная в мире. И не опасайся, что он истощит свою мощь, ибо его тончайшая субстанция сродни пламени, которое пожирает все сущее, а само пребывает неизменным.

Однако, если даже отдельные стороны моей доктрины и плохо согласуются друг с другом, — продолжал Галлион, — не ставь мне этого в упрек, о дорогой Аполлодор, но, напротив, воздай хвалу за то, что я не избегаю противоречий в своих мыслях. Если бы я не мирился с противоречивостью собственных суждений и решительно предпочитал какую-нибудь одну систему, я не мог бы вообще допускать свободу суждений; разрушив же ее в себе самом, я неохотно стал бы сносить ее в других и, таким образом, утратил бы уважение, какое мы обязаны выказывать любой доктрине, обоснованной или проповедуемой всяким честным человеком. Да не допустят боги, чтобы мое мнение полностью восторжествовало над всеми другими и приобрело неограниченную власть над умами. Вы только представьте себе, дорогие друзья мои, что случилось бы с нравами, если бы большое число людей твердо верило, будто только им открыта истина, и если бы эти люди — допустите невозможное — одинаково понимали истину. Слишком ограниченное благочестие афинян, обычно преисполненных благоразумного скептицизма, привело к изгнанию Анаксагора и к смерти Сократа *. Что произошло бы, если бы миллионы людей стали рабски следовать одному взгляду на природу богов? Гениальная мысль греков и осмотрительность наших предков оставили место для сомнений и возможность поклоняться Юпитеру под различными именами. Пусть только в охваченном недугом мире какая-нибудь могущественная секта вздумает объявить, будто у Юпитера одно имя, — и потоки крови тотчас же зальют всю землю: тогда уже безумие не одного только Гая будет угрожать гибелью роду человеческому. Все приверженцы этой секты уподобятся Гаю. Они станут умирать во славу одного имени. Они станут убивать во славу одного имени. Ибо природе человека еще более свойственно убивать, нежели умирать ради того, что ему представляется превосходным и истинным. Так что надлежит основывать обществен-

ный строй, исходя из права людей на различные мнения, а не добиваясь всеобщего согласия исповедовать единую веру. Достичь такого единодушия невозможно, и, стремясь принудить к нему, легко превратить людей в глупцов и одержимых. В самом деле, наиболее неопровержимая истина представляется людям, которым ее навязывают, лишь пустым нагромождением слов. Ты заставляешь меня мыслить о вещах так, как ты их понимаешь, а не так, как понимаю их я. И таким образом вкладываешь в мой ум не какое-либо отчетливое представление, но представление, которое навсегда останется для меня непонятным. А между тем я был бы ближе к тебе, если бы мыслил о вещах иначе, но по крайней мере понимал то, что думаю. Ибо в этом случае мы оба находили бы применение своему рассудку и наше представление о мире было бы основано на нашем собственном понимании.

— Оставим этот спор, — вмешался Лоллий. — Люди просвещенные никогда не станут объединяться для того, чтобы истреблять все доктрины в пользу какой-либо одной. Что же касается толпы, то пусть себе думает, будто у Юпитера шестьсот имен или одно, — никому до этого нет дела!

Тогда повел речь Кассий, человек неторопливый и положительный:

— Остерегись, о Галлион, как бы природа божества в том понимании, какое ты ему придаешь, не вступила в противоречие с верованиями предков. В конце концов вовсе неважно, убедительнее твои доводы, чем доводы Аполлодора, или нет. Но следует помыслить об отечестве. Рим обязан религии своими добродетелями и своим могуществом. Уничтожить наших богов — значит уничтожить и нас самих.

— Не опасайся, друг, — с живостью возразил Галлион, — не опасайся, что я, исполнившись дерзостного духа, намерен отвергать существование небесных покровителей Империи. Единое божество, о Луций, которое признают философы, содержит в себе всех богов, подобно тому как человечество содержит в себе всех людей. Боги, почитание которых было установлено нашими мудрыми предками, — Юпитер, Юнона, Марс, Минерва,

Квирин, Геркулес — самые величественные проявления верховного владыки вселенной, и все они существуют наравне с ним. Нет, разумеется, я не безбожник, не враг законов. Никто более Галлиона не почитает священных установлений.

Ни один из присутствующих не выказал намерения спорить с проконсулом. И Лоллий, возвратившись к первоначальному предмету разговора, произнес:

— Мы старались проникнуть в грядущее. Друзья, какая судьба ожидает, по вашему мнению, человека после смерти?

В ответ на этот вопрос Анней Мела посулил бессмертие героям и мудрецам. А людям заурядным он отказал в нем.

— Трудно поверить, — заявил он, — что скареды, обжоры, завистники обладают бессмертной душой. Может ли преимущество такого рода принадлежать существам косным и грубым? Не думаю. Мы оскорбили бы великих богов, допустив, будто они назначили бессмертие в удел простолюдину, который понимает толк лишь в своих козах да сырах, и вольноотпущеннику, превосходящему богатством Креза *, но не знающему иных забот, кроме проверки счетов своих управителей. К чему, о благие боги, таким людям душа? Какими жалкими казались бы они в Елисейских полях * среди героев и мудрецов! Этим несчастным, которых так много на земле, нечем заполнить даже быстротекущую человеческую жизнь. Чем же заполнили бы они жизнь более долгую? Грубые души угасают вместе со смертью тела или некоторое время вьются вихрем вокруг нашей земли и затем растворяются без следа в воздушной толще. Одна лишь добродетель, делая человека равным богам, приобщает его и к их бессмертию. Как сказал поэт:

О нет, божественная добродетель
К печальным теням Стикса не сойдет
Вовек. Живи героем — и судьба
Не увлечет тебя в забвенья реку
Жестокою. И в твой последний час
Тебе на небо путь проложит слава!

Осмыслим же до конца наше положение. Всем нам предстоит умереть, исчезнуть без следа. Человек самой

блистательной добродетели не избежит общей судьбы, разве только сделается богом и займет место на Олимпе, среди героев и богов.

— Но ему не дано знать, ждет ли его апофеоз, — заметил Марк Лоллий. — Нет на земле такого раба, нет такого варвара, который не знал бы, что Август — бог. Но сам Август этого не ведает. Так что наши императоры в скорби свершают свой путь к звездам, и ныне мы наблюдаем, как Клавдий, бледнея, приближается к ожидающим его за гробом почестям.

Галлион покачал головой.

— Поэт Еврипид сказал: *

Нам оттого земная жизнь любезна,
Что жизни мы не ведаем иной.

Все, что рассказывают о мертвых, лишено достоверности, неотделимо от разных басен и лживых вымыслов. Тем не менее я полагаю, что мужи добродетельные достигают бессмертия, о котором они имеют ясное представление. И знайте же, они получают его ценою собственных усилий, а вовсе не как награду, пожалованную богами. Да и по какому праву бессмертные боги стали бы унижать человека добродетельного, вознаграждая его? Истинная плата за то, что ты совершил доброе дело, — в нем самом; ничем иным нельзя достойно воздать за добродетель. Предоставим же грубым душам боязнь наказания и надежду на вознаграждение: это поддержит в них неизменное рвение. Возлюбим в добродетели самое добродетель. Галлион, если то, что повествуют поэты о Тартаре, — правда, если ты после смерти предстанешь пред судилищем Миноса *, ты скажешь ему: «Ты не судья мне, Минос. Мои деяния уже вынесли мне приговор».

— Каким образом могут боги даровать людям бессмертие, коль скоро они сами не обладают им? — выразил сомнение философ Аполлодор.

Аполлодор действительно не верил в то, будто боги бессмертны, и уж во всяком случае в то, что их власть над миром продлится вечно.

И он привел свои доводы.

— Царствие Юпитера началось по прошествии золотого века, — сказал он. — Нам ведомо из преданий, сохраненных для нас поэтами, что сын Сатурна унаследовал от отца управление миром. Но ведь все, что имело начало, должно иметь и конец. Нелепо предполагать, будто вещь, ограниченная с одной стороны, может не иметь границы с другой. В таком случае пришлось бы признать ее одновременно конечной и бесконечной, а это сушая нелепость. Все, что имеет исходную точку, доступно измерению, начиная от этой точки, и остается доступным измерению в любой точке на всем своем протяжении, разве только изменит свою природу; стало быть, все, доступное измерению, непременно заключено между двумя крайними точками. Вот почему должно почитать достоверным, что царствие Юпитера окончится по примеру царствия Сатурна. Как сказал Эсхил: *

О да, Необходимости подвластен
Юпитер, и избегнуть не дано
Ему того, что рок предначертал.

Галлион придерживался того же мнения, основываясь на доказательствах, почерпнутых из наблюдений над природой.

— Я полагаю, подобно тебе, Аполлодор, что боги царствуют не вечно; и к этому взгляду я склоняюсь, изучая небесные явления. Небеса, подобно земле, подвержены распаду, и божественные чертоги, как и жилища людей, рушатся под бременем столетий. Я видел камни, упавшие на землю из воздушных просторов. Они почернели и потрескались от пламени. Они неоспоримо свидетельствуют о небесных пожарах.

Знай же, Аполлодор, что тела богов, как и жилища их, обречены на разрушение. И если правильны слова Гомера о том, будто боги, населяющие Олимп, оплодотворяют лоно богинь и смертных женщин, стало быть, они сами не бессмертны, хотя их жизнь и намного превосходит продолжительностью жизнь людей; обстоятельство это свидетельствует о том, что судьба вынуждает богов передавать дальше существование, которое им нельзя сохранить навеки.

— И в самом деле представляется непостижимым, — заметил Лоллий, — что бессмертные, по примеру людей и животных, рожают детей и, следовательно, обладают предназначенными для этой цели органами. Но, быть может, рассказы о любви богов — всего лишь выдумки поэтов?

Аполлодор вновь обосновал тонкими доводами, что царству Юпитера наступит когда-нибудь конец. И возвестил, что сыну Сатурна будет наследовать Прометей.

— Прометей был освобожден Геркулесом с согласия Юпитера *, — возразил Галлион, — и ныне вкушает на Олимпе блаженство, которым обязан своей прозорливости и любви к людям. Ничто не изменит больше его счастливого жребия.

Аполлодор спросил:

— Кто же тогда, по-твоему, о Галлион, унаследует громовые стрелы, колеблющие мир?

— Хотя попытка ответить на этот вопрос может показаться дерзостной, я полагаю, что могу назвать преемника Юпитера, — отвечал Галлион.

Когда проконсул произносил эти слова, служитель базилики, который обычно объявлял назначенные к слушанию дела, приблизился к нему и сообщил, что тяжущиеся ожидают его в судилище.

Проконсул осведомился, важное ли у них дело.

— Весьма ничтожное, о Галлион, — ответил служитель базилики. — Какой-то человек, живущий вблизи Кенкрейской гавани, привел на суд твой некоего чужеземца. Оба они иудеи весьма низкого положения. Спор между ними возник по поводу какого-то варварского обычая или грубого суеверия, как это свойственно сирийцам. Вот запись их показаний. Для писца, который производил ее, все это не более понятно, чем пуническая грамота.

Истец сообщает тебе, о Галлион, что он стоит во главе сообщества иудеев, именуемого по-гречески синагогой; он просит у тебя правосудия, он обвиняет какого-то выходца из Тарса, с недавних пор обосновавшегося в Кенкрее, в том, что тот каждую субботу приходит в синагогу и держит речи против иудейского

закона. «Это — позор и поношение, которые тебе должно пресечь», — заявляет истец. И ссылается на нерушимость привилегий, кои принадлежат сынам Израиля. Ответчик же отстаивает право всех тех, кто верует в его учение, стать приемными детьми некоего человека по имени Авраам и войти в его семью и угрожает при этом истцу гневом божьим. Ты видишь, о Галлион, что тяжба эта мелкая и запутанная. Тебе предстоит решить, будешь ли ты ее разбирать сам, или предоставишь это младшему судейскому чину.

Друзья проконсула посоветовали ему не обременять себя столь кляузным делом.

— Я положил своим долгом, — отвечал он им, — придерживаться в этом отношении правил, установленных божественным Августом. Не одни только важные дела надлежит мне разбирать самому, но также и мало-значительные, коль скоро они еще не разъяснены судебной практикой. Иные маловажные дела повторяются каждодневно и приобретают значение в силу того, что возникают столь часто. Мне следует самостоятельно разрешать по крайней мере по одной тяжбе из каждой категории правонарушений. Приговор, вынесенный проконсулом, становится примером и получает силу закона.

— Достоин похвалы, о Галлион, то рвение, с каким ты исполняешь свои консульские обязанности, — заметил Лоллий. — Но, зная, насколько ты мудр, я сомневаюсь, что тебе по душе отправлять правосудие. Ибо то, что люди именуют сим возвышенным словом, на самом деле — всего лишь проявление низменной осторожности и жестокой мести. Законы человеческие — порождения гнева и страха.

Галлион мягко возразил против такой мысли. Он не считал законы человеческие скрижалями истинной справедливости.

— Преступление уже само таит в себе кару для преступника, — проговорил он. — Наказание, которое добавляет к этой каре закон, несоизмеримо с нею и потому излишне. Но коль скоро, в силу заблуждения людского, законы существуют, мы должны применять их справедливо.

Он сказал служителю базилики, что вскоре прибудет в судилище, а затем обратился к друзьям:

— Есть у меня, по правде говоря, и особая причина самому заняться этим делом. Нужно пользоваться любой возможностью понаблюдать за иудеями из Кенкреи — племенем неугомонным, исполненным злобы, хулящим законы, которое не так-то легко держать в подчинении. Если мир в Коринфе будет когда-либо нарушен, то произойдет это по их вине. Возле гавани, где бросают якорь все корабли с Востока, посреди беспорядочного нагромождения складов и харчевен, находит себе прибежище бесчисленная толпа воров, евнухов, прорицателей, колдунов, прокаженных, осквернителей гробниц и человекоубийц. Это — сплошной вертеп, скопление всевозможных низостей и суеверий. Там поклоняются Изиде, Эшмуну, Венере финикийской и богу иудеев. Я с ужасом наблюдаю, как эти гнусные иудеи плодятся, скорее как рыбы, нежели как люди. Грязные портовые улицы кишат ими, как прибрежные скалы — крабами.

— Ими кишит даже Рим, и это еще ужаснее, — вскричал Луций Кассий. — По вине великого Помпея эта проказа была занесена в Вечный город *. Пленники, которых он привел из Иудеи для своего триумфа и с которыми, увы, не справился по обычаю предков, заселили своим рабским отродьем правый берег реки. У подножья Яникула — среди кожевен, мастерских, где из кишок изготавливают струны, и гноильных чанов — в предместьях, куда стекаются наиболее гнусные и отвратительные подонки на свете, живут они самыми низменными ремеслами: разгружают баржи, приходящие из Остии, продают отрепья и объедки, обменивают кресала на битое стекло. Жены их проникают в богатые дома и предсказывают будущее, дети просят подаяние у прохожих в рощах Эгерии. Как ты изволил заметить, Галлион, эти враги рода человеческого постоянно раздувают мятежи во вред другим и себе. Несколькими лет тому назад сторонники какого-то Христа или Хрестуса подняли среди иудеев кровавые смуты *. Ворота Портезские были подожжены и залиты кровью, и император, несмотря на свое долготерпение, вынужден был

принять строгие меры. Он изгнал из Рима зачинщиков мятежа.

— Мне известно это, — сказал Галлион. — Многие изгнанники поселились тогда в Кенкрее, и среди прочих некий иудей и некая иудейка из Понта; они живут здесь по сю пору и занимаются каким-то скромным ремеслом. Помнится, они ткут грубые киликийские ткани. Я не узнал ничего примечательного о сторонниках Хрестуса. Что же до него самого, то мне неведомо, что с ним случилось и жив ли он еще.

— Об этом я знаю не более тебя, Галлион, — сказал Луций Кассий, — да и никто никогда не узнает. Столь низкие существа не могут добиться известности, пусть даже преступной. К тому же встречается так много рабов, носящих имя Хрестуса, что нелегко было бы распознать какого-либо из них в этакой толпе.

Мало того, что иудеи затевают смуты в трущобах, где в силу своей многочисленности и ничтожности они избегают надзора. Они распространяются и по Городу, втираются в семьи и всюду вносят смятение. Они шумят на Форуме по наущению подстрекателей, которые платят этим презренным чужеземцам, чтобы те сеяли среди граждан взаимную вражду. Мы слишком долго терпели их присутствие в народных собраниях, и давно уже ораторы избегают задевать чувства этих негодяев из боязни подвергнуться поношению. Упрямо следуя своему варварскому закону, они стремятся подчинить ему и других и находят себе сторонников среди азиатов и даже среди греков. И хотя это кажется невероятным, а все же они навязывают свои обычаи даже латинянам. В Городе есть целые кварталы, где в день их субботы заперты все лавки. Какой позор для Рима! И в то время как они развращают простолюдинов, среди которых живут, их цари, допущенные во дворец императора, нагло следуют своим суевериям, подавая всем гражданам соблазнительный и мерзостный пример. Так любыми путями иудеи отравляют Италию восточным ядом.

Анней Мела, изъездивший весь римский мир, помог своим друзьям представить себе размеры зла, на которое они сетовали.

— Иудеи совращают все народы земли, — сказал он. — Нет ни одного греческого города и почти ни одного варварского города, где не прекращают работу в седьмой день недели, не возжигают светильников, не соблюдают по их примеру постов и не воздерживаются, подобно им, от употребления в пищу мяса некоторых животных.

Я повстречал в Александрии одного старика иудея, который не лишен был ума и даже знал толк в греческой литературе. Он радовался успехам своей религии в Империи. «По мере того как чужеземцы знакомятся с нашим законом, — заявил он мне, — они находят в нем вкус и с охотой подчиняются ему: так поступают и римляне и греки, и те, кто обитает на континенте, и те, кто живет на островах, народы Запада и Востока, Европы и Азии». Старик этот, пожалуй, впадал в некоторое преувеличение. И, однако, мы сами видим, что многие греки склоняются к верованиям иудеев.

Аполлодор с жаром стал отрицать это.

— Греков, исповедующих религию иудеев, — сказал он, — можно встретить лишь среди черни и среди варваров, которые шатаются по Греции, промышляя разбоем и бродяжничеством. Впрочем, я допускаю, что сторонники секты Заики соблазнили некоторых невежественных греков, внушив им, будто в еврейских книгах можно отыскать мысли Платона о божественном промысле *. Вот какую выдумку они стараются распространить.

— Несомненно одно, — заметил Галлион, — иудеи признают единого бога — незримого, всемогущего, зиждителя мира. Но это вовсе не значит, что они поклоняются ему с должным благоразумием. Они объявляют, будто бог этот враждебен всему, что чуждо иудейству, что он не терпит в своем храме ни образов других богов, ни статуй императора, ни даже собственных изображений. Они именуют нечестивцами тех, кто из тленной материи изготовляет богов по образу и подобию человека. Утверждая, что бог не может быть изваян из мрамора или бронзы, они приводят различные доводы; некоторые из этих доводов, признаюсь, весьма убедительны и отвечают тому понятию о верховном божестве,

которое мы себе создаем. Но что сказать, дражайший Аполлodor, о боге, который столь враждебен государству, что не терпит в своем святилище статуй императора? Что сказать о боге, которого возмущают почести, воздаваемые другим богам? И что сказать о народе, который приписывает своим богам такие чувства? Иудеи смотрят на латинских, греческих и варварских богов, как на богов враждебных, и доходят до такой степени суеверия, что думают, будто владеют полным и абсолютным знанием божества, таким знанием, к которому нельзя ничего прибавить и от которого нельзя ничего убавить.

Вам ведомо, дорогие друзья, что недостаточно проявлять терпимость ко всем религиям, надобно относиться к ним с уважением, признавать, что все они святы и равны друг другу из-за искренней веры людей, их исповедующих, и что они, подобно стрелам, пущенным из разных мест в одну мишень, соединяются в лоне бога. Лишь такая религия, которая не терпит других, сама не может быть терпима. Если позволить ей распространиться, она уничтожит все остальные. Да что я говорю! Религия столь свирепая — вовсе не религия, она скорее отдаляет, а не связывает воедино людей благочестивых, она рассекает, подобно лезвию, священные узы. Исповедовать такую религию — значит предаваться кощунству, величайшему из кощунств. Ибо поклоняться божеству в одной-единственной форме и подвергать его поношению во всех других формах, которые оно принимает в глазах людей, — значит нанести ему самое жестокое оскорбление.

Как! Принося жертвы тому Юпитеру, что с покрытой головой, я стану препятствовать чужеземцу приносить жертвы Юпитеру, чьи волосы, подобные цветам гиацинта, свободно падают на плечи; и я осмелюсь при этом считать себя поклонником Юпитера, будучи на деле нечестивцем? Нет! Нет! Человек верующий, близкий бессмертным богам, в равной мере близок всем людям благодаря религии, обнимающей и землю и небеса. Сколь отвратительно заблуждение иудеев, полагающих себя благочестивыми, потому что они поклоняются лишь своему богу!

— Они совершают над собой обряд обрезания в его честь, — заметил Анней Мела. — Дабы утаить это уродство, они вынуждены, отправляясь в общественные бани, скрывать чехлом то, что по здравом рассуждении не должно ни кичливо выставлять напоказ, ни прятать, словно нечто постыдное. Ибо одинаково смешно видеть свою гордость или позор в том, что присуще всем мужчинам. И мы не без основания страшимся, друзья мои, распространения иудейских обычаев в Империи. Впрочем, не следует бояться, что римлянам и грекам придется по вкусу обрезание. Мало вероятно, что обычай этот проникнет и в среду варваров, которые, однако, испытали бы при этом меньше неудобств, ибо в большинстве своем они настолько нелепы, что почитают постыдным, когда мужчина появляется обнаженным среди других мужчин.

— Кстати! — вскричал Лоллий. — Когда наша нежнейшая Канидия, прекраснейшая среди эсквилинских матрон, посылает своих красавцев рабов в термы, она приказывает им надевать короткие штаны, ибо готова завидовать каждому, кому доведется увидеть то, что ей всего дороже в них. Клянусь Поллуксом! По ее вине их станут почитать иудеями, а ведь такое предположение оскорбительно даже для раба.

Луций Кассий продолжал с раздражением:

— Не знаю, охватит ли иудейское безумие весь мир. Но уже достаточно того, что оно, словно поветрие, распространяется среди невежд, достаточно, что его терпят в Империи, что разрешают существовать этому мерзопакостному, запятнанному позором народу, гнусному и нелепому в своих обычаях, нечестивому и злокозненному в своих законах, отвратительному для бессмертных богов. Грязный сириец развращает град Ромула и Рема. Унижение это — кара за наши злодеяния. Мы презрели древние обычаи и благие наставления предков. Мы не воздаем более почестей этим владыкам мира, которые подчинили его нашей власти. Кто ныне помышляет о гаруспиках? * Кто выказывает уважение авгурам? * Кто чтит Марса и божественных близнецов? О, прискорбное забвение религиозных обязанностей! Италия отреклась от своих древних богов и божеств-

покровителей. Ныне она со всех сторон открыта наплыву чужестранных суеверий и, совершенно беззащитная, отдана во власть нечестивой толпе восточных жрецов. Увы! Неужели Рим покорил мир лишь для того, чтобы быть покоренным иудеями? Разумеется, у нас не было недостатка в предостережениях. Выход Тибра из берегов и неурожай — недвусмысленные свидетельства гнева богов. Каждый день приносит нам новое зловещее предзнаменование. Земля содрогается, солнце окутывается дымкой, молния прорезает безоблачное небо. Чудеса следуют за чудесами. Люди видели, как грозные птицы опускались на вершину Капитолия. На эллинском побережье заговорил бык. Женщины рождали чудовищ; жалобный голос послышался посреди театрального представления. Статуя Победы выпустила из рук поводья.

— Небожители весьма странным способом выражают свою волю, — проговорил Марк Лоллий. — Если им угодно получить немного больше сала или благовоний, уж лучше бы они говорили об этом прямо, а не прибегали к посредству грома, облаков, ворон, быков, бронзовых статуй да младенцев о двух головах. Признай также, Луций, что боги ничем не рискуют, предрекая нам несчастья, ибо, в согласии с течением вещей, нет такого дня, который не приносил бы невзгод отдельному человеку или всему городу.

Но Галлиона, казалось, тронули жалобы Кассия.

— Даже Клавдий, который постоянно погружен в дремоту, — сказал он, — был взволнован столь грозной опасностью. Он выразил свое неудовольствие сенату по поводу того небрежения, какое проявляется к древним обычаям. Испуганный распространением чужеземных суеверий, сенат по совету императора вновь возродил роль гаруспиков. Но дело не только в религиозных обрядах, надобно возродить былую чистоту человеческих сердец. Римляне, вы вновь призываете прежних богов. Но ведь истинное местопребывание богов в этом мире — души людей добродетельных. Возродите в себе былые добродетели — простоту, чистосердечие, преданность общему благу, — и боги тут же возвратятся к вам. Вы сами сделаетесь для них алтарями и храмами.

Сказав это, он простился с друзьями и уселся в носилки, которые уже несколько минут ожидали его возле миртовой рощи, чтобы доставить в судилище.

Все поднялись и, покинув вслед за Галлионом сады, двинулись медленным шагом вдоль двойного портика, который был устроен таким образом, что в любое время дня там царила тень, и тянулся от стен виллы вплоть до самой базилики, где проконсул вершил правосудие.

По дороге Луций Кассий жаловался Меле на забвение, в котором пребывают заветы древних.

Положив руку на плечо Аполлодору, Марк Лоллий обратился к философу:

— Мне сдается, что ни кроткий Галлион, ни Мела, ни даже Кассий не признались, почему они так сильно ненавидят иудеев. Я думаю, что знаю причину этого, и хочу поведать тебе о ней, дорогой Аполлодор. Римляне, приносящие в дар богам белую свинью, украшенную лентами, ненавидят иудеев, потому что те отказываются есть свинину. Не зря судьба ниспослала благочестивому Энею белоснежную самку вепря в виде знамения. Если бы боги не засадили дубами пустынные царства Эвандра и Турна, Рим не был бы ныне властелином мира. Желудями Лациума откармливались свиньи, которые одни только и способны были утолить своим мясом ненасытный голод благородных потомков Рема. Наши италийцы, чьи тела напитаны плотью диких и домашних свиней, почитают себя оскорбленными горделивым воздержанием иудеев, которые упорно отказываются от свинины, как от нечистой пищи, и унижают тем самым столь дорогие сердцу старого Катона жирные стада, кормящие владык вселенной.

Так, предаваясь легкой беседе и наслаждаясь прохладной тенью, все четверо достигли конца портика, и перед ними внезапно открылся Форум, залитый солнечным светом.

В тот утренний час Форум оживляло шумное движение толпы. Посреди площади возвышалась медная статуя Минервы на пьедестале, украшенном извая-

ниями муз, а справа и слева виднелись бронзовые фигуры Меркурия и Аполлона — творения Гермодора из Киферы. Нептун с зеленой бородой стоял в большой раковине. У ног бога дельфин извергал струи воды.

Форум был со всех сторон окружен величественными зданиями, их высокие колонны и своды выдавали римскую архитектуру. Напротив портика, откуда вышли Мела и его друзья, пропилеи, увенчанные двумя золочеными колесницами, служили границей площади, а мраморная лестница вела отсюда на широкую и прямую Лекейскую дорогу. По обе стороны этих величавых ворот вздымались расписные фронтоны святилищ — Пантеона и храма Дианы Эфесской. Храм Октавии, сестры Августа, господствовал над Форумом и гляделся в море.

Базилика лишь темной улочкой была отделена от храма, она возносилась на двухъярусных аркадах, опиравшихся на столбы, к которым примыкали дорические полуколонны на квадратном основании. В этом проявлялся римский стиль, наложивший свой отпечаток и на все остальные сооружения в городе. Лишь обугленные развалины древнего храма сохранились от прежнего Коринфа.

Нижние аркады базилики не имели дверей и служили лавками торговцам плодами, овощами, оливковым маслом, вином, жареным мясом, а также птицеводам, золотых дел мастерам, переписчикам и цирюльникам. Здесь же обосновались и менялы, сидевшие за маленькими столиками, заваленными золотыми и серебряными монетами. Из-под темных сводов этих лавчонок доносились крики, смех, возгласы, шум перебранок и острые запахи. На мраморных ступенях, всюду, где голубоватая тень ложилась на плиты, праздные люди играли в кости или в бабки, тяжущиеся прогуливались взад и вперед с тревожным видом, моряки деловито решали, на какие удовольствия истратить свои деньги, а любопытные читали новости из Рима, изложенные суетными греками. В этой толпе коринфян и чужеземцев сновали нищие-слепцы, наруганные молодые люди с выщипанными бородами, торговцы кресалами, калеки-мо-

ряки, на шее у которых висели дощечки, где изображено было кораблекрушение. С кровли базилики голуби стаями опускались на освещенную солнцем мостовую и высккивали зерна в трещинах нагретых плит.

Девочка лет двенадцати, смуглой и бархатистой кожей напоминавшая фиалку с Закинфа, опустила на землю своего братишку, еще не умевшего ходить, поставила рядом с ним выщербленную миску, полную какого-то месива, с торчавшей в ней деревянной ложкой, и сказала:

— Ешь, Коматас, ешь и сиди тихо, а то тебя красная лошадь заберет.

Затем, с оболом в руке, она побежала к торговцу рыбой, чье морщинистое лицо и обнаженная грудь цвета шафрана виднелись из-за корзин, выложенных морской травой.

Тем временем голубка, пролетавшая над крошкой Коматасом, запуталась лапками в волосах малыша. Он захныкал, а потом, призывая на помощь сестру, завопил прерывающимся от рыданий голосом:

— Иоэсса! Иоэсса!

Но сестра не слышала его. Она рылась в корзинах старика, среди рыб и ракушек, ища, чем бы украсить свой завтрак, состоявший из одного лишь сухого хлеба. Она не купила ни морского дрозда, ни смариды, которые так нежны на вкус, но очень дороги. В своем походе она унесла три пригоршни морских ежей и морских игл.

А малютка Коматас, широко разинув рот и глотая слезы, продолжал кричать:

— Иоэсса! Иоэсса!

Птица Венеры не унесла Коматаса в сияющие небеса по примеру орла Юпитера*. Голубка оставила мальчика на земле, и только три золотистых волоса с его лохматой головенки повисли на ее розовых лапках.

А малыш, сидя возле перевернутой миски и сжимая в кулачке деревянную ложку, горько плакал, и его перепачканные пылью щеки блестели от слез.

Анной Мела в сопровождении трех своих друзей поднялся по ступеням базилики. Равнодушно внимая шуму бурлящей толпы, он говорил Кассию о грядущем обновлении вселенной.

— В день, предустановленный богами, весь окружающий нас мир, который поражает взоры своим порядком и устройством, будет разрушен. Светила столкнутся между собой; все вещества, образующие землю, воздух и воды, сгорят в общем пламени. А души, оставшиеся после гибели людей и едва приметные на фоне всеобщего разрушения, вернуться в свою первозаданную стихию. Совершенно новый мир...

При этих словах Анной Мела споткнулся о какого-то спящего человека, который примостился в тени. То был старик, с удивительным искусством прикрывший свое запыленное тело складками дырявого плаща. Котомка, сандалии и посох лежали с ним рядом.

Брат проконсула, неизменно приветливый и благожелательный к людям скромного положения, собрался было уже извиниться, но лежавший на земле человек не дал ему для этого времени.

— Смотри лучше, куда ставишь ногу, грубиян, — завопил он, — и подай милостыню философу Посохару.

— Я вижу котомку и посох, — с улыбкой проговорил римлянин. — Но пока еще не вижу философа*.

Он уже приготовился бросить монету Посохару, но Аполлодор удержал его руку.

— Не торопись, Анной. Это вовсе не философ, это даже не человек.

— Зато я человек, — отозвался Мела, — коль скоро даю ему деньги, и он — также человек, коль скоро берет их. Ибо из всех животных один лишь человек совершает и то и другое. И разве ты не понимаешь: ведь всего за один динарий я проникаюсь уверенностью, что стою больше, чем он. Твой учитель утверждает: тот, кто дает, выше того, кто принимает.

Посохар взял монету. После этого он изрыгнул на Аннея Мелу и его друзей поток грубой брани, чества их гордецами и распутниками и отсылая к публичным женщинам и фиглярам, слонявшимся вокруг, раскачивая бедрами. Затем, обнажив до пупа свое волосатое

тело и укрыв лицо лохмотьями плаща, он снова растянулся во весь рост на мостовой.

— Не любопытно ли вам послушать, — спросил Лоллий у своих спутников, — как эти иудеи станут излагать в претории сущность своей тяжбы?

Они отвечали, что не испытывают к тому ни малейшего желания и предпочитают прогуливаться в тени портика, поджидая проконсула, который, вероятно, не замешкается в судилище.

— Я последую вашему примеру, друзья мои, — откликнулся Лоллий. — Вряд ли мы упустим что-либо заслуживающее внимания. Впрочем, — прибавил он, — кенкрейские иудеи, которые явились сюда вместе с тяжущимися, не все вошли в базилику. Вот, например, один из них: его нетрудно узнать по крючковатому носу и раздвоенной бороде. Он беснуется, словно Пифия.

И Лоллий указал своим собеседникам на тощего, бедно одетого чужеземца, который в тени портика вопил посреди издевавшейся над ним толпы:

— Мужи коринфские, напрасно вы кичитесь собственной мудростью, ибо на самом деле она — безумие. Вы слепо подчиняетесь наставлениям своих философов, которые ведут вас к гибели, а не к жизни. Вы не соблюдаете законов естества, и господь ниспослал вам в наказание противоестественные пороки...

Какой-то моряк, подошедший к кружку зевак, узнал говорившего и пробормотал, пожимая плечами:

— Да это Стефан, иудей из Кенкреи; уж не возвещает ли он какую-нибудь необыкновенную новость о своем пребывании за облаками, — ведь, если верить ему, он туда возносился.

А Стефан поучал народ:

— Христианин не подвластен ни закону, ни вожделению. Он искуплен от проклятия милосердием господа бога, который повелел своему единому сыну приять грешную плоть, дабы истребить самый грех. Но вы сподобитесь спасения только в том случае, если, презрев плоть, станете жить, ревнуя лишь о душе своей.

Иудеи блюдут закон и полагают спастись деяниями своими. Но спасает вера, а не деяния. К чему послу-

жит им то, что они подверглись обрезанию, если сердца их по-прежнему коснеют во грехе?

Мужи коринфские, исполнитесь веры, и вы будете приняты в семью Авраамову.

В толпе послышался смех, люди стали издеваться над темными словами говорившего. Но иудей продолжал пророчествовать утробным голосом. Он возвещал великий гнев и разрушительный огонь, который испепелит мир.

— И все это сбудется еще на моем веку, — выкрикивал он, — и я увижу все это своими глазами. Наступил для нас час восстать ото сна. Ночь кончилась, занимается день. Праведники вознесутся на небо, а те, кто не уверовал в распятого Христа, погибнут.

Затем, посулив воскресение усопших, он возопил «Анастасис!»¹, чем вызвал насмешки развеселившейся толпы.

В это мгновение член коринфского совета старейшин, булочник Милон, который уже несколько минут нетерпеливо прислушивался к речам иудея, приблизился к нему, грубо дернул его за руку и громовым голосом закричал:

— Замолчи, презренный, перестань болтать чепуху! Все, о чем ты толкуешь, — рассказы для детей и вздор, способный обмануть только женщин. Как смеешь ты, ссылаясь на свои бредни, морочить нас, отвергая все прекрасное, любуясь только дурным и даже не извлекая никакой выгоды из своего озлобления? Отрекись же от своих нелепых призраков, от своих извращенных побуждений, от своих мрачных прорицаний, не то боги отправят тебя на потребу воронам в наказание за хулу, изрыгаемую тобой на этот град и на Империю.

Граждане встретили слова Милона возгласами одобрения.

— Он правду сказал, — закричали они. — У этих сирийцев лишь одно на уме: они норовят подорвать силу нашего отечества. Они — враги императора.

¹ Воскресение! (*греч.*).

Люди хватали с лотков тыквы и сладкие рожки, другие подбирали устричные раковины и швыряли ими в апостола, который все еще пророчествовал.

Выброшенный из портика, он двинулся по Форуму; провожаемый улюлюканьем и бранью, осыпаемый ударами, измазанный нечистотами, окровавленный и голый, он продолжал выкрикивать:

— Учитель рек: мы — отбросы мира.

И ликовал.

Дети преследовали его вдоль Кенкрейской дороги, звонко крича:

— Анастасис! Анастасис!

Посохар больше не спал. Едва только друзья проконсула удалились, он приподнялся на локте. Сидя на ступеньках, в нескольких шагах от него, смуглая Иоэсса разгрызала острыми, как у щенка, зубами скорлупу морской иглы. Киник, подозревая девочку, показал ей блеснувшую на солнце серебряную монету, только что полученную им. Затем, приведя в порядок свои лохмотья, он встал, надел сандалии, поднял посох, котомку и начал спускаться по ступеням. Иоэсса приблизилась к нему, взяла у него из рук дырявую суму, с важным видом повесила ее себе через плечо, словно готовясь поднести в дар царственной Киприде, и двинулась вслед за стариком.

Аполлодор увидел, как они пошли Кенкрейской дорогой по направлению к кладбищу рабов и к месту казней, которое можно было распознать издали по туче воронов, вьющихся над крестами. Философу и девушке были ведомы там кусты толокнянки — всегда пустынный уголок, благоприятствующий любовным забавам.

При виде их Аполлодор потянул Мелу за край тоги.

— Взгляни, — проговорил он. — Едва получив от тебя подаяние, этот пес уже уходит с собою девчонку, чтобы предаться с ней плотским утехам.

— Стало быть, — отвечал Мела, — я дал деньги человеку, которому они весьмагодились.

А между тем малютка Коматас, сидя на нагретой плите мостовой и посасывая большие пальцы, смеялся при виде блестящего на солнце камешка.

— Кстати, — продолжал Мела, — тебе надлежит согласиться, о Аполлодор, что Посохар предается любви именно так, как и подобает философу. Этот пес несомненно куда мудрее наших юных распутников с Палатина, что служат богине любви среди благово- ний, смеха и слез с томностью и неистовством...

Пока он говорил, громкие вопли донеслись из претории и едва не оглушили грека и трех римлян.

— Клянусь Поллуксом! — вскричал Лоллий. — Люди, которых судит наш Галлион, галдят, как носильщики, и мне чудится, что вместе с их криками сквозь двери претории доносится запах пота и лука.

— Сушая правда, — отозвался Аполлодор. — Но будь Посохар философом, а не псом, он не стал бы служить уличной Венере, он бежал бы женского пола и прилепился душой к какому-нибудь юноше, дабы созерцать его внешнюю красоту как выражение красоты внутренней, куда более возвышенной и драгоценной.

— Любовь — страсть отвратительная, — заметил Мела. — Она мешает согласию, ниспровергает наши добрые намерения, отвлекает нас от самых возвышенных помыслов и переполняет самыми ничтожными заботами. Любовь не может обитать в душе человека здравомыслящего. Как учит поэт Еврипид...

Мела не закончил. Предшествуемый ликторами *, которые отесняли толпу, проконсул вышел из базилики и приблизился к своим друзьям.

— Как видите, я недолго отсутствовал, — сказал он. — Тяжба, которую мне пришлось разбирать, оказалась самой незначительной, просто смехотворной. Вступив в преторию, я увидел, что в нее набилась пестрая толпа иудеев, — тех, что в своих грязных лавчонках возле Кенкрейской гавани продают морякам ковры, ткани, золотые и серебряные безделушки. Они наполняли воздух визгом и козлиным зловонием. Я с превеликим трудом вникал в смысл их речей, и мне пришлось сделать над собой большое усилие, дабы постичь, что один из этих иудеев по имени Сосфен, называвший себя главой синагоги, обвинял в нечестии другого иудея, человека необыкновенно уродливого,

колченогого, с гноющимися глазами, то ли Павла, то ли Савла * по имени, уроженца Тарса, который с некоторых пор живет в Коринфе, зарабатывает хлеб своим ремеслом ткача и, объединившись с изгнанными из Рима иудеями, вместе с ними изготавливает полотно для палаток и киликийские одежды из козьей шерсти. Они говорили все разом на отвратительном греческом языке. Все же я уловил, что Сосфен вменял в преступление Павлу то, что тот, явившись в дом, где иудеи Коринфа имеют обыкновение собираться каждую субботу, пытался совратить единоверцев своими речами и побудить их поклоняться богу способом, противным их закону. Далее я слушать не захотел. Не без труда водворив тишину, я сказал им, что если бы они явились ко мне с жалобой на какую-нибудь несправедливость или насилие по отношению к ним, то я бы их выслушал терпеливо и с должным вниманием; но поскольку речь идет единственно о словесной расправе и о разногласии в толковании их закона, то это меня не касается и я не могу выступать их судьей в тяжбе такого рода. После чего я выпроводил их, сказав в виде напутствия: «Сами разрешайте свои внутренние споры, как вам будет угодно».

— А что они на это ответили? — осведомился Кассий. — Охотно ли подчинились твоему мудрому решению, Галлион?

— Черни не дано ценить мудрость, — отвечал проконсул. — Эти люди встретили мое решение гневным ропотом, что я, как вы догадываетесь, оставил без внимания. Когда я уходил, они вопили и яростно ссорились у дверей судилища. Насколько мне удалось заметить, больше всего ударов пришлось на долю истца. Если мои ликторы не установят порядок, человек этот останется лежать на плитах пола. Эти иудеи из гавани — круглые невежды и, подобно большинству невежественных людей, не умея подкрепить доводами истинность своих убеждений, предпочитают пускать в ход руки и ноги.

Друзья этого низкорослого уродливого иудея с гноющимися глазами по имени Павел, как видно, весьма искусны в такого рода ученых спорах. Боги

всеблагие! Противники явно переспорили главу синагоги, обрушивая на него град ударов и пиная его ногами! Впрочем, я не сомневаюсь, что и друзья Сосфена, окажись они сильнее, обошлись бы с Павлом точно так же, как друзья Павла обошлись с Сосфеном.

Мела поздравил проконсула.

— Ты мудро поступил, брат, положив не вмешиваться в свару этих мерзких сутяг.

— Можно ли было поступить иначе? — отозвался Галлион. — Как стал бы я разбирать тяжбу этих Сосфена и Павла, которые в равной мере тупы и сумасбродны?.. Если я испытываю к ним презрение, друзья мои, то вовсе не потому, что они слабы и бедны, не потому, что от Сосфена воняет соленой рыбой и не потому, что Павел искалечил свои пальцы и свой ум, пока без усталости ткал ковры да полотно для палаток. Нет! Филемон и Бавкида * жили в бедности, а были достойны высочайших почестей. Боги не отказывались разделять их скудную трапезу. Мудрость возносит раба превыше его господина. Что я говорю! Добродетельный раб становится богоравным. Более того, если он равен богам в мудрости, то превосходит их красотой подвига. Эти иудеи достойны презрения лишь потому, что они грубы и в них даже не теплится божественный огонь.

Слова эти вызвали улыбку у Марка Лоллия.

— Боги, — заметил он, — и в самом деле не посещают сирийцев, живущих возле гаваней, среди торговцев плодами и публичных женщин.

— Даже варвары, — продолжал проконсул, — имеют некое представление о богах. Не говоря уже о египтянах, которые в древности были преисполнены благочестия, во всей богатой Азии не найдется народа, который не поклонялся бы или Юпитеру, или Диане, Вулкану, Юноне, либо матери Энеадов *. Они наделяют эти божества странными именами, непонятным обликом и порою приносят им человеческие жертвы, но они признают их могущество. Одни лишь иудеи не ведают истинной власти богов. Не знаю, суверен ли этот Павел — которого сирийцы именуют и Савлом — так же, как остальные, и так же ли он упорствует в своих заблуждениях; не знаю, какое смутное представление

составил он себе о бессмертных богах, и, по правде говоря, мне даже не любопытно это. Чему можно научиться у того, кто сам ничего не знает? Ведь это, собственно говоря, значило бы учиться невежеству. Из нескольких неясных фраз, которые он произнес в моем присутствии, отвечая своему обвинителю, я заключил, что он расходится со жрецами своего народа, отвергает верования иудеев и поклоняется Орфею, называя его каким-то чужеземным именем *, которое я не удержал в памяти. На эту мысль меня навело то обстоятельство, что он с уважением говорил о некоем боге или, скорее, о некоем герое, который спустился в Тартар и вновь возвратился на землю после долгих скитаний среди бледных теней в царстве смерти. Не поклоняется ли он Меркурию подземному? Но я скорее поверю, что он поклоняется Адонису, ибо мне послышалось, будто он, по примеру женщин Библоса, оплакивал страдания и гибель какого-то бога.

Страны Азии наводнены такими юными богами, которые умирают и воскресают. Сирийские куртизанки завезли в Рим культ этих богов, и небесные юноши нравятся порядочным женщинам больше, чем это приличествует. Наши матроны, не стыдясь, украдкой приобщаются их таинств. Моя Юлия, столь рассудительная и сдержанная, не раз спрашивала меня, что надлежит ей об этом думать. «Что надо думать о боге, — ответил я ей с негодованием, — о боге, который, благосклонно принимает тайные поклонения замужних женщин? У жены не должно быть иных друзей, кроме друзей мужа. А разве боги — не первые наши друзья?»

— Уж не чтит ли этот человек из Тарса, — спросил философ Аполлодор, — бога Тифона *, которого египтяне называют Сетом? Говорят, будто некий бог с головою осла в почете у одной иудейской секты. Бог этот — не кто иной, как Тифон, и я нисколько не удивлюсь, если окажется, что кенкрейские ткачи поддерживают втайне сношения с Бессмертным, который, по рассказу нашего нежнейшего Марка, оросил небесной мочой торговку медовыми сотами.

— Не знаю, — сказал Галлион. — Толкуют, правда, будто некоторые сирийцы собираются вместе, дабы

втайне поклоняться какому-то богу с ослиной головой. И, может статься, Павел принадлежит к их числу. Но что нам до Адониса, Меркурия, Орфея или Тифона, которых чтит этот иудей? Его бог будет всегда властвовать лишь над всеми этими гадалками, ростовщиками да грязными торгашами, которые в гаванях обирают моряков. Самое большее, на что он способен, — это подчинить себе в предместьях крупных городов жалкие горстки рабов.

Марк Лоллий расхохотался.

— Так и вижу этого уродливого Павла в роли основателя религии рабов! Клянусь Кастором! То было бы прелестное нововведение. Если бы этот бог рабов ненароком взобрался на Олимп — да не допустил того Юпитер! — и изгнал бы оттуда богов Империи, что стал бы он затем делать? Как стал бы он повелевать поверженным в изумление миром? Любопытно было бы взглянуть на него. Не сомневаюсь, что сатурналии * при нем продолжались бы весь год. Он открыл бы гладиаторам доступ к почетным должностям, публичных женщин из Субуры * водворил бы в храм Весты * и, чего доброго, превратил бы какой-либо жалкий сирийский городишко в столицу мира.

Лоллий еще долго продолжал бы свою шутивную речь, если бы Галлион не прервал его.

— Не рассчитывай увидеть все эти необыкновенные чудеса, Марк, — сказал он. — Хоть люди и способны на величайшие сумасбродства, но не этому низкорослому ткачу-иудею, изъясняющемуся на ломаном греческом языке, прельстить их своими рассказами о сирийском Орфее. Бог рабов способен лишь сеять смуту да раздувать мятежи, но их быстро потопят в крови, и он не замедлит погибнуть вкупе со своими почитателями на арене цирка, в когтях хищных зверей, под рукоплескания римского народа.

Оставим в покое Павла и Сосфена. Их мысли не помогут нам в тех поисках, коим мы предавались, когда они так некстати прервали нас. Мы стремились проникнуть взором в грядущее, которое боги уготовляют миру, — не нам, любезные друзья, и не мне, в частности, ибо мы согласны вынести все, что выпадет

нам на долю, — но нашему отечеству и всему роду людскому, предмету нашей любви и сострадания. Нет, что бы ни говорил на сей счет Марк, не этому иудею-ковровщику с воспаленными веками дано назвать нам имя бога, который свергнет Юпитера с престола.

Галлион прервал свою речь, чтобы отослать ликторов, которые недвижной шеренгой стояли пред ним со связками прутьев на плечах.

— У нас нет нужды в этих розгах и секирах, — произнес он с улыбкой. — Наше единственное оружие — слово. Пусть же наступит день, когда во всем мире не останется иного оружия! Если вы не слишком утомлены, друзья мои, пройдемте к Пиренскому источнику. На полпути нам встретится древняя смоковница, под которой, как гласит предание, обманутая Медея * обдумывала планы своей жестокой мести. Коринфяне почитают это дерево в память ревнивой царицы и вешают на него обетные дощечки: ведь им-то Медея делала одно лишь добро. Дерево это увенчано густой кроной, а ветви его, склонившись до земли, пустили в нее корни. Мы укроемся в его тени и дождемся за беседой часа купания.

Детям надоело преследовать Стефана, и теперь они играли в бабки на обочине дороги. Торопливо шагавший апостол невдалеке от места, где совершались казни, повстречал иудеев, идущих толпой из Кенкрейской гавани узнать о решении проконсула относительно синагоги. То были друзья Сосфена. Люди эти были крайне раздражены против иудея из Тарса и его сторонников, которые хотели изменить закон. При виде человека, утиравшего рукавом залитые кровью глаза, им показалось, что они узнали его, и один из них, схватив проповедника за бороду, спросил, не Стефан ли он, сторонник Павла.

Тот с гордостью отвечал:

— Да, он перед вами!

В тот же миг Стефана повалили наземь и стали топтать ногами. Подбирая булыжники, иудеи вопили:

— Это богоотступник! Побьем его камнями!

Двое самых неистовых пытались вырвать из земли установленный римлянами дорожный столб, чтобы обрушить его на Стефана. Камни с глухим шумом ударились об изможденное тело апостола, который громко кричал:

— О, сладчайшие раны! О, блаженные муки! О, живительные терзания! Я зрю Иисуса!

В нескольких шагах от дороги старик Посохар, расположившись в кустах толокнянки, под журчание источника ласкал гладкие бедра Иоэссы. Раздосадованный шумом, он невнятно проворчал, уткнувшись лицом в кудри юной девушки:

— Убирайтесь прочь, подлые скоты, и не мешайте утехам философа!

Несколько минут спустя какой-то центурион, проходя по опустевшей дороге, поднял Стефана, дал ему выпить глоток вина и протянул тряпку, чтобы тот перевязал свои раны.

Тем временем Галлион, сидевший с друзьями под деревом Медеи, говорил:

— Если вы любопытствуете узнать имя преемника владыки людей и богов, поразмыслите над словами поэта:

Родит Юпитера супруга сына*,
И он сильнее будет, чем отец.

Поэт имеет в виду не божественную Юнону, а самую прославленную из смертных женщин, с которыми сочетался повелитель Олимпа, многократно менявший свой облик и своих возлюбленных. Мне представляется неоспоримым, что власть над вселенной должна перейти к Геркулесу. Я уже давно пришел к этому твердому убеждению на основании доводов, почерпнутых не только у поэтов, но также у философов и ученых. Верховную власть сына Алкмены я, так сказать, заранее приветствовал в развязке моей трагедии «Геркулес на Эте», которая заканчивается такими стихами:

О ты, великий победитель чудищ,
Вселенной замиритель, будь же к нам
И добр и милосерд! Воззри на землю,
И если чудище в обличье новом

Опять явилось устрашать людей, —
Испепели его ударом молний!
Ведь ты умеешь громовые стрелы
Метать еще искусней, чем отец.

Я предвещаю, что близкое воцарение Геркулеса будет радостно для людей. В своей земной жизни он выказал дух терпеливый и устремленный к высоким помыслам. Он истребил чудищ. Когда десница его вооружится молнией, он не позволит новому Гаю безнаказанно властвовать над Империей. Добродетель, простота древних времен, мужество, чистосердечие и мир воцарятся с пришествием Геркулеса. Вот — мое пророчество!

И Галлион, поднявшись, простился со своими друзьями, напутствуя их так:

— Пребывайте в благополучии и любите меня!

III

Когда Николь Ланжелье закончил чтение, пустынный Форум внезапно огласился веселыми криками птиц, о которых говорил Джакомо Бони.

Небо окутало римские развалины вечерним пепельным покровом; молодые лавры, окаймляющие Священную дорогу, простирали в свежем воздухе свои темные, словно старинная бронза, ветви; откосы Палатинского холма одевались в лазурь.

— Вы не измыслили свою историю, Ланжелье, — заявил г-н Губен, который не легко поддавался на обман. — Дело, возбужденное Сосфеном против апостола Павла в судилище Галлиона, проконсула Ахеи, упоминается в «Деяниях апостолов»*.

Николь Ланжелье и не думал спорить.

— Об этом говорится в главе восемнадцатой, — заметил он, — сейчас я прочту вам из нее стихи с двенадцатого по семнадцатый, которые записал на полях своей рукописи.

И он прочел:

— «12. Между тем во время проконсульства Галлиона в Ахее напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище,

13. Говоря, что он учит людей чтить бога не по закону.

14. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи! Если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас;

15. Но когда идет спор об учении, и об именах, и о законе вашем, то разбирайте сами: я не хочу быть судьей в этом».

16. И прогнал их от судилища.

17. А все эллины, схвативши Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем; и Галлион нимало не беспокоился о том».

— Я ничего не выдумал, — прибавил Ланжелъе. — Об Аннее Меле и брате его Галлионе известно немного. Одно лишь бесспорно: их можно отнести к наиболее просвещенным людям своего времени. Когда Ахею — сенатскую провинцию при Августе, императорскую провинцию при Тиберии — Клавдий вновь возвратил сенату, Галлиона послали туда проконсулом. Несомненно он был обязан этим влиянию своего брата Сенеки; но, возможно, выбор пал на него также из-за его знакомства с греческой литературой и из-за того, что он способен был завоевать расположение афинских ученых, которыми так восхищались римляне. Это был образованный человек. Ему принадлежит книга о природе; сочинял он, по-видимому, и трагедии. Труды его до нас не дошли, но есть основания предполагать, что некоторые отрывки из них попали в собрание драматических сочинений, приписанных без достаточных оснований его брату-философу. Я изобразил Галлиона стойким, разделяющим многие мысли своего прославленного брата. Это вполне правдоподобно. Но, наделив его добродетельными и умеренными взглядами, я остерегся сделать его сторонником законченного учения. Римляне в те времена сочетали взгляды Эпикура со взглядами Зенона *. Приписывая подобный эклектизм Галлиону, я не слишком рисковал впасть в ошибку. Я представил его человеком приятным. Таким он безусловно и был. Сенека сказал, что не было никого, кто не любил бы Галлиона от всей души. И сам Галлион был добр к окружающим. При этом он искал почестей.

Брат его, Анней Мела, напротив, почестей избегал. На сей счет сохранились свидетельства философа Сенеки, равно как и Тацита *. Когда Гельвия, мать Сенеки и двух его братьев, потеряла мужа, самый прославленный из ее сыновей написал для нее небольшой философский трактат. В этом труде он призывает ее помыслить о том, что ее сыновья — Галлион и Мела, — столь разные по нраву, одинаково достойны ее привязанности, и ради них-то она должна примириться с жизнью.

«Взгляни на моих братьев. Можешь ли ты, пока они живы, сетовать на судьбу? Ведь каждый из них своими добродетелями утешит тебя в печали. Таланты Галлиона принесли ему почести. Мела, по мудрости своей, почести презрел. Наслаждайся же известностью одного, душевным спокойствием другого, любовью обоих. Мне ведомы заветные помыслы моих братьев. Галлион ищет отличий, дабы украсить этим тебя. Мела тяготеет к жизни мирной и безмятежной, дабы посвятить себя заботам о тебе».

Вот приблизительно в каких выражениях писал обо всем этом Сенека.

В годы принципата Нерона Тацит был еще ребенком и не мог знать Сенеку и его братьев. Он только собрал дошедшие до его времени рассказы о них. Он утверждает, будто Мела уклонялся от почестей в силу утонченного самолюбия, ибо желал, оставаясь всего лишь римским всадником, сравняться во влиянии с консулами. Мела долгое время самолично управлял своими огромными владениями в Бетике, а затем прибыл в Рим, где добился должности управителя поместьями Нерона. Из этого заключили, что Мела был искусен в делах; полагали даже, что он не был таким бессребреником, каким хотел прослыть. Вполне возможно. Сенеки, охотно щеголявшие своим пренебрежением к богатству, в то же время владели громадным состоянием, и трудно поверить наставнику Нерона, когда он, живя в роскошном доме, окруженном великолепными садами, говорит, как любезна его сердцу жизнь бедняка. И все-таки сыновья Гельвии по праву считались людьми недюжинными. У Мелы и

его жены Атиллы был сын — поэт Лукан. Думается, талант Лукана немало послужил украшению имени его отца. В ту пору изящная словесность была в почете, и красноречие, как и поэзию, ценили превыше всего.

Сенека, Мела, Лукан, Галлион погибли вместе с сообщниками Пизона *. Философ Сенека успел к тому времени уже состариться. Тацит не был свидетелем его смерти, но нарисовал ее картину. От него нам известно, что наставник Нерона в ванне вскрыл себе вены, и его молодая жена Паулина пожелала умереть вместе с мужем такой же смертью. По велению Нерона, ей перевязали на запястьях вены, которые она успела вскрыть. Паулина осталась в живых, но навсегда сохранила смертельную бледность. Тацит рассказывает, будто юный Лукан, подвергнутый пытке, донес на собственную мать. Если даже допустить достоверность этого подлого поступка, его следует приписать прежде всего жестокости пыток. Но есть все основания не верить этому слуху. Пусть муки вырвали у Лукана имена нескольких заговорщиков, но имени Атиллы он не называл, ибо она не подверглась преследованиям, хотя в те времена слепо верили всякому оговору.

После смерти Лукана Мела как-то слишком уж торопливо и охотно вступил во владение имуществом сына. Некий друг молодого поэта, который, без сомнения, сам жаждал получить это наследство, выступил обвинителем Мелы. Утверждали, будто отцу Лукана было известно о заговоре, и состряпали подложное письмо поэта. Нерон, прочитав это письмо, отослал его Меле. По примеру своего брата и многих других жертв Нерона, Мела вскрыл себе вены, завещав внушительную сумму денег вольноотпущенникам императора, чтобы сохранить остальное для несчастной Атиллы. Галлион не захотел пережить своих братьев; он наложил на себя руки.

Так трагически погибли эти приятные и просвещенные люди. В моем рассказе двое из братьев — Галлион и Мела — беседуют в Коринфе. Мела часто путешествовал. Сын его, Лукан, еще ребенком побы-

вал в Афинах в ту пору, когда Галлион был проконсулом Ахеи. Вот почему я мог с полным правом предположить, что Мела жил тогда в Коринфе, в обществе своего брата. Я предположил также, будто два молодых римлянина знатного происхождения, а также философ, принадлежавший к ареопагу, составляли ближайшее окружение проконсула. И в этом я не допустил особой вольности, поскольку наместники, прокураторы, пропреторы, проконсулы, которым император и сенат поручали управление провинциями, постоянно держали при себе отпрысков знатных семейств, учившихся у них вершить государственные дела, а также людей изощренного ума, подобных моему Аполлодору, по большей части вольноотпущенников, исправлявших при римских вельможах должность секретаря. Наконец я счел возможным допустить, что в тот самый час, когда апостол Павел был приведен в римское судилище, проконсул и его друзья непринужденно беседовали на различные темы — об изящных искусствах, о философии, о религии, о политике — и сквозь их разностороннюю любознательность проглядывала непрестанная озабоченность грядущим. И в самом деле вполне допустимо, что в тот день, как и в любой другой, они тщились проникнуть в будущие судьбы Рима и мира. Галлиона и Мелу справедливо относили к наиболее возвышенным и свободомыслящим умам их времени. Умы такого размаха склонны, как правило, искать в настоящем и прошлом истоки будущего. У людей самых ученых и знающих, какие мне только известны, — у Ренана, у Бертрам *, я наблюдал постоянное стремление в ходе беседы предаваться утопическим раздумьям и научным пророчествам.

— Стало быть, — заметил Жозефен Леклер, — перед нами один из наиболее просвещенных людей своего времени, искушенный в философских рассуждениях, понаторевший в ведении дел, и при этом человек свободомыслящий, с настолько широким кругозором, какой только мог быть у римлянина; я говорю о Галлионе — брате философа Сенеки, красоты и светоча своего века. Его тревожит будущее, он стремится осмыслить движение, увлекающее мир, угадать судьбу

Империи и богов. И в это время исключительная удача сталкивает его с апостолом Павлом; будущее, к которому устремлены помыслы Галлиона, проходит перед ним, а он и не подозревает об этом. Какой необычайный пример слепоты, поражающей, перед лицом неожиданных откровений, самых просвещенных, самых проникательных людей!

— Прошу вас не упускать из виду, любезный друг, — заметил Николь Ланжелье, — что Галлиону не легко было разговаривать с апостолом Павлом. Я не представляю себе, как они могли бы обмениваться мыслями. Святой Павел говорил настолько неясно, что даже люди одного с ним образа жизни и одного строя мыслей с великим трудом понимали апостола. С человеком просвещенным ему никогда в жизни не приходилось беседовать.

Павел был совершенно не подготовлен к тому, чтобы излагать собственные взгляды и следить за ходом рассуждений собеседника. Он ничего не смыслил в греческой науке. Галлион же, привыкший вести беседу с людьми образованными, всегда прибегал к доводам рассудка. Он был незнаком с изречениями раввинов. Что могли сказать друг другу два этих человека?

Это не значит, что еврей вообще был лишен возможности разговаривать с римлянином. Свойственная Ирода * манера изъясняться нравилась Тиберию и Калигуле. Иосиф Флавий и царица Береника вели речи, любезные разрушителю Иерусалима Титу *. Мы отлично знаем, что среди евреев всегда находились люди, бывшие в чести у антисемитов. То были веротступники. Но Павел был пророком. Этот пылкий и гордый сириец, презиравший земные блага, алкавший бедности, видевший в оскорблениях и унижениях свою славу, полагавший радость в страдании, умел только возвещать о своих пламенных и мрачных видениях, о своей ненависти к жизни и красоте, о своем нелепом гневе, о своем неистовом милосердии. Помимо этого, ему нечего было сказать. По правде говоря, я думаю, что он мог бы сойтись во мнениях с проконсулом

Ахеи только в одном случае — если бы речь зашла о Нероне.

Апостол Павел в то время, вероятно, и не слышал ничего о юном сыне Агриппины, но, узнав, что Нерону предстоит унаследовать императорскую власть, он немедленно сделался бы его сторонником. Позднее он и стал им. Он оставался на стороне Нерона и после того, как тот отравил Британника. Не потому, что Павел был способен оправдать братоубийство, но потому, что он питал безграничное почтение к власти. «Всякая душа да будет покорна высшим властям... — писал он в послании к римлянам, — ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее». Галлион, пожалуй, счел бы эти изречения несколько простоватыми и плоскими; но он не мог бы их осудить целиком. Однако, если и существовал предмет, которого он даже и не подумал бы коснуться, беседуя с евреем-ковровщиком, то это именно вопрос об управлении народами и об императорской власти. Повторяю: что могли сказать друг другу два этих человека?

В наше время, когда какой-нибудь высокопоставленный европейский чиновник в Африке, скажем, генерал-губернатор Судана, управляющий именем его величества короля Великобритании, либо французский губернатор Алжира встречается факира или марабута *, их беседа по необходимости ограничивается немногим. Апостол Павел был для проконсула тем же, чем марабут — для гражданского губернатора Алжира. Беседа Галлиона с Павлом совершенно походила бы, я полагаю, на беседу генерала Дезэ * с дервишем. После битвы у пирамид генерал Дезэ, во главе тысячи двухсот кавалеристов, преследовал в Верхнем Египте мамелюков Мурад-бея. Находясь в Гирге, он узнал, что некий старик дервиш, слывший среди арабов человеком великой учености и святости, проживает неподалеку от этого города. Дезэ, философ по натуре, не был лишен человечности. Ему показалось любопытным познакомиться со старцем, снискавшим уважение своих соплеменников, и он пригласил дервиша в свою

штаб-квартиру, принял его с почестями и, при посредстве толмача, вступил с ним в беседу:

— Достойный старец, французы пришли в Египет, чтобы установить здесь справедливость и свободу.

— Я знал, что они придут, — отвечал дервиш.

— Каким образом ты узнал об этом?

— По затмению солнца.

— Каким образом солнечное затмение могло свидетельствовать о передвижениях наших войск?

— Затмения вызывает ангел Гавриил, он становится перед солнцем, чтобы предупредить правоверных о грозящих им бедах.

— Достойный старец, тебе неведома истинная причина затмений; сейчас я ее тебе открою.

И, схватив огрызок карандаша, генерал принялся набрасывать чертеж на клочке бумаги:

— Допустим, что А — Солнце, В — Луна, С — Земля и так далее.

Закончив свои объяснения, он прибавил:

— Вот теория затмений солнца.

Дервиш пробормотал несколько слов.

— Что он говорит? — обратился генерал к толмачу.

— Он говорит, генерал, что ангел Гавриил вызывает затмения, становясь перед солнцем.

— Да ведь это просто фанатик! — воскликнул Дезэ.

И, несколько раз пнув дервиша ногою в зад, генерал выгнал его.

Думается, что беседа между апостолом Павлом и Галлионом закончилась бы приблизительно таким же образом, как диалог между дервишем и генералом Дезэ.

— А все-таки между святым апостолом Павлом и дервишем генерала Дезэ существует по крайней мере та разница, что дервиш не навязал своей веры Европе, — возразил Жозефен Леклер. — И вы согласитесь, что достопочтенный, губернатор Судана, управляющий именем его величества короля Великобритании, безусловно не встречался с марабутом, именем которого предстояло бы назвать самый большой собор

в Лондоне; вы согласитесь также, что французский губернатор Алжира не оказывался в присутствии основателя новой религии, которую в один прекрасный день предстояло воспринять и исповедовать большей части французов. Перед взором этих высокопоставленных чиновников никогда не возникало в человеческом обличье само будущее. А проконсул Ахеи видел его.

— И тем не менее, — настаивал Ланжелъе, — Галлиону невозможно было поддерживать с апостолом Павлом беседу о каком-нибудь важном нравственном или философском предмете. Мне хорошо известно, как, должно быть, и вам, что в пятом веке христианской эры полагали, будто Сенека знал в Риме святого апостола Павла и восхищался его учением. Выдумка эта могла распространиться лишь в силу печального помрачения человеческого разума, которое наступило так скоро вслед за веком Тацита и Траяна. Для подкрепления этой басни фальсификаторы, каких было множество среди христиан, состряпали переписку, о которой блаженный Иероним и блаженный Августин говорят с уважением. Если они имели в виду дошедшие до нас письма, приписываемые Павлу и Сенеке, то приходится предположить, что сии отцы церкви либо попросту их не читали, либо лишены были способности здравого суждения. Эта переписка — нелепая стряпня какого-то христианина, который ничего не смыслил в эпохе Нерона и был совершенно не способен воспроизвести стиль Сенеки. Незачем говорить, что крупнейшие ученые средних веков твердо верили в истинность взаимосвязей двух этих людей и в подлинность их переписки. Но гуманисты эпохи Возрождения без труда показали все неправдоподобие и лживость этих измышлений. И пускай Жозеф де Местр * подобрал эти обветшалые измышления вместе со множеством других, никто больше не придает им никакой веры. И ныне разве только в слащавых романах, написанных для светской публики разбитными спиритуалистами, апостолы ранней церкви пространно беседуют с философами и шеголями императорского

Рима и излагают восхищенному Петронию откровения самого позднего христианства. Диалог Галлиона, который вы только что выслушали, менее приукрашен и более правдив.

— Я против этого не спорю, — заметил Жозефен Леклер, — и полагаю, что участники вашего диалога мыслят и изъясняются так, как они, должно быть, мыслили и изъяснялись на самом деле, они высказывают идеи, присущие их времени. В этом-то, по-моему, и состоит достоинство вашего произведения, вот почему я и рассуждаю о нем так, словно имею дело с подлинным документом.

— И вы правы, — отозвался Ланжелъе. — В моей истории нет ни одной фразы, которую нельзя подтвердить соответственной ссылкой.

— Превосходно, — продолжал Жозефен Леклер, — мы только что слышали, как греческий философ и несколько просвещенных римлян общими усилиями старались проникнуть в будущие судьбы их отчизны, человечества, земного шара, силились угадать имя преемника Юпитера. Пока они предаются этим тревожным поискам, апостол нового бога появляется перед ними, а они пренебрегают им. Тем самым они выказывают поразительное отсутствие проницательности и по собственной вине упускают неповторимую возможность разобраться в том, что им так хочется знать.

— Вам представляется очевидным, любезный друг, — ответил Николь Ланжелъе, — что если бы Галлион умело принялся за дело, то узнал бы от апостола Павла тайну грядущего. В самом деле, эта мысль, пожалуй, первой приходит в голову, и многие так и не расстаются с нею. Ренан, изложив в согласии с «Деяниями» необыкновенную встречу Галлиона и святого Павла, склонен в том презрении, какое проконсул проявил к еврею из Тарса, представшему пред его судилищем, усматривать умственную ограниченность и легкомыслие римского сановника. Этот случай дает ему повод посетовать на дурную философию римлян. «Как мало предвидения выказывают порою умные люди! — восклицает Ренан. — Позднее обнаружи-

лось, что распря между этими презренными сектантами была величайшим событием века». Ренан, как видно, полагает, что достаточно было проконсулу Ахеи выслушать ковровщика, чтобы тут же понять, какой духовный переворот готовился в мире, и постичь тайну грядущей жизни человечества. Поначалу именно так все и думают. Однако, прежде чем прийти к окончательному выводу, вникнем глубже в существо дела: разберемся, чего ждали тот и другой, и решим, кто из них, в конечном счете, оказался лучшим пророком.

Во-первых, Галлион полагал, что юный Нерон станет императором-философом, будет управлять в согласии с учением Портика и сделается отрадой рода людского. Он ошибался, и причины его заблуждения совершенно ясны. Брат его Сенека был наставником сына Агриппины; племянник, малолетний Лукан, рос в дружеской близости с юным государем. Семейные интересы и интересы самого проконсула были неотделимы от судьбы Нерона. Он верил, что Нерон будет великолепным императором, ибо ему этого хотелось. Заблуждение его объясняется скорее слабостью душевной, чем недостатком ума. Впрочем, Нерон был в то время юношей, исполненным кротости, и первые годы его принципата не обманули надежд философов. Во-вторых, Галлион думал, что после наказания парфян на всей земле воцарится мир. Он заблуждался, ибо не знал истинных размеров земли. Он ошибочно полагал, будто «*orbis romanus*»¹ простирается на весь земной шар, будто обитаемый мир заканчивается у раскаленных или скованных льдом побережий, возле тех рек, гор, песков и пустынь, где были водружены римские орлы, будто германцы и парфяне живут на краю света. Известно, сколько слез и крови стоило Империи это заблуждение, присущее всем римлянам. В-третьих, Галлион, веря оракулам, не сомневался в вечности Рима. Он заблуждался, если понимать это пророчество в узком, буквальном смысле. Он вовсе не заблуждался, если иметь в виду, что Рим — Рим Цезаря и Траяна — оставил нам в наследство свои обы-

¹ Римский мир (лат.).

чаи и свои законы и что современная цивилизация берет начало в цивилизации римской. Именно здесь, на этой священной площади, где мы находимся, с высоты ростральной трибуны и в курии решались судьбы мира, здесь зародились те формы общественной жизни, которые и поныне сохранены народами. Наша наука зиждется на греческой науке, которую нам передал Рим. Пробуждение античной мысли в пятнадцатом веке в Италии, в шестнадцатом веке во Франции и Германии возродило Европу к знанию и разуму. Проконсул Ахеи не заблуждался. Рим не умер, поскольку он живет в нас. В-четвертых, рассмотрим философские взгляды Галлиона. Слов нет, он был не очень хорошим физиком и не всегда с достаточной точностью истолковывал явления природы. С метафизикой он обращался, как истинный римлянин, то есть без должной тонкости. В сущности он ценил в философии лишь ее утилитарную сторону и придавал значение главным образом вопросам нравственности. Приводя его речи, я не принижал его и не льстил ему. Я обрисовал его человеком вдумчивым и посредственным, сносным учеником Цицерона. Вы сами слышали, как он с помощью весьма плоских рассуждений примирял учение стоиков с официальной религией. Когда Галлион размышляет о природе богов, чувствуется, как он озабочен тем, чтобы остаться хорошим гражданином и благонамеренным чиновником. Но все же он мыслит, он рассуждает. Его представление о силах, управляющих вселенной, в основе своей разумно и научно, — в этом оно сообразуется с представлением, которое создаем себе мы. Он рассуждает хуже, чем его друг, грек Аполлотор. Он рассуждает не хуже, чем наши университетские профессора, читающие лекции по «независимой» философии и христианскому спиритуализму. Свободомыслием и твердостью суждений он напоминает наших современников. Мысль его, понятна, развивается в том направлении, которому следовал человеческий ум в его эпоху. Не станем же говорить, что он неправильно судил о грядущей умственной жизни человечества.

Что до апостола Павла, то он возвещал грядущее, против этого никто не спорит. Однако же он ожидал узреть своими глазами конец мира и верил, что все сущее будет поглощено пламенем. Уничтожение вселенной, которое Галлион и стойки относили к такому далекому будущему, что это не мешало им возвещать вечность Империи, казалось Павлу весьма близким, и он готовился к этому великому дню. В этом он заблуждался, и вам придется согласиться, что одна такая ошибка куда более существенна, чем все ошибки проконсула и его друзей, вместе взятые. И, что еще важнее, свою необычайную веру Павел не подкреплял никаким наблюдением, никаким доказательством. Он ничего не смыслил в науке и презирал ее. Он предавался самому недостойному волхвованию и пророчеству; то был человек совершенно невежественный.

В самом деле, проконсул ничему не мог научиться у апостола — ни в отношении будущего, ни в отношении настоящего и прошедшего, он мог услышать от него разве только новое имя. Если бы он и узнал, что Павел несет в мир религию Христа, он и после этого не мог бы составить верного представления о грядущих судьбах христианства, которому в скором времени предстояло почти полностью освободиться от воззрений Павла и первых проповедников. Так что если отвлечься от церковных текстов, ныне лишенных своего первоначального смысла, и от чисто умозрительных построений богословов, то станет ясно, насколько святой Павел хуже провидел грядущее, чем Галлион, и придется допустить, что, если бы апостол возвратился сегодня в Рим, он испытал бы большее удивление, нежели проконсул.

В современном Риме святой Павел не узнал бы себя на колонне Марка Аврелия, как не узнал бы на колонне Траяна своего старого недруга Кифу *. Собор святого Петра, покои Ватикана *, великолепие храмов и помпа папского двора — все раздражало бы его слезящиеся глаза. Тщетно стал бы он искать себе учеников в Лондоне, Париже или Женеве. Он не понимал бы ни католиков, ни протестантов, которые наперебой цитируют его истинные или вымышленные послания.

Не лучше постигал бы он и людей, освободившихся от всякой догмы и основывающих свои мнения на науке и разуме — двух силах, вызывавших у Павла наибольшее презрение и ненависть. Убедившись, что сын человеческий не пришел в мир, он разодрал бы свои одежды и посыпал бы пеплом голову.

В разговор вступил Ипполит Дюфрен.

— Спору нет, — сказал он, — апостол Павел выглядел бы в Париже или в Риме, словно сова при свете солнца. Общение с цивилизованными европейцами было бы ему доступно не больше, чем бедуину из пустыни. Он не был бы признан ни одним епископом и сам не признал бы нынешних епископов. Зайдя в дом швейцарского пастора, воспитанного на его поучениях, он поразил бы того неприкрытой грубостью своей христианской веры. Это так. Но не забывайте, что Павел был семит, чуждый латинскому образу мыслей, чуждый германскому и саксонскому духу, чуждый народам, породившим тех богословов, которые, действуя двусмысленно, бессмысленно и неосмысленно, умудрились отыскать какой-то смысл в его фальсифицированных посланиях. Вы представляете его себе в далеком ему мире, в мире, который никак не мог стать ему близок, и это нелепое допущение тотчас же порождает множество несообразных картин. Я, например, так и вижу этого бродячего ковровщика в карете кардинала и невольно забавляюсь зрелищем двух людей столь противоположного характера. Нет, уж если вы задумали воскрешать святого Павла, то не нарушайте стиля и покажите его в стране, где он родился, среди его народа — семитов Востока, которые не очень-то изменились за двадцать веков и по-прежнему видят в библии и в талмуде вместительницу всего человеческого знания. Поселите его среди евреев Дамаска или Иерусалима. Отправьте его в синагогу. Там он без удивления станет выслушивать изречения своего учителя Гамалиила. Он будет спорить с раввинами, ткать козью шерсть, питаться финиками и пригоршней риса, покорно следовать закону, а затем внезапно вздумает его ниспровергнуть. Он будет преследователем или преследуемым, палачом

или мучеником — и все с одинаковым рвением. Его отлучат от синагоги, правоверные евреи станут трубить в бычий рог, они будут наклонять черные свечи над лоханью, наполненной кровью, и воск капля за каплей станет стекать туда. Он с твердостью снесет этот ужасный обряд и, ведя жизнь многотрудную, ежеминутно подстерегаемый опасностями, выкажет всю силу своей непокорной души. На этот раз он будет, по всей вероятности, известен лишь небольшой горстке евреев — людей невежественных и презренных. Но в этом скажется все тот же Павел — и весь Павел.

— Вполне возможно, — заметил Жозефен Леклер. — Но согласитесь, что апостол Павел, один из основателей христианства, мог бы сообщить Галлиону ценные сведения о великом религиозном движении, о котором проконсул не имел ни малейшего понятия.

— Тот, кто создает религию, не ведает, что творит, — возразил Ланжелъе. — Я отнес бы это и ко всем тем, кто основывает важные общественные институты — монашеские ордена, страховые компании, национальную гвардию, банки, тресты, синдикаты, академии и консерватории, гимнастические общества, попечительства о бесплатных обедах и всевозможные конференции. Эти учреждения обычно недолго отвечают намерениям своих основателей и нередко превращаются в собственную противоположность. Правда, даже через много лет можно еще по некоторым признакам угадать их первоначальное предназначение. Что же касается религий, во всяком случае религий тех народов, чья жизнь полна тревог, а мышление не стоит на месте, то они непрерывно меняются под влиянием чувств и интересов верующих и священнослужителей и меняются настолько решительно, что по прошествии недолгого времени окончательно утрачивают свой первоначальный дух. Боги изменяются сильнее, чем люди, ибо им присуща менее определенная форма и они дольше живут. Встречаются среди них такие, что к старости становятся лучше; иные с возрастом портятся. За какое-нибудь столетие бог становится неузнаваемым. Христианский бог изме-

нился, пожалуй, больше всех других. Вероятно, это объясняется тем, что он последовательно принадлежал народам с различной культурой — латинянам, грекам, варварам, — принадлежал всем тем государствам, которые возникли на развалинах Римской империи. Слов нет, примитивный Аполлон Дедала * весьма далек от классического Аполлона Бельведерского. Но Христос катакомб, этот эфеб ¹, еще дальше отстоит от аскетического Христа наших соборов. Это главное действующее лицо христианской мифологии поражает числом и разнообразием своих перевоплощений. Пламенного Христа апостола Павла сменяет уже во втором веке Христос синоптиков * — нищий еврей с весьма расплывчатой идеей равенства; почти тотчас же, с появлением четвертого евангелия, он превращается в некоего юного александрийца, робкого ученика гностиков *. Рассмотрим далее лишь несколько образов Христа *, которым поклонялись в романских странах; среди самых знаменитых можно упомянуть всевластного Христа папы Григория Седьмого, кровавого Христа святого Доминика, Христа — начальника отрядов папы Юлия Второго, Христа — атеиста и художника папы Льва Десятого, бесцветного и двусмысленного Христа иезуитов, Христа — покровителя промышленности, защитника капитала и противника социализма, который процветал при папе Льве Тринадцатом и царствует поныне. Пришествия всех этих Христов, у которых только и есть общего, что имя, апостол Павел не предвидел. В сущности, о будущем боге он знал не больше, чем Галлион.

— Вы преувеличиваете, — сказал г-н Губен, который ни в чем не любил преувеличений.

Джакомо Бони, почитавший священные книги всех народов, заметил, что ошибка Галлиона, ошибка римских философов и римских историков заключалась в том, что они не изучали священных книг евреев.

— Будь римляне более сведущи, они отказались бы от несправедливого предубеждения против религии Израиля, — сказал он. — Как говорит ваш Ренан,

¹ Юноша (греч.).

немного доброй воли и понимания в отношении этих проблем, касающихся всего человечества, пожалуй, позволило бы избежать роковых недоразумений. В то время было достаточно образованных евреев, вроде Филона *, и они могли бы разъяснить римлянам законы Моисея, если бы те обладали более широким кругозором и более правильным представлением о грядущем. Римляне испытывали ужас перед азиатской мыслью и отвращение к ней. Они справедливо страшлись ее, но напрасно ею пренебрегали. Что может быть глупее, чем пренебрежение опасностью? Рассматривая сирийские религии как преступные и нечестивые измышления простонародья, Галлион не выказал достаточной прозорливости.

— Но как могли иудеи, приобщившиеся культуре эллинов, просветить римлян в том, чего они и сами не понимали? — опросил Ланжелье. — Как мог Филон, столь честный, столь сведущий, но и столь ограниченный, разъяснять темную, смутную, чреватую различными толкованиями религиозную мысль Израиля, которой он и сам не понимал? Что мог он рассказать Галлиону об иудейской вере, помимо ученой чепухи? Он стал бы убеждать его, что учение Моисея соотносится с философией Платона. Тогда, как и во все времена, люди просвещенные понятия не имели, о чем думает человеческое множество. Невежественная толпа всегда творит богов без ведома людей образованных.

Одним из самых странных и самых значительных событий истории было завоевание мира богом одного из сирийских племен — победа Иеговы * над всеми богами Рима, Греции, Азии и Египта. Иисус в конечном счете был всего лишь пророком, последним пророком Израиля. О нем толком ничего неизвестно. Мы не знаем ни обстоятельств его жизни, ни обстоятельств его смерти, ибо евангелисты — отнюдь не биографы. Нравственные же идеи, которые ему приписывают, в действительности принадлежат целой толпе ясновидящих, что пророчествовали во времена Иродов.

То, что именуют торжеством христианства, было, говоря точнее, торжеством иудейской религии: ведь

именно Израиль сподобился редкостной привилегии подарить миру бога. Надобно признать, что для внезапного возвышения Иеговы было немало оснований. В ту пору, когда он пришел к власти, это был лучший из богов. Начиная же он весьма скверно. К нему применимо то, что историки говорят об Августе: с возрастом он смягчился. Когда израильтяне обосновались в земле обетованной, Иегова был нелепым, диким, невежественным, жестоким, грубым, невоздержным на язык, самым глупым и злым из богов. Но под влиянием пророков он совершенно переродился. Он перестал быть ретроградом и формалистом и приобщился к идеям умиротворения, к мечтам о справедливости. Народ его был обездолен. И он почувствовал глубокую жалость ко всем обездоленным. И хотя, в сущности, он остался в высшей степени евреем и в высшей степени патриотом, но, став на революционный путь, он тем самым неизбежно сделался богом для всех народов земли. Он стал защитником смиренных и угнетенных. Ему пришла в голову одна из тех простых мыслей, с помощью которых можно завоевать сочувствие человечества. Он возвестил всеобщее счастье, пришествие мессии — благодетельного и несущего мир. На эту достойную восхищения тему его пророк Исайя нашептал ему слова, исполненные чудесной поэзии и пленительной нежности: «...гора дома господня будет утверждена на вершине гор, и возвысится больше, чем холмы, и все народы стекутся к ней. И пойдут многие племена и скажут: придите, и взойдем на гору господню, в дом бога Иаковлева, и он научит нас своим путям, и мы пойдем по стезям его; потому что от Сиона выйдет закон и из Иерусалима слово господне. И будет судить между народами и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала и копыя свои на серпы... И волк будет жить вместе с агнцем, и леопард будет лежать вместе с козленком; и телец, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя поведет их...» В Римской империи иудейский бог привлек на свою сторону трудовой люд и этим помог социальной революции. Он обращался к несчастным, а ведь во времена Тиберия и Клавдия в Империи было

куда больше несчастных, нежели счастливых. Там обитало великое множество рабов. Один человек владел порою десятью тысячами рабов. В большинстве своем они влачили бесконечно жалкое существование. Ни Юпитер, ни Юнона, ни Диоскуры о них не заботились. Латинские боги не питали сострадания к рабам. То были боги их господ. Когда из Иудеи явился бог, преклонявший свой слух к жалобам обездоленных, все обездоленные стали почитать его. Таким образом религия Израиля стала религией римского мира. Вот чего ни апостол Павел, ни Филон не могли бы объяснить проконсулу Ахеи, потому что они и сами этого ясно не понимали. И вот чего Галлион не понял бы. Вместе с тем он чувствовал, что царству Юпитера приходит конец, и возвещал пришествие нового, лучшего бога. Из привязанности к национальным мифам он позаимствовал этого бога на греко-римском Олимпе, а из чувства аристократизма избрал его среди сынов Юпитера. Вот почему он и назвал имя Геркулеса вместо имени Иеговы.

— На сей раз вы признаете, что Галлион ошибался? — воскликнул Жозефен Леклер.

— В меньшей степени, чем вы полагаете, — ответил с улыбкой Ланжелье. — Иегова или Геркулес — не в этом дело. Не беспокойтесь: сын Алкмены* управлял бы миром совершенно так же, как отец Христа. Обитателю Олимпа все же волей-неволей пришлось бы стать богом рабов и проникнуться религиозным духом нового времени. Боги в точности соотнобразуются с чувствами верующих — и не без оснований. Не упускайте этого из виду. Воцарению в Риме бога Израиля способствовал не один лишь народный дух, но также и дух философов. В ту пору почти все они были стоики и веровали в единого бога, над идеей которого немало потрудился Платон; бога этого не связывали никакие узы — ни родственные, ни дружеские — с богами Греции и Рима, сотворенными по образу и подобию человеческого. Бог Платона обладал свойством бесконечности, этим он напоминал иудейского бога. Сенека и Эпиктет*, почитавшие его, первые поразились бы этому сходству, но у них не

было возможности произвести такое сопоставление. А между тем они сами во многом содействовали тому, чтобы сделать приемлемым суровое иудейско-христианское единобожие. Конечно, от стоической гордости до христианского смирения — путь немалый, но мораль Сенеки своей скорбью и презрением к природе подготавливала мораль евангелия. Стоики пребывали в разладе с жизнью и красотой; разлад этот, который приписывали христианству, ведет свое начало от философов. Два века спустя, во времена Константина, у язычников и христиан будет, можно сказать, одна и та же мораль, одна и та же философия. Император Юлиан, который восстановил старую религию Империи, упраздненную Константином-отступником *, с полным правом слывет противником Галилеянина *. Но когда читаешь небольшие трактаты Юлиана, то просто диву даешься, как много идей этот враг христиан разделяет с ними. Подобно им, он сторонник единобожия; подобно им, он верит в благотворность воздержания, поста и умерщвления плоти; подобно им, он презирает плотские наслаждения и полагает снискать расположение богов, избегая женщин; наконец, он уподобляется христианам и в том, как радуется, что у него грязная борода и черные ногти. Император Юлиан почти во всем придерживался той же морали, что и святой Григорий Назианзин *. В этом нет ничего неестественного и необычайного. Преобразование нравов и мышления никогда не происходит внезапно. Самые важные перемены в социальной жизни совершаются незаметно и видны лишь на расстоянии. Те, кто их испытывает, о них даже не подозревают. Христианство восторжествовало лишь тогда, когда состояние нравов пришло в соответствие с ним, и само оно пришло в соответствие с состоянием нравов. Христианству удалось заменить язычество лишь тогда, когда язычество стало похоже на него, а само оно стало похоже на язычество.

— Согласимся на том, что ни апостол Павел, ни Галлион не читали в грядущем, — заметил Жозефен Леклер. — Но никому не дано читать в нем. Не правда

ли, кто-то из ваших друзей сказал: «Грядущее скрыто даже от тех, кто творит его?»

— То, что мы знаем о будущем, — продолжал Ланжелье, — зависит от того, что мы знаем о настоящем и о прошедшем. Наука способна пророчествовать. Чем точнее наука, тем больше надежных пророчеств можно из нее извлечь. Одни только математические науки, обладая полной точностью, сообщают долю своей определенности наукам, возникшим на их основе. Так могут быть достоверны предсказания в области математической, в астрономии и химии. Вы можете вычислить время затмений на миллионы лет вперед, не опасаясь, что ваши расчеты окажутся неверными, — если только соотношения массы и расстояния для Солнца, Луны и Земли не изменятся. Точно так же вы можете предвидеть, что соотношения эти в весьма отдаленном будущем станут иными. На небесной механике основано еще и то пророчество, что сребророгое светило не вечно будет описывать одну и ту же орбиту вокруг земного шара и что причины, действующие уже в настоящее время, своим постоянным повторением изменят его ход. Вы можете предсказать, что солнце потускнеет и его съезжившийся шар станет восходить над обледенелыми водами наших океанов. Разве только горение солнца поддержат новые небесные тела: это вполне вероятно, ибо оно способно притягивать рои астероидов, подобно тому как паук затягивает мух в свою паутину. Вы можете предсказать, однако, что в конечном счете солнце потухнет и расчлененные фигуры созвездий мало-помалу растворятся в темном пространстве. Но что значит гибель одной звезды? Исчезновение искры. Пусть даже все небесные светила погаснут, подобно тому как блекнут полевые цветы, — что это составит для вселенной, если образующие их бесконечно малые частицы сохранят в себе силу, созидающую и разрушающую миры! Вы можете предсказать и более полную гибель вселенной, гибель атома, распад первичных элементов материи — то время, когда протил, бесформенный туман, вновь придет на развалинах всего сущего к безграничному гос-

подству. И, однако, это будет лишь краткий миг для бога. Все начнется сначала.

Миры возродятся. Они возродятся, чтобы снова погибнуть. Жизнь и смерть будут вечно сменять друг друга. В бесконечности пространства и времени осуществятся все возможные комбинации, и мы вновь встретимся здесь, в уголке разрушенного Форума. Но поскольку мы не будем знать, что это мы, то это уже будем не мы.

Господин Губен протер стекла своего пенсне.

— Крайне безнадежные взгляды, — заявил он.

— А на что вы, собственно, надеетесь, господин Губен? — спросил Николь Ланжелье. — И что требуется для осуществления ваших желаний? Уж не намерены ли вы сохранить на веки-вечные ясное представление о самом себе и о вселенной? Почему хотите вы всегда помнить, что вы — именно господин Губен? Не скрою от вас: наш мир, конец которого еще не близок, пожалуй, не отвечает вашим заветным желаниям. Не рассчитывайте также на будущие миры — они несомненно будут такими же. Однако не теряйте надежды. Может статься, после бесконечной смены миров вы вновь родитесь, господин Губен, и в сознании вашем будут жить воспоминания о прежней жизни. Ренан утверждал, что такая надежда правомерна и, как бы поздно она ни осуществилась, она все же не заставит себя долго ждать. Для нас смена миров совершится меньше чем в одно мгновение. Мертвым не дано ощущение времени.

— Знакомы ли вам астрономические грезы Бланки? * — спросил Ипполит Дюфрен. — Старый Бланки, заключенный в Мон-Сен-Мишель, видел сквозь забранное решеткой окно лишь клочок неба, соседями его были одни только звезды. По этой причине он сделался астрономом и, основываясь на единстве материи, а также управляющих ею законов, создал весьма странную теорию тождества миров. Мне довелось прочесть его научную статью, страниц в шестьдесят, где он утверждает, будто для большого числа миров формы существования и развитие жизни совершенно одинаковы. По его мнению, множество Солнц, в точности

похожих на наше Солнце, освещало, освещает или будет освещать планеты, в точности похожие на планеты нашей солнечной системы. Есть, было и будет бесконечное число Венер, Марсов, Сатурнов, Юпитеров, в точности похожих на наш Сатурн, наш Марс, нашу Венеру, как и множество Земель, в точности похожих на нашу Землю. Земли эти порождают в точности то же, что и наша Земля, на них произрастают растения, обитают животные и люди, совершенно схожие с земными растениями, земными животными и людьми. Жизнь развивается там точно так же, как на нашем земном шаре. Следовательно, — рассуждал старый узник, — есть, были и будут в мировом пространстве мириады темниц Мон-Сен-Мишель, и в каждой из них — свой Бланки.

— Мы мало что знаем о мирах, чьи Солнца сверкают над нами ночью, — продолжал Ланжелье. — И все же мы видим, что, послушные тем же законам механики и химии, они отличаются от нашего мира и различаются между собой размером и формой, а вещества, что сгорают в них, распределены между ними не в одинаковых пропорциях. Эти различия должны приводить к бесчисленному множеству других различий, о которых мы не имеем никакого понятия. Достаточно одного булыжника, чтобы изменить судьбы империи. Но кто знает? Быть может, господин Губен, существующий во множестве образцов и рассеянный в мириадах миров, протирал там, протирает и будет вечно, без конца, протирать стекла своего пенсне.

Жозефен Леклер не дал своим друзьям дольше предаваться астрономическим грезам.

— Я нахожу, как и господин Губен, что все это было бы весьма прискорбно, если бы дело шло не о таком отдаленном будущем, которое нас мало трогает. Зато нас живо занимают судьбы тех, кто придет вслед за нами в этот мир, и узнать что-либо о них нам было бы весьма любопытно.

— Смена миров бесспорно внушает нам лишь унылое удивление, — сказал Ланжелье. — На завтрашнюю цивилизацию, на завтрашние судьбы нам подобных мы взирали бы более дружественно, с братским сочув-

ствием. Чем ближе будущее, тем более оно нас трогает. К несчастью, науки, относящиеся к области политики и морали, неточны и полны неясностей. Им плохо известно то, что уже совершилось в эволюции человечества, а потому они не могут с полной достоверностью раскрыть нам и то, чему еще предстоит совершиться. Не помня прошлого, они не могут предвидеть будущее. Вот почему люди ученые испытывают неодолимое отвращение к попыткам исследования, суетность которых им известна, и даже не решаются сознаться в любопытстве, которое не рассчитывают удовлетворить. Зато есть много охотников исследовать, что произошло бы, если бы люди сделались более благоразумными. Платон, Томас Мор, Кампанелла, Фенелон, Кабе, Поль Адан * воссоздают свой собственный город в Атлантиде, на острове Утопии, на Солнце, в Саланте, в Икарии, на Малайском архипелаге и учреждают там идеальную форму правления. Другие — например, философ Себастьян Мерсье и поэт-социалист Уильям Моррис * — проникают в отдаленное будущее. Но они переносят туда свои представления о морали. Они открывают новую Атлантиду и создают там гармонический город своей мечты. Надо ли упоминать еще Мориса Спронка? * Он описывает французскую республику, завоеванную на двухсот тридцатом году своего существования марокканцами. Но делает он это для того, чтобы побудить нас отдать власть консерваторам, которые, по его мнению, одни только и могут предотвратить подобные бедствия. Между тем Камиль Моклер *, возлагающий больше надежд на будущее человечества, предвидит, что в грядущем социалистическая Европа победоносно защитит себя от мусульманской Азии. Даниэль Галеви * не боится марокканцев. С большим основанием он боится русских. В своей «Истории четырех лет» он повествует о создании в две тысячи первом году Соединенных Штатов Европы. Но главным образом он хочет доказать нам, что моральное равновесие народов неустойчиво и достаточно, пожалуй, небольшого облегчения в условиях жизни человека, чтобы самые ужасные бед-

ствия и жесточайшие испытания обрушились на множество людей.

Весьма редки те, кто стремится познать грядущее из чистой любознательности, не ставя перед собой никаких моральных целей и не создавая оптимистических иллюзий. Насколько мне известно, один только Герберт Джордж Уэллс, путешествуя по будущим векам *, усмотрел такой возможный конец человечества, которого сам автор, по всей видимости, не желает: ведь возникновение пролетариата, истребляющего людей, и аристократии, идущей в пищу, — надо признать, весьма суровое разрешение социальных проблем. А именно такую судьбу Герберт Джордж Уэллс и предсказывает нашим отдаленным потомкам. Все остальные пророки, знакомые мне, ограничиваются тем, что вверяют будущим столетиям осуществление своих грез. Они не открывают нам грядущего, они заклинают его.

А все дело в том, что людям не дано заглядывать в далекое будущее без страха. Многие полагают, что такого рода исследования не только бесплодны, но и вредны; именно те, кто склонен верить, будто грядущее можно провидеть, больше всего устрашились бы, увидев его воочию. Вне всякого сомнения, боязнь эта имеет веские основания. Все нравственные системы, все религии вещают о грядущих судьбах человечества. Признают это люди или скрывают от самих себя, но в большинстве своем они побоялись бы проверить эти торжественные предвещения и тем самым убедиться в суетности своих надежд. Они спокойно рассуждают о нравах, резко отличных от их собственных, если нравы эти относятся к далекому прошлому. Тогда они радуются прогрессу, достигнутому в области морали. Но поскольку их мораль, в конечном счете, соотносится с их нравами или во всяком случае с тем, что считается их нравами, то люди не отваживаются признать, что мораль эта, которая в прошлом беспрестанно изменялась в зависимости от нравов, станет меняться и в будущем и грядущие поколения могут составить себе совсем иное понятие о дозволенном и недозволенном. Людям трудно сознаться, что добродетели их преходящи, а боги — дряхлеют. И, хотя прошедшее

говорит о том, что права и обязанности человека были крайне неустойчивы и все время менялись, люди сочли бы себя обманутыми, если бы могли предугадать, что грядущее человечество придумает для себя новые права, новые обязанности и новых богов. Словом, они боятся опозорить себя в глазах современников, допустив возможность той ужасающей безнравственности, какой представляется нравственность будущего. Все это и препятствует проникновению в грядущие века. Взгляните на Галлиона и его друзей; они не осмелились бы и помыслить о том, что возможно равенство сословий в браке, упразднение рабства, поражение легионов, падение Империи, что может наступить конец Рима или хотя бы гибель богов, в которых они и сами больше не верили.

— Пожалуй, что и так, — произнес Жозефен Леклер, — однако, пора обедать.

И, покинув Форум, залитый спокойным светом луны, собеседники углубились в многолюдные улицы города и вскоре достигли скромного, но известного кабачка на *via*¹ Кондотти.

¹ Улица (*итал.*).

IV

Узкая зала была оклеена закопченными обоями еще времен папы Пия IX. На стенах висели старинные литографии: можно было различить г-на Кавура * в черепаховых очках, с бородой, окружавшей его подбородок, точно ожерелье, львиную голову Гарibaldi и устрашающие усы Виктора-Эммануила * — классическое собрание символов революции и власти, соединенных вместе, наглядное свидетельство итальянского духа, который отличается необычайной способностью сочетать все что угодно; недаром же в наши дни в Риме мечущий громы и молнии папа и отлученный от церкви король каждое утро обмениваются уверениями в добрососедских чувствах *, проявляя изысканный политический такт с легким привкусом тонкой иронии!.. Буфет красного дерева был уставлен спиртовками накладного серебра и алебастровыми чашами. В кабачке подчеркивалось пренебрежение к новшествам, которое так подходит заведениям со старинной репутацией.

Здесь, за столом, украшенным розами, на котором теснились плетеные бутылки с кьянти, пятеро друзей продолжали свою философскую беседу.

— Многим и вправду недостает мужества, когда взор их погружается в бездну грядущего, — сказал

Николь Ланжелъе. — Впрочем, это понятно: мы так мало знаем о событиях уже совершившихся и не обладаем необходимыми данными, чтобы точно предугадать события, которым еще предстоит совершиться. Но все же, поскольку прошлое человеческих обществ нам в какой-то мере известно, будущее этих обществ — продолжение и следствие прошедшего — не совсем для нас непознаваемо. Мы можем исследовать некоторые социальные явления и по условиям, в которых они уже происходили, получать представление об условиях, в которых они вновь произойдут. Нам не возбраняется, видя, как возникает новый порядок вещей, сравнивать его с уже минувшим порядком и делать вывод, что в будущем все закончится аналогично тому, как закончилось в прошлом. Например: наблюдая, что формы труда изменяются, что рабство уступило место крепостному строю, а крепостной строй — наемному труду, следует предвидеть новую форму производства; отмечая, что промышленный капитал всего лишь столетие тому назад занял место мелкой собственности ремесленника и крестьянина, неизбежно приходишь к поискам формы собственности, которая должна прийти на смену капиталу; исследуя способ, с помощью которого был осуществлен выкуп феодальных повинностей и тягот, постигаешь, как может в один прекрасный день произойти выкуп средств производства, находящихся ныне в частной собственности. Изучая работу крупных государственных учреждений, существующих в наши дни, можно составить себе некоторое понятие о том, что будут представлять собою грядущие формы социалистического производства; когда таким образом будут прослежены различные стороны настоящей и прошлой промышленной деятельности человечества, станет возможным прийти к заключению — вероятно, если не безусловно, — что в один прекрасный день восторжествуют принципы коллективизма, и не потому, что он справедлив, ибо нет никаких оснований надеяться на победу справедливости, но потому, что коллективизм — необходимое следствие существующего порядка вещей и неизбежный результат развития капитализма.

А вот, если хотите, другой пример: у нас есть некоторый опыт, связанный с возникновением и гибелью религий. В частности, конец римского многобожия нам достаточно хорошо известен. Этот жалкий конец позволяет нам представить себе конец христианства, закат которого происходит на наших глазах.

Таким же путем можно исследовать, будет ли грядущее человечество воинственным или миролюбивым.

— Любопытно бы знать, как приступить к этому исследованию, — сказал Жозефен Леклер.

Господин Губен покачал головой.

— Бесплодное занятие. Нам заранее известен ответ: войны будут происходить до тех пор, пока будет существовать человечество.

— Ничто этого не доказывает, — возразил Ланжелье, — напротив, изучение прошлого позволяет думать, что война не относится к числу необходимых условий жизни общества.

И в ожидании *minestra*¹, которую долго не приносили, Ланжелье, сохраняя присущую ему сдержанность, развил эту мысль.

— Хотя ранние эпохи человеческой истории, — начал он, — скрыты от нас непроницаемым мраком, нет сомнения, что люди не всегда были воинственны. В них не было ничего воинственного на протяжении тех долгих веков, пастушеской жизни, от которых осталось небольшое число слов, общих для всех индоевропейских языков и свидетельствующих о незлобности нравов. У нас есть основание предполагать, что эта мирная пастушеская эпоха продолжалась значительно дольше, чем эпохи земледелия, ремесла и торговли, которые наступили затем в результате необходимого прогресса и породили почти непрерывное состояние войны между племенами и народами.

Именно силой оружия люди чаще всего стремились приобрести себе богатства, земли, женщин, рабов, скот. Войны сначала велись между селениями. Затем победители, сливаясь с побежденными, превращались в единый народ, и с тех пор войны велись уже между

¹ Суп (*итал.*).

различными народами. Каждый из них, чтобы сохранить приобретенные богатства или добыть новые, захватывал у соседей выгодные позиции, высоты, господствовавшие над дорогами, горные ущелья, реки, морские побережья. В конце концов народы стали объединяться и заключать союзы. Таким образом, все более и более обширные группы людей вместо того, чтобы бороться друг с другом за блага земли, начали регулярно обмениваться ими. Общность чувств и интересов все ширилась. Рим однажды решил, будто он распространил ее на весь свет. Август предполагал, что при нем начнется эра всеобщего мира.

Мы знаем, как иллюзия эта была хоть и не сразу, но жестоко развеяна, какие несметные полчища варваров наводнили римский мир! Эти варвары, утвердившись в пределах Империи, четырнадцать веков истребляли друг друга на ее развалинах и в результате резни основали кровавые государства. Так жили народы в средние века, так образовались великие европейские монархии.

Тогда состояние войны было единственно возможным, единственно мыслимым. Все силы общества были направлены лишь на то, чтобы поддерживать его.

С эпохой Возрождения человеческая мысль пробудилась, и это позволило некоторым людям выдающегося ума предаться мечтам о более благоразумных отношениях между народами; но в то же время страсть к изобретательству и жажда знаний по-новому стали питать и воинственные инстинкты. Открытие Вест-Индии, исследование Африки, освоение путей через Тихий океан отдали во власть жадным европейцам огромные территории. Монархии, населенные белыми, состязались в истреблении народов с красной, желтой и черной кожей и целых четыре века неистово грабили три великие части света. Это именуется современной цивилизацией.

Грабежи и насилия безостановочно сменяли друг друга; тем временем европейцы научились распознавать размеры и форму Земли. По мере того как они совершенствовались в своих познаниях, они расширяли масштабы своих разрушений. Еще и в наше время

белые вступают в общение с черными или желтыми лишь для того, чтобы поработать или истреблять их. Народы, которые мы именуем варварскими, знакомы с нами пока только по нашим преступлениям.

Однако ж дальние плавания, исследования, вдохновленные жестокой алчностью, открытие путей на суше и на море для завоевателей, для искателей приключений, для охотников за людьми и для торговцев людьми, смертоносные колониальные экспедиции, зверское устремление, которое толкало и все еще толкает одну половину человечества к истреблению другой его половины, — все это суть роковые условия нового прогресса цивилизации, грозные средства, которым дано подготовить для еще неясного будущего всеобщий мир на земле.

На этот раз весь земной шар находится в положении, которое — несмотря на огромные различия — можно сравнить с положением Римской империи при Августе. Римский мир был достигнут путем завоеваний. Разумеется, всеобщий мир не осуществится такими средствами. Никакое государство не может сегодня рассчитывать на безраздельное господство над сушей и морями нашего земного шара, уже наконец исследованного и измеренного. Но узы, начинающие связывать воедино все человечество, а не одну только его часть, хотя и менее заметны, нежели узы политического и военного господства, все же не менее реальны; они одновременно и более гибки и более прочны; они более органичны и бесконечно более разнообразны, ибо зависят не от внешних проявлений жизни общества, а от насущных социальных потребностей.

Все новые и новые формы взаимного общения и торговли, вынужденная солидарность между финансовыми рынками всех столиц мира, а также между торговыми рынками, которые отчаянными средствами безуспешно пытаются возродить былую независимость, быстрый рост международного социализма — все это должно, видимо, рано или поздно привести к объединению народов всех континентов. Если в наши дни империалистический дух великих держав, надменно бряцающих оружием, на первый взгляд противоречит

этим предвидениям и опровергает эти надежды, то нельзя не заметить, что современный национализм в действительности выражает смутное стремление ко все более широкому объединению умов и воли и что мечта о великой Англии, о великой Германии, о великой Америке — хотят этого или не хотят, противятся этому или не противятся — приводит к мечте о великом человечестве, к единению народов, независимо от цвета кожи, для совместной эксплуатации богатств земли...

Появление кабатчика, самолично принесшего дымящуюся супницу и тертый сыр, прервало эту речь.

И Николь Ланжелъе, окутанный теплыми и благоуханными парами супа, в следующих выражениях закончил свою мысль:

— Разумеется, войны еще будут. Дикие инстинкты и присущие людям вожделения, гордость и голод, которые столько веков возмущали спокойствие мира, будут и дальше возмущать его. Людские массы еще не пришли в равновесие. Единение народов пока еще недостаточно прочно, чтобы свободный и беспрепятственный обмен ценностями мог обеспечить всеобщее благоденствие, человек еще не всюду уважает человека; еще не все народы готовы гармонически слиться, как клетки и органы единого тела человечества. Даже самым молодым среди нас не суждено увидеть окончание эры войн. Но хотя мы и не увидим эти лучшие времена, мы их предчувствуем. Мысленно прослеживая будущее развитие человечества, мы можем предсказать, что между всеми расами и народами возникнут более близкие и совершенные отношения, что на земле воцарится всеобщая солидарность, труд будет организован более разумно и будут созданы Соединенные Штаты Мира.

Всеобщий мир когда-нибудь установится не потому, что люди сделаются лучше — на это нет оснований надеяться, — но потому, что новый порядок вещей, наука будущего, вновь возникшие экономические нужды, предпишут им состояние мира, как некогда условия существования толкали людей к вражде и удерживали в состоянии войны.

— Николь Ланжелье, роза осыпала свои лепестки в ваш стакан, — сказал Джакомо Бони. — Это не могло совершиться без соизволения богов. Выпьем за будущий мир на земле.

Жозефен Леклер поднял свой стакан.

— У этого кьянти острый привкус, и оно слегка пенится. Выпьем за мир, хотя русские и японцы все еще жестоко сражаются в Маньчжурии и в Корейском заливе.

— Война эта, — проговорил Ланжелье, — знаменует собою одну из величайших годин в мировой истории. И чтобы понять — какую, надо возвратиться на две тысячи лет назад.

Конечно, римляне не подозревали об истинных размерах варварского мира и понятия не имели о тех огромных полчищах, которым в один прекрасный день предстояло обрушиться на их страну и наводнить ее. Они и не догадывались, что на земле существует иной мир, помимо римского. И, однако, такой мир — и притом куда более древний и обширный — существовал: я говорю о китайском мире.

Нельзя сказать, что римские купцы не вступали в сношения с купцами Сэрики *. Китайские купцы привозили шелк-сырец в место, которое носило название Каменной башни и было расположено на севере Памирского плоскогорья. Сюда прибывали и негоцианты из Римской империи. Наиболее отважные среди латинских торговцев проникали в Тонкинский залив и на китайское побережье, вплоть до Хань-Чан-фу, или Ханоя. И все же римляне и понятия не имели, что Сэрика — империя, куда более населенная, нежели их собственная, куда более богатая и намного ушедшая вперед в области земледелия и народного хозяйства. Китайцы, в свою очередь, знали о существовании белых людей. В их летописях можно найти упоминание о том, что император Ан-Тун, в котором нетрудно узнать Марка Аврелия Антонина, направил к ним в страну посольство: то была, видимо, экспедиция мореплавателей и негоциантов. Но китайцы даже не предполагали, что цивилизация куда более бурная и неистовая, бесконечно более плодоносная и приспособленная к рас-

пространению, чем их цивилизация, утвердилась в одной части земного шара, другая часть которого принадлежала им самим; искусные землепашцы и садовники, ловкие и добросовестные купцы, они жили в довольстве благодаря принятой у них системе обмена и широко разветвленным кредитным товариществам. Вполне удовлетворенные своей развитой наукой, своей изысканной учтивостью, своим поистине человеческим благочестием и своей неизменной мудростью, они, вероятно, не проявляли ни малейшего любопытства к образу жизни и строю мыслей белых людей, прибывших из страны Цезаря. Чего доброго, послы Ан-Туна показались китайцам несколько грубыми и неотесанными.

Великие цивилизованные народы — желтый и белый — продолжали пребывать в неведении друг о друге до той самой поры, когда португальцы, обогнув мыс Доброй Надежды, прибыли торговать в Макао *. Европейские купцы и миссионеры обосновались в Китае и занялись там всякого рода насилиями и грабежами. Китайцы сносили все это с терпением людей, привыкших к кропотливому труду и дурному обращению; тем не менее они при каждом удобном случае убивали пришельцев с утонченной, можно сказать, изысканной жестокостью. Иезуиты на протяжении трех веков вызвали в Срединной империи непрерывные беспорядки. А в наши дни, каждый раз, когда в этой огромной стране нарушается порядок, христианские государства с похвальным постоянством посылают туда своих солдат, которые путем краж, насилий, грабежей, убийств и пожаров восстанавливают спокойствие; так, от случая к случаю, государства эти осуществляют с помощью ружей и пушек мирное проникновение в страну. Безоружные китайцы вовсе не обороняются или обороняются плохо; их истребляют с очаровательной легкостью. Они учтивы и церемонны, а их упрекают в том, будто они выказывают недостаточно симпатии к европейцам. Наше недовольство ими сильно смахивает на недовольство господина Дю Шайю его гориллой. Господин Дю Шайю убил в лесу выстрелом из карабина самку гориллы. Мертвая, она все еще сжимала в лапах своего детеныша. Он вырвал малышку

из объятий матери и повез с собой в клетке через всю Африку, чтобы продать в Европе. Но у него были веские основания жаловаться на молодую обезьяну. Она оказалась на редкость нелюдимою и уморила себя голодом. «Я был не в силах, — замечает господин Дю Шайю, — исправить ее дурной характер». Мы сетуем на китайцев с тем же правом, с каким господин Дю Шайю сетовал на свою гориллу.

В тысяча девятьсот первом году в Пекине был нарушен порядок *, и войска пяти великих держав под командой немецкого фельдмаршала восстановили его привычными средствами. Стяжав себе способом воинскую славу, пять держав подписали один из бесчисленных договоров, в которых гарантировали целостность Китая, чьи провинции они делят между собой.

Россия, со своей стороны, заняла Маньчжурию и лишила Японию корейского рынка. Япония, которая в тысяча восемьсот девяносто четвертом году разгромила китайцев * на суше и на море, а в тысяча девятьсот первом году совместно с другими державами приняла участие в умиротворении Небесной империи, увидела с холодной яростью, как к ее границам приближается прожорливая и неторопливая медведица. И пока огромный зверь лениво тянулся мордой к японскому улью, желтые пчелы, дружно действуя крылышками и жалами, донимали его жгучими укусами.

«Это ведь колониальная война», — прямо говорил высокопоставленный русский чиновник моему другу Жоржу Бурдону. А ведь главная отличительная черта всякой колониальной войны заключается в том, что европейцы превосходят народы, против которых они сражаются; если это не так, то война перестает быть колониальной, это всякому понятно. В такого рода войнах приличествует, чтобы европейец наступал при поддержке артиллерии, а азиат или африканец оборонялся при помощи стрел, палиц, дротиков и томагавков. Можно еще допустить, чтобы туземец разжился несколькими старыми кремневыми ружьями и патронташами: это окружает колониальную войну ореолом славы. Но ни в коем случае он не должен быть вооружен и обучен на европейский лад. Его флот составят

джонки, пироги и челноки, выдолбленные из древесных стволов. Если он закупит корабли у европейских судовладельцев, то только устаревшие. Китайцы, пополняя свои арсеналы фарфоровыми снарядами, придерживаются правил колониальной войны.

Японцы отступили от этих правил. Они ведут войну в согласии с принципами, провозглашенными во Франции генералом Бонналем *. Они далеко превосходят своих противников знаниями и развитием. Сражаясь лучше европейцев, они совершенно не принимают во внимание освященные традицией обычаи и действуют в некотором роде противно человеческой морали.

Тщетно столь важные особы, как господин Эдмон Тери *, доказывали японцам, что те должны потерпеть поражение в высших интересах европейского рынка, а также в согласии с незыблемыми экономическими законами. Тщетно сам проконсул Индо-Китая, господин Думер *, заклинал их в самый короткий срок подвергнуться полному разгрому на суше и на море. «Какая скорбь омрачит наши души, души капиталистов, — восклицал этот великий человек, — если Безобразов и Алексеев * не извлекут больше ни одного миллиона дохода из корейских лесов! Они — короли. Я был таким же королем, у нас общие интересы. О японцы! Подражайте кротости бронзовотелых народов, которыми я со славой правил при Мелине» *. Тщетно доктор Шарль Рише * со скелетом в руках убеждал японцев, что они — прогнаты * и обладают слаборазвитыми икрами, а посему должны убежать в заросли, едва завидя русских: ведь те — брахицефалы и весьма цивилизованы; в доказательство царское правительство потопило в Амуре пять тысяч китайцев. «Остерегайтесь! Ведь вы занимаете промежуточное положение между обезьяной и человеком, — учтиво говорил японцам господин профессор Рише, — а отсюда следует, что если вы поколотите русских, другими словами, финно-летто-угро-славян, то это будет равноценно тому, как если бы вас поколотили обезьяны. Поняли?» Они ничего не хотели слушать.

В настоящее время русские расплачиваются на японских морях и в маньчжурских ущельях не только

за свою алчную и грубую политику на Востоке, но и за колониальную политику всей Европы. Они искупают не только преступления царизма, но и преступления милитаристов и торгашей всего христианского мира. Я не хочу этим сказать, будто на свете существует справедливость. Но в ходе событий наблюдаются странные повороты, и сила — доньше еще единственный судья человеческих деяний — вызывает порою неожиданные скачки. Такие внезапные отклонения нарушают равновесие, которое полагали устойчивым. И действие этой силы, подчиняющейся некоему скрытому закону, подчас приводит к любопытным положениям. Японцы переправляются через Ялу и с полным знанием дела разбивают русских в Маньчжурии. Их моряки артистически уничтожают флот европейского государства. И мы тотчас же сознаем угрожающую нам опасность. Если она существует, то кто ее создал? Ведь не японцы напали на русских. Ведь не желтые напали на белых. В эти дни мы обнаруживаем желтую опасность. Но жители Азии уже много лет знают, что такое белая опасность. Разграбление Летнего дворца, резня в Пекине, массовое потопление людей в Благовещенске, расчленение Китая * — разве все это не причины для беспокойства китайцев? А разве японцы чувствовали себя в безопасности под дулами орудий Порт-Артура? Мы породили белую опасность. Белая опасность породила желтую опасность. Именно такого рода сцепления обстоятельств придают древней Необходимости, управляющей миром, обличье божественного правосудия, и не перестаешь поражаться деяниям этой слепой повелительницы людей и богов, когда наблюдаешь, что Япония, в недавнем прошлом столь жестокая к китайцам и корейцам, Япония, еще не получившая мзды за свое соучастие в преступлениях, совершенных европейцами в Китае, превращается в мстителя за Китай и в надежду желтой расы.

И однако же, на первый взгляд, желтую опасность, столь пугающую европейских экономистов, вряд ли можно сравнить с белой опасностью, нависшей над Азией. Ведь китайцы не посылают в Париж, Берлин, Санкт-Петербург миссионеров обращать христиан в

конфуцианство и вносить смуту в европейские дела. Китайский экспедиционный корпус не высаживался в Киберонской бухте, чтобы потребовать от правительства Французской республики «экстerrиториальности», иначе говоря, права разбирать в суде мандаринов тяжбы между китайцами и европейцами. Адмирал Того * не прибыл с двенадцатью броненосцами, чтобы обстрелять Брестский рейд в видах покровительства японской торговле во Франции. Цвет французских националистов, избранная часть наших трублионов * не осаждала китайской и японской миссий в их особняках на улицах Гош и Марсо, и маршал Ойяма не являлся после этого во главе соединенных армий Дальнего Востока на бульвар Мадлен требовать наказания трублионов за их ненависть к чужестранцам. Он не сжигал Версаль во имя высшей цивилизации. Армии великих азиатских держав не вывозили в Токио и в Пекин ни картин из Лувра, ни посуды из Елисейского дворца.

Нет! Господин Эдмон Тери сам признает, что желтые недостаточно цивилизованы, чтобы в точности подражать белым. И он не допускает, что они когда-либо поднимутся до таких высот культуры и морали. Да и откуда у них взяться нашим добродетелям? Ведь они — не христиане. Но люди сведущие считают, что хотя желтая опасность ограничивается экономикой, она от этого не менее страшна. Япония и используемый ею Китай угрожают нам на всех рынках мира ужасной, чудовищной, гигантской и безобразной конкуренцией, при одной мысли о которой у экономистов волосы встают дыбом. Вот почему надлежит истребить японцев и китайцев. Это ни у кого не вызывает сомнений. Но в таком случае надо объявить войну и Соединенным Штатам, чтобы воспрепятствовать их металлургам продавать железо и сталь по более низкой цене, чем продают наши заводчики, располагающие худшим оборудованием.

Будем же хоть раз искренни. Перестанем хотя бы на мгновение лгать себе. Старая Европа и Новая Европа — так следует по-настоящему именовать Америку — положили начало экономической войне. Каж-

дое государство ведет промышленную борьбу против других государств. Всюду производство яростно ополчается на производство. Мы без конца сетуем, что на хаотическом мировом рынке появляются новые товары, обостряя конкуренцию и вызывая потрясения. Но что дают эти жалобы? Ведь мы признаем лишь право сильного. Если Токио слабее нас, то окажется неправым, и мы дадим ему это почувствовать; если — сильнее, то окажется правым, и нам не в чем его будет упрекнуть. Существует ли на свете страна, достойная говорить от лица справедливости?

Мы обучили японцев капиталистическим порядкам и войне. Они внушают нам страх, потому что начинают походить на нас. Это и впрямь ужасно. Они обороняются против европейцев европейским же оружием! Их генералы и морские офицеры, получившие военное образование в Англии, Германии и Франции, делают честь своим наставникам. Некоторые из них прослушали курс в наших специальных училищах. Вельможи, полагавшие, что наши военные учебные заведения — с их точки зрения слишком демократические — ни на что не годны, могут теперь успокоиться.

Не берусь предугадывать исход войны. Российская империя противопоставляет методическому натиску японцев свои неисчислимые силы, которым, правда, наносит тяжкий ущерб непроходимая глупость правительства, бесчестность разложившейся администрации и неспособность военного командования. Россия выказала свою огромную слабость и полное отсутствие организованности. Однако ее денежные запасы, пополняемые богатыми заимодавцами, почти неисчерпаемы. Ее враг, напротив, может добывать средства лишь путем кабальных займов, да и этих неохотно предоставляемых ему кредитов он может лишиться в результате одержанных побед. Ибо англичане и американцы не прочь с помощью японцев ослабить Россию, но вовсе не желают, чтобы сама Япония сделалась могучей и опасной державой. Невозможно предвидеть, кто из противников окажется победителем в этой войне. Но если Япония внушит белым уважение к желтым, она послужит интересам человечества и без своего

ведома, а пожалуй, и против своей воли, приблизит установление всеобщего мира на земле.

— Что вы этим хотите сказать? — осведомился г-н Губен, поднимая голову и отрываясь от тарелки с восхитительным *fritto*¹.

— Опасаются, как бы окрепшая Япония не всколыхнула Китай, — продолжал Николь Ланжелье, — как бы она не научила его обороняться и самому извлекать выгоды из своих богатств. Опасаются, как бы не возник сильный Китай. Но в общих интересах человечества следовало бы не опасаться, а желать этого. Сильные государства содействуют гармонии и богатству мира. Слабые государства — такие, как Китай и Турция, — служат постоянным источником тревоги и опасностей. Но мы слишком склонны заранее пугаться или радоваться. Если победившая Япония захочет воссоздать желтую империю, она не так-то быстро с этим управится. Потребуется немало времени, чтобы Китай понял, что он существует. Ибо он этого не сознаёт, и до тех пор, пока он не осознает это, Китая, как такового, не будет. Пока народ не понял, что он существует, он, можно сказать, и не существует. В Китае живет триста пятьдесят миллионов человек; но они этого не сознают. До тех пор пока они не считают себя, с ними никто не станет считаться. Их не будут принимать в расчет, несмотря на всю их численность. «Р-рассчитайся!» — вот первая команда, которую отдает сержант вверенным ему людям. И тем самым он преподает им основы социальной жизни. Но нужно немало времени, чтобы триста пятьдесят миллионов человек успели сосчитать, сколько их. Тем не менее Улар* — а это европеец необыкновенный, по-скольку он думает, что надобно быть человеческим и справедливым в отношении китайцев, — возвещает нам, что великое национальное движение совершается во всех провинциях огромной империи.

— Но даже если победа Японии пробудит в монголах, китайцах, тибетцах национальное самосознание, — сказал Жозефен Леклер, — даже если она за-

¹ Жаркое (*итал.*).

ставит белых уважать все эти народы, то почему тем самым будет обеспечено торжество мира на земле, а безрассудное стремление к завоеваниям — обуздано? Разве нельзя будет затем заняться истреблением негров? Какой из черных народов заставит белых и желтых проникнуться уважением к чернокожим?

На это Николь Ланжелье заметил:

— Кто знает, до каких пределов пойдет развитие одной из великих человеческих рас? Негры не вымирают, в отличие от индейцев, входя в соприкосновение с европейцами. Какой пророк может предсказать двумстам миллионам африканских негров, что их потомки никогда не станут обитать в довольстве и мире на берегах озер и великих рек? Ведь и у белых людей был период пещер и свайных построек. Они были тогда дикими и ходили нагишом. Они сушили на солнце грубые глиняные сосуды. Их вожди устраивали празднества, сопровождавшиеся варварскими плясками. В те времена не было иных ученых, помимо колдунов. Но впоследствии белые воздвигли Парфенон, создали геометрию, подчинили законам гармонии свою мысль и движения своего тела.

Можете ли вы сказать африканским неграм: «Ваши племена всегда будут истреблять друг друга, вы всегда будете подвергать друг друга жестоким и диким пыткам; король Глегле в видах благочестия всегда будет приказывать, чтобы связанных пленников сбрасывали в корзины с крыши его жилища; вы всегда будете с наслаждением пожирать куски мяса, отрезанные от разлагающихся трупов ваших престарелых родителей; исследователи Африки всегда будут расстреливать вас из ружей и заживо сжигать в хижинах; кичливый христианский солдат всегда будет забавы ради резать на куски ваших жен; неунывающий моряк, прибывший из-за туманного моря, всегда будет вспарывать ударом ноги животы ваших малышей, единственно для того, чтобы поразмяться»? Можете ли вы с полной уверенностью утверждать, что треть человечества обречена вечно терпеть унижения?

Не знаю, пробудится ли в Африке в один прекрасный день, как это предсказывала в тысяча восемьсот

сороковом году миссис Бичер-Стоу *, пышная и блестящая жизнь, незнакомая вялым народам Запада; не знаю, разовьются ли там новые, яркие формы искусства. Чернокожим присуща необыкновенная музыкальность. Быть может, появится на свет восхитительное негритянское искусство — искусство танца и песни. А пока негры Южных Штатов делают быстрые успехи в приобщении к капиталистической цивилизации. Господин Жан Фино * на днях просветил нас на сей счет.

Еще лет пятьдесят назад все негры, вместе взятые, не располагали даже и ста гектарами земли. Сегодня их владения оцениваются в четыре миллиарда франков. Они не знали грамоте. Ныне пятьдесят из ста умеют читать и писать. Есть уже негры-романисты, негры-поэты, негры-экономисты, негры-филантропы.

Метисы, рожденные от господина и рабыни, особенно умны и физически развиты. Цветные люди, одновременно хитрые и свирепые, послушные инстинкту и расчету, мало-помалу, как сказал мне один из них, достигнут численного превосходства и когда-нибудь возьмут верх над изнеженными креолами, которые ныне столь необдуманно проявляют по отношению к чернокожим безрассудную жестокость. Быть может, уже появился на свет гениальный мулат, который скоро заставит детей белых дорого заплатить за кровь негров, казненных в наши дни судом Линча.

Между тем г-н Губен, воздев на нос свое пенсне с сильными стеклами, изрек:

— Если японцы победят, они отберут у нас Индо-Китай.

— И окажут нам этим большую услугу, — откликнулся Ланжелье. — Колонии — бич для народов.

Господин Губен с негодующим видом молчал.

— Не по душе мне такие речи! — воскликнул Жозефен Леклер. — Нам нужны рынки сбыта, нужны новые территории для промышленного и торгового проникновения. О чем вы только думаете, Ланжелье? Существует лишь одна политика — в Европе, в Америке, во всем мире: это — колониальная политика.

Николь Ланжелъе невозмутимо продолжал:

— Колониальная политика — самая последняя форма варварства, или, если вам угодно, верх цивилизации. Я не делаю разницы между двумя этими понятиями: они тождественны. То, что люди именуют цивилизацией, — это современное состояние нравов, а то, что они именуют варварством, — это предшествующее состояние нравов. Нынешние нравы будут именоваться варварскими, когда они станут нравами прошлого. Я, не обинуясь, признаю, что истребление слабых народов сильными народами вполне согласно с нашей моралью, с нашими нравами. На этом зиждется гражданское право, на этом основана колониальная политика.

Но остается выяснить, всегда ли приобретение далеких земель выгодно для государства? Думается, нет. Что принесли Мексика и Перу Испании? Бразилия — Португалии? Батавия — Голландии? Есть разные виды колоний. Есть колонии, которые до появления незадачливых европейцев представляли собою необработанные и пустынные территории. Они сохраняют верность метрополии, пока бедны, и отделяются от нее, лишь только достигнут процветания. Есть колонии, малопригодные для жизни европейцев, но зато из них выкачивают сырье и ввозят туда товары. Понятно, что такие колонии обогащают не тех, кто ими владеет, а тех, кто с ними торгует. Чаще всего они даже не возмещают затрат, которые несет метрополия. Больше того: они каждый миг грозят навлечь на нее бедствия войны.

Господин Губен прервал говорившего:

— А как же Англия?

— Англичане — не столько народ, сколько раса. Единственная отчизна англо-саксов — море. И Англия, которая считается богатой из-за своих обширных владений, на самом деле своим благосостоянием и могуществом обязана торговле. Следует завидовать не тому, что у нее есть колонии; истинные создатели ее богатств — купцы. Уж не думаете ли вы, что захват Трансвааля *, например, принесет англичанам много пользы? Но так или иначе, можно еще понять, когда при существующем положении страны, где рождается много детей и изготавливается много товаров, ищут за морем новых зе-

мель и рынков и завладевают ими хитростью и насильем. Но нам-то, по нашему народу, бережливому, заботящемуся о том, чтобы детей рождалось не больше, чем родная земля может прокормить, народу, который не гонится за расширением производства и не склонен к авантюрам в далеких странах, но Франции, говорю я, которая никогда не покидает своего сада, — зачем ей колонии, боже правый?! Что ей с ними делать? Что они ей дают? Она щедро заплатила людьми и деньгами за то, чтобы Конго, Кохинхина, Аннам, Тонкин, Гвиана и Мадагаскар покупали бумажные материи в Манчестере, оружие — в Бирмингеме и Льеже, спиртные напитки — в Данциге и бордоское вино — в Гамбурге. Она целых семьдесят лет грабила, изгоняла и преследовала арабов ради того, чтобы населить Алжир итальянцами и испанцами!

Насмешка, заключенная в этих итогах, достаточно жестока, и просто диву даешься, каким образом нам на горе возникла колониальная империя в десять-одиннадцать раз более обширная, чем сама Франция. Но нужно иметь в виду: если французский народ и не получает никакой выгоды от того, что владеет землями в Африке и в Азии, то его правительство, напротив, извлекает многочисленные выгоды, завоевывая для него эти земли. Государственные деятели приобретают таким способом поддержку армии и флота, ибо в колониальных экспедициях добываются чины, пенсии и кресты, не говоря уже о славе, которую приносит победа над врагом. Они приобретают поддержку церковников, открывая новые возможности для проповеди христианства и предоставляя земли для католических миссий. Они радуют сердца судовладельцев, судостроителей и военных поставщиков, которых засыпают заказами. Они создают себе в стране многочисленных сторонников, жалуя огромные леса и бесчисленные плантации. И, что еще важнее, они добиваются для своей партии поддержки со стороны всех аферистов и биржевых зайцев, сидящих в парламенте. Наконец, они льстят честолюбию толпы, гордящейся тем, что Франция владеет желтой и черной империей, заставляя бледнеть от зависти Германию и Англию. Они слынут отменными

гражданами, патриотами и великими государственными людьми. И если порою им угрожает риск пасть, подобно Ферри, под ударами какой-нибудь военной катастрофы *, они готовы и на это, ибо убеждены, что самая гибельная заморская экспедиция сопряжена с меньшими заботами и опасностями, чем самая благотворная из социальных реформ.

Вы постигаете теперь, почему во Франции порою бывали министры-империалисты, жаждавшие увеличить ее колониальные владения. И нам следует еще поздравить себя и воздать хвалу умеренности наших правителей, которые могли бы взвалить на плечи стране куда больше колоний.

Но опасность еще не миновала, и нам грозит восьмидесятилетняя война в Марокко. Неужели колониальное безумие никогда не кончится?

Я хорошо знаю, что рассудительность не свойственна народам. И откуда им быть рассудительными, если вспомнить, из кого они состоят. Но нередко какой-то инстинкт предупреждает их о том, что может причинить им вред. Порою они способны наблюдать и делать выводы. Они постепенно учатся на горестном опыте собственных заблуждений и ошибок. Когда-нибудь они усвоят, что колонии для них — лишь источник опасностей и путь к разорению. Торговое варварство уступит место торговой цивилизации, а насильственное проникновение — проникновению мирному. Эти идеи находят ныне доступ даже в парламенты. Они восторжествуют — не потому, что люди станут менее корыстны, но потому, что лучше поймут, в чем их подлинные интересы.

Величайшая ценность на земле — сам человек. Чтобы благоустроить земной шар, надо сначала устроить человеческую жизнь. Чтобы извлекать пользу из почвы, рудников, вод, всех веществ и всех сил нашей планеты, необходим человек, весь человек, необходимо человечество, все человечество. Для того чтобы пользоваться всеми благами земли, нужен совместный труд белых, черных и желтых людей. Сокращая, уменьшая, ослабляя, словом, колонизируя часть человечества, мы действуем себе же во вред. Нам выгодно, чтобы желтые

и черные были сильны, свободны и богаты. Наше процветание, наше богатство зависит от их богатства и от их процветания. Чем больше они будут производить, тем больше будут потреблять. Чем больше выгоды мы им принесем, тем больше выгоды от них получим. Пусть они широко пользуются плодами наших трудов, а мы станем широко пользоваться плодами их трудов.

Наблюдая за силами, которые приводят в движение общество, быть может, удастся обнаружить признаки того, что эра насилий заканчивается. Войны, некогда бывшие неизменным состоянием народов, ныне происходят лишь время от времени, и периоды мира сделались куда более продолжительными, нежели периоды войны. Наша страна дает пищу для любопытных размышлений. Французы занимают в военной истории народов особое место. Если все остальные народы вели войны исключительно из корыстных интересов или по необходимости, то французы способны были сражаться из чистого удовольствия. И вот знаменательно, что вкусы наших соотечественников переменялись. Лет тридцать назад Ренан писал: «Всякий, кто знает Францию, кто наблюдал жизнь в ее больших городах и в провинциальной глуши, не колеблясь, признает, что уже полвека эта страна настроена в высшей степени миролюбиво». Многие наблюдатели отмечали, что французы в тысяча восемьсот семидесятом году не имели ни малейшего желания браться за оружие, и объявление войны было ими встречено с горестным изумлением. И несомненно сегодня мало кто из французов помышляет о новой военной кампании, все охотно принимают мысль, что армия нужна лишь для того, чтобы избежать войны. Приведу лишь один из множества примеров, характеризующих состояние умов. Господина Рибо *, депутата, бывшего министра, пригласили на какой-то патриотический праздник; в ответ он прислал извинительное письмо, содержание которого весьма знаменательно. Господин Рибо при одном слове «разоружение» морщит надменное чело. Он испытывает к пушкам и знаменам пристрастие, подобающее бывшему министру иностранных дел. В своем письме он объявляет национальной опасностью идеи о мире между на-

родами, распространяемые социалистами. Он видит здесь отступничество, с которым не может примириться. Но это вовсе не означает, что он воинственен. Он также желает мира, но мира помпезного, великолепного, блистательного и славного, как война. Между господином Рибо и Жоресом спор идет лишь о путях к сохранению мира. Оба они миролюбивы. Но Жорес — просто миролюбив, а господин Рибо — миролюбив высокомерно. Вот и все. Еще ярче и убедительнее, чем настроения социал-демократов, довольствующихся миром, так сказать, в блузе и пальто, о бесповоротном закате идей реванша и завоеваний свидетельствуют настроения буржуа, которые требуют мира, украшенного военными регалиями и окруженного видимостью славы, ибо здесь налицо тот переломный момент, когда воинственный инстинкт перерождается в стремление к миру.

Франция постепенно приходит к осознанию своей подлинной силы — силы духовной; она начинает постигать свою миссию, которая состоит в том, чтобы сеять идеи, властвовать в области мысли. Недалек день, когда Франции станет ясно, что единственно прочной и надежной ее силой были ораторы, философы, писатели и ученые. Да, когда-нибудь французы будут вынуждены признать, что им не следует полагаться на свое численное превосходство, которое столько раз обманывало их надежды, а теперь бесповоротно ускользает от них, и пора уже удовлетвориться славой, которую им гарантируют завоевания ума и достижения научной мысли.

Жан Буайи покачал головой.

— Вы хотите, чтобы Франция звала народы к согласию и миру, — сказал он. — Уверены ли вы, что ее станут слушать, что ее призыву последуют? Больше того, обеспечено ли ее собственное спокойствие? Не приходится ли ей страшиться угроз извне, предвидеть опасность, стоять на страже своих границ, заботиться о собственной обороне? Одна ласточка весны не делает; одному народу не под силу обеспечить всеобщий мир. Кто может поручиться в том, что Германия содержит армии только с целью не допустить возникновения войны? Немецкие социал-демократы хотят мира. Но

они не господа положения, их депутаты не пользуются в парламенте тем влиянием, на которое имеют право судя по числу их избирателей. И вы думаете, Россия, едва вступившая на путь промышленного развития, так скоро вступит на стезю миролюбия? Возмутив спокойствие Азии, она, вы думаете, не возмутит затем и спокойствие Европы?

Но если, допустим, Европа и становится миролюбивой, то разве Америка, не становится на наших глазах воинственной? После того как Куба низведена на положение вассальной республики, а Гавайские острова, Порто-Рико и Филиппины аннексированы *, никто уже не решится отрицать, что Американская Федерация ведет завоевательную политику. Некий янки, публицист по фамилии Стед, заявил под одобрительный гул всех Соединенных Штатов: «Американизация мира началась». А господин Рузвельт * мечтает водрузить звездный флаг в Южной Африке, Австралии и Вест-Индии. Господин Рузвельт — империалист, он хочет мирового владычества Америки. Между нами говоря, он мечтает об империи Августа. По несчастью, он читал Тита Ливия *. Лавры римлян не дают ему покоя. Вам знакомы его речи? Они исполнены воинственного пыла. «Друзья мои, сражайтесь, — призывает господин Рузвельт, — сражайтесь беспощадно. Что может быть лучше хорошей потасовки? Люди живут на земле, чтобы истреблять друг друга. Тот, кто скажет вам, будто это не так, — человек безнравственный. Остерегайтесь людей мыслящих. Мысль расслабляет. Это — порок французов. Римляне завоевали вселенную. Они потеряли ее. Мы — современные римляне». Красноречивые слова, к тому же поддержанные военным флотом, который выйдет вскоре на второе место в мире, и военным бюджетом в полтора миллиарда франков!

Янки объявляют, что они через четыре года начнут войну против Германии. Мы поверим, если они скажут нам, где предполагают встретиться с врагом. Однако это безрассудство дает пищу для размышлений. Когда поработенная царем Россия или, скажем, полуфеодалная Германия пестует армии для битв, это еще можно попытаться объяснить старинными привычками

и пережитками сурового прошлого. Но когда страна новой демократии, Соединенные Штаты Америки, эта ассоциация дельцов, сборище эмигрантов из всех стран, не связанных ни национальной общностью, ни традициями, ни воспоминаниями и иступленно борющихся за доллары, внезапно испытывает желание выпускать торпеды в броненосцы противника и подрывать на минах вражеские колонны, — это свидетельствует о том, что беспорядочная борьба за промышленное господство и овладение богатствами земли приводит к культуре грубой силы, что яростная промышленная конкуренция порождает яростное военное насилие, а торговое соперничество разжигает такую ненависть между народами, что потушить ее можно лишь потоками крови. Колониальная одержимость, о которой вы недавно говорили, — всего лишь одно из проявлений этой конкуренции, столь превозносимой нашими экономистами. Подобно феодальному строю, капиталистический строй — строй воинственный. Началась эра великих войн за промышленное господство. При нынешней системе производства, проникнутой духом национализма, пушка будет устанавливать торговые тарифы, основывать таможи, открывать и закрывать рынки. Это — единственное, чем регулируется торговля и промышленность. Уничтожение — вот роковой результат экономических условий, которые царят сегодня в цивилизованном мире...

Gorgonzola и stracchino¹ благоухали на столе. Слуга принес свечи, снабженные проволокой и служившие для того, чтобы зажигать длинные сигары с соломинкой, столь милые сердцу итальянцев.

Ипполит Дюфрен, некоторое время не принимавший никакого участия в беседе, сказал негромким голосом, в котором звучала горделивая скромность:

— Господа, наш друг Николь Ланжелье только что утверждал, будто многие люди боятся опозорить себя в глазах современников, допустив возможность той ужасающей безнравственности, какой представляется нравственность будущего. Мне неведом этот страх, и я

¹ Названия сортов сыра (*итал.*).

написал небольшую повесть, единственное достоинство которой, быть может, в том, что она доказывает, как спокойно я взираю на будущее. Когда-нибудь я попрошу разрешения прочесть ее вам.

— Прочтите сейчас, — предложил Бони, зажигая сигару.

— С удовольствием послушаем, — подхватил Жозефен Леклер, Николь Ланжелъе и г-н Губен.

— Не знаю, захватил ли я с собой рукопись, — сказал Ипполит Дюфрен.

И, опустив руку в карман, он достал свернутые в трубку листы бумаги и прочел нижеследующее.

V

ВРАТАМИ ИЗ РОГА ИЛИ ВРАТАМИ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ *

Было около часа ночи. Перед тем как лечь в постель, я распахнул окно и закурил папиросу. Гудок автомобиля, проезжавшего по аллее Булонского леса, нарушил тишину. Деревья струили прохладу, покачивая своими темными вершинами. Ни одного живого звука. Даже жужжания насекомого не было слышно над бесплодной почвой города. Ночное небо блистало звездами. Воздух в тот вечер был необыкновенно прозрачен, и было ясно видно, что звезды — различного цвета. Почти все они сверкали белым огнем. Но были среди них и желтые и оранжевые, точно пламя угасающих светильников. Попадались и голубые, а одна звезда мерцала таким чистым и мягким бледно-голубым светом, что я не в силах был отвести от нее взгляд. Жаль, что мне неизвестно название этой звезды, но меня утешает мысль, что люди все равно не дают звездам их настоящего имени.

Вспоминая, что каждая из этих капелек света озаряет целые миры, я спрашиваю себя, не озаряют ли они, как и наше Солнце, картины неисчислимых страданий, не переполняет ли горе безбрежные просторы

небес? Об иных мирах мы можем судить лишь по нашему миру. Нам знакома жизнь только в тех формах, какие она принимает на Земле, и если даже предположить, что наша планета не из лучших, то у нас все же нет никаких оснований думать, что на других планетах все обстоит хорошо: вряд ли такое уж великое счастье родиться под лучами Альтаира, Бетельгейзе или огненного Сириуса, — ведь мы знаем, как грустно открывать глаза на Земле под лучами нашего древнего Солнца. Нельзя сказать, чтобы мой удел в сравнении с уделом других казался мне таким дурным. У меня нет ни жены, ни детей. Я не влюблен и не болен. Я не слишком богат и не вращаюсь в свете. Стало быть, я принадлежу к числу счастливых. Но даже у счастливых мало радостей. Каков же удел остальных! Люди воистину достойны сожаления. Я не упрекаю в этом природу: с ней нельзя разговаривать, она не одарена разумом, Я не виню в этом и общество. Неразумно противопоставлять общество природе. В равной мере бессмысленно природу людей противопоставлять обществу, как и природу муравьев — муравейнику или природу сельдей — косяку сельдей. Сама природа животных необходимо определяет характер их сообщества. Земля — такая планета, где невозможно обходиться без еды, ее владыка — голод. Естественно, что животные здесь алчны и свирепы. Лишь человек одарен разумом, и он скуп. Скупость до сих пор еще остается высшей добродетелью человеческого общества и венцом природы, если иметь в виду мораль. Будь я писателем, я сочинил бы похвалу скупости. По правде говоря, книга эта не была бы оригинальной. Моралисты и экономисты раз сто уже писали об этом. Человеческие общества зиждутся на величественном фундаменте скупости и жестокости.

А в других вселенных, во всех этих бесчисленных мирах, затерянных в эфире, обстоит ли дело таким же образом? Быть может, звезды, мерцающие над моей головой, светят людям и на других планетах? Что, если и там — в бесконечном пространстве — тоже едят, тоже пожирают друг друга? Это сомнение мучит меня, и я

не могу без ужаса видеть пламенную росу, висящую в небесах.

Мало-помалу мысли мои становятся более спокойными, более ясными, и я опять с удовольствием думаю о нашей земной жизни, то неистойой, то сладостной. Я решаю, что порою жизнь все-таки прекрасна. Ведь только на фоне ее красоты заметны ее уродства, — и как видеть в природе дурное, если не видишь, как она хороша?

Уже несколько мгновений звуки сонаты Моцарта возносят в воздух белоснежные колонны и гирлянды роз. Мой сосед — пианист и по ночам играет Моцарта и Глюка. Я закрываю окно и, готовясь ко сну, размышляю о тех сомнительных удовольствиях, которым мог бы предаться поутру; и вдруг я припоминаю, что неделю назад меня пригласили на завтрак в Булонский лес; кажется, речь идет о завтрашнем дне. Чтобы убедиться в этом, я ищу пригласительное письмо, оно так и осталось на моем столе. Вот оно:

16 сентября 1903 года.

«Старина Дюфрен,

доставь мне удовольствие и приходи позавтракать в обществе... (и прочее и прочее)... в следующую субботу, 23 сентября 1903 года (и прочее и прочее)».

Стало быть, это — завтра.

Я позвонил камердинеру.

— Жан, разбудите меня в девять часов утра.

Именно завтра, двадцать третьего сентября тысяча девятьсот третьего года, мне исполняется тридцать девять лет. Судя по тому, что мне уже пришлось видеть в обществе этих людей, я могу без труда представить приблизительно все, что еще увижу. Зрелище будет, по всей вероятности, весьма унылое. Я могу наверняка предугадать, о чем станут разговаривать завтра за столом, в ресторане Булонского леса. Вот что непременно будет сказано: «Я делаю по шестьдесят в час. — У Бланш отвратительный характер, но она меня не обманывает, уж в этом-то я уверен. — Правительство

заимствует лозунг социалистов. — Лошадки * в конце концов могут осточертеть. Остается еще баккара. — Было бы удивительно, если бы рабочие стали стесняться: правительство всегда принимает их сторону. — Бьюсь об заклад, что Золотая Булавка побьет Ранавало. — Уму непостижимо, как это не найдется генерала, способного вымести весь этот сброд. — Чего вы хотите? Евреи продали Францию Англии и Германии». Вот что я завтра услышу! Вот политические и социальные взгляды моих друзей, потомков буржуа Июля *, тех буржуа — владык фабрик и заводов, королей рудников, — которым удалось укротить и поработить силы революции. Мои друзья, думается, не смогут долго сохранять власть над промышленностью и политическое господство, унаследованное от предков. Они не очень умны, мои друзья. Они не привыкли работать головой. Да и я не очень привык. До сих пор я не многого достиг в жизни. Подобно им, я бездельник и невежда. Я чувствую, что ни к чему не пригоден, и если мне чуждо свойственное им тщеславие, если голова моя не забита тем вздором, каким засорены их головы, если я, в отличие от них, не испытываю ненависти и страха перед идеями, то это объясняется особыми обстоятельствами моей жизни. Когда мне исполнилось семнадцать лет, мой отец, крупный промышленник и консервативный депутат парламента, нанял молодого репетитора, застенчивого и молчаливого, словно красная девица. Готовя меня к экзамену на степень бакалавра, он в то же время подготавливал социальную революцию в Европе. То был очаровательно мягкий человек. Его не раз сажали в тюрьму. Теперь он депутат. Он давал мне переписывать свои воззвания к международному пролетариату. Я прочел под его руководством всю социалистическую литературу. Среди того, что он мне внушал, было много неправдоподобного; но зато он открыл мне глаза на все происходившее вокруг; он доказывал, что все уважаемое в нашем обществе заслуживает прозрения, а все презираемое заслуживает уважения. Он хотел пробудить во мне протест. Я же, напротив, из его доказательств сделал вывод, что надлежит уважать ложь и почитать лицемерие, ибо это — два

наиболее прочных устоя общественного порядка. Я остался консерватором. Но душа моя исполнилась отворачения.

Сквозь сон до меня время от времени еще доносятся почти неуловимые звуки Моцарта, и в моем воображении встают очертания мраморных храмов среди голубой листвы.

Было уже поздно, когда я проснулся. Я оделся гораздо быстрее обычного, сам не понимая, почему так тороплюсь. Не помню, как я очутился на улице. То, что я увидел вокруг, поразило меня и словно лишило всякой способности к мышлению; и лишь благодаря этому мое удивление не возрастало больше, оставалось неизменным и спокойным. Если бы ум мой сохранил свои обычные свойства, то удивление это, конечно, вскоре стало бы непомерным, я окаменел бы от страха, — настолько зрелище, открывшееся моему взору, было не похоже на то, каким ему надлежало быть. Все окружающее было мне внове, казалось незнакомым и странным. Деревья и лужайки, которые я видел ежедневно, исчезли. Там, где еще накануне высились огромные серые здания, окаймлявшие улицу, теперь тянулась причудливая линия кирпичных домиков, окруженных садами. Я не решался оглянуться и посмотреть, уцелел ли еще мой дом, и направился прямо к воротам Дофина. Я их не обнаружил. В этом месте Булонский лес преобразился в поселок. Я свернул на улицу, которая, как мне показалось, возникла на месте прежней дороги в Сюрэн. Дома здесь были странного стиля и необычайной формы; недостаточно просторные, чтобы служить жильем для богатых людей, они были, однако, украшены живописью, скульптурой и яркой керамикой. Крытая терраса венчала каждый домик. Я шел этой деревенской улицей, задерживаясь на поворотах, чтобы полюбоваться очаровательными видами. Ее пересекали под острым углом извилистые дороги. Нигде не видно было ни поездов, ни автомобилей, ни экипажей. По земле скользили какие-то тени. Я поднял голову и увидел огромных птиц и колоссальных рыб, они во

множестве проносились в вышине, которая выглядела не то небом, не то океаном. Неподалеку от Сены, изменившей свое направление, мне повстречалась группа людей в коротких, завязанных у талии блузах и высоких гетрах. По всей вероятности, эти люди были в рабочей одежде. Но походка их казалась легче и элегантней, чем у наших рабочих. Я заметил, что среди них были и женщины. Я не сразу распознал их, потому что одеты они были так же, как мужчины, ноги у них были прямые и длинные, а бедра — узкие, как у нынешних американок. Хотя вид у этих людей был вовсе не свирепый, я посмотрел на них со страхом. Они показались мне куда более странными, чем все бесчисленные незнакомцы, каких я до тех пор встречал на земле. Чтобы избежать дальнейших встреч с людьми, я углубился в пустынную улочку. И вскоре достиг круглой площадки, где высились мачты; на них реяли красные флаги, с надписью золотыми буквами: «Европейская федерация». У подножья этих мачт в больших рамах, украшенных мирными эмблемами, висели афиши. То были извещения о народных празднествах, официальные предписания, объявления об общественных работах. Тут же висели и расписания движения воздушных шаров и карта атмосферных течений на 28 июня 220 года со времени объединения народов. Все эти тексты были набраны непривычными для меня буквами и на языке, понятном мне лишь отчасти. Пока я старался разобраться в написанном, тени бесчисленных машин, пронесившихся в воздухе, мелькали у меня перед глазами. Я снова поднял голову: неузнаваемое небо, где царило гораздо большее оживление, чем на земле, рассекали рули, бороздили лопасти винтов; на горизонте поднимались клубы дыма; и вдруг я увидел солнце. Мне захотелось плакать. То был первый знакомый образ, который я видел в тот день. По высоте солнца я определил, что было около десяти часов утра. Внезапно меня вновь обступила толпа мужчин и женщин, — такая же, как раньше, и по одежде и по манере держаться. Я утвердился в своем первом впечатлении, что женщины — и тучные, и сухопарые, и такие, о которых ничего нельзя было сказать, — в боль-

шинстве своем походили на гермафродитов. Человеческая волна схлынула. Площадь мгновенно опустела, подобно нашим пригородным кварталам, которые становятся людными лишь тогда, когда работники выходят из мастерских. Задержавшись перед афишами, я вторично прочел дату: 28 июня 220 года со времени основания Европейской федерации. Что бы это значило? Воззвание Федерального комитета по случаю праздника земли весьма кстати помогло мне уяснить себе смысл этой даты. Там было сказано: «Товарищи, как вы знаете, в последнем году двадцатого века старый мир рухнул в результате ужасной катастрофы, и после полувековой анархии образовалась Федерация народов Европы...» Стало быть, 220 год Федерации народов соответствовал 2270 году христианской эры, в этом не было сомнений. Оставалось только уяснить себе все происшедшее. Каким образом я внезапно очутился в 2270 году?

Я размышлял над этим, продолжая идти вперед без определенной цели:

«Насколько мне известно, я не пребывал долгие годы в состоянии мумии, как полковник Фугас. Я не управлял машиной, при помощи которой господин Герберт Джордж Уэллс исследует разные эпохи. И если я, по примеру Уильяма Морриса, только во сне вижу, будто перескочил через три с половиной столетия, то мне не дано этого знать: ведь когда человек видит сон, он не сознает, что это сон. А все же, откровенно говоря, я полагаю, что не сплю».

Предаваясь этим мыслям и некоторым другим, о которых незачем рассказывать, я шел длинной улицей, окаймленной оградами, за которыми приветливо выглядывали из зелени розовые дома, различной формы, но все одинаково маленькие. Иногда среди полей попадалось то здесь, то там обширное здание из стали, напоминавшее цирк, оттуда вырывались языки пламени и клубы дыма. Чем-то страшным веяло от этих необычайных сооружений; от быстрого полета машин воздух приходил в содрогание, и оно мучительно отдавалось у меня в голове. Улица вела к лугу, усеянному рощицами и пересеченному ручьями. Здесь паслись коровы.

В то время как я наслаждался свежестью пейзажа, мне почудилось, будто впереди по гладкой и ровной поперечной дороге бегут какие-то тени. Ветер от их движения ударял мне в лицо. Я догадался, что то были трамваи и автомобили, казавшиеся прозрачными, — так быстро они неслись.

Я пересек дорогу по пешеходному мостику и долго шел лугами и лесами. Я решил, что забрел в деревенскую глушь, как вдруг передо мною возник целый строй великолепных домов, замыкавших обширный парк. Скоро я подошел к какому-то дворцу, архитектура которого отличалась необыкновенным изяществом. Вдоль огромного фасада тянулся лепной раскрашенный фриз; на нем было изображено многолюдное пиршество. Сквозь стеклянные двери я различил мужчин и женщин, сидевших в большой светлой зале за длинными мраморными столами, уставленными красивой расписной посудой из фаянса. Я решил, что это ресторан, и вошел. Я не был голоден, но изрядно устал, и прохлада, царившая в зале, украшенной гирляндами плодов, показалась мне восхитительной. У дверей какой-то человек спросил у меня продовольственную бону и, заметив мою растерянность, проговорил:

— Ты, приятель, видно, нездешний. Как это ты путешествуешь без бон? Сожалею, но не могу тебя накормить. Пойди разыщи уполномоченного по распределению труда, а если ты инвалид, обратись к уполномоченному по общественной помощи.

Я заявил, что вовсе не инвалид, и вышел. Какой-то плотный мужчина, появившийся в это время в дверях с зубочисткой во рту, предупредительно сказал мне:

— Товарищ, тебе незачем обращаться к уполномоченному по распределению труда. Я ведаю булочной этого сектора. Нам не хватает одного человека. Пойдем. Ты сразу приступишь к работе.

Я поблагодарил толстяка и заверил его, что охотно принял бы за дело, будь я пекарем.

Он не без удивления посмотрел на меня и сказал, что я, должно быть, не прочь пошутить.

Я двинулся за ним. Мы остановились перед громадным чугунным строением с монументальными во-

ротами; на фронтоне стояли, облокотившись, два бронзовых гиганта: Сеятель и Жнец. Их тела выражали силу, но без какого-либо напряжения. На лице у них была написана спокойная гордость, они высоко держали голову и этим сильно отличались от нелюдимых работников фламандца Константина Менье *. Мы вступили в залу высотой более сорока метров: здесь, среди невесомой белой пыли, работали машины, распространяя вокруг себя равномерный гул. Под металлическим куполом мешки, казалось, сами собой приближались к ножу, и тот их вспарывал; мука высыпалась из них прямо в чаны, где огромные стальные руки месили тесто, затем оно стекало в формы, которые, по мере наполнения, без посторонней помощи устремлялись в широкую и глубокую печь, напоминавшую туннель. Лишь пять или шесть человек, неподвижные среди всего этого движения, наблюдали за работой машин.

— Это уже старая булочная, — пояснил мой спутник. — Она выпекает только восемьдесят тысяч хлебов в день, и для обслуживания ее маломощных машин требуется слишком много рабочих. Ну, ничего. Поднимись наверх.

У меня не было времени попросить более ясных указаний. Подъемник доставил меня на платформу. Не успел я осмотреться, как нечто, напоминавшее воздушного кита, остановилось возле меня и выгрузило несколько мешков. На этой машине не было ни одного живого существа. Я внимательно следил за ней и уверен, что там не было даже механика. Новые воздушные киты подплывали с новыми мешками и выгружали их, а те один за другим приближались к ножу, который их вспарывал. Винты вращались, руль направлял движение. Но у штурвала никто не стоял, машина была пуста. Издали до меня доносился легкий шум — казалось, это летит оса, затем летящий предмет увеличивался с поразительной быстротой. Движения машины были точно рассчитаны, но при мысли, что я не знаю, как поступить, если она отклонится от заданного пути, меня кидало в дрожь. Несколько раз я порывался попросить, чтобы мне позволили спуститься. Но присущее каждому человеку чувство стыда мешало мне это

сделать. Я оставался на своем посту. Солнце клонилось к горизонту, было уже около пяти часов вечера, когда за мной, наконец, прислали подъемник. Трудовой день кончился. Я получил бону на питание и жилье.

Мой новый знакомый сказал мне:

— Ты, должно быть, голоден. Если хочешь, можешь поужинать за общественным столом. Или можешь поесть один, в своей комнате. А предпочитаешь ужинать у меня, в обществе нескольких товарищей, скажи об этом сейчас. Я позвоню в кулинарный цех, чтобы прислали твою порцию. Говорю все это, чтобы ты чувствовал себя свободнее. Ты, как видно, выбит из колеи. Верно, ты издалека и человек не слишком бойкий. Сегодня тебе досталась легкая работа. Но не думай, что у нас всегда так просто заработать себе на жизнь. Если бы Зет-лучи, управляющие воздушными шарами, закапризничали, как это иногда случается, у тебя было бы куда больше хлопот. Кто ты по профессии? И откуда явился?

Его вопросы сильно смутили меня. Как мог я сказать правду? Ведь не мог же сознаться, что я — буржуа и прибыл из двадцатого века. Он бы счел меня помешанным. Я ответил уклончиво и не без смущения, что у меня нет никакой профессии, а прибыл я издалека, очень издалека.

Он усмехнулся.

— Понимаю, — сказал он. — Ты не смеешь признаться, что приехал из Соединенных Штатов Африки. Ты не единственный европеец, который ускользнул от нас таким образом. Но все эти беглецы почти всегда возвращаются к нам.

Я промолчал, и он решил, что его догадка верна. Он повторил приглашение поужинать у него и спросил, как меня зовут. Я ответил, что зовут меня Ипполит Дюфрен. Он был явно удивлен, что у меня двойное имя.

— А меня зовут Мишель, — проговорил он.

Затем, внимательно осмотрев мою соломенную шляпу, пиджак, башмаки, весь мой костюм, разумеется, несколько запыленный, но безукоризненного покроя — ведь меня, что ни говорите, одевает не какой-нибудь

портной-привратник с улицы Акаций, — Мишель сказал:

— Ипполит, я вижу, откуда ты прибыл. Ты жил в стране черных. В наше время никто, кроме зулусов и бассутов, не выделяет такого скверного сукна, не шьет одежды такого смехотворного фасона, не носит таких дрянных башмаков и не крахмалит белья. Только у них ты мог научиться брить бороду, оставляя на лице усы и небольшие бакенбарды. Обычай брить лицо таким образом, чтобы на нем оставались небольшие участки волос в виде орнамента, — одно из последних проявлений татуировки, и он в ходу лишь у бассутов да зулусов. Эти черные провинции Соединенных Штатов Африки все еще коснеют в варварстве, сильно напоминающем состояние, в котором была Франция три или четыре века назад.

Я принял приглашение Мишеля.

— Я живу поблизости, в Солони, — сказал он. — У моего аэроплана недурная скорость. Мы быстро дочмимся.

Он усадил меня под брюхо большой механической птицы, и мы тут же с такой быстротой принялись рассекать воздух, что у меня перехватило дыхание. Вид местности сильно отличался от того, который был мне прежде знаком. Вдоль всех дорог стояли дома; серебряные линии бесчисленных каналов перекрещивались на полях. Я восхищался этой картиной, а Мишель сказал мне:

— Землю достаточно хорошо обрабатывают; с тех пор как химики сами занялись земледелием, оно ведется, как принято выражаться, интенсивно. За последние триста лет люди проявили немало изобретательности и проделали большую работу. Чтобы построить общество на коллективистских началах, пришлось добиться того, чтобы земля рождала в четыре, а то и в пять раз больше, чем во времена капиталистической анархии. Ты жил у зулусов и бассутов и сам знаешь, что жизненные блага у них необычайно скудны и, если начать делить их между всеми, то это означало бы делить нищету, а не богатство. Изобилие, которого мы достигли, — это, прежде всего, результат развития наук.

Почти полное уничтожение городских классов также принесло большую пользу земледелию. Торговцы и чиновники пошли либо на заводы, либо в деревню.

— Как, — вскричал я, — вы уничтожили города? Что же стало с Парижем?

— Там никто почти больше не живет, — отвечал Мишель. — Отвратительные и нездоровые шестизэтажные здания, где жили горожане минувшей эры, в большинстве своем превратились в развалины и не были восстановлены. В двадцатом веке этой злосчастной эры строили из рук вон плохо. Мы сохранили строения более ранних эпох — они куда лучше — и превратили их в музеи. У нас множество музеев и библиотек: именно здесь мы приобретаем знания. Кое-что уцелело от здания парижской мэрии. Это было уродливое и непрочное сооружение, но там совершались великие дела. У нас нет больше ни суда, ни торговли, ни армий, поэтому-то у нас нет и городов в собственном смысле слова. И все же в некоторых местах плотность населения значительно больше, чем в других, центры металлургической и горнорудной промышленности очень перенаселены, несмотря на быстроту средств передвижения.

— Что вы говорите? — воскликнул я. — Вы упразднили суды? Стало быть, у вас нет больше преступлений и правонарушений?

— Преступления сохраняются до тех пор, пока будет существовать старое и мрачное человечество. Но число преступников сократилось, так как сократилось число обездоленных. Преступления пышным цветом распускались в предместьях больших городов; у нас нет теперь больших городов. Беспроволочный телефон делает дороги безопасными в любой час. Все мы снабжены электрическими средствами защиты. Что касается правонарушений, то число их зависело скорее не от испорченности обвиняемых, а от придирчивости судей. Теперь же, когда у нас нет больше ни законников, ни судей и правосудие осуществляется по очереди всеми гражданами, многие виды правонарушений исчезли, верно, потому, что их перестали считать правонарушениями.

Так говорил Мишель, управляя аэропланом. Я передаю смысл его речей настолько точно, насколько это мне доступно. Сожалею, что не могу — по слабости памяти, а также из боязни, что меня не поймут, — воспроизвести все его выражения, а главное — манеру говорить. Речь булочника и его современников поразила меня больше всего новизной словаря и синтаксиса и в особенности лаконичными оборотами и множеством сокращений.

Наш аэроплан опустился возле террасы скромного, но уютного дома.

— Прилетели, — сказал Мишель, — здесь я живу. Ты поужинаешь с моими друзьями, тоже статистиками, как я сам.

— Как? — изумился я, — вы статистик? А я-то полагал, что вы булочник.

— Я булочник шесть часов в день. Такова продолжительность рабочего дня, установленная лет сто назад Федеральным комитетом. В остальное время я занимаюсь статистикой. Эта наука пришла на смену истории. Прежние историки описывали громкие деяния небольшого числа людей. Современные историки регистрируют все, что производится, и все, что потребляется.

Проводив меня в кабинет водных процедур, расположенный на крыше, Мишель затем пригласил меня в столовую, залитую электрическим светом: то была белая комната, украшенная лишь лепным фризом, изобравшим цветущие кустики клубники. Стол расписного фаянса был уставлен посудой, отлившей металлом. Мишель представил мне трех своих друзей:

— Морен, Персеваль, Шерон.

На всех троих были одинаковые куртки из сурового полотна, бархатные штаны и серые чулки. Морен носил длинную белую бороду. Лица Шерон и Персеваль были лишены всякой растительности; коротко остриженные волосы, а еще больше открытый взгляд делали их похожими на юношей. Но я не сомневался, что то были женщины. Персеваль показалась мне довольно красивой, хотя и не первой молодости. Шерон я нашел совершенно прелестной.

— Я хочу представить вам товарища Ипполита,

именуемого также Дюфрен, — сказал Мишель, — он жил среди метисов в черных провинциях Соединенных Штатов Африки. Ипполиту не удалось пообедать в одиннадцать утра. Должно быть, он голоден.

Я и впрямь был голоден. Мне подали какое-то кушанье, нарезанное небольшими квадратными ломтиками, недурное, но, непривычное на вкус. На столе стояли различные сыры. Морен налил мне в стакан легкого пива и предупредил, что я могу пить, сколько мне заблагорассудится, ибо пиво не содержит алкоголя.

— Прекрасно, — откликнулся я. — Вижу, вас беспокоит опасность алкоголизма.

— Ее больше не существует, — ответил Морен. — Алкоголизм был уничтожен еще до окончания минувшей эры. Без этого был бы немыслим новый строй. Пролетариат, подверженный алкоголизму, не способен добиться освобождения.

— Не удалось ли вам, — спросил я, отправляя в рот причудливо вырезанный ломтик, — не удалось ли вам коренным образом усовершенствовать процесс питания?

— Ты, вероятно, имеешь в виду химическую пищу, товарищ, — отозвалась Персеваль. — Здесь мы еще не достигли заметных успехов. Тщетно мы направляли наших химиков на кухни... Их пилюли ничего не стоят. Разве что мы научились надлежащим образом определять калорийность и питательность пищи, а едим мы почти с такой же жадностью, как и люди минувшей эры, и получаем от еды такое же удовольствие.

— Наши ученые, — вставил Мишель, — стремятся разработать основы рационального питания.

— Ну, это ребячество, — возразила юная Шерон. — Ничего мы не добьемся, пока не уничтожим толстую кишку — бесполезный и вредоносный орган, очаг микробов... К этому придут.

— Каким образом? — вырвалось у меня.

— Просто удалят, и все. Толстая кишка, удаленная сначала хирургическим путем у большого числа людей, постепенно исчезнет и у других в силу наследственности, так что в один прекрасный день от нее избавится все население.

Эти люди разговаривали со мной мягко и любезно.

Но я лишь с трудом разбирался в их нравах и взглядах и заметил, что сам нимало их не занимал и они с полным безразличием относились к моей манере мыслить. Чем учтивее я себя держал, тем больше утрачивал их расположение. После того как я сделал Шерон несколько комплиментов, впрочем совершенно искренних и вполне благопристойных, она даже перестала глядеть в мою сторону.

После ужина я обратился к Морену, который показался мне человеком умным и мягким, и проговорил с откровенностью, растрогавшей меня самого:

— Господин Морен, я ничего не знаю и жестоко страдаю из-за этого. Повторяю вам: я прибыл издалека, очень издалека. Прошу вас, скажите, как была основана Европейская федерация, и помогите мне составить представление о нынешнем социальном порядке.

Старый Морен запротестовал:

— Но ведь ты просишь изложить тебе историю трех столетий. На это потребуется несколько недель, даже месяцев. К тому же есть много такого, чего я не могу тебе разъяснить, так как и сам не знаю.

Я умолял его хотя бы в общих чертах рассказать мне о важнейших событиях прошлого, как это делают для школьников.

Тогда Морен откинулся в кресле и начал свой рассказ:

— Чтобы понять, как возникло нынешнее общество, следует обратиться к далекому прошлому.

Важнейшим достижением двадцатого века минувшей эры было прекращение войн.

Арбитражный конгресс в Гааге, учрежденный в самом расцвете варварства, мало способствовал поддержанию мира. Но другой институт, куда более действенный, был создан в ту же эпоху. В парламентах различных стран возникли группы депутатов, установившие между собою постоянные связи для совместного обсуждения международных проблем. Их решения выражали миролюбие все возрастающего числа избирателей, они приобретали все больший вес и вынуждали задумываться правительства, среди которых даже наиболее самодержавные, за исключением правительства России,

научились к тому времени считаться с волей народов. Сегодня нас поражает, что в ту пору никто не распознал в этих собраниях депутатов, съезжавшихся из различных стран, зародыш международного парламента.

Впрочем, партия насилия была еще могущественна не только в империях, но даже во Французской республике. Правда, опасность династических войн, как и войн дипломатических, решение о которых принималось за большим зеленым столом ради поддержания так называемого европейского равновесия, — опасность такого рода войн снята раз и навсегда; однако промышленность в Европе была еще так слабо развита, что приходилось опасаться, как бы столкновение экономических интересов не вызвало грозного пожара.

Недостаточно организованный и еще не осознавший свою силу пролетариат не мог помешать войнам между народами, но он добился того, что они происходили реже и были менее продолжительны.

Последние войны были порождены буйным помешательством старого мира, которое именовалось колониальной политикой. Англичане, русские, немцы, французы, американцы яростно оспаривали друг у друга так называемые сферы влияния — районы, где при помощи грабежей и убийств они устанавливали экономические отношения с туземными жителями. В Африке и в Азии они уничтожили все, что только можно было уничтожить. Затем произошло то, что должно было произойти: они удержали бедные колонии, которые дорого им обходились, и утратили колонии преуспевающие. Я уже не говорю о том, что в Азии один сравнительно небольшой, но доблестный народ, обученный Европой, сумел затем добиться уважения со стороны Европы. Япония оказала в варварские времена большую услугу человечеству.

Когда отвратительный период колонизации пришел к концу, войны прекратились. Но в государствах еще сохранялись армии.

А теперь отвечу на твой вопрос, как возникло современное общество. Оно вышло из недр предшествующего строя. В жизни общества, как и в жизни отдельных людей, одна форма порождает другую.

Капиталистический порядок неизбежно привел к порядку, основанному на принципах коллективизма. В начале девятнадцатого века минувшей эры в промышленности произошло памятное движение вперед. На смену мелкому производству отдельных ремесленников, владевших орудиями труда, пришло крупное производство; его приводила в движение новая действующая сила невиданного дотоле могущества: я имею в виду капитал. Это знаменовало собой крупный шаг вперед в развитии общества.

— Что именно было шагом вперед в развитии общества? — осведомился я.

— Капиталистический строй, — отвечал Морен. — Он стал для человечества источником неисчислимых богатств. Собирая вместе огромные массы рабочих и умножая их число, он способствовал возникновению пролетариата. Создав из тружеников мощное государство в государстве, он подготовил их освобождение и вооружил средствами для завоевания власти.

Однако этот режим, который должен был привести в будущем к столь благотворным последствиям, вызвал заслуженную ненависть тружеников, ибо он принес им неисчислимые бедствия.

Нет социального завоевания, которое не стоило бы крови и слез. К тому же капиталистический порядок, сначала увеличивший богатства земли, затем едва не разорил ее. Непомерно развив производство, он оказался не в состоянии регулировать его и отчаянно бился в безвыходных трудностях.

Ты, вероятно, кое-что слышал, товарищ, об экономических потрясениях, которыми был наполнен двадцатый век. На протяжении последних ста лет господства капитализма анархия производства и неистовая конкуренция безмерно усилили бедствия людей. Владельцы капиталов и предприятий, образовав гигантские объединения, безуспешно пытались регулировать производство и уничтожить конкуренцию. Их плохо задуманные начинания привели лишь к грандиозным катастрофам. В этот период анархии борьба классов велась слепо и беспощадно. Победы, пожалуй, не меньше, чем поражения, истощали силы пролетариата, об-

ломки разрушаемого им здания падали ему на голову, его ряды раздирали ужасная междоусобная борьба, ослепленный яростью, он отталкивал от себя лучших своих вождей и наиболее надежных друзей и беспорядочно сражался во мраке. И все же он непрерывно добивался тех или иных уступок: увеличения заработной платы, уменьшения рабочего дня, все большей свободы организации и пропаганды, укрепления своего влияния в стране, сочувствия общественного мнения. Полагали, что он обречен на гибель из-за раздробленности и заблуждений. Но все великие партии обычно страдают из-за раздробленности и совершают ошибки. На стороне пролетариата была логика событий. К концу столетия он достиг такого уровня благосостояния, который позволяет стремиться к большему. Ведь партия, товарищ, должна быть уже достаточно сильной, чтобы совершить переворот в свою пользу. В конце двадцатого века минувшей эры общая ситуация сделалась весьма благоприятной для успехов социализма. На протяжении всего столетия постоянные армии неуклонно сокращались; теперь же, несмотря на отчаянное сопротивление власти и правящей буржуазии, парламенты, избранные всеобщим голосованием, окончательно упразднили их; немалую роль в этом сыграло упорное давление труженников городов и деревень. Давно уже правительства сохраняли армии не столько в видах войны — они ее больше не боялись и не верили в возможность ее возникновения, — сколько для того, чтобы держать в повиновении пролетариат своей страны. В конце концов они уступили. Регулярные войска были заменены милицией, проникнутой социалистическими идеями. Правительства не без основания противились упразднению армий. Лишившись защиты пушек и ружей, монархии пали одна за другой, уступив место республиканскому строю. Только Англия, заблаговременно установившая режим, который рабочие находили сносным, да Россия, оставшаяся императорской и теократической, оказались в стороне от этого великого движения. Боялись, как бы царь, которому республиканская Европа внушала те же чувства, какие французская революция внушала великой Екатерине, не попытался подавить ее вооруженной

рукой. Но его правительство дошло до такой степени бессилия и слабоумия, до какой может дойти одна лишь абсолютная монархия. Русский пролетариат, объединившись с людьми интеллигентного труда, поднял восстание, и после целой серии кровавых столкновений и резни власть перешла в руки революционеров, которые учредили представительный режим.

Беспроволочный телеграф и телефон достигли к тому времени такого развития во всех странах Европы и были настолько доступны каждому, что самый необеспеченный человек мог разговаривать когда угодно и сколько угодно с другим человеком, жившим в любом пункте земного шара. Речи коллективистов неиссякаемым потоком обрушивались на Москву. Лежа в постели, русские крестьяне слушали призывы своих товарищей из Марсея и Берлина. В ту пору уже научились в какой-то мере управлять полетами воздушных шаров, а летательные машины подчинялись любому движению человека. Это означало уничтожение границ. И тут внезапно наступил критический час! В сердцах народов, уже, казалось, готовых объединиться, слиться в одно обширное человечество, проснулся патриотический инстинкт. В одно и то же время во всех странах произошел взрыв вновь разгоревшегося национализма. Так как не было больше ни королей, ни армий, ни аристократии, это широкое движение приняло бурный и всенародный характер. Народы большинства европейских республик — французской, немецкой, венгерской, румынской, итальянской, даже швейцарской и бельгийской — единодушным голосованием парламентов, а также решениями грандиозных митингов торжественно заявили о своей решимости защищать против всякого чужеземного вторжения свою территорию и свою промышленность. Были обнародованы суровые законы, имевшие целью пресечь нарушение границ летательными машинами и строго регламентировать пользование беспроволочным телеграфом. Милиция повсюду была преобразована и вновь приближена к прежнему типу регулярной армии. Снова появились былые мундиры, сапоги, доломаны, генеральские плюмажи. В Париже медвежьи шапки военных были встречены

рукоплесканиями. Все лавочники и многие рабочие нацепили трехцветную кокарду. На всех металлургических заводах отливали пушки и броню. Готовились к грозным битвам. Этот приступ безумия продолжался три года, но не привел к вооруженному столкновению и мало-помалу стих. Милиция постепенно вернулась к охране общественного порядка и потеряла свой воинственный облик. Объединение народов, казалось, отодвинутое в далекое будущее, вновь стало возможным. Стремление к миру усиливалось с каждым днем; коллективисты все больше завоевывали общество. И наступил день, когда побежденные капиталисты уступили им власть.

— Какая перемена! — вскричал я. — В истории еще не было примера такой революции.

— Ты, конечно, понимаешь, товарищ, — продолжал Мишель, — что коллективизм восторжествовал в свой час. Социалистам не под силу было бы упразднить капитал и частную собственность, если бы устои двух этих форм богатства уже не были фактически подорваны усилиями пролетариата и, в еще большей мере, новыми успехами науки и промышленности.

Многие думали, что первым коллективистским государством станет Германия; рабочая партия существовала там уже более ста лет, и повсюду говорили: «Социализм — немецкая идея». И все же Франция, казалось бы, менее подготовленная, опередила Германию. Социальная революция победила сначала в Лионе, Лилле и Марселе под пение «Интернационала». Париж сопротивлялся две недели, потом водрузил красное знамя. Лишь на следующий день Берлин провозгласил образование коллективистского государства. Победа социализма привела к объединению народов.

Представители всех европейских республик, собравшись в Брюсселе, объявили о создании Соединенных Штатов Европы.

Англия отказалась войти в состав новой федерации. Но она заявила себя ее союзницей. Став социалистической страной, Англия умудрилась сохранить своего короля, своих лордов и даже парики своих судей. Социализм господствовал тогда также в Океании, в Китае,

в Японии и в одной части огромной Русской республики. Черная Африка, вступившая в фазу капитализма, образовала довольно неоднородную конфедерацию. Американский союз незадолго до этого отказался от своего торгашеского милитаризма. Одним словом, сложившаяся в мире обстановка благоприятствовала свободному развитию Соединенных Штатов Европы. Однако союз этот, встреченный шумной радостью, подвергался на протяжении полвека экономическим потрясениям и социальным бедствиям. Армии больше не существовало, даже милиции почти не осталось; не встречая противодействия, народные движения не имели насильственного характера. Но неопытность или злонамеренность местных властей приводила к разрушительному беспорядку.

Через полвека после создания Штатов, разочарование стало уже настолько глубоким, а трудности казались до такой степени неодолимыми, что самые убежденные оптимисты начали приходить в отчаяние. Европейский союз трещал по всем швам, возвещая о своем близком распаде. И вот тогда-то диктатура Комитета, состоявшего из четырнадцати рабочих, положила конец анархии и образовала Федерацию европейских народов, которая сохранилась до нашего времени. Одни говорят, будто Комитет четырнадцати выказал гениальную прозорливость и железную энергию; другие утверждают, будто это были люди дюжинные, лишь в ужасе перед происходящим покоровившиеся необходимости: они возглавили, чуть ли не против своей воли, организацию новых, возникавших в недрах народа социальных сил. Одно во всяком случае бесспорно — Комитет не противился ходу событий. Общественный порядок, учрежденный Комитетом или независимо от Комитета сложившийся на его глазах, почти полностью сохранился до сих пор. Производство и распределение благ осуществляется сегодня почти так же, как осуществлялось тогда. И совершенно справедливо, что с того времени и начинают исчислять новую эру.

Затем Морен изложил мне в самых главных чертах принципы нового общества.

— Оно покоится на полном уничтожении частной собственности, — сказал он.

— И вам это кажется приемлемым? — осведомился я.

— А скажи, Ипполит, почему это должно нам казаться неприемлемым? Некогда в Европе государство собирало налоги. Оно располагало ресурсами, которые считались его собственностью. Теперь же с равным правом можно утверждать, что оно обладает всем, или не обладает ничем. А вернее сказать: мы обладаем всем, ибо государство неотделимо от нас, оно — всего лишь наименование общности людей.

— Стало быть, у вас нет никакой собственности? — удивился я. — Вам не принадлежат даже тарелки, на которых вы едите, даже кровать, простыни, одежда?

При этом вопросе Морен улыбнулся.

— Ты еще более простодушен, чем я думал, Ипполит. Уж не воображаешь ли ты, что у нас нет собственности на предметы домашнего обихода? Хорошего же ты мнения о наших вкусах, влечениях, потребностях, о нашем образе жизни! Не считаешь ли ты нас монахами, как некогда выражались, людьми, лишенными всякой индивидуальности, которые не в состоянии наложить собственный отпечаток на то, что их окружает? Ошибаешься, друг мой, ошибаешься. Мы не отменяли собственность на предметы, предназначенные для личного пользования и украшения быта, и привязаны к ним больше, чем буржуа минувшей эры были привязаны к своим безделушкам, ибо у нас более утонченный вкус и более живое чувство формы. Среди наших товарищей есть люди с художественными склонностями, они владеют предметами искусства и очень дорожат ими. Шерон, например, собрала прекрасную коллекцию картин, которые служат для нее источником радости, и была бы крайне недовольна, если бы Федеральный комитет стал оспаривать ее право на эти картины. Вот в этом шкафу я храню старинные рисунки — почти все произведения Стейнлена, одного из наиболее известных художников минувшей эры. Я не отдал бы это собрание ни за какие сокровища.

Откуда ты взялся, Ипполит? Тебе говорят, что наше общество основано на полном уничтожении частной

собственности, а ты воображаешь, будто это уничтожение распространяется на обстановку и предметы обихода. Но пойми же, простодушный ты человек: мы полностью отменили частную собственность на средства производства, землю, каналы, дороги, рудники, сырье, орудия труда и прочее. Но это не имеет ничего общего с правом владеть лампой или креслом. Мы уничтожили только возможность для отдельного лица или для группы лиц присваивать себе плоды труда; но какое же это имеет отношение к вполне естественному невинному стремлению обладать милыми нашему сердцу вещами, окружающими нас?

Затем Морен пояснил мне, что различные виды физического и умственного труда выполняются всеми членами общества, сообразно их способностям.

— Коллективистское общество, — прибавил он, — отличается от капиталистического общества не только тем, что у нас все работают. В минувшую эру было немало людей, которые не работали вовсе; и все-таки их было меньшинство. Главное различие состоит в том, что в капиталистическом обществе труд не был координирован и там выполнялось много бесполезных работ. Рабочие производили товары без системы, беспорядочно и несогласованно. В городах было множество чиновников, судейских, торговцев, служащих, занятых непроизводительным трудом. Я уже не говорю о солдатах. Плоды труда распределялись несправедливо. Таможни и пошлины, которые предназначались для того, чтобы уменьшить зло, только усугубляли его. Народ страдал. Теперь производство тщательно согласовано с потреблением. Наконец, наше общество отличается от прежнего тем, что у нас машины облегчают жизнь и труд людей, в то время как в капиталистическую эру применение машин часто было губительным для тружеников.

Я спросил, как удалось создать общество, состоящее исключительно из рабочих.

Морен ответил, что стремление к труду присуще всем людям, что это — одна из основных особенностей человеческой природы.

— В варварские времена, вплоть до самого конца

минувшей эры люди знатные и богатые неизменно предпочитали труд физический. Они, за редким исключением, очень мало упражняли свой разум. Их неизменно влекло к таким занятиям, как охота и война, в которых тело принимает большее участие, чем ум. Они ездили верхом, правили экипажами, занимались фехтованием, стреляли из пистолета, то есть, можно сказать, работали руками. Правда, труд их был бесплодным или вредным, потому что предрассудки мешали им предаваться полезным и благотворным занятиям, да и полезный труд происходил тогда в условиях низменных и отвратительных. И стоило лишь снова сделать труд почетным, чтобы вкус к нему пробудился в каждом человеке. В эпоху варварства люди гордились тем, что носили шпагу или ружье. В наши дни люди гордятся тем, что умеют обращаться с лопатой и молотом. Человечество в своей основе не меняется.

Морен сказал мне затем, что теперь и думать забыли о денежном обращении.

— Но каким образом совершаете вы торговые сделки, если деньги больше не существуют? — удивился я.

— Мы обмениваем продукты труда при помощи бон — таких, какую тебе сегодня выдали, товарищ; боны эти служат для обозначения количества часов работы, выполненной нами. Стоимость товаров измеряется продолжительностью труда, затраченного на них. Хлеб, мясо, пиво, одежда, аэроплан стоят столько-то часов, столько-то дней труда. Из каждой выдаваемой нам боны общество, или, как прежде говорили, государство, удерживает некоторое число минут, предназначенных на оплату непроизводительного труда, на создание запасов продовольствия и металла, на содержание домов для престарелых, больниц и прочее, и прочее.

— И размер этих удержаний, — вмешался Мишель, — все возрастает. Федеральный комитет предпринимает слишком много обширных работ, их тяжесть, понятно, ложится на наши плечи. Запасы слишком велики. Общественные склады до отказа набиты товарами и продуктами. Там покоятся минуты нашего труда. Много еще несуразностей.

— Разумеется, — подхватил Морен. — Дело можно было бы вести лучше. Ведь богатства Европы, возросшие благодаря всеобщему и планомерному труду, прямо-таки безграничны.

Мне любопытно было, измеряют ли эти люди свой труд одним только временем, затраченным на него, и ценится ли рабочий день землекопа или, скажем, штукатура так же, как рабочий день химика или хирурга. Я простодушно спросил об этом.

— Что за нелепый вопрос! — вскричала Персеваль. Но старый Морен взялся разъяснить мне и это.

— Все опыты, все изыскания наших мастерских и лабораторий, все их работы, направленные на то, чтобы сделать жизнь лучше и красивее, очень поощряются. Коллективистское государство покровительствует науке. Учиться — значит производить, ведь без знаний не может быть производительного труда. Учение, как и труд, дает средства к существованию. Те, кто посвящает себя долгим и трудным исследованиям, тем самым обеспечивают себе спокойную жизнь и всеобщий почет. Скульптор за две недели делает модель статуи, но он пять лет трудился, чтобы научиться лепить модели. Стало быть, государство целых пять лет оплачивало его будущие творения. Химик в несколько часов открывает особые свойства какого-нибудь вещества. Но он затратил многие месяцы, чтобы выделить это вещество, и долгие годы, чтобы быть в состоянии осуществить такой опыт. Все это время он жил за счет общества. Хирург в десять минут удаляет опухоль. Но он в силах это сделать лишь после пятнадцати лет занятий и практики. Следовательно, и он пятнадцать лет получает бонусы от государства. Всякий человек, который за месяц, за час, за несколько минут отдает плоды труда всей своей жизни, возвращает этим обществу то, что он получал от него каждый день.

— Надо только добавить, — вмешалась Персеваль, — что наши выдающиеся ученые, хирурги, химики, наши докторессы отлично умеют извлекать выгоду из своих трудов и открытий и непомерно умножать для себя радости жизни. Они добиваются воздушных машин в шестьдесят лошадиных сил, дворцов, садов,

огромных парков. Большинство этих людей жадно стремятся обладать жизненными благами, и они ведут существование куда более богатое и роскошное, чем буржуа минувшей эры. Но самое скверное, что многие среди них — сущие болваны, которым впору работать лишь на мельнице, как Ипполиту.

Я поклонился. Мишель поддержал Персеваль и стал возмущаться тем, что государство склонно откармливать химиков за счет остальных тружеников.

Я поинтересовался, не приводит ли торговля бо-нами к повышению или понижению их цены.

— Торговля бо-нами запрещена, — ответил Морен. — Но искоренить ее полностью не удается. У нас, как и в прошлые эпохи, есть скупцы и моты, усердные и ленивые, богатые и бедные, счастливые и несчастные, довольные и недовольные. Но все обеспечены самым необходимым, и это уже кое-что значит.

Я задумался на мгновение, а потом заметил:

— Судя по вашим рассказам, господин Морен, вам, кажется, удалось, насколько это вообще возможно, осуществить равенство и братство. Но опасаясь, что вы добились этого за счет свободы, которой я привык дорожить, как важнейшим из благ.

Морен пожал плечами.

— Мы не устанавливали равенства. Мы не понимаем, что это такое. Мы лишь обеспечили всем людям существование. Мы сделали труд почетным. А там пусть каменщик считает себя выше поэта, или поэт — выше каменщика, это их дело. Каждый из наших работников полагает, что его профессия — самая важная. В этом больше пользы, чем вреда.

Товарищ Ипполит, ты, как видно, прочел немало книг девятнадцатого века минувшей эры, которых теперь никто и в руки не берет: ты говоришь на языке той поры, нам он теперь чужд. Мы с трудом постигаем, как могли в прошлом друзья народа взять себе девиз: «Свобода, Равенство, Братство». В обществе не может быть свободы, ведь ее нет и в природе. Животное не бывает свободным. Когда-то говорили: человек свободен, если он повинуетя лишь закону. Но это просто ребячество. Впрочем в последний период капиталисти-

ческой анархии слову «свобода» придавали такой странный смысл, что в конце концов оно стало обозначать лишь отстаивание собственных привилегий. Понятие равенства еще менее разумно, и оно приводит к досадным последствиям, потому что исходит из ложного идеала. К чему доискиваться, равны ли люди между собой? Надо следить за тем, чтобы каждый давал обществу все, что может дать, и получал все, в чем нуждается. Что касается братства, то мы отлично знаем, как люди-братья обращались друг с другом в течение многих веков. Мы не утверждаем, что люди дурны. Мы не утверждаем также, что они добродетельны. Они таковы, каковы они есть. Но они живут в мире, когда у них нет причин сражаться. Я мог бы одним словом охарактеризовать наш общественный порядок: мы достигли состояния гармонии. Одно бесспорно — ныне все люди действуют в согласии друг с другом.

— В ту эпоху, которую вы называете минувшей эрой, — сказал я, — люди предпочитали владеть вещами, а не просто пользоваться ими. А вы, как мне кажется, напротив, предпочитаете пользоваться вещами, а не владеть ими. Но не тягостно ли вам, что у вас нет имущества, которое вы могли бы завещать своим детям?

— А многие ли оставляли наследство при капитализме? — с живостью возразил Морен. — Один из тысячи, один из десяти тысяч. Я уж не говорю о том, что целые слои населения на протяжении веков не пользовались правом завещать имущество. Но так или иначе передача имущества по наследству была уместна, пока существовала семья. Но теперь...

— Как! — вскричал я. — У вас нет больше семьи?

Мое неприкрытое изумление рассмешило Шерон.

— Нам действительно известно, что брак еще сохранился у кафров, — сказала она. — Но мы, европейские женщины, никому не даем обетов, а если и даем, то законом это не предусмотрело. Мы считаем, что судьба человека не может зависеть от одного слова. Однако кое-какие обычаи минувшей эры еще сохранились. Отдаваясь, женщина клянется в верности рогами месяца. А на деле ни мужчина, ни женщина не свя-

зывают себя обязательствами. И все же их союз нередко длится всю жизнь. Но никто из них не стал бы дорожить верностью, сохраненной в силу клятвы, а не потому, что люди подходят друг другу и физически и нравственно. Мы ничем никому не обязаны. Некогда мужчина втолковывал женщине, будто она ему принадлежит. Мы не так просты и знаем, что человек принадлежит лишь себе. Мы отдаемся, когда этого хотим, и тому, кому хотим.

Притом мы не стыдимся уступать желанию. Лицемерие нам чуждо. Всего четыреста лет тому назад люди еще ничего не смыслили в физиологии, и это приводило к жестоким заблуждениям и тяжелым неожиданностям. Что бы там ни говорили кафры, Ипполит, следует обществу подчинять природе, а не природу обществу, как это слишком долго делали.

Персеваль поддержала свою подругу.

— Тебе станет понятнее, как у нас разрешена проблема пола, — прибавила она, — если я сообщу тебе, Ипполит, что на многих заводах уполномоченные по распределению труда даже не спрашивают рабочего, мужчина он или женщина. Обществу нет до этого дела.

— Ну, а дети?

— Что дети?

— Не заброшены ли они за отсутствием семьи?

— Как могла тебе прийти в голову такая мысль?

Материнская любовь сильно развита у всякой женщины. В жестоком обществе прошлого встречалось немало матерей, которые, не страшась нищеты и позора, воспитывали своих незаконных детей. С какой же стати наши женщины, избавленные от позора и нищеты, станут бросать своих детей? Среди нас много хороших подруг и хороших матерей. Но немало женщин — и число их все растет — обходятся без мужчин.

Тут Шерон сделала довольно странное замечание.

— Мы располагаем такими сведениями о сексуальной стороне жизни, о которых люди минувшей эры и не подозревали в своей варварской простоте, — заявила она. — Из того обстоятельства, что существует два пола, и только два пола, долгое время делали ложные выводы. Полагали, что всякая женщина — прежде всего женщина,

а всякий мужчина — прежде всего мужчина. В действительности это не так: есть женщины в высшей степени женственные и женщины вовсе не женственные. Различия эти, некогда скрывавшиеся одеждой и образом жизни, замаскированные предрассудками, в нашем обществе отчетливо видны. Мало того, с каждым поколением они приобретают все более выраженный характер. С тех пор как женщины стали трудиться наравне с мужчинами, действовать и мыслить, как мужчины, многие из них начали походить на мужчин. В один прекрасный день мы, чего доброго, создадим людей «среднего пола» — работниц, как говорят применительно к пчелам. Я вижу в этом огромное преимущество: можно будет производить больше работ, увеличивая население лишь в той мере, в какой это позволяют жизненные блага. Мы одинаково страшимся и недостаточной и чрезмерной рождаемости.

Я поблагодарил Персеваль и Шерон за то, что они так любезно просветили меня в столь интересном вопросе, и осведомился, не пренебрегают ли в коллективистском обществе образованием, сохранились ли в нем еще отвлеченные науки и свободные искусства.

Вот что ответил мне старый Морен:

— У нас широко распространены все формы образования. Каждый человек обладает определенными знаниями; знания эти не относятся к одной и той же области. Никто теперь не изучает бесполезных наук, больше не тратят времени на занятия правом и богословием. Каждый избирает ту область искусства или науки, какая ему по душе. Еще сохранилось немало древних трудов, хотя большинство книг, изданных до наступления новой эры, утрачено. Книги все еще печатают. Их даже печатают больше, чем раньше. Однако книгопечатание, должно быть, скоро исчезнет. Его место займет фонограф. Уже сейчас поэты и романисты издаются фонографическим способом. А для театральных пьес придумали весьма остроумную комбинацию фонографа и кинематографа, и это позволяет воспроизводить одновременно игру и голос актеров.

— Значит, у вас есть поэты? И драматурги?

— У нас есть не только поэты, у нас есть поэзия. Мы первые ясно определили, что следует понимать под истинной поэзией. До нас многие идеи выражали в стихах, хотя их лучше выражать прозой. Умудрялись писать стихами рассказы. Это — пережитки тех времен, когда мерной речью излагали законодательные распоряжения и советы по сельскому хозяйству. Ныне поэты пишут лишь о вещах утонченных, далеких от здравого смысла; у каждого из них своя грамматика, свой словарь, свои ритмы, ассонансы и аллитерации. Что касается нашего театра, то в нем главное место занимает музыка. Глубокое понимание жизни и полное отсутствие насилия породили в нас почти полное равнодушие к драме и к трагедии. Слияние классов и равенство полов лишили комедию ее былой остроты. Но никогда еще музыка не достигала такого совершенства и не встречала такого глубокого понимания. Особенно восторгаемся мы сонатами и симфониями.

Наше общество весьма благоприятствует развитию изобразительных искусств. Множество предрассудков, вредных живописи, исчезло. Жизнь у нас более светлая и прекрасная, чем жизнь исчезнувшей буржуазии, и нам свойственно живое чувство формы. Скульптура расцветает еще ярче, чем живопись, с того времени, как ее стали мудро применять для украшения общественных зданий и частных жилищ. Никогда еще так не заботились об эстетическом воспитании. Достаточно тебе пролететь на аэроплане над любой из наших улиц, и ты будешь поражен обилием школ и музеев.

— Ну, и вы счастливы? — спросил я.

Морен покачал головой.

— Человеку не дано вкушать совершенное счастье. Вне постоянных усилий не может быть счастья, а усилие, как известно, влекут за собой усталость и недуги. Мы добились сносной жизни для всех. И это уже немало. Наши потомки сделают ее лучше. Существующий ныне общественный строй не может остаться неизменным. Уже теперь он не тот, каким был полвека назад. И люди прозорливые утверждают, будто мы идем к большим переменам. Возможно, и так. Но прогресс

человеческой цивилизации будет отныне происходить гармонически и мирно.

— А не боитесь ли вы, — спросил я, — что цивилизация эта, которой вы, видимо, удовлетворены, будет уничтожена в результате вторжения варваров? Вы мне сами говорили, что в Азии и в Африке еще сохранились многочисленные черные и желтые народы, которые не вошли в вашу федерацию. У них есть армия, а у вас ее нет. Если они обрушатся на вас...

— Наша оборона обеспечена. Одни только американцы и австралийцы могли бы сражаться против нас, ибо они столь же сведущи, как мы. Но нас разделяет океан, и общность интересов гарантирует нам их дружбу. Что же касается негров-капиталистов, то их военное снаряжение находится еще в стадии стальных пушек, огнестрельного оружия, словом, всего железного лома двадцатого столетия. Что могут сделать эти обветшавшие орудия против одного залпа Игрек-лучей? Наши границы защищает электричество. Вокруг федерации расположена целая зона молний. Где-то, перед пультом, сидит небольшого роста человек в очках. Это — наш единственный солдат. Достаточно ему нажать пальцем кнопку, и полумиллионная вражеская армия превратится в прах.

Морен на мгновение умолк. Затем медленно продолжал:

— Если нашей цивилизации кто-либо и угрожает, то не внешний враг. Это скорее враг внутренний.

— Стало быть, у вас есть внутренние враги?

— Да, анархисты. Они многочисленны, неистовы, умны. Наши химики, наши профессора точных и гуманитарных наук — почти все анархисты. Они приписывают регламентированию производства и потребления большую часть бед, от которых страдает общество. Они утверждают, что человечество будет счастливо лишь тогда, когда придет в состояние самопроизвольной гармонии, после полного уничтожения цивилизации. Эти люди опасны. Они стали бы еще опаснее, если бы мы их подавляли. Но у нас нет для этого ни желания, ни возможности. У нас нет никакой системы принуждения или репрессий, и мы считаем такой поряд-

док единственно правильным. Во времена варварства люди безоговорочно верили в действенность наказаний; это — заблуждение. Наши отцы уничтожили всю систему правосудия. Они в ней больше не нуждались. Уничтожив частную собственность, они вместе с тем уничтожили воровство и мошенничество. Все мы вооружены электрическими средствами защиты, и нам больше не приходится опасаться покушений на нашу жизнь. Люди стали уважать друг друга. Правда, иногда еще совершают преступления под влиянием страсти, но их будут совершать всегда. Однако и таких преступлений — с тех пор как их оставляют безнаказанными — становится все меньше и меньше. Весь наш судебный аппарат состоит из глубоко порядочных людей, выбираемых всеми гражданами; они безвозмездно рассматривают все нарушения и спорные вопросы.

Я поднялся и, поблагодарив своих собеседников за благожелательное отношение, попросил Морена ответить мне на последний вопрос:

— Должно быть, у вас больше нет религии?

— Напротив, у нас множество религий, и некоторые из них возникли совсем недавно. В одной только Франции существуют: так называемая религия человечества, позитивизм, христианство и спиритизм. В некоторых странах сохранились еще католики, но их очень немного, и они распались на несколько сект в результате расколов, которые произошли в двадцатом веке, когда церковь была отделена от государства. Папы уже давно не существует.

— Ошибаешься, — заметил Мишель. — Есть еще и папа. Я ненароком узнал об этом. Это — Пий Двадцать пятый, красильщик, на *via дель Орсо* в Риме.

— Как! Папа — красильщик? — вскричал я.

— Что тебя так удивило? Ведь ему, как всякому другому, нужно заниматься каким-нибудь ремеслом.

— Но его церковь?..

— В Европе его признают несколько тысяч человек.

Тут мы расстались. Мишель сказал, что для меня есть жилье по соседству и Шерон проводит меня туда по дороге домой.

Ночное небо струило опаловый свет, всепроникающий и в то же время мягкий. Листва, казалось, отливала эмалью. Я шел рядом с Шерон.

Украдкой я наблюдал за нею. Обувь без каблуков придавала ее походке уверенность, а телу — устойчивость, и, хотя в мужской одежде она казалась ниже ростом, хотя она шла, заложив руки в карманы, вся стать ее, при полной простоте, не лишена была горделивости. Она независимо смотрела по сторонам. Я впервые встречал женщину, способную с таким спокойным любопытством и непринужденным удовольствием бродить по улицам. Под беретом черты ее лица казались особенно тонкими и выразительными. Она меня одновременно и раздражала и привлекала. Я опасался, как бы она не сочла меня глупым и смешным. Так или иначе, было совершенно очевидно, что она питает ко мне полное равнодушие. Между тем она внезапно спросила о моей профессии. Я ответил наудачу, что я электротехник.

— Я также, — проговорила она.

Я благоразумно прекратил разговор.

Неведомые мне звуки нарушали ночную тишину своим спокойным, равномерным шумом, и я со страхом прислушивался к ним, словно к дыханию чудовищного духа этого нового мира.

По мере того как я наблюдал за своей спутницей, я испытывал к ней все большее влечение, обостренное примесью антипатии.

— Значит, вы с помощью науки упорядочили любовь, и теперь это чувство уже никого не тревожит, — внезапно сказал я.

— Ты заблуждаешься, — отвечала Шерон. — Разумеется, мы больше не подвержены нелепому сумасбродству минувшей эры, и человеческие отношения отныне свободны от варварских законов и религиозных страхов. Мы больше не создаем себе ложного и жестокого понятия долга. Но причины, которые заставляют людей тяготеть друг к другу, для нас по-прежнему загадка. Природа человека остается такой же, какой была и будет всегда: неистовой и прихотливой. Теперь, как в в прошлом, инстинкты сильнее рассудка. Наше пре-

восходство над древними — не столько в том, что мы сознаем это, сколько в том, что говорим об этом вслух. В нас таится сила, способная созидать миры, — желание, а ты хочешь, чтобы мы могли ею управлять. Ты слишком многого требуешь. Мы уже не варвары. Мы еще не мудрецы. Общество считает, что отношения между мужчиной и женщиной его не касаются. Отношения эти складываются так, как это возможно: чаще всего они терпимы, реже — приятны, порою — ужасны. Но напрасно ты думаешь, товарищ, что любовь больше никого не терзает.

Мне не хотелось пускаться в обсуждение столь странных взглядов. Я перевел разговор на нравы женщин. По этому поводу Шерон сказала мне, что они разделяются на три категории: влюбчивых, любопытных и равнодушных. Тогда я спросил ее, к какой же категории она относит себя.

Она окинула меня слегка надменным взглядом и ответила:

— Есть также несколько категорий мужчин. Прежде всего нахалы...

При этих словах она показалась мне куда более понятной, чем до сих пор. Вот почему я заговорил с ней так, как привык говорить при подобных обстоятельствах. После несколько ничего не значащих и легкомысленных фраз я сказал:

— Доставьте мне удовольствие. Назовите ваше уменьшительное имя.

— У меня его нет.

Заметив мое разочарование, Шерон была, по-видимому, задета и прибавила:

— Ты, кажется, думаешь, будто женщине, чтобы нравиться, необходимо такое имя, какое давали в прошлом при крещении: скажем, Маргарита, Тереза или Жанна?

— Вы — живое доказательство, что это вовсе не так.

Я ловил ее взгляд, но она отворачивалась. Она делала вид, будто не слышала моих слов. У меня не оставалось сомнений: Шерон была кокетка! Я пришел в восторг. Я сказал, что нахожу ее очаровательной, что

люблю ее, и повторял это снова и снова. Она не оставила меня, а затем спросила:

— Что все это значит?

Я стал настойчивее.

Она упрекнула меня:

— Вы ведете себя, как дикарь.

— Я вам не нравлюсь?

— Я этого не говорю.

— Шерон! Шерон! Если бы вы только захотели...

Мы опустились на скамью под вязом. Я поднес ее руку к губам... Внезапно я перестал что-либо чувствовать, что-либо видеть и обнаружил, что лежу в своей постели. Я протер глаза, ослепленный ярким утренним светом, и увидел своего камердинера; вытянувшись передо мною, он повторял с глупым видом:

— Сударь, уже девять часов. Сударь, вы приказали разбудить вас в девять часов. Я пришел сказать вам, сударь, что уже ровно девять.

VI

Когда Ипполит Дюфрен закончил чтение, друзья надлежащим образом поздравили его.

Николь Ланжелье обратился к нему со словами, с которыми Критий обращался к Триэфону*:

— Ты словно спал на белом камне, в стране грез, ибо видел столь длинный сон в столь короткую ночь.

— Трудно поверить, что грядущее будет таким, каким оно вам привиделось, — сказал Жозефен Ле клер. — Я не желаю прихода социализма, но и не страшусь его. Коллективизм, достигший власти, будет совсем не то, что мы себе представляем. Уж не помню, кто сказал, вспоминая о временах Константина и первых победах церкви: «Христианство торжествует. Но оно торжествует на условиях, которые жизнь предписывает всем партиям — политическим и религиозным. Все они, без исключения, столь решительно преобразуются в ходе борьбы, что после победы от них остается одно лишь название да несколько символов, напоминающих об их утраченных идеях».

— Стало быть, нужно отказаться от попыток познать грядущее? — осведомился г-н Губен.

Но Джакомо Бони, который, углубившись на несколько футов в недра земли, перенесся из современной эпохи в каменный век, заметил:

— В конечном счете человечество почти не меняется. Как было — так будет.

— Слов нет, человек, или то, что мы именуем человеком, меняется мало, — отзывался Жан Буайи. — Мы принадлежим к законченному виду. Эволюция вида по необходимости ограничена его сложившимся типом, он не допускает бесконечных превращений. Невозможно представить себе человека после его коренного преобразования. Вид преобразованный — уже новый вид. Но какие у нас основания полагать, что человек венчает собою эволюцию жизни на Земле? Почему должны мы думать, что с его появлением природа исчерпала свои творческие силы, что всеобщая мать растений и животных, создав человека, останется навеки бесплодной? Один философ-естествоиспытатель, не склонный пугаться собственной мысли, — я имею в виду Герберта Джорджа Уэллса, — сказал: «Человек — не последнее слово природы». Нет, человек не начало и не конец жизни на земле. До него на земном шаре живые существа размножались в глубине морей, в иле прибрежных отмелей, в лесах, в озерах, на лугах и на поросших деревьями горных склонах. И после него еще появятся новые формы живых существ. Будущая раса, быть может, развившаяся из нашей, или, быть может, возникшая и независимо от нас, унаследует власть над планетой. Эти новые владыки Земли ничего не будут знать о нас или станут нас презирать. Памятники нашего искусства — если до них дойдут его следы — не будут иметь никакой цены в их глазах. И мы не в состоянии даже представить себе умственную жизнь этих грядущих повелителей мира, как палеопитек Сиваликских холмов * не мог предугадать мысль Аристотеля, Ньютона и Пуанкаре *.

Комментарии

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Роман «Театральная история» был написан в конце 1902 г.; он печатался в журнале «Revue de Paris» в номерах от 15 декабря 1902 г., 1 января и 15 января 1903 г. В том же 1903 году роман вышел отдельным изданием. Это издание имело несколько нумерованных экземпляров, в которых текст романа сопровождался примечаниями, якобы составленными Адольфом Рубеном, учеником господина Бержере. Губен встречается во многих произведениях Франса («Современная история», рассказы из сборника «Кренкебилль», роман «На белом камне»). Это узкий догматик, апологет буржуазной действительности. Устами г-на Бержере Франс постоянно опровергает высказывания Губена. В авторском предуведомлении к примечаниям Франс иронически писал: «Известно, что г-н Губен — один из выдающихся молодых ученых. Было бы излишне хвалить здесь точность его мысли (относительно г-на Губена см. «Ивовый манекен»)».

В последующих изданиях «Театральной истории» примечания Губена были сняты.

«Театральная история» отличается по характеру сюжета от других произведений Франса 900-х годов, и это объясняется прежде всего тем, что по своим истокам роман относится к более раннему периоду творчества писателя, к 90-м годам XIX в.

Роман «Театральная история», как и некоторые другие произведения Франса («Таис», «Боги жаждут»), возник из небольшой новеллы. В декабрьском объединенном номере журна-

лов «Vie contemporaine» и «Revue parisienne» за 1894 год была напечатана новелла «Шевалье», сюжет которой Франс заимствовал из мемуаров известной французской актрисы XVIII в. мадемуазель Клерон. Рассказ мадемуазель Клерон о призраке одного из ее умерших поклонников, якобы являвшемся ей по ночам, заинтересовал Франса; новелла примыкает к другим его произведениям этого периода о таинственных иррациональных явлениях жизни («Дочь Лилит», «Лесли Вуд», «Обедня теней»). Новелла «Шевалье» довольно близко повторяла также и сюжет ранней повести Франса — «Июкасты» (1878). Между Фелиси и Робером де Линьи, так же как между Еленой и Лонгмаром в «Июкасте», встает страшный призрак умершего.

К новелле «Шевалье» Франс вернулся через несколько лет, в 1902 году, когда начал работать над романом «Театральная история». Он оставил в неприкосновенности основную сюжетную линию новеллы, но в процессе создания романа декадентские и натуралистические элементы сюжета отодвинулись на второй план, уступив место реалистическому изображению действительности.

По сравнению с новеллой в романе значительно расширено описание актерского быта. Инсценировка франсовских романов в конце 90-х годов, работа над спектаклем «Коринфская свадьба» в 1902 г. в театре «Одеон» дали писателю возможность хорошо узнать жизнь кулис. Свои театральные впечатления и наблюдения Франс широко использовал при написании романа. Так, в образе директора театра Праделя современники легко узнали директора театра «Одеона» Пореля; и ни для кого не было тайной, что выведенный в романе модный автор, — шумный, вездесущий и самоуверенный, — это известный драматург Викторьен Сарду (1831—1908).

Обратившись к изображению артистической среды, сюжету, избранному писателями и драматургами, Франс отказывается от какой-либо романтизации своих героев. И Шевалье, и г-жа Дульс, и Фелиси изображены в романе ничем особенно не примечательными людьми. Непосредственная, бескорыстная Фелиси, к которой Франс относится с большой симпатией, очень далека от образов блестящих демонических актрис-куртизанок, прожигательниц жизни, которые нередко появлялись на страницах романов XIX в., посвященных актерскому миру.

«Театральная история» относится к сравнительно немногим

сюжетным произведениям Франса. Работая над романом, писатель насытил сюжет большим публицистическим материалом, что сблизило «Театральную историю» с другими его произведениями этого периода: с «Современной историей», сборником рассказов «Кренкебиль» и книгой «На белом камне». Рассказ о любви актрисы Фелиси переплетается в романе с многочисленными рассуждениями о самых актуальных проблемах современности и дается на широком социальном фоне. Повествование развивается все время в двух планах: взаимоотношения Фелиси и ее двух поклонников — и изложение философских и политических взглядов доктора Трюбле. Если в новелле этот персонаж только упоминался, то в романе ему отведена существенная роль: он комментирует, оценивает происходящее. Доктор принадлежит к излюбленным традиционным персонажам романов Франса: эрудит, человек умный, снисходительный к жизни и к людям, относящийся ко всему несколько скептически, он родствен Сильвестру Бонару, Жерому Куаньяру, господину Бержере и Николю Ланжелье — всем франсовским гуманистам. С образом Трюбле связана чрезвычайно важная публицистическая линия романа. В его уста Франс вкладывает разоблачение буржуазной морали, скрытый смысл которой в том, чтобы охранять «то, что мы имеем: землю, дом, обстановку, женщину и собственную жизнь». Высказывания Трюбле нередко касаются вопросов религии, он осуждает христианство, как учение, враждебное человеку и жизни, учение «поссорившее человека с природой». Эта мысль проходит через все творчество Франса, начиная с поэмы «Коринфская свадьба».

В 900-е годы Франса особенно волновала проблема войн в капиталистическом мире, проблема колониализма. Он затрагивает эти вопросы во всех статьях и произведениях тех лет, неизменно выступая против преступных действий империалистических государств. Много внимания уделено этому и на страницах «Театральной истории».

Сочетание занимательного сюжета с острой публицистичностью составляет своеобразие романа «Театральная история», являющегося как бы связующим звеном между произведениями Франса 90-х и начала 900-х годов.

Сам Анатолий Франс высоко ценил этот роман, считая его одним из лучших и наиболее совершенных по форме своих произведений. М. Кордэ передает в своих мемуарах следующее

высказывание Франса: «Если бы мне нужно было заново написать мои романы, то это единственный, который я переписал бы слово в слово, ничего не изменив».

Современная Франсу критика встретила роман довольно холодно, упрекая автора в приверженности к образу философствующего наблюдателя; нарекания буржуазных критиков вызвала также и актуальная общественная проблематика книги.

Стр. 7. *«Одеон»* — наряду с *«Французской Комедией»* крупнейший государственный театр Франции, основанный в 1797 г.

Стр. 9. *...вырос под сенью башен св. Сульпиция...* — то есть в центре старого Парижа, где находится церковь св. Сульпиция (XVII в.). Здание церкви увенчано двумя высокими башнями.

Стр. 10. *«Мать-наперсница»* (1735) — комедия французского писателя Мариво.

Стр. 12. *...с ролью Анжелики...* — Анжелика, наивная девушка, героиня комедии *«Мать-наперсница»*.

Стр. 13. *Анжеликой или Дориной, Селименной или госпожой Пернель рождаются.* — Речь идет о различных театральных амплуа: инженерю, субретки, светской кокетки и старухи. Дорина — веселая находчивая служанка; г-жа Пернель — набожная старуха — персонажи комедии Мольера *«Гартюф»* (1664—1669); Селимена — лицемерная кокетка (комедия Мольера *«Мизантроп»*, 1666).

...роль Агнесы в «Школе жен». — Агнеса — простодушная девушка из комедии Мольера *«Школа жен»* (1662), ниже приведены слова Агнесы (*«Школа жен»*, действие II).

Стр. 17. *...три складки а-ля Ватто...* — Ватто Жан-Антуан (1684—1721) — французский художник, изображавший на своих картинах главным образом сцены из жизни придворного общества, изящных и грациозных дам и кавалеров.

Стр. 20. *...заканчивала второй год обучения в Консерватории...* — В *«Национальной консерватории музыки и драматического искусства»*, основанной в Париже в 1795 г., имеется специальное отделение сценического искусства и декламации.

Стр. 27. *...очаровательная, как Церера, пришедшая к старухе.* — По одной из версий античного мифа, Церера (Деметра) — богиня земли и земного плодородия — в поисках своей пропавшей дочери Прозерпины, похищенной Плутоном, зашла в хи-

жину элевсинца Диокла, жена которого, старая Баубо, гостеприимно ее встретила и накормила.

Стр. 31. *Мале* Клод-Франсуа (1754—1812) — французский генерал. Начиная с 1807 г. организовал ряд заговоров против Наполеона. В ночь на 23 октября 1812 г. Мале, распространив ложный слух о смерти императора, пытался поднять восстание парижского гарнизона. После провала заговора Мале был расстрелян.

...унаследованными от героев Аустерлица их сыновьями, представителями июльской буржуазии. — Речь идет о том, что моды мужских причесок во время Июльской монархии (1830—1848) походили на моды времени Империи (1804—1814).

Стр. 32. *Макиавеллизм* — то есть хитрая, коварная политика. Понятие макиавеллизм происходит от имени итальянского историка и политического деятеля XVI в. Никколо Макиавелли. Считая, что только сильная монархическая власть способна объединить Италию, он утверждал в своем трактате «Государь» право государя не считаться ни с какими моральными принципами для достижения своей политической цели.

Стр. 34. *Пасифая* — в древнегреческой мифологии жена критского царя Миноса, воспылавшая страстью к быку. В переносном смысле женщина, находящаяся во власти чувственной страсти.

Стр. 35. *Письма госпожи де Севинье.* — Госпожа де Севинье Мари (1626—1696) известна своими письмами к дочери (опубликованными в 1726 г.), представляющими собой прекрасный образец прозы французского классицизма.

Стр. 36. *...герои девяносто третьего года* — то есть якобинцы, бывшие у власти с 2 июня 1793 г. по 27 июля 1794 г. Якобинцы героически отстаивали французскую республику от внутренней и внешней контрреволюции.

Стр. 37. *Филипп Смелый* (1245—1285) — французский король, сын Людовика IX, прозванного Святым. Людовик IX предпринял крестовый поход на Тунис и умер от чумы, едва достигнув африканского побережья.

Стр. 41. *...теперь конец всем ссорам мадемуазель Марс и мадемуазель Левер.* — М-ль Марс (настоящее имя — Буте Анна-Франсуаза, 1779—1847) и м-ль Левер (Жанна-Эмилия, 1781—1843) — знаменитые французские актрисы, соперничавшие между собой на сцене театра «Французской Комедии». Так называемый «Московский декрет» об организационном статусе

театра «Французской комедии», подписанный Наполеоном в Москве 15 октября 1812 г., разрешал актерам играть только в каком-либо одном из главных амплуа. М-ль Марс, пользовавшаяся привилегией играть роли в двух амплуа — кокеток и инженю, — вынуждена была после этого декрета уступить часть ролей м-ль Левер.

Стр. 47. ...*в тот год, как туда пруссаки и всякие другие народы пришли...* — то есть в 1870 г., когда началась франко-прусская война.

Стр. 53. ...*о кошке, превратившейся в женщину.* — Имеется в виду басня Жана Лафонтена (1621—1695) «Кошка, превратившаяся в женщину»: кошка, став женщиной, сохранила прежние кошачьи повадки и движения.

Стр. 63. ...*рассказы, которые ходили на набережной д'Орсэ* — то есть в Министерстве иностранных дел, находящемся на набережной д'Орсэ.

Стр. 68. ...*народ взломал двери церкви святого Роха, куда не допустили тело мадемуазель Рокур.* — Мадемуазель Рокур (настоящее имя Сосеротт Франсуаза-Мари-Антуанетта, 1756—1815) — французская трагическая актриса. Настоятель церкви св. Роха отказался хоронить ее, так как Рокур умерла без покаяния и причащения.

«*Вечера в Нельи*» — сборник исторических анекдотов, драматических сенок и комедий, составленный писателями Дитмером и Каве, выступавшими под псевдонимом Фонжере; вышел в 1828 г.

Стр. 71. ...*напоминал Лота, заигрывающего с двумя своими дочерьми...* — По библейской легенде, Лот и его две дочери были единственными людьми, спасшимися во время разрушения города Содома. Дочери Лота соблазнили своего отца, опоив его вином.

Стр. 74. *Адриенна Лекуврер ... обошлась без церковного отпевания.* — Адриенна Лекуврер (1692—1730) — знаменитая французская трагическая актриса. Она умерла внезапно (существует версия, что ее отравили), без церковного покаяния, и церковь отказалась ее хоронить. *Монима* — одна из ролей Адриенны Лекуврер, героиня трагедии Расина «Митридат» (1673); Монима умерла, выпив кубок яду. Доктор Трюбле называет Адриенну Лекуврер Монимой, намекая на общность их судьбы.

Шарль Монселе (1825—1888) — французский писатель и критик. Франс посвятил ему статью в «Литературной жизни» (V серия).

Бурдалу Луи (1632—1703) — иезуит, религиозный оратор и придворный проповедник.

Конкордат — договор между правительством какого-либо государства и католической церковью. Здесь имеется в виду конкордат 1801 г., заключенный между Наполеоном и папой Пием VII, по которому католицизм признавался государственной религией Франции (он действовал до 1905 г.).

Стр. 76. *...уподобляясь... Вергилиеву Силену...* — Имеется в виду эклога VI из книги «Буколики» римского поэта Вергилия (70—19 гг. до н. э.). Силен — в античной мифологии воспитатель и спутник бога вина и веселья, отец сатиров.

Стр. 79. *...подобно Сократу ... и Бенуа Малону карались правосудием...* — Древнегреческий философ Сократ (469—399 гг. до н. э.) как враг афинской демократии был обвинен в безбожии и совращении молодежи и приговорен к смерти. Бенуа Малон (1841—1891) — французский мелкобуржуазный социалист. Как член совета Парижской коммуны был заочно приговорен к смертной казни. С 1871 по 1880 г. находился в эмиграции.

Стр. 81. *Баль Бенжамен* (1833—1893) — французский врач-психиатр.

Кабанис Пьер-Жан-Жорж (1757—1808) — французский философ-просветитель, близкий к французскому материализму XVIII в. Крупный врач, занимавшийся вопросами физиологии.

Стр. 83. *Луксор* — город на берегу Нила, построенный близ развалин столицы древнего Египта — Фив, известен руинами древнего храма Аммона-Ра — главного святилища египтян.

Стр. 88. *Ренан Эрнест* (1823—1892) — французский писатель, философ-идеалист, историк религии. Франс считал Ренана одним из своих учителей, высоко ценил его произведения, посвятил ему и его творчеству ряд статей, вошедших в книги «Литературная жизнь» и «К лучшим временам».

Стр. 89. *...что говорила по этому поводу птица Сирано де Бержерака...* — Савиньен Сирано де Бержерак (1619—1655) — французский писатель и философ, один из представителей материализма XVII в. В незаконченном фантастическом романе «Комическая история государств и империй Солнца» автор рас-

сказывает об идеальном государстве птиц, расположенном на Солнце, и насмехается над религиозным учением о бессмертии души.

...он уподобился хромому бесу... — то есть персонажу романа французского писателя Алена-Рене Лесажа «Хромой бес» (1707), вездесущему бесу Асмодею.

Стр. 90. *Эпитафия Расина*. — Жан Расин (1639—1699) — поэт-классицист, и Блэз Паскаль (1623—1662) — математик, физик и философ, согласно их желанию были похоронены в янсенистском аббатстве Пор-Рояль, которое в XVII в. было центром борьбы с иезуитами. В 1712 г. аббатство Пор-Рояль было разрушено. Эпитафию Расину написал его друг — известный поэт Никола Буало-Депрео (1636—1711).

Стр. 91. *Ленуар* Александр-Мари (1762—1839) — французский археолог, организовавший в 1796 г. «Музей французских памятников», где собрал художественные и исторические ценности, найденные им в закрытых или разрушенных монастырях.

Стр. 97. ...как одного из легионеров Цезаря, охватывает смущение и страх... — Имеется в виду эпизод из книги Юлия Цезаря (102—44 гг. до н. э.) «Записки о Галльской войне» (кн. VIII, гл. 84). Легионеры Цезаря, застигнутые ночью врастпых галлами, особенно обеспокоены состоянием своего тыла, так как от него зависит успех их битвы.

Стр. 104. *Огюст Конт* (1798—1857) — французский философ, буржуазный социолог, основатель позитивизма — идеалистического течения буржуазной философии XIX в. В 70-х—80-х годах Франс увлекался позитивизмом Конта; в 1909 г., во время поездки в Южную Америку, прочитал о нем цикл публичных лекций, напечатанных потом в полном собрании сочинений Франса. В данном случае Франс цитирует работу Конта «Позитивистский катехизис» (1852).

Стр. 109. ...прадед подписал отказ от Пондишери в пользу Англии. — Пондишери — французская колония в Индии, которая несколько раз переходила в руки англичан. Здесь имеется в виду водворение англичан в Пондишери в 1793 г.

Стр. 111. *Декарт* Рене (1596—1650) — французский философ и математик. Утверждал всесилие разума, считая разум единственным источником подлинного знания и критерием истины.

Стр. 112. *Клод Бернар* (1813—1878) — французский естествоиспытатель и физиолог, в частности занимался изучением фи-

зиологии нервной системы. Франс ссылается на его книгу «Экспериментальная наука» (1878).

Стр. 118. *Натье* Жан-Марк (1685—1766) — французский портретист.

Стр. 129. *...роль юного Захарии*. — Захария — персонаж трагедии Расина. «Гофолия» (1691), сын первосвященника Иодая.

Стр. 132. *Дон Сезар де Базан*. — Очевидно, имеется в виду горой мелодрамы Деннери и Дюмануара «Дон Сезар де Базан» (1844).

Стр. 133. *Шкафчик Буль*. — Буль Андре-Шарль (1642—1732) — мебельщик-художник, создавший особый стиль мебели с большим количеством инкрустаций и украшений из бронзы и черепахи.

Кашино — ваза, в которую вставляют цветочный горшок.

Стр. 139. *Боссюэ* Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ и проповедник, идеолог абсолютизма, автор многочисленных сочинений на богословские темы.

«*Ученые женщины*» — комедия Мольера (1672).

Стр. 145. *Я в сердце ранила?* — *Я страх как удивилась!* — Здесь и далее Фелиси декламирует монолог Агнесы из второго действия комедии Мольера «Школа жен» (1662).

Стр. 146. *...во вкусе Клодиона или Аллегрена...* — Клодион (настоящее имя Мишель Клод, 1738—1814) — французский скульптор, автор небольших грациозных статуэток. Аллегрен Кристоф-Габриэль (1710—1795) — французский художник, любивший аллегорические сюжеты.

КРЕНКЕБИЛЬ, ПЮТУА, РИКЕ И МНОГО ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ РАССКАЗОВ

«Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов» — пятый сборник новелл Анатоля Франса, вышел в свет в 1904 году в издательстве Кальман-Леви. Все рассказы, вошедшие в сборник, были уже ранее опубликованы в периодической печати, главным образом в газете «Figaro».

Преобладание современной тематики, обращение к социальным проблемам, публицистичность, смелое сатирическое обличение Третьей республики, характерное для большинства рассказов, отличает этот сборник от четырех предшествующих. Сборник «Кренкебиль, Пютуа, Рике...» тематически и идейно

тесно связан с крупнейшим произведением Франса, написанным на рубеже XIX и XX вв., — с «Современной историей». Из шестнадцати новелл, составляющих сборник, двенадцать печатались в газете в виде отдельных фельетонов под общей рубрикой «Современная история»: «Кренкебель», «Рике», «Мысли Гике», «Галстук», «Большие маневры в Монтиле», «Пютуа», «Эмиль», «Неподкупные судьи», «Жан Марто», «Эдме, или Удачно поданная милостыня», «Домашняя кража», «Господин Тома». Некоторые из них можно рассматривать как дополнения к отдельным главам тетралогии.

Новеллы сборника тесно связаны и с публицистикой Франса этих лет. На рубеже 90-х и 900-х годов Франс принимает самое активное участие в общественной жизни страны, полностью отказавшись от позиции стороннего наблюдателя. В своей публицистике он откликается на наиболее острые и злободневные вопросы; он активный дрейфусар, единомышленник Золя; он сближается с социалистами, выступает на рабочих митингах и собраниях, ведет смелую борьбу против объединенных сил националистов и клерикалов, активно участвует в кампании за отделение церкви от государства (1902—1904). В своей знаменитой речи на похоронах Золя 5 октября 1902 года Франс говорил: величие Золя в том, что он «боролся с социальным злом всюду, где только с ним сталкивался».

Борьба с социальным злом — основная тема большинства новелл и фельетонов сборника «Кренкебель, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов».

Значительной вехой в творческом развитии Анатоля Франса является рассказ «Кренкебель», написанный в конце 1900 — начале 1901 года. Это — одно из лучших созданий писателя, свидетельствующее о росте демократических тенденций в его творчестве. Публицистическая острота и смелость мысли сочетается здесь с глубиной художественного обобщения и подлинным гуманизмом. Рассказ «Кренкебель» был впервые напечатан под рубрикой «Современная история» в газете «Figaro» в номерах с 21 ноября 1900 года по 16 января 1901 года. В этом же году «Дело Кренкебиля» (первоначальное название рассказа) вышло отдельным изданием с шестьюдесятью тремя иллюстрациями известного художника-графика Александра Стейнлена. В 1902 году «Кренкебель» был перепечатан в «Cahiers de la Quinzaine»; в том же году Франс включил

его с небольшими сокращениями в свой сборник «Социальные убеждения».

В предшествующих произведениях Франса уже несколько раз возникала тема несправедливости суда и полицейского произвола: печальная судьба хромого ножевщика (книга «Суждения господина Жерома Куаньяра»), история Колченожки, несправедливо заподозренного в убийстве («Современная история»), — но все это были только подступы к созданию образа Кренкебиля.

Франс, автор рассказа «Кренкебель», продолжает лучшие гуманистические традиции французской литературы и прежде всего Гюго. Судьба Кренкебиля имеет много общего с судьбой Клода Ге, Жана Вальжана и особенно Шанматье, одного из персонажей романа «Отверженные».

Новелла Франса пронизана болью и тревогой за судьбу простого человека, бесправного и беспомощного перед жестокой и грозной государственной машиной. В конце рассказа с большой силой звучит тема трагической судьбы одинокого, раздавленного обществом Кренкебиля. Никакого выхода для своего героя писатель в те годы не видел. Это было отмечено газетой «Humanité» в 1924 году. В номере от 15 апреля, в связи с празднованием восьмидесятилетнего юбилея Анатоля Франса, было помещено приветствие писателю, написанное якобы от имени его героя Кренкебиля, который благодарил Франса за сочувствие и любовь и добавлял, что теперь он «понял необходимость борьбы и... знает, что иногда надо быть жестоким, чтобы быть справедливым».

В рассказе «Кренкебель» повествование развивается в двух планах: история злоключений Кренкебиля и полемика с судьей Буришем, с принципами и догматами буржуазного судопроизводства. Дело уличного торговца поднято Франсом до большого социального обобщения. Из рассказа совершенно ясно, что речь идет не о случайной судебной ошибке, а о социальной несправедливости, связанной с классовым характером буржуазного суда. Выразителем авторских взглядов выступает художник Жан Лермит, которому Стейнлен в своих иллюстрациях придал даже портретное сходство с Анатолем Франсом. Четвертая глава рассказа («Похвальное слово г-ну председателю суда Буришу») — яркий пример злой, разящей иронии Франса.

Заостренность социально-обличительной темы «Кренкебиля» безусловно связана с активным участием Франса в деле

Дрейфуса. Близкое знакомство с процессом Дрейфуса помогло писателю до конца понять характер буржуазного суда, понять политику правительства, сознательно поддерживавшего несправедливый судебный приговор в интересах реакционной женщины и высшей бюрократии. Кренкебель, так же как и Дрейфус, — жертва сознательной судебной несправедливости.

К образу Кренкебеля Франс еще раз вернется в своей одноименной пьесе.

Разоблачению буржуазного права и юстиции, буржуазного суда, кроме «Кренкебеля», посвящены также рассказы «Жан Марто», «Неподкупные судьи», «Господин Тома» и «Домашняя кража».

Первая часть рассказа «Жан Марто» — «Сновидение» была напечатана 7 ноября 1900 года в газете «Figaro», вторая часть, вначале называвшаяся «Добрый судья», впервые появилась также в газете «Figaro» 14 ноября 1900 года; свое окончательное название «Закон мертв, но судья жив» она получила в 1902 году, когда была помещена в «Cahiers de la Quinzaine». Эта вторая часть рассказа представляет особый интерес.

Господин Бержере, и Жан Марто в споре с Губеном, сторонником официальных взглядов, вскрывают ошибочность и нелепость его утверждений о справедливости буржуазного законодательства. В уста своего любимого героя Бержере Франс вкладывает утверждение, что все общественное правосудие покоится на двух аксиомах: «Кража — преступна, добытое кражей — священо». В острой публицистической форме писатель утверждает, что в несправедливом обществе не может быть справедливого законодательства, что задача современных ему законов — «защищать и поддерживать несправедливость». Интересно отметить замечание Франса о том, что отдельные реформы и улучшения не могут изменить общего характера буржуазного законодательства.

Рассказ «Неподкупные судьи» впервые был напечатан в газете «Figaro» 26 декабря 1900 г.; в 1902 г. он был перепечатан в «Cahiers de la Quinzaine». В рассказе противопоставляются судьи двух типов: формальный блюститель буквы закона и судья-гуманист, благожелательный к людям. Идеальным типом справедливого судьи для Франса явился Маньо — президент суда в Шато-Тьерри. В ряде своих произведений Франс высоко оценивал деятельность Маньо, с горечью, однако, добавляя: «Председатель Маньо... выносит справедливые ре-

шения. Но их отменяют — это и есть правосудие» («Кренке-биль»).

Беседа лошадей, которой заканчивается рассказ, пародирует беседу их владельцев-судей, причем речи коня Серого полностью совпадают с догматическими принципами его хозяина. В рассказе «Господин Тома» (впервые был напечатан в газете «Figaro» 19 декабря 1900 г.) тип бесчеловечного несправедливого судьи получает конкретное воплощение. Франс создает здесь сатирический образ г-на Тома, слепо верящего в благость закона и в спасительную силу наказания. Писатель резко выступает против религиозной проповеди смиренного прития страданий и насилия, против лицемерного оправдания системы одиночного заключения. С нескрываемым сарказмом говорит он о «справедливости» судьи Тома, беззастенчиво фальсифицирующего свидетельские показания.

Рассказ «Домашняя кража» был впервые напечатан в газете «Figaro» 12 декабря 1900 года, а в 1902 году перепечатан в «Cahiers de la Quinzaine». В «Домашней краже» Франс вновь обращается к изображению жертвы буржуазного законодательства: рассказ о судьбе заключенной № 503 повторяет трагическую историю Кренкебиля. Для героини рассказа тюрьма также представляется единственным выходом из беспросветной нужды и горя.

К группе рассказов о буржуазном законодательстве и суде близко примыкает «Эдме, или Удачно поданная милостыня» (впервые напечатан 2 января 1901 г. в газете «Figaro» с подзаголовком «Рассказ, написанный для веселой встречи нового года»). Затем рассказ был включен Франсом в сборник «Социалистические убеждения» (1902). Рассказ написан в форме пародии на традиционные приторно-сентиментальные новогодние рассказы, над которыми умилялись буржуазные читатели. Франс выступает против фальши подобных произведений, осмеивает буржуазную благотворительность, в которой он видит лишь желание сытых откупиться от голодных жалкими подачками, чтобы сохранить свои богатства. Эту мысль писатель высказывал уже в «Современной истории» (IV часть, гл. 17). В «Эдме» Франс приходит к смелому и решительному выводу: «Не нужно улучшать положение бедняков, нужно уничтожить бедность», «Трудящиеся имеют право жить». Таким образом, «Эдме, или Удачно поданная мило-

стыня» тесно связана с выступлениями Франса 900-х годов в защиту прав трудящихся.

Рассказ «Большие маневры в Монтиле» (газета «Figaro», 19 сентября 1900 г.), так же как и рассказ «Эмиль» («Figaro», 13 декабря 1899 г.), затрагивает чрезвычайно важную для Франса тему разоблачения милитаризма и национализма, тему, которая проходит через все его творчество (книги об аббате Жероме Куаньяре, «Современная история», «На белом камне», «Остров пингвинов»).

В «Эмиле» развенчание милитаризма тесно связывается с делом Дрейфуса. Рассказ был написан в период активного участия Франса в борьбе дрейфусаров и близко примыкает к рассказу «Канцелярия» (газета «Figaro», 1899 г.), разоблачающему разложение верхушки армии.

Небольшой рассказ «Галстук» (впервые напечатанный в газете «Figaro» 10 октября 1900 г.) по своему материалу примыкает к детским воспоминаниям Пьера Нозьера из автобиографического цикла Франса.

Рассказы «Рике» и «Мысли Рике» сюжетно связаны с «Современной историей» и являются как бы фрагментами из тетралогии. Рассказ о Рике, впервые напечатанный в газете «Figaro» 26 сентября 1900 года, Франс затем включил с небольшими изменениями и дополнениями в «Современную историю» (IV часть, гл. 2). «Мысли Рике», опубликованные впервые в «Figaro» 28 февраля 1900 года, в 1902 году были перепечатаны в «Cahiers de la Quinzaine» со следующим авторским примечанием, опущенным в последующих изданиях: «Проникнув в некоторые мысли моей собаки Рике, я перевел их на человеческий язык. Небезынтересно познакомиться с нравственными идеями собак и сопоставить их с человеческими». «Мысли Рике» — остроумная пародия на эгоизм и эгоцентрическое мышление обывателя, на слепой догматизм, раболепное подчинение силе. Так, Рике заявляет: «Я всегда в центре всего. Люди, животные и вещи — враждебные и доброжелательные — расположены вокруг меня»; Рике обожает господина Бержере, «потому что он могуществен и грозен». «Мысли Рике» перекликаются с флоберовским «Лексиконом прописных истин», в котором зло высмеивалась житейская «мудрость» буржуазии.

К многочисленным произведениям Франса, осмеивающим веру в религиозные чудеса, в святых и пророков, относится

рассказ «Пютуа» (впервые напечатан в газете «Figaro» с 17 по 31 октября 1900 г.). Уже в своих ранних новеллах Франс иронизировал над христианскими мифами и легендами («Прокуратор Иудеи»); теперь же он обращается к прямой пародии. История бездомного бродяги Пютуа, вызванного к жизни выдумкой матери Бержере, пародирует мифотворчество, возникновение религиозных легенд о богах, святых, чудотворцах, существование которых так же мало реально, как и существование Пютуа. Отец Бержере замечает, что история Пютуа — «экстракт ... сжатая формулировка всех человеческих верований». В воспоминаниях М. Кордэ приводятся слова Франса о том, что в рассказе «Пютуа» он хотел объяснить происхождение христианства. «Боги, — говорил Франс, — переживают три этапа в народном воображении. Сначала они — чисто отвлеченные представления. Затем они присваивают себе мысли, поступки создавших их людей. Наконец, они спускаются на землю. Впрочем, в этой последней стадии они столь же мало реальны, как и в двух предыдущих».

Пародийная тема «Пютуа» в еще более резкой сатирической форме прозвучит в романе «Остров пингвинов» (1908).

В книге «Кренкебиль», знаменующей усиление в творчестве Франса публицистических и сатирических тенденций, углубление демократизма и интереса к социальным проблемам, одновременно продолжают некоторые темы предшествующих произведений и прежде всего — сборника «Перламутровый ларец».

Так, рассказ «Христос океана» (впервые напечатан 25 января 1893 г. в газете «Echo de Paris») примыкает к многочисленным франсовским пересказам церковных легенд, однако с той разницей, что здесь писатель обращается не к средневековью, а к современности. Для рассказа характерна некоторая стилизация; он пронизан иронией над роскошью и богатством современной католической церкви, резко противоречащим догматам христианства. К этой проблеме Франс вернется в книге «На белом камне».

В «Гемме» и «Адриенне Бюке» (впервые напечатаны в газете «Echo de Paris» 1 февраля 1893 г.) вновь возникает тема иррационального. К сверхъестественным мистическим явлениям Франс относился столь же скептически, как и к чудесам христианских легенд. Вера в иррациональное представляется ему болезнью современного сознания, «проявлением изо-

щренности разума, пришедшего в упадок». Однако так называемое сверхъестественное часто привлекало его как интересный сюжетный материал. В этом смысле писатель отдал известную дань декадентству конца XIX в. Следует отметить также интерес Франса к явлениям большой психики, к неврастении, патологии чувств («Июкаста», новеллы «Красное яйцо», «Дочь Лилит» и др.). Тяготение к подобным сюжетам сохраняется у него и в 900-е годы, когда он работает над романом «Театральная история», рассказом «Гемма»; и в том, и в другом произведении большую роль играет ненормальность психики героев.

Однако новеллы Франса на тему об иррациональном всегда в большей или меньшей степени ироничны. Писатель признавался: «Я люблю чудесное, но оно меня не любит и избегает, оно исчезает при виде меня». В рассказе «Адриенна Бюке» заключительная реплика о том, что героиня, может быть, была близка с покончившим самоубийством Марселем Жиро, бросает на происшествие совершенно иной свет, позволяет отбросить мистическое его истолкование.

Основной интерес подобных новелл, так же как и франсовских переложений сказок и легенд, состоит в той новой своеобразной иронической интерпретации, которую писатель дает известным или обыденным сюжетам,

В сборник «Кренкебиль» Франс включил небольшой рассказ «Синьора Кьяра» — переработку одного из своих самых ранних рассказов — «Метод лечения доктора Арделя» по сюжету близкого к средневековым коротким рассказам — фавль (напечатан 1 октября 1876 г. в журнале «Musée des Deux mondes»). Вернувшись к этому же сюжету в 1904 году, Франс перенес действие из французского провинциального города в Италию, которую он незадолго до этого посетил, и превратил скучающую мещанку Дезире из первого варианта рассказа в сияющую красотой гордую синьору Кьяру. Рассказ замечателен мастерством ироническо-шутливого повествования, искусством точной и яркой детали.

К р е н к е б и л ь

Стр. 151. *Стейнлен* Теофиль-Александр (1859—1923) — выдающийся французский график, мастер плаката. Изображал жизнь улицы, жизнь парижского пролетариата. Франс был близко знаком со Стейнленом и высоко ценил его творчество. Он посвятил Стейнлену статью (сб. «Мастера-художники», 1902),

написал предисловие к каталогу его выставки (1903), выступил с речью на банкете, устроенном в честь художника (1903).

Гитри Люсьен-Жермен (1860—1925) — французский актер и режиссер. В начале 900-х годов руководил театром «Ренессанс», играл главным образом в современном репертуаре; соавтор и исполнитель главных ролей в пьесах Франса «Кренкебиль» и «Ивовый манекен».

Стр. 152. *Марианна* — аллегорическое название Французской республики.

Каноническое право — то есть церковное право, совокупность правовых норм, установленных церковью.

Декреты — папские послания по вопросам религии и церкви.

Гильом де Ногаре — канцлер французского короля Филиппа IV (XIII в.); выполняя приказ короля, арестовал папу Бонифация VIII, стремившегося подчинить себе светских правителей.

Григорий VII — римский папа с 1073 по 1085 г.; вел ожесточенную борьбу с германским императором Генрихом IV, стремясь подчинить его своей власти.

Стр. 157. *Больница имени Амбруаза Паре*. — Амбруаз Паре (1517—1590) — знаменитый французский хирург.

Стр. 162. *Уолтер Ролей* (1552—1618) — английский политический деятель, писатель, по приказу короля Якова I был казнен.

Стр. 163. *Декарт и Гассенди, Лейбниц и Ньютон, Биша и Клод Бернар* — имена крупнейших философов и ученых. Декарт Рене (см. прим. к стр. 111). Гассенди Пьер (1592—1655) — французский философ-материалист, физик и астроном. Лейбниц Готфрид-Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик. Ньютон Исаак (1642—1727) — английский физик и математик. Биша Мари-Франсуа-Ксавье (1771—1802) — французский врач и анатом. Клод Бернар (см. прим. к стр. 112).

Стр. 165. *Маньо Поль* — был председателем суда в Шато-Тьерри (1889—1904). Его судебная деятельность вызвала недовольство высших судебных инстанций, отменявших большую часть его приговоров как слишком мягкие.

...в других более знаменитых процессах. — Имеется в виду дело Дрейфуса.

Стр. 166. *Зал потерянных шагов* — старинное название зала ожидания во французском суде.

Елисейский дворец — резиденция президента Французской республики.

Стр. 167. *Судебное решение было его апокалипсисом* — то есть устрашающим и непонятным видением. Апокалипсис (греч. «Откровение») — одна из книг христианского «Нового Завета», содержащая мистические «пророчества», рисующая бедствия, якобы предстоящие миру перед пришествием Антихриста.

П ю т у а

Стр. 175. *Георг Брандес* (1842—1927) — датский литературный критик и публицист, выступал против политической и религиозной реакции. Франс был лично знаком с Брандесом; известна речь Франса, произнесенная на приеме в честь Брандеса, в Париже в 1902 г. (включена в книгу «К лучшим временам»).

Стр. 176. *Каремпренан*. — В IV книге романа Франсуа Рабле (1494(?)—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль» спутник Пантагрюэля Ксеноман излагает шутивную анатомию фантастического существа Каремпренана, «соблюдателя постов», у которого «затылок — вроде фонаря, разум — как табуретка» и т. д.

Ледубль Анатолий (1848—1913) — профессор анатомии, автор книги «Рабле — анатом и физиолог» (1899).

Стр. 180. ...*сатир* ... *удостоился чести появиться на картине Иорданса и в басне Лафонтена*. — Имеется в виду картина фламандского художника Иорданса Якоби (1593—1678) «Сатир в гостях у крестьянина» и басня Жана Лафонтена (1621—1695) «Сатир и путешественник».

Косматый сын Сикораксы — то есть Калибан — фантастический персонаж из драмы Шекспира «Буря», сын ведьмы Сикораксы, получеловек-полузверь — олицетворение злых сил природы.

Стр. 183. *Госпожа Ролан* Манон (1754—1793) — жена жирондиста Ролана; во время французской буржуазной революции конца XVIII в. ее салон стал политическим центром жирондистов. Была гильотинирована по приговору революционного трибунала.

Стр. 184. ...*в год появления кометы*. — Речь идет о появлении в 1858 г. крупной кометы, видимой невооруженным глазом.

Стр. 186. *...святой королевской дочери...* — Имеется в виду средневековая католическая легенда о христианской мученице, королевской дочери Либорате, которая, желая избежать ненавистного брака с язычником, вымолила себе у бога бороду. Разгневанный отец велел ее распять.

Стр. 188. *Гассенди* — см. прим. к стр. 163.

Р и к е

Стр. 190. *Ж.-А. Куланжон* (1876—1904) — французский писатель и поэт, за творчеством которого Франс следил с большим интересом и вниманием.

Стр. 193. *Но архитектура много сдала со времен Габриэля и Луи...* — Имеются в виду французские архитекторы Габриэль Жак-Анж (ок. 1700—1782) и Луи Никола, известный под именем Виктор-Луи (1731—1802).

Г а л с т у к

Стр. 199. *Госпожа Декори* — жена литератора Феликса Декори (конец XIX в.).

Б о л ь ш и е м а н е в р ы в М о н т и л е

Стр. 204. *Мирбо* Октав-Анри (1850—1917) — писатель, драматург и критик.

Стр. 205. *Панама*. — Имеется в виду скандальное дело компании Панамского канала (1888—1892), вскрывшее злоупотребления и подкуп высших должностных лиц и членов парламента. Лубе, избранный в 1899 г. президентом республики, в 1892 г. возглавлял правительство и вышел в отставку из-за разыгравшегося Панамского скандала.

Э м и л ь

Стр. 211. *Госпожа де Кюстин, прощаясь в тюрьме со своим мужем...* — Речь идет о жене французского генерала Кюстина, казненного во время французской буржуазной революции XVIII в. по обвинению в измене республике.

Стр. 212. *...по свидетельству Давида и Сивиллы*. — В католическом покаянном гимне «День гнева» упоминаются пророчества легендарного иудейского царя Давида и эритрейской сивиллы о Страшном суде.

Стр. 213. *«Грозный год»* — так назвал В. Гюго в одноименном поэтическом сборнике год франко-прусской войны и Парижской Коммуны (1870—71).

...в *одном письме Цицерона*. — Цицерон Марк Туллий (106—43 гг. до н. э.) — знаменитый римский оратор и писатель, его стиль считается образцом классической латыни.

Госпожа д'Абрантес Лора (1784—1838) — автор книги «Мемуары, или Исторические воспоминания о Наполеоне, Революции, Директории, Консульстве, Империи и Реставрации», вышедшей в 1831—1835 гг. в восемнадцати томах.

Стр. 214. *...перед статуями Верцингеторикса, Жанны д'Арк и солдат Луары...* — то есть перед памятниками национальным героям. Верцингеторикс — вождь галлов, возглавивший в 52—51 г. до н. э. восстание галлов против римлян. Солдаты Луары — солдаты армии, состоявшей из остатков войска Наполеона I, которые после его поражения при Ватерлоо (1815) были отведены маршалом Даву за Луару и там расформированы.

Эстергази, граф — настоящий виновник похищения секретных документов, в чем несправедливо обвинялся Дрейфус; Эстергази, пользовавшийся поддержкой военной клики, остался на свободе.

Стр. 215. *Агентство Кука* — английское агентство по организации туристских путешествий, основанное в середине XIX в.

Адриенна Бюке

Стр. 216. *Жорж Дюма* (1866—1946) — врач-психиатр, автор книги «Душевное состояние при меланхолии» (1894).

Стр. 217. *...явлений, классифицируемых Майером и Подмором...* — Речь идет о двух английских психиатрах, основателях телепатии — идеалистического учения о якобы существующей способности человека воспринимать мысли и чувства других людей на расстоянии без посредства органов чувств. Майер Фредерик-Вильям-Генри (1843—1901) — основал в Англии «Общество психиатрических исследований», свое учение изложил в книге «Бытие человеческой личности после физической смерти».

Стр. 218. *«Дениза»* — драма Александра Дюма-сына (1824—1895).

Стр. 220. *Шарите* — парижская больница для бедных, основанная в 1602 г.

Гемма

Стр. 224. *Ромней* Джордж (1734—1802) — английский художник, модный портретист английской знати.

Стр. 225. *Глиптика* — искусство резьбы по камню.

Феокрит — древнегреческий поэт (III в. до н. э.), автор идиллий.

Стр. 233. *...госпожи Сэр*. — Кере или Кера (*греч.*) — Церес (*лат.*) — олицетворение смерти в античной мифологии. Начертание этого имени латинскими буквами совпадает с французским написанием фамилии г-жи Сэр.

Синьора Кьяра

Стр. 234. *Уго Оджетти* — итальянский писатель конца XIX — начала XX в.

Неподкупные судьи

Стр. 237. *Г-жа Марсель Тинайр* (1872—1948) — французская писательница.

Мабюзе Ян (настоящая фамилия Госсарт, 70-е годы XV в. — 30-е годы XVI в.) — нидерландский живописец.

Стр. 239. *Моисей и Кир... Юстиниан и германский император и поныне еще управляют нами*. — Моисей — древнеиудейский пророк, которому легенда приписывает авторство так называемого закона Моисеева, то есть первые пять книг библии (Пятикнижие). Кир — древнеперсидский царь-законодатель (VI в. до н. э.). Юстиниан (527—565) — византийский император, по указанию которого был составлен свод римских гражданских законов — Кодекс Юстиниана. Германский император — император Фридрих Барбаросса (ок. 1123—1190), который много занимался вопросами законодательства, разрабатывая основные положения римского права.

Зороастр и Нума Помпилий... — Зороастр — греческая форма имени мифического пророка Зоратуштры, которому предание приписывает создание религии и законов древних народов Средней Азии и Персии. Нума Помпилий — легендарный римский царь (VII в. до н. э.); предание приписывает ему учреждение первых законов и суда в Риме.

Христос океана

Стр. 243. *Иван Странник* — псевдоним писательницы Анны Митрофановны Аничковой, жившей в начале 900-х годов в Париже. Она писала на французском языке, книги ее выходили в издательстве Кальмана-Леви, где печатался Анатоль Франс.

Стр. 244. *Иосиф Аримафейский* — согласно евангельской легенде один из учеников Иисуса Христа, снял с креста тело распятого учителя и положил его в гроб.

Жан Марто

Стр. 251. *Книга антифонов* — книга церковных песен. Антифон — церковное пение, при котором хор разделяется на две группы, поющие попеременно.

...языком простодушной *Стратоники*... — Согласно легенде Стратоника, жена царя Сирии Селевка Никантора, помимо своей воли внушила страстную любовь своему пасынку Антиоху. Король, чтобы сласти сына, умиравшего от любви к ничему не подозревающей Стратонике, отдал ее ему в жены. Эта история послужила сюжетом для одноактной оперы «Стратоника» (1792) (слова Франсуа Гофмана, музыка Этьена Мегюля).

Стр. 252. *Добрый святой Франциск* — Франциск Ассизский, итальянский мистик, учредивший в 1209 г. нищенствующий монашеский орден францисканцев; причислен церковью к лику святых.

Святая Клара, святой Антоний Падуанский — видные деятели ордена францисканцев.

Стр. 255. *Председатель суда Маньо* — см. прим. к стр. 165.

Анри Лейре — французский юрист, автор нескольких книг о судебной деятельности Маньо.

...друзья господина *Мелина*... — то есть сторонники премьер-министра Феликса-Жюля Мелина. Его кабинет (1896—1898) открыто покровительствовал клерикалам и колониальной экспансии. Франс резко критикует политику Мелина в «Современной истории».

Господин Тома

Стр. 257. *Маршал Мак-Магон* — был президентом Французской республики с 1873 по 1879 г.; опирался на монархические и клерикальные круги, мечтал о реставрации монархии. Мак-

Магон вынужден был сложить свои полномочия в связи с ростом во Франции республиканских настроений.

Домашняя кража

Стр. 263. *Анри Моно* — французский врач, общественный деятель конца XIX в., автор многочисленных книг по вопросам общественного здравоохранения во Франции. Он специально изучал условия содержания заключенных.

Эдме, или Удачно поданная милостыня

Стр. 269. *...после проповеди доброго брата Майара.* — Имеется в виду проповедник Оливье Майар (XV в.), его проповеди изобиловали смелыми насмешливыми выпадами против власть имущих, особенно когда речь шла о взяточничестве и несправедливости судей.

Стр. 270. *...о социализме Гэда или Жореса...* — Гэд Жюль (Базиль Матье-Жюль, 1845—1922), так же как и Жорес, — видный деятель французского социалистического движения, основатель французской Рабочей партии (1880), лидер Социалистической партии Франции, образовавшейся в 1901 г.

Стр. 272. *«Падение ангела»* (1838) *Ламартина*, *«Элоа»* (1824) *Альфреда де Виньи* — две близкие по содержанию романтические поэмы о падших ангелах.

ПЬЕСЫ

Первые драматургические опыты Анатоля Франса относятся к 60-м годам, к началу его литературной деятельности. Так же как и ранние стихотворения, они носят подражательный характер. Сохранившиеся три сцены стихотворной комедии «Сэр Панч» написаны в традициях итальянской буффонады. К героям итальянской комедии масок обращается Франс и в одноактной пьесе «Превращения Пьеро» (1869). Увлекаясь в эти годы творчеством Гюго и Байрона, молодой писатель пробует свои силы в романтической драме; в соавторстве с поэтессой Ниной Калиас он пишет одноактную стихотворную драму «Укротительница» (1868). Необычайные ситуации и исключительные страсти не спасли это слабое произведение, которое,

несмотря на все старания авторов, никогда не увидело света рампы. Такая же участь постигла и одноактную комедию «Лакей герцогини», написанную Франсом в соавторстве с поэтом Ксавье Рикаром.

Обескураженный неудачами, Анатолий Франс надолго отказывается от театра. Только в 1898 г. он вновь пробует свои силы в драматургии, создав одноактную комедию «Чем черт не шутит», предназначенную для домашнего любительского спектакля в салоне друга Франса госпожи де Кайаве. В этом произведении Франс обращается к жанру «комедии-пословицы», то есть небольшой пьесы, раскрывающей содержание какой-либо пословицы, поговорки или сентенции. Подобные комедии в XVIII в. во Франции создавал Мариво, в 30-х—40-х годах XIX в. в этом жанре с успехом выступал Альфред де Мюссе.

В комедии «Чем черт не шутит» дается зарисовка нравов светского общества. В пьесе совершенно нет развития действия, нет интриги. Живой непринужденный диалог, тонкая ирония, метко очерченные характеры легкомысленной, скучающей Жермены, внешне изящного, но пошлого Шамбри, резкого, искреннего Налеза — вот что составляет достоинство этой драматической сценки.

Комедия была напечатана 15 июня 1898 г. в журнале «Revue de Paris».

Хотя Франс не раз говорил, что он признает только театр Софокла (то есть театр высокой трагедии), либо театр марионеток, однако он не остался в стороне от развития французского театра конца 90-х — начала 900-х годов. Он тяготел к реализму и отрицательно относился к крайностям натуралистической драматургии — то есть к утверждению, что пьеса должна быть лишь фотографическим снимком с действительности, «куском жизни» даже нередко лишенным значительных событий и развития характеров. В начале 900-х годов Франс при участии известного актера Люсьена Гитри создал на основе своих прозаических произведений две пьесы: «Кренкебиль» и «Ивовый манекен».

Двадцать восьмого марта 1903 года в театре «Ренессанс» состоялась премьера пьесы «Кренкебиль». Замечательный рассказ Франса, перенесенный на сцену, засверкал новыми красками, обогатился интересными деталями, не потеряв своего большого социального звучания. В пьесе хороши сцены, живо

и ярко рисующие жизнь парижской улицы, полнее развернуты характеристики эгоистичных и злобных мешанок: госпожи Байар и госпожи Лоры, расширена речь адвоката Лемерля — блестящий образец франсовской иронии. Автор значительно дополнил образ Кренкебиля, еще в большей степени раскрыл его доброту и сердечность. В пьесе появляется новый интересный персонаж — мальчик-беспризорник по прозвищу Мышь, спасающий отчаявшегося Кренкебиля от самоубийства. Если в рассказе Франс оставлял Кренкебиля одного, безо всякой помощи, без какой-либо надежды, то теперь в пьесе утверждается мысль о взаимопомощи и единстве обездоленных. Пьеса пронизана искренней симпатией к двум отверженным беднякам, поддерживающим друг друга; она свидетельствует о росте и усилении демократических тенденций в творчестве Анатоля Франса. Немного позже, в 1904 г. он писал в своей автобиографии: «Я всегда любил бедных и уважал труд».

Драма «Кренкебель» шла с успехом до конца театрального сезона 1903 г. Образ Кренкебиля был проникновенно воссоздан талантливым Люсьеном Гитри. В том же 1903 г. «Кренкебель» вышел отдельным изданием у Кальмана-Леви. Впоследствии текст рассказа и пьесы лег в основу сценариев трех одноименных кинофильмов. Большой художественной удачей был фильм, поставленный Жаком Фейдером в 1922 г. Франс положительно отзывался об этом фильме. Впоследствии «Кренкебель» был экранизирован в 1936 и 1954 гг. На основе пьесы «Кренкебель» в 1924 г. в Киеве был поставлен спектакль под названием «Чтобы вам, скотам, околоть». Ленинградский кукольный театр в 1933 г. также показал спектакль о Кренкебеле — «Бляха № 64».

Вторая пьеса, написанная Франсом в 900-х годах, — «Ивовый манекен» — была поставлена в марте 1904 г. в театре «Ренессанс». В роли господина Бержере с успехом выступил Люсьен Гитри.

В отличие от сценической переделки «Кренкебиля» в пьесе «Ивовый манекен» ослаблено острое публицистическое звучание романа. В пьесе Франс ограничивает историю господина Бержере лишь событиями его семейной жизни. Главная тема пьесы — противопоставление ученого-гуманиста и окружающей его пошлости и мешанства. Франс вводит в пьесу новую любовную интригу: взаимоотношения дочери господина Бержере, Жюльетты, с Ле Клаври. Наиболее удачен здесь образ По-

лины — сердечной и умной девушки, верного друга своего отца. Полина часто появляется и на страницах «Современной истории», однако в тетралогии образ ее только намечен, здесь же он раскрыт гораздо полнее. Интересно отметить, что Франс перенес из романа на сцену и образы простых людей, тех, с кем так любил беседовать господин Бержере, — Леду и Колченожку.

Драма «Ивовый Манекен» впервые была напечатана в 1928 г. в Полном собрании сочинений Франса.

Наибольший сценический успех выпал на долю его последней пьесы — «Комедия о человеке, который женился на немой» (1908). Сюжет комедии заимствован из романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Рабле был одним из любимых писателей Франса, он посвятил Рабле статью в «Литературной жизни» («Рабле», 1889), подготавливал и собирал материал для большой монографии о нем. Во время поездки в Южную Америку в 1909 г. Франс выступил в столице Аргентины Буэнос-Айресе с циклом публичных лекций о Рабле. В 1928 г. эти лекции были напечатаны в Полном собрании его сочинений. Франс любовно хранил и использовал в своем творчестве лучшие традиции Франсуа Рабле, писателя гуманиста и сатирика (см. рассказ о трубулонах в «Современной истории», гротескные сатирические образы в «Острове пингвинов»). Писатель был тесно связан с «Обществом изучения Рабле» и принимал активное участие в его работе.

В 34-й главе третьей книги романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» один из спутников Пантагрюэля Эпистемон кратко излагает содержание средневекового фарса о человеке, женившемся на немой:

«Любящий супруг хотел, чтобы жена заговорила. Она и точно заговорила благодаря искусству лекаря и хирурга, которые подрезали ей подъязычную связку. Но, едва обретя дар речи, она принялась болтать без умолку, так что муж опять побежал к лекарю просить средства, которое заставило бы ее замолчать. Лекарь ему сказал, что в его распоряжении имеется немало средств, которые могут заставить женщину заговорить, и нет ни одного, которое заставило бы ее замолчать; единственное, дескать, средство от непрерывной женской болтовни — это глухота мужа. Врачи как-то там поворожили, и этот сукин сын оглох. Жена, обнаружив, что он ничего не слышит и что из-за его глухоты она только бросает слова на ве-

тер, пришла в ярость. Лекарь потребовал вознаграждения, а муж сказал, что он и правда оглох и не слышит, о чем тот просит. Тогда лекарь незаметно подсыпал мужу какой-то порошок, от которого муж сошел с ума. Сумасшедший муж и разъяренная жена дружно бросились с кулаками на хирурга и лекаря и избili их до полусмерти».

На основе этого пересказа Франс пишет веселую двухактную комедию. Он создает яркие комедийные образы судьи Баталья, хитрого адвоката Фюме и болтушки Катрины. Особенно хороши во втором акте сцены безудержной болтовни героини. Франс остается верным себе и в этой веселой комедии, иронизируя над судопроизводством и над судьями.

Франс, известный как блестящий мастер стилизации, однако, не следует в этой комедии языку Рабле. Комедия написана народным разговорным языком XVII в. В письме к Жюлю Куэ, библиотекарю театра «Французской Комедии», Франс писал, что одной из причин, заставивших его перенести действие на столетие вперед, было то соображение, что в пьесе, предназначенной для публичного исполнения, «гораздо опаснее следовать языку Рабле, чем подражать языку Табарена» (Табарен — актер балаганных театров XVII в., автор фарсов и комических диалогов).

«Комедия о человеке, который женился на немой» была впервые напечатана в декабрьском номере журнала «Illustration» за 1908 г. В 1912 г. она была сыграна для членов «Общества изучения Рабле» и в том же 1912 г. поставлена в театрах «Порт-Сен-Мартен» и «Ренессанс».

В России комедия Франса была сыграна раньше, чем во Франции. В 1910, 1911 гг. она часто шла на сцене петербургских и московских театров под названием «Немая жена». Комедия Франса нередко исполнялась и на советской сцене.

Чем черт не шутит

Стр. 280. ...когда французы носили нанковые панталоны и распевали песенки Беранже — то есть в 20-х—30-х годах XIX в.

Стр. 281. ...как Дон-Кихот, когда он отправился к инфанте на славном коне Клавильеño. — Имеется в виду эпизод из романа Сервантеса «Дон-Кихот» (т. II, гл. 40, 41). Герцог и его придворные, желая подшутить над Дон-Кихотом, уговаривают его сесть с завязанными глазами на деревянного коня Клавии-

леньо, который будто бы, преодолевая страшные опасности, перенесет его в королевство Кандаго, где Дон-Кихот должен спасти от злых чар инфанту Метонимию.

Стр. 284. *Латур* Морис (1704—1788) — французский художник-портретист, писал главным образом пастелью.

Стр. 288. *Селадон, бисквит* — разновидности фарфора.

Фальгьер, Поль Эрвье и т. д. — Здесь перечисляются имена известных в конце XIX в. скульпторов, писателей, драматургов, композиторов.

Стр. 297. *Ронсар* Пьер (1534—1585) — крупнейший поэт французского Возрождения, глава поэтической школы «Плеяда».

Стр. 301. *Поверьте мне, к чему ждать завтрашнего дня...* и т. д. — строки из сонета Ронсара: «Когда, старушкой, ты будешь пряхть одна...» (перевод В. Левика).

К р е н к е б и л ь

Стр. 330. *Лабрюйер* Жан (1645—1696) — французский писатель, автор книги «Характеры и нравы нашего века», где есть страницы, посвященные ужасающей нищете французского крестьянства конца XVII столетия.

Стр. 336. *Кредит умер, — его убили неплательщики.* — Торговец каштанами дословно повторяет надпись к популярной в XIX в. лубочной картинке, изображающей смерть Кредита.

И в о в ы й м а н е к е н

Стр. 357. *...когда я был маленьким, мать подарила мне розу.* — Далее повторяется эпизод из «Книги моего друга» (гл. III, «Дарю тебе эту розу»).

Стр. 371. *...иуана... Гроза Синих.* — Шуаны — участники контрреволюционных мятежей в Бретани в период французской буржуазной революции конца XIX в. Синие (по цвету их одежды) — солдаты республиканской армии того времени.

Стр. 421. *...скутичик национальных имуществ... седьмого фримера Третьего года.* — Во время французской буржуазной революции XVIII в. якобинский Конвент 3 июня 1793 г. принял декрет о разделе и порядке продажи земель, принадлежавших аристократам-эмигрантам; они были объявлены национальным имуществом. В 1793 г. был также принят новый рево-

люционный календарь. Фример III года соответствует ноябрю 1794 г. по общепринятому календарю.

Комедия о человеке, который женился на немой

Стр. 435. *Госпожа Кальман-Леви* — жена издателя Гастона Кальмана-Леви. Начиная с 1879 г., с выхода в свет повестей «Иокаста» и «Тощий кот», в издательстве Кальман-Леви печатались все произведения Анатоля Франса.

Ах, чтоб ему оглохнуть или этой онеметь совсем! — слова Дава, хитрого и пронырливого раба, персонажа комедии римского драматурга Теренция (II в. до н. э.) «Девушка с Андроса», действие III, сц. 1.

Стр. 457. *Амьенский пирог* — большой пирог с запеченной внутри какой-либо птицей, чаще всего уткой.

Стр. 459. *...не помогут... все травы, описанные Диоскоридом..* — Диоскорид — греческий врач и ботаник (I в. н. э.), автор трактата «О лечебных средствах», очень популярного в эпоху Возрождения.

Стр. 464. *Олибрий, Ирод, Синяя Борода* — имена жестоких деспотов. Олибрий — вождь галлов (IV в.), легенда приписывает ему убийство христианки Рэн, причисленной церковью к лику святых.

НА БЕЛОМ КАМНЕ

Восемнадцатого апреля 1904 г. в первом номере газеты «Humanité», основанной Жоресом, было опубликовано следующее редакционное сообщение: «Сегодня на второй странице мы начинаем печатать фельетонами книгу «На белом камне», которую только что закончил Анатолий Франс. В этих философских диалогах за картинами воссозданного им греко-латинского мира следует утопическое изображение коммунистического общества будущего. Мы благодарны великому писателю за то, что он предоставил читателям-социалистам право первыми познакомиться с этим смелым и прекрасным произведением».

Книга «На белом камне» печаталась в двадцати шести номерах «Humanité» с 18 апреля по 13 мая 1904 г. В феврале 1905 г. после значительной авторской переработки она вышла отдельным изданием у Кальмана-Леви.

Социально-философский роман «На белом камне» включает в себя произведения разных лет, объединенные общей философской проблематикой. Тяготение Франса к форме свободной непринужденной беседы сказалось в построении этой книги, которая состоит из двух вставных новелл и обрамляющих их диалогов. Новелла «Галлион» первоначально была напечатана в газете «Figaro» 6—12 сентября 1900 г. под названием «Пророчества»; вторая вставная новелла «Вратами из рога или вратами из слоновой кости» впервые печаталась в иллюстрированном приложении к парижскому изданию газеты «New-York Herald» 20 декабря 1903 г. Перерабатывая газетный вариант книги для отдельного издания 1905 года, Франс включил в него четыре статьи, написанные им в связи с событиями русско-японской войны:

1) «Война» — передовица газеты «Humanité» от 23 апреля 1904 г., была затем перепечатана как предисловие к сборнику «Жертвам русско-японской войны» (1904).

2) «Парадоксы о русско-японской войне» (впервые напечатана в «Neue freie Presse» 4 сентября 1904 г.).

3) «Колониальное бешенство» («Neue freie Presse», 18 сентября 1904 г.).

4) «Социальное действие» («Humanité», 27 ноября 1904 г.).

Включая эти статьи в книгу «На белом камне», писатель значительно их переработал, стремясь главным образом к усилению критики империализма. Свои публицистические высказывания Франс вложил в уста одного из персонажей романа — Николая Ланжелье, «отпрыска старинного рода Ланжелье, парижских книгопечатников и гуманистов». Имя этого героя уже встречалось в произведениях Франса. Ученого из рода Ланжелье писатель называл как автора сочинения «Описание людей и нравов стародавних времен» («Современная история»). В 1900 г. Франс опубликовал книжку «О Иоганне Гуттенберге с добавлением трактата Николая Ланжелье о фантомах». Николь Ланжелье отличается от своих предшественников в творчестве Франса, его изблюбленных героев-гуманистов: Бонара, Куаньяра, Бержере — большей резкостью и смелостью в критике капиталистического общества, более четким пониманием социальных вопросов современности. В романе он выступает как непосредственный выразитель авторских взглядов. Интересно отметить, что первоначально Николь Ланжелье носил имя Анатоля Франса.

Идейными противниками Ланжелъе являются в книге Жозеф Леклер и Губен. Ланжелъе, так же как и г-н Бержере в «Современной истории» и новеллах «Кренкебиля», постоянно спорит с Губеном, опровергает его защиту колониализма, войн и т. д. В этих спорах Николая Ланжелъе нередко поддерживают Жак Буайи и Ипполит Дюфрен, хотя они более осторожны и консервативны в своих политических воззрениях.

Проблема будущего человечества, проблема социализма стоят в центре книги. Можно ли предвидеть пути развития общества — этот вопрос проходит через все произведение, связывая в единое целое его отдельные составные части. Эта философская проблема книги рассматривается сперва во вставной новелле «Галлион» на материале прошлого.

Римляне середины I в. н. э., Галлион и его друзья, пытаются предугадать будущее Римской империи, но все их предположения оказываются глубоко ошибочными. Проконсул Галлион, беспокоящийся о судьбах религии Рима, не замечает зарождающегося христианства и не обращает внимания на косноязычного сирийского ткача Павла, фанатического проповедника новой христианской религии, которой суждено впоследствии вытеснить веру в богов Олимпа. В этой новелле, написанной в 1900 г., за несколько лет до выхода всей книги, Франс полностью отрицал предвидение будущего. В 1904 г., как составная часть книги «На белом камне», новелла получает продолжение: собеседники вскрывают ошибки Галлиона, причины его просчетов и неверных предположений, тем самым допуская возможность иного, правильного решения вопроса о будущем. Теперь Николь Ланжелъе утверждает, что наука может помочь людям понять закономерности развития общества и дать ключ к тайнам будущего. Ланжелъе заявляет, что «поскольку прошлое человеческих обществ нам в какой-то мере известно, будущее этих обществ — продолжение и следствие прошедшего — не совсем для нас непознаваемо». Франс говорил по поводу книги «На белом камне»: «Заметили ли Вы, что конец моей книжицы отрицает начало?»

В 90-е годы, разделяя взгляды философа-релятивиста Э. Ренана, Франс считал, что история не может раскрыть истинного характера и взаимообусловленности явлений прошлого. В отношении настоящего он утверждал, что современникам не доступно понимание исторического смысла и значения происходящих вокруг них событий («Прокуратор Иудеи», «Сад

Эпикура»). В 1904 г. Франс уже отказывается от подобного рода агностицизма. Он допускает, что можно понять и предвидеть самые общие тенденции развития общества. Однако он весьма недоверчиво относится к возможности представить себе конкретные социальные формы будущего. Вопрос об историческом предвидении ставится Франсом в книге не в абстрактно-философском плане, а как вопрос, имеющий совершенно определенное, практическое значение для решения важнейшей социальной проблемы: о будущем капиталистического общества и о социализме.

В художественном творчестве и в публицистике Франса 900-х годов тема социализма занимает большое место. Господин Бержере (IV часть «Современной истории») мечтает о социалистической Европе, хотя социализм для него еще нечто неопределенное и смутное. В книге «На белом камне» автор высказывает мысль об исторической неизбежности наступления социализма. «Коллективизм, — замечает Ланжелье, — необходимое следствие существующего порядка вещей и неизбежный результат развития капитализма».

В своей речи 1905 г. «За мир и свободу», ссылаясь на только что вышедшую отдельным изданием книгу «На белом камне», Франс говорил: «И не на наших мечтах и желаниях основываем мы свое предсказание, а на наблюдении общественных явлений и на данных исторического материализма» (книга «К лучшим временам»).

Однако социалистические воззрения Франса не носят научного характера; на них сказалось сильное влияние правого реформистского крыла французского социалистического движения. Так, Франс утверждает возможность перехода к социализму в результате естественной мирной эволюции капитализма, путем простого выкупа у капиталистов средств производства и завоевания парламентского большинства. Проблема социалистической революции в книге «На белом камне» не ставится.

Вторая вставная новелла книги «Вратами из рога или вратами из слоновой кости» — социалистическая утопия Анатоля Франса. В ней писатель рисует социалистическую федерацию европейских народов 2270 года. Он верно угадал многие черты социалистического будущего: уничтожение частной собственности на средства и орудия производства, плановое развитие хозяйства, принцип всеобщего труда, высокий уровень разви-

тия науки и техники, уничтожение войн, всеобщее изобилие. Наряду с этим многие вопросы решены ошибочно, а подчас наивно, как, например, проблема брака, семьи, воспитания, положения и роли женщины в обществе.

Отношение к социализму как к прекрасной, но далекой и неясной мечте, объясняет и заглавие книги. Согласно греческой мифологии человек, заснувший на белом камне, оказывался в мире своих грез.

Рисуя счастливое будущее общество, Франс делает весьма важную скептическую оговорку: в названии своей новеллы он ссылается также на античный миф о снах обманных, вылетающих из Аида через врата из слоновой кости, и снах пророческих, вылетающих через роговые ворота; тем самым он ставит под сомнение всю нарисованную картину. В то время Франс еще не верил в торжество справедливости при социализме, в полное счастье людей в будущем, так как отрицал возможность изменения самих людей, считая вечной и неизменной биологическую природу человека. Этот взгляд найдет свое отражение и в романе «Боги жаждут».

В книге «На белом камне» А. Франс приходит к убеждению, что социализм — единственный и закономерный выход из противоречий капиталистического мира, но писателю понадобится еще много лет раздумий, он переживет немало трагических разочарований и обретет немало надежд, чтобы в конце своей жизни, поняв великое историческое значение и цели Октябрьской социалистической революции, принять социализм без всяких оговорок.

Книга «На белом камне» продолжает и углубляет основную тему творчества Франса 900-х гг., критику капиталистического общества. Разоблачение империалистической действительности непосредственно связано с главной философской проблемой книги — с проблемой социализма, так как подтверждает мысль о неизбежности крушения капиталистического мира. В книге затронуто много различных вопросов: расовая дискриминация, политика колониализма, империалистические войны, характер и сущность католицизма XX в. и другие. Так же как и в «Современной истории» Франс обращается к конкретным фактам, к наиболее важным и значительным политическим событиям своей современности, придает книге злободневное звучание. Следует отметить, что критика капитализма в книге «На белом камне» острее, чем во всех предшествующих произведениях

Франса. Писатель утверждает, что война — следствие конкуренции держав на широком рынке, он осуждает русско-японскую войну, империалистическую политику США, экспансионистские взгляды Теодора Рузвельта, мечтавшего об американском варианте «римского мира», то есть о мировом господстве Соединенных Штатов Америки. Если в «Современной истории» Франс еще неверно оценивал испано-американскую войну 1898 г., не понимая агрессивных целей США, то теперь он прямо говорит об аннексии Соединенными Штатами Кубы, Гавайских островов, Порто-Рико и Филиппин. Большое внимание уделяет писатель колониализму, преступным действиям империалистических государств в Китае, саркастически пишет об их «цивилизаторской роли». Писатель выступает против угнетения малых народов, высмеивает расовые теории, высказывает свою веру в творческие возможности поработанных наций.

Особое место в диалогах отведено церкви и религии. Франс резко и смело разоблачает многочисленные интриги католической церкви, связанные с ее притязаниями на руководящую политическую роль. Писатель вновь подчеркивает вопиющее противоречие между современной католической церковью и ранним христианством: мысли Ланжелы по всем этим вопросам тождественны публицистическим выступлениям писателя в 90-е годы, в частности совпадают с основными выводами статьи «Церковь и политика» (1904), направленной против сил клерикальной реакции. В книге «На белом камне» Франс критикует не только церковь, но и христианство, утверждая, что понятие христианства, понятие христианского бога в разные эпохи приобретало совершенно различное содержание в зависимости от политических устремлений руководителей церкви. Так же как и в новелле «Прокуратор Иудеи», в книге «На белом камне» выражено сомнение Франса в существовании Христа и ироническое отношение к христианским легендам.

Композиция книги «На белом камне» весьма характерна для Франса. В произведении нет единого сюжета, отдельные ее части связаны единством философской проблематики. Две новеллы, входящие в книгу, и обрамляющие их диалоги весьма различны по своим стилистическим особенностям.

Обращаясь к временам позднего Рима, Франс в новелле «Галлион» мастерски воспроизводит колорит эпохи, любовно выписывает детали; для создания этой новеллы он использо-

вал «Деяния апостолов», исторические работы Ренана, произведения античных писателей, в том числе «Описание Греции» Павсания, и ряд других произведений.

Н. Сегюр в своих воспоминаниях о Франсе передает следующие его слова: «Есть в книге «На белом камне» один рассказ, которому я придаю большое значение. Это «Галлион». Он доставил мне много труда. Чтобы составить точное представление о состоянии римского мышления в вопросах религии, мне пришлось читать и размышлять больше, чем можно было предположить вначале».

Новеллу «Галлион» можно рассматривать как философскую повесть, так как весь ее сюжет подчинен решению философских проблем. Следуя в основном вольтеровской традиции, Франс, однако, отказывается от присущей Вольтеру однолинейности и условности в изображении персонажей. Галлион, умный политик, мыслитель — ярко выписанный реалистический образ, равно как и другие его собеседники.

Свою социалистическую утопию Франс облек в традиционную форму сновидения. Вторая новелла интересна смелостью мысли, мечты, но в ней, естественно, нет той точности деталей, которая характерна для «Галлиона». Острая публицистичность, непосредственный отклик на актуальные политические события определяет характер обрамляющих диалогов.

Понятно, что столь остро публицистическая книга не могла не привлечь внимания критики. В большинстве отзывов проявилось прежде всего стремление умалить социальное значение книги. Буржуазные критики Фаге, Гаффю, Сюффель упрекали Франса за обращение к проблеме социализма, высмеивали его утопию, преувеличивали недостатки произведения.

Резкая оценка политики царской России, смелое осуждение политического интриганства христианской церкви явились причиной запрещения книги «На белом камне» царской цензурой. Несмотря на это, в 1906 г., в первом номере журнала «Социалистическая библиотека» (Петербург) был напечатан перевод книги, сделанный П. Казановичем. Цензура совершенно случайно пропустила этот номер и спохватилась лишь в 1913 г., когда Санкт-Петербургский комитет по делам печати постановил наложить арест на номер 1906 года и возбудить судебное преследование против редактора журнала Яковенко.

Социалистическая печать, как указывалось выше, отнес-

лась к книге Франса весьма положительно, оценив ее как новый и важный этап в развитии его социалистических воззрений. Проблема социализма и связанная с ней проблема революции будет интересовать и волновать А. Франса во все последующие годы его творческой деятельности.

Стр. 467. *Филопатрис* (греч.) — название памфлета, приписываемого греческому сатирику Лукиану (ок. 120 — после 180 г.). Как полагает большинство исследователей, памфлет был написан в конце X в., настоящий автор его неизвестен. Название памфлета в русском переводе — «Патриот, или Слушающий поучения».

Форум — главная площадь в древнеримских городах. Кроме рынка, на форуме были расположены республиканские и судебные учреждения, устраивались народные собрания.

Почетные стелы. — Стела — у римлян небольшая колонна, на которой высекалась надпись в память события или какого-нибудь исторического лица.

Диоскуры — в античной мифологии божественные близнецы Кастор и Поллукс, сыновья спартанской царицы Леды и бога Зевса, братья Елены Прекрасной. Особенно чтили Диоскуров римляне, считая их покровителями воинов, вестники победы.

Стр. 468. *Капитолий, Палатин*. — Древний Рим был расположен на семи холмах: Капитолий (самый высокий холм, на котором находились республиканские учреждения), Палатин, Авентин, Виминал, Квиринал, Эсквилин, Целий. В черту города входила также часть холма Яникула.

Священная дорога — улица, которая вела с Форума к храму Юпитера на Капитолии. По этой улице обычно проходила торжественная процессия в честь полководца-победителя.

Благородные потомки Рема — то есть римляне. Согласно легенде основателями Рима (754 или 753) были два брата-близнеца, сыновья бога Марса и смертной женщины, — Рем и Ромул.

...*Виргиний взял нож, которым убил свою дочь*. — Согласно легенде римлянин Виргиний заколол свою дочь Виргинию, чтобы избавить ее от насилия децемвира (законодателя, пользовавшегося чрезвычайной властью) Аппия Клавдия (449 г. до н. э.).

Стр. 469. *Ростральные колонны* — от латинского слова *ростра* — нос корабля. Ростральные колонны украшались носами и кормами взятых в бою неприятельских кораблей.

«*Озеро Курция*» — место на римском Форуме, где в древности было болото. По преданию, во время сражения римлян с сабинянами (745 г. до н. э.) сабинянин Меций Курций, преследуемый врагами, бесстрашно пробился через это болото.

Верхняя Велля — возвышенность, примыкавшая к Палатинскому холму с северо-востока, территория одного из древнейших поселений Рима.

Нума Помпилий — см. прим. к стр. 239.

Стр. 470. *Картины ада, запечатленные в могильных склепах Корнето...* — Корнето — городок недалеко от Рима; на его окраине находятся развалины древних этрусских погребений. В склепах сохранились мозаика и фрески, изображающие загробный мир.

...*фреска Орканьи «Страшный суд»...* — Андреа да Чоне, известный под именем Орканьи (1308—1369), — итальянский художник раннего Возрождения.

Стр. 471. ...*царь Турн пал от руки Энея...* — Турн — легендарный герой ругулов, населявших в древности Италию, персонаж поэмы Вергилия «Энеида».

...*возвестить победу, одержанную у озера Регилл.* — В 496 г. до н. э. у озера Регилл римляне одержали победу над латинянами.

...*азиатские страхи, заполонившие Европу...* — Имеется в виду христианство, с его аскетизмом, учением о Страшном суде и загробной жизни. Христианство возникло в восточных, азиатских провинциях Римской империи в I в.

Стр. 473. *Мишель Бреаль* (1832—1915) — французский филолог, автор книги «Этимологический словарь латинского языка».

Колон — первоначально земледелец, самостоятельно обрабатывавший землю. С середины I в. колонами в Риме стали называть мелких арендаторов, юридически свободных, но фактически прикрепленных к земле крупного землевладельца.

Стр. 474. *Курия Юлия* — здание городского совета времен Юлия Цезаря (I в. до н. э.).

...*непритязательную хижину, напоминающую жилище Эвандра.* — Эвандр — легендарный аркадский царь, переселившийся из Греции в Италию, олицетворение патриархальной

простоты и скромности. Персонаж поэмы Вергилия «Энеида» (кн. 8).

Антиподы — обитатели диаметрально противоположных пунктов земного шара.

Стр. 475. *Пастух Фаустул*. — Согласно легенде основатели Рима Рем и Ромул были вскормлены волчицей, потом их нашел в лесу и воспитал пастух Фаустул.

Царь Итал, или Витул — мифический царь Южной Италии.

Авзонийская земля. — Авзония — древнейшее название юго-западной части Италии, ставшее затем поэтическим названием всей Италии.

Стр. 476. *Диоспитер* — одно из наименований Юпитера.

Индра — бог неба, грозы в древней индийской мифологии.

Богиня Рома — богиня-покровительница города Рима; изображалась в виде воинственной девы. В I в. до н. э. при императоре Августе в честь богини Ромы были воздвигнуты храмы.

Стр. 478. *Квирин*. — Под именем бога Квирина римляне почитали Ромула — легендарного основателя Рима и первого римского царя.

...пастухи, пришедшие из Бактрианы... — Бактриана — восточная провинция древнеперсидской империи, включала в себя часть теперешнего Афганистана и Таджикистана.

...верили, будто первые люди ... родились из праха подобно Эрехтею. — Согласно древнегреческому мифу Эрехтей, древнейший легендарный царь Афин, был рожден самой Землей.

Стр. 480. *В восемьсот четвертом году по основании Рима, на тринадцатом году принципата Клавдия Цезаря...* — Правление императора Клавдия падает на 41—54 гг. Следовательно, речь идет о событиях 54 г., последнего года правления Клавдия (Франс относит таким образом основание Рима не точно к 754 г. до н. э., как гласило предание).

Ахея — в древней Греции область на севере Пелопонеса; в римскую эпоху — официальное наименование всей Греции, завоеванной римлянами во II в. до н. э. и превращенной в одну из провинций, управляемых наместником-проконсулом.

Всадники — привилегированный класс в древнем Риме, состоявший главным образом из торговцев и ростовщиков. В период Империи из числа всадников формировалась высшая бюрократия.

...сын ... Сенеки ... брат Аннея Мелы и прославленного Луция Аннея... — В римской истории известны три брата Сенеки. Наиболее знаменит старший брат Луций Анней Сенека (родился между 6 и 3 г. до н. э. — умер в 65 г. н. э.), философ, драматург, политический оратор. Сенека — крупнейший представитель римского стоицизма — философского учения, возникшего в древней Греции около III в. до н. э. Стоицизм создал этику долга, утверждая, что единственное благо — добродетель. Ради полной свободы человек, по учению стоиков, должен стоять выше страстей и страданий. Во II в. до н. э. учение стоиков распространилось в Риме. Сенека был воспитателем Нерона и с воцарением последнего стал вторым по значению лицом в Империи. Вместе с поэтом Луканом Сенека принял участие в заговоре Гая Кальпурния Пизона против императора (65 г.). По приговору Нерона Сенека вскрыл себе вены.

...и к тому, что следует за физикой. — Здесь речь идет о том, что Галлион интересовался философией. Согласно принятому в древности порядку, философское сочинение Аристотеля следовало за (по-греч. «мета») трактатом, в котором излагалось учение о природе. Отсюда название «Метафизика» — то есть сочинение, идущее после физики.

Стилос, или стиль — острая железная палочка, которой римляне писали на навощенной дощечке.

Клиенты — социальная прослойка в древнем Риме, неполноправные граждане, лично зависимые от своих патронов — патрициев.

Стр. 481. *Акрокоринф* — Верхний Коринф, нагорная часть города с акрополем — укрепленным центром.

Иеродулы — храмовые проститутки.

Стр. 483. *...когда мирные граждане были вырезаны солдатами Муммия...* — Речь идет о взятии и разгроме Коринфа римскими войсками под предводительством Муммия в 146 г. до н. э. С падением Коринфа было завершено подчинение Греции Риму.

Либурны — легкие скоростные суда. Во времена Империи стали употребляться как военные корабли.

Бакхиады — легендарный царский род Коринфа, правление которого относится к IX в. до н. э.

Стр. 484. *Меценат* Гай Цильний (род. между 79 и 64 — ум. в 8 г. до н. э.) — римский политический деятель, приближенный императора Августа. Покровительствовал кружку поэтов (Вергилий, Гораций и др.). Имя Мецената стало нарицательным для обозначения покровителя наук и искусств.

...на языке стоиков... — Зарождавшееся христианство с его культом покорности человека судьбе многое заимствовало из этики стоиков.

Стр. 485. ...под взглядами жертв Гая — то есть императора Гая Калигулы (12—41 гг.), известного своей крайней жестокостью и деспотизмом.

Стр. 486. *Фидий* (род. в начале V в. до н. э. — ум. ок. 432 г. до н. э.) — замечательный греческий скульптор, так же как и Мирон (V в. до н. э.).

Стр. 487. *Курии и Фабриции* — древнейшие римские роды. *Приап* — в античной мифологии бог плодородия, полей и садов, покровитель чувственных наслаждений.

Гай Фабий (вторая половина IV в. до н. э.) — римский патриций; увлекался живописью, расписал храм, воздвигнутый в честь богини общественного благополучия и здоровья — Салус.

Стр. 488. *Сыновья Иула*. — Иул, он же Асканий — сын героя Энея. Римляне считали Энея и его сына своими предками. Согласно легенде Рем и Ромул также происходили из рода Энея.

Стр. 490. *Кассандра*. — В древнегреческой мифологии Кассандра — дочь троянского царя Приама, пророчица. Наказанная богом Аполлоном, любовь которого она отвергла, Кассандра могла предвещать лишь ужасное и печальное, и в ее пророчества никто не верил.

Предки людей ... вышли из рук Прометей... — Согласно древнегреческому мифу людей создал титан Прометей, вылепив их из глины и вдохнув в них жизнь.

Стр. 492. ...рассказ греков о камнях, которые будто бы бросала Пирра. — По древнегреческому мифу, Зевс уничтожил первое поколение людей, наслав на землю потоп. Спаслись лишь Девкалион и Пирра. Из камней, которые они бросали через голову, появились новые люди.

...лакомиться... птицами с Фазиса... — Речь идет о фазанах, водившихся на берегах Фазиса, как в древности называлась река Рион.

Стр. 493. *Брут* Луций Юний — вождь республиканского восстания против царя Тарквиния Гордого, которое привело

к установлению в древнем Риме республики (510 г. до н. э.).

Цетегы — то есть коренные римляне, потомки старинных римских родов (одним из древнейших был род Цетегов).

Катон. — Имеется в виду Катон Утический или Младший Марк Порций (95—46 гг. до н. э.) — глава аристократической республиканской партии, борющейся с Юлием Цезарем. Видя неизбежность падения республики, Катон лишил себя жизни.

...во времена Мария и Суллы — то есть во время гражданских войн I в. до н. э. Борьба Суллы, выразителя интересов рабовладельческой аристократии, и Мария, опиравшегося на городской плебс и крестьянство, сопровождалась жестоким военным террором, особенно усилившимся после победы Суллы.

Стр. 495. *Нерон... сделался... равен Британнику*. — Британник — родной сын императора Клавдия. Император по настоянию своей жены Агриппины усыновил ее сына от первого брака, принявшего имя Нерон. Впоследствии, став императором (54—68), Нерон отравил свою мать Агриппину и Британника.

Лукан Марк Анней (39—65) — римский поэт, племянник философа Сенеки, одно время был близок к Нерону. Лукан участвовал в заговоре Пизона (см. прим. к стр. 480) и покончил с собой по приговору Нерона.

Дружба Эвриала и Ниса — эпизод из «Энеиды» Вергилия.

Стр. 496. *Уроки Портика* — то есть уроки стоицизма. Портик — крытая колоннада. В афинском портике, называвшемся стои, учил Зенон из Китиона, основатель стоицизма. Сенека был его последователем.

...после наказания парфян... — Парфянское царство — крупное рабовладельческое государство, занимавшее огромную территорию к югу от Каспийского моря до рек Евфрата и Инда; крупнейший соперник Рима на Востоке. Вело с Римом продолжительные войны.

...сабиец, житель Гема, сармат... сикамбр... — Имеются в виду народы древнего мира. Сабийцы — народ, живший в Аравии. Жители Гема — жители Балканских гор. Сарматы — кочевые иранские племена, населявшие приволжско-приуральские степи и Причерноморье в IV—II вв. до н. э. Сикамбры — одно из древнегерманских племен.

Стр. 498. *Антиона* (греч. миф.) — фиванская царевна, мать сыновей бога Зевса: Зефа и Амфиена.

Стр. 500. *Древо Паллады*. — Согласно греческому мифу богиня мудрости Афина Паллада, покровительница города Афин, даровала афинянам оливковое дерево.

Стр. 502. *Слишком ограниченное благочестие афинян... привело к изгнанию Анаксагора и к смерти Сократа*. — Анаксагор — древнегреческий философ (конец VI в. до н. э.) — непоследовательный материалист. Его обвинили в безбожии, и он бежал из Афин. Сократ — см. прим. к стр. 79.

Стр. 504. *Крез* (VI в. до н. э.) — лидийский царь, считавшийся, по преданию, самым богатым человеком на земле. Его имя стало нарицательным.

Елисейские поля, или Элизиум — в античной мифологии обитель блаженства, где пребывают души умерших мудрецов и героев.

Стр. 505. *Поэт Еврипид сказал...* — Ниже приведены строки из трагедии древнегреческого поэта Еврипида (V в. до н. э.) «Ипполит» (Эписодий первый).

Минос (греч. миф.) — царь Крита, сделанный за свою справедливость судьей смертных в загробном мире, Тартаре.

Стр. 506. *Как сказал Эсхил...* — Приведены слова Прометей из трагедии древнегреческого поэта Эсхила (V в. до н. э.) «Прикованный Прометей» (Эписодий второй).

Стр. 507. *Прометей был освобожден Геркулесом с согласия Юпитера...* — По древнегреческому мифу, титан Прометей вопреки воле Зевса (Юпитера) даровал людям огонь и за это был прикован к скале на Кавказе, но так как Прометей знал тайну, угрожавшую Зевсу, то последний вынужден был даровать ему свободу. Прометей по приказанию Зевса освободил Геракл (Геркулес).

Стр. 509. *По вине великого Помпея эта проказа была занесена в вечный город*. — Гней Помпей — римский полководец и политический деятель; в 63 г. до н. э. завоевал Сирию и взял Иерусалим. В 61 г. до н. э. он отпраздновал в Риме свой триумф, привезя в Рим множество пленников из Сирии и Иудеи.

Несколько лет назад сторонники какого-то Христа... подняли среди иудеев кровавые смуты. — Речь идет о событиях времен царствования императора Клавдия (41—54). Клавдий

ограничивал свободу восточных культов и изгнал из Рима иудеев.

Стр. 511. *...будто в еврейских книгах можно отыскать мысли Платона о божественном промысле.* — В учении древнегреческого философа-идеалиста Платона (427—347 гг. до н. э.) многое было близко к христианскому учению (идея бессмертия души, учение о едином боге, о мировой душе и т. д.). Платонизм оказал большое влияние на развитие раннего христианства.

Стр. 513. *Гарустики* — в древнем Риме жрецы, предсказывавшие будущее по внутренностям жертвенных животных.

Авгуры — в древнем Риме жрецы-прорицатели, вещавшие волю богов по пению и полету птиц.

Стр. 517. *Птица Венеры не унесла Коматаса в сияющие небеса по примеру орла Юпитера.* — Согласно греческому мифу орел по повелению Зевса (Юпитера) похитил красавца мальчика Ганимеда и унес его на Олимп, где Ганимед стал виночерпием богов.

Стр. 518. *Я вижу котомку и посох... но пока еще не вижу философа.* — Котомка и посох были обязательной принадлежностью философа кинической (цинической) школы, проповедовавшей ограничение потребностей и отказ от каких бы то ни было общественных условностей.

Стр. 522. *Ликторы* — почетные стражи в Риме при высших должностных лицах, вооруженные фассами — пучками прутьев.

Стр. 523. *...то ли Павла, то ли Савла...* — Апостол Павел — один из легендарных основателей христианства. По преданию, Павел до своего религиозного обращения был ткачом и носил имя Савл.

Стр. 524. *Филемон и Бавкида* — в античной мифологии — супружеская чета, дожившая в любви и согласии до глубокой старости. В награду за благочестие их бедная хижина была превращена в храм. Воспеты римским поэтом Овидием (43 г. до н. э. — 18 г. н. э.) в книге «Метаморфозы».

Мать Энеадов — богиня Венера, мать Энея; она считалась покровительницей потомков Энея — Энеадов.

Стр. 525. *...поклоняется Орфею, называя его каким-то чу- жеземным именем...* — Пробразами Христа были умирающие и воскресающие боги античной мифологии: Орфей, Адонис, Гермес (Меркурий) и т. и. Франс любил подчеркивать совпадения различных религиозных культов.

Тифон — в античной мифологии стоголавое огнедышащее чудовище, позже считался олицетворением зла.

Стр. 526. *Сатурналии* — ежегодные праздники в Риме в честь Сатурна, отца богов и покровителя посевов. Во время сатурналий отменялись все наказания, прекращалась работа, люди предавались безудержному веселью.

Субура — бойкая торговая улица, соединявшая Целийский и Эсквилинский холмы в Риме. Субура была сосредоточием таверн.

Веста — в римской мифологии богиня священного огня, домашнего очага. Жрицы ее храмов — весталки — давали обет целомудрия.

Стр. 527. *Медя* (греч. миф.) — волшебница, которая полюбила греческого героя Язона и помогла ему овладеть золотым руном. Впоследствии, узнав об измене Язона, Медя из чувства мести убила своих детей от него и послала невесте Язона платье и украшения, пропитанные ядом, от которых та умерла в страшных мучениях.

Стр. 528. *Родит Юпитера супруга сына...* — Строка из трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» (Эпизодий третий).

Стр. 530. «*Деяния апостолов*» — пятая книга христианского Нового Завета, дополняющая четыре евангелия; создана не ранее первой половины II в. на основании устных легенд.

Стр. 531. *...сочетали взгляды Эпикура со взглядами Зенона.* — То есть материалистические атеистические взгляды Эпикура соединяли с воззрениями стоиков (см. прим. к стр. 480).

Стр. 532. *Тацит* Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — крупнейший римский историк. Автор книг «Истории» и «Анналы», охватывающих события I в.

Стр. 533. *...погибли вместе с сообщниками Пизона.* — См. прим. к стр. 480.

Стр. 534. *Бертло* Пьер-Эжен-Марселен (1827—1907) — французский химик, друг философа Ренана. В 1898 г. была издана «Переписка Ренана и Бертло».

Стр. 535. *Ироды* — династия царей и правителей Иудеи, проримской ориентации (I в. до н. э. — I в. н. э.).

Иосиф Флавий и царица Береника вели речи, любезные разрушителю Иерусалима Титу. — Тит Флавий — римский император (79—81) разрушил Иерусалим, завершил завоевание Иудеи. Иосиф Флавий — еврейский историк и военачаль-

ник, перешедший на сторону римлян во время Иудейской войны (66—70). Береника — иудейская царевна, в которую, по преданию, был влюблен император Тит. Эта легенда послужила сюжетом для трагедий Корнеля «Тит и Береника» (1670) и Расина «Береника» (1670).

Стр. 536. *Марабут* — член мусульманского религиозного ордена монахов-дервишей у арабов.

Генерал Дезэ (1768—1800) — командовал частями французских войск, высадившихся в 1798 г. в Египте.

Стр. 538. *Жозеф де Местр* (1731—1821) — крайне реакционный французский писатель и публицист, пытался всячески возвысить авторитет и влияние католической церкви. Этому посвящена его книга «О папе» (1819).

Стр. 542. ...*святой Павел не узнал бы себя на колонне Марка Аврелия, как не узнал бы на колонне Траяна своего старого недруга Кифу.* — Имеются в виду колонны, воздвигнутые в Риме в честь императоров Марка Аврелия и Траяна; в XVI в., по распоряжению папы Сикста V, статуя Марка Аврелия, стоявшая на вершине одной колонны, была заменена статуей апостола Павла, а статуя Траяна на другой — статуей апостола Петра. Апостол Петр — лицо вымышленное. Его имя по-гречески означает «камень» (камень по-древнесирийски — «кифа»). Согласно христианской легенде между апостолом Петром и Павлом возникали споры по вопросу об отношении христиан к старой иудейской религии, к язычникам.

Покои Ватикана. — Речь идет о залах папского дворца Ватикана, расписанных в XVI в. Рафаэлем.

Стр. 545. ...*примитивный Аполлон Дедала...* — Дедал (греч. миф.) — зодчий и ваятель, ему приписывались древнейшие греческие скульптуры.

Христос синоптиков — то есть трех стилистически и текстуально сходных евангелий, которые приписываются Матфею, Марку и Луке. Более позднее, так называемое «Евангелие от Иоанна», значительно от них отличается.

Гностики — последователи гностицизма, мистического философского направления, соединявшего христианское учение с отдельными положениями неоплатонизма и стоицизма. Зародилось в конце I в. в Сирии.

...*несколько образов Христа...* — Франс указывает на эволюцию образа Христа, отражающую характер политики различных деятелей католицизма, перечисленных ниже, Григо-

рий VII — см. прим. к стр. 152. Доминик — испанский монах, основатель нищенского ордена доминиканцев (1216). Орден был непосредственно подчинен папе и ведал учрежденной в 1232 г. инквизицией. Юлий II — римский папа с 1503 по 1513 г. Стремился укрепить политическую власть пап в Италии, руководил военными походами против Венеции и Болоньи, воевал с Францией. Лев X — римский папа с 1513 по 1521 г., покровительствовал искусствам; при нем в Ватикане работали Рафаэль и Микеланджело. Лев XIII — римский папа с 1878 по 1903 г.; выдвинул план объединения всех сил европейской реакции, при активном участии духовенства, для борьбы против социализма; стремился использовать в интересах церкви буржуазный парламентаризм.

Стр. 546. *Филон* — древнееврейский писатель и философ (I в.), автор толкований так называемого закона Моисеева (см. прим. к стр. 239).

Иегова, или Ягве — бог у древних иудеев.

Стр. 548. *Сын Алкмены*. — Согласно античному мифу Геркулес (Геракл) был сыном Юпитера (Зевса) и смертной женщины Алкмены.

Эпиктет (50—138) — римский философ-стоик.

Стр. 519. *Император Юлиан, который вновь восстановил старую религию Империи, упраздненную Константином-отступником...* — Константин — римский император с 306 по 337 г.; пытался посредством единства религии предотвратить распад Римского государства; в 313 г. он признал христианство официальной религией. Юлиан Флавий Клавдий — римский император с 361 по 363 г.; хотел восстановить в Риме прежнюю веру в олимпийских богов; отсюда прозвище, данное ему христианской церковью — Юлиан-отступник. Франс же называет отступником императора Константина, так как тот отрекся от исконной религии Рима, узаконив христианство.

Галилеянин — Иисус Христос, который согласно евангельскому мифу был родом из Галилеи (область Иудеи).

Григорий Назианзин (329—389) — один из ранних деятелей христианской церкви, автор ряда богословских книг.

Стр. 551. *Бланки Луи-Огюст* (1805—1881) — французский революционер, утопист-коммунист, один из организаторов тайных республиканских заговорщических обществ; несколько раз подвергался длительным тюремным заключениям. В тюрьме

написал книгу «Вечность в планетах. Астрономическая гипотеза» (1872).

Стр. 553. *Платон, Томас Мор, Кампанелла, Фенелон, Кабе, Поль Адан...* — Здесь перечисляются философы и писатели, создатели социальных утопий. Платону (см. прим. к стр. 511) приписывается диалог «Критиас, или Об Атлантиде», в котором рассказывается о счастливом царстве атлантов. Томас Мор (1478—1535) — английский гуманист, автор романа «Утопия», в котором описано идеальное общество, построенное на началах всеобщего равенства без частной собственности. Кампанелла Томмазо (1568—1639) — итальянский коммунист-утопист, автор утопического романа «Город солнца» (1623). Фенелон — Франсуа де Салиньяк де ла Мотт (1651—1715) — французский писатель. В своем романе «Приключения Телемаха, сына Улисса» (1699) описывает идеальное государство — просвещенную монархию в Саленте. Кабе Этьен (1788—1856) — французский утопический социалист, автор философско-социального романа «Путешествие в Икарию» (1840), где изображается общество, основанное на принципах коммунизма. Адан Поль (1862—1920) — реакционный французский писатель и публицист, националист. В романе «Письма из Малайи» (1898) прославляет колониализм, «историческую цивилизаторскую миссию» латинской расы.

Себастьян Мерсье, Уильям Моррис. — Себастьян Мерсье (1740—1814) — французский писатель-просветитель. В романе «Год 2440-й, сон, каких мало» (1770) рисует будущее Франции, исходя из идеалов Просвещения XVIII в. Уильям Моррис (1834—1896) — английский поэт, писатель, художник, мелкобуржуазный социалист, автор утопического романа «Письма ниоткуда» (1891), где он утверждает необходимость возврата к ручному ремесленному труду.

Морис Спронк — французский писатель, критик и журналист конца XIX в. Франс имеет в виду его роман «Год 330-й Республики, XXII век христианской эры» (1894). Морису Спронку посвящена статья Франса в книге «Литературная жизнь» (IV серия).

Камиль Моклер (настоящее имя Камиль Фост, 1872—1945) — писатель, историк искусства, автор романа «Девственный Восток. Эпический роман 2000-го года» (1897).

Даниэль Галеви (род. в 1872 г.) — французский писатель и публицист, мелкобуржуазный социалист. Франс говорит о его

романе «История четырех лет (1997—2001)», написанном в 1903 г.

Стр. 554. *Герберт Джордж Уэллс, путешествуя по будущим векам...* — Имеется в виду роман Герберта Уэллса «Машина времени» (1895), в котором описывается жизнь человечества в 802701 году.

Стр. 556. *Кавур* Камило Бензо (1810—1861) — лидер итальянской либерально-монархической буржуазии. Используя народно-освободительное движение, Кавур стремился объединить Италию «сверху», под властью королей Пьемонта. Возглавил первое министерство итальянского королевства (1861).

Виктор-Эммануил II (1820—1878) — король Пьемонта; с 1861 г. король объединенной Италии.

...мечущий громы и молнии папа и отлученный от церкви король каждое утро обмениваются уверениями в добрососедских чувствах... — Итальянское правительство в 1870 г. присоединило Папскую область к своим владениям; по «Закону о гарантиях» 1871 г. папа был лишен светской власти и сохранял суверенитет лишь в пределах Ватиканского дворца. В ответ на это папа Пий IX отлучил от церкви короля Виктора-Эммануила II и членов итальянского правительства, объявил себя «ватиканским узником». Враждебные отношения между Ватиканом и итальянским правительством продолжались и после смерти Пия IX и Виктора-Эммануила II.

Стр. 562. *Сэрика* — в древности так называли Восточную Азию, примерно территорию современного Китая.

Стр. 563. *Макао*. — В Макао, в Южном Китае, португальцы обосновались в 1557 г.

Стр. 564. *В тысяча девятьсот первом году в Пекине был нарушен порядок...* — Народное антиимпериалистическое восстание в Китае И Хэ-туань (называемое также боксерским восстанием) происходило в 1900, а не в 1901 г., как пишет Франс. В подавлении восстания участвовали войска восьми империалистических держав (Германия, Англия, США, Франция, Россия, Австро-Венгрия, Италия и Япония) под командованием немецкого генерала Вальдерзе. В августе 1900 г. империалистические войска заняли Пекин и варварски его разграбили. Китайское правительство вынуждено было подписать в 1901 г. так называемый «Заключительный протокол», который превращал Китай в полукOLONIAльную страну.

Япония, которая в тысяча восемьсот девяносто четвертом году разгромила китайцев... — Имеется в виду японо-китайская война 1894—1895 г. По Симоносекскому миру (1895) Китай вынужден был уступить Японии остров Тайвань и Ляодунский полуостров. Корея, объявленная «независимой», фактически стала колонией Японии.

Стр. 565. *Бонналь* Гильом (1844—1917) — французский генерал и военный писатель, автор книги «Характер современной войны» (1901).

Эдмон Тери (1855—1925) — французский буржуазный экономист крайне реакционных взглядов. В 1901 г. выпустил книгу «Желтая опасность».

Думер Поль (1857—1932) — французский реакционный политический деятель. С 1896 по 1902 г. — генерал-губернатор французского Индо-Китая, где жестоко подавлял национально-освободительное движение. Автор книги «Французский Индо-Китай» (1903). Впоследствии министр, президент республики (1931—1932).

Безобразов и Алексеев. — Безобразов Алексей Михайлович — статс-секретарь Николая II, владелец больших концессий в Маньчжурии и Корее. Алексеев Евгений Иванович (1843—1909) — царский наместник на Дальнем Востоке (1903—1905).

Мелин — см. прим. к стр. 255.

Шарль Рише (1850—1935) — французский физиолог, занимался также остеологией, то есть изучением скелета и закономерностей его строения.

Прогнаты — как и брахицефалы — антропологические типы. Прогнаты характеризуются сильно выступающей вперед челюстью. Брахицефалы — «короткоголовые». Буржуазные антропологи положили строение черепа в основу антинаучного, реакционного учения о так называемых «высших» и «низших» расах.

Стр. 566. *Разграбление летнего дворца, резня в Пекине, массовое потопление людей в Благовещенске, расчленение Китая...* — Франс перечисляет преступления империалистов в Китае. Летний дворец китайских императоров — древнейший памятник искусства был разгромлен англо-французскими войсками в 1860 г. и вторично — при подавлении восстания И Хэ-гуань (см. прим. к стр. 564). Во время восстания И Хэ-гуань летом 1900 г. войска царской России изгнали китайское население из Благовещенска и близлежащих деревень. Многие ки-

тайцы были потоплены в Амуре. В статье «Китайская война» (1900) В. И. Ленин разоблачил империалистическую политику царской России по отношению к Китаю. По «Заключительному протоколу» 1901 г. Китай был разделен на сферы влияния империалистических держав и опутан системой кабальных договоров.

Стр. 567. *Адмирал Того* — японский адмирал (1849—1934), участник японо-китайской войны 1894—1895 гг., организовал блокаду русского флота в Порт-Артуре во время русско-японской войны.

Трублионы — то есть смутьяны, баламуты (от франц. слова «troubler» — смущать). В «Современной истории» под именем трублионов Франс осмеивает политиканов-националистов.

Стр. 569. *Улар* Александр — французский журналист, помещавший в ряде газет ежедневные обзоры военных действий на фронтах русско-японской войны.

Стр. 571. *...предсказывала в тысяча восемьсот сороковом году миссис Бичер-Стоу...* — Франс имеет в виду рассуждения о судьбе негров американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу, автора романа «Хижина дяди Тома».

Жан Фино (1858—1922) — буржуазный реакционный журналист.

Стр. 572. *Захват Трансвааля.* — Речь идет об англо-бурской войне 1899—1902 гг., в результате которой южно-африканские бурские республики Трансвааль и Оранжевая были захвачены англичанами.

Стр. 574. *...часть, подобно Ферри, под ударами какой-нибудь военной катастрофы...* — Ферри Жюль — один из лидеров умеренных республиканцев, дважды занимал пост премьер-министра (1880—1881 и 1883—1885). С его именем связана политика колониальной экспансии, он втянул Францию в войну с Китаем из-за Аннама и Тонкина. В результате неудач французских войск в Индо-Китае кабинет Ферри пал.

Стр. 575. *Рибо* Александр-Феликс-Жозеф — французский буржуазный политический деятель, апологет империалистической политики, неоднократно возглавлял кабинет министров (1892—1893, 1914—1917).

Стр. 577. *...Куба низведена на положение вассальной республики, Гавайские острова, Пуэрто-Рико и Филиппины аннекси-*

рованы... — В результате испано-американской войны 1898 г. по Парижскому мирному договору США получили Пуэрто-Рико и Филиппины. Куба была объявлена «независимым» государством под протекторатом США. В том же 1898 г. США аннексировали Гавайские острова.

Рузвельт Теодор (1859—1919) — президент США в 1901—1909 гг.; один из идеологов американского империализма, вдохновитель испано-американской войны 1898 г.

Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

Стр. 580. «*Вратами из рога или вратами из слоновой кости*». — Образ, взятый из античной мифологии.

«Снов суть двоякие двери: одни, говорят, роговые,
Оными легкий дается исход для теней правдивых;
Блещут другие, из белой сделаны кости слоновой,
Лживые к небу чрез них посылаются Манами грезы».

(Вергилий. «Энеида», кн. 6.)

Стр. 583. «*Лошадки*» — азартная игра, напоминающая рулетку. На спицах горизонтально укрепленного вертящегося колеса устанавливались нумерованные фигурки лошадок, на которые ставились ставки. *Баккара* — вид карточной игры.

...*потомков буржуа Июля*... — то есть потомков финансовой буржуазии, пришедшей к власти в результате Июльской революции 1830 г.

Стр. 588. *Константин Менье* (1831—1905) — выдающийся бельгийский скульптор и художник, автор многочисленных скульптурных композиций, посвященных труду рабочих, шахтеров. Франс писал о нем в 1908 г.: «Он выразил в мраморе и бронзе величие и страдания шахтеров».

Стр. 615. ...*со словами, с которыми Критий обращался к Триефону*. — Далее цитируются слова из псевдо-Лукианова памфлета «Филопатрис» (см. прим. к стр. 467).

Стр. 616. *Палеопитек Сиваликских холмов* — ископаемая человекообразная обезьяна, известна лишь по костям верхней челюсти, найденным в 1879 г. в Сиваликских холмах на южных склонах Гималаев (Северная Индия).

Пуанкаре Анри (1854—1912) — выдающийся французский математик; в философии примыкал к махизму.

И. Лилеева

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ТЕАТРАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. <i>Перевод И. С. Татариновой . . .</i>	7
КРЕНКЕБИЛЬ, ПЮТУА, РИКЕ И МНОГО ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ РАССКАЗОВ	
Кренкебиль. <i>Перевод Л. В. Ледневой</i>	151
Пютуа. <i>Перевод Л. В. Ледневой</i>	175
Рике. <i>Перевод Л. В. Ледневой</i>	190
Мысли Рике. <i>Перевод И. И. Емельяновой</i>	195
Галстук. <i>Перевод В. В. Виноградова</i>	199
Большие маневры в Монтиле. <i>Перевод В. П. Стро- копытова</i>	204
Эмиль. <i>Перевод А. В. Кузнецова</i>	211
Адриенна Бюке. <i>Перевод Л. В. Ледневой</i>	216
Гемма. <i>Перевод Л. В. Ледневой</i>	223
Синьора Кьяра. <i>Перевод И. И. Емельяновой</i>	234
Неподкупные судьи. <i>Перевод Л. Н. Фейгиной</i>	237
Христос океана. <i>Перевод А. В. Кузнецова</i>	243
Жан Марто. <i>Перевод Л. Н. Фейгиной</i>	247
Господин Тома. <i>Перевод Л. Н. Фейгиной</i>	257
Домашняя кража. <i>Перевод А. В. Кузнецова</i>	263
Эдме, или Удачно поданная милостыня. <i>Перевод Л. В. Ледневой</i>	268
ПЬЕСЫ	
Чем черт не шутит. <i>Перевод Е. А. Гунста</i>	275
Кренкебиль. <i>Перевод С. Г. Вышеславецвой</i>	305
Ивовый манекен. <i>Перевод И. С. Татариновой</i>	345
Комедия о человеке, который женился на немой. <i>Перевод С. Г. Вышеславецвой</i>	435

НА БЕЛОМ КАМНЕ. *Перевод Я. З. Лесюка*

I.	Гаплиц	467
II.	Гаплиц	480
III.		530
IV.		556
V. Вратами из рога или вратами из слоновой кости		580
VI.		615
<i>Комментарии И. А. Лилевой</i>		619

АНАТОЛЬ ФРАНС

Собрание сочинений, т. 5

Редактор *С. Брахман*
Оформление художника
Л. Зусмана
Худож. редактор *Л. Калитовская*
Техн. редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *Л. Петрова*

*

Сдано в набор 27/VI 1958 г.
Подписано к печати 8/X 1958 г.
Бумага 84 X 108^{1/32} — 21 печ. л.
34,44 усл. печ. л. 31,53 уч.-изд. л. +
+ 1 вклейка — 31,58 л. Тираж
240 000 экз. Заказ № 1985.
Цена 12 р.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ленинградский Совет
народного хозяйства.
Управление полиграфической
промышленности.
Типография № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26